



НАУКИ
О ЧЕЛЮ
ВЕКЕ



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ

ИСТОРИЯ
ДИСЦИПЛИН

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт гуманитарных историко-теоретических исследований
имени А.В. Полетаева

НАУКИ
О ЧЕЛОВЕКЕ
ИСТОРИЯ
ДИСЦИПЛИН

Составители и ответственные редакторы
А.Н. Дмитриев, И.М. Савельева



Издательский дом Высшей школы экономики
МОСКВА, 2015

УДК 3
ББК 60
Н34

Текст монографии подготовлен при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011–2013 гг.

Рецензенты:

доктор философских наук, главный научный
сотрудник Института философии РАН *Н.С. Автономова*;
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории дискурса
и коммуникации филологического факультета МГУ *Т.Д. Венедиктова*

Науки о человеке: история дисциплин [Текст]: коллект. моногр. / сост. и
Н34 отв. ред. А. Н. Дмитриев, И. М. Савельева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 651, [5] с. —
300 экз. — ISBN 978-5-7598-1209-8 (в пер.).

Коллективная монография посвящена анализу проблематики дисциплинарности, которая в XXI в. вновь активно привлекает внимание исследователей. В книге по-новому освещены вопросы преемственности в гуманитарных и социальных дисциплинах, перераспределение фундаментальных и прикладных сфер в этих областях, обмен идеями и концептуальными моделями между различными научными сообществами. Авторы исследования — ученые из России, Франции, США, Швеции и других стран — всесторонне раскрывают проблемы истории и социологии социогуманитарного знания, обращаясь к мало изученным ранее вопросам академической иерархии и механизмам вытеснения «миноритарных» направлений, явным и теньвым практикам закрепления приоритета тех или иных дисциплин и школ.

Издание адресовано широкому кругу исследователей — историкам, социологам, философам, культурологам, специалистам по науковедению, истории науки и истории идей, а также преподавателям высших учебных заведений и студентам гуманитарных специальностей.

УДК 3
ББК 60

ISBN 978-5-7598-1209-8

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Институт гуманитарных историко-теоретических исследований, 2015
© Оформление. Издательский дом
Высшей школы экономики, 2015

Приложение © WarburgInstitute, 1950

Глава 4 © Duke University Press, 1999
Глава 10 © Duke University Press, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. А. Дмитриев. Дисциплинарные порядки в гуманитарных и социальных науках.....	7
РАЗДЕЛ I. Порядки и структуры знания: от гуманизма к Просвещению.....	39
Глава 1. П. Соколов. Генеалогия метода в науках об историческом мире	41
Глава 2. Ю. Иванова. «История идей» и «гражданская наука»: границы дисциплинарности в раннее Новое время	53
Глава 3. Н. Осминская. Всеобщая наука, энциклопедия и классификация наук в ранней философии Г.В. Лейбница.....	74
РАЗДЕЛ II. Золотой век дисциплиностроительства	103
Глава 4. Л. Дастон. Дисциплинирование дисциплин: академии и единство знания	105
Глава 5. П. Резвых. Мифология как предмет и дисциплина в романтической <i>Altertumswissenschaft</i>	124
Глава 6. В. Боярченков. Наука русских древностей в первой половине XIX в.	157
Глава 7. В. Берелович. Морфология зачина: жанр предисловия к очерку русской истории (от Татищева к Багалею)	187
Глава 8. М. Тисье. Высококатегорическая дисциплина, неясная наука: теория и практика российского правоведения в конце XIX — начале XX в.	207
Глава 9. Г. Юдин. Наукоучение Эдмунда Гуссерля и кризис теории разделения наук	240
Глава 10. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семёнов. Российская социология в имперском контексте	263
Глава 11. А. Ясницкий. Дисциплинарное становление русской психологии первой половины XX в.	299

Глава 12. <i>А. Филиппов</i> . Советская социология как полицейская наука.....	330
Глава 13. <i>Р. Тоштендаль</i> . Дисциплины и специалисты в практических профессиях и в исследовательской деятельности (ок. 1850–1940 гг.).....	349
РАЗДЕЛ III. «После дисциплин» или новая дисциплинарность?.....	373
Глава 14. <i>Г. Юдин</i> . Социология профессий и социология как профессия.....	375
Глава 15. <i>Б. Степанов</i> . «Как беззаконная комета...»: культурные исследования в поисках академической идентичности	389
Глава 16. <i>И. Савельева</i> . Публичная история: дисциплина или профессия?.....	421
Глава 17. <i>В. Файер</i> . Академический сепаратизм: лингвистика и языкознание в Московском университете	452
Глава 18. <i>М. Дёмин</i> . Дилемма профессии: советские институты и современная университетская философия в России.....	483
Глава 19. <i>Р. Капелюшников</i> . Стратегии поведенческой экономики.....	508
Глава 20. <i>О. Кирчик</i> . Транснациональные иерархии и локальные порядки знания в экономике.....	543
Глава 21. <i>А. Дмитриев, О. Запорожец</i> . Дисциплинарный принцип и аналитика «общества знания»	569
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. А. Дмитриев.	600
ПРИЛОЖЕНИЕ. А. Момильяно. Древняя история и любители древностей (1950).....	604
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.....	649

*Памяти
Андрея Владимировича Полетаева
мы с благодарностью посвящаем эту книгу*

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплинарные порядки

в гуманитарных и социальных науках

Эта книга посвящена дисциплинарности и разным формам ее реализации в развитии наук о человеке. Под дисциплинарностью мы понимаем характерную и устойчивую взаимосвязь определенной области знания (той или иной науки в ряду прочих), специфической образовательной ячейки (особого института, факультета или кафедры/департамента) и отдельной сферы занятий (некоторой академической профессии, специальности). Дисциплинарность может выступать и как *принцип* указанного соединения компонентов, и как определенный исторический и социальный *феномен*, характерный именно для современных обществ. Дисциплина при этом осознается как явление множественное: в отличие от мудрости, знания или науки вообще, каждая дисциплина никогда не тотальна, она партикулярна. Охватывая собственную, выделенную по особым характеристикам сферу, она всегда существует только в ряду прочих дисциплин.

Предлагаемая вниманию читателей монография — попытка общего описания эволюции разных отраслей знания именно как дисциплин, академических или университетских. Это подразумевает и анализ отдельных дисциплин на определенном отрезке их эволюции, и обращение к более систематическим проблемам дисциплинарного развития. Формат *дисциплинарного* устройства наук давно кажется представителям социогуманитарного знания первичным, или само собой разумеющимся: самоидентификация ученых, рубрикация книг и академической периодики, номенклатуры специальностей или набор университетских департаментов/факультетов привычно строятся в самых разных странах или сообществах по базовым блокам, соответствующим спискам наук, которые непременно включают философию, историю, науку о языке и т.д. Между тем правомочность и полнота этих списков не раз подвергались сомнению и ревизии (особенно с 1970-х годов), а сам дисциплинарный подход при более детальном рассмотрении, как будет продемонстрировано далее, обнаруживает свою историческую локализацию¹. Ведь, по мнению большинства исследо-

¹ Применительно к школьным «предметам» см.: *Chervel A. L'histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche // Histoire de l'éducation. 1988. No. 38. P. 59–119; Goodson I.F. School Subjects and Curriculum Change. Case Studies in Curriculum History. L.: The Falmer Press, 1987; The Formation of School Subjects. The Struggle for Creating an American Institution / T.S. Popkewitz (ed.). L.: The Falmer Press, 1987 и обзор: Viñao A. Les disciplines scolaires dans l'historiographie européenne. Angleterre, France, Espagne // Histoire de l'éducation. 2010. No. 125. P. 73–98.*

вателей, он становится ключевым принципом организации науки не раньше первой половины XIX в.², а прежние системы дифференциации знания соотносятся со знакомым нам дисциплинарным делением лишь отдаленно. «Свободные искусства» Средневековья³ и исходное членение университета по факультетам⁴, специализация гуманистических штудий⁵ и само понятие *disciplina* (не имевшее поначалу явных ученых коннотаций⁶), а также многочисленные способы классификации знания, изобретения или переизобретения новых отдельных наук, особенно популярные в раннее Новое время, — все это было только предвосхищением нынешнего, *социально определенного* устройства «древа познания».

Дисциплины складываются в период так называемой второй научной революции в рамках университетов, благодаря системе специализации, работе семинариев и лабораторий⁷. Ведущей страной этого процесса в «долгом девятнадцатом веке» принято считать Германию⁸, хотя для Великобритании маркером дисциплинарного деления может считаться появление в 1810–1830-е годы университетских департаментов (помимо традиционных

² См.: History and the Disciplines. The Reclassification of Knowledge in Early Modern Europe / D.R. Kelley (ed.). Rochester, NY: The University of Rochester Press, 1997; Valenza R. Literature, Language, and the Rise of the Intellectual Disciplines in Britain, 1680–1820. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, а также статью руководителя авторского коллектива, подготовившего шеститомную историю Гумбольдтовского университета в Берлине к его 200-летию юбилею: Tenorth H.-E. Genese der Disziplinen — Die Konstitution der Universität. Zur Einleitung // Geschichte der Universität Unter den Linden. Bd. 4. Berlin: Akademie Verlag, 2010. S. 9–40.

³ См. сборник: The Seven Liberal Arts in the Middle Ages / D.L. Wagner (ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1983 и известную статью: Weisheipl J. Classification of the Sciences in Medieval Thought // Mediaeval Studies. 1965. Vol. 27. P. 54–90.

⁴ Schneider J.H.J. Wissenschaftseinteilung und institutionelle Folgen // Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages / M.J.F.M. Hoenen, J.H.J. Schneider, G. Wieland (eds). Leiden; N.Y.; Köln, 1995. P. 63–121. О кантовском «споре факультетов», за которым еще, по сути, не стояло дисциплинарных различий, см. статьи Рикардо Поццо: Pozzo R. Kant's Streit der Fakultäten and Conditions at Königsberg // History of Universities. 2000. Vol. 16. P. 96–128; Pozzo R., Oberhausen M. The Place of Science in Kant's University // History of Science. 2002. Vol. 40. No. 2. P. 353–368.

⁵ Grafton A., Jardine L. From Humanism to the Humanities. Education and the Liberal Arts in Fifteenth and Sixteenth-Century Europe. L.: Duckworth, 1986.

⁶ См.: Augustine and the Disciplines: From Cassiciacum to Confessions / K. Pollmann, M. Vessey (eds). Oxford: Oxford University Press, 2005.

⁷ Cohen I.B. Revolution in Science. Cambridge, MA.; L.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1985. P. 91–102.

⁸ О Берлинском университете начала 1810-х годов см.: Ziolkowski Th. Clio the Romantic Muse: Historizing the Faculties in Germany. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

колледжей или факультетов)⁹. Во Франции это была деятельность академий и специализированных высших школ¹⁰. И все же связь с прошлыми делениями знания и представление о традициях научного описания человеческого мира были и остаются до сих пор существенными — и потому нам представляется в книге особенно важным подчеркнуть исторические истоки дисциплинарности, нередко упускаемые из виду ее исследователями (в первую очередь теми, кто занят социальными, а не традиционными гуманитарными дисциплинами).

Сам выбор сюжета этой коллективной монографии нуждается, на наш взгляд, в некотором разъяснении. Почему именно феномен научной дисциплины и дисциплинарность как таковая заслуживают детального анализа? Каким этот анализ может и должен быть, и наконец, что это означает — думать о дисциплинарности здесь, в России, и сейчас, в начале XXI века? Эти вопросы, а главное, ответы на них важны не только для довольно узкого круга специалистов по истории или социологии науки. Тема дисциплинарности, объединившая авторов нашей книги, охватывает практически все стороны бытия науки, а не только внутренний ход ее развития, который был в центре внимания классического науковедения (от «Истории научных идей» Уильяма Уэвелла середины XIX в. до «Структуры научных революций» Томаса Куна)¹¹.

Главная особенность книги — соединение углубленного историко-научного анализа, опирающегося на классические работы по истории идей раннего Нового времени (в духе традиции Аби Варбурга или Арнальдо Момильяно), с социологическим подходом и новейшими достижениями историографии социальных наук. В горизонте социологии знания мы будем опираться на работы широкого исследовательского диапазона от известных трудов Фрица Рингера или Пьера Бурдьё до функционалистских исследований Нормана Сторера или Ричарда Уитли. В соответствии с этим в книге по-новому освещены вопросы преемственности в гуманитарных и соци-

⁹ *Burke P.* A Social History of Knowledge. Vol. I: From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity, 2000. P. 91–92 (ch. 5: Classifying Knowledge: Curricula, Libraries and Encyclopaedias).

¹⁰ *Delmas C.* Instituer des savoirs d'État. L'Académie des sciences morales et politiques au XIXe siècle. P.: L'Harmattan, 2006; *Fox R.* The Savant and the State: Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012.

¹¹ *Yeo R.* Defining Science: William Whewell, Natural Knowledge, and Public Debate in Early Victorian Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; *Snyder L.J.* Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society. Chicago: University of Chicago Press, 2006. В материалах авторитетного сборника о Куне (Thomas Kuhn / Th. Nickles (ed.). Cambridge, U.K.; N.Y.: Cambridge University Press, 2003) показано, что в своих работах Кун при главном внимании к эпистемологии последовательно обращался и к проблематике практики, социальных порядков, концептуальной метафоры в науке, открывая новые пути ее понимания.

альных дисциплинах, перераспределение фундаментальных и прикладных областей, обмен идеями и концептуальными моделями между различными дисциплинарными и национальными академическими сообществами.

Нам представляется, что ведущим путем рефлексии проблем дисциплинарности в гуманитарном знании должен быть путь исторический, позволяющий увидеть, как складывались базовые представления о дисциплинах, их специфических методах, сфере анализа, формах соединения — и противопоставления — друг относительно друга. Именно этот ведущий исторический принцип будет реализован авторами монографии в рамках базовых науковедческих подходов: эпистемологического, социологического, включающего организационно-институциональный анализ, культурологического и антропологического (изучение дисциплинарных практик).

Во введении особое внимание будет уделено не только процессу разделения социогуманитарного знания на разные отрасли (и науки), но и более короткой истории осмысления самого принципа дисциплинарности. Однако начать этот обзор кажется целесообразно не *ab ovo*, от истоков, а с указания на ситуацию той самой современности, которая и формирует запрос на новые комплексные исследования дисциплинарного развития. Исходным пунктом здесь будет обращение к естественно-научным и социогуманитарным версиям реализации дисциплинарного принципа.

1. Дисциплинарность в науках о природе и науках о человеке

В отличие от наук о природе, науки о человеке (разные отрасли знания о человеческом мире, а также взаимосвязи между ними) куда реже становятся предметом целостного рассмотрения, которое бы одновременно учитывало действие исторических, социологических и эпистемологических факторов¹². Ведь наука как таковая (начиная с XIX в. и до сих пор) нередко по умолчанию ассоциируется с естествознанием, и большинство общих теорий научного развития, которыми мы располагаем на сегодняшний день, ориентированы именно на дисциплины природоведческие¹³.

¹² См. важные работы середины 1990-х годов об общем соотношении наук о природе и наук об обществе: *The Natural Sciences and the Social Sciences: Some Critical and Historical Perspectives* / I.B. Cohen (ed.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993; *Cohen I.B. Some Contacts between the Natural Sciences and the Social Sciences*. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press, 1994.

¹³ *Dierse U. Das Begriffspaar Naturwissenschaft — Geisteswissenschaft bis zu Dilthey // Kultur verstehen. Zur Geschichte und Theorie der Geisteswissenschaften* / G. Kühne-Bertram, H.-U. Lessing, V. Steenblock (Hrsg.). Würzburg: Königshausen & Neumann, 2003. S. 15–34; Hermann

Нужно также указать, что речь о науке и научности в современном мире заходит чаще всего в связи с англоязычным понятием *science*, которое отнюдь не всегда включает традиционный круг занятий гуманитариев (для общего обозначения которых нередко употребляется английское слово *scholarship*¹⁴). В смысле этой многоохватности наше понимание наук о человеке (*human and social science*) ближе к немецкому *Wissenschaft*, которое применяется и к естественным, и к гуманитарным наукам¹⁵ (а дисциплина как профессия передается по-немецки как *Fach*). Соответственно историко-филологическое знание, философия и т.д. в английском словоупотреблении передается также общим понятием *humanities* (близко к упомянутому выше *scholarship*)¹⁶. Стоит также учесть важную акцентировку в современном понимании *human sciences* — по аналогии с *social sciences* — именно *модерного* компонента, связанного с антропологией, социальной географией и важнейшей ролью психологии и наук о поведении (то же касается и французского *sciences de l'homme*)¹⁷. Для изучения дисциплинарности в гуманитарных науках, на наш взгляд, недостаточно простого переноса объяснительных моделей из опыта изучения наук естественных. Как учесть специфику и разнообразие знаний о человеке в перспективе анализа дисциплинаризации и выстроить обобщающий нарратив, избегая и соблазна мерить их меркой только «строгого знания», и разного рода редукциониз-

von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science / D. Cahan (ed.). Berkeley: University of California Press, 1993; *Lenoir T. Instituting Science: The Cultural Production of Scientific Disciplines*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.

¹⁴ *History of Scholarship: A Selection of Papers from the Seminar on the History of Scholarship Held Annually at the Warburg Institute* / C.R. Ligota, J.-L. Quantin (eds). Oxford: Oxford University Press, 2006.

¹⁵ Это осознавалось уже в конце XVIII столетия: *Meyer A. Von der Wahrheit zur Wahrscheinlichkeit: Die Wissenschaft vom Menschen in der schottischen und deutschen Aufklärung*. Tübingen: Niemeyer, 2008. S. 46–50.

¹⁶ О генезисе современных представлений о «humanities», преимущественно в американском изводе, см.: *Harpham G.G. The Humanities and the Dream of America*. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

¹⁷ В XVIII и XIX вв. в Европе аналогом современных наук о человеке был комплекс моральных и политических наук; знаменитое немецкое понятие *Geisteswissenschaft* появилось в переводе (1849) «Системы логики» Дж.Ст. Милля (1842) именно как аналог *moral sciences* (и было позднее детально разработано у Дильтея в его «Введении в науки о духе» (1883)). См.: *Makkreel R., Luft S. Dilthey and the Neo-Kantians: The Dispute Over the Status of the Human and Cultural Sciences* // *The Routledge Companion to Nineteenth Century Philosophy* / D. Moyal (ed.). L.: Routledge, 2010. P. 554–597; *Makkreel R. The Emergence of the Human Sciences from the Moral Sciences* // *Cambridge History of Nineteenth-Century Philosophy* / A. Wood, S.S. Hahn (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 293–322.

ма? Современная эпистемология науки должна принимать во внимание особенности концептуальной работы и типизации в различных гуманитарных областях, которые выступают также и средствами дисциплинарных разграничений и самоорганизации форм познания¹⁸.

Очень показательно, что сам дисциплинарный принцип организации знания далеко не сразу, а лишь примерно с 1990-х годов становится одной из ведущих тем современного науковедения. Как показывает история, базовые основания развития той или иной науки и научного знания в целом нечасто становятся предметом специального и детального рассмотрения. Эту закономерность (или парадокс) уже более полувека назад особо отметил Томас Кун, который в начале 1960-х отнес рефлексию над основаниями к периодам революционной смены парадигм, нарушающей привычный ход накопления знания в рамках «нормальной науки». В этом смысле изучение дисциплинарности как *формы институционализации знания* — по «нормальной модели» (исследовательская область — специальность — дисциплина), предложенной Норбертом Маллинзом и Ричардом Уитли еще в середине 1970-х годов¹⁹, — уже явно не позволяет охватить сложность современного и исторического деления наук о культуре или наук о природе (см. подробнее в заключительной главе монографии о социологических трактовках дисциплинарности).

Дисциплинарность, безусловно, является одним из таких фундаментальных принципов деления поля знания, в том числе социального и гуманитарного. Означает ли нынешнее обостренное внимание к дисциплинарности, что само развитие наук о человеке в XXI в. вступает в революционную стадию развития, период турбулентности и потрясения основ? Скорее, большинство оценок современной ситуации в гуманитаристике указывает на длительное теоретическое затишье, наступившее после периода обновления середины 1960 — начала 1980-х годов. Это нештатное (выходящее за рамки куновской модели) обострение рефлексии над базовыми принципами, в частности внимание к дисциплинарности, на достаточно стабильной фазе когнитивного развития дополнительно указывает на невозможность прямо-

¹⁸ Kellert S.H. Disciplinary Pluralism for Science Studies // Scientific Pluralism / S.H. Kellert, H.E. Longino, C.K. Waters (eds). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006. P. 215–230; Biagioli M. From Relativism to Contingentism // The Disunity of Science: Boundaries, Contexts, and Power / P. Galison (ed.). Stanford, CA: Stanford University Press, 1996. P. 189–207.

¹⁹ Whitley R. Sociology of Scientific Developments // Perspectives in the Sociology of Science / S.S. Blume (ed.). Chichester: J. Wiley, 1977. P. 21–50; Уитли Р. Когнитивная и социальная институционализация научных специальностей и областей исследования // Научная деятельность: структура и институты. М., 1980. С. 218–257; Маллинз Н. Модель развития теоретических групп в социологии // Научная деятельность: структура и институты. М.: Прогресс, 1980. С. 257–282.

го проецирования закономерностей естествознания на эволюцию гуманитарных наук. Хотя, надо сказать, что сегодня внимание к дисциплинарности вырастает и в науках о природе, особенно после некоторого спада интереса к феномену поли- и трансдисциплинарности, к любому нарушению дисциплинарных границ — веянию, несомненно модному в 1990-е годы и в начале 2000-х годов²⁰. Очень важно, что сейчас тема проницаемости границ дисциплин (и даже разграничения науки и не-науки), которую еще 10 лет назад чаще всего истолковывали в антициентистском или релятивистском ключе, начинает анализироваться как важный фактор поддержания и нового воспроизводства, переопределения этих границ в режиме «новой дисциплинарности» — уже в начале XXI в. (Терри Шинн²¹). А ведь еще 10–20 лет назад многим представлялось, что речь в данном случае идет скорее о феномене прошлого — о быстро устаревающей интеллектуальной практике, связанной с уже уходящими, стабильными и фиксированными формами организации знания. Однако после постмодернистского «натиска» культурных исследований ныне, во втором десятилетии XXI в., уже можно смело говорить о своеобразном ренессансе дисциплинарного принципа. Для конца 2000-х годов характерен рост интереса к феномену дисциплинарности в самых разных академических сообществах — в качестве примера достаточно указать на специальный номер авторитетного журнала «Critical Inquiry» (с участием Джудит Батлер, Марио Бьяджоли и других признанных авторов), французский сборник «Qu'est-ce qu'une discipline?», компаративный труд антиковеда Джеффри Эрнеста Ричарда Ллойда с анализом китайского материала²². Авторитетные отечественные исследования феномена дисциплинарности (А.П. Огурцов, Э.М. Мирский, Б.А. Старостин, М.К. Петров и др.)²³ публиковались еще с конца 1970-х годов и целиком ориентировались

²⁰ Главными работами были исследования Джулии Томпсон Клейн: *Klein J.T. Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice*. Detroit: Wayne State University Press, 1990; *Idem. Humanities, Culture, and Interdisciplinarity: The Changing American Academy*. Albany: State University of New York Press, 2005; см. также: *Repko A. Interdisciplinary Research: Process and Theory*. Thousand Oaks: SAGE, 2011.

²¹ *Marcovich A., Shinn T. Where Is Disciplinarity Going? Meeting on the Borderland*. *Studies of Science and Technology // Social Science Information*. 2011. No. 50 (3–4). P. 582–606.

²² *Critical Inquiry*. 2009. Summer. Vol. 35. No. 4. (рус. пер. одной из статей: *Пост Р. Дискуссии о дисциплинарности // Новое литературное обозрение*. 2011. № 107. С. 12–31); *Qu'est-ce qu'une discipline? / J. Boutier, J.-C. Passeron, J. Revel (eds). P., Éditions de L'EHÉSS, 2006*; *Lloyd G.E.R. Disciplines in the Making: Cross-Cultural Perspectives on Elites, Learning and Innovation*. Oxford: Oxford University Press, 2009. Применительно к гуманитариям: *Marcus S. Humanities from Classics to Cultural Studies: Notes Toward the History of an Idea // Daedalus*. 2006. Vol. 135. No. 2. P. 15–21; *Богданов К.А. Гуманитарий — где, когда и почему: социометрия и (русский) язык // Новое литературное обозрение*. 2006. № 5. С. 18–29.

²³ *Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование*. М.: Наука, 1988.

на опыт западного науковедения времен расцвета структурно-функционалистской парадигмы (хотя и с учетом критики ее со стороны феноменологов или сторонников этнометодологических подходов). При этом в центре анализа оставались философско-методологические стороны познания, в первую очередь связанного с естественно-научными дисциплинами. Содержательные работы отечественных специалистов по методологии и философии науки, появившиеся в 2000-е годы (В.М. Розин, А.В. Юревич²⁴), в целом также не выходят за эти рамки.

При этом и для социологических изысканий (неважно, в традиции Роберта Мёртона, Пьера Бурдьё или программы Science and Technology Studies [STS]), и для историко-научного анализа образцом во многом остаются работы, выполненные на материале естествознания. Давние дебаты о двух культурах (сциентистской и гуманитарной) времен работы Чарльза Питера Сноу (1962) или недавние «научные войны» (в связи с критикой постмодернистских установок в науке после разоблачения «аферы Сокала») только подтверждают важность обращения специалистов по истории гуманитарного знания к компаративным аспектам становления современных наук о природе. Ведь осмысление разных социальных и гуманитарных наук на протяжении последних двух веков, несмотря на все усилия поборников герменевтических или субъектно-ориентированных подходов, выстраивалось именно с оглядкой на образцы, нормы и практики наук естественных²⁵. Эволюционистский подход к истории наук и дисциплин (понимаемых как изменчивые и конкурирующие биологические виды — у Дэвида Халла²⁶), рост когнитивных наук на стыке теорий информации и изучения коммуникации, обществознания, нейробиологии придают дебатам о дисциплинарности новый импульс, далеко уводя их за пределы давней дилеммы «внутреннего» или «внешнего» объяснения²⁷. Кроме того, начиная со времен Просвещения и романтизма, социогуманитарные дисциплины

²⁴ Наиболее показательна здесь коллективная монография: Наука глазами гуманитария / под ред. В.А. Лекторского. М.: Прогресс-Традиция, 2005.

²⁵ *Burnett G.D.* A View from the Bridge: The Two Cultures Debate, Its Legacy, and the History of Science // *Daedalus*. 1999. Vol. 128. No. 2. P. 193–218; *Oexle O.G.* Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Momente einer Problemgeschichte // *Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft. Einheit — Gegensatz — Komplementarität* / O.G. Oexle (Hrsg.). Göttingen, Wallstein-Verlag, 1998. S. 99–151.

²⁶ *Hull D.* Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

²⁷ *Schunn C.D., Crowley K., Okada T.* Cognitive Science: Interdisciplinarity Now and Then // *Interdisciplinary Collaboration: An Emerging Cognitive Science* / S.J. Derry, C.D. Schunn, M.A. Gernsbacher (eds). Mahwah, NJ: Erlbaum, 2005. P. 287–315.

оказываются связаны, с одной стороны, с естественными науками в целом как более успешными и «продвинутыми», а с другой стороны, с динамикой философии (и как одной из гуманитарных наук в кругу прочих, и одновременно — как общей сферы рефлексии эпистемологических и мировоззренческих оснований)²⁸.

Общая тенденция к «сциентизации» социогуманитарного знания, особенно в конце XX столетия, уравнивается или компенсируется обратным движением — укреплением фикционального момента, который связан с социальным воображением, фантазией и художественным творчеством (когда одна волна или очередной «поворот» в гуманитаристике действует не однолинейно, а накладывается на иные схожие тенденции²⁹). При этом понимание гуманитарных дисциплин как *искусств*, а не только наук, по известной формуле Art and Science, свидетельствует отнюдь не об их слабости или незрелости, но и об определенной гибкости в моменты кризиса общества или роста антисциентистских настроений³⁰. И в истории знания близость искусствоведения или филологии к новейшим художественным течениям (как в русском формализме, например) вполне сочетались с установками именно на научную инновацию — против застывшего академизма, что означало переопределение и укрепление, а не «сворачивание» или ликвидацию дисциплинарного принципа.

2. Современность и классика

Последовательно исторический подход и анализ не означает отказа от рациональной реконструкции содержательной общей логики движения разных дисциплин или даже всего поля знания о человеке. Неизбежный презентистский момент, необходимость принимать во внимание современный контекст развития и постановки той или иной научной проблемы не

²⁸ Galison P. Objectivity Is Romantic // Humanities and the Sciences / J. Friedman, P. Galison, S. Haack (eds). Washington: ACLS, 2000. P. 15–43; Veit-Brause I. Scientists and the Cultural Politics of Academic Disciplines in Late 19th-century Germany: Emil Du Bois-Reymond and the Controversy over the Role of the Cultural Sciences // History of the Human Sciences. 2001. Vol. 14. No. 4. P. 31–56.

²⁹ В современной социологии обращение к необходимости «воображения» актуально со времен Ч.Р. Миллса, но также релевантно и для классических текстов (сопоставление Макса Вебера и Томаса Манна, романа-репортажа и социологии Чикагской школы и т.д.). См.: Goldman H. Max Weber and Thomas Mann: Calling and the Shaping of the Self. Berkeley: University of California Press, 1988; Imaginative Methodologies in the Social Sciences: Creativity, Poetics and Rhetoric in Social Research / M.H. Jacobsen, M.S. Drake (eds). Farnham: Ashgate, 2014.

³⁰ Гумбрехт Х.У. Ледяные объятия «научности», или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть «Humanities and Arts» // Новое литературное обозрение. 2006. № 5. С. 7–17.

должен, разумеется, сводиться к «вигскому» приоритету актуальных ценностей в процессе историописания (об опасности которого предупреждал в свое время Герберт Баттерфильд). К сожалению, отставание общеметодологической рефлексии гуманитарных наук (из-за господства догматического и вульгаризованного марксизма) сказалось и в том, что в отечественном науковедении дилемма «презентизм — антикваризм» была разработана еще в 1990-е годы только в плане историографии естествознания³¹. Но, как справедливо указывал в свое время А.В. Полетаев в книге о феномене гуманитарной классики, приоритет в этих разработках принадлежит Роберту Мёртону и с наибольшей полнотой эта дилемма была эксплицирована на примере анализа социальной теории³².

В различных версиях историографии наук о человеке реализовались обе эти логики. В социальном или экономическом знании отчетливее всего проявилась презентистская модель постижения своего академического прошлого³³, в то же время изучение традиционных гуманитарных штудий издавна выстраивалось согласно хронологической канве, как набор детально проработанных «кейсов»³⁴. В нашем исследовании эти подходы сопрягаются на основании принципа историзма, который не сводится только к набору разных и несоизмеримых контекстуалистских реконструкций про-

³¹ Кузнецова Н.И. Презентизм и антикваризм — две картины прошлого // *Arbor Mundi*. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. М., 2009. Вып. 15. С. 164–196; Jardine N. Whigs and Stories: Herbert Butterfield and the Historiography of Science // *History of Science*. 2003. Vol. 41. P. 125–140.

³² Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / под ред. И.М. Савельевой, А.В. Полетаева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. См. также: *Welz F. Zum Verhältnis von Geschichte und Systematik der soziologischen Theorie nach Robert K. Merton* // *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*. Jg. 35. Nr. 3. S. 19–37.

³³ Для экономической науки ведущим остается подход «от современности», представленный, например, в известной работе Марка Блауга: *Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе* / пер. с англ. 4-е изд. М.: Дело ЛТД, 1994. См. спектр разнообразных путей анализа истории экономической мысли в сборнике: *Historians of Economics and Economic Thought: The Construction of Disciplinary Memory* / S. Medema, W. Samuels (eds). L.: Routledge, 2001. Для историографии социологии важной была реплика Р. Джонса (на примере рецепции Дюркгейма): *Jones R.A. On Understanding a Sociological Classic* // *American Journal of Sociology*. 1977. Vol. 83. P. 279–319. См. общий обзор: *Turner S. Defining a Discipline: Sociology and Its Philosophical Problems from Its Classics to 1945* // *Handbook of Philosophy of Anthropology and Sociology* / S. Turner, M. Risjord (eds). Amsterdam: Elsevier, 2007. P. 3–69.

³⁴ Сюда входят и специфика античного наследия, и феномен медиевализма, и важность классики как идентификационного пункта для традиционных гуманитарных дисциплин. См.: *Disciplining Classics* // *Altertumswissenschaft als Beruf* / G.W. Most (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. S. 253–269; *Die modernen Väter der Antike. Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts* / C.G. King (Hrsg.). Berlin: de Gruyter, 2009.

шлого, но ориентирован на поиск и постижение общей логики развития социогуманитарного знания³⁵. Но это сопряжение нельзя реализовать без учета истории дисциплинарного принципа и опыта его рефлексии.

В ходе предпринятого коллективного исследования была подтверждена базовая идея А.В. Полетаева и И.М. Савельевой о необходимости выработки для многомерного анализа прошлой социальной реальности *своего набора* социальных и гуманитарных дисциплин (точнее, аналитических подходов) для каждой из крупных исторических эпох, по крайней мере в европейской истории — для древности, Средневековья и модерна. Более того, речь идет не просто о наших современных дисциплинах (сложившихся в XIX–XX вв.), «приспосабливаемых» под раскрытие внутренней специфики минувшего, ибо такое приспособление на деле подразумевает серьезную внутреннюю ценностную и методологическую перестройку и самих дисциплин, и их общего поля. «Исторический поворот» в социальных науках последних десятилетий демонстрирует важность диахронной перспективы видения и предмета и метода для разных дисциплин в поле наук о человеке³⁶.

Эта историцистская переориентация и усложнение современного аналитического инструментария подразумевает также обращение к тем познавательным комплексам и структурам социального самопознания и самопредставления, которые были выработаны, например, в XVII столетии или в период романтизма. Комплексы прошлых научных и социальных идей — не просто предыстория мысли, которую можно заключить в скобки, они действительны и за пределами своих собственных эпох. Особенно это касается, во-первых, востребованности в разные периоды XX и в начале XXI столетий классических методологических и философских работ раннего Нового времени (например, Декарта, Вико или Гоббса), во-вторых, актуальности историко-научного самосознания для развития конкретных социогуманитарных дисциплин³⁷.

³⁵ О необходимости «умеренного» и рефлексивного презентизма для истории идей и истории науки убедительно писал Карлос Шпёрхазе: *Spoerhase C. Presentism and Precursorship in Intellectual History // Culture, Theory and Critique. 2008. Vol. 49. No. 1. P. 49–72.*

³⁶ См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: В поисках утраченного. М.: Изд-во «Языки русской культуры», 1997. О рождении термина «социальные науки» см.: Head B. The Origins of 'La Science Sociale' in France, 1770–1800 // Australian Journal of French Studies. 1982. Vol. 19. P. 115–132; Wokler R. Ideology and the Origins of Social Science // The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought / M. Goldie, R. Wokler (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 688–710.

³⁷ Ср. показательный и отрефлексированный «двойной» интерес австралийского ученого Иэна Хантера и к истории гуманитарной теории второй половины XX в., и к эпохе Просвещения (промежуточным пунктом размышлений становится расхождение неокантианства и феноменологии в 1910–1920-е годы): Hunter I. Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Idem. The History of Theory // Critical Inquiry. 2006. Vol. 32. No. 4. P. 78–112; Idem. Scenes from the History of Poststructuralism: Davos, Freiburg, Baltimore, Leipzig // New Literary History. 2010. Vol. 41. P. 491–516.

Эти параллельные течения — видоизменения научной классики и историко-дисциплинарная рефлексия³⁸, анализируемая в данном коллективном труде, — дополнительно закрепляют порой кажущиеся «неустойчивыми» гуманитарные дисциплины. Именно поэтому для нас важна преемственность нашей монографии с предыдущими исследованиями Института гуманитарных историко-теоретических исследований, посвященными феномену классики и в гуманитарных, и в социальных науках³⁹. Учет диахронного измерения в эволюции социогуманитарного знания важен для реализации нашего замысла, поскольку дает возможность рассматривать динамику разных наук в их содержательных пересечениях и на общих институциональных площадках (например, в рамках университета эпохи Просвещения или в советской академической системе). Это во многом позволяет избежать эклектики и погони за едва достижимой полнотой описания, когда в жанре энциклопедических очерков разные дисциплинарные истории с их шаблонами и стереотипами непроблематично соплагаются друг рядом с другом (к истории философии механически добавляется история исторической науки, затем следует история социологии, история психологии и т.д.⁴⁰). Искомый синтез не может быть абсолютно нейтральным или симметричным, выстроенным в неких искусственно заданных науковедческих координатах, абстрагированных от эволюции как конкретных дисциплин, так и общенаучной или философской рефлексии. Ведь и сам разговор о дисциплинарности неизбежно разворачивается на том или ином специализированном, уже дисциплинарном языке, в зависимости от выбранного ракурса или самоидентификации исследователя — специалист по методологии науки (читай — естествознания) или философии знания, историк или антрополог обычно рассуждают о критериях и факторах дисциплинарного развития в «своих» понятийных категориях. Традиционно в качестве ведущих конструктивных принципов развития дисциплины выделяются, с одной

³⁸ См. ее очерк на примере филологии: *Hummel P. Histoire de l'histoire de la philologie: étude d'un genre épistémologique et bibliographique*. Genève: Droz, 2000.

³⁹ Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / под ред. И.М. Савельевой, А.В. Полетаева. Классическое наследие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.

⁴⁰ Примеры удачного синтеза, в домене немецкоязычной историографии: *Kultur und Kulturwissenschaften um 1900. Krise der Moderne und Glaube an die Wissenschaft* / R. vom Bruch, F.W. Graf, G. Hübingер (Hrsg.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1989; *Kultur und Kulturwissenschaften um 1900 II: Idealismus und Positivismus*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1997, применительно к экономике и юриспруденции — *Deutsche Geisteswissenschaften zwischen Kaiserreich und Republik. Zur Entwicklung von Nationalökonomie, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft im 20. Jahrhundert* / B. Scheffold, K. W. Nörr, F. Tenbruck (Hrsg.). Stuttgart: Steiner, 1994; *Kersten J. Georg Jellinek und die klassische Staatslehre*. Tübingen: Mohr-Siebeck, 2000; *Krise des Historismus, Krise der Wirklichkeit: Wissenschaft, Kunst und Literatur 1880–1932* / O.G. Oexle (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007; *Glaeser J. Der Werturteilsstreit in der deutschen Nationalökonomie: Max Weber, Werner Sombart und die Ideale der Sozialpolitik*. Weimar: Metropolis-Verlag, 2014.

стороны, *когнитивная, содержательная сторона* ее эволюции (парадигмальные установки, специфика метода и подхода, присущие той или иной области знания) — ее изучают, скорее всего, специалисты по истории или эпистемологии науки от неокантианцев до критиков и сторонников Томаса Куна или Имре Лакатоса⁴¹. *Институциональные рамки* (номенклатура университетских подразделений, академических кафедр, квалификационных и коммуникативных ячеек) является предметом занятий историков науки и образования, но в первую очередь — социологов, так или иначе связанных с традициями Роберта Мёртона или Пьера Бурдьё⁴². Одной из активно исследуемых в последние десятилетия сторон развития науки является опосредующая сфера особых, отличительных и устойчивых *исследовательских практик*, ассоциируемых именно с той или иной дисциплиной. Процессы дифференциации специфических способов деятельности в той или иной науке, техник изучения именно «своего» материала исследует социология науки, ориентированная на антропологические методы описания (здесь выделяют признанные уже классическими работы конца 1970 — середины 1980-х годов — книги Бруно Латура и Стива Вулгара о «лабораторной жизни» и Карин Кнорр-Цетины о выработке [manufacturing] научного знания)⁴³. Но и более новые обобщающие работы по истории наук о человеке отчетливо тяготеют к дисциплинарной идентичности их авторов — в случае Дональда Левине это социология⁴⁴, в самой обстоятельной книге об эволюции human sciences явно сказывается психологическая специальность Роджера Смита⁴⁵, работа Брюса Мазлиша о «неточных науках»⁴⁶ написана именно историком, а вышедшая недавно по-английски монография голландского лингвиста Ренса Бода⁴⁷, соответственно, отражает его интерес к знаковым системам, музыкологии, способам письма, риторике и коммуникации.

⁴¹ См.: *Collini St.* “Disciplinary History” and “Intellectual History”: Reflections on the Historiography of the Social Sciences in Britain and France // *Revue de synthese*. 1988. Vol. 3. No. 4. P. 387–399.

⁴² См., например: *Pour une histoire des sciences sociales: hommage à Pierre Bourdieu* / J. Heilbron, R. Lenoir, G. Sapiro (eds). P.: Fayard, 2004.

⁴³ *Latour B., Woolgar S.* Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979; *Knorr-Cetina K.D.* The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon Press, 1981.

⁴⁴ *Levine D.N.* Visions of the Sociological Tradition. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1995.

⁴⁵ *Smith R.* The Fontana History of the Human Sciences. L.: Fontana, 1997.

⁴⁶ *Mazlish B.* The Uncertain Sciences. New Haven: Yale University Press, 1998.

⁴⁷ *Bod R.* A New History of the Humanities: The Search for Principles and Patterns from Antiquity to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2013. См. также первый том из готовящегося трехтомника (второй том вышел в 2012 г.): *The Making of the Humanities. Vol. I: The Humanities in Early Modern Europe* / R. Bod, J. Maat, T. Weststeijn (eds). Amsterdam, 2010.

3. Дисциплины в их истории: проблема периодизации

Существует несколько способов описания хронологии гуманитарных и социальных наук, включая работы по динамике разных национальных научных сообществ. Нас интересовала не история отдельных наук как таковая (часто отсчитываемая с античности), но развитие их в качестве дисциплин, в соотнесении и взаимодействии друг с другом. А это существенно меняет и акценты стандартного историко-научного исследования, и привычную периодизацию, подразумевает плюрализм потенциальных картин прошлого. Вслед за авторитетным исследователем истории социальной теории Йоханом Хейлброном⁴⁸, описывающим режимы дисциплинарности на основе идей Бурдьё, отметим три базовых этапа развития современных наук о человеке — как «классических» (филология, история), так и «новых», вроде социологии или психологии.

1. Это «эпоха водораздела» (*Sattelzeit* — по Козеллеку), 1750–1850 гг., когда происходит становление исходных постулатов дисциплинарного развития в основных отраслях науки о человеке. Наследие классического века⁴⁹, просветительские рационалистические доктрины о «человеческой природе» и эмпирическом разнообразии нравов, а также романтический подход (Гердер) с элементами историцистского мышления — приложение этих общих познавательных установок к разнообразному конкретному материалу дало возможность реализоваться специализированной учености в университетах и академиях Европы, Америки и России. Постулирование научности нового знания о человеке (в отличие от традиционного «знаточества», прежней любительской деятельности обществ и ассоциаций), расширение и специализация поля исследований, обращение к статистическим и географическим данным — все это позволило выстраивать ландшафт знаний о человеке уже по определенным кластерам⁵⁰. Особенно значимым было распространение специализации и профессиональной модели в системе высшего образования, благодаря рецепции реформ Гумбольдта и схожих

⁴⁸ *Heilbron J.* A Regime of Disciplines: Towards a Historical Sociology of Disciplinary Knowledge // *The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in a Postdisciplinary Age* / C. Camic, H. Joas (eds). Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. P. 23–42.

⁴⁹ *Boer den P.* Neohumanism: Concepts, Ideas, Identities, Identification // *The Impact of Classical Greece on European and National Identities* / M. Haagsma, W. den Boer, E. Moormann (eds). Amsterdam: Gieben, 2003.

⁵⁰ *Diemer A.* Die Begründung des Wissenschaftscharakters der Wissenschaft im 19. Jahrhundert: die Wissenschaftstheorie zwischen klassischer und moderner Wissenschaftskonzeption // *Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert: Vorträge und Diskussionen im Dezember 1965 und 1966 in Düsseldorf*. Meisenheim am Glan: Hain, 1968. S. 3–62.

новаций в европейских странах⁵¹. Первенство в деле дисциплинаризации принадлежит скорее историко-филологическим дисциплинам (в частности, благодаря системе семинаров)⁵². Именно тогда формируются словари ключевых понятий современных дисциплин, складывается представление о взаимном соответствии между теми или иными отраслями знания и факультетами, академическими кафедрами и определенными профессиональными сообществами. Социология (и психология, понятая как продолжение физиологии) отделяются — под знаком позитивизма — от прежних наук о человеке и начинают им противостоять, постепенно обретая признание и на институциональном уровне⁵³.

2. 1890–1920-е годы — период интенсивного онаучивания и модернистских импульсов, оказавших влияние на формирование главных исследовательских программ в поле наук о человеке⁵⁴. Новые социальные науки (социология и наука о политике), экономика, широко использующая математические модели, и экспериментальная психология укрепляют свой методологический статус и публичный престиж — что приводит к созданию новых департаментов и факультетов или переориентации уже существующих. Рубеж веков ознаменовался конфликтами (правда, скорее идеологическими, чем дисциплинарными) между сторонниками традиционной гуманитарной учености и приверженцами новых, «точных» стратегий в науках о человеке; особенной возмутительницей спокойствия была именно социология, как правило, связанная с прогрессистскими общественными тенденциями и политическими движениями⁵⁵. Добавим — это было и время кризиса, особенно после Первой мировой войны, и неокантианского иде-

⁵¹ См.: Humboldt International. Der Export des deutschen Universitaetsmodells im 19. und 20. Jahrhundert / R.Ch. Schwinges (Hrsg.). Basel: Schwabe, 2001.

⁵² См. материалы блока по истории филологии первой половины XIX в. в: Новое литературное обозрение. 2006. № 82 (ст. М. Эспаня, Р.Ст. Тёрнера и Э. Графтона).

⁵³ См.: Plé B. Die "Welt" aus den Wissenschaften. Der Positivismus in Frankreich, England und Italien von 1848 bis ins zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Eine wissenssoziologische Studie. Stuttgart: Klett-Cotta, 1996; Schneider C.M. Wilhelm Wundts Völkerpsychologie: Entstehung und Entwicklung eines in Vergessenheit geratenen, wissenschaftshistorisch relevanten Fachgebietes. Bonn: Bouvier, 1990; в интернациональном масштабе: Fuchs E. English Positivism and German Historicism: The Reception of "Scientific History" in Germany // British and German Historiography 1750–1950. Traditions, Perceptions, and Transfers / B. Stuchtey, P. Wende (eds). Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2000. P. 229–250.

⁵⁴ Modernist Impulses in the Human Sciences, 1870–1930 / D. Ross (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994; Disciplinary at the Fin de Siecle / A. Anderson, J. Valente (eds). Princeton, 2001.

⁵⁵ См. французский пример: Clark T.N. Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sciences. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973. P. 186–194.

ализма и эволюционистского позитивизма⁵⁶. К концу этого периода важно также отметить рост интереса к историцистским построениям, целостным моделям и таким разным доктринам, как феноменология и марксизм⁵⁷.

3. Период после 1945 г., когда складывается современная и привычная нам сеть институций и методологических представлений о содержании и границах главных гуманитарных и социальных дисциплин. Главной моделью организации науки становится формат Big Science — не только в подражание естественным наукам, но и в связи с практическим использованием результатов академической работы, широким распространением экспертных исследований, прикладными запросами государства всеобщего благосостояния⁵⁸. На этом этапе в гуманитарных науках особенно выделяется рост популярности структуралистских или функциональных моделей с постепенным нарастанием критики сциентистских допущений и аксиом 1960-х годов⁵⁹. Особенное влияние, помимо экономики, приобретают дисциплины, занимающиеся психологической проблематикой, поведенческими аспектами социального, экономического развития, а также антропология, в ином свете представляющая базовые постулаты прежних представлений о человеке⁶⁰. И логика комплексной реконструкции настоящей и прошлой социальной реальности, и политика фондов, существенно влияющих на приоритеты социогуманитарного знания в западном мире во второй половине XX в., ориентируют на создание и распространение различных форм междисциплинарного взаимодействия или продвижение проектов на стыке нескольких исследовательских областей⁶¹.

⁵⁶ См.: *Bambach Ch.* Heidegger, Dilthey, and the Crisis of Historicism. Ithaca: Cornell University Press, 1995 и рассуждения о связи кризиса неокантианства и перемен в историописании: *Копсов Н.Е.* Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

⁵⁷ Из обширной литературы о гуманитарных науках периода нацизма отметим представительный сборник об эволюции литературоведения: *Literaturwissenschaft und Nationalsozialismus* / Н. Dainat, L. Danneberg (Hrsg.). Tübingen: Niemeyer, 2003.

⁵⁸ *Manicas Peter.* The Social Sciences since World War II: The Rise and Fall of Scientism // *The SAGE Handbook of Social Science Methodology* / W. Outhwaite, St.P. Turner. (eds). L.: SAGE, 2007. P. 7–31; *The History of the Social Sciences since 1945* / R. Backhouse, P. Fontaine (eds). N.Y.: Cambridge University Press, 2010.

⁵⁹ *The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and Its Epistemological Others* / G. Steinmetz (ed.). Durham; L.: Duke University Press, 2005.

⁶⁰ Политические аспекты этих научных процессов обсуждаются в недавнем сборнике: *Cold War Social Science: Knowledge Production, Liberal Democracy and Human Nature* / М. Solovey, Н. Cravens (eds). N.Y.: Palgrave, 2012.

⁶¹ На примере французского «Дома наук о человеке», созданного по инициативе Ф. Броделя и его соратников: *Бикбов А.* Институты слабой дисциплины // *Новое литературное обозрение.* 2006. № 1 (77). С. 340–363.

Выделяя эти три базовых периода, Йохан Хейлброн отталкивался и от функционалистского анализа (Никлас Луман, Рудольф Штихве⁶²), и от историко-познавательных периодизаций раннего Фуко («Слова и вещи»), стремясь переосмыслить эти подходы к дисциплинарности в духе исторической социологии научного развития. Однако, на наш взгляд, Хейлброн недостаточно учитывал несходство динамики, с одной стороны, наук об обществе и, с другой стороны, «чисто гуманитарных» дисциплин, а также слишком бегло коснулся эволюции методологических идей. Именно эта задача исторического и социологически насыщенного описания, не сводимая к выстраиванию линейной, единой и всеобъемлющей модели «дисциплинарности» знания, и стояла перед авторами книги.

Мы опирались на целый ряд исследований, которые позволяют увидеть картину развития ключевых социогуманитарных дисциплин, существенно отличающуюся от той, что до сих пор представлена в большинстве учебников (методология которых сложилась еще в 1970–1980-е годы). В качестве ориентиров для нашей монографии следует назвать и зарекомендовавшие себя методологически выверенные работы Мартина Куша о психологизме⁶³ или Курта Данцигера о субъекте как ключевой категории психологической науки в XIX столетии⁶⁴, и монографические исследования отдельных дисциплин по странам — таковы работы Стефана Коллини и Ребы Соффер (для Великобритании)⁶⁵, Лорана Мюкьелли и Оливье Дюмулена (для Франции)⁶⁶, Бернда Фауленбаха и Петера Шёттлера (для Германии)⁶⁷. Отдельно стоит упомянуть пионерскую работу Вольфа Лепениеса («Три культуры», 1985)⁶⁸

⁶² *Stichweh R.* Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland, 1740–1890. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.

⁶³ *Kusch M.* Psychologism: A Case Study in the Sociology of Philosophical Knowledge. L.: Routledge, 1995.

⁶⁴ *Danziger K.* Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

⁶⁵ *Collini S.* Public Moralists: Political Thought and Intellectual Life in Britain, 1850–1930. Oxford: Clarendon Press, 1991; *Soffer R.* Discipline and Power: The University, History, and the Making of an English Elite, 1870–1930. Stanford, CA: Stanford University Press, 1995.

⁶⁶ *Mucchielli L.* La découverte du social. Naissance de la sociologie en France (1870–1914). P.: Éd. La Découverte, 1998; *Dumoulin O.* Le Rôle social de l'historien. P.: Michel, 2003.

⁶⁷ *Faulenbach B.* Ideologie des deutschen Weges: Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München: Beck, 1980; *Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945 / P. Schöttler (Hrsg.).* Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1997.

⁶⁸ *Lepenies W.* Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. München u.a.: Hanser, 1985.

о становлении социологической традиции в разных национальных сообществах и исследование Петера Вагнера («Социальные науки и государство», 1990)⁶⁹ о влиянии потестарных институтов (в их интервенционистской ипостаси) на обществознание XX в.

4. Рефлексия дисциплинарности

Если теперь, опираясь на представленную выше схему эволюции режимов дисциплинарности, попытаться выделить главные этапы *рефлексии* дисциплинарности, то бросится в глаза характерное отставание теоретической мысли от соответствующей практики дисциплинароустраивательства. Ведь в отличие от самих дисциплин, формирование базовых историографических традиций в большинстве наук о человеке пришлось уже на первые десятилетия XX в. Хотя первые обобщающие труды по истории классических штудий, систематические историко-философские очерки, появились еще в «классическую эпоху», а в период Просвещения даже становились учебными руководствами⁷⁰, все таки эта сфера историко-научных штудий несла на себе печать прежней вспомогательной (или дилетантской) работы ученых на отдыхе. Занятия историей своей науки еще не были тогда специфическим средством продвижения и укрепления своей дисциплины. Пожалуй, именно с философии в немецких университетах уже с середины XIX в. начинается использование историографии конкретной науки для повышения ее статуса — и именно как отдельной дисциплины, а не пропедевтического курса всей совокупности знаний⁷¹. Другой пример дает история, где изучение прошлого исторической науки в XIX в. в разных национальных традициях работало скорее на самосознание профессии (или на представление науки о прошлом как формы национального самосознания), чем на методологическое совершенствование ремесла⁷². Здесь, как и в филологии,

⁶⁹ Wagner P. Sozialwissenschaften und Staat. Frankreich, Italien, Deutschland 1870–1980. Frankfurt a. M.: Campus-Verlag, 1990.

⁷⁰ Philologie und Erkenntnis. Beiträge zu Begriff und Problem frühneuzeitlicher “Philologie” / R. Häfner (Hrsg.). Tübingen: Niemeyer, 2001; Philologie als Wissensmodell / La philologie comme modèle de savoir / D. Thouard, F. Vollhardt, F. Mariani Zini (Hrsg.). Berlin; N.Y.: de Gruyter, 2010; Trevor-Roper H. History and the Enlightenment. New Haven: Yale University Press, 2010.

⁷¹ Models of the History of Philosophy. Vol. II: From Cartesian Age to Brucker / G. Santinello (ed.). Dordrecht: Springer, 2011.

⁷² Scattola M. Historia literaria als historia pragmatica. Die pragmatische Bedeutung der Geschichtsschreibung im intellektuellen Unternehmen der Gelehrtengegeschichte // Historia literaria. Neuordnungen des Wissens im 17. und 18. Jahrhundert / F. Grunert, F. Vollhardt (Hrsg.). Berlin: Akademie Verlag, 2007. S. 37–63.

появление компаративных сюжетов в истории своей дисциплины означало выход на новую ступень дисциплинарной рефлексии⁷³. В этом качестве следует рассматривать книги швейцарского историка Эдуарда Фютера (1876–1928)⁷⁴ и британца Джорджа Пибоди Гуча (1873–1968)⁷⁵; сюда можно отнести и «Главные течения русской исторической мысли» (1896) Павла Милюкова, а также сводную книгу американца Генри Элмера Барнса (1889–1968) по историографии⁷⁶. В 1920-е годы появляются работы Эдвина Боринга об истории экспериментальной психологии⁷⁷, книга Питири-ма Сорокина о течениях социологической мысли (1928)⁷⁸ и обобщающий труд Ульриха фон Вилламовица по истории античной филологии⁷⁹. К этому кругу обобщающих трудов можно отнести и опубликованную посмертно «Историю экономического анализа» (1954) Йозефа Шумпетера. Эти работы еще не образуют никакого общего горизонта (например, истории знания о человеке в целом); скорее фоном, чем прямым образцом для них может служить историография естественных наук. Интересно, что именно тогда американский историк Джордж Сартон предпринимает решающие усилия по институционализации истории науки — собственно говоря, истории естествознания — и ставит вопрос о целостной картине развития представлений о природе, вопреки растущей специализации и дифференциации⁸⁰.

⁷³ Klein K.L. *From History to Theory*. Berkeley: University of California Press, 2011 (ch. 1: Rise and Fall of Historiography).

⁷⁴ Fueter E. *Geschichte der neueren Historiographie*. München; Berlin: R. Oldenbourg, 1911 (3. Aufl. 1936; Reprint: Zürich: Orell Füssli, 1985). О нем см. небольшую работу: Peyer H.C. *Der Historiker Eduard Fueter 1876–1928. Leben und Werk*. Zürich: Beer, 1982.

⁷⁵ Gooch G.P. *History and Historians in the Nineteenth Century*. L.: Longmans, Green, 1913; *Shotwell J.T. An Introduction to the History of History*. N.Y.: Columbia University Press, 1922.

⁷⁶ Barnes H.E. *History of Historical Writing*. Norman: University of Oklahoma Press, 1938 (ранним прообразом книги была большая статья Барнса 1919 г. об истории науки о прошлом в Американской энциклопедии).

⁷⁷ Boring E.G. *A History of Experimental Psychology*. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1929 (2nd. ed. 1950). См. о контексте появления этой книги: *Capshew J. Psychologists on the March: Science, Practice and Professional Identity in America, 1923–1969*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 25–28.

⁷⁸ Sorokin P.A. *Contemporary Sociological Theories*. N.Y.: Harper and Row, 1928.

⁷⁹ Wilamowitz-Moellendorf U. von. *Geschichte der Philologie*. Stuttgart; Leipzig: B.G. Teubner, 1921 (переиздана в 1998; переведена на англ. и итал. языки).

⁸⁰ См.: *Pyenson L. The Passion of George Sarton: A Modern Marriage and Its Discipline*. Philadelphia, 1995 и важную статью: *Idem. Comparative History of Science // History of Science*. 2002. Vol. 40. No. 1. March. P. 1–33.

Конец 1930-х годов стал временем разработки (усилиями Отто Нейрата и его единомышленников, эмигрировавших из Вены в США) той энциклопедической модели «единства науки» на основе позитивистских постулатов и приоритета естествознания, которая еще несколько десятилетий пользовалась немалой популярностью и в Европе, и в Северной Америке⁸¹.

Следующий пик теоретической разработки проблем дисциплинарности (в области ее истории) пришелся на конец 1950 — первую половину 1960-х годов. В этот период предметом публичного внимания стал «спор о двух культурах» писателя и популяризатора науки Чарльза Сноу и литературного критика Фрэнка Р. Ливиса в Великобритании⁸², вышла книга Томаса Куна «Структура научных революций», а Мишель Фуко написал «Слова и вещи» — книгу, посвященную «археологии гуманитарных наук» и сразу ставшую интеллектуальным бестселлером. Указанные работы немедленно получили известность далеко за пределами локальных научных и культурных сообществ, в которых были созданы⁸³. Преодолев и цензурные препоны «второго мира», они завоевали признание также по ту сторону «железного занавеса». И ученым вообще, и гуманитариям в частности⁸⁴, эти книги предложили актуальный и социально ангажированный язык самопонимания, развернутый в прошлое, словарь рабочих понятий и ряд ярких, узнаваемых метафор, теоретически нагруженную характеристику истоков и оригинальных черт структурализма, завоевывающего себе все больше

⁸¹ Galison P. The Americanization of Unity of Science // *Daedalus*. 1998. Winter. Vol. 127. P. 45–71; Reisch G.A. Disunity in the International Encyclopedia of Unified Science // *Logical Empiricism in North America. Minnesota Studies in the Philosophy of Science*. Vol. 18 / G.L. Hardcastle, A.W. Richardson (eds). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. P. 197–215; Nemeth E. Logical Empiricism and the History and Sociology of Science // *The Cambridge Companion to Logical Empiricism* / A.W. Richardson, T.E. Uebel (eds). N.Y.: Cambridge University Press, 2007. P. 278–304.

⁸² См. об истории этой дискуссии: Ortolano G. *The Two Cultures Controversy: Science, Literature, Politics in Cultural Politics in Postwar Britain*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

⁸³ В настоящее время появились серьезные работы о французском контексте ранней теории науки у Фуко, связанном с влиянием Ж. Кангильема, А. Койре и феноменологической традиции: Chimisso C. *Writing the History of the Mind: Philosophy and Science in France, 1900 to 1960s*. Aldershot: Ashgate, 2008 и резюмирующий очерк: Basso E. *On Historicity and Transcendentalism Again. Foucault's Trajectory from Existential Psychiatry to Historical Epistemology* // *Foucault Studies*. 2012. September. Vol. 14. P. 154–178.

⁸⁴ Любопытно, что сам Кун задним числом подчеркивал особую значимость для своей главной книги именно гуманитарной философской рефлексии, развернутой в историко-научном плане. По его признанию, сочинения Макса Вебера и Эрнста Кассирера «описывали социальные науки очень близко к тому способу описания, который я надеялся предложить для физических наук» (Кун Т. *Естественные и гуманитарные науки* [1989] // Кун Т. *После «Структуры научных революций»* / пер. с англ. М.: АСТ, 2014. С. 299).

поклонников⁸⁵. Работа Фуко, например, превзошла масштабный и долготный (но на ее фоне явно старомодный) проект по изучению гуманитарных наук его старшего современника — французского философа Жоржа Гусдорфа (1912–2000)⁸⁶. Показательно, что у Куна, начиная с послесловия (1970) к его главной книге, идея *дисциплинарной матрицы* фактически заменяет ключевое прежде понятие парадигмы; оно так и не стало ключом к историко-научным описаниям главных наук о природе (физики, химии, математики) XIX в.⁸⁷, зато открыло дорогу разностороннему изучению академических практик. Последующие два десятилетия именно приложение идей Куна к истории той или иной гуманитарной науки (даже если ответ о возможности применения понятия «научная революция» был, как правило, скептическим) уже само по себе стало показателем растущей однородности языка дисциплинарной рефлексии⁸⁸. Устойчивый рост институциональных показателей научного развития во всем мире, технизация и стандартизация работы, выход вперед социальных дисциплин и психологии (*behavioral sciences*⁸⁹) также способствовали развитию исторического «самосознания» разных подразделений гуманитарного знания. И развитие социологии науки, и рост популярности социологических методов у гуманитариев (все равно, у последователей ли Франкфуртской школы, у социоаналитического подхода Бурдьё или в духе «сильной программы» социологии знания) демонстрировали важный сдвиг от исходного эпистемологического полюса самопонимания науки к «популяционным» моделям ее развития⁹⁰. Заимствованное из биологии понятие «популяции» отсылает не к эволюционист-

⁸⁵ Functions and Uses of Disciplinary Histories / P. Weingart, L. Graham, W. Lepenies (eds). *Sociology of the Sciences Yearbook*. Vol. 7. Dordrecht: Reidel, 1983; Lovett B.J. *The New History of Psychology: A Review and Critique* // *History of Psychology*. 2006. Vol. 9. No. 1. P. 17–37.

⁸⁶ *Gusdorf G. Les Sciences humaines et la pensée occidentale*. Vol. 1–12. P.: Payot, 1967–1985.

⁸⁷ О внутренних противоречиях понятия «дисциплинарной матрицы» у Куна см. замечания одного из самых тщательных исследователей его творчества: *Hoyningen-Huene P. Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science*. Chicago: University of Chicago Press. 1993. P. 157–159.

⁸⁸ См. представительный сборник: *Paradigms and Revolutions: Appraisals and Applications of Thomas Kuhn's Philosophy of Science* / G. Gutting (ed.). Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1980 (в частности, в нем помещена и характерная статья Д. Холлинджера: *Hollinger D. T.S. Kuhn's Theory of Science and Its Implications for History* // *The American Historical Review*. 1973. April. Vol. 78. No. 2. P. 370–393).

⁸⁹ См.: *Internationalizing the History of Psychology* / A.C. Brock (ed.). N.Y.: New York University Press, 2006.

⁹⁰ См. выводы масштабного трехтомного исследования А.П. Огурцова по философии науки: *Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век: Концепции и проблемы: в 3-х ч.* СПб.: Мирь, 2011.

ским моделям Стивена Тулмина⁹¹, а к видению науки в первую очередь с точки зрения конкуренции и столкновения групповых интересов, перераспределения власти, контроля ресурсов. Описание развития прошлого социальных наук в смысле «экологии дисциплин» уже в начале 1970-х годов⁹² стало важным свидетельством отхода от традиционных историко-научных нарративов в пользу комплексного науковедческого анализа (с обращением к социологии науки, организационным теориям и т.д.). Уже к середине века, по сути, отходит на периферию содержательной рефлексии проблематика классификации наук, ранее столь занимавшая умы ученых и философов от Бэкона и Ампера до Больцано и Спенсера⁹³, — она сменяется комплексом вопросов о социальной организации науки, в том числе и по дисциплинарному признаку⁹⁴.

В 1980-е годы наступает время сознательной координации и объединения усилий ученых разных стран для целостной реконструкции истории наук о человеке. И первенствующую роль тут играют социальные науки (перехватив гегемонию у классических гуманитарных) — именно вокруг истории социологии и эволюции социальной теории концентрируются основные усилия историков знания, философов⁹⁵. Это, конечно, связано и с количественным ростом научных и вузовских структур, готовящих специалистов соответствующего профиля. С 1960-х годов появляются специализированные общества (или секции больших дисциплинарных ассоциаций), а также журналы по истории наук о человеке — вначале по психологии и экономике (в США — «Journal of the History of the Behavioral Sciences» с 1965 г., «History of Political Economy» с 1969-го, в Великобритании — «Journal of the History of Economic Thought» с 1979-го, «History of Human Sciences» —

⁹¹ Тулмин С. Человеческое познание / пер. с англ. М.: Прогресс, 1984.

⁹² См. статью Эдуарда Шилза о развитии социологии: *Shils E. Tradition, Ecology, and Institution in the History of Sociology // Daedalus. 1970. Vol. 99. P. 760–825.*

⁹³ См.: *Dolby R.G.A. Classification of the Sciences. The Nineteenth Century Tradition // Classifications in Their Social Context / R.F. Ellen, D. Reason (eds). L.: Academic Press, 1979. P. 167–193.* О классификации наук у Конта: *Petit A. Genèse de la classification des sciences d'Auguste Comte // Revue de Synthèse. 1994. Vol. 115. No. 1. P. 71–102.*

⁹⁴ «Лебединая песнь» этого жанра в СССР — трехтомная работа академика Б.М. Кедрова «Классификация наук» (1961, 1965, 1985), где в основу положена идея уровней движения материи. Российские дореволюционные варианты классификаций (Грот, Пачоский, Личков) систематизированы в кн.: *Ивановский В.Н. Методологическое введение в науку и философию. Т. 1. Минск: Белтрестпечат, 1923. Ср., впрочем: Гражданников Е.Д. Метод построения системной классификации наук. Новосибирск: Наука (Сиб. отделение), 1987.*

⁹⁵ См.: *Lloyd Ch. Toward Unification: Beyond the Antinomies of Knowledge in Historical Social Science // History and Theory. Vol. 47. P. 396–412.*

с 1988-го, во Франции — «Revue d'Histoire des Sciences Humaines» с 1999 г.), затем и по истории социальных наук, а также сериальные издания по истории исторической науки. С одной стороны, на сегодняшний день широта и качество обсуждения творчества классиков социологии (Маркса, Вебера, Дюркгейма)⁹⁶ намного превосходят «традиционную» разработку наследия Ранке, Дройзена, Гумбольдта или Шлейермахера⁹⁷ и становятся вполне сопоставимы с экзегетическими «индустриями» изучения великих философов, вроде Платона, Гегеля или Витгенштейна⁹⁸. С другой стороны, обращение к истории понятий в европейском контексте (от Квентина Скиннера и Райнхарда Козеллека до Лютца Данненберга, включая и метафорологию Ханса Блюменберга⁹⁹) существенно расширяют поле историко-методологической рефлексии у гуманитариев.

Важную роль в глобальной интеграции социального знания уже после стабилизации дисциплинарных комплексов играют англоязычные энци-

⁹⁶ Для интернациональной историографии социологии отметим четырехтомник: *Geschichte der Soziologie: Studien zur kognitiven, sozialen und historischen Identität einer Disziplin*. Bd. 1–4 / W. Lepenies (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. О современном состоянии историографии в Германии: *Neue Zugänge zur Geschichte der Geschichtswissenschaft* / J. Eckel, Th. Etzemüller (Hrsg.). Göttingen: Wallstein, 2007.

⁹⁷ Впрочем, в последнее время появилось несколько нестандартных работ по интерпретации классиков гуманитарного знания: *Marchand S. Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750–1970*. Princeton: Princeton University Press, 1996; *Савельева И.М. Обретение метода // Дройзен И.Г. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории*. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 5–23; *Eskildsen K.R. Leopold Ranke's Archival Turn: Location and Evidence in Modern Historiography // Modern Intellectual History*. 2008. Vol. 5. P. 425–453; *August Boeckh: Philologie, Hermeneutik und Wissenschaftspolitik* / C. Hackel, S. Seifert (Hrsg.). Berlin: BVM Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013; *Wimmer M. On Sources. Mythical and Historical Thinking in Fin-de-Siècle Vienna // Res. Journal for Anthropology and Aesthetics. Special Issue "Wet/Dry"*. 2013. Vol. 2. No. 1. P. 108–124.

⁹⁸ У историков философии важной методологической точкой отсчета стала коллективная работа: *Philosophy in History* / R. Rorty, J. B. Schneewind, Q. Skinner (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1984; у историков филологии — сборник: *Philologie und Hermeneutik im 19. Jahrhundert: zur Geschichte und Methodologie der Geisteswissenschaften* / H. Flashar, K. Gründer, A. Horstmann (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1979. У историков в конце XX — начале XXI вв. самыми масштабными проектами в смысле исторической саморефлексии дисциплины следует признать составленный после объединения Германии пятитомник: *Geschichtsdiskurs: Grundlagen und Methoden der Historiographieggeschichte* / W. Küttler, J. Rüsen, E. Schulz (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch, 1992–1999, а также недавний англоязычный коллективный труд, где широко и систематически представлена не-западная наука: *The Oxford History of Historical Writing*. Vol. 1–5. Oxford: Oxford University Press, 2011–2012.

⁹⁹ См. статьи интернационального коллектива авторов в переведенном на русский язык сборнике: *История понятий, история дискурса, история метафор* / под ред. Х.Э. Бёдекера. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

клопедии — 15-томная «Encyclopaedia of the Social Sciences» (под редакцией Эдварда Селигмена и Элвина Джонсона) 1930-х годов, затем «International Encyclopaedia of the Social Sciences» под редакцией Роберта Мёртона и Дэвида Шилза (1968) и, наконец, новейшая «International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences» (2001, под редакцией Нейла Смелзера и Пола Белтса — в 26 томах¹⁰⁰). Итоговым для этого периода можно считать немецкую монографию Петера Вагнера и несколько важных сборников под его редакцией¹⁰¹. Однако уже к середине 1990-х при всем бесконечном изобилии материала и первоначальном энтузиазме участников это впечатляющее начинание — построение компаративной истории общественных дисциплин за последние два века — постепенно застопорилось; в частности, остался невостребованным и амбициозный проект «социологии философий» Рэнделла Коллинза¹⁰². Почему это произошло? Одно из возможных объяснений, на наш взгляд, — слишком явный акцент на роль общественных и государственных факторов в развитии социальных наук в XX в. Следуя этой очень перспективной методологии, обогащенной достижениями Бурдьё и Рингера, можно упустить специфику и автономию когнитивного развития дисциплины, которое далеко не всегда может быть объяснено, даже *в конечном счете*, лишь социальными факторами. «Социальное объяснение» оказалось в начале XXI в. слишком широким понятием, для удовлетворительной реализации которого нужно было учесть микросоциальную среду научных школ и институций, зависимость и одновременно дистанцирование ученых от идеологической конъюнктуры, соотношение формальных и неформальных факторов, проблематику несоответствия и сложной взаимопереводимости «эпистемических культур» (Карин Кнорр-Цетина) в разных дисциплинах.

Дальнейшие исследовательские траектории, которыми двинулись в своей эволюции сторонники социальной истории социальных наук, указывают на «слепые зоны» прежнего подхода и возможные будущие аналитические стратегии. Прежде всего, это анализ систем оценок и интерсубъективных режимов взаимодействия (следуя идеям Люка Болтански и Лорана Тевено), в том числе и в работе академической экспертизы¹⁰³, анализ границ разных

¹⁰⁰ В этой энциклопедии статья о научных дисциплинах написана Рудольфом Штихве, о дисциплинах в социальных науках — Бьорном Виттроком.

¹⁰¹ Wittrock B., Wagner P., Wollman H. Social Science and Modern State: Policy Knowledge and Political Institution in Western Europe // Social Sciences and Modern States. National Experiences and Theoretical Crossroads / P. Wagner (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

¹⁰² Collins R. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge: Belknap Press of Harvard University, 1998.

¹⁰³ Pachucki M.A., Pendergrass S., Lamont M. Boundary Processes: Recent Theoretical Developments and New Contributions // Poetics Today. 2007. Vol. 35. P. 331–351.

областей и неоднородных (иерархических, в том числе имперских) порядков знания. Заслуживает внимания попытка «наведения мостов» между теориями множественной модерности (Йохан Арнасон, Шмуэль Эйзеншадт), исторической семантикой в духе Козеллека и новой философией современности, учитывающей вклад позднего Фуко и Хабермаса, у шведского теоретика Бьорна Виттрока¹⁰⁴ и Петера Вагнера.

Один из самых перспективных подходов к рассматриваемой проблематике принадлежит Эндрю Эбботу, который последовательно пытается пересмотреть саму дилемму «эпистемология vs. социология» в анализе дисциплинарной динамики и анализирует профессиональное сообщество, системы присвоения степеней и взаимодействие ученых сообществ с более широкой аудиторией¹⁰⁵. Поэтому вопрос о сообществах и границах¹⁰⁶, а также о сложном эпистемическом устройстве дисциплинарных комплексов становится насущным в современной ситуации и указывает на недостаточность таких полярных (и заслуженно популярных с 1980-х годов) подходов, как социоанализ Бурдьё или системный подход Лумана. Ни распределение специфического капитала, ни иерархизация или дифференциация устройства тех или иных научных областей, как нам кажется, не в состоянии представить *ключевой механизм* дисциплинарной динамики в прошлом или настоящем, они могут лишь объяснить отдельные ее стороны.

Заметной чертой дисциплинарной рефлексии 2000-х годов в отходе от крайностей социал-конструктивизма или акторно-сетевого подхода Бруно Латура стало также обращение к историческим достижениям философии науки (у Дж. Заммито¹⁰⁷), интерес к исторической онтологии и «стилям научного рассуждения» у представителей так называемой Стэнфордской школы — Яна Хакинга, Питера Галисона и их единомышленников¹⁰⁸.

Эта теоретическая нагруженность новых подходов к дисциплинарности, обилие конкретных работ, журналов и перспективных проектов по тем

¹⁰⁴ Wittrock B. History and Sociology: Transmutations of Historical Reasoning in the Social Sciences // *Frontiers of Sociology. The Annals of the International Institute of Sociology*. Vol. 11 / P. Hedström, B. Wittrock (eds). Leiden: Brill, 2009. P. 77–112.

¹⁰⁵ Abbott A. *Chaos of Disciplines*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

¹⁰⁶ Fuller S. Disciplinary Boundaries and the Rhetoric of the Social Sciences // *Poetics Today*. 1991. Vol. 12. P. 300–325.

¹⁰⁷ Zammito J.H. *A Nice Derangement of Epistemes: Post-Positivism in the Study of Science from Quine to Latour*. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

¹⁰⁸ Hacking I. *Historical Ontology*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. См. критические соображения М. Куша: Kush M. Hacking's Historical Epistemology: A Critique of Styles of Reasoning // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2010. Vol. 41. No. 2. P. 158–173.

или иным дисциплинам¹⁰⁹, а также растущий интерес к ранненовременной проблематике, проявленные за последние два десятилетия, обещают возможность будущих новых синтезов¹¹⁰ — в том числе на основе активно разрабатываемой социальной истории знания¹¹¹. Пока же снова следует обратить внимание на насущную необходимость взаимодействия вырвавшейся вперед историографии социальных наук с историографией наук гуманитарных. Именно в домене историографии гуманитарного знания в последние десятилетия происходят важные перемены, в частности — обогащение видения прошлого гуманистических штудий за счет раскрытия их теснейших связей с соответствующими проблемами юриспруденции, теории логики и риторики¹¹², медицинского мышления¹¹³, политической философии и анализа систем коммуникации¹¹⁴ и колониального знания¹¹⁵.

¹⁰⁹ Отметим выходящий с 2001 г. в издательстве SAGE «Journal of Classical Sociology», а также серию конференций 2009–2011 гг. международного исследовательского коллектива: The Disorder of Things: Predisciplinarity and the Divisions of Knowledge 1660–1850. <http://ideasand-society.ucr.edu/disorder_of_things/index.html> и специальный номер журнала: Eighteenth-Century Studies. 2011. Vol. 45. No. 1. Следует упомянуть также новейший многообещающий проект по изучению международных связей в социальных и гуманитарных науках, связанный с наследием Пьера Бурдьё: <<http://www.interco-ssh.eu/>>.

¹¹⁰ См.: Weingart P. A Short History of Knowledge Formation // The Oxford Handbook of Interdisciplinarity / R. Frodemann, J. Thomson Klein, C. Mitcham (eds). Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 3–14; D'Agostino F. Disciplinarity and the Growth of Knowledge // Social Epistemology: A Journal of Knowledge, Culture and Policy. 2012. Vol. 26. No. 3–4. P. 331–350.

¹¹¹ Отдельно нужно отметить двухтомную монографию Питера Берка: Burke P. A Social History of Knowledge. Vol. 1–2. Cambridge: Polity Press, 2000; 2011.

¹¹² См. особенно работы Нэнси Стрювер: Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2009; а также: Ward J.O. Rhetoric: Disciplina or Epistemology? Nancy Struever and Writing the History of Medieval and Renaissance Rhetoric // Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever / J. Marino, M.W. Schlitt (eds). Rochester, N.Y.: University of Rochester Press, 2001. P. 347–374.

¹¹³ См.: Siraisi N.G. History, Medicine and the Traditions of Renaissance Learning. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007; Poovey M. A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1998; Kelley D.R. The Human Measure: Social Thought in the Western Legal Tradition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

¹¹⁴ Blair A. Too Much to Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010.

¹¹⁵ Livingstone D.N. Putting Science in Its Place: Geographies of Scientific Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 2003; Raj K. Relocating Modern Science: Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650–1900. Houndmills; N.Y., 2003; Geographies of Nineteenth-Century Science / D.N. Livingstone, Ch.W.J. Withers (eds). Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Критическая рефлексия дисциплинарных канонов и практик коснулась и политической науки (попытка использовать методологию Куна у Ш. Волина¹¹⁶), антропологии, истории искусства и других отраслей знания¹¹⁷. Кажется, на этой основе по новому можно будет переосмыслить — спустя полвека — базовые постулаты «Слов и вещей» Мишеля Фуко об исторической связи жизни, языка и труда в их рефлексивном отображении в эволюции протодисциплинарного знания¹¹⁸.

Особенно стоит отметить разделяемый авторами монографии интерес к предложенным еще в «додисциплинарную» эпоху органицистским или вероятностным логикам объяснения, которые периодически оказываются востребованными и действенными на новых поворотах развития социогуманитарного знания¹¹⁹. В числе таких моделей следует упомянуть гоббсову проблематику социального порядка (у Парсонса), сохранение переосмысленного античного образа полиса как модельного для разработки политической теории и философии (Ханна Арендт, Лео Штраус)¹²⁰ укажем и вни-

¹¹⁶ *Wolin S. Paradigms and Political Theories // Paradigms and Revolutions... P. 160–191* (в этом уже упомянутом сборнике помещены схожие размышления Д. Холлинджера и М. Блауга о применимости понятия «парадигм», соответственно, к историографии и к экономической науке).

¹¹⁷ Содержательные обзоры такого рода дисциплинарной рефлексии: *Brown M.B. Conceptions of Science in Political Theory: A Tale of Cloaks and Daggers // Vocations of Political Theory / J.A. Frank, J. Tambornino (eds). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. P. 190–211; Iversen M., Melville S. Writing Art History: Disciplinary Departures. Chicago: University of Chicago Press, 2010; Konzert und Konkurrenz: die Künste und ihre Wissenschaften im 19. Jahrhundert / C. Scholl, S. Richter, O. Huck (Hrsg.). Göttingen: Universitätsverlag, 2010; Антропологические традиции: стили, стереотипы, парадигмы / под ред. и сост. А.Л. Елфимова. М.: Новое литературное обозрение, 2012.*

¹¹⁸ Переосмысление роли раннего Фуко для методологии интеллектуальной истории в этом контексте: *Maclean I. The Process of Intellectual Change: A Post-Foucaultian Hypothesis // Cultural History after Foucault / J. Neubauer (ed.). N.Y.: Walter de Gruyter GmbH, 1999. P. 163–176; Davidson A. The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.*

¹¹⁹ См. серию исследований по исторической разработке теории вероятности и приложению их в науках о человеке, особенно — экономике: это и коллективный труд: *The Probabilistic Revolution. Vol. 1: Ideas in History; Vol. 2: Ideas in the Sciences / L. Krüger, et al. (eds). Cambridge, MA: The MIT Press, 1987*, и отдельные монографии Л. Дастон, Ф. Мировски, Т. Портера: *Daston L. Classical Probability in the Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 1988; Hacking I. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Porter T. Trust in Numbers, The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press, 1995.*

¹²⁰ К античным истокам возводит генеалогию современной социальной теории Дж. МакКарти: *McCarthy G.E. Classical Horizons: The Origins of Sociology in Ancient Greece. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2003; Idem. Dreams in Exile: Rediscovering Science and Ethics*

мание к антропологии эпохи Просвещения (Джон Заммито¹²¹), актуальную значимость понятийно-правовых моделей раннего Нового времени и возрождение интереса к риторике социальной науки (Дрейдре МакЛоски, Аллен Мегилл¹²²).

5. Структура монографии

Три раздела книги выстроены следующим образом:

Раздел I. Анализ дисциплинарности, исходящий из современной перспективы, позволяет удержать ее проблематичное единство и видеть ее истоки. Поэтому авторы первой части монографии обращаются к XVII–XVIII вв., когда разные элементы знания о человеке еще только складываются в дисциплинарные комплексы и не являются науками в привычном нам статусе (а не смысле)¹²³. В главе *Павла Соколова* рассматривается проблематика метода применительно к тем областям знания и опыта, которые ранее веками (согласно Аристотелю) не могли быть предметом систематического, научного рассмотрения. И только с середины XVI столетия усилиями философов и ученых складываются предпосылки эпистемологического упорядочивания сферы человеческого опыта. В главе *Юлии Ивановой* предметом исследования становится история идей и гражданская наука (как самостоятельные области складывающейся «науки о контингентном»). *Наталья Осминская* на примере Лейбница подробно показывает становление идей *единства* и сложно структурированной *иерархии* знаний к концу XVII столетия, которые затем были реализованы в работе берлинской Академии наук.

in Nineteenth-Century Social Theory. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2009. См. замечания о неаристотелистских сюжетах современной европейской мысли: *Volpi F.* The Rehabilitation of Practical Philosophy and Neo-Aristotelianism // Action and Contemplation: Studies in the Moral and Political Thought of Aristotle / R.C. Bartlett, S.D. Collins (eds). Albany: State University of New York Press, 1999. P. 3–26.

¹²¹ *Zammito J.H.* Kant, Herder, and the Birth of Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

¹²² The Rhetoric of the Human Sciences / J.S. Nelson, A. McGill, D.N. McCloskey (eds). Madison: University of Wisconsin, 1987; *Brown R.H.* A Poetic for Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

¹²³ *Blair A., Grafton A.* Reassessing Humanism and Science // Journal of the History of Ideas. 1992. Vol. 53. P. 529–540; *Grafton A., Siraisi N.* Introduction // Natural Particulars. Nature and the Disciplines in Renaissance Europe / A. Grafton, N. Siraisi (eds). Cambridge, MA: MIT Press, 1999. P. 1–21; The Shapes of Knowledge: From the Renaissance to the Enlightenment / D.R. Kelley, R.H. Popkin (eds). Dordrecht; Boston; L.: Kluwer Academic Publishers, 1991.

Речь идет о таких принципах распределения знания и дифференциации методов, которые становятся своего рода прообразом будущих разделительных дисциплинарных перегородок.

Раздел II. В главах второго раздела книги показано, сколь разнонаправленными были тенденции в дисциплинарном поле социогуманитарных наук последних двух веков. С одной стороны, это поле испытывало воздействие одновременно и романтической, и сциентистской установок, а с другой — оно складывалось под прямым влиянием прагматических императивов рационализации управления и национального строительства. Одна из центральных тем, возникающих в связи с принципом дисциплинарности применительно к XIX в., — проблема дезинтеграции таких синкретических дисциплинарных формаций, как просветительская «естественная история», которая ранее интегрировала принципы изучения природного мира и социальной реальности.

В исследовании *Лорен Дагтон*, известной недавними глубокими работами по истории научной объективности, показана роль коллективных установок и традиционных структур (особенно академий наук), периодических изданий, университетской дидактики для закрепления дисциплинарных принципов¹²⁴. В центре исследования *Петра Резвых* — немецкие ученые дискуссии эпохи романтизма о статусе мифологии как особой исследовательской области (потом она станет предметом новых дисциплин и познавательных стратегий — сравнительного религиоведения, искусствоведения, философии религии и психоанализа). В главе, написанной *Владиславом Боярченковым*, речь идет о самоопределении русской науки о древностях между аналитическими, описательными и «вспомогательными» (относительно историографического гранд-нарратива) стратегиями в середине XIX столетия. *Владимир Берелович* избирает анализ риторики научного текста как способ изучения эволюции русской и украинской исторической мысли — под знаком ее онаучивания. *Мишель Тисье* в своей главе показывает сложное соотношение теоретических и практических задач в развитии российского правоведения конца XIX — начала XX вв. Он обращает внимание на то, что, с одной стороны, юридическая профессия и юридический факультет были наделены в России высоким социальным статусом и популярностью, а с другой стороны, теоретические разработки российских ученых (вроде Льва Петражицкого) шли в изоляции от эволюции права как практической специальности. Обращаясь к актуальным темам географии научно-

¹²⁴ *Veit-Brause I.* The Disciplining of History- Perspectives on a Configurational Analysis of Its Disciplinary History // Konferenser 37 — The Past of History. Stockholm: The Foundation Natur och Kultur, 1996. P. 7–29.

го знания, *Марина Могильнер, Илья Герасимов и Александр Семёнов* рассматривают эволюцию дореволюционной российской социологии не только с точки зрения научных инноваций, но и как коллективный идейный поиск решений для дилемм имперского развития. К эпистемологической проблематике возвращается *Григорий Юдин*, который подчеркивает в феноменологическом проекте Эдмунда Гуссерля характерное и неотрефлексированное раздвоение на общую регулятивную (метанаучную) идею упорядочения всех дисциплин, с разработанной иерархизацией этих сфер («региональные онтологии» и т.д.), и на отдельную программу обновления философии как одной из множества наук. Комплексный, гетерогенный характер развития психологии, вопреки позднейшим унифицирующим историко-дисциплинарным нарративам, показывает на примере отечественной науки *Антон Ясницкий*, обращая внимание на множество исследовательских программ (психотехника, рефлексология, педология), из которых потом сложилась советская психология, уже после вмешательства властей в середине 1930-х годов. Исследование *Александра Филиппова* посвящено специфике развития советской социологии как науки, внешне вполне модернизированная практика которой на деле прямо отсылает к политическим и мировоззренческим установкам XVIII столетия. Завершает раздел обобщающая работа известного историка *Рольфа Тоштендаля*, который показывает важность профессионального фактора эволюции дисциплинарного поля на материале разных европейских стран.

Раздел III. Далее, в третьем разделе монографии, представлено взаимодействие двух разнонаправленных тенденций дисциплинарного развития. С одной стороны, это бурная «эмансипация» новых идей и направлений поверх привычной сетки дисциплин, в том числе углубляющийся разрыв между прежним устройством и новыми ориентирами интеллектуального развития. С другой стороны, для этого процесса во второй половине XX в. оказалась характерна *устойчивость* прежних форм организации знания, возрождение прежних симбиозов и дисциплинарных «консенсусов»: это показано на примере таких разных областей, как лингвистика, экономика и философия.

Открывается раздел главой *Григория Юдина* об осмыслении проблематики профессий в американской социологии 1950–1960-х годов, когда проблемой рефлексии становится и сама профессия социолога. В главе *Бориса Степанова* рассмотрена противоречивая динамика Cultural Studies, которые за полвека прошли путь от отрицания дисциплинарных канонов до признания в ряде академических сообществ и конкуренции с новыми «контрдисциплинами». Можно сказать, что представители Cultural Studies пытаются играть в области наук гуманитарных ту же роль незваных носителей социально-критической рефлексии, что и адепты Science & Technology

Studies по отношению к наукам естественным. Оба критических направления пытаются быть больше чем дисциплиной и указывать «традиционным» оппонентам на их консерватизм, склонность к позитивизму, связь с патриархатом и капитализмом, а потому вызывают параллельную критику справа (дело Сокала, симметрично разворачивающиеся Science Wars и борьба вокруг гуманитарного преподавания в США конца 1990-х годов¹²⁵). Работа *Ирины Савельевой* посвящена новым форматам функционирования исторической дисциплины в постиндустриальной цивилизации, что возвращает читателей к затронутой в статье В. Береловича проблематике взаимоотношения историка и его аудитории, а также ставит вопрос об изменчивости границы «науки» и «не-науки» применительно к гуманитарным профессиям. Далее *Владимир Файер* рассматривает коллизии внутри филологического цеха на примере лингвистов и языковедов из МГУ; притом для отечественных гуманитарных наук характерно сохранение (во многом из-за советских условий — как в негативном, так и позитивном смысле) филологии в качестве общей «зонтичной» дисциплины для отраслей знания о языке, литературе и тексте, тогда как в большинстве западных академических сообществ специалисты по языкам и литературе давно уже работают совершенно независимо, а название «филология» стало историческим — для обозначения прошлого науки, антиковедения или некоторых областей компаративного литературоведения¹²⁶. Исследование *Максима Дёмина* посвящено эволюции университетской философии как профессионального сообщества при переходе от советской системы к постсоветской на рубеже 1990-х годов. *Ростислав Капелюшников* в своей работе аналитически описывает новейшие течения в экономической науке, отчасти построенные на импорте общих походов (но не объяснительных моделей) из наук о поведении. Он также рассматривает идейные предпосылки и политико-социальные следствия «поведенческой экономики», поскольку современные социальные дисциплины выступают и как экспертные инстанции. В главе *Олеси Кирчик* исследуются интернациональные факторы развития современной экономической науки и место российских экономистов в новых глобальных академических порядках. Завершает книгу совместная работа *Оксаны Запорожец* и *Александра Дмитриева* о социологическом анализе дисциплинарности в разнообразной исследовательской литературе, начиная с 1960–1970-х годов.

¹²⁵ Гронас М. Диссенсус: Война за канон в американской академии 80–90-х годов // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 6–18.

¹²⁶ См. критический обзор работ Х.У. Гумбрехта и С. Лепера: Ziolkowski J.M. Metaphilology. Rev.: The Powers of Philology. Dynamics of Textual Scholarship by Hans Ulrich Gumbrecht; Error and the Academic Self: The Scholarly Imagination, Medieval to Modern by Seth Lerer // The Journal of English and Germanic Philology. 2005. Vol. 104. No. 2. P. 239–272.

Приложение. Мы помещаем в приложении к нашей монографии перевод классической работы «Древняя история и любители древностей» великого итальянского исследователя *Арнальдо Момильяно* (1908–1987), опубликованной в журнале Института Варбурга в Лондоне (Момильяно покинул фашистскую Италию еще в конце 1930-х годов). Момильяно в этой своей давней статье фактически предвосхищает темы разграничения теоретических и практических аспектов дисциплинарной работы, которые станут предметом пристального внимания науковедов ближе к концу XX в.¹²⁷

* * *

Появлению этой книги на свет способствовали благожелательное отношение и неизменная поддержка руководства НИУ ВШЭ и его Научного фонда. Особенно следует отметить заинтересованность, энтузиазм и неформальное, но очень существенное участие в реализации проекта сотрудников Института гуманитарных историко-теоретических исследований — Алексея Плешкова, Юлии Ивановой, Павла Соколова, Кирилла Левинсона и младших коллег — Александры Колесник, Анастасии Шалаевой, Сергея Матвеева, Александра Махова. Наш приятный долг — выразить им глубокую признательность и благодарность.

Предлагаемая вниманию читателей монография продолжает и аккумулирует результаты исследований ИГИТИ об университете как идее и институте, а также о феномене «национальной науки» в контексте мирового развития¹²⁸. Все эти проекты и первоначальная идея книги появились на свет благодаря талантливому человеку и замечательному ученому, с которым нам выпало счастье работать, — Андрею Владимировичу Полетаеву. Обсуждая этот замысел и отдельные части работы, ее составители и сотрудники Института не раз внутренне задавались вопросом: «Как бы А.В. отреагировал на эту идею? Что бы сделал сейчас на нашем месте? Как переформулировал бы главную мысль?» Ведь раньше мы могли быть спокойны, ибо все наши сомнения, притязания или робость всегда умирялись и уравнивались иронией, эрудицией и великодушием Андрея Владимировича. Теперь его «неклассическое наследие» остается для нас важным ориентиром, точкой отсчета в жизненных поступках и исследовательских озарениях.

¹²⁷ О нем см. статьи в сборнике: Momigliano and Antiquarianism: Foundations of the Modern Cultural Sciences / P.N. Miller (ed.). Toronto: University of Toronto Press, 2007 (особенно работу С. Маршан).

¹²⁸ Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши / под ред. Е. Аксер, И. Савельевой. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.

Раздел I

ПОРЯДКИ

И СТРУКТУРЫ

ЗНАНИЯ:

ОТ ГУМАНИЗМА

К ПРОСВЕЩЕНИЮ

ГЕНЕАЛОГИЯ МЕТОДА В НАУКАХ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МИРЕ

История дисциплинарного принципа в раннее Новое время тесно связана с двумя поистине тектоническими процессами в истории европейской интеллектуальной культуры, один из которых — экспансия в область гуманитарного знания *проблемы метода* — был безошибочно распознан и досконально изучен историками науки уже очень давно¹, в то время как другой — известный под именем *морализации модальностей* — сделался полноценным предметом исследований лишь в последние годы². И апология автономии метода в гуманитарных дисциплинах (прежде всего в истории, которую многие авторитетные теоретики, например Варфоломей Кекерманн, считали разделом логики), и валоризация моральной (исторической) модальности имели высшей целью разрешение *апории науки о контингентном* — достоверной и рациональной науки о мире исторического опыта, возникновение которой призвано было, в числе прочего, на радикально новых основаниях переопределить смысл и границы дисциплинарного принципа в гуманитарной сфере. То, каким образом помещение во главу угла модального принципа позволило привить частные дисциплины к стволу метафизики и вместо основанных на внешних принципах дисциплинарных классификаций создать модель «интегральной науки» (*corpus integrae sapientiae*), станет предметом нашего рассмотрения в следующем разделе; здесь же речь пойдет об эволюции на протяжении XV–XVII вв. эпистемологического статуса гуманитарного знания — эволюции, в результате которой одни гуманитарные дисциплины (история) добились автономии собственного метода, а другие (протестантская филология) и вовсе заявили притязание на обладание высшей достоверностью.

¹ Приведем лишь наиболее известные исследования: *Gilbert N. Renaissance Concepts of Method*. N.Y.: Columbia University Press, 1960; *Schmidt-Biggemann W. Topica Universalis*. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983; *Steiner B. Die Ordnung der Geschichte. Historische Tabellenwerke in der frühen Neuzeit*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2008.

² *Knebel S.K. The Renaissance of Statistical Modalities in Early Modern Scholasticism // The Medieval Heritage in Early Modern Metaphysics and Modal Theory, 1400–1700* / R.L. Friedman, L.O. Nielsen (eds). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003; *Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 2009; *Ivanova J.V. Impersonality, Shame, and Origins of Sociality, Or Nova scientia ex constantia philologiae eruenda // Investigations on Giambattista Vico in the Third. New Perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia* / J.V. Ivanova, F. Lo-monoco (eds). Roma: Aracne, 2014. P. 109–122.

Одно из общих мест классической истории науки, впрочем, активно пересматриваемое в последние годы, состоит в том, что если до начала XVIII в. науки об обществе и истории оставались под пятой у метафизики, то уже с середины этого же столетия они попали в столь же безысходное рабство к естественным наукам. В такой трактовке те науки XVI–XVII вв., которые мы бы сейчас назвали гуманитарными, занимают место инертного, консервативного знания, чье развитие лишь следовало смене эпох в истории науки и само по себе не было способно инициировать парадигмальные трансформации в новоевропейской науке и философии. Основания для столь низкой оценки доновременного периода в истории гуманитаристики, разумеется, есть: так, в традиционной аристотелевской концепции науки — обладавшей, пожалуй, наибольшим влиянием на протяжении всего средневекового периода истории европейской интеллектуальной культуры — ни один из разделов гуманитарного знания формально не имел статуса науки (*scientia*), т.е. в соответствии со словоупотреблением того времени, аподиктического знания о вечных, необходимых и общезначимых истинах.

Разумеется, некоторые разделы гуманитарного знания, прежде всего грамматика и риторика, имели ряд атрибутов устоявшейся дисциплины: единое проблемное поле, устойчивую терминологию, дидактическую традицию, собственную институциональную территорию. Однако это не означает, что применительно к Средневековью можно говорить о «гуманитарных науках» в современном смысле: статус знания о таких «изменчивых и непостоянных объектах», как человеческие действия (*res gestae*), на протяжении всего этого периода оставался низким; причиной в значительной степени было суждение Аристотеля, в соответствии с которым «о случайном и единичном не может быть доказательства» (*Anal. post. I, 31 87b 19*), а предметом науки может быть лишь то, что присуще вещам необходимым образом. Философский авторитет Стагирита подкреплялся доктринальным авторитетом блж. Августина, который в своем сочинении «Восемьдесят три вопроса о различных предметах» предложил формулировку, превратившуюся в общее место средневековых рассуждений об эпистемологическом статусе истории: «Исторические истины таковы, что в них следует верить, но постичь их разумом невозможно»³.

³ «Существует три вида предметов веры. Первый вид — то, во что мы верим, но чего никогда не можем познать: такова история, охватывающая преходящие вещи и человеческие деяния. Другой — то, что мы познаем сразу вслед за тем, как уверуем в это: например, таковы все производимые людьми доказательства в науке о числах и в других дисциплинах. Третий — то, во что мы сначала верим, а впоследствии познаем это» (*Augustinus. De diversis quaestionibus octoginta tribus I, 48 // Augustinus. Opera omnia. Vol. VI / J. Migne (ed.). P., 1867*).

Проблема статуса исторических истин в средневековой науке возникала порой в довольно неожиданных контекстах, к примеру, в дискуссии о возможности теологии как демонстративной науки, соответствующей критериям, сформулированным Аристотелем во «Второй аналитике». Проблема эпистемологического статуса теологии заключалась именно в том, что данная дисциплина включает в себя значительное число исторических истин, каковые относятся к предметам «единичным и преходящим». Разрешение этой апории — «не может быть науки о единичных вещах, однако теология занимается единичными вещами» (*scientia non est de singularibus; sed sacra doctrina tractat de singularibus*) — оказывалось возможным лишь благодаря тому, что исторические образы Священного Писания рассматривались как аллегории и символы вечных и непреходящих истин, каковые, безусловно, могли считаться предметом демонстративной науки. Это решение предложил Фома Аквинский (а вслед за ним и такие авторитетные схоластические учителя, как Ульрих Страсбургский и Генрих Гентский): исторические истины он низвел до уровня нравоучительных примеров, *exempla*, не относящихся к числу «необходимых положений» теологии⁴. Оппоненты св. Фомы, к примеру Петр Иоанн Оливи, справедливо указывали на разрушительные последствия предложенного им решения для самой теологии, ибо контингентные истины (такие, как сотворение мира или боговоплощение) составляют самое сердце христианского вероучения⁵. Однако ни категория исторического смысла (*sensus historicus*) в библейской экзегезе, ни понятие исторической истины (*veritas historica*) в историографии, ни *contingentia* в схоластической логике и метафизике не могли стать территорией формирования интегральной науки о социально-историческом мире. Не могла эта наука возникнуть и в лоне а- и антигеоретического гуманистического движения, принципиально не заботившегося о возведении *studia humanitatis* в ранг науки; конструктивные результаты критической работы гуманистов могли быть в полной мере использованы лишь позднее теми авторами, философские притязания которых не вызывают сомнений, — такими, как Петр Рамус (1515–1572) или Джамбаттиста Вико (1668–1744).

* * *

Роль Петра Рамуса в истории гуманитарной эпистемологии определяется прежде всего тем, что он, подвергнув радикальной ревизии аристотелевскую модель науки, существенным образом расширил область применения

⁴ *Thomas Aquinas. Summa theologiae. Ia. Q. 1. A. 2. Ad. 2.*

⁵ См.: *Piron S. Le métier de théologien selon Olivi. Philosophie, théologie, exégèse et pauvreté // Pierre de Jean Olivi — Philosophe et théologien / C. König-Pralong, O. Ribordy, T. Suarez-Nani (eds). Berlin; N.Y.: De Gruyter, 2010. P. 50.*

способности суждения (*judicium*), включив в нее, в числе прочего, и историю. В рамках рамистской концепции анализа (*analysis ramea*) сферой деятельности суждения становится описание (*descriptio*), а не доказательство (*demonstratio*): тем самым, история — согласно распространенному в науке раннего Нового времени определению, представляющая собой «описание без доказательства» (*descriptio sine demonstratione*)⁶ — становится привилегированной *материей метода*⁷. Условиями возможности исторического метода у Рамуса были, во-первых, пересмотр аристотелевской иерархии достоверности аргумента, а во-вторых — экспансия метода за пределы оперирующей аподиктическими доказательствами *scientia* (напомним, что для таких авторов, как Варфоломей Кекерманн, невозможность собственного метода истории обосновывалась именно тем, что метод является «формой дисциплины»⁸).

Прежде всего, Рамус отверг традиционное, идущее от позднеантичного комментатора Аристотеля Александра Афродисийского, деление аристотелевой логики на аподиктическую, диалектическую и софистическую. По его мнению, такое деление игнорирует принцип гомогенности, соблюдение которого, согласно самому же Аристотелю, как раз является конститутивной чертой всякой науки. Рамус считает, что область необходимо истинных положений (наука) и область положений вероятных (мнений) не могут подчиняться разным принципам: у них должна быть единая логика — именно поэтому и не имеет смысла деление логики на аподиктическую и диалектическую. Этой тотальной логике Рамус предлагает вернуть ее древнейшее название — диалектика⁹. Он полагает, что диалектика отделилась от логики в результате того, что в логику стали включаться элементы риторики (что само по себе уже являлось нарушением принципа однородности дисциплины). Диалектика претерпела контаминацию с софистикой: «Когда к союзу разума и красноречия начали относиться с презрением и древний обычай

⁶ Определение Федора Газы из комментария к «Истории животных» Аристотеля, популярное среди европейских аристотеликов.

⁷ История «более прочего пригодна для того, чтобы представлять ее при посредстве искусства суждения» (*intra hanc artem [sc. judicium] commodissime continebitur*) — читаем мы в «Диалектике» 1543 г.

⁸ «Метода нельзя найти нигде, кроме как в дисциплинах, формой которых он и является. А коль скоро История — не дисциплина, то очевидно, что она не имеет и метода, т.е. собственной формы, отличной от форм иных дисциплин». Цит. по: Иванова Ю.В., Соколов П.В. Кроме Декарта: размышления о методе в интеллектуальной культуре Европы раннего Нового времени. М.: Квадрига, 2011. С. 221 (пер. В.Л. Иванова).

⁹ «Диалектика — это искусство правильного рассуждения; о Логике говорится в том же смысле» (*Petrus Ramus. Dialecticae libri duo. Spirae: Bernardus Albinus excudebat, 1591. P. 11*).

упражнять одновременно ум и язык был предан забвению, диалектика стала вотчиной Софистики и младенческой болтовни¹⁰, и присущее ей изначально достоинство «царицы и богини всех наук» оказалось утрачено. В то же время, различие логики и риторики, с точки зрения Рамуса, необходимо, потому что оно зиждется на фундаментальном различии основных способностей человеческой души:

От природы человек наделен двумя всеобщими и универсальными дарованиями: Разумом [Ratio] и Речью [Oratio], и наука Разума — это диалектика, а Речи — грамматика и риторика¹¹.

Реабилитация диалектического аргумента позволяла истории выйти из тупика: если наука не тождественна аподейксису, то и история может претендовать на статус дисциплины с не меньшим основанием, чем сама метафизика.

Еще одна важная для истории гуманитарной эпистемологии новация Рамуса заключается в том, что его метод служит для упорядочения и «прояснения» знания, а не для достижения аподиктической истины, как *scientia* аристотеликов. Центральный раздел рамусовой диалектики — суждение, продвигающееся от аксиом (соединение двух аргументов, или топосов, в субъект-предикатной конструкции) посредством силлогизма к собственно методу, т.е. «дианоие однородных аксиом». Главная функция суждения (аксиомы, силлогизма и самого метода) — не построение доказательства, а организация материала, расположение его в надлежащем порядке. Применение метода уместно и тогда, когда приходится иметь дело с «общезначимыми и необходимыми» аксиомами, и тогда, когда речь идет обо всех тех вещах, «о которых мы намерены учить легко и ясно», как выражается Рамус. Поэтому в «Диалектике» Рамус говорит об универсальной роли метода, который следует применять не только в умозрительных науках, но и в таких областях знания, как история, риторика, поэзия, — т.е. при чтении сочинений любых авторов, к какой бы сфере знания или практики их тексты ни принадлежали¹².

¹⁰ Ibid. P. 4.

¹¹ «Диалектика исследует все силы человеческого разума, направленные на постижение и упорядоченное расположение вещей; грамматика следит за соблюдением правил этимологии и синтаксиса в речи и на письме» (*Idem. Rhetoricae distinctiones in Quintilianum. P.: A. Wechelium, 1559. P.18*).

¹² «Метод может прилагаться не только к материи искусств и наук, но и к любым предметам, о которых мы намереваемся учить просто и ясно. Поэтому всякий раз, когда поэты, риторы, разного рода писатели предполагают научить чему-либо свою аудиторию, они желают действовать именно таким образом, хотя и не всегда вступают на этот путь и не всегда преуспевают на нем» (*Idem. Dialecticae libri duo. P. 101*).

Именно эта индифферентность метода к различению теоретической науки, искусств и разделов *studia humanitatis*, подобных истории, позволяла обосновать существенное расширение возможностей историографии. Во-первых, универсалистская трактовка метода сделала допустимым введение истории в новую «методологическую» модель науки наравне с теоретическими дисциплинами — такими, как философия, математика, физика, — потому что единство метода делало бессмысленным противопоставление «знания» и «доксы», «контингентного» и «необходимого», «доказательной науки» (*scientia demonstrabilis*) и уже упоминавшегося нами «описания без доказательства». Во-вторых, в историческом «материале» была открыта потенция к предметному упорядочению — к нахождению и применению метода в его освоении и при его изложении: история впервые предстала не только как последовательность событий или последовательность повествования о них, но и как система — *система общих мест*¹³.

Уравнивания топического аргумента в правах с аподейксисом было, однако, недостаточно для возведения истории в ранг науки: коль скоро, согласно Аристотелю, всякая наука должна быть об общем (*kat'holon*), в истории необходимо было найти универсалии. В гуманистической историографии такие универсалии, как ни парадоксально, были: это было возможно благодаря сращению истории и риторики. Этот синтез был выгоден обеим сторонам: риторы охотно обращались к истории, чтобы почерпнуть из нее нравоучительные примеры, *exempla*, а историки благодаря риторике обретали общие понятия, *universalia*, — согласно Аристотелю, необходимое условие любой науки. Риторическая историография гуманистов получала возможность внести порядок в историческую стихию, подводя события и действия людей под готовые этические категории. Так, в знаменитом предисловии к «Истории Фердинанда, короля Арагонского» Лоренцо Валлы апология истории строится на отождествлении универсалий и нравоучительных примеров; авторитету Аристотеля противопоставляется авторитет Цицерона, называвшего историю «наставницей жизни». Рассуждение Валлы имеет своей предпосылкой титанический проект по ревизии всей восходящей к Аристотелю традиции европейской метафизики¹⁴. Валла развенчивает базовые понятия философского языка Аристотеля—Порфирия—Боэция: 10 категорий, шесть трансценденталий, предикабилии объявляются лингвистическими фикциями, плодом варварского искажения языка¹⁵. Основой критического

¹³ См.: *Schmidt-Biggemann W. Topica universalis.*

¹⁴ Ревизия эта была осуществлена в первой книге «Перекапывания диалектики и философии» (*Lorenzo Valla. Repastinatio dialecticae et philosophiae, 1439*).

¹⁵ Подробнее о критике Валлой Аристотеля см.: *Nauta L. In Defense of Common Sense. Lorenzo Valla's Humanist Critique of Scholastic Philosophy. Harvard: Harvard University Press, 2009. P. 13–82.*

импульса Валлы была интуиция, деструктивный потенциал которой был соразмерен ее теоретической неопределенности: апелляция к реальности «как она есть». При этом под категорию реальности Валла подводит целый ряд разноприродных инстанций: лингвистический узус (*consuetudo, usus communis*), здравый смысл, историческую действительность.

Примечательно, что базовые категории аристотелианской метафизики и стереотипы риторической историографии суть, согласно Валле, два вида одного и того же заблуждения. И нравоучительные примеры (*exempla*) в ренессансной придворной парадной историографии, и категории, предикабилии и трансценденталии схоластов суть следствие проекции ментальных операций на действительный мир. Чисто мыслительные дистинкции, производимые адептами метафизики, — к примеру, отделение качества от субстанции, игнорирующее то обстоятельство, что в реальных объектах то и другое пребывает в неразрывном единстве (так, «белизна» может существовать лишь в белых предметах, а не сама по себе), — родственны способу работы с эмпирическим материалом ренессансных историков-гуманистов, предпочитающих описывать не конкретных персонажей, а моральные характеры — королей «вообще» или шутов «вообще» (*in genere*). Очевидно, что для Валлы эти историографические универсалии ничуть не более реальны, чем метафизические универсалии схоластов. Валла понимает универсальное не как общезначимое, а как типическое выражение аутентичного исторического содержания (в этом смысл учения Валлы о «вымышленных речах»¹⁶ — персонаж должен произносить речь не для того, чтобы преподнести нравственный урок, а для того, чтобы его речь отражала дух эпохи). Универсалии Валлы — это «голос самих вещей», своего рода автокомментарий исторических *imagines agentes*: суггестивное значение этих универсалий зиждется не на этической притягательности, а на аутентичности.

Инициированная Валлой ревизия статуса универсалий и, тем самым, аристотелевской науки в целом нашла продолжение в идее «науки о единичном» известного гуманистического писателя-цицеронианца Чинквеченто Марио Низолио (1488–1567). Низолио¹⁷ поставил цель соединить «перекапывание диалектики» Лоренцо Валлы, диалектическую логику Рудольфа Агриколы и номиналистическую критику реальности универсалий (*falsitas Universalium realium*) в рамках единой антиметафизической программы¹⁸.

¹⁶ О понятии вымышленных, или «сочиненных», речей (*orationes confectae*) у Валлы см.: *Janik L.G. Lorenzo Valla: The Primacy of Rhetoric and the De-Moralization of History // History and Theory. 1973. Vol. 12. No. 4. P. 389–404.*

¹⁷ В трактате «Об истинных началах и истинном основании философствования против псевдофилософов» (1553).

¹⁸ *Nauta L. False Friends. Semantics and Ontological Reduction // Renaissance Quarterly. 2003. Vol. 56. No. 3. P. 614.*

По мнению Низолио, «Валла обрубил ветви, но сохранил в неприкосновенности ствол» варварской философии схоластов. Валла оказался недостаточно радикален в своей критике: он сделал значительный шаг вперед, продемонстрировав исключительно знаковую, нерепрезентативную природу базовых категорий европейской метафизики (шести трансценденталий, пяти предикабиллий и десяти категорий), однако, во-первых, не довел до конца деконструкцию этих понятий (например, сохранив из аристотелевских категорий категорию действия), а во-вторых, не сумел на новых, неметафизических, основаниях сформулировать положительную задачу философии, каковой, согласно Низолио, является «постижение всех единичных вещей» (*comprehensio universorum singularium*), точнее — «одновременное постижение всех единичных экземпляров каждого рода». Соответственно, главной операцией во всех науках и искусствах должна быть не абстракция, а «философское и риторическое схватывание» (*comprehensio philosophica et oratorica*), которое Низолио определяет так:

Операция или действие нашего интеллекта, посредством которого человеческий ум охватывает все единичные экземпляры каждого рода одновременно и разом и создает из постигнутого им все науки и искусства, а также строит рассуждения и разного рода доказательства¹⁹.

Строго говоря, «схватыванию» Низолио в схоластике соответствует первая операция интеллекта, т.е. «постижение простых содержаний», а вовсе не абстрагирование; единичная же вещь занимает место не универсалии, а понятия или, в риторико-диалектической традиции, аргумента. Критика Низолио бьет мимо цели — однако нам важна не справедливость предъявляемых им аристотеликам аргументов, а его собственная «теория науки». Согласно Низолио, коль скоро в природе нет ничего, кроме единичных вещей и состоящих из них множеств, предметом интеллекта должно быть именно единичное, а не химерическая универсалия: к примеру, медик постигает не универсальный нерв, а в одномоментном акте схватывает все множество нервов.

В то же время беспроблемность конструкции науки у Низолио основана на одной предпосылке: он полностью игнорирует историческое измерение социального мира — его «обновленная философия» не принимает в расчет существенную историчность человеческого существования. В значительной степени именно по этой причине *scientia de singularibus* Низолио оказалась несоразмерна проекту интегральной науки о социально-историческом мире, которая была призвана объединить в себе филологию, историю, герменевтику, риторику и «политику» в новом, возникающем именно в раннее Новое

¹⁹ *Nizolio M. De veris principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos. Libri IV / Q. Breen (a cura di). Roma: Fratelli Bocca editori, 1956. P. 80.*

время, смысле этого слова. Неслучайно поэтому автор, заложивший основания гуманитарной эпистемологии в своей «новой науке», недвусмысленно понимаемой как история, — Джамбаттиста Вико — полностью игнорирует номиналистическую критику метафизики и без колебаний повторяет слова Аристотеля схоластов: «Наука должна быть об универсалиях» (*scientia debet esse de universalibus*)²⁰. Именно динамическое отношение между «Вечной Идеей» мира человеческих наций и эмпирическим субстратом социальной жизни, а вовсе не статичное и недифференцированное множество единичных вещей, станет у Вико предметом его «новой науки».

В нашем анализе предьстории гуманитарной эпистемологии, основными этапами которой были, в избранной нами оптике исследования, постулирование единства метода у Рамуса, критика аристотелевских категорий с позиций неуловимой «реальности» у Валлы и реабилитация «науки о единичном» у Низолио, мы остановились на пороге барочных «гражданских наук» (*scientiae civiles*), воплотивших притязание на создание индифферентной к дисциплинарному принципу интегральной науки об историческом мире. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению *scientiae civiles*, нам следует остановиться на противоположной тенденции в ранненовоязычной теории науки: эту тенденцию мы могли бы охарактеризовать как своего рода *дисциплинарный монизм* или, иначе, как претензию некоторых частных наук на *метадисциплинарный статус*.

* * *

В раннее Новое время структура дисциплинарного поля кажется едва ли не более ригидной, чем даже в классический период истории науки, — виной тому классифицирующий дискурс, господство которого утверждается в классицистическую эпоху, и большая строгость критериев дисциплинарной демаркации. Кристаллизации дисциплинарных границ способствовал целый ряд «внешних» факторов: расцвет — благодаря книгопечатанию — визуальных способов представления материала, экспансия пространственной метафоры в «массовой» научной литературе эпохи (*индустрия loci communes*), дихотомическое строение науки, пристрастие к классификациям и схемам, одним словом, все то, что принято называть геометризацией картины мира и рождением «пространственного воображаемого» (*spatial imagery*) в научном мышлении модерна. Жесткость дисциплинарных схем, в которых смешивались рамистские и аристотелевские критерии классификации, существенно деформировала те «гуманитарные» содержания, которые предполагалось

²⁰ «Следующие Положения, с V по XV, дающие нам основания Истины, служат нам для рассмотрения этого мира наций в его Вечной Идее, так как именно таково свойство каждой науки, указанное Аристотелем: *Scientia debet esse de Universalibus et Aeternis*» (*Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / пер. с итал. А.А. Губера. М.: Ирис; Киев: REFL-book, 1994. С. 80*).

вписать в их прокрустово ложе. Отсюда дробная специализация и синкретический характер тех гуманитарных «дисциплин», которым авторы барочных энциклопедий отводили место на задворках своих *opera magna* (в разделах с характерным названием «смеси дисциплин»), отсюда же и странное соседство этих дисциплин с такими экзотическими на наш современный вкус разделами знания, как табакология, проэмиография (наука о написании предисловий) и парадоксология. Парцелляция поля гуманитарного знания была обусловлена, разумеется, не только жанровыми особенностями барочной энциклопедии: свойственный дисциплинам филолого-герменевтического цикла в эпоху Высокой критики (да и позднее) демонстративный отказ от «теории» в пользу «техники» имел следствием их самоизоляцию и тщательную заботу о неприкосновенности своей территории от внешних посягательств (прежде всего, со стороны философов). В действительности, однако, вызывающий эмпирический изоляционизм филолого-герменевтических дисциплин и их сосредоточенность на технике в ущерб «теории» сами по себе предполагали очень важное эпистемологическое решение. Более того, «эрудитская» наука раннего Нового времени подчас выступала с чрезвычайно радикальными эпистемологическими притязаниями. Некоторые протестанты-апологеты критического искусства заходили так далеко, что считали возможным произвести принцип предельной достоверности — по образцу картезианского «незыблемого основания достоверности» (*fundamentum inconcussum*) — непосредственно из филологического принципа аутентичности.

Протестантская филология являет нам пример дисциплинарного ин-тервенционизма «нового типа», т.е. такой дисциплинарной экспансии, образцом которой уже в Новое время можно считать, скажем, встретившую дружный отпор со стороны философов и логиков экспансию психологии в период хрестоматийно известного «спора о психологизме» (*Psychologismusstreit*) конца XIX — начала XX вв. Филология — в рассматриваемый период дисциплина с развитым самосознанием, жестко структурированным концептуальным аппаратом, логически обоснованной автономией и достаточно агрессивной стратегией поведения — начинает претендовать на то, чтобы занять место философии в обосновании единства гуманитарного знания. Рост «метафизических» притязаний филологии особенно отчетливо можно увидеть на примере библейской критики.

В протестантском богословии были заложены потенции к созданию полностью автономной концепции науки, опирающейся на собственный «несокрушимый фундамент». Этим «фундаментом» у таких авторов XVI в., как Джон Уитакер, стало положение о боговдохновенности Писания, обладающее статусом «не подлежащей доказательству аксиомы»²¹, которая имеет ту же функцию, что начала для всех наук и искусств (*quaenamodum*

²¹ См.: *Van Den Belt H. The Authority of Scripture in Reformed Theology: Truth and Trust. Leiden: Brill, 2008. P. 123.*

artes suis principiis nituntur). Термин *axioma anapodeikton* у кальвинистских богословов отсылает ко вполне определенным античным текстам — прежде всего, «Комментарии к Первой книге “Начал” Евклида» неоплатоника Прокла, греческий текст которого был издан в 1533 г. другом и корреспондентом Кальвина гуманистом Симоном Гринеем. Как полагал современник Уитакера, Антуан де ля Рош Шандье, из этой первой аксиомы о боговдохновенности Писания все остальные положения могут быть аподиктически выведены: «В Священном Писании нет ни одного места (*locus*), которое не обосновывалось бы первым положением: все места Писания получают свою силу от первой аксиомы»²². Позднее, в середине XVII столетия, Лодевейк Мейер, нидерландский эрудит и близкий друг Спинозы, отождествит *axioma anapodeikton* кальвинистов и «несокрушимое основание достоверности» Рене Декарта.

Однако для нас важно то, что *самоочевидность* (*αὐτοπιστία*) для авторов популярных протестантских учебников общих мест, таких, как Уильям Уитакер или А. де ла Рош Шандье, отождествляется в самом буквальном смысле с *аутентичностью* текста: для того чтобы найти основание достоверности, следует обратиться к самой древней версии Библии. Именно этот текст должен стать нормой толкования и разрешения всех богословских трудностей. Уитакер в полемике с тридентскими защитниками авторитета Вульгаты отождествлял самоочевидность (*αὐτοπιστία*) и аутентичность (*αὐθεντία*)²³. Этой позиции придерживались многие очень авторитетные протестантские богословы, например Франциск Гомар, полагавший, что только оригинальные еврейские и греческие тексты могут считаться «самоочевидными» в том же смысле, в каком мы говорим о самоочевидности геометрических аксиом. Известный эрудит и издатель авторитетнейшего в Республике ученых журнала «Acta eruditorum» Жан Леклерк приводит выдержки из канона некоей общины гельветских (т.е. швейцарских) протестантов, обращенные против нечестивых критиков, которые дерзают исправлять масоретскую Библию посредством Септуагинты, говорить об исторической изменчивости библейского текста или предполагать, что помимо масоретской версии Библии были еще и другие. За карикатурным образом швейцарских фанатиков стоит в действительности оппозиция конкурирующих эпистемологических принципов. Возведенному в абсолют принципу филологической аутентичности гельветские варвары-«аллоброги», как окрестил их Леклерк, лишь придали догматическое значение. Многие гуманистические филологи склонны были ставить филологию на место философии. Именно с этих позиций эрудиты отваживались бросить вызов новой философии — так, сын

²² Ibid. P. 124.

²³ Ibid. P. 126.

Исаака Казобона Мерик объединял в причудливый союз Бэкона с его эмпиризмом и Декарта с его критикой, полагая, что именно они ответственны за наступивший в его время (т.е. в конце 1660-х годов) упадок гуманизма. О таких филологах с философскими амбициями еще Галилей писал в письме к Кеплеру:

Этот род людей полагает, будто философия — это такая книга, на манер Энеиды или Одиссеи, и что истина может быть найдена не в мире и не в природе, а в коллациях текстов (пользуясь их собственным языком)²⁴.

Впрочем, протестантские филологи-критики так и не смогли доказать философам пользу обращения к истокам; использование же философских методов как логико-технических средств интерпретации текста было слишком очевидно механическим и внешним, на что пронизательно указал Бенедикт Спиноза в своем «Богословско-политическом трактате» (1670). Неудача предпринятой адептами «священной филологии» попытки отождествить смысл — базовую категорию гуманитарного знания — и филологическую аутентичность продемонстрировала невозможность построения гуманитарной эпистемологии из перспективы одной дисциплины, какими бы значительными ни были достигнутые ею критические успехи (разоблачение «Константинова дара», герметического корпуса и многое другое) и сколь ни была бы велика мощь ее методологического инструментария. «Монистская» модель интеграции гуманитарного знания потерпела неудачу. Словно в наказание за гордыню филология претерпела внутренне разделение: одна ее часть, эрудитское «пересчитывание слогов», превратилась в специализированную дисциплину (*Fachwissenschaft*), предшественницу немецкой «геллертерской» филологии, в то время как другая, образовав синтез с философией, сделалась основанием гуманитарной эпистемологии — «нового критического искусства», при этом пожертвовав, однако, дисциплинарной автономией. Но это произошло уже позднее: Джамбаттиста Вико в письме к Леклерку от 18 октября 1723 г. описывает все ту же диспозицию, которую мы могли наблюдать на протяжении всего XVII столетия: есть философы, убежденные во всемогуществе своего метода и потому совершенно игнорирующие историю, литературу и право, — и филологи, так привязанные к древним текстам, что считают преступлением малейшее отступление от их буквы²⁵. И кто же, как не он, мог поставить столь неутешительный диагноз: ведь именно Вико стал тем человеком, который, создав подлинно *новое* критическое искусство, сумел положить конец этой «странной войне».

²⁴ Цит. по: *Grafton A. Defenders of the Text: The Tradition of Scholarship in an Age of Science, 1450–1800.* Harvard: Harvard University Press, 1994. P. 2.

²⁵ *The Correspondence of Giambattista Vico, Jean Le Clerc, and Others, Concerning the Universal Right // Universal Right / G. Pinton, M. Diehl (transl and eds).* Amsterdam: Editions Rodopi B.V., 2000. P. 725.

«ИСТОРИЯ ИДЕЙ» И «ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА»: ГРАНИЦЫ ДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

В раннее Новое время — эпоху, бывшую, согласно *opinio communis* исследователей, временем чрезвычайно интенсивной (хотя и не совсем схожей с привычной нам) дисциплинарной специализации, — были созданы также и первые последовательные альтернативы дисциплинарному принципу в гуманитарных науках. Понятие дисциплины применительно к раннему Новому времени может порождать различного рода аберрации, в особенности если принять (ошибочно) в качестве точки отсчета универсальные и бесконечно изменчивые классификации дисциплин в духе «Энциклопедии» И.Г. Альстеда, отражающие не столько «складки» барочного дисциплинарного ландшафта, сколько пансофические утопии их создателей-миллениаристов. Термин «дисциплина» в этих многотомных сочинениях представляет собой лишь омоним по отношению к соответствующему понятию в Новое время. Однако предпосылка, из которой исходим мы в настоящем исследовании, состоит в том, что в XVII в. можно с полным правом говорить о процессе обретения некоторыми областями знания «дисциплинарного самосознания» — логически обоснованной автономии предмета и метода (*disziplinäre Verselbstständigung*, по выражению Арно Зайферта), а иногда и собственной институциональной ниши.

В предыдущей главе мы проследили историю становления гуманитарного метода — от критики схоластической метафизики Лоренцо Валлой и апологии «науки о единичном» у Марио Низолио до создания «новой науки» исторического опыта у Джамбаттисты Вико. Теперь же наша задача иная: мы предполагаем сделать предметом рассмотрения отношение между этим проектом интегральной — и оттого принципиально наддисциплинарной — науки о социально-историческом мире (*scientia civilis*, *scienza nuova* у Вико) и дисциплинарной матрицей, кристаллизация которой, как в гуманитарной, так и естественно-научной сфере происходит *grasso modo* в этот же период. Именно в раннее Новое время — эпоху барокко и раннего Просвещения — формируется оппозиция, сопровождавшая историю дисциплинарного принципа в гуманитарных науках на всем протяжении его

истории. На одном полюсе этой оппозиции — «политика блестящей изоляции» специальных дисциплин, предпосылкой которой выступает именно незыблемость дисциплинарных границ, на другом — проект «гуманитарной эпистемологии», помещающий науки о социально-историческом мире «по ту сторону» дисциплинарного принципа. Противоречивые тенденции присвоения и взаимного непризнания порождали в интеллектуальном пространстве раннего Нового времени разнообразные коллизии как когнитивного, так и социологического порядка, среди которых одна из наиболее любопытных — возникновение терминологических омонимов. Наиболее, пожалуй, репрезентативный пример этой омонимии — «история идей», с самого возникновения своего в конце XVII столетия оказавшаяся в зазоре между историей философии как специальной дисциплиной и «гуманитарной эпистемологией». Другой, может быть, более известный пример — политика, дисциплинарное оформление которой происходит одновременно с возникновением универсалистских «гражданских наук», подобных *scientia civilis* Томаса Гоббса. Представляется, что отношения между гуманитарной эпистемологией и *Fachdisziplinen* в раннее Новое время лучше всего можно было бы исследовать именно на примере этих «дисциплинарных псевдоморфоз» — эволюции разделов «гражданских наук», омонимичных эстаблированным дисциплинам. В настоящем очерке мы сосредоточимся на концепции «истории идей» и «гражданской науки» у Джамбаттисты Вико — одного из самых знаменитых оппонентов дисциплинарного принципа на рубеже Нового времени. Подобное исследование поможет нам на репрезентативном примере проследить противоречивое взаимодействие двух тенденций: дисциплинарной парцелляции и интеграции научного знания под эгидой философии (в случае Вико — христианско-платоновской метафизики).

* * *

Ранненовоявременная «история идей» оказывается превосходным индикатором, отражающим ключевые трансформации дисциплинарного принципа в преддверии высокого модерна. Прежде всего, «история идей» — наряду с антропологией, герменевтикой, статистикой и многими другими «новыми науками» — представляет собой новообразование, отражающее необыкновенную интенсивность процесса дисциплиностроительства в XVI — начале XVIII в. Изобретателем термина был крупнейший представитель протестантской критической истории философии Иоганн Якоб Брукер (1696–1770) — одно из первых его сочинений озаглавлено «История философского учения об идеях» («*Historia Philosophicae Doctrinae de ideis*»; в первом издании 1719 г. — «Опыт введения в историю логического учения об идеях» («*Tentamen Introductionis in Historiam Doctrinae logicae de Ideis*»)).

«История идей» Брукера не появилась, разумеется, ex nihilo. Общие истории философии и истории отдельных философских течений (sectae) создавались в XVII столетии по всей Европе. Свой вклад в историзацию философии внесла популярная концепция «универсальной истории» (historia universalis); самый известный ее представитель, редактор «Сокровищницы исторического искусства» (1679) Кристоф Милеус недвусмысленно утверждал, что «все роды наук произошли из истории и поэзии» (ex historia et poesia omnia doctrinarum genera dimanasse). Немаловажную роль в успехе истории философии сыграли принципы организации знания, получившие повсеместное распространение благодаря барочной энциклопедии: по удачному выражению Дональда Келли, рождение интеллектуальной истории — не что иное, как историзация энциклопедии¹. Г. Бюде, автор «Элементов инструментальной философии» (1697), полагал, что всякий философ должен быть историком, а Бернар Лами в «Беседах о науках» (1684) высказывал мнение, что преподавание истории философии могло бы стать обязательным для всех. Впрочем, эти пожелания были актуальны лишь для его родной Франции: в Северной Европе, в Германии и Нидерландах история философии была возведена в ранг университетской дисциплины, хотя и пропедевтической — соответствующий предмет преподавался в качестве введения к естественным наукам. Помимо институциональной ниши история философии обретает в начале XVIII столетия и представительство в периодической печати: один из виднейших представителей дисциплины, К.А. Хойманн, на протяжении шести лет с 1715 по 1721 г. издавал в Галле специализированный журнал «Acta Philosophorum, das ist gründliche Nachrichten aus der Historia Philosophica», устроенный по образцу знаменитых лейпцигских «Acta eruditorum».

Однако история философии не была лишь одной специальной дисциплиной наряду с другими — ее притязания состояли в том, чтобы стать одновременно историческим и теоретическим фундаментом всего корпуса человеческих знаний. Воплощением этой тотализирующей претензии стала философия эклектизма, вновь открытая для ранненовременной Европы Юстом Липсием и Иоганном Герхардом Фоссием. Событие это, столь важное для интеллектуальной истории ранненовременной Европы, произошло почти случайно: в силу целого ряда совпадений вышло так, что в издании Диогена Лаэртция от 1657 г., подготовленном одним из виднейших представителей барочной эрудитской филологии, Фоссием, глава о секте эклектиков оказалась последней. Тем самым, согласно Фоссию, эклектическая школа как бы подводила итог развитию античной философии. Фаво-

¹ Kelley D.R. History and the Encyclopedia // The Shapes of Knowledge: From the Renaissance to Enlightenment / D.R. Kelley, R.H. Popkin (eds). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991. P. 19.

ризирующая исторический подход история идей декларативно отказалась от систематического принципа в философствовании; так, анонимный автор «Жизнеописаний Древних философов» (1702) пишет:

Этот [исторический — Ю. И.] метод предпочтительнее того, который из множества сочинений формирует Общую Систему философии, цитируя без всякого порядка то одни, то другие фрагменты².

Соединение теоретических амбиций и критической установки по отношению к любой системе, притязавшей на обладание «завершающим видением», характерное для эклектиков, было унаследовано и Якобом Брукером. Брукер видел в своей «истории идей» вариант истории философии, главным предметом которой являются «чистые идеи» (*idee purae*). Именно к Брукеру восходит классическая «перспективистская» версия истории знания, одним аспектом которой является кантианская «история философии а priori», а другим — история *units of knowledge* Артура Лавджоя. В модели Брукера оказались собраны в одном фокусе история индуктивных наук, история философии и критическая модель рациональности, традиционно ассоциируемая с фигурой Декарта. Протестантская критическая версия истории идей у Брукера явным образом противостояла ренессансной парадигме *prisca sapientia*, усматривавшей истоки философского знания в мудрости Зороастра, Моисея и Гермеса Трисмегиста. Опираясь, с одной стороны, на разоблачительные открытия Исаака Казобона, а с другой — на эпистемологический фундамент индуктивных наук, Брукер последовательно разграничил религиозную мудрость (*sapientia*) древних и рациональную философию (*philosophia*), отвечающую позитивно-научным критериям³. Критический импульс Брукера стал кульминационным пунктом в развитии традиции, восходящей к авторитетному протестантскому теологу-аристотелику Христиану Томазию; ближайшим же источником для Брукера следует, по-видимому, считать «Историю нравственной философии» Николая Иеронима Гундлинга. В значительной степени потому, что институционально история философии в немецких землях была вводной частью курса по натурфилософии и естественным наукам, образцом для Гундлинга стала «История медицины» Даниэля Леклерка, брата знаменитого филолога и творца «критического искусства» (*ars critica*) Жана Леклерка. Объединение

² «This method, as I take it, is preferable to that of culling one General Systeme of philosophy out of all their writings, and to quoting them by scraps scattered here and there» (*The Lives of the Ancient Philosophers*. Newborough; L.: printed for John Nicholson, at the King's Arms in Little Britain and Th., 1702).

³ *Blackwell C. Thales Philosophus: The Beginning of Philosophy as a Discipline // History and the Disciplines. The Reclassification of Knowledge in Early Modern Europe / D.R. Kelley (ed.). N.Y.: The University of Rochester Press, 1997. P. 62.*

принципов филологической критики текста и поставленной на индуктивный фундамент истории медицины позволили авторам, подобным Брукеру и Гундлингу, выработать убедительную альтернативу *prisca sapientia*⁴. Так, ренессансная история философии в духе Ф. Патрици, Т. Стенли, Г. Хорния и И.Г. Фоссия была вытеснена критической историей философии, испытавшей определяющее влияние картезианства⁵. Курт Флаш весьма точно выделил основные параметры «критической истории идей», охарактеризовав ее как «полигисторски-лексикографическую, дружественную по отношению к Реформации и имеющую дидактическую цель» (*polyhistorisch-lexikographisch, reformationsfreundlich, didaktisch*)⁶.

Однако много более известная ранненовоязычная версия истории идей принадлежит оппоненту Брукера, Джамбаттисте Вико, критически упомянувшему в «Новой науке» «ученую и многомудрую книжечку под названием “История идей” (*un libricciuolo erudito e dotto col titolo Historia de ideis*). Кстати, в примечаниях к русскому изданию «Новой науки» это сочинение было ошибочно приписано Томасу Бакеру (1656–1740), автору трактата «*Reflections upon learning*», который в другом месте фигурирует у Вико под именем «анонимного английского автора»⁷. Отправная точка рассуждений Вико об истории идей принципиально иная, чем у немецкого эклектика: если Брукер хотел создать автономную дисциплину, обладающую позицией венаходимости по отношению к любым версиям метафизики, то Вико еще в ранних своих сочинениях недвусмысленно высказался против дисциплинарного партикуляризма. Своего рода манифест, направленный против изоляции отдельных наук, мы находим в знаменитой лекции 1708 г. «О методе преподавания и изучения наук в наше время»:

Искусства и науки, которые некогда философия исполняла словно бы единым духом, ныне предстают разделенными и разрозненными. В древности философы стремились к тому, чтобы сделать согласным со своим учением не только нрав свой, но и самый способ рассуждения. Сократ, заявлявший, что он «ничего не знает», не высказывал никаких мнений от собственного лица, но делал

⁴ Ibid. P. 66.

⁵ *Piaia G. The Histories of Philosophy in France in the Age of Descartes // Models of the History of Philosophy. Vol. II: From the Cartesian Age to Brucker / G. Santinello, G. Piaia. Dordrecht; Heidelberg; L.; N.Y.: Springer, 2011. P. 5.*

⁶ *Flasch K. Jacob Brucker und die Philosophie des Mittelalters // Jacob Brucker (1696–1770): Philosoph und Historiker der europäischen Aufklärung / W. Schmidt-Biggemann, Th. Stammen (Hrsg.). Berlin: Akademie-Verlag, 1998. S. 195.*

⁷ *Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / пер. с итал. А.А. Губера. М.: Ирис; Киев: REFL-book, 1994. С. 561.*

вид, будто желает учиться у Софистов; задавая им на вид скромные и неприятные вопросы, он незаметно вел свою линию рассуждения. Стоики, считавшие ум мерилом истины и полагавшие, что мудрец не может удовлетвориться одним лишь мнением, рассматривали не подлежащие сомнению истины в согласии с их собственными принципами (*pro suo jure*); эти истины они, вооружившись своими любимыми соритами и пользуясь вторичными истинами как опосредующими звеньями, прилагали к сомнительным положениям. Аристотель, учивший, что об истине следует судить как посредством чувств, так и посредством разума, пользовался силлогизмом для изложения общих истин, дабы посредством них сделать достоверными частные сомнительные положения. Эпикур, сводивший понятие об истине к данным ощущений, не принимал от других и сам не формулировал никаких доказательств: речь его была простой и безыскусной. Сегодня же университетские слушатели учатся искусству рассуждения у Аристотелика, физике — у Эпикурейца, юридическим *Институциям* — у последователя Аккурсия, *Пандектам* — у Фабриста, а *Кодексу* [гражданского права] у последователя Альчиато. И столь беспорядочным и искаженным бывает порой их образование, что, хотя в некоторых областях они и демонстрируют чудеса учености, целостного знания (*summa*), в коем заключен цвет мудрости, они не имеют. Вот почему я бы желал, чтобы университетские наставники составили единую систему дисциплин, согласную с нуждами религии и государства и способную соблюсти единство учения, и эту систему преподавали бы в соответствующем общественном учреждении (*ex publico instituto*)⁸.

Того, кто стремится отделить дисциплины друг от друга и отлучить их от философии, Вико называл не иначе как «тираном». В «Автобиографии» 1723–1728 гг. неаполитанский философ заявил, что до его «Новой науки» не существовало системы, объединяющей просвещенную светом христианства платоновскую метафизику и гуманистическую филологию. Как бы мы ни представляли себе отношение дидактических сочинений Вико к «Новой науке» (а на этот счет существуют различные точки зрения)⁹, ясно, что идеал «системы наук», схематически намеченный в «*De ratione*», воплощение свое обрел именно в викианском *opus magnum*. Систематическое единство дисциплин в «Новой науке» обосновывали многочисленные органические метафоры: от уподобления «Элементов» новой науки «крови, растекающейся по одушевленному телу»¹⁰, до традиционной для классифицирующего дискурса метафоры «древа Поэтической Мудрости», ветвями которого

⁸ *Vico G. De nostri temporis studiorum ratione // Vico G. Opere. Vol. 1 / A. Battistini (a.c.d.). Milano: Arnaldo Mondadori Editore, 1999. P. 208.*

⁹ *Girard P. Giambattista Vico. Rationalité et politique. Une lecture de la Scienza nuova. P.: Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2008. P. 15.*

¹⁰ *Вико Дж. Основания новой науки. С. 73.*

являются, по Вико, логика, этика, мораль, политика, космография и другие науки¹¹. Однако главная семантическая трансформация, образующая в некотором смысле нерв «новой науки», заключалась в том, что центральные категории отдельных дисциплин превратились у Вико в метафоры социально-политических реалий. Возможность подобной «транспозиции» обеспечивалась принципиально иной по отношению к Новому и Новейшему времени структурой дисциплинарного поля: в раннее Новое время проблемные области, которые для современного научного мышления представляются радикально несоизмеримыми и лежащими в разных плоскостях, образовывали континуум. Иногда из смешения множества «дискурсов ученой культуры» рождались новые специализированные дисциплины — так, из синтеза библейской герменевтики и физики возникла геология. Иногда же, напротив, возникали синкретические образования, содержавшие в себе частные дисциплины как бы эминентно: таковы, скажем, *philosophia mosaica* Яна Амоса Коменского, *historia universalis* Кристофа Милеуса, *mathesis politica* Томаса Гоббса или *scienza nuova* Джамбаттисты Вико.

Дональд Келли ставит Вико в один ряд с Луисом Вивесом, Кристофом Милеусом, Луи Ле Руа и другими гуманистическими «историками знания»¹². Известно, что Вико был близок к Джузеппе Валетте, автору одной из наиболее известных историй философии, составленных в Неаполе. В то же время, позиция Вико по отношению к истории идей представляется двойственной. С одной стороны, и в «Королларии об основных точках зрения настоящей науки», и в «Объяснении поэтической мудрости» — важнейших методологических разделах «Новой науки» — Вико прямо называл свою науку «историей [человеческих] идей» (*terzo principale aspetto è una storia d'umane idee*). Более того — все основания («принципы») своей науки Вико делил на две части — одни относились к истории идей, вторые — к истории языка (*principi divisi in due classi, una dell'Idée, un'altra delle Lingue*). С другой стороны, однако, представители обеих доминировавших в интеллектуальном ландшафте того времени версий истории философии — Якоб Брукер и Георгий Хорний — охарактеризованы в викианском *opus magnum* весьма критически. Причем если Брукер, как мы могли убедиться, был упомянут анонимно — приведено лишь название его сочинения «*Historia doctrinae de ideis*» — то Хорний вместе с другим представителем эрудитской *historia sapientiae*, Томасом Стенли, пополнил пандемониум отрицательных персонажей «Новой науки» на равных правах с Макиавелли, Гоббсом, Зельденом и иными *bêtes noires*.

¹¹ Там же. С. 127.

¹² Kelley D. R. *Between History and System // Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern Europe* / G. Pomata, N.G. Siraisi (eds). Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2005. P. 232.

Так, в разделе «О Поэтической Географии» Хорний становится объектом насмешек за анахронистическое представление о скифе Анахарсисе, которого традиция *prisca sapientia* превратила в одного из основателей философии¹³. Полемика с родственной естественным наукам историей философии содержится в «Новой науке» не только эксплицитно, но и имплицитно. В числе примечаний к Хронологической Таблице в рубрике под литерами Kk мы находим упоминание о Фалесе Милетском — основоположнике ионийской натурфилософии и, тем самым, для таких авторов, как Брукер, также и всей философии в целом. В результате целого ряда контаминаций и объединений — далеко не всегда обоснованных — разрозненных доксографических свидетельств Фалесу был приписан целый ряд естественно-научных открытий. Другой древний ионийский философ — Анаксимандр — был объявлен учеником Фалеса и, что еще более важно, основателем первой натурфилософской школы, *secta ionica*. Именно благодаря представителям протестантской критической историографии история философии во всех учебниках стала начинаться — и начинается до сих пор — «от Фалеса» (разумеется, эта генеалогия в конечном счете восходит к Диогену Лаэртию, однако у Диогена мы можем найти и ряд «ориентальных» предшественников Фалеса, которые не могли бы войти в канон критической истории философии). Вико также объявил Фалеса основателем философии, причем именно как «физика». Однако открытие Фалесом физического первопринципа — воды — намерено помещено в «Новой науке» в травестийный контекст: «И начинает он [Фалес — Ю. И.] с Принципа слишком нелепого, с Воды, может быть, потому, что наблюдал, как благодаря воде растут тыквы» (*e cominciò da un principio troppo sciapito — dall'acqua, — forse perché aveva osservato con l'acqua crescer le zucche*)¹⁴. Открытие физики предстает событием совершенно случайным и нелепым, а Фалес — фигурой скорее комической и вряд ли заслуживающей того места в пантеоне основателей позитивной науки, которое отводили ему авторы, подобные Брукеру. Рискнем предположить, что именно ирония служила Вико одним из главных инструментов дискредитации первоначал конкурирующих «новых наук». Достаточно вспомнить в связи с этим начало главы «О методе» его «Новой науки», фоном для которой было, как легко предположить, «Рассуждение о методе» Декарта. Словно в насмешку над педантичностью Картезия, последовательно избавлявшегося от предрассудков на пути к единственному непогрешимому методу, генеалогия которого — восхождение к *cogito* как первооснове всякой достоверности — и образует сюжет «Рассуждения», метод Вико, по собственным словам автора, рождается в буквальном смысле «от скалы и дуба»:

¹³ Вико Дж. Основания новой науки. С. 40, 327.

¹⁴ Там же. С. 60.

Для полного установления Оснований нашей Науки нам остается обсудить в первой Книге метод, которым она должна пользоваться. И так как она должна начинать с того, с чего начинается ее материал (как это было сказано в Аксиомах), то мы принуждены отправляться, как и Филологи, от камней Девкалиона и Пирры, от скал Амфиона, от людей, рожденных бороздами Кадма или «крепким дубом» Вергилия; и как Философы — от лягушек Эпикура, от кузнечиков Гоббса, от простаков Гроция, от брошенных в этот мир безо всякой божьей заботы и помощи — Пуфендорфа, от грубых дикарей, так называемых Патагонских гигантов, которые, как говорят, были найдены у Магелланова пролива, т.е. от Полифемов Гомера, принятых Платоном за первых Отцов в состоянии Семей — такова Наука об Основаниях культуры, данная нам как Филологами, так и Философами!¹⁵

Нельзя не видеть здесь, в первых строках раздела «О методе» «Новой науки», аллюзии на «Рассуждение» Декарта, тем более что в соседнем примечании эпистемологические требования к «каждому, интересующемуся нашей Наукой», сформулированы в совершенно картезианском духе:

Он должен покрыть забвением свою фантазию и свою память и оставлять свободное место только для понимания; и тогда, отправляясь от такой первой человеческой мысли, он начинает раскрывать погребенные до сих пор стороны происхождения, составляющие и украшающие как Мир Гражданственности, так и Мир Наук¹⁶.

Однако барочные гротески в приведенной цитате не являлись лишь средством дискредитации картезианского рационализма. Собранный Вико коллекция нелепых и разнородных оснований «новой науки» была призвана подчеркнуть органическое единство метода и предмета этой науки — стихии исторического мира — в противоположность умозрительности метода картезианцев.

Дискредитация фигуры Фалеса и дистанцирование от «истории идей» Брукера предполагали принципиальное различие между «поэтической физикой» Вико и физикой критических историков философии, подобных Брукеру. Физика «поэтической эпохи», о которой писал Вико, радикально отличается от физики в ранненовременных представлениях о ней. Вико отвергал принцип линейного прогресса дисциплины, полагая, что древнейшая физика иноприродна соименной ей дисциплине эпохи «явленного разума»: фактически викианская физика является контрапунктом к «Поэтической экономике» — разделу «Новой науки», посвященному одновременно социальному и физиологическому «оформлению» человеческого

¹⁵ Там же. С. 112.

¹⁶ Там же. С. 113.

тела, — и представляет собой вариант социальной антропологии. Самой большой и самой важной частью древнейшей физики, по Вико, является рассмотрение природы человека¹⁷ — учение первобытных «поэтов-теологов» об элементах, о хаосе и т.д. было перетолковано в терминах «естествознания» лишь позднее, в эпоху эмансипации науки от ее социального субстрата. Так, четыре элемента в учении древнейших физиологов являются в действительности метафорами четырех этапов прогресса гражданского состояния; Хаос древних поэтов обозначает вовсе не первоматерию, как хотел думать еще Аристотель, а промискуитет, являющийся, по Вико, необходимой характеристикой жизни людей в состоянии *ferinitas*. Однако, парадоксальным образом, именно из этого арсенала метафор, в свернутом виде (*picciola favoletta*) содержащих социально-политический опыт древнейшего человечества, в конечном счете сформировался и язык новейшей науки о природе. Так, Вико усматривал прямую преемственность между поэтической метафорой («героическим описанием») *cernere oculis* — т.е. буквально «черпать глазами» — и картезианской диоптрикой. Еще более разительный пример — интерпретация латинского глагола *olfacere* — обонять, или буквально *производить запахи*. По Вико, поэты-теологи оказались современнее физиков-аристотеликов, предвосхитив опровержение теории вторичных качеств Декартом и Локком¹⁸. При этом в роли опосредующего механизма, позволившего связать друг с другом примитивные формы социального опыта, с одной стороны, и дифференцированные и притязующие на автономию от социального субстрата науки времен *ragione spiegata* (по Вико, эпохи рефлексии, или «явленного разума»), с другой, выступила этимология. Так, возводя существительное *humanitas* к глаголу *humare* («погребать»)¹⁹, Вико обосновывал происхождение всех «наук о человеке» (*humanitates*) от одной из трех древнейших церемоний, положивших начало гражданскому состоянию (погребения, торжественных браков, гадания). Именно амбивалентность этимологии, укорененной, с одной стороны, в телесном опыте, а с другой — выступавшей универсальным механизмом производства и трансляции знания, позволила избежать цезур в викианской модели истории идей.

Полноценной и систематически завершенной версии истории философии Вико не создал, однако фрагмент «философски рассказанной истории философии» (*una particella della storia della filosofia narrata filosoficamente*)

¹⁷ Вико Дж. Основания новой науки. С. 300.

¹⁸ «Натур-Философы открыли истинность того, что сами ощущения создают качества, которые называются чувственными» (Там же. С. 307).

¹⁹ Там же. С. 215.

мы все же можем обнаружить в конце четвертой книги «Новой науки» 1744 г. Руководящим принципом истории философии явилась строгая гомология истории социально-политических институтов и естественно-научных представлений: «Наша Наука продвигается посредством строгого Анализа человеческих мыслей, относящихся к необходимости или пользе общественной жизни»²⁰. У Вико история идей начиналась не тогда, когда появились концепции, которые современные ему науки о природе могли бы признать родственными себе, а «с того момента, когда первые люди начали мыслить по-человечески». Именно поэтому история философии оказалась королларием к истории «естественного права народов», каковая, однако, предстала у Вико в причудливом синкретическом облике — в форме «легальной метафизики» (*legal metafisica*):

...С Афинской площади выходили все отмеченные нами Основания Метафизики, Логики и Морали. Из указания Солона Афинянам: *nosce te ipsum* [«Познай самого себя»], как мы разъяснили выше в одном из Короллариев к «Поэтической Логике», возникли Народные Республики, из Народных Республик — Законы, а из Законов — Философия. Поэтому Солон, Мудреца в Народной Мудрости, стали считать Мудрецом в Тайной Мудрости. Пусть это будет философски рассказанной частицей Истории Философии...²¹

Возникновение философии предстало у Вико эпифеноменом эволюции социальных практик и трансформации языка:

Из наблюдения над тем, как афинские граждане в предписывании законов объединялись в идее равномерно распределенной и общей для всех пользы, Сократ начал выводить интеллигибельные родовые понятия, т.е. абстрактные универсалии, посредством Индукции²².

Отсюда понятно, почему Вико отмежевался от брукеровой истории идей. Реконструкция подлинной — социальной — природы всякого знания позволила автору «Новой науки» выявить основной порок современных ему естественно-научных дисциплин; лучше всего это открытие Вико удалось определить Джузеппе Мадзотте: «Для Вико посулы наук о природе разбиваются о телесную реальность. Новая физика не может, в отличие от Египетской мудрости, защитить природные тела от разрушения и смерти»²³.

²⁰ Там же. С. 117.

²¹ Там же. С. 434.

²² Там же. С. 433.

²³ *Mazzotta G. The New Map of the World: The Poetic Philosophy of Giambattista Vico. Princeton: Princeton University Press, 1999. P. 134.*

* * *

Такое же амбивалентное положение, как и история идей, в конструкции викианской «гражданской науки» занимала и *политика*. В самом общем смысле во второй половине XVII в. можно выделить две конкурирующие дисциплинарные модели «политики», альтернативой которым был проект интегральной «гражданской науки»: тацитизм, инкорпорировавший элементы гуманистической риторики, и реформированный «протестантский» аристотелизм. Разумеется, не следует представлять себе эти модели по образцу устойчиво воспроизводящихся дисциплинарных комплексов, характерных для классической структуры дисциплинарного поля после позитивистского «онаучивания». Однако ряд параметров дисциплины у трех перечисленных нами протодисциплинарных форм политики мы все же можем обнаружить: это, прежде всего, этаблированный язык и относительно устойчивый категориальный аппарат, унифицированная структура аргументации и узнаваемый канон авторитетов.

Кроме того, с начала XVII в. «политика» (правда, понимаемая достаточно туманно) стала проникать и в научные институции²⁴: в 1612 г. Даниэль Хейнзий, преподаватель древнегреческого языка в Лейденском университете, получил звание «профессора политики» (*professor politices*), а за 10 лет до этого в Упсальском университете была открыта кафедра риторики и политики для Юхана Шютте (*Johan Skytte*). Университеты и в случае политической дисциплины стали центрами производства «нормализованного» знания: на лекциях свежеспеченных *professores politices* формировался новый дисциплинарный язык, вытеснявший топику комментариев к «Политике» Аристотеля. Этот язык затем нашел воплощение в дидактической литературе. Основой преподавания политики в Северной Европе, где в XVII в. эта дисциплина быстрее всего проникала в университеты, был гуманистический принцип *imitatio*²⁵: первые профессора политики, подобные

²⁴ То есть почти на 100 лет позднее, чем история. По имеющимся данным, первая *lectio historica* была прочитана Иво Виттихом в 1504 г. в Майнцком университете, а три года спустя кафедра истории, которую занял Герман Буш, появилась в Лейпциге. Однако массовое появление исторических кафедр в европейских университетах относится уже к первым десятилетиям после начала Реформации. В 1529 г. должность профессора истории (*historicus*) была учреждена Филиппом Гессенским в Марбургском университете, в следующем году историческая кафедра появилась в Тюбингене, а в 40-е годы уже одновременно в целом ряде университетов — в Грейфсвальде, Кенигсберге, Гейдельберге, Ростоке, Йене (*Lyon G.B. Baudouin, Flacius and the Plan for the Magdeburg Centuries // Journal of the History of Ideas. 2003. Vol. 64. No. 2. P. 253–272*).

²⁵ *Tromp B. De wetenschap der Politiek: Verkenningen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004. Z. 21; см. также: Wansink H. Politieke wetenschappen ann de Leidse universiteit 1575–1650. Utrecht: Hes, 1981. Z. 67, 85; Daalder H. Political Science in the Netherlands // European Journal of Political Research. 1991. Vol. 20. No. 3–4. P. 279.*

Даниэлю Хейнзиу, вовсе не ставили своей целью анализ актуального состояния европейских государств или тем более разработку теоретического инструментария, подобного методам политологии в привычном для нас представлении об этой дисциплине.

Между тем начиная с середины XVI столетия о необходимости реформы политической дисциплины говорили все, даже наиболее умеренные политические писатели. Характерная для рубежа XVI–XVII вв. ситуация «дискурсивной анархии» (В. Кан) вызвала к жизни процесс, который Маурицио Вироли окрестил «триумфом *ragion di Stato*»: традиционное для гуманистической эпохи понимание политики как гражданской философии, направленной на общее благо, последовательно сходило на нет. Отмирание языка старой гражданской философии, осуществленный гуманистами риторический поворот и массивное наступление на аристотелевскую модель политики на рубеже XVI–XVII столетий оставили нарождающиеся науки о социально-историческом мире в состоянии мучительной языковой нужды — *Sprachnot*.

В этих условиях возникли новые дискурсы политики, важнейшими из которых, как мы уже сказали, были тацитизм и, в немецких землях, «статистика». Основными доминантами тацитистской политики следует считать пристальное внимание к техникам манипуляции, *usages of imagery* по Скиннеру (тацитистская категория *arcana imperii*), риторическим стратегиям политического воздействия (открытие подрывного потенциала такого тропа, как парадиастола²⁶) и апроприацию проблематики государственного интереса (*ragion di stato*), приведшую к глубинной трансформации предмета политического рассуждения. Существенным фактором конституирования дисциплинарной идентичности тацитистской политики были компиляции, игравшие роль «сокровищницы общих мест политического искусства», — такие как трактат «О тайнах государств» Арнальда Клапмария или «Тайны царств и республик, извлеченные из сочинений преизобильного Корнелия Тацита» Кириака Лентула. Однако самосознание тацитистской политики было парадоксальным: там, где писатели-тацитисты пытались осмыслить дисциплинарный статус своей модели политики, они сближали ее с традиционно отлучавшейся от круга наук софистикой²⁷. Тем самым они создали как бы «антидисциплину», интеграция которой в дисциплинарное поле науки раннего Нового времени оказалась невозможной.

²⁶ Skinner Q. *Reason and Rhetoric in the Philosophy of Thomas Hobbes*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 161–178.

²⁷ См. гл. III–V «Государственных тайн» Клапмария: *Clapmarius A. De arcanis rerum publicarum*. Amsterodami, Apud Ludovicum Elxevirum, 1644. P. 6–12.

Если тацитистская политика, *mutatis mutandis*, была наследницей долгой традиции политики ренессансной, то другая плазматическая форма дисциплинарности — *Staatenkunde*, или статистика, предтеча немецкой камералистики — была представлена ее создателем, Германом Конрингом, как его собственное и не имеющее прецедентов в традиции изобретение («*a nemine quoquam tradita*»). Конринг, профессор политики в Хельмштедте, представил свой проект «онаучивания» политики в аристотелевском смысле. Это была «гражданская наука», или «статистика» (*scientia civilis, Staatenkunde*). Согласно Конрингу, искомая наука о государстве уже существовала, но только в потенции: в эмпирическом своем аспекте она уже была построена («*iam exstructa est super experientiam*») ²⁸. Политика Конринга, как, скажем, и «универсальная герменевтика» Даннхауэра, возникла из нового прочтения Аристотеля, из стремления, говоря словами того же Даннхауэра, «выйти за померий аристотелевской науки, прибавив к ней еще один город». Однако «дедуктивный стиль», свойственный конструкции «универсального благоразумия», не должен вводить в заблуждение: «политическую архитектонику» Конринга, несмотря на ее универсалистские притязания, Арно Зайферт с полным правом охарактеризовал как модель «слабой» или «мягкой» политической науки (*weichere «scientia»*) ²⁹. В седьмой главе своего трактата «Прополитика» (1663) Конринг повторил традиционные аргументы против возможности демонстративного аргумента в историческом исследовании, однако здесь же напомнил о том, что Аристотель называл свою политику акроаматикон — точной наукой. В подтверждение этого суждения Конринг приводил несколько аргументов. Прежде всего, в политике можно найти все виды демонстративного доказательства: приведение к невозможному, от симптома, от эффекта, от ближайшей причины ³⁰. Кроме того, по мнению хельмштедтского профессора, не так уж важно, достигают ли политические доказательства степени достоверности, свойственной доказательствам математическим ³¹. Отказывать политике в праве именоваться наукой на основании неопределенности ее эпистемологического статуса столь же неразумно, сколь и отрицать научность физики: ведь и естественные вещи

²⁸ *Seifert A. Conring und die Begründung der Staatenkunde // Hermann Conring (1606–1681). Beiträge zu Leben und Werk / M. Stolleis (Hrsg.). Berlin: Duncker und Humblot, 1983. S. 204.*

²⁹ *Ibid.* S. 208.

³⁰ *Conringius H. Propolitica, Sive Brevis Introductio on Civilem Philosophiam. Helmstadii: Typis et sumptibus H. Mulleri, 1663. P. 49.*

³¹ «*Civilium rerum certam peritiam aliquando posse accipi, idque demonstrationibus ratiocinationibus; etsi illae non sint demonstrationes primi ordinis atque omnium exactissimae*» (*Ibid.* P. 50).

являются акцидентальными, а вечны и неизменны лишь в родах и видах³². И здесь Конринг предпринял принципиально важный шаг, который позволяет считать его не только автором оригинального политико-юридического учения (*Staatenkunde*), но и предтечей статистики в привычной для нас математизированной версии этой дисциплины. Прежде всего, он указал на практическую нецелесообразность императива абсолютной достоверности³³: для того чтобы принимать верные политические решения, следует обращать внимание на регулярно повторяющиеся действия (*saerenumero contingere*)³⁴. В политической практике, писал он, нужно искать не аподиктические законы, а статистические закономерности. Предысторией превращения проблемы моральной достоверности в одну из центральных тем рассуждения об универсуме человеческого произвола (*moralization of modalities*, используя термин Свена Кнебеля) стала рефлексия о «трех видах необходимости» в католической схоластике конца XVI — начала XVII столетия (после Тридентского собора)³⁵. Однако в схоластической традиции проблема *triplex necessitas* осталась изолированной от политической практики: «открытие статистических модальностей» в испанской теологии было в первую очередь обращено на пользу теодицеи (апория неизбежности грехопадения, вопрос о необходимости выбора лучшего мира из возможных или боговоплощения) и решения проблемы предопределения³⁶. А вот у политических теоретиков XVI–XVII вв. «моральная достоверность» становится областью, в которой эпистемологическая проблема обретает политическое измерение. Одним из возможных методов работы с моральной модальностью, апробированных уже католическими теологами, была математика. Однако в «политической архитектонике» Конринга не нашлось места математическим методам; поворот от логико-метафизической необходимости *episteme* к статистической модальности осуществлен у него, как ни парадоксально, на базе все той же аристотелевской науки. Так, в качестве прецедента «статистического» исследования, диагностики политических закономерностей, Конринг приводил аристотелевский проект сравнения

³² Ibid. P. 52.

³³ «Scire enim dicimur, quotiescunque aliquid intelligimus secluso errandi metu, multo magis quando simul causas habemus perspectas» (Ibid. 54).

³⁴ Ibid. 53.

³⁵ *Knebel S.K. The Renaissance of Statistical Modalities in Early Modern Scholasticism // The Medieval Heritage in Early Modern Metaphysics and Modal Theory, 1400–1700 / R.L. Friedman, L.O. Nielsen (eds). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. P. 233.*

³⁶ Ibid. P. 237.

между собой 158 греческих политий. Но более того: сам переход от «сильной» аподиктической модели науки к «слабой» статистической осуществлен посредством метатезы внутри все того же классического аристотелевского определения науки как знания о том, что «существует вечно или в большинстве случаев» (Метафизика, XI, 8). Таким образом, для того чтобы осуществить насущную реформу политического рассуждения, Конрингу даже не пришлось покидать «померий аристотелевской науки»: ему было достаточно лишь переместить центр тяжести с *aei* («вечно») на *epi ta polu* или *katha pleisthon* («в большинстве случаев») в школьной аристотелевской формуле.

Конринг недвусмысленно высказывался в пользу автономии политического рассуждения: его *scientia civilis* должна быть отличена от разных видов благоразумия, от риторики и от юриспруденции³⁷, а также от «вежества» или «политичного обхождения» (того, что у итальянских авторов называлось *vivere politicamente*). Статистика Конринга противопоставлялась гуманистическим «упражнениям в красноречии» (*oratoria exercitia*) и мыслилась им как теоретическое завершение дескриптивного анализа отдельных «политий» (*notitia status imperii*). По мнению хельмштедтского профессора, эта иерархия должна была найти отражение и в структуре университетского куррикулума: историю следовало читать прежде политики. В концепции Конринга история превратилась в своего рода «сырьевой придаток» политики и других теоретических дисциплин: он называл ее «кормилицей строгих наук» — *manuctrix severiorum scientiarum*³⁸.

Проект реформы политического благоразумия в форме дедуктивного обоснования уже наличного эмпирического опыта посредством инкорпорирования исторического материала в аристотелевскую конструкцию науки пользовался в рассматриваемый нами период значительной популярностью: поэтому и Дж. Вико определил свою «Новую науку» как *scientia de universalibus et aeternis*³⁹. Однако наряду с протодисциплинарными моделями политики, подобными гражданской науке Конринга, моделями, предполагавшими включение политики в семью других дисциплин на основании единой эпистемологической программы (аристотелизм в случае Конринга),

³⁷ *Conringius H. Propolitica, Sive Brevis Introductio...* P. 47.

³⁸ *Seifert A. Conring und die Begründung der Staatenkunde.* S. 212.

³⁹ По словам Арно Зайферта, «если мы возьмем для сравнения теорию науки Френсиса Бэкона, то увидим, что, хотя у Конринга необходимость эмпирического материала для политической науки номинально обосновывается сходным образом, потребность в теоретическом обосновании эмпирических наблюдений с самого начала рассматривается как приоритетная задача политики» (*Ibid.*).

возникла и противоположная им по духу идея интегральной гражданской науки, нашедшей воплощение, среди прочего, в *mathesis politica* Томаса Гоббса. Основываясь на принципе *verum-factum*, Гоббс, притязавший на то, чтобы не просто реформировать политическую науку, а создать ее из ничего («политическая философия не древнее, чем мой собственный трактат “О гражданине”»), объявил политику единственной достоверной наукой. Не менее известной версией интегральной гражданской науки была «новая наука» Дж. Вико. Здесь следует сделать уточнение: у Вико необходимо различать *scienza delle cose civili* и то, что он сам называет «поэтической политикой». «Поэтическая политика» неаполитанца имеет столь же малое отношение к протодисциплинарной политике тацитистов и адептов *Staatenkunde*, как и его поэтическая физика — к физике в понимании Ньютона или Бойля. В то же время, несводимый остаток, своего рода *carut mortuum* языка тацитистов и «статистов» мы можем обнаружить как в «Новой науке», так и в более ранних сочинениях неаполитанца.

Речь идет о викианской концепции *ragion di stato* («государственного интереса»). *Ragion di stato*, как известно, представляет собой один из центральных элементов политического дискурса тацитистов. Однако в противоположность авторам, подобным Клапмарию, которые создали, отталкиваясь от этой категории, подлинную поэтику манипуляции, Вико превратил *ragion di stato* и *arcana imperii* в маргиналии тектонических социально-политических трансформаций. В противовес просвещенческой модели исторического процесса (представленной, в числе прочих, Дж. Толандом), для которой противоречие между ясностью юридического языка в древности и темнотой его в более просвещенные времена выглядело неразрешимой апорией, Вико считал герметизм юридического языка нормальной функцией от социальных процессов («Законы соответствуют состоянию общества»). Согласно Вико, на героической стадии человеческой истории, когда древнейшие священные законы «охранялись немymi языками» и выражались в мистериях, необходимость скрывать смысл юридических обрядов и формул от непосвященных была мотивирована грубостью человеческой природы, неспособной воспринять никакую дискурсивную форму. В эпоху монархий, т.е. в форме правления, представляющей собой, с точки зрения Вико, кульминационный этап эволюции политических институтов, возникновение эзотерической речи «государственного интереса» связано с размежеванием двух ветвей права: в то время как «гражданская справедливость» (*aequitas civilis*) становится уделом немногих мудрых государственных мужей, обсуждающих государственные дела в тиши своих кабинетов, большинство знает в мельчайших подробностях лишь свои частные права (*aequitas naturalis*).

Вико, как и Конринг, претендовал на то, чтобы создать «гражданскую [т.е. политическую]» науку (*scienza delle cose civili*), однако подход двух ав-

торов к этой задаче был принципиально различным. Конринг ставил перед собой цель разработать операциональный методологический инструментарий, четко очертить предметное поле и внятно обосновать логическую автономию и эпистемологический статус политической дисциплины. Очевидно, что такая конструкция политики особенно благоприятствовала производству нормализованного знания в рамках данной дисциплинарной модели и быстрой институционализации свежиспеченной «статистики». Границы гражданской науки у Вико, напротив, очень размыты: в конечном счете, *scientia civilis* — лишь один из множества атрибутов или аспектов «новой науки» наряду с «философией авторитета» или «историей идей». Кроме того, внутри гражданской науки имелся еще и раздел метафизики, который Вико называл политикой в собственном смысле этого слова. Задача политики в узком смысле заключается, по Вико, в исследовании двух проблем: 1) возникновения публичной сферы в экономике и потестарных отношениях; 2) причины и условия возможности возникновения социального неравенства⁴⁰. Именно анализу этих проблем посвящены «протомарксистские» разделы «Новой науки», повествующие о борьбе патрициев и плебеев и эволюции аграрного законодательства в Древнем Риме.

Политика в широком смысле представляет собой, наряду с критикой, один из двух видов «практики» «новой науки». Как показывает не опубликованное Вико приложение к «Новой науке» 1730 г., озаглавленное «Практика настоящей науки» (*Pratica di questa scienza*), «новая наука», т.е. созерцание «вечной идеальной истории» в фактах, имела непосредственное политическое приложение:

*Подобная Практика может быть с легкостью почерпнута из Созерцания Пути, который проходят Нации; наученные этим созерцанием, Мудрые Государственные мужи и Государи смогут, установив надлежащие порядки, законы и образцы для подражания, привести свои народы к акцї или совершенному состоянию*⁴¹.

В одном из своих писем 1729 г. Вико определил цель своей «Новой науки» как «достовернейшую критику человеческого произвола» (*critica certissima dell'umano arbitrio*)⁴². В формулировке этой задачи Вико был близок к Томасу Гоббсу, однако при более внимательном рассмотрении теоретический стиль двух этих моделей гражданских наук обнаруживает фундаментальные раз-

⁴⁰ Вико Дж. Основания новой науки. С. 94.

⁴¹ Vico G. *Pratica di questa scienza* // Vico G. *Scienza nuova 1730* / P. Cristofolini con la collab. di M. Sanna (a. c. d.). Napoli: Guida, 2004. P. 511.

⁴² Цитата из письма Вико Франсиско Ксаверию Эстевану от 12 января 1729 г. Цит. по: Girard P. *Giambattista Vico*. P. 75.

личия. Гоббс «работал широкими мазками»; он стремился, «элиминировать хаос и противоречивость исторических и правовых практик», «редуцировать значение исторической информации для теоретизирования». Его перспектива — «макросоциологическая» (*macro-solution of macro-problems*), а вопросы, которые он решал, — экстремальные, предельные вопросы, не допускавшие промежуточных решений и слишком пристального внимания к историческим мелочам. У Вико, напротив, история (а «Новая наука» в одном месте прямо определена как «история»⁴³) раскрывала необозримое поле политических возможностей, примеров институциональных трансформаций, сценариев действия: викианская «политическая диагностика» (*ars diagnostica*) предполагала совершенно другую оптику, чем гражданская наука Гоббса⁴⁴. Как отмечает Н. Стрьювер:

В то время как Гоббс отказывается иметь дело с богатством «слишком человеческих» деталей историко-политических практик, Вико открывает в этом богатстве внутренние ресурсы, позволяющие постичь истоки гражданского устройства — хотя бы и в режиме иронии. В то время как Гоббс, как кажется, стремится элиминировать хаос и противоречия исторических и правовых практик человеческого сообщества и, тем самым, редуцировать удельный вес исторической информации в теоретическом рассуждении, Вико, напротив, придает этимологиям, которые в изобилии встречаются на страницах его сочинений, центральное значение для разработанного им диагностического искусства, ибо этимологии для него — это сохранившиеся в памяти языка исторические свидетельства социальных и правовых институтов, это источник политической мудрости, содержащий в себе тактический опыт сохранения идентичности наций⁴⁵.

Кардинальное отличие «новой науки» от «статистики» Конринга заключается, прежде всего, в том, что у Вико доступ к объекту политического анализа опосредован герменевтической задачей расшифровки «знаков» (*signi*) и «обломков» (*rottami*) древности; эта задача противопоставлена непосредственному приложению умозрительных категорий «явленного разума» к миру наций или к государствам (т.е. тому, что Вико называл «тщеславием наций», *boria dei dotti*). Именно поэтому Вико не предлагал универсальных максим политического управления; поэтому же, в конечном счете, он отказался включать в свой *opus magnum* специальный «практический» раздел. Вико предпочитал демонстрировать практическое значение

⁴³ «Таким образом, наша Наука оказывается одновременно Историей идей, обычаев и деяний человеческого рода» (*Вико Дж. Основания новой науки. С. 127*).

⁴⁴ *Girard P. Giambattista Vico. P. 327–343.*

⁴⁵ *Struever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2009. P. 60.*

«Новой науки» косвенными способами. Так, отказавшись от публикации «Практики», он включил в «Автобиографию» (которая, по общему мнению, представляет собой автокомментарий к «Новой науке») письмо Антонио Конти, в котором тот указывает на практическую пользу «новой науки»⁴⁶. Сама множественность определений — «аспектов» — «новой науки» связана с невозможностью ее непосредственного и беспроблемного практического применения — в отличие от политики у Конринга. Перед лицом ускользающего объекта гражданской науки любой дисциплинарный язык неизбежно оказался бы редукционистским. Задача создания «достовернейшей критики человеческого произвола» не могла быть решена посредством прогрессирующей дисциплинарной специализации: требовались более радикальные меры, такие как трансформация модальности политического рассуждения⁴⁷. Более того, по Вико, практическая жизнь в целом и самая ценная часть практической жизни — политика — требуют радикального метафизического усилия — метафизической аскезы. Для предотвращения «варварства рефлексии», для того чтобы не впасть в асоциальную манеру философствования, свойственную стоикам и эпикурейцам, необходимо совершить очень серьезное, почти невозможное «кенотическое» усилие (*meditando con i principi di questa Scienza, dobbiamo vestire per aliquanto, non senza una violentissima forza, una si fatta natura*). Говоря словами Мишеля Фуко, в науке Вико «очевидность уступает место аскезе» (*l'évidence est substituée à l'ascèse*).

* * *

В XIX–XX вв. оппозиция дисциплинаризации станет своего рода лейтмотивом истории гуманитарных наук — Крейцер и Ницше, Шеллинг и Гадамер будут совмещать присвоение методологического инструментария и позитивных достижений частных наук с инвективами в адрес *Fachdisziplinen* и декларациями о необходимости философского преобразования гуманитарного знания. Апофеозом философского разоблачения «идиотизма» частных наук можно считать знаменитую декларацию Хайдеггера: «Наука не мыслит». Представители специальных дисциплин, со своей стороны, платили философам обвинениями в недостатке эрудиции и профессиональной некомпетентности. Формы идеологической борьбы и ее институциональные последствия могли быть разными — от постоянных поражений Дж. Вико, долгие годы стремившегося получить кафедру права в Неаполитанском университете, до обвинений Г.Ф. Крейцера в крипотка-

⁴⁶ Girard P. Giambattista Vico. P. 328.

⁴⁷ Об этом см.: Otto S. Giambattista Vico: lineamenti della sua filosofia. Napoli: Guida editori, 1992. P. 131–132; *Struvever N.S. Rhetoric, Modality, Modernity*. P. 42–65.

толицизме филологом Иоганном Генрихом Фоссом. Однако в действительности альтернативы дисциплинарному принципу в истории гуманитарного знания возникали задолго до того периода, который с легкой руки Райнхарта Козеллека получил название «седлового» (Sattelzeit) и который рассматривается традиционно как точка отсчета в генеалогии дисциплинарности. Поиск единого языка гуманитарной теории в противовес множественности дисциплинарных диалектов — путь, решительно отвергнутый позитивизмом как рудимент идеалистической философии, — представлял собой одну из доминант ранненовременной интеллектуальной культуры. Однако именно в эту эпоху отчетливее всего проявились парадоксы взаимодействия гуманитарной эпистемологии и дисциплинарного принципа: трансцендируя содержание и язык специальных дисциплин, гуманитарная эпистемология не может, в отличие от спекулятивных наук, ни освободиться от «строительных лесов» частных дисциплин, ни избежать насилия над эмпирическим материалом и методами тех областей знания, которые она содержит в себе эминентно.

ВСЕОБЩАЯ НАУКА, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК В РАННЕЙ ФИЛОСОФИИ Г.В. ЛЕЙБНИЦА*

Проблема единства знания так или иначе всегда присутствовала в философской традиции, так что можно сказать, что она представляет собой неотъемлемую составляющую любой теории познания. Однако сама по себе ориентация на философское знание вовсе не предполагает обязательного утверждения о возможности достигнуть единства и всеохватывающей полноты знания, о чем ясно свидетельствуют античные и средневековые классификации наук от Платона и Аристотеля до Боэция и Марциана Капеллы. Стремление к унификации законов познания скорее нехарактерно для античного и средневекового периода и, напротив, представляется отличительным признаком нововременного мышления, которое, по замечанию Эрнста Кассирера, снимает противоположности небесного и земного мира (Коперник), естественного и искусственного движения (Галилей)¹.

К числу философских проектов Нового времени, ориентированных на создание универсальной картины мира, с полным основанием следует отнести различные модели всеобщей науки, над которыми работали мыслители XVI–XVII вв., в том числе Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт, Иоганн Генрих Альстед, Ян Амос Коменский, Афанасий Кирхер. Однако наиболее напряженно и последовательно над построением всеобщей науки трудился немецкий философ Г.В. Лейбниц, который считал создание всеобщей науки одной из самых насущных задач своего времени. В тексте «Опыты, возводящие к счастью» (1679) Лейбниц писал: «Необходимо, чтобы была построена наука о Всеобщем (*scientia de Universo*) или о причинах вещей, прежде всего о Боге как творце всего, от которого зависит и все в совокупности, и наше счастье, затем — о природе и положении всех других духов (*aliorum*

* Исследование выполнено в рамках проекта «Объективность, достоверность и факт в гуманитарных науках раннего Нового времени: историческая реконструкция и пути рецепции» при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-03-00482а, 2012–2014 гг.).

¹ *Cassirer E. Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen // Cassirer E. Gesammelte Werke. Bd. 1 / B. Recki (Hrsg.). Hamburg: Meiner, 1998. S. 201.*

mentium), затем о телесной природе и различных качествах тел»². Таким образом, по мысли Лейбница, всеобщая наука должна была представлять собой науку о причинах вещей, соединяющую в себе науку о Боге как творце и науку о творении — как об умопостигаемых сущностях, так и о телесной природе. Достоверность же полученного знания о законах природы должна была обеспечиваться процедурой их выведения из определенного числа априорных истин. В связи с этим всеобщая наука должна была, по мысли Лейбница, состоять из двух основных разделов — учения о вечных истинах и искусства изобретения, включающего также и энциклопедию³.

Сведение натурфилософии к метафизическим принципам неизбежно влекло за собой вопрос о возможности построения генетической модели знания, представляющей все частные науки в их зависимости от единого начала и в их взаимной согласованности. Именно поэтому классификация наук становится в творчестве Лейбница (как, впрочем, и в философии Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта) одной из центральных проблем. При этом, как будет показано ниже, цель лейбницеvских классификаций — не столько систематизация уже накопленного знания, сколько теоретическое обоснование самой возможности получения универсального знания о сущем как таковом, включая выведение из общих понятий полного определения единичного⁴.

² *Leibniz G.W. Studia ad felicitatem dirigenda // Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe / Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften in Göttingen (Hrsg.). R. VI. Bd. 4. Berlin: Akademie-Verlag, 1966. S. 138.*

³ *Idem. Initia et Specimina scientiae generalis de nova ratione instrationis et augmento scientiarum // Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 4. S. 256.*

⁴ Эрнст Кассирер, определяя всеобщую науку Лейбница как синтез платоновского учения об идеях с аристотелевским учением о сущности, указал, что Лейбниц «является платоником, поскольку исходит из основных понятий чистой науки и пытается ими измерить сущее. Однако вместе с тем вопрос о реальности конкретного и единичного принял у него новый образ и обрел более глубокое значение. Идеи должны не противостоять чувственному многообразию как пустые общности, но быть в их взаимопроникновении достаточными для того, чтобы сформировать особенное из него самого» (*Cassirer E. Leibniz' System in seinen... S. 433*). Однако это суждение Кассирер вынес в основном на материале более поздних текстов Лейбница. В отношении же раннего творчества философа в исследовательской традиции по сей день преобладает тенденция нивелирования аристотелевского влияния. Как указывает один из крупнейших современных исследователей новоевропейской философии, Томас Лейнкауф, «до сих пор остается неясным, каким именно образом произросла всеобщая наука, уходящая своими корнями в луллизм и различные течения платонизма, и каким образом ее развитие и ее достижения оказали влияние на то, что можно назвать полным, метафизически фундированным исчислением сущего и знания у Лейбница» (*Leinkauf T. Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kircher SJ (1602–1680). Berlin: Akademie-Verlag, 1993. S. 12*).

1

Как показывают самые ранние тексты Лейбница «О природе индивидуации» (1663), «Диссертация о комбинаторном искусстве» (1666)⁵ и «Арифметический диспут» (1666), круг метафизических и методологических вопросов, неразрывно связанных с построением всеобщей науки, был намечен Лейбницем уже в его сочинениях юношеского периода, хотя пока еще не столько в систематическом, сколько в проблемном ключе.

Действительно, если «Диссертация о комбинаторном искусстве» Лейбница является, строго говоря, сочинением по преимуществу методологическим и отражает универалистские претензии автора лишь постольку, поскольку изобретенный Лейбницем метод должен был быть пригоден в самых разных областях знания (метафизике, логике, музыке, военном деле и стихосложении), то в «Арифметическом диспуте» мы уже находим первые наброски классификации наук в собственном смысле слова⁶. Этот текст, изданный вслед за «Диссертацией» в 1666 году в качестве тезисов для диспута, который Лейбницу предстояло пройти, чтобы получить место преподавателя на философском факультете Лейпцигского университета, представлял собой первые две главы «Диссертации», дополненные короллариями, специально написанными по случаю диспута и не вошедшими в основной текст «Диссертации». Именно в короллариях Лейбниц представляет свою первую самую общую модель классификации знания.

Королларии к «Арифметическому диспуту» состоят из четырех небольших разделов, в которых молодой Лейбниц описывает, как изобретенный им метод исчисления комбинаций может быть применен в логике, метафизике, физике и в том, что Лейбниц называет практикой, т.е. в практической философии. На то что перечисленные сферы знания представляют собой не столько отдельные науки, сколько всеобъемлющие области знания, указывают два обстоятельства. Во-первых, эта классификация опирается на аристотелевское деление всех наук на теоретические, физические и практические, с той только разницей, что Лейбниц предпосылает этим разделам логику, очевидно, представляющую собой аналог аристотелев-

⁵ Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz / C.E. Gerhard (Hrsg.). Bd. VI. Berlin: Weidmann, 1875–1890. S. 27–104.

⁶ Disputatio Arithmetica de complexionibus, quam in illustri Academia Lipsiensi indultu amplissimae Facultatis Philosophicae pro loco in ea obtinendo prima vice habebit M. Gottfredus Guilielmus Leibnüzius, Lipsiensis. I. U. Vaccat. D. 7. Martii Anno 1666. H.L.Q.C. (Рус. пер.: Арифметическое исследование комплексий, осуществленное в знаменитой Лейпцигской Академии с разрешения прославленного философского факультета в соискание должности М. Готфридом Вильгельмом Лейбницем / пер. с лат., комм. Н.А. Осминской // Вопросы философии. 2011. № 2. С. 159–167).

ской диалектики. Во-вторых, в тексте Лейбница 1668–1669 гг. «Кафолические доказательства»⁷ та же классификация полностью воспроизводится в качестве «элементов философии» с той единственной разницей, что там к указанным сферам добавлена математика, что неудивительно в силу сближения метафизики и математики.

Пояснения, которые Лейбниц дает каждому из разделов, направлены именно на обоснование новых принципов научного знания. Так, в разделе «Логика» он вводит различие между необходимыми и фактическими высказываниями и выдвигает требование доказательности во всех научных дисциплинах⁸. Здесь же он утверждает единство принципов познания с порядком природы. Таким образом, логика определяется им как область необходимых истин, лежащих в основании всякого знания.

В разделе «Метафизика» Лейбниц выступает в еще более новаторском ключе. Исходя из определения «Бог есть субстанция, творение — акциденция», он формулирует положение, согласно которому «необходимо, чтобы была создана наука о творении в целом, однако ныне она обыкновенно включается в Метафизику»⁹. Таким образом, рассматривая творение как предикат субстанции, Лейбниц одновременно выделяет знание о нем в отдельную сферу. Можно предположить, что это утверждение находится в прямой связи с высказанным в основном тексте «Диссертации» положением о разделении природы Бога и воли Бога, в соответствии с которым необходимые истины проистекают из божественной природы, но не зависят от Его воли и, таким образом, не являются сотворенными. Именно в контексте этого разделения, следует, по-видимому, понимать и то обстоятельство, что в системе Лейбница логика предшествует метафизике — такое место она получает не потому, что содержит формальные правила мышления, но потому, что выражает необходимое как природу Бога. Соответственно, можно предположить, что наука о творении рассматривалась Лейбницем как наука о контингентном и именно поэтому должна была составлять отдельный раздел знания¹⁰.

⁷ *Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. I. S. 484–500.* Подробнее о «Кафолических доказательствах» см.: *Mercer Ch. Leibniz's Metaphysics: Its Origins and Development.* N.Y.: Cambridge University Press, 2001. P. 65 ff.

⁸ «...Во всех науках должны быть представлены законченные доказательства» (*Leibniz G.W. Philosophische Schriften... S. 42*).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Действительно, как было показано в одной из ранних работ Николаса Решера, учение Лейбница о разделении в Боге метафизически-необходимого и морально-свободного (творение) представляет собой средоточие всей лейбницевской логики, так что различие в Боге метафизической и моральной необходимости в более поздний период обосновывается Лейбницем через различие принципа достаточного основания и принципа требования со-

Другие два раздела короллариев — «Физика» и «Практика» — рассматривают основания физического мира (элементы) и основания нравственной жизни человека (аффекты). Таким образом, они, как и первые два, построены по принципу логической комплементарности: физическая природа отражает область необходимого, а аффекты — область человеческой воли (т.е. фактического). Здесь следует вспомнить, что одной из главных задач, которые Лейбниц ставил перед собой, было доказательное обоснование не только физических, но и моральных наук (см. раздел «Логика»), о чем красноречиво свидетельствует заключающее раздел «Практика» следующее утверждение философа: «Если установлено верное начало, то может быть написано и учение о научном праве, что до сего времени не сделано»¹¹.

Итак, можно сказать, что классификация наук, приведенная в короллариях к «Арифметическому диспуту», представляет собой не столько опыт систематизации известных наук, сколько обоснование новых наук (как минимум двух совершенно новых — новой науки о творении и новой науки о естественном праве). При этом представления Лейбница об искомым принципах объединения и разделения наук основывались на теологических и метафизических презумпциях: на учении о разделении природы и воли Бога, учении о субстанции как едином и бесконечном, а о творении — как сложном и исчисляемом¹².

2

Следующим значительным текстом Лейбница юношеского периода, где рассматривается проблематика единства знания и классификации наук, является «Новый метод изучения и преподавания юриспруденции» (1667)¹³. В основу этого сочинения положена идея, согласно которой юриспруден-

вершенства (выбора существующего мира как наилучшего из возможных). Как видим, эти фундаментальные положения лейбницевской логики уходят своими корнями в самый ранний период творчества философа. См.: *Rescher N. Contingence in the Philosophy of Leibniz // The Philosophical Review. 1952. Vol. 61. No. 1. P. 36–38.*

¹¹ *Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Bd. VI. S. 42.*

¹² На связь истинного познания с метафизикой творения указано также и в «Предвестнике всеобщей мудрости» Яна Коменского в следующем тезисе: «Вещи познаются так, как они существуют в действительности, в том случае, когда они познаются так, как они возникли» (*Коменский Я.А. Предвестник всеобщей мудрости // Коменский Я.А. Сочинения. М.: Наука, 1997. С. 158.*)

¹³ *Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus descendae docendaeque Jurisprudentiae ex artis didacticae principiis in parte generali praepraemissis, experimentiaequae luce, cum praefatione Christiani L.B. de Wolf, dynastae in Klein-Doelzig, universitatis hallensis cancellarii. Lipsiae et Halae, 1748.*

цию следует рассматривать в философском духе в контексте единой науки, так как «истинная справедливость» и умопостигаемая гармония представляют собой часть «гармонии мира»¹⁴. Для того чтобы обосновать тезис о естественном происхождении и одновременно доказательной природе юриспруденции, в «Новом методе» Лейбниц обращается к основополагающей проблеме, которая в «Диссертации о комбинаторном искусстве» была намечена, но осталась своего рода «слепым пятном», — проблеме первых понятий.

Действительно, уже в «Диссертации» Лейбниц утверждал, что во всех науках должны быть установлены первопринципы, из которых путем комбинирования по определенным правилам выводились бы все остальные содержания. Основанием, согласно которому юриспруденция является наукой, для Лейбница служит тот факт, что юриспруденция представляет собой свод модальных высказываний, основанных на вечных истинах¹⁵, и «во всем похожа на геометрию, разве что в одном случае имеются элементы, в другом казусы. Простыми элементами в геометрии являются фигуры: треугольники, круги и проч. В Юриспруденции же — действия, обязательства, право продажи и проч. Казусами являются их комплексы, и здесь и там они изменчивы до бесконечности»¹⁶. Со ссылкой на комментатора «Ars Magna» Луллия Бернарда Лавинета Лейбниц указывает, что эти простые термины являются своего рода топамы (*quasi locos communes*), или высшими родами. Лейбниц называет также некоторые понятия, которые, по его мнению, могут расцениваться как элементарные в юриспруденции, — лица, вещь, действие, право (*Personae, Res, Actus, Jura*). В теологии, поскольку она является «специальной юриспруденцией», понятия тоже могут образоваться аналогичным образом¹⁷.

Однако в «Диссертации» Лейбниц воздерживается от того, чтобы приводить полный перечень основоположений для каждой из наук, замечая, что указывает лишь отдельные примеры таких первых понятий¹⁸. Единственное исключение составляет перечень первых элементов математики, которые Лейбниц отождествляет с элементами Евклида. При этом Лейбниц не отождествляет, подобно Луллию, абсолютно первые понятия (атрибуты субстанции) с началами отдельных наук, хотя и представляет первые поня-

¹⁴ Ibid. P. 107–108.

¹⁵ Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Bd. VI. S. 545.

¹⁶ Ibid. S. 58.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

тия наук как топы, или высшие роды. Вопрос о том, как соотносятся друг с другом атрибуты субстанции и начала отдельных наук, Лейбниц в «Диссертации» не проясняет, а лишь указывает, что найденные Раймоном Луллием первопринципы должны быть определены в истинном философском духе и что к ним должны относиться «не только вещи, но также модусы, или отношения».

Итак, ввиду необходимости обосновать свое учение о юриспруденции как доказательной науке Лейбниц не мог не вернуться к дальнейшей разработке проблематики первых понятий. В «Новом методе» Лейбниц, обосновывая свой метод выведения знания из единого источника, указывает, что все понятия делятся на простые и сложные¹⁹. Простые понятия — те, что не объясняются значимыми понятиями (*indeclarabiles per terminos notiores*), поскольку непосредственно воспринимаются чувством и потому называются чувственными качествами (*qualitates sensibiles*). Лейбниц указывает, что чувственно воспринимаемые качества бывают двух видов: те, что воспринимаются умом, и те, что воспринимаются посредством фантазии или органов чувств²⁰. Таким образом, чувственно воспринимаемые качества, согласно Лейбницу, не сводятся к зрительным или тактильным ощущениям, но представляют собой абстрактные качества, существующие сами по себе вне связи их друг с другом в реальных вещах. В «Новом методе» к их числу относятся причинность, число, протяжение²¹. В разделе «Нового метода», посвященном дидактике, Лейбниц характеризовал эти же данные мышления как топы изобретения, или как «трансцендентные отношения (*relationes transcendentes*), такие как целое, причина, материя, подобное и проч.»²². Очевидно, что здесь Лейбниц говорит об этих топах как о родах, т.е. как о самых первых понятиях. Это означает, что в период написания «Нового метода» Лейбниц постепенно осуществляет свой проект нахождения новых категорий. При этом количественные свойства сущего, или отношения («целое», «подобное» и др.), Лейбниц рассматривает как непо-

¹⁹ Подробнее о проблеме первых понятий в «Новом методе» см.: *Осминская Н.А.* Проблема первых понятий в философии Г.В. Лейбница: от атрибутов Бога к трансцендентальным идеям // Вестник РУДН. Сер. Философия. 2011. № 4. С. 6–20.

²⁰ Уже в письме к Якову Томазию от февраля 1666 года Лейбниц высказывал предположение, что цвет является скорее идеей, нежели качеством вещей. См.: *Mercer Ch.* Leibniz's Metaphysics... P. 24.

²¹ И.И. Ягодинский усматривает здесь прямое влияние на Лейбница со стороны Гассенди, согласно которому «чувственные качества в последнем счете сводились к различию количества и формы». См.: *Ягодинский И.И.* Философия Лейбница. СПб.: Наука, 2007. С. 67–69.

²² *Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus...* P. 12.

средственно данные разуму. В этом же смысле немного позднее, в «Предисловии к изданию сочинения Марио Низолия» (1670), он указывает, что модусы «в своем большинстве суть не что иное, как отношения вещи к разуму, т.е. способности являться»²³. Поскольку Лейбниц характеризует здесь понятия отношения как непосредственно данные, это означает, что он фактически не делает различия между качественными и количественными свойствами сущего. Однако вместе с тем это означает также, что он скорее сводит количественные свойства сущего к качественным, нежели наоборот. Несмотря на то что форма явления вещи представляет собой совокупность разнообразных отношений вещи к разуму и как таковая обладает логической природой, она тем не менее, будучи модусом сущего, представляет собой явление, а не только формальный принцип организации мышления.

Рассмотрение этих свойств сущего одновременно и как метафизических, и как эпистемологических категорий позволяет Лейбницу выстроить на их основе свою первую развернутую систему наук. Первые чувственные качества в их отдельности образуют предмет абстрактной философии. Эту часть философии Лейбниц также называет *поюурафия*. Данное название ясно свидетельствует о том, что лейбницевское понятие воспринимаемых качеств, не сводимое исключительно к ощущениям, но обозначающее непосредственно воспринимаемые свойства сущего, восходит к аристотелевскому учению о качествах (*ποιον*), изложенному в восьмой книге «Категорий» и главе 14 пятой книги «Метафизики», где важнейшим смыслом понятия качества называется «видовое отличие сущности»²⁴.

Соединения чувственных качеств в реальных вещах изучает конкретная философия. Ее задача, однако, сводится к тому, чтобы развить положения, доказанные в абстрактной философии. Соответственно, абстрактную философию образуют логика (наука о мышлении и причинности), арифметика (наука о числе) и геометрия (наука о протяженности), а также производная от двух последних физика (наука о теле). Предметом конкретной философии являются Бог, ангелы, человеческий ум, огонь, пары, вода с различными разновидностями жидкостей, земля с минералами и проч., растения и животные. Эту вторую часть философии Лейбниц также называет *εϊδοурафия*. При этом обращает на себя внимание тот факт, что все перечисленные в этом разделе предметы строго упорядочены: на первое место помещены умопостигаемые сущности, за ними следуют различные объекты неживой природы, соответствующие четырем элементам или стихиям,

²³ Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. Т. 3 / пер. Н.А. Федорова. М.: Мысль, 1984. С. 76.

²⁴ Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 166.

в которых они обитают (огнь, воздух, вода и земля), наконец, замыкают перечень растения и животные. В соответствии с этой иерархией Лейбниц строит и иерархию наук, изучающих связь субъектов друг с другом. В этот заключительный раздел входят космография, астрография и всеобщая история мира от сотворения, включая историю народов и государств²⁵.

Описанная структура полностью соответствует заявленному еще в «Диссертации» делению всякого знания на область аналитики, т.е. искусства сведения всякого высказывания к безусловному основанию, и область топики, т.е. искусства построения новых высказываний посредством формального метода. Соответственно, если роль метода отводилась комбинаторике, а раздел основоположений представляла собой первая философия, или метафизика, то третью часть этой системы должно было составлять знание о производных истинах — энциклопедия. Отсюда следует, что логическим основанием содержания энциклопедии должны были стать не столько первые понятия в их абстрактности, сколько высказывания, представляющие связь субъектов с качествами.

3

В 1668–1671 гг., т.е. в период после «Нового метода» и до отъезда в Париж, Лейбниц активно разрабатывал именно проблематику энциклопедии и создал ряд текстов, где изложил конкретные рекомендации по написанию так называемой совершенной Энциклопедии. К этим текстам относятся: «Corpus juris reconcinnandum» (1668–1669), «Semestria litteraria» (1668)²⁶, «Consilium de Literis Instraurandis condendaque Encyclopaediae» (1669)²⁷ и «Encyclopaedia ex sequentibus autoribus propriisque meditationibus delineanda». Как в свое время верно заметил Кутюра, общим для всех проектов данного периода является компилятивно-библиографический принцип, положенный в основу этих энциклопедий²⁸. В самом деле, среди причин, которые побудили автора приняться за составление плана той или иной энциклопедии, — будь то «Corpus juris reconcinnandum», который представляет собой набросок своеобразной энциклопедии права, или проект периодического

²⁵ Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus... P. 20–21.

²⁶ Die Werke von Leibniz gemäß seinem handschriftlichen Nachlasse in der königlichen Bibliothek zu Hannover. Erste Reihe. Historisch-politische und staatswissenschaftliche Schriften / O. Klopp (Hrsg.). Bd. 1. Hannover: Klindworth's Verlag, 1864. S. 39–44. Далее: Klopp I.

²⁷ Ibid. S. 45–51.

²⁸ Couturat L. La Logique de Leibniz d'après des documents inédits. P.: Georg Olms Verlag, 1901. P. 125.

библиографического издания «*Semestria litteraria*» — в каждом из этих случаев первой причиной Лейбниц называет стремление отделить полезные книги от бесполезных, чтобы многообразие книг и содержащиеся в них противоречия не препятствовали извлечению из приобретенного знания практической и нравственной пользы. Аналогичная задача ставилась Лейбницем и в проекте «*Encyclopaedia ex sequentibus autoribus propriisque meditationibus delineanda*»²⁹, которая, как свидетельствует название, должна была включать в себя извлечения из сочинений различных авторов, представляющих определенные тематические рубрики — теологию, право, историю, математику и медицину. Все эти энциклопедии замыслились Лейбницем как своего рода портативные библиотеки, подобно библиотеке патриарха Фотия, с которой сам Лейбниц сравнивал свой проект «*Semestria litteraria*»³⁰.

Итак, первая функция энциклопедии, согласно Лейбницу, состоит в упорядочивании уже накопленного знания. Однако этой задачей замысел Лейбница не исчерпывался: компилятивно-библиографическое обозрение должно было, по мнению философа, представлять собой лишь начальную стадию создания энциклопедии. В наброске «*Semestria litteraria*» Лейбниц подробно описывает, каким образом периодическое издание, первоначально исполняющее роль информационно-библиографического бюллетеня, постепенно должно перерасти в «совершенную энциклопедию»:

Таким образом, посредством устроения и продолжения этого *semestrium*³¹ в течение немногих лет будут проработаны почти все лучшие книги мира, а также посредством описания всех факультетов, искусств и профессий как бы положен на бумагу весь человеческий опыт и, наконец, собраны *materi*³² и положено верное основание главному зданию: *Encyclopaediae perfectae*³³, работа над коей будет вестись исподволь и в коей надлежит собрать и упорядочить все человеческие мысли, или *notiones*³⁴, доказать *demonstrative*³⁵ или с верной основательностью и сообразно математическому порядку все главные истины, проистекающие из разума, если же они состоят только в *praesumption*³⁶ или догадке, все же

²⁹ Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Bd. VII. S. 37–38.

³⁰ Klopp I. S. 42–43.

³¹ Периодического издания (лат.).

³² Материалы (лат.).

³³ Совершенной энциклопедии (лат.).

³⁴ Понятия (лат.).

³⁵ Путем доказательств (лат.).

³⁶ Предположении (лат.).

показать их *gradus probabilis*³⁷; то же, что является собственно историческим и берется не из разума, а из опыта или из чужих свидетельств, также следует расположить сообразно известному порядку как *attributorum*³⁸, так и *subjectorum*³⁹ и, наконец, сообразно *Universali systemate cosmographico temporis et loci*⁴⁰, подтвержденное опытом или заслуживающими доверия авторитетами и снабженное подробными указателями. И так как ради краткости в этом сочинении могут содержаться лишь главные истины как начало всех прочих, то прежде всего прочего должны быть старательно разработаны и присовокуплены правильная *Logica*⁴¹, или *Methodus cogitandi, sive ars inveniendi et judicandi Analytica et combinatoria*⁴², как ключ всех прочих познаний и истин, каковые вследствие их бесконечности, а также потому, что с помощью этого *Methodus*⁴³ и обычного человеческого рассудка они при надобности легко могут быть найдены из вышеназванных, не могут и не должны включаться в этот труд⁴⁴.

Из этого отрывка становится ясно, насколько тесно проект «*Semestria litteraria*» связан с «Диссертацией о комбинаторном искусстве». В основу совершенной энциклопедии, по мысли Лейбница, должны были быть положены отнюдь не извлечения из сочинений различных авторов, подобранные в компилятивном ключе и упорядоченные тематическими рубриками, а «главные истины», которые, однако, могли быть определены только в процессе критического анализа уже имеющегося знания. Именно поэтому в работе над энциклопедией библиографическое обозрение является всего лишь подготовительной фазой. Эта стадия, однако, необходима, не только потому, что она предоставляет материал для критического выявления безусловных основоположений, но и потому, что, согласно Лейбницу, основополагающие истины могут быть трех родов — истины разума, гипотезы и исторические истины, почерпнутые из опыта или из различных свидетельств. Из этих трех видов «главных истин» истины разума и исторические истины непосредственно восходят к обозначенному уже в «Дис-

³⁷ Степень вероятности (*лат.*).

³⁸ Атрибутов (*лат.*).

³⁹ Субъектов (*лат.*).

⁴⁰ Всеобщей космографической системе времени и места (*лат.*).

⁴¹ Логика (*лат.*).

⁴² Метод мышления или аналитическое и комбинаторное искусство открытия и суждения (*лат.*).

⁴³ Метода (*лат.*).

⁴⁴ *Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz*. S. 42.

сертации» делению всех первых высказываний на теоремы и наблюдения, где теоремы представляют собой необходимые высказывания («Что есть (такое), то оно есть или не есть (такое), или же противоположное»), а наблюдения — контингентные высказывания («Нечто существует»)⁴⁵. Теоремы соответствуют вечным истинам, которые, как говорил Лейбниц в «Диссертации», проистекают из природы Бога, а не из его воления, в то время как истинность фактических высказываний (среди которых Лейбниц различает исторические, т.е. единичные высказывания, и наблюдения, то есть всеобщие высказывания) «основана не на сущности, а на существовании» и зависит от случая, или, иными словами, от произволения Бога⁴⁶. Если первый род истин — вечные истины — выводятся непосредственно из разума и не подлежат опытной проверке, то фактические истины могут быть почерпнуты исключительно из истории или из опыта. Таким образом, для Лейбница описание мира не исчерпывается данными рефлексии, но обязательно включает в себя данные опыта. Именно в силу этого совершенная энциклопедия (т.е. та, которая описывает мир в его полноте) должна включать в себя не только истины разума, но и всевозможные свидетельства и наблюдения, образующие материю истории.

Включение контингентного в область энциклопедии напрямую связано с лейбницевской реформой топика и его стремлением создать логику контингентного. Если пять традиционных предикабилей Аристотеля–Порфирия — род, вид, различие, собственное и привходящее — представляют собой «*praedicata in recto*», то Лейбниц стремится к выявлению «*praedicata in oblique*», посредством которых могло быть достигнуто не только «доказательство представленного, но и средство объяснения данного положения вещей»⁴⁷. Таким образом, лейбницевская реформированная топика представляла возможность логического подхода к области контингентной реальности⁴⁸, которая также должна была стать частью «совершенной Энциклопедии».

⁴⁵ Ibid. Bd. IV. S. 42. Кабитц указывает на это место как единственное место «Диссертации», где Лейбниц касается проблемы необходимых и контингентных высказываний. См.: *Kabititz W. Die Philosophie des jungen Leibniz. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte seines Systems.* Heidelberg: Georg Olms Verlag, 1909. S. 35–36. Однако эту тему Лейбниц продолжает в главе «Применение проблем I и II».

⁴⁶ *Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz.* Bd. IV. S. 69.

⁴⁷ Ibid. Bd. VII. S. 518. См. также: *Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen. Ansätze zu einer neuzeitlichen Transformation der Topik in Leibniz' ars inveniendi.* Würzburg: Königshausen & Neumann, 1996. S. 94.

⁴⁸ Ibid. S. 94.

В «*Semestria Literaria*» Лейбниц, однако, упоминает еще один вид «главных истин», а именно гипотетические истины, те, которые «состоят в предположении или догадке». Как говорилось в процитированном выше отрывке, в энциклопедии должна была быть показана «степень вероятности» этих гипотез. Каков логический статус этих истин? Этот род истин можно рассматривать скорее как расширение области необходимых истин, а именно тех, которые основаны на принципе непротиворечия, а не на принципе существования. Однако обоснование этих истин степенью их вероятности указывает на то, что они не могут быть окончательно доказаны, т.е. они не могут быть сведены к тождественному высказыванию, демонстрирующему содержание предиката в субъекте. Таким образом, различие между лейбницевскими истинами разума и гипотетическими истинами аналогично аристотелевскому различию между необходимо присущем и возможно присущем, где под возможным понимается «то, что не необходимо, но если принять что оно присуще, то из этого не следует ничего невозможного»⁴⁹. В этом же ключе сам Лейбниц разъясняет понятие гипотетической необходимости в более поздних своих работах, где гипотетически необходимое мыслится как такое, которое не является истиной разума, но, однако, может рассматриваться как необходимое в возможных мирах⁵⁰. Таким образом, «*Semestria Literaria*» следует рассматривать как одно из наиболее ранних сочинений, где вводится это понятие⁵¹.

Проблема знака, которую Лейбниц ранее рассматривал в «Диссертации» в разделе об универсальной полиграфии, а в «Новом методе» — в контексте мнемоники как учения о знаке в целом, в «*Semestria Literaria*» затрагивается в более практическом ключе — в виде указаний по составлению Универсального атласа. Лейбниц пишет: «К этой *Encyclopaedia* будет присовокуплен также *Atlas Universalis*, труд огромной пользы, предназначенный для того, чтобы сообщать все человеческой душе (*gemüth*) легко и приятно с помощью великого множества таблиц, фигур и тщательно исполненных и, где это нужно и полезно, даже раскрашенных рисунков или чертежей, с тем чтобы все, что в известной мере может быть охвачено взглядом и изображено на бумаге, могло тем быстрее и элегантнее, как бы играючи, как бы в одном взгляде, без словесных околичностей, посредством зрения сообщаться

⁴⁹ Аристотель. Вторая аналитика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 2 / пер. Б.А. Фохта. М.: Мысль, 1978. С. 142.

⁵⁰ Подробно о понятии гипотетической необходимости в учении Лейбница о возможных мирах см.: *Gurwitsch A. Leibniz. Philosophie des Panlogismus*. Berlin; N.Y.: De Gruyter, 1974. S. 99 ff.

⁵¹ См.: *Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen*. S. 54–55; *Gurwitsch A. Leibniz...* S. 226 ff.

человеческой душе и сильнее напечатлеваться в ней, о каковом намерении я набросал особые соображения в другом месте»⁵².

Из этого описания следует, что назначение Универсального атласа заключается в том, чтобы облегчить процесс запоминания и понимания. Следует, однако, обратить внимание на то обстоятельство, что в данном случае речь идет не просто о пожелании снабдить основной текст иллюстративным сопровождением, но о последовательном намерении сообщить содержанию энциклопедии максимальную наглядность и тем самым дополнить дискурсивное изложение чувственной формой восприятия. О том, что совершенная энциклопедия должна непременно включать в себя элемент чувственного восприятия, Лейбниц говорил также и в другом наброске энциклопедии допарижского периода, о котором будет идти речь ниже.

В проекте «*Semestria Literaria*» содержится еще одна важная идея, которая будет иметь отголосок и в самых поздних размышлениях философа относительно построения энциклопедии. Здесь Лейбниц высказывает мысль о том, что совершенная энциклопедия должна включать в себя только «самые главные истины как начала всех прочих»⁵³, тогда как остальные познания и истины в силу их бесконечности подлежат постепенному открытию при помощи верного метода. Это означает, что уже в ранний период своего творчества Лейбниц приходит к мысли о принципиальной незавершенности энциклопедии. «Совершенная энциклопедия» — не та, что включает в себя весь объем накопленного человечеством знания, но та, которая дает принцип бесконечного изобретения, и именно в силу этого она не может быть завершена. Таким образом, идея научного сообщества, осуществляющего реализацию метода изобретения, является непосредственным, так сказать, органическим развитием лейбницевского проекта всеобщей науки.

Еще один текст, относящийся к допарижскому периоду Лейбница и демонстрирующий, как именно философ представлял себе структуру совершенной энциклопедии — это работа «Представление о разрешении споров, или Весы разума и образчик построения» («*Commenatiuncula de Judice Controversarium seu Trutina Rationis et Norma Textus*», 1669–1671?)⁵⁴.

Основное содержание этого текста составляет рассмотрение вопроса о возможности установления некой судебной инстанции для решения как религиозных, так и светских споров. Эта судебная инстанция должна,

⁵² Klopp I. S. 42–43.

⁵³ Ibid. S. 42.

⁵⁴ *Leibniz G. W. Sämtliche Schriften und Briefe. Bd. 1. S. 548–560.* См. также: *Kabitz W. Die Philosophie des jungen Leibniz... S. 25–31.*

по мнению Лейбница, быть основана на принципах разума, или «истинной логики». Выступая против распространенного мнения современных Лейбницу философов, в том числе и Гоббса, согласно которому сам по себе абстрактный разум представляет собой бесполезную и пустую идею, Лейбниц указывает, что в сфере человеческой деятельности есть два рода вопросов: одни касаются чувственного восприятия, другие — разума. Если решение вопросов первого рода (например черно ли нечто или бело) отсылает исключительно к области чувственного опыта, то решение других (например в арифметике и геометрии), напротив, следует искать исключительно в области всеобщих рациональных истин, подлежащих строгому доказательству. Инструментом такого доказательства и является, по мысли Лейбница, логика изобретения и суждения.

В этой преамбуле можно выделить два ключевых момента. Во-первых, Лейбниц разделяет всю сферу знания на две области — рациональную и чувственную, причем в области чувственности Лейбниц также вводит понятие первых неразложимых начал (например окраска), как и в области рациональных истин. Во-вторых, здесь Лейбниц непосредственно развивает главную идею «Диссертации» о возможности применения в разных областях знания математического исчисления логических суждений и о необходимости унифицировать не только метод доказательства, но и исходные понятия. Для этого, по мысли Лейбница, должен быть создан своеобразный компендиум «проверенных знаний», который бы мог быть положен в основу разрешения всевозможных разногласий (заблуждений). Как и в «Новом методе», здесь с самого начала проступает религиозно-нравственная подоплека лейбницевского энциклопедизма, напрямую связывающая его научные устремления с пансофическим идеалом Алстеда и Коменского.

Компендиум должен был состоять из четырех книг. В первой, книге определений, должны были быть даны и расположены «в природном порядке» определения всех используемых слов, вплоть до неопределимых понятий. Помимо рациональных понятий, в эту книгу должны были быть включены также понятия, основанные исключительно на чувственном восприятии («на голом чувстве»), которые должны были быть представлены «или в изображениях, или лучше в натуральном виде посредством помещенных в обсерваторию обозначаемых предметов, снабженных подписями»⁵⁵. Вторую книгу Лейбниц называет книгой теорем. В ней должны были содержаться истины, выведенные из первых основоположений. Третью, историческую книгу, должны были составлять наиболее значительные книги, созданные за всю историю человечества. Эта книга, следовательно, относилась к области контингентных или исторических истин. Наконец, четвертую книгу

⁵⁵ Подробнее об этом см.: *Осминская Н.* Традиция универсального музея: коллекционирование как мировоззрение // *Arbor mundi*. 2004. № 11. С. 96–129.

должны были составлять естественные и искусственные опыты. Поскольку содержание третьей и четвертой книг образовывали знания, почерпнутые из опыта, то они могли быть пересмотрены и удалены из них. Напротив, положения книг определений и теорем пересмотру не подлежали.

Данный замысел, в общем и целом воспроизводящий основные идеи «Диссертации» и «*Semestria Literaria*», представляет собой интерес нюансами его разработки. Прежде всего, обращает на себя внимание утверждение, что книга определений должна располагать определения в соответствии с порядком природы. Что подразумевает в данном случае Лейбниц под порядком природы? Имеет ли Лейбниц ввиду общее место гуманистического проекта всеобщей науки, как она была озвучена у Алстеда со ссылкой на «Театр» Джулио Камилло, согласно которому чувственно воспринимаемый мир есть прямое отражение Бога. Или же в данном случае Лейбниц развивает уже встречавшееся нам ранее в «Диссертации» утверждение о соответствии первых истин порядку божественного разума, тогда как мир опыта — мир контингентных истин — соответствует не природе Бога, но его воле. Тогда следует задаться вопросом, несет ли область фактических истин в себе элемент случайности, и если да, то может ли она быть упорядочена?

Извлечь ясный ответ на этот вопрос из рассматриваемого текста не представляется возможным. Однако укажем, что даже если Лейбниц в данном случае употребляет понятие природного порядка в том же смысле, в котором об этом говорил Алстед и Коменский, или если он имеет ввиду, что определения должны быть расположены согласно иерархии рациональных и чувственно воспринимаемых начал — так или иначе, разделение областей необходимого и контингентного, что в теологическом контексте означало разделение природы и воли Бога, ставило перед Лейбницем проблему, которая до него в традиции всеобщей науки не рассматривалась — проблему случайности. Как мы указывали выше, подходом к решению этой проблемы должна была стать лейбницевская реформированная логика, нацеленная на исчисление фактического.

Другой интересующий нас аспект рассуждения Лейбница касается проблемы репрезентации чувственно воспринимаемых качеств. Как ранее в «Новом методе» Лейбниц указывал, что простейшим чувством является осязание⁵⁶, так и здесь он считает необходимым ввести в сферу первых понятий данные чувств, причем в их непосредственной чувственной природе — либо в виде изображений, либо в виде натуральных образцов, помещенных в специальные обсерватории. Мысль, что чувственная сфера как таковая не может быть исключена из области совершенного знания, представляет собой аналогию размышлениям Яна Коменского в его «Пансофии», согласно которому

⁵⁶ Godofredi Guilielmi L.B. de Leibniz Nova Methodus... P. 20. Ср. также высказывание Лейбница в письме к Якобу Томазио о возможности примирить Аристотеля с новой философией: Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 1. 1982. С. 99.

книга обо всех вещах мира должна апеллировать также и к чувственному познанию и, следовательно, включать в себя сами вещи, «против пренебрежения которыми» он предостерегал⁵⁷. Совершенная энциклопедия в этом случае преодолевала границы дискурсивного изложения и преобразовывалась в музей, где первые непосредственные данные чувственности и их понятия репрезентировались единичными вещами и подписями к ним.

Проблема репрезентации непосредственного опыта и границ дискурсивного описания реальности находит свое продолжение в упомянутом нами «Предисловии к сочинению Марио Низолия» (1670), ясно свидетельствующем о том, что нахождение «совершенной системы элементов философии»⁵⁸ Лейбниц ставил в прямую зависимость от верного определения природы общих понятий. Согласно Лейбницу, «в строгом философствовании следует пользоваться только конкретными терминами», так как «конкретные вещи действительно являются вещами, абстрактные же не вещи, а модусы вещей»⁵⁹. Указывая на тесное сплетение «мышления и всякого волевого акта со словами»⁶⁰, Лейбниц намечает непосредственную связь между существованием вещи и ее дискурсивным выражением. На этом основании он ратует за полное устранение из философии абстрактных понятий и технических терминов как «не-сущих» и выносит следующий вердикт: «Всё, что не может быть выражено в общеупотребительных терминах, если не считать того, что познается через непосредственное чувственное восприятие (как, например, многочисленные оттенки цвета, запаха, вкусовых ощущений), не существует и должно быть торжественно отлучено от философии»⁶¹. Это означает, что непосредственный чувственный опыт является для Лейбница гарантом существования вещи, несмотря на невозможность его дискурсивной репрезентации. Одновременно он включает этот опыт в область науки, что идет вразрез с аристотелевской и схоластической традицией понимания науки как сугубо рационального знания общего.

4

От решения вопроса о природе и возможности познания чувственных качеств напрямую зависела реализация задуманной Лейбницем новой на-

⁵⁷ Коменский Я.А. Сочинения. С. 171.

⁵⁸ Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 3. 1984. С. 76.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Там же. С. 80.

⁶¹ Там же. С. 71.

уки о творении, направленной на то, чтобы все разнообразие природных тел вывести из определенного набора метафизических принципов. Как мы показали, именно эту задачу Лейбниц пытался эскизно решить в «Новом методе», представляя свою модель перехода от абстрактных метафизических принципов к их комбинациям в реальных вещах.

Следующим этапом на пути конкретизации этой модели является теория антитипии и протяженности, изложенная Лейбницем в его знаменитом письме к Якобу Томазию от 1669 г., где Лейбниц выдвинул программу соединения учения Аристотеля с современной ему философией природы. Плотностью, или антитипией, и протяженностью Лейбниц пытался объяснить все свойства тел, а именно — «величину, фигуру, положение, число, способность к движению и т.п.»⁶². Однако при этом источником движения Лейбниц считал нематериальные сущности. Соответственно, основными началами, согласно Лейбницу, следует считать ум, пространство, материю и движение, где ум определяется как «бытие мыслящее», а материя как «вторично протяженное», или «бытие, сопряженное с пространством»⁶³.

Названные четыре элемента Лейбниц кладет в основу предлагаемой им здесь же новой классификации наук, где пытается показать, что «...между науками существует некоторая прекрасная гармония, если тщательно взвесить дело: теология или метафизика говорит о действующей причине вещей, т.е. об уме; нравственная философия <...> говорит о цели вещей, т.е. о благе, математика <...> говорит о форме вещей, т.е. о фигуре; физика говорит о материи вещей и единственном ее состоянии, вытекающем из сочетания ее с другими причинами, а именно о движении»⁶⁴. Можно предположить, что в основе этой классификации лежит учение Аристотеля о четырех причинах, как оно изложено в первой книге «Метафизики»⁶⁵: теология и метафизика соответствуют третьей причине («то, откуда начало движения»); нравственная философия — четвертой («то, ради чего», или благо); физика — второй (материя, или субстрат); наконец, первой аристотелевской причине («сущность», или «суть бытия вещи», которая сводится к определению вещи) должна соответствовать математика. Последнее становится понятным в свете лейбницевской трактовки вещи как формы отношений, выражаемой в логической структуре понятия, т.е. в определении, сводящемся к исчислению.

⁶² Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. Т. 1 / пер. с лат. Н.А. Басистова. 1982. С. 100.

⁶³ Там же. С. 97.

⁶⁴ Там же. С. 100.

⁶⁵ Аристотель. Метафизика (983 а 26 — 983 а 30). Т. 1. 1976. С. 70.

Показательно, что та же классификация с минимальным отличием воспроизводится в одном из самых значительных сочинений Лейбница допарижского периода «Кафолические доказательства» (1669)⁶⁶. Несмотря на то что Лейбниц продолжал работать над этим проектом и во время своего пребывания в Париже, и после него, основная часть книги была написана им в 1668–1669 гг. Сочинение было задумано Лейбницем как фундаментальный метафизико-теологический труд из четырех частей, посвященных доказательствам существования Бога, бессмертия души, христианских таинств и авторитетности церкви и Священного Писания. Основному богословскому содержанию этого сочинения должны были, по мысли Лейбница, предшествовать пролегомены, содержащие «элементы философии», т.е. первые начала метафизики (о сущем), логики (об уме), математики (о пространстве), физики (о теле) и практической философии (о гражданском праве). К сожалению, в дошедших до нас текстах «Кафолических доказательств» сохранился лишь конспект этого раздела, так что содержательный комментарий к «элементам философии» остался за кадром. Тем не менее вполне очевидно, что приведенный перечень наук воспроизводит структуру научного знания, изложенную в письме к Якобу Томазию, с той лишь разницей, что математике здесь отведена роль науки о пространстве (т.е. о бытии второго уровня), логике — роль науки об уме, т.е. действующей причине, а метафизике — роль науки о сущем. Напомним, что сходная классификация была представлена и в королляриях к «Арифметическому диспуту» — главным отличием является отсутствие в ней математики, что, возможно, обусловлено тем, что область математики репрезентировалась как раз комбинаторикой.

Не может остаться незамеченным тот факт, что Лейбниц свободно переносит одну и ту же структуру знания из одного контекста в другой: в «Королляриях» описанная классификация должна была определять сферы применения комбинаторики, в письме к Томазию — гармонию наук как отражение гармонии природы, в «Кафолических доказательствах» — основания теологического дискурса, построенного на принципах естественного разума. Иными словами, одна и та же структура знания помещается в математический, метафизический и богословский контексты. Это обстоятельство, в свою очередь, позволяет с известной долей уверенности осуществлять «перекрестную» интерпретацию этой структуры знания, представляющей собой одновременно и знание о божественном, и знание о природном.

Таким образом, молодой Лейбниц последовательно реализовывал свою идею построения новой науки о творении, в которой структура знания отражала бы структуру реальности. Так, уже цитированный нами фрагмент из письма к Томазию убеждает нас в том, что Лейбниц различал бытие двух

⁶⁶ Leibniz G. W. Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 1. S. 484–500.

уровней — мыслящее и протяженное, причем отношения между ними он, в отличие от Декарта, рассматривал как иерархические, истолковывая материю как «бытие вторично-протяженное»⁶⁷. Соответственно, ум характеризовался им как действующая причина и источник движения физического мира, который сам из себя движения не производит (здесь Лейбниц существенно расходится с аристотелевской концепцией имманентного источника движения природных тел). Рассмотрение материи как бытия второго уровня приводит к тому, что и природные тела определяются им как сущие («существуют только конкретные вещи»), а общим для них качеством является «антитипия, взятая с протяжением». При этом качество представляет собой модус сущего, т.е. то, как оно является разуму. Таким образом, как бытие имеет два уровня, так и сущее определяется двояко: со стороны действующей причины и в его отношении к воспринимающему его разуму. В первом случае сущее есть страдательное, во втором — действующее.

Предположение, что центральным моментом этого учения о природе является определение характера соотношения Бога и творения, может быть подкреплено также ссылкой на один из фрагментов «Кафолических доказательств», где Лейбниц прямо говорит, что «субстанция вещей есть идея. Идея есть единение Бога и творения, как действие есть единство действующего и страдательного»⁶⁸. Отвлекаясь от специфики этого сугубо богословского текста, посвященного рассмотрению вопроса о пресуществлении Святых Даров, отметим, что изложенная в нем диалектика действия — страдания сотворенного, сформированная еще в допарижский период лейбницевского творчества, впоследствии прямо перейдет в «Монадологию», где, однако, уже будет истолкована по-новому сообразно изменившимся взглядам Лейбница на границы человеческого познания: «Сотворенное называется действующим, поскольку оно имеет совершенства, и страдающим, поскольку оно имеет несовершенства. Таким образом, монаде приписывают действие, поскольку она имеет отчетливые восприятия, и страдание, поскольку она имеет смутные восприятия»⁶⁹.

Резюмируя, можно сказать, что в период между выходом в свет «Диссертации о комбинаторном искусстве» (1666) и отъездом в Париж (1672), Лейбниц существенно развил намеченный им план построения системы наук на основе нового свода безусловных понятий и нового доказательного метода. В этот период в качестве первых понятий он рассматривал «чувственные качества», к которым относил как данные мышления (причин-

⁶⁷ Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 1. 1982. С. 97.

⁶⁸ Leibniz G. W. Sämtliche Schriften und Briefe. Sechste Reihe: Philosophische Schriften. Bd. 1. Berlin: Akademie-Verlag, 1990. S. 513.

⁶⁹ Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. Т. 1 / пер. Е.Н. Боброва. М.: Мысль, 1982. С. 421.

ность, число), так и данные осязания. Сведение рациональных понятий к чувственным качествам было охарактеризовано нами в духе декартовского учения о мыслящей вещи, согласно которому этот атрибут субстанции подлжит непосредственному обнаружению в акте самосознания. Таким образом, лейбницевское учение об отношениях как «чувственных качествах» дает основания расценивать развитую им концепцию мышления не как функционально-формалистическую, а скорее как феноменологическую: формальные операторы мышления выступают в ней одновременно и как топы изобретения, и как модусы самого сущего. На основе этих первых понятий Лейбниц выстроил свою первую развернутую классификацию наук.

Одновременно нами было показано, что определение Лейбницем первых понятий как «чувственных качеств» поставило перед ним проблему дискурсивного схватывания единичного, что побудило философа к более дифференцированной формулировке своей позиции в дискуссии об универсалиях. Умеренный номинализм молодого Лейбница, согласно которому все, что не является конкретными вещами и не сводится к общеупотребительным терминам, следует признать несуществующим, позволяет ему строить свое учение о двух уровнях сущего, где качественная характеристика мышления позволяет преодолеть разрыв общего и единичного, Бога и творения. В основу этой ранней науки о творении Лейбницем были положены как доктрина единой и бесконечной субстанции, так и аристотелевское учение о четырех причинах, преобразованное в логико-онтологическую модель реальности.

Следует обратить внимание и на тот факт, что все четыре сферы основоположений познания — метафизика, логика, физика и естественное право — являлись областями собственных планомерных изысканий молодого Лейбница в период между «Диссертацией о комбинаторном искусстве» и его отъездом в Париж (математике Лейбниц отдал дань еще в период написания «Диссертации», а затем посвятил ей все свое пребывание в Париже с 1672 по 1676 г., где предметом его основного интереса стала проблема континуума и дифференциального исчисления⁷⁰). Таким образом, все направления деятельности Лейбница рассматриваемого периода точно соответствовали тем самым «элементам философии», которыми, согласно его замыслу, исчерпывались границы познания. Это значит, что, несмотря на настойчивые призывы к организации научных сообществ с целью создания совершенной энциклопедии, действительное осуществление проекта всеобщей науки, т.е. новой науки о творении, Лейбниц мыслил как личный проект. Результатами работы над этим проектом и явились многочисленные планы и наброски всеобщей науки и энциклопедии послепарижского периода.

⁷⁰ Подробнее об этом см.: *Beeley P. In inquirendo sunt gradus — Die Grenzen der Wissenschaft und wissenschaftliche Grenzen in der Leibnizschen Philosophie // Studia Leibnitiana. Bd. 36. H. 1. 2004. S. 22–41.*

Первым точно датированным и при этом наиболее развернутым текстом, представляющим план и содержание задуманной Лейбницем энциклопедии, является «План написания новой энциклопедии методом изобретения» («*Consilium de Encyclopedia nova conscribenda methodo inventoria*», 1679)⁷¹.

Работу открывает обычный для всех лейбницевских текстов разьяснительного характера зачин о необходимости создания энциклопедии в целях экономии усилий в научных изысканиях. Одним из главных зол, затрудняющим прирост достоверного знания, Лейбниц вновь называет здесь обилие книг. Преодолеть это зло должна помочь специальная таблица, так называемая сумма Плана (*summa Consilii*), представляющая собой свод «самых плодотворных человеческих мыслей, полезных для жизни»⁷². Этот свод был задуман как таблица числовых прогрессий, где первый ряд содержал ноль и числа натурального ряда, второй ряд — ноль и квадраты натуральных чисел, третий — все нечетные числа. Таблица должна была способствовать быстрому нахождению произведений чисел только при помощи операции сложения. Соответственно, на основе этой таблицы предполагалась построить энциклопедию, содержание которой должны были образовывать высказывания, произведенные «*more mathematico*», но не только математические, а относящиеся и ко всем прочим областям знания. При этом среди высказываний Лейбниц различает первоначальные высказывания и умозаключения. В свою очередь, первоначальные высказывания он подразделяет на определения, аксиомы, гипотезы и феномены. Аксиомами Лейбниц называет высказывания, которые всеми рассматриваются как доказанные⁷³; гипотезами — те, которые имеют большое хождение, однако не могут быть точно доказаны; феноменами — те, которые подтверждаются опытами. Среди умозаключений Лейбниц также различает наблюдения, теоремы и проблемы. К наблюдениям он относит те умозаключения, которые получены путем индукции из феноменов; теоремами называет те, что получены посредством рационального развития первых положений; проблемами же Лейбниц именуется те умозаключения, которые касаются практики (замечая

⁷¹ *Leibniz G.W. Consilium de Encyclopedia nova conscribenda methodo inventoria // Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 4 A. S. 338–349.* Судя по пометке на одном из листов (25 июня 1672 г.), средняя часть текста могла быть написана Лейбницем раньше, чем основной текст.

⁷² *Ibid.* S. 339.

⁷³ Требование доказательств аксиом является существенным пунктом расхождения Лейбница с Декартом, для которого аксиомы подвергались верификации посредством критерия очевидности. См.: *Cassirer E. Leibniz' System in seinen...* S. 100.

при этом, что и все остальное должно быть увязано с практической пользой, т.е. должно вести к проблемам).

Все высказывания должны были быть расположены по порядку изобретения в специальных индексах или каталогах, благодаря которым открывались бы возможности новых комбинаторных изобретений и одновременно вскрывалась бы всеобщая связь вещей. Таким образом не только в математике, но и в других науках была бы достигнута желаемая достоверность⁷⁴.

Далее Лейбниц переходит к проблеме знака, которую рассматривает в контексте схематической репрезентации. Он указывает, что для лучшего запоминания следует сопроводить все высказывания фигурами или схемами. Эти схемы, однако, не должны вести к подмене строгости рационального доказательства деятельностью воображения, поскольку схематическое изображение, как и алгебраическое исчисление, необходимо только для подготовки ума к непосредственному восприятию самих идей вещей. Таким образом, замечает Лейбниц, следует воздержаться, от того чтобы включать алгебраическое исчисление в разряд основополагающих элементов этой науки, хотя позднее, когда эта наука уже будет создана, оно может быть полезно для сведения к минимуму дальнейших трудностей изобретения. Подводя итоги, Лейбниц говорит: «Наша энциклопедия должна быть написана таким образом, чтобы умозаключения и доказательства истин не зависели ни от схем, ни от исчисления, но только от аксиоматических определений и первичных высказываний»⁷⁵.

Таким образом, в «Плане» Лейбниц излагает несколько иную концепцию соотношения знака и мышления, нежели та, что высказывалась им ранее: знак предстает здесь как вспомогательное средство «наведения» мышления, тогда как первые положения должны восприниматься непосредственно силами души. Это означает, что первые понятия определяются Лейбницем как нерепрезентируемые. Это обстоятельство свидетельствует сразу о нескольких изменениях в лейбницевской концепции знака: во-первых, об отказе от причисления данных органов чувств к первым понятиям; во-вторых, об отказе от чувственно-наглядной концепции репрезентации первых понятий; в-третьих, об отказе от идеи возможности схематизации первых понятий и переходе к убеждению, что первые понятия, будучи простыми, подлежат интуитивному, но не дискурсивному схватыванию.

Дальнейшее изложение «Плана написания энциклопедии методом изобретения» представляет собою развернутую классификацию наук, в соответствии с которой должна была строиться содержательная часть эн-

⁷⁴ *Leibniz G. W. Consilium de Encyclopaedia...* S. 340–342.

⁷⁵ *Ibid.* S. 343.

циклопедии. Лейбниц указывает, что «в этой энциклопедии должны быть отражены все науки, которые опираются либо единственно на Разум, либо на разум и опыт»⁷⁶, и, таким образом, в ней излагаются божественные и человеческие законы, но исключаются всякие «вздорные искусства, которые не могут быть возведены к прочным основаниям»⁷⁷. В общей сложности в энциклопедии должны были быть представлены 18 наук.

Первой наукой Лейбниц называет универсальную, или рациональную, Грамматику, которую также именует искусством размышления⁷⁸. Отметим, что в период 1678–1679 гг. Лейбниц особенно много усилий отдавал проблематике рационального языка⁷⁹, так что неудивительно, что в «Плане написания энциклопедии» Лейбниц детально излагает, что должна представлять собою эта грамматика. Лейбниц предполагал построить ее на основе латинского языка с привлечением примеров из других языков. Общая идея этой грамматики заключалась в том, чтобы редуцировать всякое частное значение к общему правилу. Например, всякий глагол Лейбниц считал возможным заменить существительным в сочетании с единственным глаголом *быть*. Первичные значения, не сводимые ни к каким другим определениям — такие как *быть*, *и*, *нет* — следовало обозначить числами, которые в совокупности с именами должны были служить для объяснения всего прочего. Как говорит Лейбниц, «это и есть истинный анализ характеров, который человеческий род сообща применяет в речи и мышлении»⁸⁰.

Таким образом, в «Плане написания энциклопедии» мы встречаем развернутый план по созданию универсального языка, включающий в себя два уровня формирования — во-первых, создание схематических эквивалентов понятий (*a priori*) и, во-вторых, конструирование рациональной грамматики (*a posteriori*)⁸¹. Что касается второго этапа, а именно формирования рациональной грамматики, то здесь Лейбниц предполагал двигаться в двух направлениях — путем анализа естественных языков, в первую очередь латыни и других живых языков, и путем составления регулярного синтаксиса на основе законов мышления.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid. S. 344.

⁷⁹ Couturat L. La Logique de Leibniz d'après... P. 128.

⁸⁰ Leibniz G.W. Consilium de Encyclopaedia... S. 344.

⁸¹ Pombo O. Leibniz and the Problem of a Universal Language. Münster: Nodus Publikationen, 1987. P. 157 ff.

Идея, согласно которой все разнообразие лексических единиц может быть сведено к комбинации имен, глагола *быть*, союза *и*, частицы *нет*, является ничем иным как дальнейшим развитием учения о мышлении как исчислении, которое Лейбниц, ссылаясь на Гоббса, разрабатывал еще в «Диссертации». Действительно, Лейбниц пытается выделить в языке, с одной стороны, имена, а с другой — функции, которые позволяют мышлению оперировать именами. В работе «Философский язык» (1679–1688)⁸² Лейбниц аналогичным образом утверждает, что «все в речи может быть разложено на субстантивированное имя Сущее, или Вещь, связку, или субстантивированный глагол *есть*, имя прилагательное и формальные частицы»⁸³. Следовательно, все, что может быть высказано о вещи, сводится к предцируемым атрибутам и различным отношениям, эксплицированным формальными частицами. Таким образом, все, что может быть сказано о вещи, может быть собрано в одной основополагающей формуле всестороннего определения вещи (*notio completa*)⁸⁴. В этом аспекте проект рациональной грамматики представляет собой прямое следствие концепции «*praedicatum inest subjectum*», развитой Лейбницем еще в «Диссертации о комбинаторном искусстве».

Впрочем, приписывание рациональной грамматике функции регулятора мышления отнюдь не означало для Лейбница полной редукции логики к языку. Согласно «Плану», Логика является второй, следующей за Грамматикой, наукой, которую Лейбниц называет также искусством заключений, или искусством суждений. Применение этой логики не должно ограничиваться сведением умозаключений к схоластическим модусам, но должно осуществлять исчисление более сложных заключений, встречающихся в живой речи и в письменности. Такая новая логика должна, следовательно, включать в себя и схоластические модусы, и рациональную грамматику⁸⁵.

Как уже указывалось исследователями, размежевание со схоластической логикой силлогизма произошло уже в самых ранних текстах Лейбница⁸⁶. Так, в тексте 1667 г. «Совет по устройению образования и учреждению энциклопедии» Лейбниц демонстрирует, что не все умозаключения могут быть

⁸² *Leibniz G.W. De lingua philosophica // Leibniz G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. R. VI. Bd. 4 A. S. 882–902.*

⁸³ *Ibid. S. 886.*

⁸⁴ *Ibid. S. LX.*

⁸⁵ *Idem. Consilium de Encyclopedia... S. 344–345.*

⁸⁶ См.: *Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen... S. 80 ff.*

сведены к форме силлогизма, но основываются на грамматических связях⁸⁷. Сам Лейбниц приписывал это открытие Иоахиму Юнгу (1587–1657)⁸⁸. У Лейбница подобное расширение логики означало отказ от механической силлогистической логики схоластов, которую критиковал и Декарт. Согласно Лейбницу, задача логики заключается в том, чтобы свести речь к определенному числу аргументативных формул, подобно тому, как математики сводят к определенному набору формул все математические операции. Тем самым логика призвана выполнять не только функции аргументации, но и функции схематизации мышления. В этом стремлении к редукции логических шагов к определенному числу логических форм Лейбниц воспроизводит идею математизации логики Эрхарда Вейгеля, считавшего необходимым заменять многочленные силлогистические последовательности литерами и диаграммами. Однако проект рациональной грамматики Лейбница предполагает произвести схематизацию не только силлогистической, но и асиллогистической сферы мышления, подвергая тем самым формализации ту область аргументации, которая подлежит компетенции материально ориентированной диалектико-риторической топики, поставляющей оратору «аргументы» в порядке «общих мест»⁸⁹.

Подобное расширение логики должно, согласно Лейбницу, обеспечить возможность анализа всех законов мышления, свойственных разуму и имеющих врожденный характер. Тем самым Лейбниц рассчитывает получить новый, по сравнению с луллиевым, ряд элементарных отношений, которые наряду с понятиями должны составить изначальные элементы комбинаторного метода. Принципиальное отличие лейбницевской стратегии получения этих элементарных отношений от луллиевой заключается в том, что Лейбниц считает возможным получить их путем анализа понятий. Таким образом, идея рациональной грамматики представляет собой новый этап в развитии лейбницевской реформы луллиева «алфавита человеческих мыслей» в сравнении с «Диссертацией о комбинаторном искусстве».

Третьей наукой в «Плане» Лейбниц называет Мнемонику, четвертой — Топику, или искусство изобретения. К области Топики он относит диалектические топы, риторическое изобретение, искусство доказывания, искусство предсказания, а также алгебру. Пятая наука — наука о формах или формулах (тождественном и различном, сходном и несходном), т.е. о формах вещей, взятых в отвлечении от величины, положения, действия,

⁸⁷ Klopp 1. S. 50.

⁸⁸ См.: *Meier-Kunz A. Die Mutter aller Erfindungen und Entdeckungen...* S. 81.

⁸⁹ *Ibid.* S. 85.

о которых, в свою очередь, идет речь в следующих науках. Величина, счет и пропорция рассматриваются в Логистике (науке о целом и частях), определенная величина, выраженная в числе — в Арифметике, положение или фигура — в Геометрии (геометрию Лейбниц, в свою очередь, подразделяет на несколько разделов, в числе которых оказываются военное дело, гражданская архитектура, геодезия и проч.). Восьмая наука — Механика, наука о действии и претерпевании, или о потенции и движении.

Десятой наукой Лейбниц называет науку о чувственных качествах, или Пойографию. К чувственным качествам он относит простые, т.е. те, «которые не могут быть описаны, но для того чтобы быть познанными, они должны быть восприняты, к каковым относятся: свет, цвет, звук, запах ...»⁹⁰, и сложные, которые допускают описание и таким образом являются в определенном смысле интеллигибельными, «такие как твердость, текучесть и все такого рода»⁹¹. Простые качества рассматриваются историческим способом, т.е. их связи между собой и с другими интеллигибельными качествами подлежат перечислению. Интеллигибельные же качества могут изучаться также в разделе геометрии и механики.

Одиннадцатая наука — наука о субъектах, которые суть наиболее общие, ее Лейбниц называет хомойография. К ней относятся, например, четыре первоэлемента. Затем следуют космографика, или наука о наибольших телах мира, разделами которой являются физическая астрономия и метеорология. Тринадцатая наука — Идография, наука об органических телах, или видах, которые должны изучаться, по мнению Лейбница, не обычным дихотомическим способом, но согласно качествам, на которые могут быть разложены комбинации. Последними тремя науками являются моральная наука, геополитика, включающая в себя всю историю и гражданскую географию, и, наконец, наука о бестелесных субстанциях — естественная Теология. Заключать Энциклопедию должен был практический раздел, который наставлял в том, как следует использовать все вышеуказанные науки для достижения счастья.

Пространный текст «Плана написания энциклопедии» наглядно показывает, насколько планомерно Лейбниц развивал проект изобретательной энциклопедии, основание которого было заложено еще в допарижский период. Здесь мы встречаем многие идеи, уже знакомые нам по более ранним текстам. Во-первых, построению новой энциклопедии должно предшествовать аналитическое извлечение первых истин из свода накопленного знания. Во-вторых, новая энциклопедия должна быть построена методом

⁹⁰ *Leibniz G. W. Consilium de Encyclopedia...* S. 347.

⁹¹ *Ibid.*

комбинаторного синтеза тех истин, которые были извлечены путем анализа. В-третьих, к числу первых истин должны быть отнесены не только истины разума, но также гипотезы и истины опыта. В-четвертых, вся система наук энциклопедии должна быть основана на принципах достоверности, что означает: «математическим способом» могут быть построены не только математические дисциплины, но также естественное право и естественная теология, которые, в свою очередь, призваны служить венцом энциклопедии. Прямым указанием на то, что Лейбниц мыслил «План написания Энциклопедии методом изобретения» как непосредственное развитие его предыдущих интуиций, является и тот факт, что среднюю часть этого текста составляет фрагмент 1672 г., где излагается часть учения о схематизме и перечисляются первые девять наук энциклопедии — рациональная грамматика, логика, мнемоника, топика, искусство форм, логистика, арифметика, геометрия и механика. Таким образом, если Лейбниц нашел возможным органично интегрировать фрагмент 1672 г. в текст 1679 г., то следовательно, пролегающие между ними семь лет явились годами планомерного развития одного проекта.

Однако даже и в этом фрагменте 1672 г. можно обнаружить пласты еще более ранних идей Лейбница. Если раздел о рациональной грамматике и новой логике корреспондирует с разрабатываемым именно в этот период учением об универсальной характеристике, то изложенная в «Плане написания Энциклопедии» система наук содержательно восходит к «Новому методу», где в основу были положены метафизические понятия сущего и его модусов — качества и количества. Действительно, в «Плане написания Энциклопедии» Лейбниц придерживается сходных принципов генетического выведения наук. Первый блок знания образуют науки о мышлении — рациональная грамматика, логика, мнемоника и топика. Затем следуют науки, основанные на принципе отношения и количества: искусство формообразования, логистика, арифметика, геометрия и механика. За ними, начиная с десятой, пойографии, т.е. науки о чувственно воспринимаемых качествах, следуют дисциплины, изучающие качества вещей, — хомойография, космография, идеография. Наконец, последнее звено образуют науки о человеке и Боге: мораль, геополитика и теология. Появление в этой системе новых дисциплин также может рассматриваться как детализация ранее намеченного плана: выделенное в особую науку учение о схематизме и рациональной грамматике представляет собой не что иное, как дальнейшее развитие изложенного в «Новом методе» учения о мнемонике, которое мыслилось именно как учение о знаке.

Более существенное изменение в толковании претерпела, однако, логика, которая явно утратила свою основополагающую роль в учении о мышлении.

Само мышление отныне стало пониматься шире логики — как процесс исчисления отношений между сущностями вещей, воспринимаемыми непосредственно силами души. Таким образом, первый блок дисциплин образует комплекс наук о мышлении, где каждая наука отражает разные структурные элементы мышления: рациональная грамматика призвана, пользуясь знаками, вычленять семантические единицы и функции мышления, логика изучает формы умозаключений, мнемоника — способы удержания полученного знания, топика — способы выведения нового знания. Итак, если первоначально логика представлялась как основополагающая наука о мышлении и причинности, а учение о знаке мыслилось в контексте мнемоники, то теперь мышление понимается как непосредственно интегрированное в речь.

Другим существенным нововведением в классификации наук в «Плане написания Энциклопедии» по сравнению с «Новым методом» является трактовка науки о чувственно воспринимаемых качествах, которые здесь интерпретируются в более узком значении качеств, фиксируемых органами чувств. Лейбниц указывает, что эта наука, которую он, по примеру «Нового метода», называет пойографией, призвана определять эти качества в их различиях и градациях, а также перечислять предметы, в которых они присутствуют и от которых зависят. Отметим, однако, что при этом Лейбниц и в «Плане» сохраняет мысль об интеллигибельных восприятиях, которые, как он указывает, осуществляются непосредственно силами души. Учение об этих интеллигибельных восприятиях не специфицировано в «Плане» как отдельная наука, поскольку оно, по Лейбницу, пересекается с геометрией и механикой, чьи теоремы о причинах и следствиях могут также применяться к суждениям относительно чувственных тел. Таким образом, несмотря на то что в «Плане написания Энциклопедии» Лейбниц еще называет простые осознания простейшими качествами, он тем не менее указывает, что учение об их причинах лежит в сфере интеллигибельного. Следовательно, здесь уже намечены подступы к учению Лейбница 1680-х годов, согласно которому воспринимаемые качества не могут считаться в строгом смысле первичными, так как они сложны, т.е. могут быть разложены, и к тому же имеют свои причины⁹². Данная трансформация учения Лейбница о чувственных качествах находится в полном соответствии с отмеченными нами изменениями в учении Лейбница о знаке, а именно с его отказом от идеи наглядной репрезентации первых понятий. Таким образом, дальнейшее развитие проблематики классификации наук напрямую зависело от переосмысления Лейбницем его учения о субстанции, которое в середине 1680-х годов вновь выходит на первый план и именно в этот период, как верно заметил в свое время Бертран Рассел, принимает свой оформленный вид.

⁹² Та же точка зрения сохраняется и в «Новых опытах», хотя там Лейбниц называет эти понятия первичными «для нас»; см.: *Лейбниц Г.В. Сочинения*. Т. 2. 1982. С. 120.

Раздел II

ЗОЛОТОЙ ВЕК
ДИСЦИПЛИНО-
СТРОИТЕЛЬСТВА

ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН: АКАДЕМИИ И ЕДИНСТВО ЗНАНИЯ*

1. Академия и мировая карта знания

В «Предварительном рассуждении» к знаменитой «Энциклопедии» XVIII в. французский математик и философ Жан Д'Аламбер заявил, что любые классификации знания в конечном счете несостоятельны: энциклопедия представляет собой «своего рода карту мира, изображающую основные страны, их расположение и автономию друг относительно друга», но «каждый может создать столько различных систем человеческого знания, сколько существует картографических проекций, и любая из этих систем обладала бы даже неким частным преимуществом, какого нет у остальных»¹. Лавируя между географическим образом карты мира, органической метафорой энциклопедического древа и архитектурным символом лабиринта, риторика Д'Аламбера усиливала мысль о произвольности любого разграничения знания. Знание можно разделить на естественное и явленное Богом, на полезное и приятное, на спекулятивное и прикладное, на знание вещей и знание знаков, «и так далее до бесконечности», — при этом вовсе не приближаясь к истинному порядку универсума.

Исходной точкой моего очерка является кажущийся парадокс, уже содержащийся в напряжении между используемым Д'Аламбером алфавитным порядком и его же последовательной метафорикой: как примирить фрагментацию знания, столь характерную для современной научной специализации (в расширительном смысле немецкого слова *wissenschaftlich*, охватывающего как филологию, так и физику), со стремлением к такому порядку, который объединит все эти фрагменты в связанное целое? Как показывает случай «Энциклопедии», это противоречие появилось не в XIX в.

* Автор хотела бы поблагодарить Катрину Вильком и Артура Циффа за помощь в подготовке данной работы. Перевод выполнен А. Плешковым по изданию: *Daston L. Academies and the Unity of the Sciences: Disciplining the Disciplines // Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*. 1999. Vol. 10. No. 2. P. 67–86.

¹ *D'Alembert J. Discours préliminaire // Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / D. Diderot, J. D'Alembert (eds)*. T. I. Stuttgart: Friedrich Frommann, 1988 [1751].

и, если на то пошло, даже не в столетии, ему предшествующем. Тем не менее эта проблема не воспринималась европейскими учеными одинаково остро в разное время и в разных странах: национальные традиции (и культурные, и интеллектуальные), как и локальный или временной контекст, влияли на готовность ученых принять раздробление знания или ему сопротивляться. В этой главе сосредоточимся на Германии конца XIX в., где в этот период с беспрецедентной силой ощущалось противоречие между все более дробным разделением интеллектуального труда в науках и стремлением к их унификации. Большая часть существующего сегодня инструментария, позволяющего ввести молодых ученых в содержание и дух их дисциплин, была изобретена именно в немецком университете XIX в. и широко распространилась повсюду, от Оксфорда до Упсалы и Чикаго. Чтобы понять структуру нашей собственной карты мира знания, столь явно подчиненной дисциплинарному принципу, и моральную экономику жизни ученых, таким же образом обусловленную дисциплинами, мы должны обратиться к ее истокам и прототипу в Берлине эпохи Гогенцоллернов.

В частности, детально рассмотрим академии этого периода, и в особенности — берлинскую Академию наук (*Akademie der Wissenschaften*). Своей долгой историей, общенациональным значением и международной репутацией она больше всех прочих немецких академий походила на национальные научные академии Франции (*Académie des Sciences* в Париже) и Британии (*The Royal Society* в Лондоне). Академия по своему назначению и устройству словно в миниатюре отражала конфликт между дисциплинарной специализацией и единством наук. С одной стороны, ее члены избирались согласно их выдающимся заслугам в той или иной отрасли. С другой стороны, считалось, что академии как целое репрезентируют всю совокупность знания, собранную под крышей одной институции. В принципе, единство академии — представленное суммой компетенций ее членов, их выступлениями (как внутриинституциональными, так и публичными), периодическими изданиями под ее эгидой — также гарантировало и единство наук. Тем не менее некоторые ведущие члены академий высказывали сомнения относительно надежности этой гарантии. И именно в Берлине конца XIX в. эти сомнения высказывались настойчивее и острее, чем где бы то ни было. Как с грустью заметил историк-антиковед Теодор Моммзен в своей лекции 1895 г. по случаю ежегодного Дня памяти Лейбница в берлинской Академии наук:

Если лейбницеву академию можно рассматривать как продолжательницу его трудов, и если в этом заключается ее подлинная легитимация, то все же мы не можем не признать и должны смириться с тем, что это продолжение, в его раздробленности на несколько классов, а внутри этих классов на множество более узких групп, представляет собой суррогат — необходимый и действенный, но

не безусловно здоровый и не безусловно вызывающий радость. Наша работа не славит мастера и не радуется его глаз, ибо мастера нет, а все мы лишь подмастерья².

Цель данной главы состоит не в том, чтобы найти объяснение, а тем более оправдание тому, что немецкие академики XIX в. в своих собственных глазах оказались «подмастерьями». Скорее я хочу понять, почему они, в отличие от своих коллег во Франции и Британии, все еще тосковали по «Мастеру», способному оценить их работу как некое целое. Мой текст разделен на три части: первая представляет краткое сравнение французской, британской и немецкой *Wissenschaftsideologien* (грубо говоря, идеологий знания) в исторической перспективе, с использованием национальных научных академий в качестве наглядных примеров; во второй части будет рассмотрена реакция немецких академиков на углубление научной специализации после 1870 г.; наконец, итоговая третья часть содержит некоторые размышления об общем восприятии (*shared sensibility*) и чувстве социальной принадлежности, объединявших академиков в ситуации отсутствия объединяющего интеллектуального начинания.

2. *Wissenschaftsideologien* в разных странах

Три главные западноевропейские научные академии — лондонское Королевское общество, парижская Королевская академия наук и берлинская Академия наук — были основаны одна за другой в течение 40-летнего периода (1660–1700) и, более того, создавались в сознательном подражании друг другу. Тем не менее они достаточно быстро разошлись в своих имплицитных и эксплицитных стратегиях относительно специализации и профессионализации в науке. Эти два аспекта часто смешиваются социологами, но по аналитическим причинам их важно различать, коль скоро исторически они не всегда совпадают. «Специализация» подразумевает степень сосредоточения научной работы на одной или нескольких областях, в противоположность широкому охвату многих. «Профессионализация» подразумевает возможность сделать карьеру в научной сфере — и в смысле зарабатывания средств на жизнь, и в смысле обретения коллективной идентичности с другими практикующими в этой области учеными. Грубо говоря (и признавая существование отдельных знаковых исключений), к концу XVIII в. парижская Королевская академия наук была и специализирована, и профессионализирована, лондонское Королевское общество не было ни специали-

² *Mommsen Th. Ansprache am Leibnizschen Gedächtnistage [1895. 4 Juli] // Mommsen Th. Reden und Aufsätze. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1905. S. 197.*

зировано, ни профессионализировано, а берлинская Академия наук была профессионализирована, но не специализирована. Я кратко опишу каждый случай, уделяя особое внимание той роли, которую играл идеал единства наук в Париже, Лондоне и Берлине.

Хотя парижская Королевская академия наук провела свое первое официальное собрание 22 декабря 1666 г., ее состав, полный перечень правил и обязанностей не были сформулированы вплоть до 1699 г. В течение первых трех десятилетий формирования, прошедших между появлением и окончательной организацией Академии, за господство над регламентацией ее целей и практик состязались две идеологии. Первая из них, отстаиваемая Шарлем Перро, представляла академию по энциклопедической модели, с различными отделениями — как гуманитарных, так и естественных наук, — и олицетворяла собой синтез знаний. Перро рекомендовал избирать членов не только за выдающиеся достижения в какой-то одной специальной области науки, но и на основе широкой эрудиции. Вторая, в большей степени сообразная взглядам правительственных покровителей Академии, придавала особое значение потенциальной полезности постоянно действующего органа компетентных экспертов (*technical consultants*), выбранных исходя из их квалификации в конкретной области знания³. В уставе 1699 г. был достигнут компромисс, тяготеющий тем не менее в сторону второй, более специализированной, позиции. Члены избирались и распределялись между шестью тематическими подразделениями согласно специальностям: механика, анатомия, математика, химия, ботаника и астрономия. На Академию были возложены административные функции в пределах правительственной юрисдикции, такие как оценка полезности и новизны изобретений и инспекция горных, гражданских и военных инженерных работ. Таким образом, дисциплинарная специализация была встроена в структуру парижской Академии наук с самого начала и всерьез была оспорена лишь однажды — при основании Национального института революционным Конвентом в 1796 г. — да и то совсем ненадолго. На протяжении XIX в. притязания на универсальную ученость рассматривалось во Франции с подозрением, как знак поверхностности и болтливой риторики. Знать что-то одно глубоко и предпочтительно математически — вот что для французского академика означало знание.

Довольно сильно отличалась от этой картины ситуация в лондонском Королевском обществе. Хотя Королевское общество получило письмо-патент от Карла II в 1660 г., в отличие от парижской Королевской академии наук оно не получило финансирования от короны. Вместо того чтобы платить сти-

³ *Hahn R. The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666–1803. Berkeley: University of California Press, 1971. P. 10–12.*

пендии своим членам, Королевское общество, наоборот, существовало на их взносы. В 1667 г. членский взнос составлял более двух фунтов в год — слишком большая сумма для лондонских ремесленников и прикладных математиков (*mathematical practitioners*), которые могли бы способствовать развитию технологической стороны исследовательских программ Королевского общества⁴. Еще в 1871 г. астроном Джордж Эйри колебался, соглашаться ли ему на пост президента Общества или нет, ведь он был недостаточно богат для выполнения существенных финансовых и социальных обязательств, которые подразумевало занятие этой должности. Почти до конца XIX в. при выборе президента Общества политические связи в высших кругах, тугой кошелек и щедрость, достаточная для оплаты «мероприятий» Королевского общества, перевешивали научную квалификацию⁵. После резкой критики со стороны математика и политэконома Чарльза Бэббиджа в 1830 г. и в особенности после внутренних реформ 1847 г. Королевское общество приобрело более профессиональный характер с точки зрения членства (в нем постепенно стали преобладать университетские профессора естественных наук) и характера публикаций. Но вплоть до 1870-х годов членов Королевского общества нельзя было назвать «профессиональными учеными». Королевское общество и его члены долгое время сопротивлялись профессионализации — и даже отказывались называть себя «учеными», предпочитая безвозмездно и благородно посвящать себя натурфилософии⁶.

Также сопротивлялись они и специализации. Уже в начальный период существования Королевское общество резко и неоднократно критиковалось литературно ориентированными умами (*literary intellectuals*) за тенденцию к отделению естественной философии от классического образования. Эссеист Ричард Стил жаловался, что Королевское общество,

кажется, поддерживает заговор против людей культурно одаренных, против благородного мышления и разностороннего образования; оно избирает в свои ассамблеи тех, кто не имеет стремления к мудрости, но жаждет изощренности или стремится к естественно-научному знанию, оказываясь невежественным во всем остальном⁷.

⁴ *Hunter M.* The Royal Society and Its Fellows, 1660–1700: The Morphology of an Early Scientific Institution. Chalfont St. Giles: British Society for the History of Science, 1982. P. 8.

⁵ *Hall M.B.* All Scientists Now: The Royal Society in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 108, 99–103.

⁶ *Ibid.* P. 92–142; *Ross S.* “Scientist”: The Story of a Word // *Annals of Science*. 1962. Vol. 18. P. 65–85.

⁷ Цит. по: *The Tatler, with Notes, and a General Index.* Philadelphia: J.J. Woodward, 1831. P. 387. — *Примеч. пер.*

Эти критические замечания были поддержаны Сэмюэлем Батлером, Александром Поупом и даже Джоном Локком. Королевское общество, стремясь защитить себя от обвинений в узкой специализации, отреагировало на подобные инвективы, избрав в свои ряды членов с широким образованием, чьи интересы и достижения никоим образом не ограничивались одними лишь естественными науками. Хотя оно было основано для «развития естественно-научного знания», в XVIII и начале XIX в. среди его членов можно было столь же легко обнаружить и литературных деятелей, вроде Сэмюэля Джонсона, или влиятельных аристократов, например герцога Аргайлского, как и встретить там убежденных естественников и экспериментаторов, таких как сэр Джозеф Бэнкс и Майкл Фарадей. Антипатия к специализации, равно как и неприязнь к профессионализации, была следствием приверженности «классическому образованию», а не идее единства наук. Джентльмену так же не подобало направлять все свое внимание (а вместе с ним, предположительно, и все свое состояние, и все свои разговоры) на предметы, далекие от гражданских и гуманистических тем — например, на насекомых, звезды или уравнения, — как не подобало ему зарабатывать деньги, занимаясь трудом. Ориентированное на подобные ценности, Королевское общество оставалось враждебным профессионализации и специализации приблизительно до середины XIX в.

Ситуация в Берлине, по крайней мере после реформ 1740-х годов, может быть описана иначе — здесь профессионализация науки развивалась при противодействии процессу специализации. Хотя исходный план «*Societas Scientiarum*» Лейбница отдавал приоритет естественным наукам, преобразования, проведенные при Фридрихе II в 1740-х годах, создали целостную структуру из четырех отделений (физики, математики, философии и «изящной словесности»), согласно главным энциклопедическим векторам. Самостоятельных собраний отделений не было, проводились только общие заседания всей Академии в целом⁸.

Эти тенденции к целостности были усилены знаменитыми реформами Гумбольдта в начале XIX в., которые подчеркнули обширное содержание немецкого слова *Wissenschaft*, в противоположность родственным словам в английском и французском языках. В начале XIX в. методологические трактаты о природе научного знания на французском и английском языках, такие как «Курс позитивной философии» («*Cours de philosophie positive*», 1830–1842) Огюста Конта или «Предварительное рассуждение об изучении естественной философии» («*Preliminary Discourse on the Study of Natural*

⁸ *Grau C.* Die Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Eine deutsche Gelehrten-gesellschaft in drei Jahrhunderten. Heidelberg: Spektrum, 1993. S. 64–65, 88–92; *Harnack A.* Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Bd. 2. Berlin: Reichsdruckerei, 1900. S. 55–58.

Philosophy», 1830) Джона Гершеля, по-разному отвечали на вопрос о том, что именно делает естественные науки столь образцово научными (или, говоря словами Конта, «позитивными»). Тем не менее, авторы этих работ были единодушны относительно прогрессивности наук естественных, их верности факту, что разительно отличало эти науки от иных теорий или «метафизических» категорий, сколь бы эвристическими или элегантными ни были эти последние. Напротив, Вильгельм фон Гумбольдт, Иоганн Готлиб Фихте, Фридрих Шлейермахер и Фридрих Шеллинг — это поколение идеологов науки (*Wissenschaftsideologen*) — придавало большее значение вечному поиску знания (проблеме, по Гумбольдту, до конца неразрешимой), а не прогрессу учености, и предпочитали философскую глубину и согласованность познания усердному накоплению фактов. Кроме того, *Wissenschaft*, провозглашаемая манифестами университетских реформ 1810–1818 гг. и последовавшими бесчисленными торжественными речами, виделась как «чистая» или «свободная», что выражалось в заявлениях о полной независимости ее от утилитарных целей и об органическом единстве знания⁹.

Оба этих императива — антиутилитаризма и органического единства — объединялись, чтобы в реформированных немецких университетах первых десятилетий XIX в. понизить статус наук о природе (*Naturwissenschaften*) до второстепенного. То, что являлось предметом гордости естественных наук в Париже и Лондоне (да и в Берлине времен Лейбница) — именно перспектива их практической выгоды, — в Германии оказалось чуть ли не поводом для извинений. Физик Герман фон Гельмгольц в 1862 г. признавал, что фрагментация знаний развилась в науках о природе сильнее, чем в науках о духе (*Geisteswissenschaften*): филологи, историки, юристы и богословы были все еще связаны друг с другом общими историко-филологическими методами, тогда как физики, астрономы, химики и биологи становились все более равнодушны не только к «литературным сокровищам», но и к работам друг друга. Хотя все науки имели «общие цели, [а именно] сделать разум правителем мира», лишь науки о духе, как отмечает Гельмгольц, «работают напрямую [для достижения этой цели] <...> отделяя ясное от неясного», в то время как науки о природе могут только стремиться «к той же цели обходными путями»¹⁰.

⁹ См.: *Die Idee der Deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus* / E. Anrieh (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964. В особенности: *Humboldt W. von. Über die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin* // *Ibid.* S. 382.

¹⁰ *Helmholtz H. von. Über das Verhältnis der Naturwissenschaften zur Gesamtheit der Wissenschaft* // *Vorträge und Reden*. 5 Aufl. Bd. 1. Braunschweig: Friederich Vieweg und Sohn, 1903 [1862]. S. 166, 183.

Только на фоне этой *Wissenschaftsideologie* чистоты и единства науки, характерной для Германии XIX в., можно понять как роднящую немецких естественников и математиков одержимость «чистотой» их дисциплин (не смотря на достигнутые ими необычайные успехи в прикладной сфере), так и то, что немецкие физики от Ома до Эйнштейна постоянно твердили о том, что физические понятия суть «свободные творения духа [freie Schöpfungen des Geistes]»¹¹. Когда в 1895 г. выдающийся физик Фридрих Кольрауш, сменивший Гельмгольца на посту директора Имперского физико-технического института, расположенного в предместье Берлина Шарлоттенбурге, стал членом Академии, он почти оправдывался за прикладной характер своих исследований:

По своему характеру деятельность Имперского физико-технического института не всегда может служить чистой науке. Тем не менее и чистая наука является неотъемлемой частью поставленной перед ним задачи. Но даже без этого [требования], вы поймете, что привычки 30-летней научной работы не могут быть просто отброшены, и я осознаю, что без сохранения этой привычки я не был бы в состоянии жить¹².

3. Дисциплинирование дисциплин

Судя по текстам бесчисленных торжественных речей и выступлений на объединенных заседаниях всех четырех отделений Академии заверения Кольрауша, что он действительно был приверженцем идеала чистой науки, были необходимы. Нигде элегическая тоска по неким утраченным чистоте и единству наук не проявлялась сильнее, чем в Прусской королевской академии наук в Берлине (Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin), которая была реорганизована в 1812 г. в тесной связи с основанием Берлинского университета¹³. В докладе для академии 1882 г. физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон (избранный ординарным членом в 1851 г.) сравнил стремительный темп науки с темпом современной торговли:

Отказываясь от притязаний на славу, тысячи прилежных [научных] работников ежедневно накапливают бесчисленные детали, не заботясь о внутренней

¹¹ *Einstein A. Autobiographie // Einstein A. Philosopher-Scientist / P. Schilpp (ed.). Vol. I. Evanston, IL.: The Library of Living Philosophers, 1949. P. 6–12.*

¹² *Kohlrausch F. Antrittsrede // Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1896. Nr. 33. S. 745.*

¹³ *Grau C. Die Preußische Akademie der Wissenschaften... 134–137.*

или внешней полноте, заинтересованные лишь в том, чтобы привлечь к себе внимание в данный момент и продать свои товары по лучшим ценам¹⁴.

Австрийский физик Людвиг Больцман (избранный почетным членом в 1888 г.) сравнил стремительный и хаотичный рост естественных наук в последние десятилетия XIX в. с «одним из самых современных американских городов, который в течение нескольких десятилетий разросся из деревни в город с миллионным населением»¹⁵. Ни сравнение с капитализмом, ни сравнение с Чикаго не были комплиментом. В 1906 г. еще сильнее раскритиковал научную специализацию филолог-классик и секретарь Академии, Герман Дильс. Он сокрушался о «почти необозримой, бесконечно ветвящейся и бесконечно дробящейся череде научных [wissenschaftlich] ассоциаций, клубов, обществ и т.д., как бы они себя ни называли...»¹⁶

Обращение к статистическим данным по научным обществам и журналам во второй половине XIX в. подкрепляет ощущение стремительного расширения и дифференциации научного знания, особенно после 1880 г. Дильс насчитал 892 научных сообщества в Германии в 1887 г. и 1258 журналов в 1900, причем речь идет только о естественных и математических науках. Эта же тенденция обнаруживается и в университетах, особенно относительно тех огромных сумм, которые тратились в университетах Германской империи на создание институтов, посвященных естественно-научным исследованиям (1,5 млн марок только для Берлинского физико-технического института Гельмгольца)¹⁷. Тем не менее было бы несправедливо приписывать специализацию лишь наукам о природе. В Германии именно классическая филология специализировалась первой и служила наглядным примером для других дисциплин, начиная от истории и заканчивая физикой. Уже в 1837 г. Фридрих Тирш основал профессиональное общество филологов, а к 1846 г. Германия могла похвастаться четырьмя специальными журналами по этому предмету. Именно филолог Август Бёк (ординарный член Академии с 1814 г.) заявил в 1855 г., что не существует

¹⁴ *Du Bois-Reymond E. Über die wissenschaftlichen Zustände der Gegenwart [1882] // Du Bois-Reymond E. Reden. Bd. 2. Leipzig: Veit, 1886. S. 450.*

¹⁵ *Boltzmann L. Über die Entwicklung der Methoden der theoretischen Physik in neuerer Zeit // Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. 1899. Nr. 71. S. 99.*

¹⁶ *Diels H. Die Organisation der Wissenschaft // Die Kultur der Gegenwart / P. Hinneberg (Hrsg.). Leipzig: B.G. Teubner, 1912 [1906]. S. 675.*

¹⁷ *Cahan D. The Institutional Revolution in German Physics, 1865-1914 // Historical Studies in the Physical Sciences. 1985. Vol. 15. P. 1–66.*

такой проблемы, которая могла бы считаться слишком мелкой для серьезного научного исследования¹⁸.

Дисциплинарная специализация ставила перед всеми национальными академиями проблемы, которые и стали причиной потери этими институтами своего исключительного положения и бесспорного господства в научной сфере. Но проблемы эти воспринимались удивительно по-разному. Парижская Академия наук просто рассматривала специализированные сообщества как множество «залов ожидания» для будущих академиков: пусть перспективные молодые ученые проявят себя в Зоологическом обществе (*Société Zoologique*) или в Физическом обществе (*Société de Physique*) перед тем как претендовать на место в Академии¹⁹. Лондонское Королевское общество со временем отреагировало на вызов специализации научной периодики, и в 1887 г. «Философские труды Королевского общества» («*Philosophical Transactions*») были разделены на две серии: А (физические и математические науки) и В (биологические науки). Тем не менее как и парижская Академия наук, Королевское общество обладало бóльшим авторитетом по сравнению со специализированными научными обществами²⁰. Берлинская же Академия наук, являясь центром германской научной жизни и как минимум не уступая в международном признании парижской Академии наук и лондонскому Королевскому обществу, отреагировала на распространение специализированных научных обществ и журналов с тревогой и опасением, что было не характерно для академий Франции или Великобритании. Берлинская Академия рассматривала себя главным блюстителем единства наук в самом сердце немецкой *Wissenschaftsideologie*, и начиная с 1870-х годов на протяжении ряда лет ее наиболее именитые члены были обеспокоены тем, как собрать воедино разбитое целое науки.

С XVIII в. нестройная и прираставшая как на дрожжах мешанина наук упорядочивалась путем наложения на нее той или иной классификационной схемы, как в случае с картой или древом знаний у Д'Аламбера, — это было наиболее распространенной стратегией. В XIX в. было предпринято бесконечное количество попыток такого рода: историческая и иерархическая последовательность наук Огюста Конта; Антуан Огюстен Курно с его трехчастным делением наук на теоретические, исторические и практические; расположение наук от конкретных к абстрактным у Герберта Спенсе-

¹⁸ *Turner R.S.* The Prussian Universities and the Concept of Research // *Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur*. 1980. Bd. 5. S. 85, 87.

¹⁹ *Fox R.* The Savant Confronts His Peers: Scientific Societies in France, 1815–1914 // *The Culture of Science in France, 1700–1900*. Aldershot: Variorum, 1992. P. 279.

²⁰ *Hall M.B.* All Scientists Now... P. 116, 182–183.

ра; разделение на реальные и формальные науки Вильгельма Вундта²¹. Но усилия берлинских академиков были направлены в другом направлении, отчасти из-за очевидной искусственности всех подобных классификаций, а отчасти потому, что каждая из этих схем, с их оппозициями и последовательностями, молчаливо подразумевала, что науки были и неизбежно будут оставаться дискретными, разъединенными. Классификации помогали организовать науки, но не создавали их органического единства.

Вместо этого берлинские академики стремились выявить глубинные связи, скрытые за кажущейся фрагментарностью тех или иных наук. Более того, они неоднократно и настойчиво утверждали, что подлинная задача академии, в отличие от специализированных научных обществ, состояла в том, чтобы восстановить единство наук, обеспечив панорамный и глубокий взгляды на весь научный ландшафт. Дюбуа-Реймон утверждал, что основополагающие принципы, такие как закон сохранения энергии и эволюция, связывают науки воедино, и призывал Академию противодействовать «разворачивающейся повсеместно измельчающей фрагментации [исследовательской] работы»:

Долг академии — сохранение взаимосвязей, в том числе и в условиях разделения [научного] труда, а также постижение того, как из потока эфемерных фактов произрастает знание. Вопреки обольщениям техники [Академия] обязана дать [людям] ощутить притягательность чистой науки²².

В лекции 1874 г. по случаю ежегодного Дня Лейбница в Академии Моммзен решительно отверг любые рассуждения о том, будто в век дисциплин и специализированных журналов академии стали бесполезны. Напротив, опасная интеллектуальная односторонность эпохи может быть преодолена только благодаря «академическому единению [das akademische Zusammensein]», говорил он²³. Интеллектуальное общение собравшихся вместе членов Академии и символически, и по существу воплощает в себе энциклопедическое знание, наподобие того, как некогда оно выражалось в фигуре самого Лейбница.

Тем не менее те же члены Академии в прочих случаях высказывали серьезные сомнения по поводу этого идейного единства. И Моммзен, и Дильс указывали на глубокое противоречие между идеалами общности, деклари-

²¹ *Flint R.* Philosophy as Scientia Scientiarum and a History of Classifications of the Sciences. Edinburgh: Blackwood, 1904; *Dolby R.G.A.* Classifications of the Sciences. The Nineteenth Century Tradition // Classifications in Their Social Context / R.F. Ellen, D. Reason (eds). L.: Academic Press, 1979. P. 167–194.

²² *Du Bois-Reymond E.* Über die wissenschaftlichen Zustände der Gegenwart. S. 459.

²³ *Mommsen Th.* Rede am Leibnizschen Gedächtnistage // Mommsen Th. Reden und Aufsätze. S. 44.

руемыми Академией, и индивидуалистическими ориентирами современных исследований. Моммзен признавал «автаркию личности ученого» и защищал «научное упорство». Даже если «безусловная свобода точки зрения» оборачивалась упрямством в повторении ошибок и тратой научных сил, она, тем не менее, была предпосылкой оригинальности научных исследований²⁴. Дильс вторил этим соображениям примерно двадцатью пятью годами позже, когда отмечал, что зачастую академии не справлялись со своим предназначением — быть «собраниями умственных сил», ибо научное исследование, как и искусство, «по своей глубочайшей сущности должно быть делом индивидуальным». Даже когда гений получал в академии своего рода карт-бланш, его лучшие работы, согласно Дильсу, оказывались продуктом творчества уединенного. Сама академическая коллегиальность, в которой виделся ключ к восстановлению единства наук, противостояла новаторскому исследовательскому подходу: «Чтобы оказаться важной, книга должна быть революционной. Это почти всегда приводит к замешательству и недоумению, и потому не подобает ей, словно бомбе, взрывать мирное собрание коллег»²⁵. Академическая сплоченность может объединить науки, но гения она не терпит.

Отсюда проистекала и та зачарованность «универсальным гением», который разом решал обе проблемы. На Лейбница — основателя и первого президента берлинской Академии — непрестанно ссылались как на воплощение всех наук в одной персоне. Как правило, такое сравнение оказывалось явно не выигрышным для его наследников. Лейбниц представал не только широко образованным человеком, знавшим все и в искомой целокупности (All- und Ganzwischer): знание его к тому же всегда «было творческим»²⁶. Вильгельм и Александр Гумбольдты (особенно когда их рассматривали как единое целое) также использовались в качестве символа утраченного единства наук и творческой природы исследования. Лейбниц и братья Гумбольдты неизбежно становились персонификацией идеальных университета и академии, олицетворяя в своей личности как весь спектр наук, так и определенный исследовательский императив. И с такой же неизбежностью эти сравнения окрашивались мечтательно-грустными интонациями: век героев ушел в прошлое, и таких людей нам больше лицезреть не придется. Дюбуа-Реймон считал, что высочайшие достижения науки XIX в. — вроде гипотезы о происхождении Солнечной системы из туманности — открывали возможности для синтеза наук, превосходившие те, ко-

²⁴ *Mommsen Th. Rede am Leibnizschen Gedächtnistage. S. 44–45.*

²⁵ *Diels H. Die Organisation der Wissenschaft. S. 668.*

²⁶ *Du Bois-Reymond E. Leibnizische Gedanken in der neueren Wissenschaft [1870] // Du Bois-Reymond E. Reden. Bd. 1. Leipzig: Veit, 1886. S. 33.*

торые были заложены в монументальном труде Александра фон Гумбольдта «Космос». Дюбуа-Реймон тем не менее не питал надежды, что кто-либо окажется в силах осуществить такого рода проект вновь:

Три качества, которыми в высшей степени обладал Гумбольдт, были бы необходимы [для такого синтеза], но даже по отдельности ныне они встречаются редко, не говоря уже о том, чтобы все вместе: [первое] способность обозреть всю совокупность наук; [второе] стремление к прекрасной форме, являющейся в науке, как правило, и верной; и [третье] историческое чувство, различающее в развитии науки истинные связи вещей²⁷.

Горькая ирония состояла в том, что Дюбуа-Реймон высказал эти ностальгические идеи в речи по случаю вступления в должность ректора Берлинского университета. Именно Берлинский университет больше, чем любые другие институции, способствовал тому, чтобы время таких синтетических умов в германской научной жизни ушло в прошлое. Гумбольдтовская революция, средоточием которой был Берлинский университет, наиболее эффективным образом объединила преподавание и исследование в рамках семинарского занятия. В первую очередь это было осуществлено в филологическом семинаре, созданном Бёком еще в 1810 г. Студенты допускались к семинару, только если они планировали посвятить свою дальнейшую карьеру главным образом филологии, а не истории, теологии или праву. Они получали государственную стипендию и правительственные субсидии для публикации своих диссертаций, государство отдавало им предпочтение при замещении вакансий в гимназиях. Эти студенты обучались палеографическим методам, критике источников и генеалогической реконструкции. То, что в университетах XVIII в. еще считалось науками вспомогательными (*Hilfswissenschaften*), в рамках университетских семинаров XIX столетия оказалось критерием серьезности ученого²⁸. Семинарская модель быстро распространилась и на другие дисциплины, включая естественные науки: семинары по физике были организованы Францем Нейманом в Кёнигсбергском университете в 1834 г., в 1836 г. их начал вести Юлиус Плюккер в Бонне и наконец с 1843 г. — Густав Магнус в Берлине. На семинарах по физике студенты практиковались в точности измерений и количественной оценке погрешностей; кроме того, они начинали самостоятельные исследования, особенно после создания новых, хорошо оборудованных физических институтов с собственными лабораториями²⁹.

²⁷ *Du Bois-Reymond E. Die Humboldt-Denkmäler vor der Berliner Universität [1883] // Du Bois-Reymond E. Reden. Bd. 1. Leipzig: Veit, 1886. S. 514.*

²⁸ *Turner R.S. The Prussian Universities and the Concept of Research. P. 88–90.*

²⁹ *Cahan D. The Institutional Revolution... P. 3–12.*

Именно в исследовательских семинарах и дисциплинировались дисциплины. Семинары были движущей силой увеличения количества специализированных научных обществ и журналов. На семинарах студенты узнавали, что научность (*Wissenschaftlichkeit*) подразумевает метод, и что метод, в свою очередь, означает овладение эзотерическими техниками путем долгого и неустанного их применения. О каких бы техниках ни шла речь, будь то палеография на филологическом семинаре в Берлине или теория погрешностей на семинаре по физике в Кёнигсберге, передача профессиональных практических навыков при работе профессоров и студентов бок о бок более всего напоминала учебу будущего ремесленника у мастера. Сверкающее слово *Wissenschaft* [наука] объединяло в себе целый спектр ассоциаций — от укрепления характера до созидания культуры, — но образованное от него менее торжественное определение *wissenschaftlich* [научный] неизменно отсылало к кропотливым и изоощренным техникам — к тем самым систематическим «методам исследования», — которые гарантировали отсутствие недочетов в выполненной работе, будь то эксперимент или научное издание рукописей. Именно эти *wissenschaftliche Methoden* частично определили отличительную особенность немецких исследований, вызывавшую восхищение и копировавшуюся всюду, от Парижа до Праги и Балтимора.

Эти методы не только формировали умы, но и закаляли характер. Неустанная тренировка внимания, акцент на усердие и пунктуальность, требование предоставлять в срок письменные или устные работы, культ доскональности и строгости — все это являлось частью практически любой семинарской системы, вне зависимости от предмета³⁰. Каково бы ни было задание — просмотреть корпус текстов Плутарха в поисках какого-то глагола или провести точное многократное измерение удельной теплоемкости вещества, — надежность результатов опиралась на основательность характера ученого. В дискуссии 1863 г. между учеником Неймана Карлом Папе и французским физиком Анри Виктором Реньо, посвященной значениям удельной теплоемкости, Папе и другие бывшие студенты кёнигсбергского семинара Неймана доказывали, что необходимо намного большее количество замеров, чтобы исключить любую возможность ошибки, и что такая настойчивость являлась «долгом»³¹. Когда физик Эмиль Варбург говорил о «духе современной физики», он прежде всего имел в виду «серьезный, мужественный научный характер», воспитывавшийся в студентах при вы-

³⁰ Clark W. On the Dialectical Origins of the Research Seminar // *History of Science*. 1989. Vol. 27. P. 126.

³¹ Olesko K.M. *Physics as a Calling: Discipline and Practice in the Königsberg Seminar for Physics*. Ithaca: Cornell University Press, 1991. P. 381–382.

полнении лабораторных работ³². Даже тело участника семинара формировалось под воздействием интенсивных занятий, в которых он участвовал. Гельмгольц полагал, что специализация является неизбежной и необратимой из-за тех навыков, которыми должен обладать современный исследователь:

Ему требуются навыки, которые могут быть приобретены только путем многократных усилий и долгой практики. Его чувства должны быть отточены для определенных видов наблюдения за исследуемым объектом — тончайших различий формы, цвета, плотности, запаха и т.д. Его рука должна быть натренирована так, чтобы выполнять то работу кузнеца, то слесаря и столяра, то труд чертежника или скрипача, а порой, при вскрытии органов и тканей под микроскопом, он должен превосходить кружевницу точностью движений своей иглы³³.

Можно предположить, что из-за строгости и дотошности семинарской дисциплины на выходе получались стандартизированные ученые, как будто сошедшие с конвейера, — обладающие одними и теми же методами, привычками, навыками. Безусловно, семинары выполняли социализирующую роль для своих участников, цементируя общие дисциплинарные стандарты и преданность дисциплине. Но личность участника семинара формировалась как индивидуальность оригинального исследователя, способного «стремиться к неизведанному». Дело не только в том, что прусская университетская реформа, копирувавшаяся впоследствии повсеместно в Германии и за ее пределами, обязывала профессоров как публиковаться, так и преподавать; и не только в том, что еще до реформы 1809 г. членов немецкого университетского сообщества призывали добавлять в копилку науки новые знания (хотя чаще этот императив относился к членам академий, нежели к университетским профессорам). Действительно новыми были и тип знания, и аудитория, которой оно адресовалось. Немецкие университеты XVIII в. требовали от своих профессоров публикационной активности и приглашали на работу на факультеты ученых мужей исходя из их репутации, заработанной публикациями. Однако ни тип этих публикаций, ни основания для приема на работу не соответствовали требованиям, введенным берлинскими реформаторами в начале XIX в. Профессора XVIII в. печатали учебники, сборники, энциклопедии и еще много того, что может быть отнесено к произведениям изящной словесности, адресованным по большей части как студентам, так и буржуазии образования (*Bildungsbürgertum*).

³² Цит. по: *Cahan D.* The Institutional Revolution... P. 41.

³³ *Helmholtz H. von.* Über das Ziel und die Fortschritte der Naturwissenschaft [1869] // *Helmholtz H. von.* Vorträge und Reden. 5. Aufl. Bd. 1. Braunschweig: Friederich Vieweg und Sohn, 1903. S. 371.

В отличие от них, профессора, добивавшиеся успеха в XIX в., писали монографии, предназначенные для небольшой читательской аудитории специалистов, и их продвижение внутри университетской системы зависело от внутридисциплинарного признания, а не от признания образованного читателя, не являвшегося специалистом, или же коллег с других факультетов. В то время как профессор XVIII в. стремился к тому, чтобы всестороннее знание сделать доступным читающей публике, его коллега в XIX в. стремился к оригинальности, дабы быть оцененным только внутри избранного круга. Профессор нового образца отличался и от академиков прошлого. Если академик XVIII в. создавал новое знание путем исследовательской работы, то новый профессор стремился к оригинальности³⁴. В условиях подчас ожесточенной конкуренции, особенно после 1840 г., и при ограниченности арсенала методов, удостоверяющих научность работы, молодые ученые (*Wissenschaftler*) старались отличаться и от своих учителей, и от сверстников, оставляя на своих работах отпечаток собственной неповторимой научной индивидуальности.

4. Что хорошего в академии?

Таковы были обстоятельства, поместившие берлинскую Академию наук между двух огней. С одной стороны, ее члены были наилучшими примерами работы семинарской системы, образцами внимательных и оригинальных исследователей в своих дисциплинах. С другой стороны, академия все же стойко держалась за идеал единства наук и относилась к специалистам узкого профиля с пренебрежением. Академия разрывалась между двумя несовместимыми идеалами: установкой на оригинальность дисциплинарного исследования, с одной стороны, и принципом единства наук, с другой. Каждый из этих ориентиров символизировал высочайшие достижения немецкой учености XIX в.

Как я попыталась показать, рост количества научных дисциплин стал причиной кризиса идентичности и в других национальных академиях в последней четверти XIX в. Но лишь берлинская Академия наук не удовлетворилась тем решением, которое было выработано в парижской Академии наук и в лондонском Королевском обществе. Эти организации пошли по пути закрепления своего статуса ведущих научных обществ, объединений интеллектуальной элиты, которые состояли из ученых, уже сделавших себе имя в контексте дисциплинарной деятельности. По сути, берлинская Академия все же стала таким почетным обществом — об этом свидетельствует

³⁴ *Clark W.* On the Dialectical Origins of the Research Seminar. P. 127–128.

средний возраст членов, принятых в ее ряды в 1870–1918 гг. (он составлял около 55 лет). Но берлинская Академия не могла смириться с новой идентичностью собрания серых кардиналов от науки, как не могла она принять и обреченность Теодора Моммзена: «Мы не сетуем и не жалуемся. Цветок увядает, а плоду должно созреть. Однако лучшие из нас ощущают, что мы превратились в специалистов»³⁵.

Но что было ужасного в том, чтобы стать специалистами [Fachmänner]? Моммзен и его коллеги явно чувствовали, что немецкие ученые, с их старомодной преданностью единству и универсализму, все больше остаются в одиночестве. Говоря о проектах Академии, Моммзен довольно грустно заметил:

...Англичане, французы, итальянцы будут трудиться на этой ниве вместе с нами, — этого можно, как уже было сказано, скорее желать, нежели на это надеяться. Универсализм в области науки этим нациям чужд, так что Германия и здесь, как всегда и во всем, — [действует] в одиночку³⁶.

При всем шовинизме и жалости к себе, звучащих в этом утверждении Моммзена, нельзя не заметить, что слово «единство» вызывало среди германских ученых резонанс особенно сильный, так как ассоциировалось с политическим объединением эпохи Империи. Этот отклик можно обнаружить в самых неожиданных местах. Так, в 1871 г. Рудольф Вирхов в своей поздравительной речи на съезде немецких естествоиспытателей и врачей (Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte) призвал ученых-естественников объединить немецкий народ. Этот призыв позднее осуществился в стандартизации мер и весов, проведенной Имперским физико-техническим институтом³⁷. В этом смысле Кольрауш в своей инаугурационной речи в Академии мог с гордостью описывать введение унифицированных физических единиц как «одно из величайших культурных достижений прошедшего века»³⁸.

Но единство, наблюдаемое в деятельности Академии, тем не менее было скорее делом восприятия, чем науки. Связанные возрастом, статусом и плотно вплетенные в схожие сети социальных отношений, академики также имели и общее образование. Дильс резко отреагировал на предположение,

³⁵ *Mommsen Th.* Ansprache am Leibnizschen Gedächtnistage. S. 198.

³⁶ *Idem.* Rede am Leibnizschen Gedächtnistage. S. 48.

³⁷ *Cahan D.* An Institute for an Empire: The Physikalisch-Technische Reichsanstalt, 1871–1918. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 11–13.

³⁸ *Kohlrausch F.* Antrittsrede. S. 738.

что будущие естественники могли бы получить лучшее образование в реальном училище (Realschule), чем в классической гимназии (humanistisches Gymnasium). Несколько выдающихся ученых из близких к технологии областей, вроде химии, возможно, заняли видное положение в своих дисциплинах без помощи древнегреческого языка или латыни, писал он, но «в целом следует придерживаться языковой подготовки, которую дает классическая гимназия, подкрепляемая двухтысячелетней традицией»³⁹. Учитывая, что только небольшой процент школьников (около 3% в 1885 г.) посещали гимназии и что большинство из них происходило из семей, уже принадлежавших к Bildungsbürgertum, члены Академии — и естественники, и гуманитарии, — скорее всего, имели сходный социальный бэкграунд⁴⁰. Клубный тип общения берлинской интеллектуальной элиты коренился в ее замкнутости, что наиболее отчетливо выражалось в исключенности из нее женщин. Конечно, женщины — в качестве жен и прислуг — были опорой системы преподавания, исследований и собраний, системы напряженной и занимающей большую часть времени рядовых академиков. Когда Гельмгольц решил после смерти первой супруги вновь жениться, он откровенно объяснил причины своему хорошему другу Дюбуа-Реймону:

Надо признаться, я с трудом мог представить себя, вдовца с двумя детьми и уже немолодого, в роли жениха намного более молодой дамы. Но зимой стало ясно, что моя теща, несмотря на свою энергию и выносливость, не сможет долго заботиться о хозяйстве и детях. Затем все пошло быстро. <...> Свадьба состоится на Троицу⁴¹.

Но сколь бы ни были важны женщины для обеспечения академиком возможности заниматься своими обязанностями, в Академии они представлены не были. Нельзя не заметить, что этот факт вызывал некое чувство облегчения, по крайней мере среди некоторых ее членов: в 1915 г., когда Первая мировая война забрала юношей из университетских аудиторий, историк Фридрих Мейнеке жаловался, что четыре пятых студентов на его занятиях — женщины, «бабы, занимающиеся критикой источников со всей своей женской хитроумностью, которая может довести до отчаяния, поскольку их невозможно переспорить». И буквально в следующем предложении фигурирует Академия, где он находит убежище: «Самое человеч-

³⁹ Diels H. Die Organisation der Wissenschaft. S. 648.

⁴⁰ Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1994 [1975]. S. 126.

⁴¹ Dokumente einer Freundschaft: Briefwechsel zwischen Hermann von Helmholtz und Emil du Bois-Reymond, 1846–1894 / C. Kirsten (Hrsg.). Berlin: Akademie-Verlag, 1986. S. 197 (письмо Гельмгольца Дюбуа-Реймону, 2 марта 1861 г.).

ное в Академии — это собрания за чашкой кофе, деньги на который мы все забываем вносить; да и среди докладов, которые я слышал, многие были весьма хороши»⁴².

Но, видимо, гораздо более важным фактором формирования общего восприятия (*shared sensibility*) было не социальное и не гендерное исключение, а опыт участия в соответствующих семинарах, которым к 1880-м годам должен был обладать почти каждый член академии — и как студент, и как преподаватель. Хотя содержание семинаров значительно варьировалось в зависимости от дисциплины, формат и ценности семинара были на удивление единообразными. Трудолюбие, внимание к мелким деталям, увлеченность методом, дух ответственности и точности, а также привычка совместного обсуждения объединяли физика и филолога, прошедших семинарскую подготовку. Все были закалены опытом постепенного перехода от повторения известного (проверка архивных источников, проведение химических реакций) к неизвестному; все должны были испытать «взаимный интеллектуальный обмен между учителем и учениками» и почувствовать, как выразился Дильс, «невидимые нити доверия между участниками таких *Thiasos*»⁴³. Слово *Thiasos* имеет несколько значений в древнегреческом языке, начиная от вакхического празднества и заканчивая воинским отрядом, и, несомненно, Дильс — этот блестящий эллинист — обыгрывал все эти оттенки слова, вспоминая о семинаре. Основной смысл, объединяющий все значения слова «*Thiasos*», — это принадлежность к группе посвященных, особенно в отношении религиозных братств. И именно в виде такой сопринадлежности, а не в смысле какого бы то ни было идейного синтеза, реализовывалось в берлинской Академии единство наук. Хотя семинар и разорвал интеллектуальную связанность наук, память о нем и выработанный там габитус обеспечили социальную однородность членов этой институции, заменив мировую карту знаний «академическим единением».

⁴² *Meinecke F. Ausgewählter Briefwechsel / L. Dehio, P. Classen (Hrsg.). Stuttgart: K.F. Koehler, 1962. S. 61 (письмо Ф. Мейнеке А. Дове, 23 мая 1915 г.).*

⁴³ *Diels H. Die Organisation der Wissenschaft. S. 653–654.*

МИФОЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ И ДИСЦИПЛИНА В РОМАНТИЧЕСКОЙ ALTERTUMSWISSENSCHAFT

В условиях относительно устоявшегося распределения компетенций между традиционными дисциплинами возникновение новых наук часто становится возможным не благодаря экстенсивному расширению предметного поля, а вследствие того, что под влиянием различных внутренних и внешних факторов (как содержательных, так и институциональных) происходит расшатывание сложившихся дисциплинарных демаркаций. Формирующееся в ходе этого процесса диффузное исследовательское пространство, в котором могут продуктивно взаимодействовать, взаимно влияя друг на друга, различные методы, служит своего рода экспериментальной площадкой, где опробуются новые концептуальные средства и стратегии. Именно в этой нише в ходе столкновения различных идейных и методологических установок подготавливается новая дисциплинарная дифференциация: традиционные дисциплины получают существенно новое определение вследствие обособления новых, а синкретическая дисциплина-«инкубатор», выполнив свою функцию, постепенно утрачивает самостоятельность и распадается. Применительно к истории естествознания XVIII–XIX вв. этот сценарий довольно хорошо изучен на примере натурфилософии¹. В истории гуманитарных наук того же периода он прослеживается наиболее ясно на материале мифологических штудий. Трансформации, произошедшие в первой четверти XIX в. в области изучения мифологической традиции, дают весьма интересный материал для осмысления логики формирования новых гуманитарных дисциплин.

В конце XVIII в. мифология выделилась в особое исследовательское поле, превратившись из вспомогательной историко-филологической дисциплины в самостоятельную область знания со своей специфической проблематикой. В рамках этой новой синкретической науки одновременно решались фило-

¹ См., например: *Lepenies W.* Das Ende der Naturgeschichte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978; *Engelhardt D. von.* Historisches Bewusstsein in der Naturwissenschaft von der Aufklärung bis zum Positivismus. Freiburg; München: Alber, 1979.

софские, теологические, исторические, филологические, естественно-научные, политические и эстетические задачи. За относительно краткий срок, в течение двух десятилетий, произошло не только предметное, но также методологическое и институциональное обособление мифологии как науки. Возникли конкурирующие исследовательские установки, получившие обоснование в программных текстах; оформились различные школы; наметился фонд общих проблем, служивших предметом постоянного обсуждения; сформировались компетентное сообщество и коммуникативная среда для ведения предметной полемики по этим вопросам (журналы, персонально-сетевые связи). Географическим локусом этой трансформации была прежде всего немецкая наука, но влияние происходивших там процессов сказывалось и на становлении мифологических штудий в других странах. Мифология постепенно стала превращаться из предметной области, пригодной для приложения гетерогенного исследовательского инструментария, в науку со своей специфической методологией и проблематикой.

Хорошим индикатором этих процессов могут послужить произошедшие за это время характерные изменения в семантике самого слова «мифология» (*Mythologie*). Если в популярных словарях начала XIX в. оно обозначало прежде всего некоторый предмет (учение древних о богах)², то в 1810–1830-е годы стало употребляться и как наименование предмета, и как наименование особой области знания³. Аналогичная двойственность семантики наблюдалась и в программных научных трудах: например, термины «мифическая история» (*Mythengeschichte*) в сочинениях Гёрреса или «символика» и «мифология» в работах Крейцера — это одновременно и предмет исследования (в случае Гёрреса — система мифологических представлений древнего Востока, а в случае Крейцера — совокупность древних символов и развившийся из нее комплекс мифологических представлений), и наука, изучающая этот предмет, его специфическое устройство и внутреннюю логику. К 1840-м годам второе значение явно стало преобладать⁴, а со

² См., например: Brockhaus Conversations-Lexikon. Bd. 3. Amsterdam: Im Kunst- und Industrie-Comptoir, 1809. S. 206: «Мифология: 1) баснословная религия и древнейшая история какого-либо народа, 2) в особенности баснословная религия и древнейшая история греков и римлян».

³ См., например: Damen-Conversations-Lexikon. Bd. 7. [o.O.]: Verlags-Bureau, 1836. S. 334–335: «Мифология — *учение (Lehre) и изучение (Kenntnis)* сказаний о богах, важная ветвь в культурной истории всех народов, корень, из которого произрастает древо истории народов» (выделено мной. — П. Р.).

⁴ См., например: Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. 5. Stuttgart: Verlag der J.B. Metzler'schen Buchhandlung, 1848. S. 336: «Мифология — *изучение мифов*, прежде всего греческих, каковые наиболее богаты и значительны по содержанию и объему, а затем и прочих народов, италийских, северных, восточных» (выделено мной. — П. Р.).

следующего десятилетия слово «мифология» уже определялось как обозначение хотя и молодой, но вполне самостоятельной науки⁵.

Однако уже к середине XIX в. постепенно стала нарастать тенденция к методологической дифференциации внутри самих мифологических штудий. Интерес к этимологии мифологических имен привел к интенсивному развитию сравнительных методов в лингвистике. Концентрация внимания на визуальных и пластических компонентах наследия древности, в противовес ориентации преимущественно на текст, характерной для теологии и классической филологии, послужила мощным катализатором формирования научной археологии. Изучение взаимосвязи мифологических нарративов и религиозных обрядов с опорой на аналогии между мифологической традицией древности и представлениями примитивных народов стало важной предпосылкой для возникновения этнологии. Лингвистические, археологические и этнологические методы, опробованные в области изучения мифологии, стали — по мере их совершенствования — приобретать относительную самостоятельность, а соответствующие области знания постепенно превратились в отдельные научные дисциплины.

В случае науки мифологии процесс распада синкретического единства «дисциплины-инкубатора» приобретал особый драматизм в силу двух важных обстоятельств. Во-первых, сам предмет исследования, архаический миф, рассматривался как нечто принципиально *иное* по отношению к научному знанию. Поэтому для представителей каждой из традиционных дисциплин, вовлеченных в дискуссии о природе мифа, определение своего отношения к мифическому материалу означало также и установление (явное или неявное) определенной нормы научности. Соответственно, и возможность рассмотрения мифологии как особой науки, и определение ее специфики зависели от того, на какую модель науки ориентировался тот или иной ученый⁶. Во-вторых, процесс внутренней дифференциации знания о мифологии протекал под постоянным давлением факторов, внешних по отношению к науке. Синкретический характер дисциплины существенно расширял возможности внедрения в нее различных культурно-политических проекций, тем более что осмысление мифологической традиции находи-

⁵ См., например: Herders Conversations-Lexikon. Bd. 4. Freiburg i. Br.: Herder'sche Verlagshandlung, 1856. S. 277–278: «Мифология (*греч.*) — учение о мифе, точнее, наука, занимающаяся извлечением (из источников), изложением, оценкой и объяснением мифов, учения о богах того или иного народа».

⁶ Ср.: Nicholls A. Das Spannungsverhältnis von Mythologie und Wissenschaft in Deutschland um 1800 und in Großbritannien um 1850–1900 // Wissenschaftsgeschichte als Begriffsgeschichte: Terminologische Umbrüche im Entstehungsprozess moderner Wissenschaften / M. Eggers, M. Rothe (Hrsg.). Bielefeld: transcript, 2009. S. 134–135.

лось в тесной связи с самыми болезненными идеологическими контроверзами эпохи — спорами о месте религии в обществе, о взаимоотношениях христианских конфессий, о взаимосвязи религии и политики, о роли разума в истории и т.п. В силу этих двух особенностей мифология как научная дисциплина оказалась пронизана многообразными силовыми напряжениями, что сделало ее внутренне нестабильной и обусловило сравнительно краткий срок ее существования в качестве самостоятельной науки.

1. Историко-культурные предпосылки формирования исследовательского интереса к мифу

Рост интереса к вопросам изучения мифологии внутри различных уже существовавших гуманитарных дисциплин на рубеже XVIII–XIX вв. был обусловлен множеством факторов, поставивших под вопрос традиционное самоопределение этих дисциплин и потребовавших нового осмысления принципов их разграничения, а также пересмотра методологического инструментария.

Для теологии главным вызовом стало стремительное развитие в XVIII в. методов исторической критики библейских текстов⁷. Выдвинутое просветительской теологией требование верификации библейского свидетельства путем сравнения его с другими (не только античными, но также и ближневосточными) историческими данными, постановка вопроса о возможности и способах реконструкции первоначальной устной традиции, лежавшей в основе писаного канона, поиск эффективных методов для установления относительной хронологии отдельных библейских книг и даже их частей и для выявления позднейших интерполяций — все это обострило исследовательский интерес к внебиблейским письменным источникам, отражающим описанные в Библии события. Решительно заявившая о себе в течение XVIII в. тенденция к историзации теологии неизбежно вступала в конфликт с характерной для раннепросветительского деизма ориентацией на редукцию религии к ее внеисторическому рациональному ядру. Поэтому развитие библейской критики, связанное с именами таких крупных немецких теологов, как Иоганн Шломо Землер⁸, Иоганн Давид Михаэлис⁹, Иоганн

⁷ См. об этом: *Epochen der Bibelauslegung*. Bd. 4. *Von der Aufklärung bis zum 20. Jahrhundert* / Н. Reventlow (Hrsg.). München: Beck, 2001. S. 175–227. Обзор основных тенденций в развитии библейской герменевтики второй половины XVIII в. можно найти в кн.: Schelling und die Hermeneutik der Aufklärung / Ch. Danz (Hrsg.). Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.

⁸ Подробный анализ творчества Землера см. в монографии: *Hornig G. Johann Salomo Semler: Studien zu Leben und Werk des Hallenser Aufklärungstheologen*. Tübingen: Niemeyer, 1996.

⁹ О месте Михаэлиса в истории библеистики см.: *Legaspi M.C. The Death of Scripture and the Rise of Biblical Studies*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Якоб Грисбах и Иоганн Готфрид Эйхгорн, обострило вопрос об историческом значении языческих религий.

Изменение научных стандартов в теологии оказало существенное влияние и на развитие классической филологии. Поворотным событием стало здесь осуществленное Фридрихом Августом Вольфом приложение методов исторической и текстологической критики, разработанных в библеистике, к исследованию текстов классической Античности, осуществленное в трактате «*Prolegomena ad Homerum*» (1795). Значение трактата Вольфа состояло не столько в оспаривании единства автора гомеровских поэм, сколько в постановке под вопрос нормативного статуса гомеровских текстов как поэтических произведений. Кроме того, тезис Вольфа о позднейшем формировании «Илиады» и «Одиссеи» на основе устной традиции ставил филологию перед задачей реконструкции этой традиции, что требовало систематического обращения ко внелитературным свидетельствам об античной истории и культуре. Вопрос о значимости мифической составляющей не только в гомеровских, но и в других античных классических текстах стал постепенно выдвигаться на авансцену классико-филологических дискуссий. Ключевой фигурой в развитии мифологических исследований в контексте классической филологии стал гёттингенский филолог Христиан Готтлоб Гейне (1729–1812)¹⁰. Именно он, опираясь на аналогию между свидетельствами античной мифологической традиции и сообщениями миссионеров об особенностях мышления первобытных народов, выдвинул представление о мифологии как специфическом типе мышления, соответствующем ранним стадиям развития человечества.

Одновременно мифология была совершенно по-новому тематизирована философией. Оживление философского интереса к мифу на рубеже веков было связано с несколькими различными тенденциями. Во-первых, в контексте философско-эстетических дискуссий радикальной переоценке подверглось понятие символа. Ключевую роль в этом процессе сыграли такие мыслители, как Иоганн Готфрид Гердер и Карл Филипп Мориц, а также Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, поместивший понятие символа в средоточие своей «Философии искусства». Превращение понятия символа в основной инструмент философского осмысления искусства повлекло за собой эстетическое переосмысление античной мифологии. Важным шагом на этом пути стало сочинение К.Ф. Морица «Учение о богах, или Мифологические сказания древних»¹¹, в котором античная мифология интерпрети-

¹⁰ О роли Х.Г. Гейне в становлении мифологической школы см.: *Heidenreich M. Christian Gottlob Heyne und die Alte Geschichte. München [u.a.]: Saur, 2006.*

¹¹ *Moritz K.Ph. Götterlehre, oder Mythologische Dichtungen der Alten. Berlin: bei Johann Friedrich Unger, 1791.*

ровалась как целостный «язык фантазии», обладающий своей внутренней логикой и представляющий собой особый замкнутый мир, совершенно обособленный от реальности. Опираясь на Морица, Шеллинг в «Философии искусства» развил представление о мифологии как необходимой материи всякого искусства.

Во-вторых, в контексте философских проектов послекантовского спекулятивного идеализма властно заявила о себе утопическая идея создания новой мифологии, впервые выдвинутая авторами «Первой программы системы немецкого идеализма» и подхваченная затем Ф. Шлегелем в «Речи о мифологии», включенной в «Письмо о романе», и тем же Шеллингом в заключительной части «Системы трансцендентального идеализма»¹².

В-третьих, важным фактором, стимулировавшим новый интерес к мифу в контексте философии, стало формирование спекулятивной историософии, ориентированной на поиск праисторического начала, связь с которым обосновывала бы духовное единство человечества. В начале XIX в. обсуждение вопроса о праисторическом начале развернулось под знаком поиска «древнейшей системы человечества» — единого, целостного мировоззрения древности, послужившего общим истоком различных древних культур.

Нетрудно увидеть, что во всех трех своих главных аспектах философское освоение мифа неизбежно вторгалось на территории смежных гуманитарных дисциплин. Поскольку предметом дискуссий становился вопрос о религиозной специфике древнего мировоззрения (было ли оно пантеистическим, политеистическим или монотеистическим и в каком историческом отношении друг к другу находились перечисленные типы религии), поиск «древнейшей системы человечества» приобретал теологическое измерение. Обсуждение же эстетического значения мифологии требовало пересмотра эстетических и других нормативных критериев, определявших состав классико-филологического канона.

Наконец, наряду с новыми методологическими проблемами, общим вызовом для всех гуманитарных наук стал начавшийся уже в середине XVIII в. мощный поток информации о древневосточных культурах. Инициированное Уильямом Джонсом¹³ изучение санскрита открыло европейским ученым обширный массив древнеиндийских источников¹⁴. Особенно широкий

¹² Об идее новой мифологии см. прежде всего: *Frank M. Der kommende Gott. Vorlesungen über die neue Mythologie*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982.

¹³ О творчестве Джонса см.: *Franklin M. Orientalist Jones: Sir William Jones, Poet, Lawyer, and Linguist, 1746–1794*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

¹⁴ Общий обзор основных этапов истории европейской индологии конца XVIII — первой половины XIX в. см. в кн.: *Windisch E. Geschichte der Sanskrit-Philologie und Indischen Altertumskunde*. В. [u.a.]: de Gruyter, 1992, в особенности S. 22–112. Ср. также: *Maillard Ch. L'Inde*

резонанс имели две книги: в 1801–1802 гг. Анкетиль-Дюперрон опубликовал двухтомный перевод фрагментов из Упанишад, а в 1809 г. в Лозанне вышла в свет чрезвычайно популярная компиляция Мари Элизабет де Полье «Мифология индусов»¹⁵, скомпонованная из заметок, полученных составительницей в наследство от своего родственника, полковника Антуана-Луи-Анри де Полье, увлеченного собирателя индийских древностей. Эти публикации вызвали к жизни серию вдохновенных попыток реконструкции древнеиндийской мифологии и религии. Среди наиболее значительных опытов такого рода — программное сочинение Ф. Шлегеля «О языке и мудрости индийцев» (1808)¹⁶, а также «Система индийских мифов» И.А. Канне (1813). Одновременно началось интенсивное освоение персидского материала: в конце XVIII в. все тот же Анкетиль-Дюперрон во Франции и Иоганн Фридрих Клейкер в Германии опубликовали обширные сочинения, посвященные Зенд-Авесте¹⁷, которые породили дискуссию о месте зороастризма в истории религий (в частности, активно обсуждался вопрос о возможности обнаружения авестийских влияний в Новом Завете).

Введение в научный и общегуманитарный обиход большого числа древневосточных источников и активное изучение восточных языков существенно повлияли на характер интереса к мифологическому материалу и на методы его изучения. Растущий интерес к сравнительному языкознанию привел к тому, что вопрос о «древнейшей системе человечества» оказался тесно связан с вопросом о возможности реконструкции единого праязыка, поэтому центральное место в изучении мифологии стало отводиться сравнительной этимологии (прежде всего это касалось имен собственных,

vue d'Europe: histoire d'une rencontre, 1750–1950. P.: Albin Michel, 2008. P. 21–130; *Halbfaß W.* India and Europe. An Essay in Philosophical Understanding. Delhi: Motilal Banarsidass, 1990. P. 54–120.

¹⁵ *Polier M.E. de.* Mythologie des Indous travaillée par Mme la Chnesse de Polier, sur des manuscrits authentiques apportés de l'Inde, par feu Mr. le Colonel de Polier, membre de la Société asiatique de Calcutta. T. 1–2. Roudolstadt: à la librairie de la court, 1809.

¹⁶ О трактате Шлегеля в контексте современных ему дискуссий вокруг санскритологии см.: *Tsoref-Ashkenazi Ch.* Der romantische Mythos vom Ursprung der Deutschen: Friedrich Schlegels Suche nach der indogermanischen Verbindung. Göttingen: Wallstein, 2009.

¹⁷ *Anquetil-Duperron A.H.* Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre: contenant les idées théologiques, physiques & morales de ce législateur / trad. en François sur l'original Zend, avec des remarques... par M. Anquetil du Perron. P.: Tilliard, 1771; *Kleuker J.F.* Zend-Avesta. Zoroasters lebendiges Wort, worin die Lehren und Meinungen dieses Gesetzgebers von Gott, Welt, Natur, Menschen, ingleichen die Ceremonien des heiligen Dienstes der Parsen u.s.f. aufbehalten sind. Riga: Hartknoch, 1776–1777; *Idem.* Anhang zum Zend-Avesta. Riga: Hartknoch, 1781–1783.

фигурирующих в различных мифологических традициях)¹⁸. Этимологические аргументы широко использовались для обоснования преемственности античной мифологии по отношению к индийской и персидской, которые расценивались как более древние; новую актуальность приобрел вопрос о египетском влиянии на античную культуру.

Далее мы попытаемся проследить логику взаимодействия различных факторов, определивших становление и распад мифологии как центральной научной дисциплины, изучающей наследие древности, на примере дискуссии, развернувшейся вокруг одной из наиболее значительных попыток теоретического обоснования и практической реализации установки на синтетическое освоение мифического материала — так называемой символики Г.Ф. Крейцера.

2. Мифология как филологическая субдисциплина

Вследствие того что существенно изменились как содержательное наполнение самого понятия древности, так и основания исследовательского интереса к давнему наследию и способы его освоения, перед необходимостью нового самоопределения оказалась, прежде всего, классическая филология — дисциплина, претендовавшая на привилегированный доступ к древности вообще и к мифологическому материалу в частности.

Серьезным вызовом традиционному самопониманию филологии стала и проблематизация самого понятия науки, осуществленная в начале XIX в. послекантовской идеалистической философией. Решающую роль здесь сыграли «Лекции о методе академических занятий» Ф.В.И. Шеллинга, где обосновывалась концепция органического единства знания. В предложенной им программе основой единства всех наук выступало познание абсолютно-го, эксплицируемое философией (отсюда тезис о фундирующем значении философии для всех научных дисциплин). Исходя из этой предпосылки, Шеллинг предпринял масштабную попытку переопределения всех основных научных дисциплин: отдельные лекции он посвятил математике, теологии, истории и юриспруденции, физике и химии, медицине и наукам о живой природе и, наконец, науке об искусстве.

Весьма примечательно, что место филологии в этой классификации оказывается двойственным. С одной стороны, филологическая подготовка рассматривается здесь как важнейшая пропедевтическая составляющая академического обучения; с другой стороны, филологическое исследова-

¹⁸ О специфике этимологических исследований в романтическом языкознании см.: *Willer S. Poetik der Etymologie: Texturen sprachlichen Wissens in der Romantik*. Berlin: Akademie-Verlag, 2003.

ние, поскольку оно имеет дело с произведениями поэтического творчества, рассматривается как самостоятельная научная дисциплина, относящаяся к сфере науки об искусстве. При этом, однако, и в качестве пропедевтической дисциплины, и в качестве отдельной науки филология утверждается в своей самостоятельной ценности, совершенно независимо от инструментальной или служебной функции.

Так, говоря о важности раннего изучения древних языков как подготовки к университетскому образованию, Шеллинг делает акцент, прежде всего, на развитии интеллектуальных и творческих навыков, необходимых для любого научного исследования:

Всякое научное образование [всякая способность к изобретению] состоит в умении познавать возможность, тогда как обыденное знание, напротив, постигает только действительное. <...> Изучение языка как истолкование, а прежде всего — как исправление чтения посредством конъектур, упражняет такое распознавание возможностей тем способом, какой сообразен мальчишескому возрасту...¹⁹

Вместе с тем, рассматривая филологию как самостоятельную научную дисциплину, Шеллинг подчеркивает, что она органически соединяет в себе спекулятивный инструментарий философии и пластическую выразительность искусства:

Просто знаток языка [Sprachgelehrte] именуется филологом лишь в силу злоупотребления; последний стоит на самой высокой ступени вкупе с художником и философом или, вернее, оба в нем взаимно проникают друг в друга. Его дело — историческая конструкция произведений искусства и науки, чью историю он должен постичь и представить [darstellen] в живом созерцании²⁰.

Впрочем, Шеллинг отмечает в заключительной лекции, что

ничто не преподается в университетах реже, нежели филология в вышеуказанном смысле, что неудивительно, поскольку она в такой же мере является искусством, как и поэзия, и филологом, как и поэтом, надо родиться²¹.

Нетрудно увидеть, что в шеллинговском обосновании самоценности классической филологии педагогические аргументы и представления об определенной дискурсивной норме научности, выраженные в понятии «исторической конструкции», причудливо переплетаются с рассуждениями в духе эстетики гения — именно этим объясняется характерная двойственность в понимании ее функций.

¹⁹ Schelling F.W.J. Sämtliche Werke. Abt. I. Bd. 5. Stuttgart; Augsburg: Cotta, 1859. S. 246.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid. S. 347.

Важно обратить внимание на то, что интерпретация филологии как дисциплины, органически соединяющей спекулятивно-философское познание идеальных структур и созерцание исторически конкретных связей, обеспечивается у Шеллинга решительным обособлением филологии от теологии и требованием очищения последней от груза историко-филологических аргументов. В девятой лекции, посвященной изучению теологии, Шеллинг довольно резко критикует современное ему состояние этой дисциплины, сетуя на засилье филологической рутины и скудость спекулятивного содержания:

Конечно, удобнее <...> составлять популярные учебники догматики и заниматься разбором слов по слогам и объяснением различных их значений, нежели постигать христианство и его учения в универсальном отношении. <...> Где палладиум правоты ищут в так называемом знании языков, там теология пала ниже всего и в наибольшей степени удалась от своей идеи²².

Таким образом, в предложенной Шеллингом программе классическая филология получила новый статус в результате своеобразного перераспределения компетенций, ранее принадлежавших смежным дисциплинам.

Появление подобных концепций, выдвигавшихся от имени философии, не могло не послужить импульсом к рефлексии для самих представителей классико-филологического цеха. Наглядное представление о том, насколько драматичным был процесс поиска новой дисциплинарной идентичности, дает сопоставление двух разных стратегий позиционирования классической филологии в качестве «науки древности» (Altertumswissenschaft), представленных в двух вышедших почти одновременно в 1807 г. (т.е. всего через четыре года после выхода в свет печатной версии «Лекций о методе академических занятий») программных сочинениях. В известном смысле эти два текста представляли два поколения классических филологов — старшее, воспитанное на просветительских и классицистических ценностях, и младшее, воодушевленное начавшейся романтической ревизией этих ценностей. Первое, озаглавленное «Представление науки древности в ее понятии, объеме, целях и ценности» и принадлежавшее перу упомянутого выше Фридриха Августа Вольфа, открывало первый номер основанного им совместно с Филиппом Бутманом в Берлине нового журнала под названием «Музей науки древности». Второе — «Академическое изучение древности вкратце с планом гуманистических лекций и филологического семинара в Гейдельбергском университете» — было составлено молодым профессором классической филологии, Георгом Фридрихом Крейцером, и содержало, как ясно из названия, обоснование и изложение учебного плана новообразованного

²² Ibid. S. 302.

филологического семинара, инициатива создания которого принадлежала автору. Главной задачей обоих сочинений было обоснование автономной значимости науки о древних языках и выдвижение преобразованной классической филологии на роль центральной дисциплины в изучении древней истории. Посмотрим, какие аргументы привлекались Вольфом и Крейцером для ее решения и как это повлияло на оценку ими места и значения мифологических штудий в системе гуманитарного знания.

Исходной точкой рассуждений Вольфа служила констатация того, что «сумма познаний, о которой мы здесь ведем речь», относится к

тем частям нашего знания, которые хотя и известны благодаря приносимой ими пользе и благодаря своим ученым возделывателям, но все же в своих богатых материалах, в различных способах рассмотрения и даже в переменчивых наименованиях выдают свои шаткие границы и неопределенный объем. <...> Ее называют то *филологией*, то *классической ученостью*, то *древней литературой*, то *гуманистическими штудиями* [Humanitäts-Studien], а иногда еще и совершенно чуждым ей и вполне современным именем *изящных наук*²³.

Последовательно отклонив все перечисленные обозначения, Вольф предложил заменить их термином «наука древности» (Altertums-Wissenschaft):

Всякое иное наименование, сколь бы ни было оно привычным у других народов Европы, имеет меньше оснований; одно слишком широко, другое слишком узко, и ни одно не исчерпывает целого²⁴.

Основанием для выбора такого обозначения служило, по мысли Вольфа, ближайшее определение того, что подразумевается под «древностью». Следуя устоявшейся традиции, заложенной еще «спором о древних и новых», Вольф указывал, что под древностью следует понимать не все наследие далекого прошлого, а прежде всего и преимущественно наследие греков и римлян. Важно, однако, обратить внимание на приводимые им основания такого ограничения. По мысли Вольфа, предметом изучения науки, направленной на познание прошлого, является жизнь народов, оставивших нам свидетельства своей деятельности. Однако не все народы представляют для научного исследования одинаковый интерес:

...различные причины <...> не позволяют нам поставить *египтян, евреев, персов* и другие нации Востока в один ряд с *греками и римлянами*. Одно из важнейших различий между теми и другими нациями состоит в том, что первые во все не поднялись или лишь на несколько ступеней поднялись над тем родом

²³ Wolf F.A. Darstellung der Altertumswissenschaft nach Begriff, Umfang, Zweck und Wert // Museum der Altertums-Wissenschaft / F.A. Wolf, Ph. Buttmann (Hrsg.). Bd. 1. Berlin: Realschulbuchhandlung, 1807. S. 10–11.

²⁴ Ibid. S. 30.

образования, который следует назвать *гражданским управлением* [bürgerliche Policingung] или *цивилизацией*, в противоположность *более высокой собственно духовной культуре* [höherer eigentlicher Geistescultur]. Первый род культуры <...> усердно занят условиями жизни, нуждающейся в безопасности, порядке и удобстве; <...> ему не нужна и им не создается *литература*, т.е. совокупность сочинений, в которых не отдельная каста, сообразно своим служебным целям и надобностям, но каждый представитель нации, доверяющий лучшим воззрениям, обнаружит свой вклад в просвещение современников. Последнее <...> до греков не происходило ни у одного народа, так что никто до них не приобретал той более высокой культуры — духовной, или литературной²⁵.

Таким образом, главным наследием древности в глазах Вольфа выступала античная литература, образовывавшая и поддерживавшая духовное единство нации. В соответствии с этой установкой, «науку древности» он определял как

совокупность [Inbegriff] познаний и сведений, знакомящих нас с деяниями и судьбами, положением дел в политике, учености, домашней жизни греков и римлян, с их культурой, языками, искусствами и науками, нравами, религиями, национальными характерами и способами мышления, так что мы становимся способны основательно понимать дошедшие нам от них произведения и наслаждаться ими, проникая в их содержание и дух, представляя себе наяву древнюю жизнь и сравнивая ее с более поздней и с теперешней²⁶.

Из этого определения видно, что Вольф рассматривал изучение Античности, прежде всего античной литературы, как средство воспитания национального самосознания: реконструкция и миметическое воспроизведение процесса органического становления первой исторически реализовавшей себя нации (греков), запечатленного в литературных памятниках, обуславливает формирование национального самосознания у тех, кто эти памятники изучает.

Связь классической филологии с задачами воспитания нации становится еще более очевидной, когда из заключительного раздела трактата мы узнаем, в чем же заключается, согласно Вольфу, ценность классических штудий и их последняя цель. Отклонив один за другим доводы, обосновывающие эвристическую ценность античного наследия для развития современных наук и пользу изучения древних языков для таких дисциплин, как юриспруденция, теология и языкознание, Вольф пришел к заключению, что «изучение древних языков являет себя в своеобразном достоинстве и в самых плодотворных своих тенденциях, если рассматривается независимо

²⁵ Ibid. S. 16–18.

²⁶ Ibid. S. 30

от всякого отношения и как *цель в себе*²⁷. Далее Вольф, совершенно в духе шеллинговских «Лекций о методе...», развивал соображения об изучении древних языков как средстве гармоничного развития душевных способностей: благодаря освоению древнегреческого и латыни мы «впервые начинаем ориентироваться в интеллектуальном мире», «получаем <...> обогащающий нас запас средств к разделению и соединению наших идей», усваиваем «методический дух», практикуем «не упражнение отдельных сил души», но «равномерную игру их всех»²⁸. Однако пропедевтическая ценность «науки древности» тоже имеет подчиненное значение, поскольку все перечисленное

открывает нам доступ к уже тут и там намеком указанной *последней цели* всех собранных воедино усилий, как бы к тому, что жрецы Элевсина называли *эпиптейей*, или созерцанием священного. <...> Цель же эта — ничто иное как *знание самого древнего человечества, каковое знание проистекает из обусловленного изучением древних памятников наблюдения органически развитого значительного национального образования* [National-Bildung]²⁹.

Таким образом, эстетически нормативное значение древних памятников, рассматриваемых как классические, было для Вольфа второстепенно. На первый план он выдвигал «эмпирическое знание человеческой природы, ее изначальных сил и направлений и всех тех определений и ограничений, которые эти силы получают — порой друг от друга, порой вследствие влияния внешних обстоятельств»; для достижения такого знания «взор наш постоянно должен быть направлен на великую нацию и на путь ее образования [Bildungsgang] в важнейших связях и отношениях»³⁰. Литература греков имеет для нас исключительное значение прежде всего потому, что «только здесь нам становится доступным зрелище органического формирования народа [das Schauspiel einer organischen Volksbildung]»³¹, созерцание которого делает возможным аналогичное образование современных наций, т.е. в случае Вольфа — нации немецкой³².

²⁷ Wolf F.A. Darstellung der Altertumswissenschaft nach Begriff... S. 91.

²⁸ Ibid. S. 104.

²⁹ Ibid. S. 124–125

³⁰ Ibid. S. 126–129.

³¹ Ibid. S. 138.

³² Как верно отметил Мишель Эспань, у Вольфа «[с]вязь между притязанием на национальную литературу и развитием классической филологии как эмансипировавшейся от теологии и даже секуляризованной науки делает возможным политическое и педагогическое обращение к античности в качестве основы немецкого образования» (*Espagne M. Voß, Wolf, Heyne und ihr Homerverständnis // Transformationen der Antike: Transformationen antiker Wissenschaften / H. Böhme, G. Toepfer (Hrsg.). Berlin: Walter de Gruyter, 2010. S. 154.*

В соответствии с изложенным пониманием задач «науки древности» Вольф разрабатывал и классификацию составляющих ее субдисциплин сообразно типам свидетельств, с которыми она имеет дело. Поскольку средоточием органического национального образования является литература, то вполне естественно, что «среди прочих наипервейшее значение имеют произведения письменности; они представляют главные средства для понимания и оценки всех остальных»³³. Поэтому субдисциплины, имеющие дело с анализом текстов (к ним Вольф относил *грамматику*, *герменевтику* и *критику*, а также «искусство стиля и композиции, как в прозе, так и в стихах, вкупе с основоположениями древней метрики»³⁴) образуют *органон* «науки древности».

В отличие от них, субдисциплины, имеющие дело с материальными памятниками или памятниками смешанного типа (монеты, предметы с надписями и т.п.), представляют собой «особые доктрины, ведущие к созерцанию древности»³⁵. Хотя для рассмотрения произведений искусства Вольф считал желательным создание теории искусства (*Kunstlehre*), в которой следовало бы, по аналогии с грамматикой, герменевтикой и критикой,

связно теоретически и практически разъяснить основоположения, сообразно которым работали художники древности и согласно которым мы, следовательно, должны рассматривать их творения, объяснять их и различать в них различия стиля и работы, более раннее или более позднее происхождение, подлинность и неподлинность, а также учения о символической, аллегорической и всякой иконологии искусства³⁶,

однако основное значение «особых доктрин» все-таки сводилось к собиранию и систематизации визуального материала для понимания и толкования текстов. «Письменные сочинения, — подчеркивал Вольф, — повсюду остаются главными источниками, к которым следует обращаться в первую очередь, и основами (*Basen*) всех филологических и археологических исследований»³⁷.

В число материальных субдисциплин (наряду с древней географией, хронологией, политической историей народов, географией и историей искусства, археологией, нумизматикой и эпиграфикой) Вольф включал также

³³ Wolf F.A. Darstellung der Altertumswissenschaft... S. 34–35.

³⁴ Ibid. S. 42. Здесь явно видно влияние шеллинговского представления о филологе как органическом единстве ученого и художника.

³⁵ Ibid. S. 49.

³⁶ Ibid. S. 74–75.

³⁷ Ibid. S. 49.

и мифологию. Миф рассматривался им, в духе концепции Гейне, как ранняя стадия развития национального сознания и, соответственно, как преддверие литературы:

В греческой мифологии <...> мы видим первые элементы человеческой истории и зародыши всего научного просвещения <...> они раскрывают круг способ мышления и представления становящейся нации на протяжении всего времени до возникновения собственно истории и философии, с каковым моментом примерно совпадает и момент возникновения художественной прозы³⁸.

Поэтому все мифологии, кроме греческой, служат только фоном, на котором должно ярче проступить своеобразие последней³⁹.

Совершенно иную стратегию обоснования самостоятельной ценности антиковедческих исследований мы находим в сочинении Крейцера. Отстаивая универсальный характер филологической учености, Крейцер, в отличие от Вольфа, не стремился обособить филологию от других дисциплин, но, напротив, всячески подчеркивал ее связь с другими науками (не только теологией, историей и юриспруденцией, но также и естествознанием, чье современное развитие, по его мнению, было обусловлено развитием наук в древности). «Филологии, — писал Крейцер — ...должна быть свойственна направленность во все стороны [allseitige Richtung], а тому, кто ее разрабатывает, — сознательное стремление максимально охватить все науки, отправляясь от нее как центра»⁴⁰. Не проводил он и резкой границы между пропедевтически-служебной функцией филологии и собственно научными задачами, проистекающими из нормативного значения классического наследия. «Наука о древности» (Wissenschaft des Alterthums) имеет, согласно Крейцеру, две стороны — «историческую (historische), поскольку научные знания новых произошли из научных знаний древних, и разработка наук постоянно в большей или меньшей степени обусловлена знакомством с греческой и римской древностью и обоими классическими языками», и «образцовую [exemplarisch[e]] <...> поскольку она дает нам понимание тех сочинений древних авторов, которые по форме и содержанию, по мысли и изложению суть вечные образцы [Muster] всякого мышления и всякой речи». Однако обе эти стороны не только совершенно равноправны и одинаково важны, но взаимно обусловлены и взаимно проникают друг в друга. Подхватывая шеллинговскую терминологию, Крейцер описывал на-

³⁸ Wolf F.A. Darstellung der Altertumswissenschaft... S. 58–59.

³⁹ Ibid. S. 57.

⁴⁰ Creuzer F. Das akademische Studium des Alterthums nebst einem Plane der humanistischen Vorlesungen und des philologischen Seminarium auf der Universität zu Heidelberg. Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1807. S. 11–12.

уку древности как такое знание, в котором противоположные принципы — «идеальный» и «реальный» — выступают в органическом единстве:

...Филология не является только идеальной или только реальной, но есть и то и другое сразу, так как в ней независимое от всякого опыта мышление и безначальный мир идей должны соединиться с суммой исторического знания в его самых что ни на есть обусловленных и индивидуальных данных. <...> Это самостоятельное сосуществование [Nebeneinanderseyn] исторического, или реального, и философского, или идеального <...> т.е. живой организм их соединения для одной цели, их взаимная помощь и взаимопроникновение, должны предноситься филологу во всяком его действии и руководить им как высшая идея его науки⁴¹.

Деятельное осуществление взаимопроникновения идеального и реального в мышлении филолога делает его способным к осмыслению их единства, т.е. к философии, считал Крейцер:

Идеальный дух филологии должен направлять семинариста во всех его устремлениях. <...> Поэтому, едва только перед ним забрезжит внутренний мир в своей вечной красоте, пусть обратится к изучению философии во всех ее разветвлениях. Материал и повод к упражнению способности мышления ему дадут логика и другие пропедевтические дисциплины <...> пока он не почувствует себя в состоянии сойти в глубины метафизики (идеальной философии и натурфилософии, а также учения об искусстве).

Заключительная фраза свидетельствует о том, что под философией Крейцер разумел совершенно определенную философскую модель: разделение на идеальную философию, натурфилософию и философию искусства недвусмысленно указывает на Шеллинга⁴².

Неудивительно, что при подобном взгляде на цели изучения античного наследия мифологический материал обрел в программе Крейцера совершенно иное значение, нежели у Вольфа. В дидактической системе субдисциплин, которую выстроил Крейцер, мифологии отводилось привилегированное место: непосредственно примыкая к методологическим дисциплинам (грамматике, герменевтике и критике), она являла собой своего рода парадигматический пример комплексного применения предоставля-

⁴¹ Ibid. S. 17–18.

⁴² В примечании к этому пассажи Крейцер подчеркивает, что и современным философам, со своей стороны, не следует пренебрегать реальноисторическими штудиями и «надменно отворачиваться от преданного усердия исследователя, будь то в отношении языков или в отношении фактов», и берет себе в союзники Шеллинга, ссылаясь на вступительные абзацы третьей и восьмой лекций о методе академических занятий и на «недавно опубликованные фрагменты его новых лекций» (имеются в виду, по-видимому, «Афоризмы к введению в натурфилософию» и «Афоризмы о натурфилософии» 1806 г.).

емого ими инструментария. Именно в изучении мифического материала в наибольшей чистоте реализуется то соединение идеального и реального, которое составляет существо «науки древности»:

Если здесь исследователь, с одной стороны, не пугается трудной задачи проследить, опираясь на свидетельства самих греков, разветвляющийся поток греческих сказаний в его различных направлениях и, насколько возможно, вспять вплоть до истока; с другой же стороны, способен поднять взор от фактов и дат к общему рассмотрению человеческой природы и обнаружить там корни всякого мифа и символа (даже и в более древней восточной форме), то он будет огражден как от пристрастия к слишком высоко воспаряющим гипотезам, так и от той приземленной позиции, которая все представляет только с одной стороны⁴³.

В такой интерпретации мифология из вспомогательной субдисциплины превращается в одну из фундирующих (показательно, что в намеченном Крейцером расписании лекционных курсов и практических занятий филологического семинара по семестрам лекции по мифологии открывали основной теоретический блок⁴⁴).

3. Концепция древней символики Ф. Крейцера и дисциплинарное обособление мифологии

Взгляд на цели и методы изучения древних культур, изложенный в «Академическом изучении древности» весьма сдержанно и осторожно, с оглядкой на институциональные ограничения, налагаемые университетской системой, был сформулирован Крейцером ранее в гораздо более решительной форме в текстах, ориентированных не только на университетскую корпорацию, но и на достаточно широкую внеуниверситетскую аудиторию. Первым программным высказыванием на эту тему стала его статья «Изучение древних как приуготовление к философии». Подобно «Представлению науки древности...» Вольфа, она открывала вышедший в 1805 г. первый номер нового журнала «Исследования» (Studien), основанного Крейцером совместно с теологом Карлом Даубом.

«Исследования» мыслились как экспериментальная площадка, где на материале наследия древности должны были проходить испытание самые смелые методологические новации в области гуманитарных наук. Вместе с тем журнал должен был служить форумом, где могли бы вступить в продуктивный диалог ученые, работающие с этим материалом в рамках раз-

⁴³ *Creuzer F.* Das akademische Studium des Altertums... S. 100–101.

⁴⁴ *Ibid.* S. 127.

личных дисциплин: наряду с классической филологией, в нем были представлены теология, правоведение, история, медицина и др. Важно и то, что наряду с научным в журнале первоначально предполагался постоянный поэтический отдел — так редакция «Исследований» отдавала должное шеллинговскому требованию единства науки и поэзии в изучении древности⁴⁵.

В «Изучении древних как приуготовлении к философии» Крейцер усматривал абсолютную ценность «науки древности» прежде всего в том, что освоение классиков «наделяет способностью подняться от конечного и случайного к бесконечному и необходимому и дает мужество уничтожить временное в вечном»⁴⁶. Достоинство классических штудий заключается, по его мнению, в совершенной отрешенности от всяких временных условий, в предъявляемом ученому требовании полностью абстрагироваться от окружающей действительности и погрузиться в мир чистых форм⁴⁷.

В соответствии с таким взглядом на изучение древности Крейцер, вполне в духе романтических концепций интегрального знания, связывал перспективы нового плодотворного развития этой дисциплины не с диверсификацией методов, но, напротив, с выработкой целостного, синтетического подхода к своему материалу:

...Изучение древних может, развивая вкус к вечной красоте [den Sinn für die ewige Schönheit aufschließend], стать органом воспитания, открывающего доступ к абсолютной идеальности [Bildungsorgan zur absoluten Idealität], только тогда, когда постигается в своем истинном средоточии и сохраняется свободным от односторонних направлений. <...> Только обусловленное самой идеей наук объединение этих различных методов дает истинный метод и большой стиль этой литературы, без какового она не может почитаться за истинную водительницу к высшей науке или к философии⁴⁸.

Обрести же свое «истинное средоточие» «наука древности» смогла

лишь благодаря тому, что в наши дни удалось помыслить античное в его идее как целое, исследовать его внутреннюю сущность в противоположность ро-

⁴⁵ Этот замысел не был реализован: в последующих номерах журнала поэтические тексты уже не печатались.

⁴⁶ *Creuzer F. Das Studium der Alten als Vorbereitung zur Philosophie // Studien / F. Creuzer, C. Daub (Hrsg.). Bd. 1. Frankfurt; Heidelberg: Mohr, 1805. S. 7.*

⁴⁷ Как остроумно заметил Ю.П. Швиндт, «по Крейцеру, абсолютная ценность изучения древности заключается, пикантным образом, в поощряемой им амнезии» (см.: *Schwindt J.P. Sinnbild und Denkform. Creuzers "Alterthumskunde" und die romantische Erbe der klassischen Philologie // Friedrich Creuzer 1771–1858. Philologie und Mythologie im Zeitalter der Romantik / F. Engelhausen, A. Schlechter, J.P. Schwindt (Hrsg.). Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur, 2008. S. 42).*

⁴⁸ *Creuzer F. Das Studium der Alten als Vorbereitung zur Philosophie. S. 7.*

мантическому и вывести отсюда законы его формирования; благодаря чему только и стало возможным отличить случайное в античных формах от существенного⁴⁹.

Таким образом, Крейцер видел главную цель изучения древности не в исторической реконструкции процесса становления великой нации, а в движении к праисторическому первоистоку, возведение к которому позволило бы связать воедино все формы древнего наследия. Основным вектор этого движения — преодоление различия между вербальным и визуальным и выявление общих законов смыслообразования, лежащих в основе всякой выразительности вообще (недаром, говоря о новейших достижениях немецких ученых в выявлении внутренней сущности античного в противоположность романтическому, Крейцер подчеркивал, что благодаря им «из творений обоих видов впервые были извлечены постоянные законы словесного и изобразительного искусства <...> и тем самым вообще стала возможной упомянутая идеальность рассмотрения всего античного»⁵⁰). Именно эта мысль была положена в основу выдвинутого Крейцером масштабного проекта преобразования «науки древности» в комплексную дисциплину, получившую наименование древней символики.

Центральную идею проекта Крейцер сформулировал в 1806 г. в трактате «Идея и проба древней символики», опубликованном во втором томе «Исследований». В отличие от полигисторского знаточества, которое Крейцер назвал здесь «слепой охотой за образами»,

формальная символика, добровольно отказываясь от безусловной полноты материала, скорее стремилась бы, подобно грамматике, систематически упорядочивающей возможные формы, т.е. законы языка, подчинить одному наивысшему закону законы высокого языка образов. Ее первейшая задача — отличать символ, как порождение нужды, от осмысленного произведения свободного образования⁵¹.

Нетрудно увидеть, что понятая таким образом символика, имеющая своим предметом общие и необходимые законы всякой образной выразительности вообще и законы взаимосвязи и взаимоперехода вербального и визуального выражения в частности, выдвинута Крейцером на роль базовой дисциплины, вокруг которой выстраивались все остальные субдисциплины, составлявшие «науку древности».

Хотя никакого развернутого изложения теоретических основ символики в «Идее и пробе...» не содержится, из предложенной автором в качестве

⁴⁹ *Creuzer F.* Das Studium der Alten als Vorbereitung zur Philosophie. S. 11.

⁵⁰ *Ibid.* S. 13.

⁵¹ *Idem.* Idee und Probe alter Symbolik // Studien. Heidelberg, 1806. Bd. 2. S. 225.

примера реконструкции символического значения образа Силена хорошо видно, что основная методическая процедура символики — это умозаключение от материала более позднего и более структурированного к состояниям и связям, возможно, более ранним и вместе с тем, возможно, более синкретическим. Сначала на основе разрозненных письменных свидетельств восстанавливается единый мифический нарратив, затем из него сублимируются идеи, и, наконец, то и другое используются как средства реконструкции символов, т.е. для интерпретации визуального и пластического материала.

Поскольку искомым способ смыслообразования рассматривался как изначальный и, соответственно, наиболее древний, Крейцер выдвинул тезис, согласно которому первоначально «эту науку издавна возделывали обширные области Востока», и лишь затем она «второй раз пустила корни на Западе, где, насаждаемая и пестуемая греками, принесла прекрасные плоды»⁵². Поэтому изучение древней символики не может избежать конфронтации с вопросом о связи греческой культуры с древневосточными, прежде всего с древнеиндийской. Следовательно, превращение символики в главный предмет исторического исследования является, по мысли Крейцера, и наиболее конструктивным ответом на вызов, брошенный классической филологии бурным развитием востоковедческих штудий. Эта мысль была развита им в опубликованной через год после «Академического изучения древности» статье «Филология и мифология в их постепенном развитии и взаимном отношении»⁵³. «Особенно теперь, — писал Крейцер, — когда с помощью индийской литературы пытаются приблизиться к источнику древнейшей религии, необходимо спросить: как далеко смогла продвинуться классическая филология, что она упустила и что должна сделать, чтобы больше, чем прежде, оказывать поддержку тем, кто изучает восточную мудрость, в их великом предприятии?»⁵⁴

Здесь же Крейцер обосновывал превращение мифологических исследований в главную задачу «науки древности», указывая на глубокую историческую связь между формированием филологии как особого типа интел-

⁵² Ibid. S. 226.

⁵³ Статья открывала первый номер «Гейдельбергских литературных ежегодников» — отданного в ведение Крейцера нового университетского журнала, критически освещавшего (главным образом в форме развернутых рецензий) новейшие тенденции в различных гуманитарных дисциплинах. Анализ содержания и программы «Гейдельбергских литературных ежегодников» и деятельности Крейцера в качестве их редактора см.: *Baar R. Creuzer und die Heidelbergschen Jahrbücher der Literatur // Friedrich Creuzer, 1771–1858. Philologie und Mythologie im Zeitalter der Romantik. S. 127–142.*

⁵⁴ *Creuzer F. Philologie und Mythologie, in ihrem Stufengang und gegenseitigen Verhalten // Heidelbergsche Jahrbücher der Literatur für Philologie, Historie, Literatur und Kunst. Jg. 1. 1808. S. 3–4.*

лектуальной практики и первыми целенаправленными герменевтическими усилиями по реконструкции древнейших религиозных учений. И то и другое он связывал с деятельностью александрийских ученых эпохи эллинизма, прежде всего — неоплатоников. Именно в силу исторической укорененности филологических методов в герменевтике мифологического предания «ни прежде, ни теперь филологу не может оставаться чуждой ни одна часть религиозного верования и действия, так что всякое возделывание области древней поэзии, искусства (Bildnerey), философии и истории, если оно не хочет остаться поверхностным, должно добраться до основания и прикоснуться к религии древнего мира (Vorwelt)». Впечатляющей попыткой реализации этого замысла стал вышедший в 1810–1812 гг. четырехтомный трактат Крейцера «Символика и мифология древних народов, в особенности греков», произведший настоящую сенсацию в гуманитарной науке своего времени.

В основу предложенного Крейцером масштабного обоснования не только самостоятельности, но и центрального значения мифологии как научной дисциплины, изучающей наследие древности, была положена гипотеза о перформативном характере первоначальной выразительности, довольно подробно изложенная в главах 1 и 3 первого тома трактата. Опираясь на Х.Г. Гейне, Крейцер выдвинул тезис, что древнейшее мировоззрение, выразителями которого были мудрецы и священнослужители, не могло быть облечено не только в дискурсивную, но вообще в сколько-нибудь дифференцированную повествовательную форму⁵⁵.

Согласно Крейцеру, «древний образ мысли еще не различает *создание чувственных образов* (Sinnbildnerei) для уха и для ока» (т.е. визуальное, акустическое и вербальное); всякое выражение в нем есть «показывание (Weisen), указание (Zeigen), *формирование для чувства* (Bilden für den Sinn)», общее его определение состоит в том, чтобы «*давать формы*»⁵⁶. Однако это формообразование не является произвольным, а подчинено необходимой имманентной логике, или, как выразился сам Крейцер, «принуждению», побуждающему человека, выражая любую общую идею, неизменно облекать ее в особенную и притом антропоморфную форму⁵⁷, вследствие чего в самом выражении проявляется напряжение между способом выражения и тем, что выражено⁵⁸. Такие «высшие выражения формирующей способно-

⁵⁵ *Creuzer F. Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen. Erster Band. Leipzig; Darmstadt: Leske, 1810. Bd. 2. S. 9–10.*

⁵⁶ *Ibid.* S. 17

⁵⁷ *Ibid.* S. 62

⁵⁸ *Ibid.* S. 66–67.

сти (*des bildenden Vermögens*)», в которых нашло воплощение изначальное мировосприятие, Крейцер предлагает называть *символами*⁵⁹. Поскольку «религии древности, в особенности политеистические, и творения древних поэтов, в особенности теогонии и космогонии», являются «памятниками этого образного способа мышления»⁶⁰, постольку понимание мифических свидетельств о древнейшем мировосприятии предполагает преодоление их нарративной формы и возведение ее к первоначальным символам:

Изначально слово и образ не отклонялись друг от друга, но, выросшие из одного корня, были обручены друг с другом и взаимно друг друга пронизывали. <...> Обратив внимание на дух древнейших мифов, мы будем вынуждены <...> утверждать, что если не все они, то большинство из них суть ничто иное как *высказанные символы*⁶¹.

Не вдаваясь в подробный анализ предложенной Крейцером теории символа и мифа, замечу, что терминология, в которой она сформулирована (в частности, определение символа как единства конечного и бесконечного, опора на различие сущности и формы и т.п.) недвусмысленно свидетельствует об ориентации Крейцера на философию тождества Шеллинга в целом и на концепцию символа, разработанную в «Философии искусства», в частности⁶². Опора на спекулятивно-идеалистическую концепцию абсолютного как тождества идеального и реального и на связанные с ней натурфилософские аргументы при осмыслении природы мифа не могла не привести Крейцера к убеждению, что все исторические мифологии, включая как античные, так и выросшие в своем значении древневосточные, не только формировались по единым необходимым законам, которым подчиняется логика символотворчества, но и имеют единый содержательный субстрат — древнейшую монотеистическую религию прачеловечества, которая сохранилась в них лишь фрагментарно и в искаженном виде и реконструкцию которой делает возможной символика как научная дисциплина. Тем самым программа Крейцера приобретала теологическое измерение.

⁵⁹ Ibid. S. 75.

⁶⁰ Ibid. S. 63.

⁶¹ Ibid. S. 109.

⁶² «Философия искусства», прочитанная Шеллингом в 1800–1801 гг. в Йене (а затем в расширенной версии в 1804–1805 гг. в Вюрцбурге), не была опубликована при жизни, однако имеются свидетельства о том, что в распоряжении Крейцера была слушательская запись этого лекционного курса, которой пользовалась также и Каролина фон Гюндероде, см.: *Günderode K. Sämtliche Werke und ausgewählte Studien. Historisch-kritische Ausgabe* / W. Morgenthaler u.a. (Hrsg.). Basel; Frankfurt a. M.: Stroemfeld, Roter Stern, 1990–1991. Bd. 3. S. 345.

Рассматривая гипотезу изначального прамоотеизма как основную предпосылку дисциплинарного обособления мифологических штудий и как главный инструмент мифологической герменевтики, Крейцер солидаризировался с другим влиятельным романтическим мыслителем, тоже вдохновленным шеллинговской философией и оказывавшим в течение первого десятилетия XIX в. мощное и неоднозначное влияние на идейную атмосферу Гейдельберга. Речь идет о Йозефе Гёрресе (1776–1848), чей трактат «Мифическая история азиатского мира», вышедший незадолго до первого тома «Символики...», послужил важным источником для концепции символики⁶³. В отличие от Гейне и Крейцера, опиравшихся преимущественно на антропологические аргументы, Гёррес с самого начала рассматривал понятие мифа в метафизическом и натурфилософском контексте⁶⁴. Формирование древнейшего мировоззрения рассматривалось им как один из ключевых моментов в процессе самооткровения божества, объединяющем природу и историю в единый процесс органического становления. Вот как начинался первый том «Мифической истории азиатского мира»:

Сперва Божество вышло из своих священных таинств, и откровением его были материя и зримый универсум. Первое слово — то, что оно сказало самому себе, окликая себя по имени; первые священные книги — те, что начертаны огненными письменами на небесах; и когда миры торжественно вышли на свои орбиты, хоры их пропели первые гимны сокровленной тайне, из коей они произошли. Последовало второе воплощение [Incarnation], чтобы еще больше обнаружить величие сущности. <...> Мистерии природы открылись в человечестве; что в великом творении оставалось темным и таинственным, должно было теперь раствориться в истории, чтобы всякая вещь смогла достичь ясного понимания целого. Так вся мировая история подчинена естественной истории. <...> Для того и возник мир, чтобы Божество, постигая себя целым и неделимым в своей собственной идее, могло понять и постичь себя, сообразно своей бесконечности, также и во всех своих частях...⁶⁵

⁶³ Солидарность с Гёрресом Крейцер подчеркнул демонстративным жестом, предпослав основному тексту первого тома «Символики...» пространный эпиграф из этого сочинения. Гёррес начал свою преподавательскую деятельность в Гейдельберге в качестве приват-доцента почти одновременно с Крейцером, и в период работы над «Символикой...» они находились в процессе интенсивного творческого обмена. Участвовал Гёррес и в «Исследованиях»: в третьем томе журнала был опубликован его трактат «Религия в истории» (Studien. Heidelberg, 1807. Bd. 3. S. 313–480).

⁶⁴ О специфике натурфилософии Гёрреса в ее отношении к другим проектам романтической натурфилософии, в частности, к философии Шеллинга, см.: *Lotito L. Die Allegorie des Überschwenglichen: Überlegungen über die Interpretation des Schellingschen Absoluten und des Kreuzerchen Symbols im Denken Görres' (1805–1810) // Görres-Studien. Festschrift zum 150. Todesjahr von Joseph von Görres / H. Dieckerhof (Hrsg.). München: Ferdinand Schöningh, 1999. S. 89–128.*

⁶⁵ *Görres J. Mythengeschichte der asiatischen Welt. Bd. 1. Hinterasiatische Mythen. Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1810. S. 1.*

Опираясь на представление о возникновении древнего человечества как непосредственном продолжении космогенеза, Гёррес выдвинул тезис о том, что историческое разнообразие религий — не что иное, как совокупность различных форм обнаружения, или, как он говорил, «рефлексов»⁶⁶ единой сущности. Из такого натурфилософски фундированного понимания древнего мифа вытекали у Гёрреса тезис о первоначальном единстве человеческого рода, лишь впоследствии разделившегося на расы и народы, и убеждение в единстве древнейшей религии: «В древнейшие времена было *одно* богослужение и *один* миф; была *одна* церковь, и *одно* государство, и *один* язык»⁶⁷. При этом единство древней религии обосновывалось у Гёрреса именно ее природным и, соответственно, бессознательным характером:

Человек в этот период пребывает в сомнамбулическом состоянии, словно в магнетическом сне, не осознавая своего сознания <...> его мышление — сновидения в глубоких нервных судорогах; но сны эти истинны, ибо они суть откровения никогда не лгущей природы юной, подвижной, неизолгавшейся жизни без греха и бесчиния⁶⁸.

По мысли Гёрреса, именно восстановление первичного бессознательного единства в новой форме, уже обогащенной различием, является главной целью при изучении свидетельств древнего мифа — таким образом, само мифологическое исследование предстает в его глазах как форма самопознания божества.

Интересно, что подобные спекулятивные построения служили Гёрресу критерием при оценке достоверности исторических источников, на основании которых можно осуществлять реконструкцию перворелигии. Руководствуясь принципом, согласно которому «все, что противоречит этому темному сновидческому характеру и пластическому естественному языку, должно без колебаний рассматриваться как творение позднейших времен», он выдвинул на роль наиболее древнего и наиболее близкого к прарелигии источника индийские Веда (имелось в виду, конечно, издание Упанишад, сделанное Дюперроном), а потому относительная древность античного материала измерялась для него, прежде всего, возможностью обнаружить в нем параллели с индийскими мифами. Вместе с тем Гёррес обосновывал правомерность реконструкции древних представлений на основании существенно более поздних (в частности, эллинистических) источников. Возво-

⁶⁶ Ibid. S. 4–5.

⁶⁷ Ibid. S. 11.

⁶⁸ Ibid. S. X.

дя «науку древности» к работам александрийских ученых (прежде всего — неоплатоников) и расценивая их творчество как один из первых шагов на пути к восстановлению единой перворелигии, он считал возможным рассматривать их построения как продукты научной реконструкции, осуществленной к тому же в условиях доступа к гораздо более полному корпусу эмпирических данных.

Уж если эти люди, — писал он, — окруженные сокровищами учености, документами всех народов и веков, которые нагромодили подле них Птолемеи, и живыми свидетелями прошлого, если они не говорили истины и не заслуживают доверия, то чем же может похвалиться новая ученость с ее жалкими фрагментами и немногими сохранившимися ключьями древнего изобилия?⁶⁹

Крейцер полностью перенял от Гёрреса главные методические принципы в освоении мифологического материала — установку на реконструкцию общего религиозного субстрата исторических мифологий, трактуемого как первоначальный монотеизм; представление о генетической связи между античными и древневосточными мифологиями; рассмотрение восточных параллелей как основного ключа к расшифровке древней символики; опору на неоплатоническую экзегезу античных мифов в реконструкции древних культов по позднейшим визуальным и вербальным свидетельствам. Из этих принципов вытекали и главные содержательные новации предложенной Крейцером интерпретации античности. Во-первых, центральное место в созданном им образе античной религии заняли мистериальные культы (орфизм, самофракийский культ кабиров, элевсинские и дионисийские мистерии), расцениваемые как существенно более древние, нежели олимпийская мифология, зафиксированная Гомером и Гесиодом⁷⁰. Во-вторых, возникновение этих культов Крейцер связывал с влиянием восточных культур — египетской, индийской, персидской. В-третьих, основным содержанием древнейшей монотеистической религии, следы которой, по мнению Крейцера, сохранились в мистериях, он считал концепцию эманации неоплатонического типа, которую предложил рассматривать в качестве «древнейшей системы человечества» и, соответственно, общей смысловой матрицы всех древних мифов. Такой взгляд на античную культуру предполагал пересмотр устоявшихся смысловых иерархий, а потому не мог не вызвать полемики.

⁶⁹ Görres J. Mythen-geschichte der asiatischen Welt. S. XXI–XXII.

⁷⁰ Э. Ховальд характеризует всю концепцию Крейцера в целом как результат «непомерной переоценки античных мистерий»; см.: Howald E. Der Kampf um Creuzers Symbolik. Tübingen: Mohr u. Siebeck, 1926. S. 16.

4. Спор о символике и кризис романтической мифологии

Сразу после выхода в свет «Символика и мифология...» Крейцера стала предметом ожесточенных дискуссий. Содержание, ход и характер этих дискуссий показали, что вопрос о целях и методах изучения мифологического материала не был только внутрицеховой проблемой отдельной научной дисциплины, но касался самых общих и принципиальных вопросов, занимавших гуманитарную мысль эпохи. Более того, споры вокруг символики Крейцера довольно быстро переросли рамки научной полемики и превратились в культурно-политическое противостояние, в котором приняли участие представители интеллектуальной элиты многих европейских стран. В соответствии с основными содержательными новациями Крейцера, дискуссия вращалась главным образом вокруг трех основных вопросов: 1) действительно ли мистерии представляют собой самую древнюю форму античной религии, 2) какова роль Востока в их формировании (даже если и признать их древность) и, наконец, 3) каковы были содержание и характер древнейшей единой религии (была ли она теистической или пантеистической, как соотносились в ней эзотерический и экзотерический компоненты и т.п.). По всем перечисленным вопросам в европейском гуманитарном сообществе началась стремительная дифференциация позиций, причем как сторонники, так и противники «Символики...» использовали для обоснования своих взглядов наряду с научными также религиозные, философские и политические аргументы.

Первый критический отклик на программу Крейцера последовал еще до публикации «Символики и мифологии древних народов». 23 января 1810 г. во «Всеобщей йенской литературной газете» — одном из самых влиятельных рецензионных печатных органов — была опубликована подписанная псевдонимом «G. St» краткая, но очень резкая рецензия на латинское сочинение Крейцера 1808 г. «Дионис»⁷¹, основные идеи которого легли впоследствии в основу интерпретации мистерий во втором и третьем томах «Символики...». В ней метод Крейцера был охарактеризован следующим образом:

Повсюду делаются умозаключения от случайного к всеобщему, от нового к древнему, без проверки взаимосвязи, без критики свидетельств. Чем более мы уверены в том, что автор <...> найдет одобрение и поддержку в *своем* кругу, тем более ощущаем необходимость, с нашей стороны, заявить, что нам его гипо-

⁷¹ *Creuzer F. Dionysus sive commentationes academicae de rerum bacchicarum orphicarumque originibus et causis. Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1808.*

тезы кажутся совершенно неосновательными, доказательства — несообразными, изложение — путаным, а часто и грамматически неправильным, и что его попытка основать систему, из средоточия которой прольется свет на темные религии древности, представляется совершенно неудачной⁷².

В 1811 г. последовала куда более обстоятельная, но не менее критическая рецензия того же автора на первый том «Символики...», где, в частности, об интерпретации Крейцером гомеровского гимна Деметре как свидетельства, подтверждающего глубокую древность элевсинских мистерий, говорилось:

Где нашел г-н Крейцер в этом гимне хотя бы малейший намек на мистическое? И кто вообще поручился ему в том, что эти празднества заключали в себе *изначальные* таинства? Напротив, все ведет к тому, что мистерии эти были ничем иным как богослужением пришедших чужаков. <...> Выдавать жреческие союзы за рассадники мудрости, а светобоязненных мистагогов за хранителей их поучений — значит унижать древность и насмехаться над историей⁷³.

Автором обеих рецензий, как мы знаем сегодня, был выдающийся филолог, Христиан Август Лобек (1781–1860). В целом критика Лобека опиралась на вполне разумные доводы, исходящие из определенных требований научности; однако вместе с тем, как показывает последняя фраза, приписываемое им Крейцеру пренебрежение этими требованиями он рассматривал как сознательный антирационалистический жест. Именно это обстоятельство дало Крейцеру повод воспринять выпад рецензента как выражение позиции целой партии или школы. Реагируя на критику в предисловии ко второму тому «Символики...», он подчеркивал, что в противостоянии между ним и анонимом «одна школа противостоит другой»⁷⁴. Отчасти такая реакция объяснялась тем, что Крейцер приписал авторство рецензии вовсе не Лобеку, а своему коллеге по Гейдельбергскому университету, профессору Фоссу.

Иоганн Генрих Фосс (1751–1826), один из крупнейших представителей старшего поколения классических филологов, прославившийся, прежде всего, как автор образцовых для своего времени немецких литературных переводов античных текстов (в том числе «Илиады» и «Одиссеи», а также произведений Гесиода, Феокрита, Биона, Проперция, Тибулла, Катутла и многих других классических авторов), был известен также и как воинствующий противник выдвинутого Х.Г. Гейне понимания мифологии. Еще в

⁷² Allgemeine Jenaische Literatur-Zeitung. 1810. Nr. 20. S. 154.

⁷³ Ibid. 1811. Nr. 96. S. 190 ff.

⁷⁴ *Creyzer F. Symbolik und Mythologie der alten Völker...* Bd. 2. S. VI.

1795 г. он выступил против Гейне и его популяризатора Мартина Готфрида Германна (1754–1822) с ядовитым памфлетом «Мифологические письма»⁷⁵, где подверг резкой критике попытку выделить в гомеровских текстах более древний мифологический пласт и интерпретировать соответствующие фрагменты «Илиады» и «Одиссеи» как выражение древних философов, запечатленных жрецами в образах. Поэтому неудивительно, что последовавшую в 1812 г. еще более негативную рецензию того же Лобека на второй и третий тома «Символики...» Крейцер тоже приписал Фоссу. В предисловии к четвертому тому «Символики...», вышедшему в 1812 г., он заклеил своего предполагаемого оппонента как одного из «тех, кто не признает ничего божественного, кроме фантазий греческих поэтов и ограниченной домашней морали»⁷⁶. Таким образом, обвинив противника в филистерской ограниченности, Крейцер, со своей стороны, придал дебатам вокруг символики идеологический характер, рассматривая их как выражение противостояния полярных ценностных установок.

Критическая оценка Лобека не помешала огромному успеху «Символики...»: лекции, которые Крейцер читал в Гейдельберге на основе этого труда, собирали полные аудитории, а сама книга принесла автору общеевропейскую известность. В Германии Крейцера, наряду с Гейне, поддерживали теологи Фридрих Шлейермахер и Иоганн Август фон Штарк (1741–1816), во Франции — крупнейший лингвист-востоковед Антуан Исаак Сильвестр де Саси (1758–1838). Пришла поддержка и из России: в 1812 г. 26-летний граф Сергей Семенович Уваров издал в Санкт-Петербурге написанный по-французски трактат «Опыт об элевсинских мистериях»⁷⁷, в котором солидаризировался с суждениями Крейцера об определяющей роли Востока в формировании античной культуры, так созвучными его собственным представлениям, сформулированным в вышедшем одновременно с первым томом «Символики...» «Проекте азиатской академии»⁷⁸. Впрочем, позиция Уварова в дискуссии была двойственной: поддерживая ориентацию Крейцера на восточные параллели к античной мифологии, он одновременно дистанцировался от его оценки элевсинских мистерий как древних и отрицал их догомеровское происхождение, присоединяясь в этом отношении к противникам «Символики...».

⁷⁵ *Vof J.H. Mythologische Briefe. Königsberg: Nicolai, 1795.*

⁷⁶ *Creuzer F. Symbolik und Mythologie der alten Völker... 1812. Bd. 4. S. V.*

⁷⁷ *Ouwaroff S. Essai sur les mystères d'Eleusis. St. Pb.: Pluchart, 1812.*

⁷⁸ *Eadem. Projet d'une Academie Asiatique. St. Pb.: Pluchart, 1810 (нем. пер.: Uvarov S. Ideen zu einer asiatischen Akademie. St. Pb.: Pluchart, 1811).*

В 1815 г. в дискуссию вступил Шеллинг, предложивший свою интерпретацию древних мистерий в трактате «О самофракийских божествах». Хотя сочинение изобиловало историческими, филологическими и лингвистическими аргументами, основная его интенция и, соответственно, тот главный пункт, в котором он возразил Крейцеру, были философскими. Шеллинг энергично поддержал и тезис Крейцера о прамонотеизме, и представление о древности мистерий, но поставил под сомнение утверждение о решающем влиянии Востока на античную религию. Однако самым существенным было то, что Шеллинг подверг решительной критике попытку Крейцера доказать, будто содержанием перворелигии было учение об эманации, противопоставив этой гипотезе собственную конструкцию «древнейшей системы человечества»:

...Представление о различных богах как просто истечениях единой первосилы, распространяющейся в них, точно в разных лучах, само по себе не является ясным и приемлемым для народа, да и не согласуется, в силу его неопределенности и безграничности, ни с определенностью и четкостью очертаний каждого отдельного образа, ни с конечным числом этих образов. Впрочем, и человеческому мышлению оно довольно чуждо. Ибо тот, кто однажды поднялся до мысли о единой высшей сущности, в отношении к которой все остальные природы [Naturen] суть лишь ее изливания, едва ли сделает эти истечения предметом почитания. <...> Таким образом, представление об эманации, по-видимому, не подходит ни для объяснения древнего учения о богах вообще, ни для объяснения самофракийского учения в особенности⁷⁹.

Критически отнесся Шеллинг и к попыткам Крейцера противопоставить эзотерический монотеизм мистериальных культов экзотерическому политеизму олимпийской религии.

Вместе с этим соображением в полемику вокруг «Символики...», наряду с философским, вводился и политический мотив: идеализированный образ древнего жречества, хранящего эзотерическую истину, ассоциировался с образами всевозможных тайных обществ, вследствие чего обсуждение вопроса о мистериях приобретало характер полемики об оценке роли подобных обществ в политической жизни.

В 1817–1818 гг. последовала обширная полемика между Крейцером и Иоганном Готфридом Якобом Германном (1772–1848), происходившая сначала в форме частной переписки, а затем по взаимному согласию преданная огласке в форме книги «Письма о Гомере и Гесиоде, главным образом о теогонии»⁸⁰. В отличие от Лобека, Германн, оспаривавший наличие в тек-

⁷⁹ Schelling F.W.J. Sämtliche Werke. S. 359–360.

⁸⁰ Creuzer F., Hermann G. Briefe über Homer und Hesiodus, vorzüglich über die Theogonie. Heidelberg: August Oswald's Universitätsbuchhandlung, 1818.

стах Гомера каких бы то ни было следов древних мистерий, в ходе обмена преимущественно филологическими аргументами всячески избегал категоричных суждений и последовательно выдерживал тон взаимного уважения. Поэтому Крейцер имел основания считать, что его концепция завоевала прочные позиции в научном мире. В 1819–1821 гг. он выпустил второе издание «Символики и мифологии...», которое, хотя и было объявлено как «полностью переработанное», сохранило практически неизменной общую концепцию сочинения и содержало коррективы и дополнения лишь в отношении ряда фактических деталей. Неожиданно для Крейцера это издание стало поводом к мощной атаке на символику, инициатором которой на этот раз действительно выступил Фосс и в которой культурно-политический мотив стал преобладающим.

В мае 1821 г. Фосс опубликовал во «Всеобщей йенской литературной газете» под прозрачным псевдонимом «V» (первая буква фамилии Voß) рецензию на первые три части «Символики»⁸¹, где в ироничной форме критиковал, прежде всего, чрезмерное доверие Крейцера к свидетельствам Гесиода и Геродота, сопровождая вполне конструктивную научную критику намеками на несамостоятельный и компилятивный характер сочинения и едкими комментариями по поводу его стилистики. Впрочем, не исключено, что этому первому публичному выпадку уже предшествовали устные контroversы во время лекций или в частных беседах⁸². Только так можно объяснить крайне болезненную и агрессивную реакцию Крейцера, распространившего в июне 1821 г. среди гейдельбергских профессоров и студентов памфлет под названием «Фоссиана», в котором, наряду с научными претензиями Фосса в адрес «Символики», упоминалось и предъявленное им Крейцеру прямое религиозно-политическое обвинение — обвинение в криптокатолицизме.

Основания для него Фосс сначала изложил в 1822 г. в жалобе куратору университета Цильнхардту (которую, впрочем, так и не отправил по назначению), а затем в 1824 г. в объемистом (408 страниц!) полемическом памфлете под названием «Антисимволика». Гёррес и Крейцер объявлялись представителями «партии мистических романтиков», которые под видом научных изысканий проповедуют теократический идеал (так Фосс проин-

⁸¹ Allgemeine Jenaische Literatur-Zeitung. 1821. Nr. 21 ff.

⁸² См.: Schwinge G. Creuzers Symbolik und Mythologie und der Antisymbolikstreit mit Voß // Friedrich Creuzer 1771–1858. Philologie und Mythologie im Zeitalter der Romantik. S. 77. В дальнейшем изложении хода полемики между Крейцером и Фоссом я опираюсь на представленную в этой статье детальную реконструкцию событий на основе новейших архивных исследований.

терпретировал развитое в «Символике...» представление о древнем жречестве как носителе изначальной эзотерической перворелигии).

Крейцер, — писал Фосс, — легко отдался мистическому влиянию романтиков, затем с 1805 г. — тайному учению паписта Гёрреса, чью солнечную религию начал излагать в 1810 г. в своей псевдомифологической символике, а с 1810 г. с головою ушел в тайновидение, приняв посвящение от иерофанта Штарка, известного всему свету гроссмейстера по распространению папистских мистерий⁸³.

Таким образом, в изображении Фосса Крейцер и его сторонники представляли одновременно псевдонаучными шарлатанами, врагами свободы слова, противниками Просвещения и тайными агентами католической церкви в протестантском университете. Чтобы дать представление о стилистике Фосса, сочетающей саркастическую риторику по образцу Лессинга и Гамана с болезненными фантазмами в духе демономании и теории заговора, приведу только один пример. Вот как излагает Фосс в жалобе Цильнхардту гёрресову теорию перворелигии:

...Религия из простого (кашмирского) праобиталища перебралась в роскошный индийский гигантский храм, оттуда через Персию в Вавилон, через сабейские земли в Мероэ и Египет, а через Финикию, Иудею, Сирию в Малую Азию, потом во Фракию, Грецию и Рим, пока не вселилась, наконец, в чудесные, глубокомысленные, искусные готические соборы. Достаточно ясно! Гёрресу мила теократия средневековья. <...> Согласно закону природы, полагает он <...> к роскошному древнейшему храмовому зданию *государство* пристроилось как *преддверие великого дома Божия*, а вся земля вокруг была одной посвященной Богу рощей. Вот что думает этот Гёррес о правителях и народе; и тот же нечистый поповский дух веет во всей папской символике⁸⁴.

В течение последующих нескольких месяцев после публикации «Анти-символики» Фосс развернул против Крейцера и его сторонников настоящую кампанию в церковной прессе, вследствие чего нарастающий скандал привлек внимание властей. После официального разбирательства 22 марта 1826 г. последовал рескрипт Тайного кабинета великого герцога, в котором выражалось неудовольствие по поводу начавшейся распри, подчеркивалось, что для великого герцога важнее всего благо и покой университета, его посещение студентами, сохранение земельной церкви и положительных истин веры (отсюда видно, что научное содержание спора администрацию вовсе не интересовало), и обеим сторонам предписывалось более ничего не печатать на спорную тему и вообще не высказываться по данному вопросу.

⁸³ *Vofß J.H. Antisymbolik. Stuttgart: J.B. Metzler'sche Buchhandlung, 1824. S. 344.*

⁸⁴ Цит. по: *Howald E. Der Kampf um Creuzers Symbolik. S. 40–41.*

28 марта 1826 г. рескрипт зачитан в сенате университета, после чего личный врач Фосса сообщил сенату, что его подопечный находится в столь плохом состоянии здоровья, что содержание рескрипта ему лучше не сообщать, а на следующий день, 29 марта, Фосс умер от сердечного приступа, так и не узнав об исходе инициированного им дела.

На первый взгляд может показаться, что в борьбе Фосса против Крейцера преобладают личные идиосинкразии. Однако материалы вышедшего уже после его смерти второго тома «Антисимволики»⁸⁵, где Фосс в той же карикатурной манере ведет генеалогию крейцеровой символики еще от работ Гейне, наглядно свидетельствуют о том, что характерное смешение в его филиппиках вполне научных аргументов с политическими и конфессиональными является симптомом архитектурного сдвига в гуманитарном мышлении эпохи. В ситуации противостояния масштабных культурных проектов, под представителей которых сознательно стилизовали себя Фосс и Крейцер и которые мы сегодня связываем с понятиями «Просвещение» и «романтизм», зыбкими становились и дисциплинарные границы между филологией, философией и теологией, и границы, отделявшие рафинированную ученую дискуссию от административного разбирательства с оргвыводами. Именно поэтому Фосс мог подавать свою борьбу против выдвижения Крейцером мифологии на роль базовой гуманитарной дисциплины как борьбу одновременно за рационалистический стандарт научности против дилетантизма, за свободу вероисповедания против прозелитизма и за просвещенную монархию против теократии. Слабая дифференциация различных смысловых уровней превратила мифологические исследования в арену идеологических и институциональных противостояний, приведших в итоге к масштабному переформатированию всего дисциплинарного поля гуманитарного знания, так что наука мифология в той форме, в какой мы еще застаем ее в кульминационный момент спора вокруг символики, прожила сравнительно недолго. Как верно заметил Кристоф Ямме,

около 1830 г. мифология и в институциональном отношении утратила свое место. До 1825 г. Крейцер и ему подобные были классическими филологами и археологами в одном лице; около 1830 г. из филологически ориентированной науки древности выделились такие дисциплины, как древняя филология, древняя история, археология, история искусства и в особенности история религии⁸⁶.

⁸⁵ *Voß J.H. Antisymbolik*. Т. 2. 1826. В книгу, наряду с текстами о Гейне и многочисленными заметками ко второму изданию «Символики...», вошел также полный текст «Фоссианы» Крейцера с саркастическими комментариями Фосса.

⁸⁶ *Jamme Ch. Gott an hat ein Gewand: Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-Theorien der Gegenwart*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991. S. 83.

С институционализацией археологии, изменением стандартов научности в исторических науках, развитием все более строгих методов в лингвистике, возникновением этнопсихологии, антропологии и этнографии мифология постепенно распалась на множество новых дисциплин, каждая из которых могла теперь предъявить свои притязания на освоение мифологического материала, так что уместить изучение мифа в рамки одной науки уже в третьей четверти XIX в. стало невозможно.

Однако едва ли можно согласиться с мнением Вальтера Ф. Отто, утверждавшего в 1956 г., что «спор, развязанный символикой Крейцера, нанес настоящей науке о мифе смертельный удар, от которого ей не суждено было оправиться вплоть до нашего времени»⁸⁷. Исследовательские импульсы, породившие романтическую мифологию, продолжали подспудно оказывать сильное влияние на формирование и развитие тех дисциплин, которые возникли в результате ее распада. Именно они во многом обусловили и логику дисциплинарного обособления истории религии и религиоведения⁸⁸, и главные тенденции развития немецкой традиции этнологии «от Бахофена через Фрезениуса к Йенсену»⁸⁹, и даже становление психоаналитических методов (в частности, именно «Символика...» Крейцера послужила решающим импульсом к формированию теории архетипов К.Г. Юнга⁹⁰), не говоря уже о весьма устойчивом влиянии на целую ветвь классико-филологических штудий, ведущую от раннего Ницше и Эрвина Руде через Германа Узенера и Вячеслава Иванова к Карлу Кереньи. Поэтому без обращения к истории романтической мифологии невозможно адекватное осмысление трансформации проблематики и методов гуманитарных дисциплин в XX в.

⁸⁷ *Otto W.F.* Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion. Hamburg: Rowohlt, 1956. S. 14. Ср. также: *Vries J. de.* Forschungsgeschichte der Mythologie. Freiburg, München: Alber, 1961. S. 306.

⁸⁸ На начальном этапе этого процесса решающую роль сыграл немецко-английский индолог Фридрих Макс Мюллер (1826–1900), предложивший теоретическое обоснование для дисциплины, обозначенной им сначала как «сравнительная мифология» (*comparative mythology*), а затем как «сравнительное религиоведение» (*vergleichende Religionswissenschaft*). См. об этом: *Kippenberg H.G.* Die Entdeckung der Religionsgeschichte: Religionswissenschaft und Moderne. München: Beck, 1997. S. 60–79.

⁸⁹ *Jamme Ch.* “Göttersymbole”. Friedrich Creuzer als Mythologe und seine philosophische Wirkung // 200 Jahre Heidelberger Romantik. (Heidelberger Jahrbücher 51) / F. Strack (Hrsg.). Berlin; Heidelberg; N.Y.: Springer, 2007. S. 488.

⁹⁰ См.: *Bishop P.* Analytical Psychology and German Classical Aesthetics: Goethe, Schiller, and Jung. Vol. 1: The Development of the Personality. N.Y.: Routledge, 2009. P. 116.

НАУКА РУССКИХ ДРЕВНОСТЕЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

В 1880 г. на страницах журнала «Древняя и новая Россия» увидела свет ученая переписка примерно полувековой давности. При выборе заголовка для этого собрания писем публикатор, Николай Платонович Барсуков, испытал затруднение, природа которого была раскрыта в редакционном «Обзрении», сопровождавшем текст последней части этой переписки:

...Лица, которые проходят перед нами в сообщенных г. Барсуковым материалах, не могут быть названы — или только археографами, или археологами, или палеографами, или библиографами, или этнографами; все эти -графы и -логи понемногу совмещаются в этих лицах, которые воплощают в себе «науку о Русской старине и народности». Эта очень длинная, описательная форма <...> выражает мысль, давно ожидавшую специального, технического термина¹.

Этот последний, как показалось редактору, и был найден Николаем Барсуковым, назвавшим свой материал «Русские палеологи сороковых годов». Редактор (видимо, Сергей Николаевич Шубинский) основывал свою уверенность на недавнем опыте «психологии народов» (*Völkerpsychologie*), о которой до 1860 г. никто не слышал, но которая со временем получила права гражданства в научном мире:

...Появился целый журнал, существующий и до сих пор («*Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft*», издаваемый Лацарусом и Штейнталем), и новая наука твердо установилась: ее *Begriff* [понятие] und *Wesen* [сущность], *Principien* [принципы] und *Elemente* [состав], и разнообразнейшие *Verhältnisse* [соотношения] уже известны всем образованным людям².

Случай с палеологией и палеологами представлялся ему даже более простым, поскольку здесь дело шло об установлении термина для «понятия готового, пробавлявшегося описательною формою».

Как мы теперь знаем, журнал «Древняя и новая Россия» просуществовал всего около года после упомянутой публикации, так и не став для «палеологии» Барсукова подобием той колыбели, в которой Мориз Лацарус и Хейман Штейнталь выпестовали свою *Völkerpsychologie*, а сам изобретатель нового термина сумел обойтись без него в принесшем ему вскоре широкую известность жизнеописании Михаила Погодина. Несбывшееся предска-

¹ [Б. а.] Обзорение // Древняя и новая Россия. 1880. Т. 16. С. 631.

² Там же.

знание, однако, не обесценивает важности приведенных из редакционного «Обозрения» наблюдений о несоответствующей с привычными дисциплинарными рамками безымянной науке, которая, несмотря на свой почтенный возраст (к числу ее представителей здесь были отнесены уже сошедшие к тому моменту со сцены В.М. Ундольский, И.П. Сахаров, О.М. Бодянский, А.М. Кубарев, П.М. Строев и М.П. Погодин), представлялась в 1880 г. еще вполне актуальной.

Одним из немногих, кто признал эвристическую ценность предложенного Барсуковым концепта, стал историограф истории древнерусского искусства Г.И. Вздорнов, который полагает, что термин «палеолог» удачно указывал на широту интересов Ивана Петровича Сахарова и его современников в условиях середины XIX в., когда «наука о древностях была еще слабо дифференцирована». Образцовым типом палеолога он называет Ивана Михайловича Снегирева³. Однако Вздорнов допускает и другую терминологию для анализа меж- и внутридисциплинарных коллизий той эпохи. Так, комментируя факт закрытия Общества древнерусского искусства, историк находит его закономерным, ибо «художественная археология еще не осознала своеобразия предмета своих исследований, и на искусство Древней Руси продолжали смотреть как на предмет археологической науки в целом». Приведенная им цитата из предисловия к «Вестнику» этого Общества, принадлежащая Георгию Дмитриевичу Филимонову и соединяющая «понятие о науке, задача которой состоит в исследовании древних памятников искусства и состоящих в связи с ним бытовых древностей», с именем археологии⁴, как будто свидетельствует о большей укорененности в истории именно этого последнего термина.

И действительно, как правило, в историографии судьба отмеченной Барсуковым общности исследовательских практик определялась историками дисциплин, корни которых обнаруживались в археологии первой половины XIX в. В числе первых, кто встал на этот путь, был современник Барсукова Александр Николаевич Пыпин, в 1880-е годы приступивший к работе над «Историей русской этнографии». Не ставя перед собой специальную задачу генеалогической реконструкции интересующей его научной области, он тем не менее указал в качестве одного из истоков этнографии археологию времен царствований Александра I и Николая I. К разряду этой науки им была отнесена и деятельность героев барсуковской публикации. Правда, признавался Пыпин, «в обыкновенных понятиях, археология счи-

³ Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX в. М.: Искусство, 1986. С. 50–51.

⁴ Там же. С. 127, 110.

тается чем-то столь далеким от живых изучений народности, что археолог является синонимом ученого грубокопателя, черствого и несимпатичного чудака», что отчасти объясняется сложной и малопривлекательной техникой этой науки. Однако в прошлом именно археологические труды, по его словам, «давали залог дальнейшего успеха исторической и этнографической науки»⁵. Такая «реабилитация» смежной дисциплины давала Пыпину возможность разбирать фольклористические работы И.П. Сахарова, К.Ф. Калайдовича, И.М. Снегирева и их коллег, называть которых этнографами ему, очевидно, представлялось анахронизмом.

Сходным образом обстоят дела в истории археографии. С.Н. Валк, изучая происхождение этой дисциплины, показал уже полвека тому назад, что в Западной Европе на протяжении XVIII в. главным ее конкурентом в качестве общей науки о памятниках древности была археология. В России же эти два термина оставались почти тождественными по значению даже в конце 1820-х годов, когда Павел Михайлович Строев впервые стал автором близкого к современному истолкования слова «археография»⁶. В.П. Козлов, проанализировав российские опыты классификации наук в конце XVIII — первой четверти XIX в., пришел к выводу, что в этот период в общественном сознании «сформировалось отчетливое представление о некоем вспомогательном комплексе знаний и об определенной совокупности работ, призванных создать возможности для собственно исторических сочинений». Этот комплекс знаний вскоре получил и устойчивое наименование: благодаря широкому распространению в России перевода книги Обена Луи Миллена «Руководство к познанию древностей», подготовленного Николаем Федоровичем Кошанским в 1807 г.⁷, термин *археология* на многие годы закрепился «для обозначения всей совокупности знаний о древностях самого разного характера, включая и письменные источники». И хотя Козлов считает важным подчеркнуть «оформление в общественной мысли России представления о “науке древностей” как особом классе исторических знаний, охватывающем разыскание, описание, издание и даже критическое изучение всех видов источников»⁸, в последующем изложении, по понятным

⁵ Пыпин А.Н. История русской этнографии: в 4 т. Т. 1. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1890. С. 222.

⁶ Валк С.Н. Судьбы археографии [1962] // Валк С.Н. Избранные труды по археографии. Научное наследие. СПб.: Наука. СПб. отд-ние, 1991. С. 225–230.

⁷ Милень Г.А. Руководство к познанию древностей / пер. Н.Ф. Кошанского. М.: Университетская типография, 1807.

⁸ Козлов В.П. Российская археография конца XVIII — первой четверти XIX в. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1999. С. 257–261.

причинам, его гораздо больше занимают те области этой науки, которые со временем стали предметом археографии.

Если отсутствие внимания к дальнейшим судьбам «науки древностей» со стороны исследователей прошлого этнографической науки, археографии и истории древнерусского искусства с того момента, как им удавалось распознать зачатки своей дисциплины, выглядит оправданным, то историкам собственно археологии приходилось давать ответ на вопрос: каким образом изучаемая ими наука пришла к своим нынешним очертаниям от тех обширных пределов, в которых она долгое время развивалась после выхода перевода «Руководства к познанию древностей» Миллена. Дальше других в решении этой проблемы продвинулся А.А. Формозов. В «Очерках по истории русской археологии» (1961) анализ становления археологических знаний в России привел его к выводу о том, что три основные части этих знаний имеют различный генезис: античная археология обязана своим рождением развитию искусствоведения, первобытная — эволюционной биологии, а средневековая археология «возникает в непосредственной связи с развитием исторической науки». В определении конечного рубежа этой гетерогенности Формозов не вполне последователен. Сближение трех областей археологии и установление единства их задач он датирует концом XIX — началом XX вв., отводя существенную роль в этом процессе уже советским археологам Московского университета 1930-х годов. Столь позднее превращение археологии в науку, видимо, смутило исследователя, и в заключении, вразрез с собственными предыдущими наблюдениями, он изложил более традиционное мнение о том, что «во второй половине XIX в. археология в России окончательно сложилась как самостоятельная область знания со своими особыми методами и задачами»⁹. Между тем отмеченную Формозовым разнонаправленность исследовательских устремлений в сфере археологии отнюдь не следует рассматривать как специфику российской ситуации того времени. Маргарита Диас-Андреу показывает, что не только в XIX, но и в XX в. существенные расхождения в трактовке археологии от страны к стране и внутри одной страны — между группами ученых, тяготеющих к различным академическим традициям, — были нормой¹⁰.

Вернувшись через несколько лет к этому вопросу, Формозов избавил от противоречия, правда, заплатив за это дорогую цену. Ко второй по-

⁹ Формозов А.А. Очерки по истории русской археологии. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 71–72, 109.

¹⁰ Diaz-Andreu M. A World History of Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 2.

ловине XIX в. теперь было отнесено окончательное утверждение в России самого термина *археология* и производных от него, что в известном смысле сводилось на нет признанием, что «применение термина оставалось широким и неопределенным». Ни археологические общества, охотно представившие страницы своих изданий для статей «сугубо исторического содержания», ни археологические съезды, на которых звучали доклады о письменных источниках, а также о памятниках живописи и архитектуры, не могли служить, по Формозову, образцами дисциплинарной чистоты. А открытый в Петербурге в 1877 г. Археологический институт, призванный готовить *архивистов*, только добавил путаницы в понимание и без того весьма неопределенного термина. Единственным светлым пятном в этом хаосе расплывчатых толкований интересующей нас дисциплины Формозов считал Императорскую Археологическую комиссию, где «археология понималась тогда в значении, близком к современному, как наука, исследующая памятники древности путем раскопок»¹¹.

После такой характеристики не вызывает удивления тот факт, что конструирование прошлого археологической науки почти неизменно ведется с постоянной оглядкой на этот современный критерий. Это относится даже к тем случаям, когда А.А. Формозов и его последователи отдают себе отчет, что изучаемые ими исследовательские программы XIX в. — скажем, З.Я. Долленги-Ходаковского или А.С. Уварова — не сводились к раскопкам¹². Чаще всего архаичные практики приводятся в соответствии с привычными дисциплинарными стандартами посредством перестановки акцентов. В самом деле, кто упрекнет историка археологии за то, что при анализе деятельности «археологов» XIX в. он уделит основное внимание их участию в раскопках? Прочие разделы прежней «науки древностей» при таком подходе находят свое истолкование либо как проявление междисциплинарных связей, либо как неизбежная, хотя и не слишком обременительная, дань постепенно изживавшей себя традиции. Временами, впрочем, расхождение между современными дисциплинарными рамками и реальным прошлым археологии предстает в работах, выполненных в этом ключе, во всей своей принципиальности. Это случается, например, когда исследователь истории петербургского Археологического института выражает серьезные сомнения в соответствии рассматриваемого учреждения своему названию, при том, что сам он объясняет происхождение его имени «почти общеприня-

¹¹ Формозов А.А. История термина «археология» // Вопросы истории. 1975. № 8. С. 217.

¹² См., например: *Он же*. Очерки по истории русской археологии. С. 63–66; *Лебедев Г.С.* История отечественной археологии, 1700–1917. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. С. 94–99.

тым в то время пониманием археологии как комплекса вспомогательных исторических дисциплин, исследующих различные виды источников»¹³.

Одна из немногих работ, избегающих подобного противоречия, — исследование А.С. Смирнова, в котором рассматривается участие власти в становлении институтов археологического знания в России XIX — начала XX в. Трудно не согласиться с автором, который полагает, что для целей его работы оправдано использовать термин «археология» в понимании исследователей второй половины XIX в. В то же время, в силу естественной сосредоточенности А.С. Смирнова на политическом дискурсе, в тени остается проблема разногласий среди ученых того времени по поводу дисциплинарных границ археологии и самих критериев, с помощью которых эти границы определялись¹⁴.

Словом, существующая историография археологии в большой степени подвержена той же телеологии и связанным с ней ограничениям в изучении «науки русских древностей» XIX в., которые, как мы видели, проявились в попытках реконструкции истоков археографии, этнографии и истории древнерусского искусства. Эту науку, некогда имевшую немало приверженцев, современные исследователи, вольно или невольно озабоченные проблемами легитимности границ собственных дисциплин, готовы рассматривать, самое большее, как рыхлый конгломерат разнородных элементов, изначально лишенный возможности иного будущего, кроме как распастись на части под воздействием прогрессирующей дифференциации и специализации исторического знания. Те же исследовательские практики «науки древностей», которые вошли в состав дисциплин, выросших на ее развалинах, охотно апроприируются их историками и тем самым удревяют их традиции.

Настоящая глава не претендует на полноценное освещение всех темных моментов запутанной дисциплинарной истории, в центре которой — наука русских древностей первой половины XIX в. Еще менее она преследует цель пересмотреть сложившийся к настоящему времени консенсус «научного сообщества» по вопросам междисциплинарного размежевания. Ее задача гораздо скромнее — дать возможность услышать голоса и аргументы тех,

¹³ Тихонов И.Л. Институт мало соответствующий своему названию (Санкт-Петербургский археологический институт (1878–1922 гг.)) // Мавродинские чтения. По итогам Всероссийской конференции, 23–24 апреля 2002 г.: сб. ст. / под ред. Ю.В. Кривошеева, М.В. Ходякова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 301.

¹⁴ Смирнов А.С. Власть и организация археологической науки в Российской империи (очерки институциональной истории науки XIX — начала XX в.). М.: Институт археологии РАН, 2011. С. 10–12.

кто отстаивал научный статус этой археологии, так непохожей на современную, со времен первых ее шагов в России до первой попытки ее институционального оформления.

1. «Историк и Археолог весьма великое имеют между собою различие»

Публикация на русском языке милленова «Руководства к познанию древностей» оказалась в высшей степени созвучной интеллектуальным запросам образованной публики начала XIX в., что, по всей видимости, и предопределило первый успех трансфера «археологии» в Россию. Наиболее заметные индикаторы этих запросов — начало работы Н.М. Карамзина над «Историей государства Российского», почти сразу переставшей быть секретом для любознательных современников; организованное при посредничестве А.Н. Оленина ученое путешествие К.М. Бороздина и А.И. Ермолаева с небывалым прежде акцентом на изучении памятников старины; первые занятия Румянцевского кружка наряду с упомянутым переводом Н.Ф. Кошанского — укладываются в рамки одного десятилетия, хронологически совпавшего с эпохой наполеоновских войн, которая заставила по-новому взглянуть на историю как на средство легитимации существовавших тогда европейских политических режимов.

Потребовалось немало времени, прежде чем все эти новые практики, инициированные разными лицами и в разной степени контрастировавшие с привычными для русской ученой публики схемами восприятия форм исторического знания, обнаружили между собой точки соприкосновения и обрели подобие иерархии. Если о центральном элементе этого изменившегося историографического пространства — «Истории государства Российского», — по крайней мере до конца 1820-х годов возникало мало разногласий, как в силу исключительно высокой литературной репутации ее автора, так и по причине традиционности выбранных Карамзиным приемов историописания, то стартовые позиции последователей археологии в формулировке Миллена были далеко не столь выигрышны. На это указывает судьба самой ранней попытки создания обобщающего свода сведений, относящихся к этой области знаний, «Опыта повествования о древностях русских», предпринятого харьковским профессором Гаврилой Петровичем Успенским: только второе его издание в 1818 г. (первое издание состоялось в 1811–1812 гг.), обратило на себя внимание критики.

«Предупреждение» к труду Успенского было лишено претенциозности. Заявление об авторстве первого сочинения о древностях на русском языке сопровождалось здесь извинениями за недостатки, неизбежные во всяком

новом деле, оригинальность в выборе предмета была сведена к стремлению изобразить «нравы, обыкновения и учреждения собственных наших предков», а не довольствоваться описанием «народов, отдаленных от нас неизмеримостью, так сказать, пространства и времени». Откровенен был Успенский и в рассказе о характере своих изысканий — основной упор он делал на извлечения из сочинений отечественных и иностранных авторов, которые оказались ему доступны¹⁵. Определяя место «Опыта...» в истории русской фольклористики начала XIX в., М.К. Азадовский находил самой примечательной его стороной группировку собранных Успенским материалов, особенно в первой части его труда¹⁶. Эта часть была посвящена «обычаям россиян в частной их жизни», тогда как во второй говорилось об «обычаях россиян в гражданском их состоянии и правительстве». В обеих частях материал был разбит по тематическому принципу, что, как мы увидим, на долгое время стало чертой, конституировавшей отличие археологических трудов от исторических, содержание которых по-прежнему строилось в соответствии с хронологией.

Анонимный рецензент, выступивший на страницах «Сына Отечества», оставил без внимания и новизну основного замысла «Опыта...», и апелляцию его автора к снисходительности критиков, помещенную в «предупреждении». Он отказался включить его в число «хороших сочинений по части Истории, Древностей, Словесности, Географии нашего отечества», появившихся в последние годы, «не говоря уже о бессмертном творении почтенного Историографа». Столь суровый приговор критик обосновал, изложив требования, соблюдение которых обязательно, на его взгляд, для «Историка и вообще занимающегося Древностями». Резюмирует этот внушительный по размерам перечень требований следующая максима:

Вся обязанность Историка или Археолога заключается единственно в том, чтобы взяв известие из коренных, неиспорченных источников, представить предмет, им описываемый, в *настоящем* его виде без всякой примеси стороннего, и показать ход или главные перемены, коим по временам был он подвержен.

Отступление от этого правила влечет за собой важнейшие недостатки в труде археолога:

Вместо того чтобы дать нам ясное и по возможности полное понятие об отечественных Древностях в системе и по вековым периодам, и притом основанное на строжайшем исследовании источников, без всякого разбора собрано в

¹⁵ Успенский Г.П. Опыт повествования о древностях русских. Ч. 1. Харьков: Университетская типография, 1818. С. VI–VIII.

¹⁶ Азадовский М.К. История русской фольклористики: в 2 т. Т. 1. М.: Гос. уч.-пед. изд-во Мин. просв. РСФСР, 1958. С. 136–137.

нем все, встречавшееся Автору: драгоценные известия Нестора неотличены от известий баснословного Синописа, и вымышленные сказки от справедливейших сказаний новейших Историоиспытателей.

Успенский, по мнению рецензента, после этого должен был «хотя в скобках прибавить: собрано из достоверных и недостоверных источников». Критика не была голословной: не претендуя на создание исчерпывающей картины промахов Успенского, анонимный автор отметил и его излишнюю доверчивость в отношении известий Татищева, не подтверждаемых текстами ни летописей, ни актов, и необоснованно смелые умозаключения о будто бы сохранившихся песнопениях в честь славянских богов, и огромную зависимость качества частей «сборника», как он именуется труд Успенского, от степени обработанности его предшественниками материалов, которыми тот пользовался. При разборе слабостей «Опыта...» не всегда рецензенту удавалось воздерживаться от иронии, а комментарий в связи с одним из мнимых открытий Успенского («Посудите! у нас есть гимны в честь Славянских божеств, а мы о них до сих пор и не знали!») и вовсе звучит саркастически. Досталось и слогу автора «Опыта...», который был сочтен нелицеприятным критиком «тяжелым, нечистым и мало обработанным». Единственную пользу от сочинения Успенского рецензент видел в том, что эта книга

будет черновыми записками (*brouillons*) для настоящих Древностей Русских. Все возможные известия в ней собраны: стоит только приняться за перо, и, вооружась Критикою, выбрать из них достовернейшие, обработать, и вместо огромного тома в восемьсот страниц, представить публике книжку страничек в сто, полную по системе, ясную по чистоте слога — и тогда труды его увенчаются самым блистательным успехом¹⁷.

Впрочем, простота предложенной рекомендации вряд ли могла обнадежить автора «Опыта...» на тот счет, что именно его придирчивый аноним считал достойным претворить данный совет в жизнь.

Можно спорить о том, позволял ли литературный этикет той поры Успенскому уклониться от ответа на подобную критику, но сарказм рецензента вкупе с его анонимностью, вне всякого сомнения, сильно раззадорили харьковского профессора и вызвали с его стороны весьма едкий ответ на страницах «Украинского вестника». Он не стал спорить с оппонентом «ни о должности совершенного Историографа, ни о достоинствах Археолога», заметив ему между делом: «...все свои правила писали вы более для Историка, нежели для Археолога или писателя Древностей, — а Историк и Археолог весьма великое имеют между собою различие». В чем именно оно состоит —

¹⁷ Строев П.М. Рецензия на кн.: Успенский Г.П. Опыт повествования о древностях Русских // Сын Отечества. 1818. Кн. 31. С. 230–235.

Успенский не потрудился указать, сразу переключившись на формулировку ответного поучения о правилах, которыми должен руководствоваться «рецензент или критик», и которые, как нетрудно было догадаться, автор заметки в «Сыне Отечества» опрометчиво нарушил. Среди них был и совет «не браться критиковать того — чего сам или совсем не знает, или знает только поверхностно; также остерегаться неуместных язвительных и вовсе неприличных насмешек». Очевидно, археолог был настолько уязвлен тоном рецензии, что иногда, отвечая на прозвучавшие замечания, он переходил на личность, то причисляя своего критика к разряду бумагомарателей, то подозревая в нем большую склонность «хоть как-нибудь да *писать*, нежели *читать*». Что же касается возражений по существу, то Успенский считал надежным укрытием от них авторитет тех авторов, у кого он заимствовал свои материалы, простосердечно признаваясь:

Я <...> никак не предполагал, дабы кто-нибудь ничем еще со стороны познаний в отечественной Истории себя не отличивший, вздумал заставлять публику верить больше ему, нежели почтенным и по сей части заслуженным мужам Татищеву и Эмину¹⁸.

Увлекаясь принижением своего неизвестного оппонента, Успенский, несомненно, шел ва-банк, рискуя встретить в лице автора рецензии отнюдь не того новичка в ученой деятельности, которому он адресовал свои контраргументы. Так и произошло: не замедливший с ответом критик на этот раз указал свое имя. Это был П.М. Строев, участник Румянцевского кружка, успевший, несмотря на молодость, приобрести известность своими учеными трудами, среди которых было и «Краткое обозрение мифологии славян российских» (1815), дававшее ему право выступать с позиции знатока. Тем самым почти все доводы Успенского существенно теряли в весе, хотя Строев и не отказал себе в удовольствии лишний раз отметить слабости своего чересчур самонадеянного противника, которого теперь откровенно третировал как всего лишь собирателя. Он заметил, что сам он проявил в рецензии куда большую щепетильность и Успенского «не назвал ни *компилятором*, ни *вралем*, ни *безграмотным*, даже творения его не смел назвать *бестолковым*». Помимо прочего, Строев коснулся и того различия между историком и археологом, которое показалось автору «Опыта...» «весьма великим». В отличие от оппонента, он попробовал установить точки соприкосновения и расхождения между этими двумя родами ученой деятельности:

И Историк, и Археолог равно испытатели Древности. Первый описывает бытия; последний представляет обыкновения, образ жизни, просвещение. Следо-

¹⁸ Успенский Г.П. Ответ сочинителю рецензии на книгу: Опыт повествования о древностях Русских // Украинский вестник. 1818. № 9. С. 377–385.

вательно главные обязанности у них одинаковы; есть только некоторые частные для каждого правила.

Дальше следовали рассуждения Строева о том, что критика столь же необходима археологу, как и историку: «Без сего они будут не иное что, как сказочники»¹⁹. Нет нужды уточнять, к какому из этих разрядов Строев относил Успенского. Примечательнее то, что при всем скепсисе в отношении «критических» способностей своего оппонента, подспудно он соглашался, что тематически его труд вполне соответствовал дисциплинарным рамкам археологии, а не истории.

Молчание Успенского, последовавшее за «Ответом» Строева, можно было бы принять за признание им внутренней несостоятельности собственной концепции археологии. Однако не всегда именно наличие четко сформулированных оснований свидетельствует о перспективности опирающихся на них исследовательских стратегий. Какой бы легкой ни казалась Строеву задача превращения «черневых записок» Успенского в «настоящие Древности Русские», еще полвека спустя профессор Петербургского университета Михаил Иванович Сухомлинов, рассуждая на Первом археологическом съезде о проблемах преподавания этой дисциплины в России, назвал «Опыт повествования о древностях русских» «единственным доселе у нас учебником русской археологии»²⁰.

Трудности, встающие порой перед исследователем при определении грани между «бытиями» и «обыкновениями», говоря языком Строева, и непривычность в применении к вещественным и фольклорным памятникам критических приемов, выработанных в ходе изучения письменного наследия, — все это не только усложняло концептуализацию «древностей» в качестве научной дисциплины, но и позволяло включать в ее размытые границы самые разнообразные практики, не особенно заботясь о том, чтобы они не противоречили друг другу. Ксенофонт Полевой в своих «Воспоминаниях» запечатлел горячий спор между В.Г. Анастасевичем и Г.А. Розенкампом, очевидцем которого ему довелось стать, судя по всему, в конце 1820-х годов. Спор шел о том, можно ли считать известного тогда собирателя древностей и знатока филиграней купца Ивана Петровича Лаптева археологом. Случайно или нет, в памяти мемуариста отложился забавный контраст темпераментов двух спорщиков, но не их аргументация²¹.

¹⁹ Строев П.М. Ответ сочинителю «Опыта повествования о древностях русских» // Сын Отечества. Кн. 48. С. 115–130.

²⁰ Труды Первого археологического съезда в Москве: в 2 т. Т. 1. М.: Синодальная типография на Никольской улице, 1869. С. XLVII.

²¹ Полевой К.А. Записки // Исторический вестник. 1887. Т. 28. С. 311.

«Речь о пользе отечественной археологии», которую произнес перед Обществом истории и древностей российских его председатель, попечитель Московского учебного округа генерал-майор Александр Александрович Писарев 11 марта 1827 г. еще более наглядно демонстрирует препятствия, стоявшие на пути превращения «науки древностей» в полноценную дисциплину. Открывающие ее знаменитые слова Карамзина об истории как священной книге народов из предисловия к его главному труду давали слушателям и читателям понять, что ее автор не склонен был возводить перегородку между археологией и более традиционными формами историографии. Отечественная «наука древностей» представлена в речи как «частная», поскольку она ограничена пределами одного государства; «общая» же «объемлет все Государства вместе». Эта незамысловатая игра в нейтральные категории «общего» и «частного» довольно удачно маскировала культурный трансфер, в формате которого предстала археология на страницах «Опыта повествования о древностях Русских» еще в предыдущем десятилетии. «Историческая критика», которая не без участия Строева в 1820-е годы стала почти общим местом в ученой литературе, не была забыта и этим «мужем, стяжавшим сугубый венец Марса и Минервы», как называл просвещенного генерала Василий Анастасевич²²: именно она составляла у него первое «подразделение» археологии. Но при этом, вопреки всем инвективам Строева, Писарев «не обинуясь» занес труд Успенского в разряд «немаловажных опытов некоторых наших достойнейших критиков-Историков». Два других «подразделения», которые председатель ученого общества находил в структуре археологии, — нумизматика и древняя словесность — едва ли были способны сообщить этой науке хотя бы видимость стройного целого. Это, однако, не мешало Писареву весьма высоко ее ставить, ведь «историческая критика», которую он числил в составе «науки древностей», занимается, по его словам, прежде всего тем, что «сличает, поверяет и объясняет Летописи, Истории, жизнеописания и вершит над оными свой суд беспристрастный». И поэтому «таковому критику едва ли не более довлеет иметь сведений самого историка»²³.

В этом признании — к слову, не имевшем, как и вся речь председателя, никаких последствий для деятельности ОИДР, — без труда можно увидеть стремление легитимировать с помощью археологии занятия по изучению прошлого в условиях повысившихся требований к большому национальному нарративу, который должен был со временем заступить место «Исто-

²² НИОР РГБ. Ф. 203. Кн. 4. Л. 112.

²³ Писарев А.А. Речь о пользе отечественной археологии // Труды и записки Общества истории и древностей российских. 1827. Ч. 4. Кн. 1. С. 1–18.

рии» Карамзина. Именно причастность к созданию такого рода повествования на протяжении почти всей первой половины XIX в. и давала ученому безоговорочное право именовать себя историком. Неудача вышедшей в начале 1830-х годов «Истории русского народа» Николая Полевого, в которой ученая публика вместо ожидаемых новых плодов «исторической критики» нашла, по большей части, лишь перелицовку карамзинских материалов в духе современных философских учений, еще больше способствовала развитию упомянутой легитимации в направлении науки древностей с ее довольно неопределенными дисциплинарными притязаниями.

Двусмысленность научного статуса археологии в эту пору в полной мере, хотя и неодинаково, проявилась в идентификации деятельности крупнейших знатоков, собирателей и исследователей древностей, какими были в 1830–1840-е годы московские профессора М.П. Погодин и И.М. Снегирев.

Знакомство Погодина с археологией состоялось еще в бытность его студентом первого курса университета, когда он решил побороться за золотую медаль, участвуя в конкурсе, который был объявлен читавшим этот предмет М.Т. Каченовским. Искомую награду он не получил: профессор усомнился в самостоятельности работы незнакомого ему студента, еще не прослушавшего его курс. Судя по всему, эти сомнения были напрасны: Погодин предварительно прошел у своего доброжелателя, профессора И.А. Гейма, весьма обстоятельный курс археологии как «знания о состоянии и постановлениях древних народов». Последовавшее вскоре увлечение Шлецером помогло ему перенести полученный в ходе этих занятий опыт на почву изучения русской истории. Сделанный Погодиным вместе с его приятелем Кубаревым в 1820-м году набросок плана работ, состоявшего из 16 пунктов и рассчитанного на 200 книг, которые должны предвратить появление новой истории России, местами явно перекликается с программой Гейма²⁴. Прочно усвоив археологическую «повестку», в дальнейшем как исследователь Погодин не спешил отождествлять свои труды с этой дисциплиной. Даже в тех случаях, когда многие из его современников предпочли бы отдельно поставить вопрос о научном значении древностей, московский профессор упорно продолжал видеть в них лишь сырье для новых разделов большой истории. Так, в ходе поездки по провинции в начале 1840-х годов он размышлял о перспективах создания Всероссийского музея, куда стоило бы собрать

древние вещи, одежды, оружия, рукописи, образа, из всей России (разумеется, только из захолустьев, куда никто не ездит, и где они лежат без употребления), расположить их в хронологическом порядке в каком-нибудь здании Москвы.

²⁴ Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина: в 22 т. Кн. 1. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1888. С. 61–62, 80–81.

Такое собрание, при всем своем величии и поучительности, рассматривалось Погодиным еще и как необходимое условие для написания «истории художеств в России, истории частной жизни и проч.»²⁵. А в 1846 г. в открытом письме художнику Федору Солнцеву, которому Николаем I была выделена большая субсидия на издание рисунков с памятников отечественной старины, Погодин ставил обширные задачи живописной реконструкции зданий, одежды, жилищ. Он говорил о готовности открыть перед художником двери своего собрания с тем, чтобы совместными усилиями составить таким образом атлас русской истории²⁶.

Между тем современники были склонны признавать в Погодине скорее археолога, чем историка. Рецензируя его свежие работы в 1850 г., О.И. Сенковский сопоставил главу из «русской истории полной, непрерывной», посвященную Андрею Боголюбскому, с очередным томом «Исследований, замечаний и лекций о русской истории» и однозначно высказался в пользу последнего: «По части русской археологии каждый труд господина Погодина для меня уважителен. Старинный мусор он раскапывает терпеливо, внимательно, и иногда удается ему находить следы золота». Амбивалентность этой похвалы не отменяет того, что Погодин для Сенковского в первую очередь, — «ученый московский археолог»²⁷. Куда менее снисходительный к просчетам автора «Исследований...» К.Д. Кавелин тремя годами ранее назвал того «не историком, а археологом» на том основании, что Погодин, обнаружив связь местнических счетов с определением старшинства князей в удельный период, не попытался проникнуть в суть межкняжеских отношений в их развитии²⁸. Даже для комплиментарного П.И. Мельникова из Нижнего Новгорода Погодин — «патриарх Русских Археологов»²⁹. Это расхождение между собственным тяготением ученого к истории и восприятием его современниками как археолога вряд ли носило для него хоть сколько-нибудь принципиальный характер. Во всяком случае споры на эту тему

²⁵ М.П. [Погодин М.П.] Вологда (Продолжение путевых записок) // Москвитянин. 1842. № 7. С. 263.

²⁶ Он же. Письмо к академику Ф.Г. Солнцеву о древнейших русских памятниках // Москвитянин. 1846. № 4. С. 109–113.

²⁷ Сенковский О.И. Рецензия на кн.: Погодин М.П. Князь Андрей Юрьевич Боголюбский // Библиотека для чтения. 1850. Т. 102. Отд. VI. С. 37; Погодин М.П. Исследования, замечания, лекции о русской истории. Период удельный, 1054–1240. М.: Университетская типография, 1850. Т. 4.

²⁸ Кавелин К.Д. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. СПб., 1897. Стб. 239–240.

²⁹ Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 8. 1894. С. 411.

отсутствуют в широком репертуаре охотно полемизировавшего со своими критиками Погодина. Не удивительно, что чести выступления с основным докладом о судьбах археологии в России на Первом археологическом съезде был удостоен именно он.

Путь, приведший в науку русских древностей профессора римской словесности И.М. Снегирева, был более извилист. Интерес к памятникам отечественного прошлого родился у него на пересечении его преподавательских интересов к римским «антикам» и увлечения народностью, охватившего образованную публику в России в 1820-е годы. Так, 16 апреля 1823 г. Снегирев сделал дневниковую запись о том, что накануне у Полевого они «думали, как перевести *originalité*, естественность, подлинность, особенность; вм[есто] *национальность*, народность». В 1831 г. вышел в свет первый том его сочинения «Русские в своих пословицах», предварявший обширное собрание фольклорных материалов. Эта публикация, продолжавшаяся еще три года, сильно упрочила его литературную и ученую репутацию. Один из корреспондентов Снегирева, нерехтский священник М.Я. Диев, пронизательно заметил, что, в отличие от Карамзина, верно описавшего «деяния», составитель сборника пословиц передал «мысли и чувствования наших предков». Из записи от 20 октября 1834 г. следует, что С.П. Шевырев предлагал Снегиреву «составить по образцу Римск[их] древностей из Русских науку, систему, в коей бы изображалась жизнь Русского народа». После того, как через два года Снегирев был вынужден уйти в отставку из университета и вопрос о преподавании этой дисциплины был для него закрыт, любимые занятия не были им брошены. В 1837 г. Снегирев после беседы с профессором-юристом Ф.Л. Морошкиным набросал даже небольшой план той «системы», о котором он беседовал с Шевыревым. В этом плане сочетались хронологический и проблемный подходы. «Русские древности», согласно его мысли, можно было условно разделить на несколько периодов: «дотатарский — языческо-греко-христианский», «татарский», «западный, или освоб[ожденной] России» и «европейский, период преобразования России». «Предметы», включенные Снегиревым в этот план, были распределены в три группы: «1) Жизнь *религиозная*, к коей относятся языческие суеверия, поверья, обычаи, возникшие в христианстве, 2) Жизнь *юридическая*, гражданская, обычное право, 3) Семейная жизнь»³⁰.

Словом, чем дальше, тем больше новые научные интересы делали из московского латиниста русского археолога. В предисловии к своему оче-

³⁰ Снегирев И.М. Дневник Ивана Михайловича Снегирева: в 2 т. Т. 1. М., 1904. С. 25, 184, 249; Титов А.А. Биографический очерк протоиерея Михаила Диева с приложением его писем к Ивану Михайловичу Снегиреву 1830–1857 // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. 1887. Кн. 1. С. 38.

редному труду — «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» — Снегирев заявлял, что предмет его исследования, «по ближайшему отношению к мифам и поверьям, к внутренней Истории и Древностям народа, составляет часть Археологии»³¹. Примечательна здесь попытка связать «науку древностей» с внутренней историей. Правда, обосновывая свой интерес к этой новой проблеме, он ссылается на вполне традиционные авторитеты Шлецера, Карамзина и митрополита Евгения (Болховитинова), которые говорили «о важности и необходимости исследования сего предмета». Но эта ссылка не мешала Снегиреву здесь же, хоть и не в явном виде, отступить от историографической традиции, освященной перечисленными именами. Буквально в двух словах сообщив об использованных и неиспользованных письменных источниках, он заметил:

Как старинные обычаи живут более в народе, чем в книгах: то я собирал местные об этом сведения и живые предания посредством переписки или путешествия по России³².

Итак, не прошло и 20 лет с того момента, как Строев констатировал преобладание компилятивных приемов в описании древностей, как археология усилиями Снегирева несомненно продвинулась вперед в отношении способов сбора материалов. Успехи в области «исторической критики» этих материалов, впрочем, были не столь очевидны.

Так или иначе, в 1840-е годы Снегирев проявил себя как один из наиболее активных и востребованных археологов. Помимо многочисленных статей и брошюр, он в это время опубликовал «Памятники московской древности» (1841) и принял участие в издании «Русской старины в памятниках церковного и гражданского зодчества», первые тетради которого увидели свет в 1846 г. Описательный характер текстов, как правило, не выглядел в глазах критиков недостатком благодаря обилию новых сведений, введшихся в исследовательский оборот. В 1844 г. обширная археологическая эрудиция открыла Снегиреву доступ в комитет по изданию «Древностей Российского государства». Председательствовал в этом комитете попечитель московского учебного округа граф Сергей Строганов, который еще в мае 1839 г. имел возможность оценить талант изыскателя старины, прочитавшего ему одну из тетрадей «Памятников московской древности»³³.

Замысел «Древностей Российского государства» сложился на почве многолетних археологических занятий президента Академии художеств

³¹ Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 1. М.: Университетская типография, 1837. С. V.

³² Там же. С. I–II.

³³ Снегирев И.М. Дневник... Т. 1. С. 265, 349–350.

Алексея Николаевича Оленина, которого первоначально интересовали античные древности. Со времени находки старорязанского клада в 1822 г. русская старина также нашла себе место среди его увлечений. Тогда же неизменным спутником его нового интереса стал состоявшийся академиком в подведомственном ему учреждении Ф.Г. Солнцева. Именно их труды обратили на себя благосклонное внимание Николая I, выделившего щедрую субсидию на подготовку иллюстрированного издания. После смерти Оленина в 1843 г. это дело было поручено Строганову, который привлек в специально созданный для этого комитет московских любителей старины. Большая часть организационной работы легла при этом на плечи помощника директора Оружейной палаты А.Ф. Вельтмана, а составлением текста, сопровождавшего рисунки Солнцева, занимался Снегирев. Комитет пришел к мысли помещать краткую пояснительную надпись на листах иллюстрированного издания,

текст же «Древностей Российского Государства» должен составлять особенную книгу, в которой все предметы будут распределены последовательно в роде «Опыта повествования о Древностях Русских» Г. Успенского, а самое описание сосредоточит в себе сведения исторические для ученых со взглядом художественным для художников. <...> Таким образом, текст даст настольную книгу древностей Российского Государства и возможность иметь ее каждому ученому и каждому художнику, и это тем более необходимо, что дорогого издания рисунков в красках и в огромном формате не всякий в состоянии приобрести³⁴.

Высочайшее повеление, обозначенное на титульном листе издания, затворило уста потенциальным критикам и оставило место лишь для выражения восхищенной благодарности в адрес монарха, поощрявшего изучение отечественной старины. Между тем само название — «Древности Российского государства» — перекликалось, скорее, с заглавием сочинения Карамзина, преодоление концептуальной, критической и риторической ограниченности которого и стало в свое время одним из главных мотивов распространения археологических изысканий в России. Два отделения из шести изначально полностью отводились для изображений облачений великих князей и царей при поставлении их на царство и древней царской столовой утвари. Старинные предметы народного быта, которые еще совсем недавно давали Погодину повод мечтать о создании всероссийского музея, мало соответствовали целям красочного издания и заняли в нем весьма скромное место.

И все же продолжавшийся на протяжении 1849–1853 гг. выход в свет частей этого издания, несшего на себе печать николаевского официоза, можно считать весьма знаменательным завершением первых трех десятилетий

³⁴ НИОР РГБ. Ф. 47. К. I. П. 10. Ед. хр. 32. Л. 2–2об.

поисков дисциплинарных очертаний русской археологии. С точки зрения официального признания ее успехи были несомненны: такие влиятельные ценители античных древностей, как С.Г. Строганов и А.Н. Оленин, не только не чинили препятствий становлению археологического изучения памятников отечественного прошлого, но и демонстрировали свою готовность оказывать ему всестороннее покровительство. Исследователям 1840-х годов не было нужды прибегать к риторическим изыскам, чтобы оправдать свой интерес к русским древностям, как это делал Г.П. Успенский в своем «Опыте...». В то же время статус этой дисциплины среди ученых оставался неоднозначным: размежевание ее предметного поля с историей не далеко ушло от той отметки, которую зафиксировал в 1818 г. П.М. Строев. Для большинства же исследователей археология стала всего лишь удобным временным убежищем от серьезных затруднений по представлению национального прошлого в духе большого нарратива уже после публикации и обсуждения «Истории...» Карамзина. Не случайно приверженцы этой новой дисциплины так мало преуспели в институциональном ее оформлении, по сути, обрекая археологию на экстенсивный путь развития (кроме просуществовавшего менее десяти лет комитета по изданию «Древностей Российского государства» можно упомянуть курс русских древностей, читавшийся Н.Н. Мурзакевичем в Ришельевском лицее³⁵), а призыв Строева распространить требования исторической критики на область изучения русских древностей, по большому счету, так и не был услышан до самой середины XIX в.

2. «Еще слишком рано помышлять о создании русской археологии»

Мало кто из исследователей отечественной старины, любовавшихся фолиантами «Древностей Российского государства», заблуждался относительно прочности дисциплинарного статуса, обретенного русской археологией. С 1845 г. в петербургских журналах появлялись статьи и рецензии адъюнкта Московского университета по кафедре русского права Константина Кавелина, где была сделана решительная попытка вернуть истории утраченное ею, по мнению автора, общественное значение. Кавелин бросал вызов как сложившемуся в историографии порядку вещей, так и освещавшим его своими именами авторитетам. Свое понимание перемен, происходивших в изучении прошлого России, он выразил в последних строках обзора исторической литературы за 1846 г.:

³⁵ Мурзакевич Н.Н. Автобиография // Русская старина. 1887. № 9. С. 496.

Век изучения официальной, торжественной, праздничной стороны нашей истории кончился; теперь должно наступить время изучения нашей будничной, закулисной, домашней жизни, с тех пор как мы себя знаем и нас знают. Эта неллицевая сторона нашей истории, те действия, в которых мы не церемонились и были тем, чем в самом деле были, всего яснее покажут нам, что мы такое? стали теперь хуже или лучше против прежнего? идем ли вперед или назад? как и отчего происходили в нас перемены, над которыми мы недоумеваем? Словом, потребность самосознания приведет нас естественно, логически к изучению нашего внутреннего быта предпочтительно перед внешним, истории цивилизации — перед политической историей³⁶.

На первый взгляд, Кавелин затронул здесь ту самую проблематику, в освоении которой русские археологи первой половины XIX в. не без основания могли считать себя первопроходцами. И Снегирев, и Диев, как мы видели, рассматривали «науку древностей» как средство проникнуть за официальный фасад карамзинской истории и соприкоснуться с внутренним бытом. В действительности же, однако, молодой магистр права отнюдь не был склонен воспринимать археологию в качестве полноценной союзницы истории, призванной отвечать на вопросы зарождающегося в русском обществе самосознания. Несмотря на отмеченную тематическую близость, само название «археология» появлялось в кавелинских текстах второй половины 1840-х годов как будто исподволь, почти против желания автора. Едва ли не самым лестным было ее упоминание в рецензии на «Чтения в Обществе истории и древностей российских», где, неохотно признавая «антикварное или археологическое направление занятий общества», он уклончиво заметил: «Хорошо это направление или дурно — здесь разбирать не место»³⁷. Несколько раз «археология» мелькала в кавелинском разборе четырехтомника А.В. Терещенко «Быт русского народа», но нигде при этом не просматривается стремления найти точки соприкосновения «науки древностей» с актуальным состоянием отечественной истории как науки.

Вдохновлявшая Кавелина задача обновления большого национального нарратива, вскоре подкрепленная томами «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева, дала современникам повод говорить о рождении «новой исторической школы», ставшей впоследствии под разными наименованиями неперенной принадлежностью любого общего курса русской историографии. Между тем даже среди ближайших последователей Кавелина не все были готовы пожертвовать археологией во имя новой исследовательской программы, по крайней мере в той версии, которой придерживался сам ее создатель. Историк-юрист тщетно расточал свое красноречие

³⁶ Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 1. Стб. 758–759.

³⁷ Там же. Стб. 759.

осенью 1848 г., уже после отъезда в Петербург, убеждая своего недавнего студента А.Н. Афанасьева свернуть с гибельного пути изучения древностей и заняться историей русского законодательства со времени Петра I:

Я знаю, что Москва располагает к факирству, к отвлеченности, к исторической мечтательности, которая так и тянет во времена глубокой древности, а утягивает обыкновенно в болото. <...> Практический мир теперь первый и главный. Археологи по призванию, у которых, наконец, сложился этот смысл, пусть и работают, а вы выходите на другую дорогу³⁸.

С конца 1840-х годов Афанасьев не без успеха заменил покинувшего поле журнальных сражений Кавелина в «Современнике» и «Отечественных записках», отстаивая позиции «новой исторической школы» от повторявшихся нападков Погодина и его единомышленников. Однако это не мешало ему видеть в археологии необходимое условие развития истории как науки, наряду с изданием и библиографическим изучением материалов, а также филологией. Сочинения о русских древностях регулярно становились предметом его кропотливого разбора в обзорах исторической литературы и рецензиях и часто встречали с его стороны сочувственные отзывы. Афанасьев отказывался считать несовместимыми различные подходы к определению предмета археологии, когда для одних авторов его составляла история искусств и ремесел, для других — описание домашнего быта и общественных нравов, для третьих — изучение памятников старинной письменности. Он был убежден, что эти мнимые противоречия могут быть сняты верным пониманием главной задачи археологии, которую он, в отличие от своего учителя, видел в том, чтобы «следить за внутренним развитием общества с тех сторон его быта, которые не подлежат сфере официальной, политической»; речь шла о «нравственных и эстетических убеждениях народа, которые преимущественно раскрываются в быту семейном, в публичных собраниях, увеселениях, искусстве и литературе». Коль скоро, по Афанасьеву, «археология есть часть истории», а «задача последней объяснить законы, по которым совершалось народное развитие», вполне логично выглядел его вывод о первостепенной важности археологического знания, ведь «объяснить законы эти — значит понять внутреннюю сторону народной жизни»³⁹.

Еще один почитатель Кавелина со студенческой скамьи, Степан Васильевич Ешевский, несмотря на научную специализацию в области всеобщей истории, не терял интерес к изучению отечественного прошлого, который стимулировался перипетиями его преподавательской карьеры. В 1855–1857 гг. он занимал кафедру русской истории в Казанском универси-

³⁸ [Б.а.] Памяти А.Н. Афанасьева // Афанасьев А.Н. Народные русские легенды. Т. 1. Казань: Молодые силы, 1914. С. LXXXV.

³⁹ [Афанасьев А.Н.] Обзор русской истории в 1850 году // Современник. 1851. № 1. С. 12–18.

тете, где подготовил для студентов, уже прослушавших русскую историю, курс русских древностей. Программа этого курса свидетельствует о том, что, двигаясь в направлении, заданном Кавелиным, в отношении терминологии адъюнкт Ешевский стоял ближе к Афанасьеву. Предмет этого курса он трактовал как «развитие внутренней жизни Русского народа». Исходя из убеждения, что к этому предмету можно перейти, только сличив формы быта у племен, обитавших в пределах России, молодой исследователь собирался бóльшую часть своего изложения посвятить «исторической этнографии». Целью этого рассмотрения было определение «того влияния, которая должна была иметь та или другая народность на образование характера русского народа». После такого историко-этнографического введения Ешевский предполагал перейти к самим русским древностям, к кругу которых он относил умственную, нравственную, юридическую и политическую стороны народной жизни в допетровское время. Отдавая себе отчет в недостаточности существующих пособий, адъюнкт планировал ежегодно освещать не больше одного-двух периодов, сосредоточившись на «показании слушателям способов научной разработки предмета»⁴⁰. Последовавший вскоре отъезд из Казани и получение вожделенной кафедры всеобщей истории в Московском университете приостановили труды Ешевского над формированием систематического курса русских древностей, но сам факт обращения начинающего исследователя к археологической проблематике свидетельствует в пользу привлекательности этой становящейся дисциплины.

Унаследовавший после отставки Кавелина кафедру истории русского права Николай Васильевич Калачов тоже был близок устремлениям «новой исторической школы» на рубеже 1840–1850-х годов, но не разделял скепсис своего предшественника относительно перспектив археологии. Приступая к изданию «Архива историко-юридических сведений, относящихся до России» в 1850 г., он в предисловии подчеркивал свое намерение уделять главное внимание «внутреннему быту нашего отечества и народа» и помещать помимо «чисто-исторических и чисто-юридических актов и исследований» еще и «статьи и материалы по части Русской филологии и археологии в пространном смысле». Сам археологический раздел издания, хотя и был сформирован по «остаточному» принципу, — для него предназначалось все, не вошедшее в прочие разделы «Архива...»⁴¹, — как видно из дальнейших его выпусков, не был просто уступкой распространявшейся моде на отечественную старину.

⁴⁰ Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 977. Ист.-филол. ф-т. Ед. хр. 751. Л. 63–63 об.

⁴¹ Калачов Н.В. [Предисловие] // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачовым. М.: Типография Александра Семена, 1850. С. 3–5.

Пока москвичи, сторонники новой концепции истории России, пытались найти древностям надлежащее место в своих построениях, русские археологи в Петербурге совершили настоящий институциональный прорыв. В 1846 г. группа столичных нумизматов, заручившись поддержкой герцога Лейхтенбергского, согласившегося принять на себя председательство, выступила с предложением о создании ученого общества. О том, как далеко отстояли научные интересы этих исследователей от собственно русских древностей, видно по тексту отчета общества и протокола первого его заседания, состоявшегося 17 июня 1846 г. Только в самом его конце помощник председателя Я.Я. Рейхель поделился своими наблюдениями по поводу изображений на старинных российских монетах; до этого же собравшиеся касались, в основном, вопросов древней и средневековой археологии и вспоминали о заслугах знаменитого Винкельмана и других «отцов» этой науки. Главный инициатор создания общества, барон Б.В. Кене, выступил с объяснением несколько громоздкого названия, которое оно официально получило, — «Археологическо-нумизматическое». Ход последующих заседаний также не сулил изыскателям русских древностей обилия занимавших их сведений — докладчики если и покидали почву античности, то преимущественно ради экскурсов в миры восточной и средневековой западноевропейской нумизматики. По правде говоря, интересовавшимся русской стариной трудно было ожидать чего-то другого, если в качестве одного из главных мотивов открытия общества в Петербурге официально называлось нахождение в столице большинства источников по археологии и нумизматике⁴².

Преобразование общества в Императорское археологическое в конце 1849 г. (с дарованием ему нового устава) на первых порах не принесло заметных перемен. Его единственной целью оставалось изучение классической археологии, а также средневековых памятников и новейшей нумизматики, «как Восточной, так и Западной». Намерение обращать внимание на монеты, медали и «другие предметы древнего искусства, находящиеся или открываемые в России», обозначенное в § 1 устава, формально не противоречило содержанию предыдущих занятий петербургских нумизматов⁴³. Однако открыв относительно свободный доступ в общество новым участникам, члены-основатели сами подготовили предпосылки для переворота, совершенного по тому сценарию, который реализовался в Русском географическом обществе в 1850 г., когда Ф.П. Литке, претендовавший на пост

⁴² Записки Санкт-Петербургского археологическо-нумизматического общества. Т. 1. СПб., 1849. С. 3–18.

⁴³ Там же. Т. 2. Вып. 1. 1850. С. IV.

председателя, был забаллотирован так называемой русской фракцией. Среди археологов роль возмутителя спокойствия взял на себя И.П. Сахаров. Выходец из духовенства Тульской губернии, получивший диплом медика в Московском университете, с середины 1830-х годов он почти ежегодно напоминал о себе публике сборниками по различным разделам русских древностей. В то самое время, когда Кавелин вынашивал мысль о том, что растущее на глазах общественное самосознание реанимирует национальную историографию больших форм, Сахаров продолжал вторить голосам критиков Карамзина 20-летней давности, уверяя читателей, что «в наше время писать Русскую Историю есть дело невозможное»⁴⁴.

Нетерпимость Сахарова к иностранцам, в последние годы жизни достигшая патологических размеров, делала неизбежным его конфликт с верхушкой общества, избегавшей пользоваться русским языком в заседаниях и печатных трудах. Временный компромисс был достигнут 21 февраля 1851 г. благодаря посредничеству председателя, предложившего вести занятия общества по трем отделениям, одним из которых стало отделение Русской и Славянской Археологии⁴⁵.

Воодушевленный этим успехом, Сахаров не думал останавливаться на достигнутом. В первом же заседании вновь образованного отделения он получил должность секретаря и в этом качестве поднял вопрос о составлении плана для обозрения русских археологических памятников по губерниям и программ для иногородних корреспондентов. О том, какое значение придавал Сахаров этим вопросам, можно судить по началу его речи, произнесенной 15 марта 1851 г.:

Нашему отделению Русской и Славянской археологии предстоят великие подвиги: основать Русскую археологию как науку Русских древностей, и возбудить в России стремление к археологическим занятиям⁴⁶.

Ход последующих событий показал, что Сахаров был преисполнен желания как можно скорее претворить эти намерения в жизнь. Через две недели он уже знакомил товарищей по отделению со своими развернутыми

⁴⁴ *Найт Н.* Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855 // *Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология.* М.: Новое издательство, 2005. С. 160–165; [Сахаров И.П.] Исторические заметки: ст. первая // *Северная пчела.* 1846. 14 января. № 11. С. 43.

⁴⁵ *Веселовский Н.И.* История Императорского Русского археологического общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846–1896. СПб.: Типография главного управления уделов, 1900. С. 60–63.

⁴⁶ Записки отделения русской и славянской археологии Императорского археологического общества. Т. 1. СПб.: Типография Якова Трея, 1851. Приложения. С. 2, 9.

соображениями о программе для иногородних корреспондентов. Едва поспевав за своим секретарем, те, в лучшем случае, могли вставить в сахаровский проект пункты, отвечавшие их научным интересам. На следующем, апрельском, заседании председатель отделения А.И. Войцехович поднял вопрос об издании «Русских Записок общества», а еще через месяц этот вопрос был уже практически решен: Сахаров объявил, что он уже приступил к печатанию первого тома. В октябре последовало цензурное разрешение, и к исходу 1851 г. публика получила возможность оценить итоги деятельности отделения, которого за год до этого еще не существовало. В приложение к этому изданию вошла и «Записка для обозрения русских древностей» — та самая программа для иногородних корреспондентов, на которую так рассчитывал Сахаров. Эта же «Записка...» была дополнительно распечатана в количестве 20000 экземпляров и разослана по России. Отчасти стремительность действий Сахарова объясняется тем, что все расходы, связанные с изданием сборника, брал на себя петербургский купец И.Т. Яковлев⁴⁷.

Происхождение упомянутой тиражированной анкеты еще ждет своего исследователя. Во всяком случае недавно высказанное мнение о влиянии на ее содержание «Вопросника», созданного Луи Вите и Шарлем Ленорманом в рамках *Comité historique des Artes et Monuments*, выглядит пока мало обоснованным. И дело не столько в предубеждении главного автора «Записки...», Сахарова, против иностранцев, сколько в слабом его знакомстве с иностранными языками, что сильно затрудняло рецепцию идей археологов из Западной Европы. Более перспективным представляется поиск параллелей между текстом сахаровской программы и соответствующим разделом «Очерка науки древностей», опубликованного в «Библиотеке для чтения» в 1850 г. под псевдонимом «М.К.» [М.С. Куторга? — В. Б.]⁴⁸.

Как бы то ни было, не эта программа стала предметом обсуждения критиков, изучивших содержание первого тома «Записок отделения Русской и Славянской археологии». Их внимание, привлекло в первую очередь начало труда Сахарова (на последней его странице было обещано продолжение) с претенциозным названием «Обозрение русской археологии». В отсутствие черновиков трудно проследить этапы работы автора над этим текстом. Можно лишь утверждать, что еще за год до того как впервые была

⁴⁷ Записки отделения русской и славянской археологии Императорского археологического общества. С. 12–15, 18, 37–38; *Веселовский Н.И.* История Императорского Русского археологического общества... С. 64.

⁴⁸ Императорская археологическая комиссия (1859–1917). К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / под ред., сост. А.Е. Мусина, Е.Н. Носова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. С. 36; *М.К.* Очерк науки древностей // Библиотека для чтения. 1850. Т. 104. С. 143–159.

высказана мысль о потребности в «Русских Записках общества», 11 апреля 1850 г., Сахаров выступил с «Обозрением русской археологии» на заседании общества, тогда еще не распавшегося на отделения. На первый взгляд, это «Обозрение...» как нельзя лучше соответствовало стремлению секретаря новорожденного отделения придать изучению отечественных древностей статус науки. Здесь были сделаны попытки дать определение археологии вообще и найти место русской археологии среди частных археологий, указать ее особенности и выделить «эпохи изменений» русских древностей, предложить порядок изложения археологического материала и, наконец, оценить уровень освоенности различных отделений русской археологии и перспективы их дальнейшего изучения. При этом, правда, в тени остались два весьма важных аспекта дисциплинарного становления новой науки, в разной мере беспокоившие некоторых предшественников и современников Сахарова: соотношение русской археологии с другими науками и прежде всего с русской историей, а также формулировка критерия перехода давно уже бытовавшего в России знания о древностях в научное качество⁴⁹. Если первый из них был совершенно обойден автором «Обозрения...», то трактовка второго, хоть и высказанная вскользь, тоже не могла не вызвать недоумения у исследователя. Закончив растянувшийся на 20 страниц перечень «металлических произведений», Сахаров заметил:

Еще далеко то время, когда мы сможем представить в снимках все металлические изделия, сохранившиеся от наших отцов и окончательно основать Русскую Археологию, как науку Русских древностей⁵⁰.

Таким образом, обретение научного статуса дисциплины, интересы которой так горячо отстаивал секретарь отделения Русской и Славянской археологии, ставилось в зависимость от публикации полного издания снимков предметов, входивших в ее ведение.

Однако любители русских древностей имели немало и других вопросов и претензий к автору «Обозрения...». На страницах «Отечественных записок» слово взял И.Е. Забелин, к тому моменту уже больше десяти лет подвизавшийся на археологическом поприще. На основании тщательного разбора он показал, насколько шатки, внутренне противоречивы и поверхностны представления Сахарова о предмете, задачах и структуре русской археологии. Еще более удручающее впечатление произвели на Забелина подробности «Обозрения...» по каждому из отделений древностей. Не говоря уже о

⁴⁹ Записки Санкт-Петербургского археологическо-нумизматического общества. Т. 2. Вып. 1. СПб., 1850. С. 30; Записки отделения русской и славянской археологии Императорского Археологического общества. С. 3–80.

⁵⁰ Там же. С. 8–28.

крайне неудачной классификации предметов, критик многократно и с обилием доказательств уличал Сахарова в необоснованных суждениях и грубых ошибках, вызванных незнакомством того с описываемыми памятниками и материалами, из которых можно было почерпнуть сведения о них⁵¹.

Московского археолога можно было бы заподозрить в излишнем пристрастии к автору разбираемого текста — ведь Сахаров бесцеремонно воспользовался рукописью его работы «О металлическом производстве в России до XVII столетия», которую Забелин прислал в Археологическое общество на конкурс, объявленный на соискание премии⁵². Но к тем же выводам пришел и анонимный рецензент «Москвитянина», который вряд ли был склонен принимать слишком близко к сердцу неприятности Забелина. Он не упустил возможности заметить автору «Обозрения...», что даже в том случае если «теории и системы» европейских археологов оказались бы, как тот настаивал, неприложимы в русской археологии, то последней была бы очень полезна их добросовестность. Общая оценка программной статьи Сахарова в «Москвитянине», прежде весьма благожелательно отзывавшемся о трудах петербургского любителя древностей, по сути ничем не отличается от забелинской: на взгляд рецензента, эта работа представляла собой не более, чем

конспект археологии, составленный без ясного, определенного понятия о предмете, и потому исполненный многих противоречий и несообразностей⁵³.

Анализ этих недостатков здесь был не столь подробен, как в рецензии «Отечественных записок», но также не оставлял у читателей сомнений в компетентности автора заметки, с точки зрения которого, «Обозрение русской археологии» не давало удовлетворительного решения поставленных задач.

Впрочем для одного из критиков этого труда все его недостатки с лихвой искупались ценностью самого замысла издания «Записок...». Это был Альберт Викентьевич Старчевский, выпускник Петербургского университета, не один год посвятивший изучению исторической литературы и источников. В начале 1850-х годов он был ближайшим сотрудником Сенковского по редакции «Библиотеки для чтения», в которой и поместил сочувственный,

⁵¹ Забелин И.Е. Русская археология. Рецензия на кн.: Записки отделения русской и славянской археологии Императорского Археологического общества // Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Т. 2. М.: Типография Грачева и К^о, 1873. С. 79–102.

⁵² Забелин И.Е. Русская археология. Записки отделения русской и славянской археологии... С. 91.

⁵³ [Б.а.] Рецензия на кн.: Записки отделения русской и славянской археологии Императорского Археологического общества // Москвитянин. 1852. № 22. С. 21–29.

а местами даже восторженный, отзыв на первый том сборника отделения Русской и Славянской Археологии. Старчевский сообщал о своих десятилетних штудиях западноевропейской и русской археологической литературы и беседах со знатоками отечественных древностей, которые привели его к убеждению в необходимости «посильного составления опыта русской археологии»⁵⁴. Нетрудно понять чувства, которые он испытал, увидев детище Сахарова, устремленное к той же цели. Однако за всеми лестными эпитетами, которыми Старчевский наградил «Заметки...», нельзя было не заметить и существенной разницы между его взглядами и интенциями редактора разбираемого им труда. Если Сахаров всячески подчеркивал отличия русской археологии от иных национальных традиций в изучении древностей, то Старчевский проявлял заботу о том, чтобы научная «обработка» этой дисциплины позволила ей «войти в состав всеобщей археологии». Если Сахаров не скрывал того, что собирался сделать ставку на провинциальных любителей старины как поставщиков сведений и материалов, то Старчевский считал «профанов» негодными союзниками для новой науки. Если Сахаров пренебрегал вопросом о связи «науки древностей» с историей, то Старчевский пытался раскрыть эту связь, пусть и посредством метафор:

Археология, бабушка истории (вспомогательная историческая наука), внимательно следящая за последнею, — так ли она рассказывает о былом, как слыхала от старушки...

Наконец, Старчевскому представлялся слишком узким тот московский формат русской археологии, которым руководствовался секретарь славяно-русского отделения в своем «Обозрении...». Соредатора «Библиотеки для чтения» куда больше манили имперские просторы:

В состав общерусской археологии входит несколько частей, которые образуют одно целое. И скифская, славянская, доисторическая (подземная и надземная), воспорская [sic! — В. Б.], варяжская, славяно-русская, финская, литовская, татарская, армянская, польская, великорусская и малорусская археологии — не более как части, из которых должна сложиться общерусская археология, которая должна обобщить эти части, связать их общим цементом и в таком виде внести на страницы всеобщей археологии. <...> Сказания всех этих отдаленных народов должны слиться в один общий рассказ о былом великой России⁵⁵.

Очевидно рецензент настолько дорожил самой мыслью о необходимости превратить изучение русских древностей в науку, что все эти расхож-

⁵⁴ А.С. [Старчевский А.В.] Рецензия на кн.: Записки отделения русской и славянской археологии Императорского Археологического общества // Библиотека для чтения. 1852. Т. 115. С. 1–3, 6.

⁵⁵ Там же. С. 4–13.

дения отступали для него на второй план. Фиксируя недочеты Сахарова в тех случаях, когда это было неизбежно, он всякий раз не забывал объяснять их ссылками на новизну археологического знания в России. Как и секретарь славяно-русского отделения Петербургского ученого общества, Старчевский полагал, что «еще слишком рано помышлять о создании русской археологии», но подтверждением этого тезиса для него служили в первую очередь рассуждения самого Сахарова. Пресловутое «Обозрение...» критик характеризовал как «драгоценный материал», но подробный разбор данного им анализа заставляет задуматься, действительно ли его итоги отличались в лучшую сторону от выводов, к которым пришли рецензенты «Отечественных записок» и «Москвитянина». Старчевский нашел в этой работе «неточности выражений, темноту изложения, сбивчивость понятий, а также отсутствие всякого ученого порядка и последовательности». И определение русской археологии, и попытка представить ее систему, помещенные в «Обозрении...», вызвали у него аргументированные возражения. А от развернутой полемики по поводу предложенного Сахаровым плана изложения русской археологии Старчевский уклонился под предлогом, что

в этом исчислении различных предметов археологии нет еще системы, а одна случайная роспись, где критике ровно нечего замечать, потому что тут нет еще помину о науке.

Оправдание, которое он подыскал для незадачливого автора, — будто бы тот, «представляя конспект вероятно не давал сам особенного значения введению»⁵⁶, — вряд ли могло послужить Сахарову утешением. Независимо от намерений самого рецензента «Библиотеки...», после всех сделанных замечаний инициатор «Записок...» вряд ли имел основания рассматривать его в качестве своего единомышленника. Совпадение позиций двух приверженцев создания русской археологии как науки было слишком невелико, а их разногласия грозили только усугубиться по мере их обсуждения — настолько беспепелляционно каждый из них высказывался о собственном видении перспектив изучения древностей.

Трудно сказать, на что рассчитывал Сахаров, спешно собирая материалы для первого тома «Записок отделения русской и славянской археологии». В целом содержание сборника вызвало такое же единодушное одобрение со стороны критиков, каким было неприятие идей, изложенных в «Обозрении...». Но по всей видимости, суровый приговор, который был вынесен столь разными журналами в отношении этой программной статьи, стал для ее автора тяжелым ударом. Ее обещанного продолжения не последовало, а

⁵⁶ А.С. [Старчевский А.В.] Рецензия на кн.: Записки отделения русской и славянской археологии... // Библиотека для чтения. С. 6–8, 14–21.

второй том «Записок...» отделения увидел свет под редакцией В.И. Ламанского только через десять лет, когда о составителе первого в Археологическом обществе уже редко вспоминали.

По существу, Сахарову нечего было противопоставить своим критикам. Его попытки подвести под возводимое здание «науки русских древностей» теоретический фундамент были ими дружно и недвусмысленно отвергнуты как несостоятельные. На публичные обвинения в литературном воровстве, несомненно поколебавшие репутацию петербургского археолога, ему тоже нечем было возразить: Забелин, из рукописи которого Сахаров позаимствовал сведения без указания на их источник, предусмотрительно сделал «общие ссылки», чем обезопасил свое авторство⁵⁷. Весьма болезненной для самолюбия секретаря отделения русской и славянской археологии стала неудача с программой для иногородних корреспондентов: низкая квалификация последних, как и предрекал Старчевский, часто требовала перепроверки доставленных ими сведений, что в скором времени привело к взаимному разочарованию столичных и провинциальных любителей древностей. К тому же сама рубрикация, принятая в «Записке для обозрения русских древностей», вызывала у специалистов нарекания⁵⁸.

Следствием всех этих не оправдавшихся надежд стало резкое охлаждение Сахарова к Археологическому обществу, деятельность которого после бурного периода смелых проектов и инициатив к середине 1850-х годов была почти полностью парализована. Вспоминая недалекое время, когда Сахаров и его товарищи предлагали премии за удачное решение ученых задач, одессит Н.Н. Мурзакевич мрачно шутил:

Умерли Перовский, Лейхтенбергский, и блестящее общество мало-помалу поросло травой и мхом. Теперь надобно дать премию за отыскание Санкт-Петербургского археологического общества⁵⁹.

Причину неудачи сахаровского проекта науки русских древностей следует искать не только в личных качествах секретаря славяно-русского отделения Археологического общества. Составляя свои амбициозные программы, он явно недооценивал позицию коллег, в не меньшей степени, нежели

⁵⁷ Забелин И.Е. Дневники. Записные книжки. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 72.

⁵⁸ Веселовский Н.И. История Императорского Русского археологического общества... С. 64–65, 275–276; Стасов В.В. Разбор сочинения архимандрита Макария «Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях» // Тридцатое приращение учрежденных П.Н. Демидовым наград. СПб.: Типография Имп. Акад. наук, 1861. С. 103–104.

⁵⁹ Мурзакевич Н.Н. Автобиография // Русская старина. 1889. № 2. С. 249.

он, способных обсуждать теоретические и практические вопросы изучения памятников старины. В то же время Сахаров ожидал слишком многого от провинциальных корреспондентов, с помощью которых, видимо, он рассчитывал пополнить собственные оскудевшие запасы археологических материалов. Бремя лидерства, самонадеянно принятое на себя петербургским археологом, оказалось ему не по плечу, что в известной мере девальвировало институциональные успехи «науки русских древностей», достигнутые не без его участия. Созданное в 1851 г. отделение русской и славянской археологии было вынуждено вскоре снять с повестки дня те амбициозные заявления, которые вдохновляли его работу на первых порах, и отложить вопрос о создании новой науки на неопределенное время. Вместе с тем к середине XIX в. русская археология стала устойчивой фигурой исторического дискурса в России. Она проявила готовность воспринять такой серьезный дисциплинарный вызов, каким стало появление в 1840-е годы нового типа историописания, ориентированного на поиск органических начал и претендовавшего на присвоение проблематики, разрабатывавшейся ранее в рамках «науки древностей». Ахиллесовой пятой русской археологии в ее притязаниях на научный статус продолжала оставаться критика источников, которой большинство исследователей древностей первой половины XIX в. предпочитали бесхитростные описательные подходы.

МОРФОЛОГИЯ ЗАЧИНА: ЖАНР ПРЕДИСЛОВИЯ К ОЧЕРКУ РУССКОЙ ИСТОРИИ (ОТ ТАТИЩЕВА К БАГАЛЕЮ)*

Анализ искусства историописания (и даже частных его элементов) позволяет, на наш взгляд, уяснить важные линии эволюции исторического ремесла вообще. Помимо авторских особенностей и склонностей, мы можем усмотреть в текстах по истории и преемственность письма, и меняющуюся идентичность тех или иных жанров¹. Такой подход, несколько отступающий от привычных канонов историографической работы (акцентировки биографических сюжетов, истории научных школ или концептуальных споров), не является прямым продолжением идей Хейдена Уайта или просто попыткой филологического описания исторических сочинений. Ведь смена риторических стратегий отражает изменения как общих ориентиров авторов и издателей, так и их представлений о характеристиках целевой аудитории их произведений. По крайней мере мы можем это предполагать, учитывая, что место прежней читающей «просвещенной» публики постепенно занимает устремленная к современному знанию аудитория, ядром которой является университетский класс. Это сказывается и на характере «спроса» на исторические труды. Но формирование исторической культуры в России подразумевало еще и обязательный элемент дидактики, наставления (пускай и академического), а значит и набор условностей, *вводящих* читателя или слушателя в область отечественной истории. Эти условности и правила отражались в зачинах соответствующих текстов.

Зачем и как пишутся эти авторские предисловия (или введения, вступления, предизвещения, предуведомления)? Являются ли они специфическим

* Автор приносит глубокую благодарность всем авторам замечаний, высказанных во время обсуждения доклада в Высшей школе экономики на Полетаевских чтениях в сентябре 2012 г., равно как и И.М. Савельевой и А.Н. Дмитриеву, оказавшим ему бесценную помощь в работе над этой главой.

¹ Укажем на классические работы: *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1941; *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 1–3. Л.: Изд-во ЛГУ, 1961–1971; и недавний коллективный труд: *Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом: коллект. моногр. в честь проф. И.М. Савельевой / под ред. А.Н. Дмитриева.* М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2012.

жанром, способным, при внимательном рассмотрении, обнаружить некие инварианты? До сих пор по понятным причинам такой объект изучения привлекал по преимуществу внимание литературоведов и семиотиков², а историков — в гораздо меньшей степени. Между тем авторы исторических сочинений прибегали к этому жанру не реже, а, пожалуй, чаще, нежели писатели: предисловия к самым разным историям пишутся с самого давнего времени начиная с Геродота³. В средневековой западноевропейской хронистике и восточноевропейском летописании жанр предисловия также был представлен. Подобающая клирику *humilitas* требовала, чтобы монах-историограф легитимировал создание нового текста, который он осмеливался прибавить к некоей уже существующей традиции. Оправданием для написания нового трактата (например исторического) могло служить, например, желание рассказать скрывавшуюся или искажавшуюся другими авторами правду, возразить на обвинения, дополнить прежние тексты материалом о новейших событиях и др. Так или иначе, в предисловии автор, как правило, указывал на то, что взялся за перо его заставило не тщеславие, а некое благое побуждение. В период светской, в том числе научной, историографии мотивировки, естественно, несколько видоизменились, но в принципе традиция самолегитимирующих авторских предисловий сохранилась: авторы обычно объясняли читателю, почему добавляют к существующей литературе по избранной теме новое слово.

В поиске баланса между преемственностью и новшеством историки часто в своих предисловиях оперировали общими местами, которые, с одной стороны, помогают вписаться в традицию, а с другой — выразить свое, в той или иной степени самобытное, кредо. Жанр предисловия в какой-то мере оказывается риторическим, причем это касается всяких предисловий, исторических в том числе. Это объясняется тем, что в предисловии автор обращается к читателю, часто даже используя прямую речь. Как и всякий ритор, он преследует определенную цель, по большей части дидактическую, иногда полемическую: порой мы видим, что автор стремится не только оправдать или объяснить свой замысел, но и заранее обезоружить своих возможных или уже свирепствующих критиков и цензоров. Именно в предисловиях авторы исторических произведений больше всего говорят от первого лица, и часто о самих себе. Соблюдая условности и пользуясь общими местами и риторическими формулами, они в то же время достаточно ярко обнаруживают свою личность.

² Среди них можно назвать, прежде всего, Жерара Женетта, который в своей книге «Пороги» о паратекстах посвятил целых три главы анализу предисловий. См.: *Genette G. Seuils*. P.: Seuil, 2002. P. 164–296.

³ См.: *L'histoire d'Homère à Augustin. Préfaces des historiens et textes sur l'histoire* / F. Hartog (ed.). P.: Seuil, 1999.

Эти авторские заявления представляют, как нам кажется, определенный интерес для исследователя, так как они позволяют много узнать, с одной стороны, об обстоятельствах, в которых увидел свет данный труд, а с другой — об общих исторических представлениях автора, его методологических ориентациях, работе с источниками, его отношении к предшественникам и мэтрам, наконец — о целях, которые он себе поставил. Указанные параметры становятся еще более явленными в случае, когда историк берется за особенно амбициозную работу, вроде изложения истории целого государства или народа на всем протяжении его существования. Этот жанр, как известно, распространился в Европе в XVII и XVIII вв. и достиг своего расцвета в XIX, когда в связи с развитием национальных государств и идеологий, а также с омассовлением школьного и университетского образования, возросла потребность представить публике, студентам, школьникам, *полный*, от А до Я, нарратив отечественной истории. Несмотря на неизбежную вариативность этого жанра, в зависимости от эпох, стран и авторов, повествования такого типа обнаруживают определенные константы — отчасти потому что в этих случаях на историка возлагается особенно ответственная задача, будь она определена им самим или «заказчиками» (в буквальном или переносном смысле этого слова).

Мы решили обратиться к одному определенному виду ученых трудов, а именно — к историям России или российского государства, написанным для отечественной публики авторами, которые, как правило, относили себя к российским же подданным, что ставило их в совсем иное отношение к своей работе и к своему читателю, нежели, например, германских или французских историков России. Даже если речь идет о Татищеве или Щербатове — историках XVIII в., — когда этот жанр только начинал складываться (мы не будем включать сюда ни средневековое летописание, ни «царственные» истории XVI и XVII вв., ни широко известный «Синописис» Иннокентия Гизеля), эти повествования — пусть даже они не были доведены до конца, т.е. до текущего царствования⁴, — принадлежали уже к разряду национальных историй. Это отличало их от нарративов, посвященных отдельному царствованию или событию, и от всеобщей истории, на почве которой национальные истории выросли по европейским образцам. Мы включили сюда также истории Украины (Д.Н. Бантыш-Каменского, Н.А. Маркевича, Ф.И. Рипецкого, М.С. Грушевского, А.Я. Ефименко), поскольку даже в слу-

⁴ Такие незавершенные истории встречаются особенно часто до середины XIX в. (у Татищева, Щербатова, Карамзина и других авторов). Естественно, мы должны принять их во внимание, так как замысел авторов был — довести их до «конца». Мы решили также учесть «неполные» истории, если они охватывают очень большой период (например допетровскую Русь), отличая их от монографий, ограниченных или тематически, или же отдельными хронологическими рамками.

чае Грушевского, опубликовавшего свою историю по-украински и во Львове, читатели их в значительной мере обитали в Российской империи. Кроме того, мы ограничились дореволюционным периодом⁵, считая, что хотя национальные истории — и не только русские или украинские — продолжали писаться и печататься на территории СССР в 1920 и 1930-е годы, значительнейшие события и сдвиги, произошедшие в советское время, настолько изменили контексты появления и восприятия таких работ, что вряд ли было бы уместно говорить в этих случаях о некоей непрерывной традиции.

Возникает еще один вопрос: следует ли включить в наш круг источников курсы русской истории, предназначенные для студентов, в том виде, в каком они стали издаваться к концу XIX в., пусть даже малыми тиражами, литографическим способом? Казалось бы, на этот вопрос следует ответить отрицательно по двум причинам: во-первых, подобные курсы, как правило, не были снабжены предисловием, поскольку первоначально они не предназначались для публикации, а во-вторых, мы имеем здесь дело с разными жанрами. Например, авторские цели и круг предполагаемых читателей придворного историка-беллетриста Карамзина в 1810–1820-е годы резко отличались от ориентиров и аудитории «Лекций», читанных в Московском университете в 1890-е годы приват-доцентом П.Н. Милюковым. Однако на первый довод можно возразить, что если все же принять *опубликованные* курсы в круг наших источников, то вводные (первые) лекции — которые, кстати, часто так и обозначались, а иногда носили даже заглавие «Введение»⁶, — мы без излишней натяжки будем вправе считать неким эквивалентом «предисловий». А во втором случае разрыв между этими двумя формами не всегда столь очевиден, как в примере с Милюковым и Карамзиным. Когда речь заходит об университетских преподавателях, то их монографические «истории» иногда строились на основе записанных курсов или даже представляли собой отредактированные автором записи слушателей, как у Ключевского. В таких случаях профессиональный историк обращался прежде всего к студентам, но иногда, в связи с переизданием, и к более широкой публике, так что между историей, сочиненной писателем, и курсом, записанным слушателями, можно усмотреть немало промежуточных звеньев. Но главное здесь в том, что по вышеуказанным причинам сам жанр историй России связывал оба эти поприща — писательское и преподавательское — гораздо сильнее, нежели

⁵ Последнее издание по российской истории, включенное в наш список, вышло в 1912 г., по истории Украины — в 1913.

⁶ Например, курс Е.Е. Замысловского: *Замысловский Е.Е. Лекции по русской истории*, читанные проф. С.-Петербургского университета Е.Е. Замысловским в 1884/1885 acad. г. СПб.: Лит. Гробовой, 1885. С. 2.

разъединяли их внешние обстоятельства, и потому мы решили не отделять друг от друга два этих типа повествования.

Специальные кафедры русской истории возникли в университетах в 1830-х годах, во времена управления министерством Сергея Уварова, в результате разделения ранее единых учебных дисциплин «История, география и статистика Российской империи» и «Всеобщая история, география и статистика» на целый ряд отдельных предметов; именно тогда появились и учебные курсы «Российская история» и «Всеобщая история». Помимо резонансов служебной нагрузки профессора могли чувствовать и некую моральную обязанность (или же соблазн) читать по возможности полный курс русской истории, поскольку они одни имели для этого соответствующий статус. Лекции по такому курсу, внимательно просмотренные в министерстве, можно было потом напечатать. Отсутствие или крайняя редкость пособий по русской истории типа немецких университетских учебников, равно как и признанных и обстоятельных книг по истории России (практически «История...» Карамзина долго оставалась единственной таковой), толкали профессоров на путь публикации своих собственных курсов, сперва в скромной форме, предназначенной для круга их студентов, а затем, когда автор успевал уже окрепнуть и приобретал должную уверенность, в более амбициозном представлении, ориентированном на более широкую публику.

Эта тенденция намечается с 1860-х, но особенно с 1880-х годов, когда распространилась практика литографирования лекционных курсов, что отразилось на числе публикаций. По нашим подсчетам и согласно принятым выше критериям, с середины XVIII в. по 1870-е годы было издано всего 23 истории России и Украины, т.е. менее двух за каждое десятилетие (не считая, конечно, переизданий). Заслуживает все же внимания специфичный период 1767–1770 гг., когда выходило по одной истории в год, что объясняется, вероятно, повышенным спросом на историю России, исходившим прямо от императорского престола. Но с 1880-х годов по 1912 г. таких историй было выпущено 27, с особенным пиком в пятилетие 1895–1899 (девять изданий): таким образом, с 1880-х годов их вышло больше, чем за весь предыдущий период⁷.

В общей сложности мы обнаружили 50 книг и курсов по истории России или Украины (44 автора), приведенных в приложении к главе, начиная с

⁷ Цифры не претендуют на полноту, а только показывают общую тенденцию. В случае многотомных и многократных изданий учитывается, как и в приложении, дата публикации первого тома первого издания. В некоторых случаях возникают затруднения: например, Ключевский разрешает публикацию своих первых литографированных курсов уже в 1880-е годы, но первое типографическое издание его значительно переработанного «Курса русской истории» выходит в 1904 г.; в этом случае ради упрощения мы указываем оба эти труда как два произведения.

Ломоносова и Татищева и заканчивая Дмитрием Багалеем. Этот список несомненно нуждается в дополнениях и уточнениях, но может представлять интерес как первая, насколько нам известно, попытка подобной библиографии⁸. Он включает книги, претендующие на университетский или научный уровень, а также другие издания, рассчитанные на более широкую публику, но не учебники, специально и явно предназначенные для учащихся школ или гимназий⁹. Из этих 50 изданий 40 снабжены предисловиями, введениями, вводными лекциями¹⁰, что подтверждает распространение этого жанра.

Обратимся теперь к работам, содержащим предваряющие тексты. Некоторые из них (как у К.Н. Бестужева-Рюмина, например) включают одновременно и предисловие — обычно более короткое и посвященное контексту написания истории — и введение, которое более обстоятельно излагает основные предпосылки работы. В одном маргинальном случае введение превратилось в самостоятельную главу, несмотря на то что сохранило свой вводный характер: речь идет о популярной, написанной в откровенно монархическом духе «Русской истории» В.В. Назаревского, который предназначал ее для фабричных рабочих и, может быть, именно поэтому не рискнул вынести свои важные патриотические общие идеи о современной России в отдельное предисловие, которое могли бы и не прочесть¹¹. Когда книга состоит из опубликованных лекций, это введение является предметом первой лекции (реже, как у В.О. Ключевского, — двух первых лекций).

Размеры этих вводных текстов могут быть очень разными. Некоторые из них предельно короткие, как, например, у Ломоносова, А.Я. Ефименко, А.С. Трачевского. Татищев, Щербатов, Полевой, напротив, посвящают многие десятки и даже сотни страниц обсуждению разных предпосылок. Эти объемы не обязательно связаны с содержательностью текста: предисловие Соловьева к его «Истории...» относительно невелико, но является одним из самых весомых по своему содержанию, так как именно оно дает необходимые ключи к пониманию общей исторической концепции автора, тогда как,

⁸ Список составлен из изданий, использованных нами в этой работе и расположенных в хронологическом порядке. Иногда учитываются повторные издания, но только в той мере, в какой мы сочли это нужным для целей этой статьи.

⁹ В редких случаях, когда речь идет о публикациях до середины XIX в., мы приняли во внимание, несмотря на педагогическую ориентацию, и некоторые пособия — в том случае, если они не представлялись как учебники, например «Начертание...» Кайданова.

¹⁰ Издания, не содержащие предисловия или вводной лекции, специально помечены в приложенном списке.

¹¹ *Назаревский В.В.* Русская история: в 13 т. Т. 1. М.: Университетская типография, 1902.

напротив, чрезвычайно словообильное предисловие Эмина (54 страницы!) никак не блещет информативностью.

Несмотря на эти и другие существенные различия, к которым мы еще вернемся, данные тексты обнаруживают с относительным постоянством определенные повторяющиеся компоненты — до того, что нам показалось возможным формально определить их, отчасти по аналогии с сюжетными классификациями («функциями»), выделенными В.Я. Проппом в его «Морфологии сказки». В результате получилась следующая схема:

А) *Общие моменты: об истории (всеобщей, российской) вообще.*

1. Определение истории, ее цель, польза, взаимоотношения с другими науками.

2. Роль историка.

3. Соотношения между российской и всеобщей историей, в случае историй Украины — между украинской и русской.

4. Потребность в истории России (или Украины) вообще или в таком типе истории, ожидания публики, законность предпринимаемого труда.

Б) *Личные моменты: обстоятельства написания книги, оговорки и предупреждения автора.*

1. Посвящение какому-нибудь лицу или лицам (обычно, но не всегда, отдельно от предисловия).

2. Сведения об авторе.

3. Информация о сочинении (возникновение замысла, условия работы, публикация, переиздание).

4. Ответ критикам (полемика) или упоминание доброжелателей, обыкновенно в случаях повторного издания.

5. Изъявление благодарности каким-нибудь лицам за оказанную помощь.

6. Определение главной цели автора.

7. Элементы самооценки: «декларация скромности» (автор просит за ранее прощения за возможные погрешности), объявление о новизне произведения, оправдание всей затеи и т.д.

8. Определение круга читателей.

В) *Пояснительные моменты, касающиеся содержания его книги.*

1. Историографический обзор, иногда критический.

2. Модели, образцы (древние, современные) для автора.

3. Основные концепции, теоретические или методологические предположения.

4. Определение использованных понятий.

5. Выбор тем, аспектов истории.

6. Определение главного русла, стержня, принципа данной истории.

7. Периодизация, главные рубежи (иногда одновременно план книги).

8. Главные даты, конспективное изложение истории.

9. Обзор источников.

10. «Технические» и редакторские моменты (система сносок, приложений, библиографии и т.д.).

Эти элементы не исчерпывают тем, затронутых авторами русских историй в своих предисловиях. Например, некоторые историки, особенно ранние, включают в свои вступления рассуждения о величии России (Ломоносов, Полевой) или географическое описание страны и обзор народностей, населявших Восточно-Европейскую равнину (Щербатов), — темы, которые чаще являются предметом первых глав истории или первых лекций курса.

Выявленные нами элементы далеко не всегда столь же четко различаются, как это представлено в схеме, и в реальности текста они часто бывают смешаны. Например, пояснение методологии (B3) может вмещать в одном и том же изложении и определение истории (A1), и ответ критикам (B4), и воздание должного предшественникам (B2). Кроме того, выбранная схема следует скорее логическому, чем последовательному порядку, так как (в отличие от волшебной сказки!) у каждого автора есть свой порядок изложения, который заведомо будет «нарушать» нашу схему. Однако при совокупном анализе повторяемость элементов действительно бросается в глаза.

Возьмем как пример среднее по своему объему (11 страниц — или девять, если не считать посвящения) и стратегически важное предисловие к «Истории...» Н.М. Карамзина. После посвящения Александру I (B1) автор повествует о том, как зародился замысел его книги и в каких условиях она писалась (B3); дает определение истории и роли историка (A1, A2); устанавливает своего рода диалог с античными историками, одновременно заявляя о том, что русская история не менее интересна, чем римская (A3, B2); определяет круг тем, занимающих его как историка России; а также указывает главный смысл истории российского государства (B5, B6); излагает, как он собирается писать историю, опять-таки сопоставляя себя с античными, а также с британскими (шотландскими) авторами (B3, B2); очерчивает круг своих будущих читателей (B8); задумывается над периодизацией истории России и предлагает свою собственную, вопреки распространенной схеме Шлецера (B7, B1); благодарит «живых и мертвых», помогших ему (B5); определяет свою главную цель — быть полезным отечеству, которое нуждается в истории (B6, A4); отдает свою книгу на суд соотечественников (B7, этот пункт представлен в самом общем виде); объясняет свою систему примечаний (B10) и в отдельном вступлении указывает на свои источники (B9). Стало быть, из всех учтенных в нашей схеме моментов, общее число которых равняется 22, у Карамзина присутствуют 19, что само по себе показывает и содержательность предисловия, и его компактность (некоторые сказали бы «поверхностность»), и, наконец, мастерство, с которым автору удалось освоить все стороны этого

жанра, касаясь их слегка. Если же мы возьмем предисловие к книге Е.А. Белова, опубликовавшего в 1895 г. историю России допетровского периода, то мы найдем следующие моменты: Белов на пяти страницах определяет свою публику («образованные читатели», В8), излагает свою концепцию (о центральной фигуре Ивана Грозного), попутно ссылаясь на своих единомышленников (К.Д. Кавелина) и полемизируя с другими авторами по методологическим вопросам (можно ли пользоваться психиатрией в историческом анализе) (В3, В1, В2); автор также спорит со своими критиками (Б4, Б3) и очерчивает главное русло истории древней России (В6).

Как видно из приведенных примеров, при всем разнообразии этих «всеобщих историй России», весьма разбросанных по времени и обстоятельствам своего появления и к тому же значительно различающихся по слогу (стиль писателей Елагина, Карамзина или Полевого едва ли можно сопоставить со стилем университетских преподавателей П.Н. Милюкова или Н.А. Рожкова), в их предисловиях можно проследить известную повествовательную канву, благодаря чему мы можем назвать их в какой-то мере «однотипными», пользуясь определением В.Я. Проппа относительно сказок, — именно в силу их повторяющихся, легко узнаваемых компонентов. Конечно, эти «правила жанра» не являются чем-либо формализованным. Скорее всего, они воспринимались авторами бессознательно и адаптировались ими, потому что под прикрытием условностей предваряющего жанра они могли достаточно свободно и одновременно безопасно устанавливать «леса» своих построений. Но иногда историографы явно воспринимали сознательно условность некоторых оборотов — во всяком случае, в достаточной мере для того, чтобы не повторять их вслепую, а обновлять согласно своим целям. «Признаюсь, что я всегда почитал извинения предисловных эпитафиями, которые сочиняют себе писатели», — пишет Полевой в своем предисловии, чтобы тут же последовать этому же примеру и повторить его в особенно «искренней» форме, уверяя читателя именно в том, что его собственное откровение никак не является простой данью традиции¹².

Нам удалось таким же путем формализовать (расчленив на указанные в схеме элементы) все 40 предисловий, приведенные в приложенном к этой главе списке. Не желая утомлять читателя полным описанием результатов этого анализа или разными таблицами, мы ограничимся лишь несколькими моментами и тенденциями, которые кажутся нам наиболее значимыми и интересными с точки зрения ориентаций авторов, а также времени данных публикаций. Ради этого наш выбор пал на рубрику «А» и лишь отчасти — в той мере, в какой эти пункты связаны с первыми, — на некоторые пункты рубрики «В».

¹² Полевой Н.А. История русского народа: в 6 т. Т. 1. М.: Типография Августа Семена при Мед.-хирург. акад., 1829. С. XXV.

Рубрика, обозначенная нами буквой «А» и объединяющая общие рассуждения об истории как науке или о российской истории в ее взаимоотношениях со всеобщей, более или менее однородно представлена в наших источниках, если взять ее в целом. Но картина меняется, если посмотреть на нее более детально.

Заметим прежде всего, что определение истории вообще, так же как и пояснения о ее пользе, почти всегда присутствуют в историях, опубликованных до 1830-х годов, — в период, который мы можем условно назвать «предуниверситетским», т.е. до создания в университетах самостоятельных кафедр российской истории¹³. В первых изданиях авторы — очевидно, считая читателя недостаточно просвещенным, — объясняют сам жанр истории, еще мало распространенный в России. В начале периода эти объяснения очень обстоятельны, как у Татищева¹⁴, позже пишутся уже более легким пером и более кратко — как у Карамзина и следующих за ним авторов. Карамзин, как и Татищев, начинает свое предисловие именно с этого объяснения: «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; изъяснение настоящего в пример будущего»¹⁵. Во многом эти афоризмы написаны в стиле античных авторов (Цицерона, Плиния Младшего), но при этом Карамзин не цитирует и не парафразирует их, развивая лишь самую крылатую дефиницию Цицерона («*Historia est magistra vitae*»). Вторая «половина» цицеронова определения истории — как правдивого повествования — тоже присутствует далее в предисловии Карамзина, как и у других авторов данного периода¹⁶, но в более расплывчатой форме. Тем самым Карамзин напоминает об антич-

¹³ Среди 12 изданий, выпущенных за весь этот период, мы находим два исключения: в предисловиях И.М. Стриттера (1800) и М.П. Погодина (1835). Заметим, что ни одно из них не является каким-либо *magnum opus* и не претендует на высокий исторический жанр. Стриттер опубликовал книгу по заданию Комиссии об учреждении школ, Погодин — учебник. Можно разумно предположить, что философская дефиниция истории не входила в круг обязательных задач этих скромных изданий.

¹⁴ Татищев В.Н. История российская с самых древнейших времен: в 5 кн. Кн. 1. М.: Импер. Моск. ун-т, 1768. С. I–VII.

¹⁵ Карамзин Н.М. История государства российского: в 12 т. Т. 1. М.: Наука, 1989. С. 13.

¹⁶ «...что о историописателях рассуждать надлежит, то, во-первых, верность сказания за главным почестся может...» (Нехачин И.В. Новое ядро российской истории, от самой древности россиян и до нынешних дней благополучного царствования Екатерины II Великие, на пять периодов разделенное. Ч. 1–2. М.: Типография А. Решетникова, 1795. С. IX). См. также у С.Н. Глинки: «Историк не может вымышлять...» (Глинка С.Н. Русская история сочиненная Сергеем Глинкой. 3-е изд. Ч. 1. М.: Университетская типография, 1823. С. 23). Далее, Глинка перефразирует Цицерона: «Историю называют наставницею правителей и народов...» (С. 23–24).

ной исторической традиции, которую он не считает нужным объяснить буквально, и одновременно создает свой собственный дискурс, сакрализируя историю в предромантическом духе и намечая главную тему своего предисловия: каждый народ имеет или должен иметь свою собственную историю.

Эта апелляция к античным авторитетам отмечает, хотя бы формально, как необходимый поклон, следующий некоему этикету, все истории «пред-университетского» периода. Заметим, что она вполне естественно сочетается с упоминанием античных историков, например, Фукидида, Тита Ливия, Тацита, Плутарха, имена которых также часто встречаются в вышеуказанных сочинениях (у Эмина, Щербатова, особенно у Карамзина). Их сочинения и преподносятся как модели или неизбежные примеры для написания российской истории. Это подкрепляется еще и тем, что Российская империя иногда сравнивается с Римской, так что начиная с Ломоносова, который прямо об этом пишет, и, конечно, у Карамзина историки находят параллели между российской и римской историей:

Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности. Сие уравнение предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими...¹⁷

Кроме того, эти авторы, вплоть до Карамзина, сетуют о неимении в России настоящей и полной истории отечества. Соответственно, сочинитель в предисловии заявляет о себе как о зачинателе — по примеру античных первоучителей, — одновременно сопоставляя себя с современными известными европейскими авторами (Пуфендорфом, Вольтером, Юмом, Робертсоном, Йоганном фон Мюллером), в сонм которых он претендует войти как одна из ветвей того же древнего древа: «Одни только мы поныне не последовали сему общему предприятию»¹⁸, — пишет Эмин, тут же беря на себя задачу восполнить этот пробел.

Указание на наставническую роль истории отвечает на вопрос о ее пользе, который также неминуемо ставится в предисловиях в рассматри-

¹⁷ Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. Ч. 1. СПб.: Импер. Акад. наук, 1766. С. 3.

¹⁸ Эмин Ф.А. Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, все великия и вечной достойныя памяти императора Петра Великого действия, его наследник и наследников ему последование и описание в Севере златаго века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая. СПб.: Импер. Акад. наук, 1767. С. VI.

ваемый период. Общее место во всех дискурсах — *польза отечеству*, в чем, конечно, нет ничего удивительного. Но интересно то, что этот топос переплетается с темой любви к отечеству: не только потому, что историк из-за этой любви хочет ей принести пользу, но потому, особенно, что любовь к России, которую разделяют автор с одной стороны, читатели с другой, толкает их к любознанию, пробуждает интерес к собственной истории. Отечество потенциально является, таким образом, объектом и субъектом любви и интереса к его истории, абсолютным горизонтом чувствования для историка и читателей. Эта тема особенно важна у Карамзина, для которого она является необходимым звеном, позволяющим перейти от античных историков, иными словами от всемирной истории, интересующей весь мир, к российской истории (а стало быть, и к повествованию самого Карамзина), интересующей преимущественно русских читателей: «Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем»¹⁹.

Карамзинская установка на необходимость учитывать чувства россиян к прошлому своего Отечества наложила сильный отпечаток на последующие истории. Например, Полевой полемизирует с ней в предисловии к своей собственной истории: не воспоминания лежат в основе любви к Отечеству, а гражданские добродетели. История же должна быть беспристрастна и так же интересоваться всеми народами:

Нимало не почитаю Историю России любопытнее других потому, что Россия есть наша родина, что в ней покоится прах наших предков. Любовь к отечеству должна основываться не на детских воспоминаниях, не на детском уважении, какое внушает нам родная сторона. <...> Но порок не заслуживает нашего одобрения, если бы и предок запятнен был сим пороком. <...> В настоящей жизни, в действиях своих мы должны быть сынами отечества, гражданами России...²⁰

Этот завязанный Карамзиным и, очевидно, так никем и не развязанный узел всеобщей и российской истории представлен в том или ином виде во многих предисловиях вплоть до начала XX в.

Судя по всему, с 1830-х годов в историописании (и в «предисловном» жанре, в частности) происходит заметный поворот. Приведем две выдержки из введения к «Русской Истории» Николая Устрялова, причем первая из них снабжена заголовком «Отечественная История». Цель ее является началом самого текста:

¹⁹ Карамзин Н.М. История государства российского. С. 14.

²⁰ Полевой Н.А. История русского народа. С. XXVIII–XXIX.

Русская История, в смысле науки, как основательное знание минувшей судьбы Русского народа, должна объяснить постепенное развитие гражданской жизни его, от первого начала до настоящего времени, с тем, чтобы, разлив свет на главные условия быта общественного и раскрыв, почему они существуют так, а не иначе, указать, какое место занимает Россия в системе прочих государств; какие правила политики внутренней и внешней наиболее были сообразны с ее выгодами; какие причины, как плоды времени и обстоятельств, ускоряли или замедляли успехи промышленности и образованности.

И далее, под заголовком «Значение Русской Истории» автор отмечает: «Как верная повесть всего родного, как завет предков к потомству, объясняя рядом картин гений народа, плоды семян добрых и злых, озаряя в неразрывной цепи веков все отечественное, она раскрывает идею России во всем ее объеме...»²¹

Устрялов начинает с того, что определяет историю как науку, и следовательно его усилия ведут к тому, чтобы очертить предмет этой науки, который диктует одновременно и ее цель. В силу этого античная проблематика правдивости исторического рассказа лишается своей остроты и выступает только в эпитете «верный» («верная повесть»). Зато тема отечества продолжает присутствовать, но на втором плане, в более объективной форме (Устрялов не пишет о «любви») и одновременно — романтизированной (отсылка к «гению народа»). Профессор Санкт-Петербургского университета на вновь созданной кафедре российской истории и одновременно проводник уваровских концепций, Устрялов старается угодить обеим логикам, но явно афиширует свое предпочтение первой.

Этот поворот к истории как науке и предмету университетского преподавания еще нагляднее в 1851 г., в предисловии к «Истории...» С.М. Соловьева, которое начинается так: «Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века, не нужно говорить читателям о значении, пользе истории отечественной; его обязанность предупредить их только об основной мысли труда»²². После чего, как известно, Соловьев уже не возвращается к этой теме, полностью погружаясь в изложение своей концепции, в которой нетрудно усмотреть гегелевскую установку, и заключает его со всей твердостью ученого: «Таков ход русской истории, такова связь главных явлений, в ней замечаемых»²³.

²¹ Устрялов Н.Г. Русская история. Ч. 1. СПб.: Типография Рос. акад., 1837. С. 1–3.

²² Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 2-е изд. Т. 1. СПб.: Изд-во Тов-ва «Общественная польза», [1851]. С. 1–2.

²³ Там же. С. 6.

Установление «главного хода» русской истории стало также главным делом предисловий, тем более если этот ход, намеченный и развитый с давних времен, понимался в духе официальной народности, господствовавшем в некоторых популярных изданиях, таких как «Русская история» В.В. Назаревского. Этот «ход», или, как он позже был обозначен Ключевским, Милюковым и проч., «исторический процесс» (вместе с его содержанием), мог толковаться по-разному, но важно отметить, что часто он был в главных чертах заявлен именно в предисловии (или чаще во введении) — будь то рост государственности и духа у Соловьева, борьба между двумя «укладами», «удельно-вечевым» и «едино-державным» у Костомарова²⁴ или, гораздо позже, процесс «колонизации» (среди прочих) у Ключевского.

Такое направление истории сказывалось на выборе аспектов, которые, по мнению историков, определяли эти исторические процессы. Как известно, главные течения в русской историографии вели к изучению исторических сил, общественных классов и отношений, правовых институтов, быта, культуры. Это вело опять-таки к декларативным заявлениям в предисловиях, иногда более радикальным, нежели эти ориентиры выделялись из самого нарратива. Так, Бестужев-Рюмин пишет еще умеренно в своем предисловии о том, что «старался выдвинуть на первый план государственный и общественный быт, верования и умственное развитие каждой эпохи и сократить изложение событий»²⁵. Тридцать лет спустя Рожков в своем введении спокойно заявляет, что «история и социология занимаются только состояниями», а не отдельными событиями²⁶.

Научная или университетская концепция истории, которая принесла все эти плоды, настолько утвердилась на кафедрах, что дискурсы, подобные изящным карамзинским построениям, стали просто неприемлемы. В первой (вводной) лекции своего курса 1884/1885 г. Ключевский *противопоставлял* знание русской истории и любовь к ней: «...Изучаемая история есть наша, отечественная история. Кажется, мы потому плохо ее знаем, что *очень ее любим*»²⁷. Ему вторил в какой-то мере его ученик Милюков в 1895 г., в своей вводной лекции для второкурсников Московского университета:

²⁴ Костомаров Н.И. Лекции по русской истории. Ч. 1. СПб.: Типография В. Безобразова, 1861. С. 14.

²⁵ Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. СПб.: Изд-во Д.Е. Кожанчикова, 1872. С. II.

²⁶ Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. 2-е изд. Ч. 1. М.: Изд-во Н.К. Шамова, 1905. С. 4.

²⁷ Ключевский В.О. Лекции по Русской истории экстраорд. проф. В.О. Ключевского 1884/1885 ак. г. М.: А.Ф. Гартвих, [1885]. С. 4.

Что история, как простой рассказ о прошедших событиях, может быть приятна, полезна и поучительна, это вы знаете еще со школьной скамьи — из предисловия к «Истории государства Российского». Но вы, конечно, знаете также, что с историей, как наукой, такая история имеет мало общего. Как наука, история, подобно другим наукам, старается найти законы явлений, подлежащих ее изучению, и отыскать в этих явлениях известную правильность²⁸.

А Платонов в своем введении (или в первой лекции) начал с того, что сделал из античных воззрений на историю исторический объект, так что начало лекции превратилось в некий исторический очерк эволюции самой концепции истории, от Геродота до конца XIX в. Любопытно, что когда Ключевский подготовил свой «Курс...» к печати, т.е. для более широкой публики (вышел в первом издании в 1904 г.), он счел нужным добавить в самом начале первой лекции несколько слов, смягчающих его первые, несколько резкие тезисы:

Понятен практический интерес, побуждающий нас изучать историю России особю, выделяя ее из состава всеобщей истории: ведь это история нашего отечества. Но этот воспитательный, т.е. практический интерес, не исключает научного, напротив, должен только придавать ему более дидактической силы.

А в конце второй лекции он вернулся к этой теме, придавая ей уже общественную окраску: «Знание прошлого облегчает <...> выбор»²⁹, имея ввиду злободневные вопросы настоящего.

Мы коснулись лишь нескольких аспектов предисловий историков, хотя исследование можно было бы продолжить, например, анализом историй Украины, в которых (у Рипецкого, Грушевского, Александры Ефименко) важнейшей темой становится взаимоотношение между украинской и русской историей (АЗ). Также представляют безусловный интерес личные темы, объединенные в нашей схеме под рубрикой «Б», — например, когда историки (Татищев, Щербатов, Нехачин, Погодин...) повествуют о тех жизненных трудностях, вплоть до болезней, с которыми они столкнулись, так как подобные откровения могут стать если не топосами, то по крайней мере повторными темами. Нашей целью было показать, исходя из этих примеров, плодотворность такого подхода к предисловию как к жанру. Именно тематическое сопоставление этих текстов позволяет усмотреть в них повторяющиеся, подражательные или оригинальные, старые или новые моменты.

²⁸ Миллюков П.Н. Лекции по введению в курс Русской истории, читанные на Историко-Филологическом факультете Московского университета в 1894-95 акад. году приват-доцентом П.Н. Миллюковым. М.: Изд-во комиссии 2-го курса ист.-филол. ф-та, [1895]. С. 4.

²⁹ Цит. по изданию: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 1 // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1. М.: Мысль, 1987. С. 33, 62.

Ведущей перспективой эволюции жанра исторических сочинений о российском (или украинском) прошлом к началу XX в. стало онаучивание; и это относилось также к стилю, характеру письма или жанровым особенностям текстов. Существенно обогащался и методологический аппарат исследования — в том числе и за счет использования аналитических подходов иных дисциплин. Не только у Ключевского или его ученика Рожкова, но и у историков, менее настроенных на теорию, таких как Платонов, Готье или Багалей³⁰, прежние размышления о взаимосвязи между всеобщей и российской историей (теперь уже «общей» и «местной») переросли в общие дискуссии об отношениях между историей и социологией, а также другими науками.

Проведенный нами анализ позволил в зеркале предисловий увидеть, что наряду с ведущей тенденцией к профессионализации исторического письма (и цеха), в сочинениях по российской истории сохранялся и не исчезал второй стратегический вектор развития истории как отрасли знания — в смысле ориентации на широкую и неспециализированную аудиторию, на тех, кто так или иначе интересуется прошлым своей страны. В этом смысле эволюция истории как дисциплины всегда шире развития ее как только науки. Ведь дисциплинарное измерение включает не только институциональные факторы (положение дел в университетах и Академии наук), но охватывает и эволюцию научных стилей, и рецепцию исторических текстов, и более обширное поле академических и внеакадемических практик. Анализ устойчивых элементов, опробованный на предисловиях, может быть распространен далее, на содержательные элементы и общую «архитектуру» сводных курсов и сочинения по отечественной истории. Например, можно соотнести установки и принципы академически ориентированного университетского курса, масштабного синтетического труда, лекций для «народа» и популярного очерка у одного исследователя (вроде Соловьева или Грушевского) или разных авторов. И самая перспективная задача тут — проследить характер проникновения исследовательских новаций из монографических работ в общие труды, увидеть превращение еще недавно спорного в ныне безусловное, реконструировать порядок изменений дисциплинарного канона и общих образов прошлого.

³⁰ Готье Ю.В. Лекции по русской истории, 1906/1907 уч. год. М.: Типолитография В. Рихтера, 1907. С. 3–6 (1-я лекция); Багалей Д.И. Русская история: Курс проф. Д.И. Багаля, составленный по его лекциям. Ч. I–II. Харьков: Изд-во филол. отд. об-ва взаимопомощи студентов Харьк. ун-та, 1909. См. раздел: Введение в Русскую историю. Глава 1-я. Общие исторические понятия. С. 1–21. Оба эти историка, как и в меньшей мере Рожков, писали свои введения под явным влиянием Ключевского.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: ОБЩИЕ ТРУДЫ ИЛИ КУРСЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ И УКРАИНЫ³¹

I. Истории России

Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым статским советником, профессором химии, и членом Санкт-Петербургской императорской и Королевской шведской академии наук. Ч. 1. СПб.: Импер. Акад. наук, 1766. 140 с.

Эмин Ф.А. Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, все великия и вечной достойныя памяти императора Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере златаго века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая. СПб.: Импер. Акад. наук, 1767. 452 с.

Татищев В.Н. История российская с самых древнейших времен: в 5 кн. Кн. 1. М.: Импер. Моск. ун-т, 1768. 224 с.

Хилков А.Я. [Манкиев А.И.] Ядро русской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князь Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу российского юношества, и для всех о российской истории краткое понятие иметь желающих в печать изданное, с предисловием о сочинителе сей книги и о фамилии князей Хилковых. 3-е изд. М.: Университетская типография, 1799 (1770)*. 472 с.

Щербатов М.М. История российская от древнейших времен: в 7 т. Т. 1. СПб.: Импер. Акад. наук, 1770. 325 с.

Нехачин И.В. Новое ядро российской истории, от самой древности россиян и до нынешних дней благополучнаго царствования Екатерины II Великия, на пять периодов разделенное. Ч. 1. М.: Типография А. Решетникова, 1795. 466 с.

Нехачин И.В. Новое ядро российской истории, от самой древности россиян и до нынешних дней благополучнаго царствования Екатерины II Великия, на пять периодов разделенное. Ч. 2. М.: Типография А. Решетникова, 1795. 492 с.

Стриттер И.М. История Российского государства, сочиненная статским советником и кавалером Иваном Стриттером. Ч. 1. СПб.: Типография Ф. Брункова, 1800. 635 с.

Елагин И.П. Опыт повествования о России. Кн. 1–3. М.: Университетская типография, 1803. 471 с.

Ушаков С.И. Российская история от Рюрика до дней ныне благополучно царствующего государя императора Александра I Павловича, служащая для украше-

³¹ Издания расположены в хронологическом порядке. Каждый раз учитывается первое издание, а также первый том в случае многотомного издания. Если нами было использовано иное (повторное) издание, в скобках и курсивом указан год первого и в некоторых случаях других предшествующих изданий. В случае разных, значительно отличающихся друг от друга публикаций того же автора (например литографированного курса, с одной стороны, печатной книги — с другой), указаны оба издания. Издания, в которых отсутствует предисловие или вводная лекция, помечены звездочкой.

ния сердца и памяти юношества, сочинена по образцу лучших историков нынешнего времени Семеном Ушаковым. СПб.: Типография Ф. Дрехслера, 1811*. 206 с.

Карамзин Н.М. История государства российского: в 12 т. Т. 1. М.: Наука, 1989 (1816). 637 с.

Глинка С.Н. Русская история сочиненная Сергеем Глинкой: в 14 т. 3-е изд. Ч. 1. М.: Университетская типография, 1823 (1817). 228 с.

Кайданов И.К. Начертание истории Государства Российского. 4-е изд. СПб.: Импер. Акад. наук, 1834 (1829)*. 472 с.

Полевой Н.А. История русского народа: в 6 т. Т. 1. М.: Типография Августа Семена при Мед.-хирург. акад., 1829. 368 с.

Погодин М.П. Начертание русской истории для гимназий. 2-е изд. М.: Университетская типография, 1837 (1835). 408 с.

Устрялов Н.Г. Русская история: в 5 т. Ч. 1. СПб.: Типография Рос. акад., 1837. 355 с.

Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории: в 7 т. Т. 1. М.: Моск. об-во истории и древностей рос., 1846. 494 с.³²

Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 2-е изд. Т. 1. СПб.: Изд-во тов-ва «Общественная польза», [1868] (1851). 887 с.

Костомаров Н.И. Лекции по русской истории. Ч. 1. СПб.: Типография В. Безобразова, 1861. 100 с.

Соловьев С.М. Лекции по русской истории орд. проф. С. Соловьева 1867/68 года. СПб.: Лит. Егермана, [1868]. 292 с.

Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. СПб.: Изд-во Д.Е. Кожанчикова, 1872. 742 с.

Иловайский Д.И. История России: в 7 т. Т. 1. М.: Типография Грачева и К°, 1876. 333 с.

Надлер В.К. Курс русской истории. Лекции, читанные ординарным профессором Харьковского Импер. Унив. В.К. Надлером в течение 1879/1880 гг. Харьков: Завед. изд. студ. И. Лессиг, 1880. 608 с.

Мякотин В.А. Лекции по русской истории преподавателя Императорского Александровского лицея В.А. Мякотина, СПб.: Типография Р. Голике, 1882*. 486 с.

Замысловский Е.Е. Лекции по русской истории, читанные проф. С.-Петербургского университета Е.Е. Замысловским в 1884/1885 акад. г., сост. по запискам студентов II курса СПб историко-филологического факультета В. Еленевского, Тыжнова и Зайца. СПб.: Литография Гробового, 1885. 445 с.

Ключевский В.О. Лекции по Русской истории экстраорд. проф. В.О. Ключевского 1884/1885 ак. г. М.: А.Ф. Гартвих [1885]. 252 с.

Коялович М.О. Конспект по Русской гражданской истории, читанный студентам Санкт-Петербургской Духовной Академии в 1888/89 учебном году заслуженным ординарным профессором М.О. Кояловичем. СПб.: Литрография Гробового, 1890. [35 с.]

Трачевский А.С. Русская история: в 2 т. 2-е изд. Ч. 1. СПб.: Изд-во К.Л. Риккера, 1895 (1889). 589 с.

³² Хотя книгу М.П. Погодина нельзя назвать собственно историей России, мы все же включили ее в наш список, ввиду того что автор представил это издание как некий свод, результат всех своих трудов о Древней Руси.

Лаппо-Данилевский А.С. Лекции по русской истории профессора А. Лаппо-Данилевского, читанные студентам 1-ого курса ИИФИ в 1891 г. СПб.: А. Кельберг и П. Леонтьев, 1891*. 157 с.

Белов Е.А. Русская история до реформы Петра Великого. СПб.: Изд-во Л.Ф. Пантелеева, 1895. 480 с.

Милюков П.Н. Лекции по введению в курс Русской истории, читанные на Историко-Филологическом факультете Московского университета в 1894-95 акад. году приват-доцентом П.Н. Милюковым: в 2 т. Вып. 1, 2. М.: Изд-во комиссии 2-го курса ист.-филол. ф-та, [1895]. 684 с.

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. 5-е изд. Ч. 1. СПб.: Изд-во «Мир Божий»; Типография И.Н. Скороходова, 1904 (1896, 1898, 1899, 1900). 293 с.

Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен: в 4 т. 2-е изд. Т. 1. М.: Мир, 1913 (1896)*. 259 с.

Преображенский Г.Н. Полная история российского государства: от времени призвания варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора до ныне благополучно царствующего императора Николая II Александровича. Описание Российской страны и ее обитателей с самого древнего мира до наших дней: в 2 т. Т. 1. М.: Типография О.И. Лашкевича, 1896*. 274 с.

Сторожев В.Н. Русская история с древнейших времен до смутного времени. Вып. 1. М.: Типография И.Д. Сытина, 1898. 657 с.³³

Платонов С.Ф. Лекции по русской истории профессора Платонова, читанные в 1898-99 учебном году на Высших Женских курсах, в Имп. С.-Петербургском университете и в Военно-юридической Академии: в 3 т. Вып. 1. СПб.: Столичная скоропечатня, 1899. 125 с.

Павлов Н.М. Русская история от древнейших времен: в 3 т. 2-е изд. Т. 1. М.: Типолитография т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1902 (1896)*. 412 с.

Назаревский В.В. Русская история: в 13 т. Т. 1. М.: Университетская типография, 1902. 89 с.

Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. 2-е изд. Ч. 1. М.: Изд-во Н.К. Шамова, 1905 (1903). 172 с.

Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 1 // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1. М.: Мысль, 1987 (1904, 1906). 430 с.

Готье Ю.В. Лекции по русской истории, 1906/1907 уч. год. М.: Типолитография В. Рихтера, 1907. 463 с.

Багалей Д.И. Русская история: Курс проф. Д.И. Багаля, составленный по его лекциям: в 2 т. Т. I. Харьков: Изд-во филол. отд. об-ва взаимопомощи студентов Харьк. ун-та, 1909. 217 с.

Багалей Д.И. Русская история: Курс проф. Д.И. Багаля, составленный по его лекциям: в 2 т. Т. II. Харьков: Изд-во филол. отд. об-ва взаимопомощи студентов Харьк. ун-та, 1909. 402 с.

³³ Ввиду того что этот сборник имел систематический характер, а предисловие звучало как программа, мы включили его в список.

Довнар-Запольский М.В. Пособие по истории московского периода. Киев: Изд-во студентов унив. Св. Владимира и слушательниц Высш. жен. кур. г. Киева, [1912]*. 314 с.

II. Истории Украины

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России: в 3 т. 2-е изд. Т. 1. М.: Типография С. Селивановского, 1830. 470 с.

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России: в 3 т. 2-е изд. Т. 2. М.: Типография С. Селивановского, 1830. 296 с.

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России: в 3 т. 2-е изд. Т. 3. М.: Типография С. Селивановского, 1830. 375 с.

Маркевич Н.А. История Малороссии: в 5 т. Т. 1. М.: Изд-во О.И. Хрусталева, 1842*. 388 с.

Рипецкий Ф.И. Иллюстрированная народная история Руси. 2-е изд. Львов: Типография Ставропигийского ин-та, 1905 (1890). 747 с.

Грушевський М.С. Історія України-Русі: в 12 т. 2-е вид. Т. 1. Львів: Изд-во науч. тов-ва им. Т.Г. Шевченко, 1904 (1898). 655 с.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. СПб.: Типография тов-ва «Общественная польза», 1904. 382 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа: в 2 т. Вып. 1. СПб.: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1906. 192 с.

Аркас М. Історія України-Русі. СПб.: Типография тов-ва «Общественная польза», 1908. 385 с.

Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины. СПб.: Просвещение, 1913. 536 с.

ВЫСОКОСТАТУСНАЯ ДИСЦИПЛИНА, НЕЯСНАЯ НАУКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РОССИЙСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.*

Сегодня даже чаще, чем в XIX в., правоведение не рассматривают как одну из «гуманитарных и общественных наук». Исходя из структуры университетских курсов обычно констатируют, с одной стороны, особое, четко отделенное от других дисциплин, положение, которое преподавание права занимает в системе высшего образования многих стран, в частности, США, Европе или России, с другой — указывают на ограниченное и всегда подчиненное положение, которое занимают в подготовке юристов социологические, психологические и даже исторические подходы к праву. Те немногие исключения — учреждения, где преподавание юриспруденции последовательно объединено с изучением гуманитарных и общественных наук, чаще всего относятся к наиболее элитарным институтам, обычно нацеленным не на подготовку юристов в непосредственном смысле слова, а на формирование политической и экономической элиты (Лондонская школа экономики и политических наук, Институт политических исследований в Париже или Высшая школа экономики в России). Подобная обособленность сохраняется, несмотря на то что уже десятилетиями раньше основные гуманитарные и общественные дис-

* Эта глава частично опирается на публикацию автора на французском языке: *Tissier M. Les sociétés juridiques dans l'Empire russe au tournant du XXe siècle: professionnalisation des juristes et culture juridique // Cahiers du Monde russe. 2010. Vol. 51. No. 1. P. 1–30.* Кроме того, она развивает некоторые идеи, в обобщенном виде изложенные в статье: *Тисье М. Юридическое образование и его роль в подготовке административной элиты в России (конец XIX — начало XX в.) // Николаю Алексеевичу Троицкому — к юбилею: сб. ст. / под ред. С.А. Мезина. Саратов: Наука, 2011. С. 339–351.* И наконец, некоторые высказанные здесь мысли обсуждались после выступления автора на конференции, организованной Владимиром Береловичем и Еленой Астафьевой в мае 2011 г. в рамках проекта, финансировавшегося Национальным агентством по организации научной работы: «Становление гуманитарных и общественных наук в России: циркуляция научных моделей и русско-европейские связи, с XVIII века и до 1920-х гг.». Я благодарю организаторов и участников этой конференции за их замечания и предложения, и особенно Александра Дмитриева — за поддержку. Перевод с французского выполнен Т.Н. Эйдельман.

циплины сделали право предметом теоретического изучения и темой эмпирических исследований. При этом авторы работ по психологии, социологии, антропологии и особенно по экономике рассматривают юридические феномены, если можно так выразиться, «извне». А люди, получившие юридическое образование, и профессиональные юристы нередко склонны упрекать подобные ученые притязания в редукционизме.

В целом можно сказать, что совершенно определенный статус права и престиж, которым оно пользуется в кругу академических и учебных дисциплин, никогда не зависели от самих юридических теорий, описывающих право как таковое, его происхождение и логику. И в большинстве случаев юристы по образованию и профессии относятся с насмешкой к дебатам о том, существует ли правоведение как особая наука или нет. Наиболее распространенное среди них представление сводится к убежденности в неустранимой автономии права, не только как дисциплины, являющейся частью образования будущих «профессиональных юристов», но также как особой сферы человеческой мысли, содержание и специфика которой определяются юридическими умозаключениями.

Такое отношение исходит прежде всего из первенства правовой практики по отношению к любой юридической «науке», каким бы ни был смысл этого последнего слова. Безусловно, юридическая наука, в широком смысле этого понятия, существует уже давно, начиная еще с римской эпохи, и она не тождественна праву как набору действующих правил, отражающих определенные нормы¹. Можно сказать и так, что наряду с правом позитивным существует и одноименная дисциплина, изучающая это самое право, т.е. «самое себя». В таком виде право уже очень давно преподается как некая прикладная дисциплина, которая предоставляет служащим (обладающим в зависимости от конкретной страны различным положением) определенные инструменты как для исполнения их обязанностей, так и для работы юридических и административных организаций вообще.

Одновременно с этим, особенно в позитивистском XIX столетии, развивалась и идея о праве как объекте сугубо научного познания. Этот подход мог вступить в противоречие и с исключительно утилитарным видением действующих норм, и с метафизическими представлениями в духе традиционной философии права и справедливости. Что касается юристов, то более или менее известные теоретики права, как, например, Ганс Кельзен, пытались, исходя из эмпирической установки, определить сущностное содержание юриспруденции именно в качестве «науки о праве». Подобная концепция, очевидно, была связана с общими процессами становления гуманитарных и общественных наук модерной эпохи.

¹ См.: *Troper M. La philosophie du droit*. P.: PUF, 2003, где рассмотрены различные теоретические споры о существовании автономной от права «юридической науки», а также краткое изложение дебатов относительно реальной или предполагаемой специфики юридических умозаключений, в частности см. с. 26 и след.

Некоторые попытки подобного рода открыли путь для реального сближения правоведения с такими науками о человеке и обществе, как психология или социология. Однако разделяемый многими юристами второй половины XIX и начала XX в. проект «онаучивания» правоведения не подразумевал единства мнений ни о содержании понятия права, ни о феномене науки как таковой. Реализация этой идеи осуществлялась в рамках споров и столкновений, похожих на эпистемологические и идеологические конфликты в прочих науках о человеке того времени.

Однако 100 лет назад разрыв между представителями правоведения и прочих гуманитарных и общественных наук, пожалуй, был меньше, чем в наши дни (несмотря на постоянные призывы к междисциплинарности, которые сегодня исходят прежде всего от администраторов в академических сферах). Стоит, кроме того, отметить целый ряд ученых, внесших весомый вклад в формирование общественных наук, которые по базовому образованию были юристами. Среди социологов и экономистов — Габриэль Тард, Макс Вебер или Карл Менгер, среди русских обществоведов — Максим Максимович Ковалевский или Богдан Кистяковский, а также Питирим Сорокин или Жорж Гурвич из числа эмигрантов. Юридическая подготовка, разумеется, не была единственной сферой становления будущих специалистов по обществознанию; в разных странах эту роль могли выполнять и другие дисциплины — например, философия в случае Эмиля Дюркгейма или Георга Зиммеля (ученых, сыгравших важнейшую роль в подъеме социологии в начале XX в.). Как бы то ни было, похоже, сегодня намного труднее, чем раньше, отыскать среди ученых, которые позже добились бы признания в гуманитарных и общественных науках, выпускников юридических факультетов (если речь не идет о гибридных отраслях вроде социологии права).

Мало того, возвращаясь к ситуации в России в ключевой период рубежа XIX–XX вв., стоит отметить, что некоторые наиболее глубокие предложения по развитию «единой науки об обществе» (используя выражение историка Александра Вучинича) выдвигались как раз теми авторами, которые усматривали прямую связь этой искомой науки с видением права как социального феномена. Это прежде всего относится к вызвавшему интерес многих специалистов творчеству Богдана Кистяковского², которое следует рассматривать на фоне более ранних или современных ему трудов многих российских исследователей, таких как Сергей Андреевич Муромцев или Лев Иосифович

² *Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia: The Quest for a General Science of Society, 1861–1917. Chicago: University of Chicago Press, 1976. P. 125–152; Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992. P. 342–403; Heuman S. Kistiakovsky: The Struggle for National and Constitutional Rights in the Last Years of Tsarism. Cambridge: Harvard University Press, 1998. См. также: Медушевский А.Н. Диалог со временем: российские конституционалисты конца XIX — начала XX вв. М.: Новый хронограф, 2010. С. 355–386, а также главы о С.А. Муромцеве, Л.И. Петражицком и В.М. Гессене.*

Петражицкий (Леон Петражицкий). Эти ученые были прежде всего юристами. Однако помимо их собственных теоретических взглядов и безусловной близости к новым гуманитарным и социальным дисциплинам, указанных ученых объединяет еще и то, что они вписывали изучение права в контекст более широкого развития знаний о человеке и обществе. Все это должно подтолкнуть нас к более тщательному изучению места права среди других дисциплин во второй половине XIX — начале XX в. При этом речь идет о внимательном исследовании как развития идей, так и институциональных отношений той эпохи. И здесь сразу же следует высказать два соображения.

Первое связано с вовлеченностью многих юристов как в России, так и в других европейских странах, в длительные споры между сторонниками позитивистского подхода к праву и защитниками идеи естественного права³. Важную роль тут сыграло «возрождение естественного права», которое состоялось в конце XIX в. отчасти благодаря усилиям некоторых российских юристов-ученых. Однако следует помнить, что этот конфликт общих установок разворачивался в иной плоскости, нежели двойственное толкование права, с одной стороны, как объекта гуманитарных и общественных наук, с другой, как предмета философской, метафизической рефлексии. И если Богдан Кистяковский (среди прочих) мог сочетать занятия философией права в неокантианском духе с трактовкой юридических норм и ценностей с позиций обществоведения⁴, то другие ученые последовательно отрицали целесообразность рассмотрения правовых проблем с точки зрения социологии⁵.

Второе важное соображение лежит в иной сфере и касается особого — по сравнению с предметами других дисциплин — значения юриспруденции для формирования имперских элит. Юридическое образование воспринималось как общепризнанный путь для административной карьеры, и потому в последние десятилетия существования империи право преподавали в образовательных учреждениях самых разных статусов, включая университеты и элитарные школы. Представители царской администрации в большинстве случаев считали, что в интеллектуальном багаже чиновников различных рангов предпочтение следует отдавать юридическим знаниям. В то же время некоторые проекты реформы и «модернизации» формирования элит, в частности те, что были выдвинуты на рубеже веков Сергеем Витте, ставили под сомнение примат юридического образования. Реформаторы

³ См. прежде всего: *Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism*. P. 4–5.

⁴ См. *Heuman S. Kistiakovsky: The Struggle for National...* P. 47–50; *Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia...* P. 149–151.

⁵ Например, П.И. Новгородцев, который, подобно Кистяковскому, сначала тоже находился под влиянием неокантианской философии, но сделал затем из этих теорий прямо противоположные выводы относительно законности и целесообразности социологического изучения права.

отрицали первенствующий характер этой дисциплины, подвергавшейся в ученых и университетских кругах атакам со стороны представителей экономики и социологии — наук, переживавших в тот момент явный подъем, но все-таки еще слишком слабо вписанных в институциональный контекст высшего образования Российской империи⁶.

Все это необходимо учитывать, рассматривая усиливавшуюся в кругах юристов-ученых той эпохи тенденцию воспринимать право не только как своего рода «искусство» регуляции общества или комплексную образовательную дисциплину, но также и как особую науку. Однако положение дисциплины в целом по-прежнему зависело от официальной регламентации различных форм преподавания права прежде всего в университетах империи, а также в элитных школах, вроде Александровского лицея или Императорского училища правоведения, где в старших классах право являлось основным ядром всего преподавания. Следовательно, крайне важно задаться вопросом о том, каким образом представления о «научном» характере правоведения вписывались в педагогическую, институциональную и собственно исследовательскую деятельность подобных учреждений.

Опираясь на концептуальный подход Пьера Бурдьё, отметим, что разнообразие акторов, участвовавших в процессе производства и распространения знаний, может быть понято прежде всего сквозь призму тех институциональных позиций, которые они занимали в различных местах производства и распространения юридических установок и научных норм. Такой анализ будет основываться на предшествующем изучении преподавания права в университетах Российской империи⁷. Мы же сосредоточим особенное внимание на двух выделенных выше элементах: на участии юристов в спорах о самом определении права и на взаимоотношении права с другими дисциплинами, также способными повлиять на формирование управленческих элит в контексте ускоренного развития системы высшего образования (на фоне экономического роста и обострения социальных и национальных конфликтов)⁸.

⁶ См.: Тисье М. Юридическое образование... С. 346–348.

⁷ Об истории преподавания права в различных учреждениях империи см.: *Silnizki M. Geschichte des gelehrten Rechts in Rußland: Jurisprudencija an den Universitäten des Russischen Reiches 1700–1835.* Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1997; *Томсинов В.А.* Юридическое образование и юриспруденция в России в XVIII столетии. 2-е изд. М.: Зерцало, 2012; *Он же.* Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети XIX века. М.: Зерцало, 2011; *Он же.* Юридическое образование и юриспруденция в России во второй трети XIX века. М.: Зерцало, 2010. См. также: *Уортман Р.С.* Властители и судии. Развитие правового сознания в императорской России / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 93–120; *Wagner W.G.* Marriage, Property, and Law in Late Imperial Russia. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 14–31.

⁸ *Alston P.L.* The Dynamics of Educational Expansion in Russia // The Transformation of Higher Learning (1860–1930): Expansion, Diversification, Social Opening and Professionalization in England, Germany, Russia and the United States / К.Н. Jarausch (ed.). Stuttgart: Klett-Cotta,

Именно поэтому важно проанализировать тогдашние взгляды на взаимоотношения между теоретической деятельностью, характерной для проекта онаучивания правоведения, и практической стороной права. Действительно, понятие «практического» хорошо схватывает наиболее распространенное в то время описание права как рутинной сферы занятий определенных профессиональных лиц или групп (не только юристов!). Здесь невозможно исчерпывающе описать взаимодействия юридической теории и практики в рассматриваемую эпоху, даже если ограничиться только правом как университетской дисциплиной⁹. Однако с самого начала стоит прояснить двойственность использовавшихся в то время терминов и, в частности, принять во внимание тот факт, что распространенное использование слова «наука» применительно к праву у юристов того времени не всегда подразумевало обязательное систематическое обращение к теоретической формализации. Фоном для развития права как академической дисциплины были постоянные, но не всегда эксплицированные расхождения по вопросу о расширенном понимании «науки» применительно к праву (и теоретические или практические акценты в этих спорах были крайне существенными). Мы попытаемся изучить этот вопрос сквозь призму проблем юридического образования и деятельности юридических обществ.

1. Практический смысл преподавания права: педагогика, наука, политика

Прежде всего в нашем исследовании мы хотели бы остановиться на отношениях между теорией и практикой в правоведении, взяв за основу материал одной конкретной дискуссии, которую можно назвать конфликтом по поводу «практических занятий». На заре XX в. в этот спор оказались втянуты не только представители университетских кругов, он также до определенной степени затронул и мир юристов-практиков, связанных с царской администрацией. В конце XIX в. политические волнения среди студентов вынудили власть внимательно изучить преподавание в университетах, особенно на юридических факультетах, и подчеркивать преимущественно практический

1983. P. 89–107; *Timberlake Ch.E.* Higher Learning, the State, and the Professions in Russia // *Ibid.* P. 321–344; *Иванов А.Е.* Высшая школа России в конце XIX — начале XX века. М.: Институт истории СССР АН СССР, 1991; *Дмитриев А.* По ту сторону «университетского вопроса»: правительственная политика и социальная жизнь российской высшей школы (1900–1917 годы) // *Университет и город в России (начало XX века)* / под ред. Т. Маурер, А. Дмитриева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 105–204.

⁹ См. синтетический подход к проблеме в: *Развитие научной юриспруденции // Развитие русского права во второй половине XIX — начале XX века* / Е.А. Скрипилев (отв. ред.). М.: Наука, 1997. С. 242–250.

характер юридического образования. За этим явно стояло опасение, что теоретическая работа, связанная со стремлением ряда университетских профессоров добиться признания права в первую очередь «наукой», может облегчить политизацию преподавания правовых вопросов.

Прежде всего тут необходимо учесть множество типов тех учебных заведений, где право преподавалось и изучалось в России конца XIX в. как фундаментальная дисциплина. Влияло ли это институциональное разнообразие на содержание курсов? Ответ на этот вопрос будет скорее отрицательным. В тот момент содержание преподавания в трех старших классах Александровского лицея и в Императорском училище правоведения более не отличалось от обычных курсов на юридических факультетах. С начала 1880-х годов в Императорском училище правоведения все общие курсы по истории, литературе и естественным наукам, как и изучение языков, были перенесены на первые годы обучения¹⁰. С этого момента училище стало с точки зрения предоставляемого образования эквивалентом юридического факультета в университете. Что касается Александровского лицея, то он сохранил несколько более общий характер преподавания, что объяснялось задачей подготовки будущих администраторов различных направлений (а не только сотрудников ведомства юстиции). Но и там происходила похожая эволюция, так как преподавание в старших классах тоже в основном было отдано правоведческим дисциплинам, составленным по университетскому образцу¹¹. Для преподавания права обе школы использовали сотрудников Санкт-Петербургского университета. Считалось, что профессора читали здесь ученикам менее отвлеченные курсы, чем студентам в университете. Преподавание в этих учреждениях должно было непосредственно готовить будущих бюрократов, а значит, ему следовало быть более техническим, нежели в университете¹². И в самом деле, если эти два петербургских учреждения и отличались от остальных, то прежде всего своей ролью в подготовке правящей касты. Безусловно, их образовательные программы продолжали формально зависеть от статусов этих учреждений, а значит, и от тех, кто их контролировал. Однако принятое решение о согласовании их курсов с университетскими курсами права означало, что дававшееся там юридическое образование косвенно зависело от тех рамок, которые были опреде-

¹⁰ Sinel A. The Socialization of the Russian Bureaucratic Elite, 1811–1917: Life at the Tsarskoe Selo Lyceum and the School of Jurisprudence // Russian History/Histoire russe. 1976. Vol. 3. No. 1. P. 27–28. См. также: Анненкова Э.А. Императорское училище правоведения. СПб.: Посток, 2006.

¹¹ Sinel A. The Socialization of the Russian... P. 28. См. также: Lieven D.C.B. Russia's Rulers under the Old Regime. New Haven: Yale University Press, 1989. P. 108–116.

¹² Sinel A. The Socialization of the Russian... P. 28.

лены университетским уставом 1884 г. Подобная ситуация существовала и в других специализированных учреждениях, готовивших будущих сотрудников царской администрации в провинции. В Ярославле программа Демидовского юридического лицея была такой же, как и на юридических факультетах. Преподавали там начинающие университетские профессора, которые, как было принято считать, немедленно покидали Ярославль, едва у них появлялась возможность занять место на юридическом факультете¹³. И наконец, в Москве вплоть до 1905–1906 гг. программы Катковского лицея определялись Московским университетом.

Следовательно, стоит подробнее выяснить, в чем заключалось преподавание права с точки зрения устава 1884 г. Этот основополагающий документ неоднократно подвергался критике со стороны университетских кругов. Часть преподавателей видела в нем инструмент реакционной политики правительства Александра III, так как он противоречил духу «великих реформ», определившему предыдущий устав, утвержденный в 1863 г. Правительство хотело вернуть себе контроль над университетами и ограничить автономию профессорского корпуса¹⁴. К уставу был приложен и новый список кафедр юридических факультетов¹⁵, при этом из учебных планов исчезли некоторые преподававшиеся ранее предметы (например, история иностранных законодательств — включавшая как историю древнего, так и современного права, — или история славянских законодательств). В частности, было решено, что студентам более не приличествует изучать конституции европейских стран. Историк русского права Е.А. Скрипилев отметил, что министр народного просвещения в своих разъяснениях к университетскому

¹³ Яновский А.Е. Демидовский юридический лицей в Ярославле // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т. 19. СПб.: Семеновская Типолиитография (И.А. Ефрона), 1893. С. 363. См. также: Егоров А.Д. Демидовский юридический лицей: в 2 ч. Иваново: Ивановский инж.-строит. ин-т, 1994.

¹⁴ Текст устава 1884 г. см.: Именной Высочайший указ о приведении в действие общего устава и временных штатов Императорских Российских университетов // Журнал Министерства народного просвещения. 1884. № 10. Отд. I. С. 23–74. См. также: Sinel A. The Classroom and the Chancellery: State Educational Reform in Russia under Count Dmitriy Tolstoy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973. P. 123–129; Vucinich A. Science in Russian Culture (1861–1917). Stanford: Stanford University Press, 1970. P. 183–199; Kassow S.D. Students, Professors, and the State in Tsarist Russia. Berkeley: University of California Press, 1989. P. 27–29.

¹⁵ Список 12 кафедр, из которых состоял факультет правоведения по уставу 1884 г. был следующим: римское право, гражданское право и судопроизводство, торговое право и судопроизводство, уголовное право и судопроизводство, история русского права, государственное право, международное право, полицейское право, финансовое право, церковное право, политическая экономия и статистика, энциклопедия и история философии права. См.: Именной Высочайший указ... С. 41.

уставу 1884 г. ополчился против «разных доктрин и теорий, претендующих на всеобщее значение и именующих себя философскими»¹⁶. Кроме того, новые указания относительно экзаменов по праву предписывали профессорам восхвалять российское самодержавие и прекратить сравнивать его с иными видами государственного устройства¹⁷. По свидетельству М.М. Ковалевского, граф И.Д. Делянов, министр народного просвещения, «приказал преподавателям публичного права и истории права преподавать в соответствии с программой, в которой самодержавие, неограниченная власть российских императоров, объявлялась истинно народным институтом»¹⁸, и заявлять, что единственным источником права и закона является император. Некоторым строптивым профессорам было предложено подать в отставку, а других просто изгнали с тех постов на кафедрах, которые они занимали. Так было с самим Ковалевским, которому в 1887 г. пришлось покинуть кафедру государственного права Московского университета, как и его коллеге с кафедры римского права С.А. Муромцеву тремя годами ранее.

Несмотря на широкое неприятие университетского устава 1884 г., он продолжал действовать вплоть до падения царского режима. Столь длительное формальное действие устава не помешало, как показали специалисты по истории высшего образования в царской России, рассмотрению между 1884 и 1917 гг. многочисленных проектов по реформированию образования. Власти нуждались в эффективной системе преподавания, которая отвечала бы нуждам подготовки компетентных специалистов. Правовые дисциплины на рубеже XX в. стали самыми популярными в университетах¹⁹. С этой точки зрения юридические факультеты оказались предметом особенного внимания. На самом деле студенты-юристы участвовали в волнениях 1899–1901 гг. меньше, чем учащиеся медицинских и особенно «естественных» факультетов²⁰. И все же их участие в политических выступлениях произвело дурное

¹⁶ Цит. по: *Скрипилев Е.А.* О юридическом образовании в дореволюционной России (XVIII–начало XX вв.) // Государство и право. 2000. № 9. С. 83, к несчастью, без указания точного источника.

¹⁷ *Kassow S.D.* Students, Professors, and the State... P. 31, цитирует: Министерство народного просвещения. Экзаменационные требования, правила и программы испытания в комиссии юридической. СПб., 1885. С. 2.

¹⁸ *Kovalevsky M.* Modern Customs and Ancient Laws of Russia: Being the Ilchester Lectures for 1889–90. L.: David Nutt, 1891. P. 119.

¹⁹ *Милюков П.* Университеты в России // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 68. 1902. С. 799.

²⁰ *Kassow S.D.* Students, Professors, and the State... P. 112–113, 134, 167–168: подсчеты автора в основном касаются участия московских студентов в забастовках и демонстрациях 1899–1901 гг.

впечатление, так как большая часть из них должна была поступить на государственную службу для защиты существующего порядка.

Созданная в феврале 1899 г. комиссия во главе с генерал-адъютантом П.С. Ванновским, бывшим военным министром, расследовала причины университетских волнений²¹. В ее отчете, в частности, содержалось педагогическое предложение придать университетскому образованию более «практический» характер, чтобы подтолкнуть студентов к активному отношению к занятиям и отвлечь их от политических соблазнов. Имелись в виду прежде всего юридические факультеты, так как в отличие от медицинских и естественно-научных факультетов здесь учеба не предусматривала никаких «практических работ». У юристов явное предпочтение отдавалось лекционной системе, хотя в специальной литературе предыдущих лет можно было прочесть призывы к введению практических занятий²². Предложение комиссии было тут же подхвачено министром народного просвещения Н.П. Боголеповым²³. На повестку дня было поставлено создание системы практических занятий у юристов, а сделать это было поручено руководству университетов — университетским советам и факультетам, — которые должны были начать их применять. В январе 1901 г. министр уполномочил юриста Ивана Ивановича Янжула, члена Императорской Академии наук, провести специальное исследование с целью выявления числа «практических курсов», введенных в университетах начиная с 1899–1900 гг. Янжул подготовил вопросы для преподавателей юридических факультетов, чтобы получить информацию о новых практических курсах и выяснить их мнение о сравнительных достоинствах подобного преподавания и лекционной системы. В кратком предисловии к брошюре, в которой он позже опубликовал результаты своего опроса, Янжул опроверг слухи о том, что министерство уже продумало технические детали университетской реформы, направленной на повсеместное введение «практических курсов». При этом он при-

²¹ Дмитриев А. По ту сторону... С. 116–118.

²² См., например: Мейер Д.И. О значении практики в системе современного юридического образования. Казань: Университетская типография, 1855; Шапошников А.А. О необходимости и возможности соединения в учебных юридических заведениях теоретического изучения законов с практическим // Архив исторических сведений, относящихся до России. 1860–1861. Кн. 2 / под ред. Н.В. Качалова. СПб., 1861. С. 95–101; Карасевич П.Л. О форме университетского преподавания науки права // Юридический вестник. 1876. № 8–9. С. 81–91; Белогриц-Котляревский А. К вопросу о высшем юридическом преподавании // Юридический вестник. 1886. № 8. С. 563–580; Загоровский А. Практические занятия по гражданскому праву // Юридический вестник. 1888. № 1. С. 72–85; Слиозберг Г. Римское право и практические занятия в юридических факультетах // Журнал гражданского и уголовного права. 1892. № 2. С. 36–79.

²³ Янжул И.И. Роль и значение практических занятий в современном юридическом образовании Западной Европы // Журнал Министерства народного просвещения. 1901. № 11. Отд. IV. С. 1.

знал, что финансирование подобной реформы уже официально рассматривалось соответствующими инстанциями²⁴.

Янжул сыграл важнейшую роль в поощрении этой реформы, но когда в 1901 г. вопрос о преподавании права оказался в центре обсуждения в университетских кругах и в прессе, то на первый план вышел другой, более молодой университетский преподаватель — Петр Евгеньевич Казанский, профессор Новороссийского университета в Одессе.

Отправной точкой для начала споров стала опубликованная Казанским в 1901 г. в Одессе брошюра²⁵, доказывавшая важность «практических курсов» для преподавания права. Возражали ему прежде всего два других молодых преподавателя: уже упомянутый ранее Лев Петражицкий²⁶, профессор юридического факультета Санкт-Петербургского университета, и Владимир Матвеевич Гессен, приват-доцент этого же университета²⁷. Оба они горячо защищали систему лекционных курсов и теоретический характер университетского образования. Они высказывали свое мнение прежде всего на страницах юридического независимого еженедельника «Право», основанного незадолго до этого, в 1898 г. В.М. Гессен был одним из двух официальных редакторов этой газеты, а Л.И. Петражицкий — постоянным и активным сотрудником²⁸. Кроме того, последний вывел полемику за пределы специализированных юридических публикаций, так как он одновременно печатал под собственным именем или под псевдонимом статьи в газетах «Россия» и «Петербургские Ведомости»²⁹. Казанский и Янжул, на-

²⁴ Он же. Отчет о практических занятиях на юридических факультетах восьми русских университетов. СПб.: Типография В. Безобразова и К^о, 1903. С. 4.

²⁵ Казанский П.Е. К вопросу о постановке преподавания на юридических факультетах. Одесса: «Экономическая» типография, 1901.

²⁶ Его биографию см. в: Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism. P. 217–226.

²⁷ См. написанную в то время его краткую биографию: Сперанский В. Гессен (Владимир Матвеевич) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 2/д. 1905. С. 556–557. См. также: Lohr E. The Ideal Citizen and Real Subject in Late Imperial Russia // Kritika. 2006. Vol. 7. No. 2. P. 173–194.

²⁸ Гессен В.М. О постановке преподавания на юридических факультетах // Право. 1901. № 18. Стб. 913–925; № 19. Стб. 959–966; Петражицкий Л.И. К вопросу о реформе университетского преподавания // Право. 1901. № 24. Стб. 1163–1169; № 25. Стб. 1203–1214; № 26. Стб. 1251–1259; № 27. Стб. 1291–1301; № 28. Стб. 1323–1332; Он же. Смешанные системы университетского преподавания // Право. 1901. № 29. Стб. 1363–1378; № 31. Стб. 1427–1442; № 32. Стб. 1459–1466.

²⁹ Он же. К университетской реформе // Россия. 1901. № 746, 748, 750, 754, 755; [Петражицкий Л.И.] Квинтэссенция университетского вопроса // Петербургские Ведомости. 1901. № 123, 125 (статьи за подписью *servus scientiae*, по словам Казанского, цитирующего их в: Казан-

против, защищали свою точку зрения в основном в «Журнале Министерства народного просвещения», что говорит о связи их позиций скорее с резонами образовательного ведомства³⁰. В данном случае, однако, поддержка целей министерства воспринималась как критика несовершенного университетского устава 1884 г. Было бы неверно свести эти споры к простому противостоянию проправительственных и оппозиционных университетских профессоров — например, Гессен опубликовал довольно подробный критический разбор брошюры Казанского в тоже ведомственном «Журнале Министерства юстиции» в марте 1901 г.³¹

Казанский представил доказательства, названные им чисто техническими. Они основывались на общепризнанном — по его мнению — факте: юридические факультеты свою основную социальную задачу не выполняют. Одесский профессор напоминал:

Современные университеты, как иностранные, так и русские, имеют целью не только служение науке, но и подготовку различных специалистов, необходимых для общества и государства. Наш университет — не только академия, но и высшее учебное заведение, даже преимущественно это последнее. <...> Профессора — не только ученые, но и преподаватели. Если чисто научная деятельность их может быть плодотворна только при условии возможно полной свободы, то желательно и должно исследовать вопрос о наиболее целесообразной постановке университетского преподавания³².

Исходя из этого Казанский предлагал систему, сочетающую лекционные курсы с беседами преподавателей и студентов, самостоятельным чтением студентов, с письменными и устными упражнениями и практически занятиями, которые должны были дать возможность студентам лучше

ский П.Е. Вопрос о преподавании права в русской печати в 1901 г. Одесса: «Экономическая» типография, 1903. С. 11). Публикация анонимной брошюры (Замечания читателя по поводу брошюры П. Казанского: «К вопросу о постановке преподавания на юридических факультетах») была воспринята Казанским как часть направленной на него атаки, в которой участвовали также статьи Гессена и Петражицкого.

³⁰ Янжул И.И. Роль и значение...; Казанский П.Е. Еще о преподавании на юридических факультетах // Журнал Министерства народного просвещения. 1901. № 9. Отд. II/2. С. 227–254: публикации этой статьи предшествовало вступление от редакции этого министерского издания (с. 227), где ее появление объяснялось необходимостью ответить на обвинения, и упоминались преувеличенные нападки на брошюру Казанского.

³¹ Гессен В. Рецензия на кн.: Казанский П.Е. К вопросу о постановке преподавания на юридических факультетах // Журнал Министерства юстиции. 1901. № 3. С. 345–350. Впрочем, Казанский опубликовал в этом же журнале своеобразное «опровержение», которое было просто составлено из отрывков из его брошюры; см.: Казанский П.Е. К вопросу о постановке... // Журнал Министерства юстиции. 1901. № 7. С. 314–322.

³² Там же. С. 9.

узнать свою будущую профессию, особенно в том, что касалось судебных органов³³. В.М. Гессен возразил на эти предложения, заявив, что только лекционные курсы делают университетское образование действительно научным. Необходимо усиливать, а не ослаблять его научный характер, пускай и во имя «практических нужд» бюрократической службы, ибо эти потребности не могут определять направление университетской реформы³⁴. Если и приходится сожалеть о недостаточном интересе студентов к науке, то способ исправить этот недостаток никак не связан с сомнениями в необходимости лекционных курсов. Учиться означает «искать истину»³⁵, а обучение в университете изначально подразумевает самостоятельное обучение и добровольное и свободное посещение тех курсов, в пользу которых для себя студенты были убеждены³⁶. Однако Гессен не считал практические занятия совершенно бесполезными, если они организованы параллельно с лекциями и находятся с ними в «органической» связи, проводятся тем же преподавателем или же группой координирующих свои курсы преподавателей³⁷. В этих предложениях, между прочим, содержалась определенная критика существовавших в тот момент форм преподавания на юридических факультетах. Гессен, в частности, призывал к пересмотру организации занятий в самых уважаемых университетах империи, где на одной кафедре были собраны преподаватели, чьи курсы никак между собой не сочетались.

Его коллега Петражицкий еще меньше был склонен к признанию, пусть даже чисто формальному, какой-либо ценности практических занятий. Серия опубликованных им в «Праве» в июне-августе 1901 г. статей была написана наполовину язвительным, наполовину разъяренным тоном, и там он обрушивался с критикой на Казанского, Янжула и некоторых других юристов. Петражицкий рассматривал в духе своих идей и более общие аспекты реформы образования. Он отмечал, что одни и те же люди хотят повсюду ввести практические занятия и позволить лишенным каких-либо связей с университетом «экстернам» сдавать государственные экзамены. Это, на его взгляд, могло породить распространение специальных школ, чьей единственной целью была бы подготовка к подобным экзаменам³⁸, и именно они

³³ Казанский П.Е. Еще о преподавании... С. 229.

³⁴ Гессен В.М. О постановке преподавания... № 18. Стб. 918–920.

³⁵ Там же. Стб. 925.

³⁶ Там же. № 19. Стб. 961.

³⁷ Там же. Стб. 962–963.

³⁸ Кроме того, Янжул предполагал, что в более или менее близком будущем в России возникнут свободные университеты, созданные «по английскому образцу», которые больше

стали бы вредными соперниками подлинно научного университетского образования³⁹.

Казанский усмотрел в этом только полемическое преувеличение и возразил, что ему ложно приписано утверждение о необходимости полной отмены лекционных курсов и замены их практическими занятиями. Он явно не желал выглядеть врагом теоретического изучения права⁴⁰. Казанский и Янжул приводили множество примеров постановки правового образования в иных странах, стремились сделать преподавание более эффективным и лучше приспособленным для воспитания профессиональных юристов.

Янжул показывал, что взятое из немецкой системы использование практических занятий (в частности, для знакомства с правилами судопроизводства с помощью изучения конкретных судебных случаев) уже было достаточно распространено в России⁴¹. Янжул заявлял, что хотя подобные формы деятельности были во второй половине XIX в. забыты, однако повсюду, кроме России, они возникли заново. По его мнению, введение в соответствии с уставом 1884 г. системы гонораров помешало российским университетам последовать за всеобщим развитием⁴². Таким образом вина возлагалась не столько на недостаточное финансирование университетов, сколько на эгоизм отдельных профессоров, жаждавших упрочить свое финансовое положение. Здесь стоит напомнить, что сам Петражицкий был весьма популярным профессором (на кафедре энциклопедии права). Его лекции привлекали такое количество студентов, что гонорары за них достигали невероятных размеров, и он больше всех остальных своих коллег пользовался преимуществами системы гонораров, хотя сам считал ее крайне несовершенной⁴³.

не будут сами выдавать дипломов (а сохранятся лишь государственные дипломы, которые никак не будут связаны с университетскими курсами). См.: С.-Петербургское юридическое общество. Административное отделение // Право. 1901. № 19. Стб. 1000–1001.

³⁹ Петражицкий Л.И. Смешанные системы... № 32. Стб. 1464–1466.

⁴⁰ Казанский П.Е. Ответ проф. Л. Петражицкому о преподавании на юридических факультетах. СПб.: Типография «В.С. Балашев и К^о», 1901. С. 7–8, 27–28.

⁴¹ И Казанский, и Янжул цитировали небольшой труд юриста Д.И. Мейера, считавшегося пионером догматического изучения российского гражданского права, профессора факультета правоведения в Казанском университете в начале 1850-х годов: Мейер Д.И. О значении практики в системе современного юридического образования. Казань: Университетская типография, 1855.

⁴² Янжул И.И. Роль и значение... С. 6.

⁴³ Годовой доход Петражицкого, как университетского профессора, достигал 40 тыс. рублей, см.: Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism. P. 219. Янжул утверждал, что даже в Германии, откуда эта система была завезена в Россию, порядок распределения гонораров в тот момент уже был реформирован, что давало возможность усилить роль практических занятий: Янжул И.И. Роль и значение... С. 8–9.

На первый взгляд, вся дискуссия строилась на целой череде конфликтных диспозиций, противоречивших привычным ролям⁴⁴. «Либералы» защищали университетскую элитарность и привилегии факультетов и не слишком любезно высказывались о своих студентах (большая часть которых была названа «студенческим стадом»). «Консерваторы» критиковали устав 1884 г., защищали педагогические инновации и брали за образец даже университеты таких демократических стран, как Соединенные Штаты. Они придавали большое значение критическому духу, который желательно было бы развивать у российской молодежи именно с помощью практических занятий. Политические инвективы⁴⁵, к тому же сформулированные так, чтобы остаться приемлемыми для цензуры, и воспоминания о недавних студенческих волнениях не могли заслонить в этих дебатах куда более важного столкновения мнений о значении университета в обществе в целом. Этот спор касался роли и положения университетских профессоров, их вклада в развитие знаний и, в частности, в теоретическую разработку вопросов права. Университетские профессора, такие как Гессен и Петражицкий, были уверены в научной ценности своего дела и ставили под сомнение идею реформы, которая могла лишить особого влияния их голоса (в прямом и переносном смысле — как авторитетных лекторов и как членов академической корпорации). Таким образом, они оценивали «речь» ученого совсем иначе, нежели Казанский — тот куда более прозаично полагал, что далеко не все ученые являются прирожденными ораторами⁴⁶. Наконец, возражения Гессена и Петражицкого основывались на специфическом понимании науки. Казанский и Янжул считали себя позитивистами и эмпириками. Казанский был специалистом по международному праву и особенно интересовался новаторскими подходами к заключению государствами первых конвенций о создании международных организаций⁴⁷. Янжул был известен своим эмпирическим подходом и страстью к описаниям. Он с недоверием относился

⁴⁴ Другой пример подобных противоречий в истории российского образования, где как будто менялись местами «либерализм» и «консерватизм», см.: *Слиозберг Г.Б.* Дела минувших дней: записки русского еврея: в 2 т. Париж: Издание комитета по чествованию 70-летнего юбилея Г.Б. Слиозберга, 1933. Т. 1. С. 67–68 (речь идет о спорах о классическом образовании в 1870-е годы).

⁴⁵ *Гессен В.М.* О постановке преподавания... № 19. Стб. 965. Однако Казанский сам обратился против своего оппонента обвинением в политизации дискуссии: *Казанский П.Е.* Еще о преподавании... С. 247–249; *Он же.* Ответ проф. Л. Петражицкому... С. 25–26.

⁴⁶ Там же. С. 8–10.

⁴⁷ См. биографический очерк, составленный в весьма идеализированном духе: *Смолин М.* Путь имперского юриста // Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Изд-во «ФондИВ», 2007. С. 5–19.

к конструированию теорий, которые могли совершенно заслонить реальность, и сам М.М. Ковалевский подчеркивал отсутствие у него интереса к «метафизическим вопросам»⁴⁸. Гессен, напротив, отстаивал философский подход к юридическому образованию. Его взгляды на отношения между «теорией» и «практикой» в процессе преподавания проистекали из общих представлений:

Театральное изображение процессов, посещение юридических кунсткамер, писание «деловых бумаг» и тому подобная «игра в настоящую жизнь» способна заинтересовать лишь поверхностных и ничтожных юношей — юношей, считающих себя «позитивистами» только потому, что они отождествляют безыдейность с позитивизмом⁴⁹.

Петражицкий, который был еще более оригинальным мыслителем, чем Гессен, настаивал на решающем значении общих предпосылок и теоретических проблем для изучения права. Его первые университетские работы (например, диссертация, посвященная акционерным обществам) были основаны на изучении категорий и норм позитивного права; однако он очень скоро стал ориентироваться на разработку подлинно научных оснований правоведения вообще — и не только российского⁵⁰.

Однако защита Петражицким лекционных курсов отражала и его собственный преподавательский опыт. В 1900 г., т.е. вскоре после получения им места профессора, Петражицкий создал научное студенческое общество в Санкт-Петербургском университете, которое занималось изучением философии права. Члены его свободно дискутировали между собой, но в соответствии с характерным для Петражицкого способом академического руководства и его методом преподавания он завершал каждое заседание общества своим выступлением на ту тему, которую обсуждали студен-

⁴⁸ *Озеров И. Янжул (Иван Иванович) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 82. 1904. С. 667–669: можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с «авторизованной» статей, так как Янжул принимал существенное участие в издании этой энциклопедии; Ковалевский М.М. Моя жизнь: воспоминания. М.: РОССПЭН, 2005. С. 169.*

⁴⁹ *Гессен В.М. О постановке преподавания... № 18. Стб. 924.*

⁵⁰ *Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism. P. 217–219. Казанский между тем пытался принизить заслуги Петражицкого, приводя негативные высказывания о его теориях двух выдающихся российских авторов того времени, Б.Н. Чичерина и князя Е.Н. Трубецкого: Казанский П.Е. Еще о преподавании... С. 241; Казанский П.Е. Ответ проф. Л. Петражицкому... С. 18. Аргументы позитивиста Казанского довольно интересны: для того чтобы отразить нападки антипозитивиста Петражицкого, он использует высказывания Трубецкого, сторонника метафизического подхода к философии права и яростного противника юридического позитивизма, который считал, что сам Петражицкий недостаточно резко и слишком поверхностно порвал с позитивизмом...*

ты⁵¹. Теоретические интересы Петражицкого, его представления о праве именно как науке, политические предпочтения, удовлетворение лекторского самолюбия или финансовая заинтересованность в существующей системе — все играло в унисон. Следует ли из этого, что сторонники сокращения лекционных курсов, напротив, были непопулярными преподавателями, недовольными своим положением в университете? С одной стороны, нужно отметить, что лекции Янжула в Московском университете в 1890-е годы также были очень привлекательны для многих слушателей. Еще тогда ученый выступал с инициативой организации на его факультете практических занятий по финансовому праву, что говорит о последовательности его взглядов⁵². С другой стороны, обстоятельства перехода Янжула из Университета в Академию наук были тесно связаны с политическими столкновениями между ним и его студентами⁵³.

И все же идеологический смысл разбираемой дискуссии остается крайне противоречивым — начиная уже с того, что в ней довольно сложно усмотреть четкую официальную линию. Позиция Министерства народного просвещения в начале XX в. не пользовалась поддержкой в Министерстве юстиции. В той мере, в какой дискуссия затрагивала профессиональные вопросы правовой подготовки, в нее оказались втянутыми не только преподаватели и теоретики, но и практикующие юристы. Кроме того, неудовлетворительный характер университетского профильного образования неоднократно отмечался в то время и в административных, и в судебных кругах (они тогда в основном пополнялись именно выпускниками юридических факультетов).

В 1901 г. министр народного образования специально попросил своего коллегу из Министерства юстиции сформулировать недостатки университетского образования в сфере подготовки молодых юристов для их буду-

⁵¹ См.: Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1910 год. СПб.: Типография Б.М. Вольфа, 1911. С. 308–309 (о десятой годовщине научного общества по изучению философии права на факультете правоведения). Другие многочисленные научные общества были затем созданы и представителями иных дисциплин. Количество слушателей, присутствовавших на дебатах, иногда было весьма значительным, от 150 до 500, а иногда 600 человек: Социологическая мысль в России: очерки истории немарксистской социологии последней трети XIX — начала XX века / под ред. Б.А. Чагина. Л.: Наука, 1978. С. 72.

⁵² *Озеров И.* Янжул (Иван Иванович)... С. 668. См. также брошюру, опубликованную с его разрешения во время его преподавания в Московском университете: *Янжул И.И.* Темы и задачи для практических упражнений по финансовому праву. М.: Типография об-ва распространения полезн. кн., 1895.

⁵³ *Он же.* Воспоминания о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. М.: ГПИБ, 2006. С. 323–324.

щей практической деятельности в лоне судебной системы⁵⁴. В этой просьбе особо оговаривалась необходимость постепенного введения в программу обучения практических занятий. Около 20 влиятельных представителей судебной власти, председателей судебных палат (судов второй инстанции) и прокуроров были призваны поделиться своим опытом общения с выпускниками юридических факультетов Российской империи и высказать свои соображения о нужных переменах⁵⁵. Большинство же ответов показало, что судебные деятели не согласились с характером вопросов, заданных Министерством народного просвещения, и не считали, что главная проблема заключалась в дефиците практической подготовки молодых юристов. Четырнадцать юристов-практиков из двадцати пяти считали необходимым сохранить исключительно научный характер занятий⁵⁶, отметив недостаток общей культуры младших коллег (включая несовершенно владение устным и письменным русским языком, плохое знание иностранных языков и слабую теоретическую подготовку)⁵⁷. По их мнению, юридический факультет не должен превращаться в профессиональное училище для подготовки будущих служащих, специализирующихся в определенной сфере. Он не должен пытаться воспроизводить обычные административные и судебные реалии, «ибо практическая подготовка дается жизнью, а не школьной скамьей»⁵⁸. Отвечая в феврале 1902 г. на запрос Министерства народного просвещения, министр юстиции присоединился к мнению большинства. Министр возражал против придания прикладного, узко утилитарного характера практическим занятиям. Их единственной целью должно быть развитие у студентов навыков самостоятельной работы в сфере изучения юридической науки, поскольку-де повсеместно признано, будто

⁵⁴ Дерюжинский В.Ф. Судебные деятели об университетской подготовке молодых юристов // Журнал Министерства юстиции. 1902. № 7. Отд. II. С. 219–236.

⁵⁵ Полные ответы представителей судебной системы находятся в фондах Министерства юстиции: Российский государственный исторический архив [РГИА]. Ф. 1405. Оп. 543. Д. 227. Дело о составлении заключения Министерства юстиции по письму министра народного просвещения о постановке практических занятий студентов на юридических факультетах университетов.

⁵⁶ РГИА. Ф. 1405. Оп. 543. Д. 227. Л. 103–107.

⁵⁷ Что совпадало, например, с мнением, высказанным еще раньше другим юристом-практиком, специально изучавшим компетентность молодых юристов, специализирующихся по гражданскому праву: *Высоцкий К.Г.* О преподавании гражданского права в университетах (заметка практика) // Журнал Министерства юстиции. 1899. № 10. Отд. II. С. 154–159.

⁵⁸ *Дерюжинский В.Ф.* Судебные деятели об... С. 228–230. Другие похожие формулировки, высказанные опрошенными чиновниками, собраны в: РГИА. Ф. 1405. Оп. 543. Д. 227. Л. 106–106об.

«задача университета состоит не в подготовке юриста-практика, а юриста-теоретика»⁵⁹. Привязанность чиновников Министерства юстиции к университетам как очагам умственного развития и святилищам знаний, безусловно, была искренней. Однако они в какой-то мере проводили различие между элитарными учебными заведениями правового профиля (Александровский лицей и проч.) и университетами, открытыми для более широкой публики. Привилегированные школы как учреждения, специализирующиеся на подготовке государственных служащих, не подлежали оценке министерства и почти никогда не обсуждались в прессе.

Каков был результат этих дискуссий? Консультации и споры, к которым властей подтолкнули изначально политические соображения, позволили обсудить вопросы университетской педагогики и задачи юридического образования⁶⁰. В данном случае победа осталась за сторонниками наиболее традиционного и элитарного подхода к отношениям между теорией и практикой. Показательно, что эта точка зрения отстаивалась юристами-учеными с либеральной репутацией — им удалось удержать статус-кво в рамках своей дисциплины. Это будет совершенно ясно, если взглянуть на работу созданной в конце 1902 г. комиссии по реформированию высшего образования.

После оживленных споров 1901 г., эта новая комиссия, занимавшаяся юридическим образованием, уделила проблемам университетской педагогики лишь весьма ограниченное внимание (хотя один из экспертов-докладчиков подробно и увлеченно описывал опыт Германии, где как раз накануне была проведена реформа системы правовой подготовки⁶¹). Самыми существенными предложениями комиссии в том, что касалось профильных факультетов, были лишь идеи усиления научной составляющей юридического образования — чтобы как можно теснее связать его с развитием европейской правовой науки. Но эти предложения комиссии не привели, в конце концов, ни к каким конкретным реформам. Университетские преподаватели, входившие в юридическое подразделение комиссии, одобрили точку

⁵⁹ Дерюжинский В.Ф. Судебные деятели об... С. 233.

⁶⁰ Казанский П.Е. Вопрос о преподавании права... С. 1–2.

⁶¹ Речь идет об еще одном молодом профессоре права, работавшем в комиссии в числе представителей Министерства народного просвещения: Живаго С.И. Университетская подготовка наших будущих юристов. Особое мнение члена Комиссии С.И. Живаго // Труды Высочайше учрежденной комиссии по преобразованию высших учебных заведениях. СПб.: Типография В. Безобразова, 1903. Вып. 4. С. 255–259; Там же. С. 260–291; Он же. Чего недостает в университете нашим будущим юристам? // Русская мысль. 1902. № 10. Отд. II. С. 1–28. Интерес русских юристов к реформе юридического образования в Германии был тогда весьма значительным: Гуляев А.М. Реформа юридического образования в Германии // Журнал Министерства юстиции. 1897. № 10. С. 39–50; Абрашкевич М. О практической и теоретической подготовке судебных деятелей в Пруссии // Вестник права. 1900. № 9. С. 91–106.

зрения Министерства юстиции об исключительно «научном» характере постепенно вводимых практических занятий, что не совпадало с позицией Министерства народного просвещения⁶². В 1903 г., когда уже явно победила позиция сохранения дисциплинарного статус-кво, академик Янжул умерил свои выступления в защиту практических занятий и настаивал теперь исключительно на их педагогической ценности. Он привел некоторые цифры, показывавшие, что студенты юридических факультетов участвовали в университетских волнениях меньше других, подчеркивая вместе с тем, что его предложение реформы не преследовало никакой *полицейской* цели⁶³.

Однако за пределами непосредственно сферы преподавания вопрос об отношениях между теорией и практикой еще яснее ставился юристами, тяготевавшими к другим ученым институтам — к юридическим обществам, которые часто (но не всегда) были связаны с университетами. Предполагалось, что юристы-ученые смогут там услышать, чем заняты практики, чтобы вместе изучать как теоретические проблемы, так и актуальные вопросы законодательства и судопроизводства. Что можно сказать о конкретных занятиях юридических обществ с точки зрения реализации этого интеграционного проекта?

2. Объединение практиков и ученых: несбывшиеся устремления юридических обществ

Одним из острейших моментов дискуссии 1901 г. относительно «практических занятий», безусловно, стало столкновение мнений во время заседания административного отделения Санкт-Петербургского юридического общества. Это было исключительным событием по нескольким причинам. Заседание 24 апреля было посвящено докладу члена отделения В.М. Гессена, изложившего содержание только что опубликованной им в газете «Право» статьи о «практических занятиях». Там он защищал лекционную систему и яростно нападал на профессора Казанского и его недавно вышедшую в Одессе брошюру. Главным противником молодого приват-доцента юридического факультета Петербургского университета на этом заседании был как раз уже упомянутый ранее Янжул. Судя по отчету о заседании, опубликованному все в той же газете «Право», он не оспаривал важное значение лекционных занятий, но в то же время защищал позицию Казанского. Он

⁶² Доклад юридической секции по вопросу о практических занятиях на юридических факультетах // Труды Высочайше учрежденной... Вып. 2. С. 299–300.

⁶³ Янжул И.И. Отчет о практических занятиях... С. 86, 121. В том же году Казанский безуспешно продолжил свою «литературную кампанию», см.: Казанский П.Е. Возрождение изучения права в русских университетах (речь студентам Новороссийского Университета). Одесса: Типография «Одесского листка», 1903.

отметил, что и у лекционной системы есть свои недостатки — прежде всего плохая посещаемость студентов и излишняя зависимость от ораторских качеств профессоров, которые в России оставляли желать лучшего. Точка зрения Гессена получила на этом заседании поддержку другого известного юриста, И.Я. Фойницкого, профессора уголовного права Петербургского университета. Фойницкий разгромил все аргументы Янжула и склонил на свою сторону публику. Кроме того, предложения Янжула были достаточно сурово раскритикованы председательствовавшим на этом заседании знаменитым юристом К.К. Арсеньевым⁶⁴. Он был не университетским преподавателем, а прежде всего юристом-практиком. Выпускник Императорского училища правоведения, Арсеньев стал знаменитым адвокатом и даже «культовой фигурой» адвокатуры, сформировавшейся после судебной реформы 1860-х годов, хотя из-за проблем со здоровьем ему пришлось рано отказаться от адвокатской деятельности⁶⁵. Известность Арсеньеву, помимо всего прочего, принес еще и его талант публициста. Он, в частности, вел судебную хронику в престижном журнале «Вестник Европы». Кроме того, с начала 1890-х годов он был одним из двух главных научных редакторов замечательного интеллектуального предприятия русских ученых того времени — издания энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Там Арсеньев отвечал за весь раздел гуманитарных наук; помимо этого он редактировал публикации, касавшиеся права и политических наук⁶⁶.

Таким образом, во время этого заседания Санкт-Петербургского юридического общества ярко проявились противоречия, интеллектуальные амбиции и общественные устремления, уже заявившие о себе среди юридической общественности того времени — по крайней мере в ее наиболее организованной и заметной части. Арсеньев как юрист-практик принадлежал к одной из двух основных категорий специалистов-правоведов, появившихся в результате судебной реформы, — присяжных поверенных и кадров реформированных судов. Кроме того, он пользовался огромным уважением из-за своих научных заслуг (с 1900 г. был почетным членом Санкт-Петербургской академии наук). В начале XX в. юристы не могли бы найти лучшего места для проведения такой дискуссии с коллегами, чем Санкт-Петербургское юридическое общество. Оно было в тот момент главным, самым многочисленным и престижным юридическим обществом

⁶⁴ С.-Петербургское юридическое общество... Стб. 1000–1005.

⁶⁵ О карьере Арсеньева см.: *Троицкий Н.А.* Адвокатура в России и политические процессы 1866–1904 гг. Тула: Автограф, 2000. С. 96–98.

⁶⁶ По инициативе Арсеньева многие статьи, посвященные праву, были заказаны Гессену. Однако Янжул также участвовал в издании энциклопедии, он отвечал за раздел политэкономии и финансов, который был частью подчиненного Арсеньеву раздела.

империи. Однако это общество стало таковым лишь незадолго до описываемых событий, после того как в 1899 г. Московское юридическое общество было по политическим причинам распоряжением властей закрыто. Стоит кратко остановиться на развитии этих обществ перед тем, как представить более подробно выявившиеся в их деятельности различные установки относительно роли теории и практики в юриспруденции⁶⁷.

Первые юридические общества были основаны в 1860–1870-х годах под влиянием судебной реформы 1864 г. — именно в больших университетских городах (исключений было два: Тифлис и Курск)⁶⁸. Эти общества ставили перед собой задачу объединения специалистов, стремившихся изучать проблемы, порожденные созданием новой юридической и судебной системы, и способствовать распространению юридических знаний⁶⁹. В определенном смысле они создали первое институционализированное пространство для обмена мнениями и дискуссий между учеными и практиками. Вопреки различию профессий — там были университетские профессора, судебные деятели, присяжные поверенные — все члены этих обществ относили себя к *юристам*, которые получили схожее образование и приобрели определенные компетенции в соответствующих высших учебных заведениях⁷⁰. На начало XX в. пришлось новая волна учредительства этих обществ в регионах, как в университетских городах — Харькове, Варшаве, Юрьеве, Томске, Ярославле (где был Юридический Демидовский лицей), — так и в важных центрах имперского судопроизводства и администрации — в Саратове (где

⁶⁷ Основные работы, посвященные юридическим обществам в Российской империи, помимо нашей статьи (*Tissier M. Les sociétés juridiques*): *Миридонова В.С.* Юридические общества в России (1865–1917 гг.): дис. ... канд. юр. наук. Н. Новгород, 2002; *Она же.* Научно-исследовательская деятельность Санкт-Петербургского юридического общества // *Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.* Вып. 1 (5). 2002. С. 59–66; *Горин А.Г.* Юридические общества дореволюционной России // *Советское государство и право.* 1989. № 7. С. 117–123; *Liessem P.* Autonomie in der Autokratie? Die Juristischen Gesellschaften im späten Zarenreich // *Aufbruch der Gesellschaft im verordneten Staat: Rußland in der Spätphase des Zarenreiches* / Н. Haumann, S. Plaggenborg (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1994. S. 242–271.

⁶⁸ О реформаторских настроениях в правовой сфере: *Уортман Р.С.* Властители и судии. Развитие правового сознания в императорской России / пер. с англ. М.: НЛЮ, 2004; *Kucherov S.* Courts, Lawyers and Trials under the Last Three Tsars. N.Y.: Frederick A. Praeger, 1953. P. 21–105.

⁶⁹ См.: *Кистяковский А.Ф.* О значении и цели юридических обществ в правовой жизни нашего отечества и об отношении их к судебной реформе (Речь, читанная 6-го сентября 1880 г. при открытии осенних заседаний Киевского юридического общества) // *Журнал гражданского и уголовного права.* 1881. № 1. С. 1–18.

⁷⁰ О «свободных профессиях» см. особенно: *Balzer H.D.* Russia's Missing Middle Class: The Professions in Russian History / H.D. Balzer (ed.). Armonk: M.E. Sharpe, 1996; важные соображения о процессе «профессионализации» на Западе и в российских обстоятельствах того периода: *Becker E.M.* Medicine, Law, and the State in Imperial Russia. Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2011. P. 5–13, 283.

располагалась судебная палата), Екатеринославе, Екатеринодаре, Баку, Владивостоке или Туле.

Какую роль сыграли эти организации в формировании культурного единства сообщества юристов и их профессиональной солидарности?⁷¹ С учетом двойственного характера права — как административной и судебной практики (связанной с производством и применением норм) и как суммы формализованных знаний (они отсылают прежде всего к определенной образовательной дисциплине) — отношения между юристами-практиками и юристами-учеными находятся в центре этих процессов консолидации. Кроме того, целью как маленьких, так и больших юридических обществ было укрепление отношений между двумя основными категориями юристов-практиков — присяжными поверенными и судебными деятелями — уже за пределами зала суда.

Однако повышение профессионального уровня, обеспечивавшееся подобными обществами, не сводилось только к поддержанию контактов между специалистами по праву и судопроизводству в рамках своего рода клубов, как это было принято в Европе⁷². Изначально задачей юридических обществ было совместное осмысление и изучение права в целом, и практикующие юристы должны были заниматься этим наравне с университетскими профессорами⁷³. С этой точки зрения необходимо отметить, что даже самые малочисленные и удаленные от университетских центров юридические общества (в основном состоявшие из юристов-практиков, адвокатов и кадров судебной системы) с самого момента своего основания заявляли о стремлении действовать как общества научные, по образцу обществ университетских.

Правда, в итоге юридические общества так и не смогли стать инструментом культурного объединения юристов вокруг профессиональной модели саморазвития, в духе судебной реформы 1864 г.⁷⁴ Отчасти это может быть объяснено теми препятствиями, которые создавали на пути их раз-

⁷¹ О хронологии открытия обществ и их географии см.: *Tissier M. Les sociétés juridiques...* P. 9–14 (включая карту распространения обществ на территории империи).

⁷² Это особенно подчеркнуто в диссертации: *Миридонова В.С. Юридические общества в России...* С. 63–65.

⁷³ См. об этой цели обществ: *Кистяковский А.Ф. О значении и цели...* С. 2–3; а также выступления при открытии юридического общества в Харькове 3 февраля 1901 г., особенно Н.О. Куплеваского («О задачах юридических обществ и руководящих принципах их деятельности»), И.М. Тютрюмова («Цели юридических обществ и истории возникновения их в России») и Б.П. Куликова («Об объединении в юридических обществах юристов всех призываний»): Протоколы заседаний Юридического Общества при Императорском Харьковском Университете за 1901 г. Харьков: Типография Харьк. ун-та, 1904. С. 2–7.

⁷⁴ Эта реформа создала институт несменяемых и достаточно независимых (по замыслу) судей и определила права участвующих в судопроизводстве сторон (следует также учесть различные варианты проведения в жизнь этой реформы и возникшие в ходе этого ограничения).

вития власти, первоначально благожелательно относившиеся к установкам 1860–1870-х годов. Тяжелейшим ударом по эффективности этих учреждений было распоряжение 1899 г. о закрытии Московского юридического общества, старейшего из всех существующих (за ним уже давно велось пристальное наблюдение полиции). Это решение было принято после речи, произнесенной во время праздничных мероприятий, организованных обществом в честь 100-летия со дня рождения Пушкина, его председателем, С.А. Муромцевым (он еще в 1884 г. вынужден был оставить кафедру Московского университета⁷⁵). Власти уже до этого составили весьма нелестное суждение о первом съезде российских юристов, созванном в 1875 г. Московским юридическим обществом, и несколько раз отказывали в разрешении на проведение второго съезда, за которым руководители юридических обществ обращались несколько раз подряд в течение 1890-х годов и даже накануне революции 1905 г.⁷⁶ Однако подобный съезд заведомо представлял бы небольшую часть тех, кто по всей империи ежедневно работал в профессиональной юридической сфере. Стоит указать, что дипломы юридических факультетов начиная с 1860-х и вплоть до 1900 г. были выданы примерно 30 тыс. человек⁷⁷. Общества же охватывали по всей стране только элиту юристов-ученых и юристов-практиков, и насчитывали в начале XX в. примерно тысячу участников. Эта неспособность к широкой мобилизации даже в рамках своей профессии прежде всего говорит о слабости и низкой эффективности тех основных инструментов, которыми располагали для популяризации своих работ наиболее влиятельные юридические общества, прежде всего Московское и Санкт-Петербургское. Речь идет о профильных журналах по правовой тематике.

В начале 1890-х годов список специальных юридических журналов был весьма невелик⁷⁸. Определенной долговечностью и высоким научным уровнем публикаций могли похвастаться периодические издания Московского и Санкт-Петербургского юридических обществ. Число подписчиков влиятельного журнала Московского юридического общества «Юридический

⁷⁵ См.: Муромцев С.А. Статьи и речи. М.: Типография об-ва распространения полезн. кн., 1910. Вып. I. С. 27–28; Вып. II. С. 60–61.

⁷⁶ О первом съезде юристов см.: Миридонова В.С. Юридические общества в России... С. 209–217. О запросах на проведение второго съезда см.: Tissier M. Les sociétés juridiques... P. 16–17.

⁷⁷ Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М.: Мысль, 1981. С. 77–78; Timberlake Ch.E. Higher Learning, the State... P. 332. Следует также принять во внимание тот факт, что люди, занимавшиеся в своей жизни правом более или менее профессионально, могли изучать юриспруденцию, но не получить соответствующий диплом.

⁷⁸ См.: Liessem P. Autonomie in der Autokratie?.. S. 261–263; Litzinger H.K. Russland vor der Oktoberrevolution: Juristische Zeitschriften als Plattformen politischer Reformdebatten // Juristische Zeitschriften in Europa / M. Stolleis, Th. Simon (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2006. S. 117–140.

вестник» достигло в тот момент своего максимума — примерно 1100 человек. Однако постоянный надзор со стороны Министерства внутренних дел привел в 1892 г. к закрытию журнала (формально — из-за того что лишь небольшая часть статей была действительно посвящена гражданскому и уголовному праву, а в остальных речь шла о земском самоуправлении, крестьянском безземелье и эксплуатации рабочих капиталистами⁷⁹). Таким образом, с 1893 г. остался лишь издававшийся с 1879 г. Санкт-Петербургским юридическим обществом журнал, имевший примерно 700 подписчиков. До закрытия «Юридического вестника» петербургский журнал в основном был посвящен вопросам частного права; редакция отдавала предпочтение конкретным статьям о законодательстве и деятельности судов, а не теоретическим работам, на которые был ориентирован московский журнал. Последовательная смена редакторов и даже названий журнала (ставшего в 1899 г. «Вестником права») ни к какому увеличению числа подписчиков не привели⁸⁰. Несмотря на серьезнейшие материальные трудности журнал просуществовал до конца 1906 г. и тоже исчез.

По словам юриста Слиозберга, который в 1899–1903 гг. стоял во главе этого периодического издания, «недостаток читателей, но еще больше недостаток юридической продуктивной мысли не давали возможности развития юридического журнального дела»⁸¹. Слиозберг считал, что российские юристы, окунувшись в активную деятельность, теряли связь с научной работой. Практиковавшие адвокаты имели ничтожное представление о науке, «в особенности в провинции». Среди практиков можно было по пальцам пересчитать тех, кто мог бы «сотрудничать в специальном юридическом журнале». Что же касается университетских сотрудников, то, по словам Слиозберга, он был удручен «отсутствием научной мысли», особенно у «профессиональных ученых» по гражданскому праву (он сам специализировался по праву уголовному). Он рассказывал, что, несмотря на свою близость к кругам юристов-ученых того времени, так и не мог — за одним или двумя исключениями — назвать преподавателей гражданского права в Казанском, Харьковском, Одесском и Киевском университетах. По его мнению, было почти невозможно принять для публикации в журнале статьи этих профессоров, поскольку, получив кафедру, те впредь интересовались лишь собственными лекциями. Среди редчайших исключений был назван и Петражицкий, но при этом Слиозберг считал, что Петражицкий «от науки гражданского

⁷⁹ РГИА. Ф. 733, Департамент народного просвещения Министерства народного просвещения. Оп. 142. Д. 1226. О подчинении журнала Юридический вестник просмотру... Л. 1–5об [письмо В.К. Плеве И.П. Десянову, 18 сентября 1892 г.].

⁸⁰ *Litzinger H.K.* Russland vor der Oktoberrevolution... S. 126–129; *Tissier M.* Les sociétés juridiques... P. 20–23, 31–32.

⁸¹ *Слиозберг Г.Б.* Дела минувших дней... Т. 3. С. 18.

права отстал, весь ушедши в теорию права или философию права и созданной им талантливой, но все же далеко не спасительной теории происхождения права». В результате, по мнению мемуариста, Петражицкий оказался двойным исключением — не только среди университетских профессоров (в том числе и на юридическом факультете в Петербурге), так как занимался актуальными исследованиями и создал множество работ, но также и в кругу теоретиков, из-за известной категоричности своего сугубо научного понимания права. Слиозберг задним числом считал развитие юридической мысли того времени крайне ограниченным, особенно сравнивая его с интеллектуальными новациями в естественных науках или экономике⁸².

Конечно, читая эти мемуары, нужно учитывать то разочарование, которое испытывал Слиозберг, вспоминая о своих тщетных усилиях исправить ситуацию на посту редактора журнала. Ведь именно в тот период, когда он руководил периодическим изданием Санкт-Петербургского юридического общества, была основана пользовавшаяся определенным успехом газета «Право». Она с первых же лет XX в. располагала тысячами подписчиков и к началу революции 1905 г. стала важнейшим периодическим изданием, посвященным юридическим и политическим проблемам⁸³. Эта газета играла важную роль и в освещении действительно активно действовавших российских юридических обществ, однако взлет ее популярности произошел на фоне все большей политизации правовых вопросов. В некотором смысле успех либерально ориентированной юридической газеты сильно помешал деятельности такого журнала, как «Вестник права», не обладавшего столь же явно выраженной политической позицией⁸⁴.

Мнение Слиозберга, во всяком случае, позволяет по-иному оценить некоторые преувеличенно хвалебные высказывания о вдохновляющем воздействии юридических обществ на широкую профессиональную среду специалистов по праву в Российской империи, об их успешном выстраивании эффективных отношений между юристами-учеными и юристами-практиками⁸⁵. Эти общества, по нашему мнению, оказались не способны

⁸² Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней... С. 14–18.

⁸³ Об успехе газеты: *Litzinger H.K.* Russland vor der Oktoberrevolution... S. 132–137, и наши соображения: *Tissier M.* Les sociétés juridiques... P. 30–33.

⁸⁴ Мы не затрагиваем здесь весьма важный вопрос об отношениях юридических обществ к существовавшему режиму и к официальной юридической культуре, и отсылаем читателей к нашей статье на французском языке: *Ibid.* P. 26–34. См. также: *Liessem P.* Autonomie in der Autokratie?... S. 264.

⁸⁵ *Levin-Stankevich B.L.* The Transfer of Legal Technology and Culture: Law Professionals in Tsarist Russia // *Balzer H.D.* Russia's Missing... P. 242–243.

реализовать свои первоначальные амбиции, превратиться в действительно профессиональные организации и стать инструментами распространения юридических знаний среди огромного большинства юристов-практиков (и даже среди существенной части правоведов, которые вовсе не составляли единого академического сообщества в рамках империи). В самом деле, активность юридических обществ ни в коем случае не была однородной. Провинциальные неуниверситетские общества в большинстве своем заметно действовали лишь время от времени; многие из них вскоре после своего создания впадали в спячку⁸⁶. Им очень редко удавалось реализовать настоящие исследования или организовывать научные дискуссии, а еще реже — распространять их результаты с помощью журналов, сборников или хотя бы неперIODических публикаций. Наиболее влиятельным из таких юридических обществ внеуниверситетского типа было Кавказское общество в Тифлисе (основанное в 1873 г.). Хотя оно не имело средств для опубликования работ своих членов, его продолжительная деятельность была направлена прежде всего на изучение местных нерусских народов⁸⁷, но не ограничивалась только этим. Многие другие провинциальные юридические общества, как университетские, так и неуниверситетские, также пытались заниматься подлинно ученой деятельностью, исследуя правовые обычаи различных народов по примеру многочисленных географических обществ, посвятивших себя этнографическому изучению империи. Эта ориентация позволяла им завязывать разнообразные отношения с «центральными» юридическими обществами. Так, например, в 1899 г. недавно созданное Екатеринославское юридическое общество обратилось к аналогичной петербургской организации за помощью тамошнего отделения обычного права (созданного двумя годами ранее) для изучения «своих», малороссийских порядков⁸⁸. Но в целом юридические общества очень сильно различались по своей активности и по привлекательности для публики, а также по темам работ и уровню дискуссий⁸⁹. Юридические общества

⁸⁶ Примером может служить деятельность юридического общества в Курске, основанного в середине 1870-х годов, но затем прекратившего реальное существование; оно было возобновлено в ноябре 1897 г., но не успело укорениться в регионе.

⁸⁷ Френкель А.С. Краткий обзор деятельности Кавказского юридического общества за 1873–1898 годы. Тифлис: Издание Кавказского юридического общества, 1898. С. 8.

⁸⁸ Из деятельности юридических обществ...: Екатеринославское юридическое общество // Журнал Министерства юстиции. 1899. № 2. Отд. II. С. 213–214; Юридическое общество при Императорском С.-Петербургском университете за двадцать пять лет (1877–1902). СПб.: Сенат. типография, 1902. С. 4–6, 36–42.

⁸⁹ Деятельность основанного в 1896 г. и связанного с Юридическим Демидовским лицеем Ярославского юридического общества была в начале XX в. весьма скромной и крайне нерегулярной.

в основном продолжали рекрутировать своих членов через кооптацию, что делало установку на повышение профессионализма довольно проблематичной, но и такой ограничительный подход не обеспечивал динамизма, необходимого для серьезного изучения юридических проблем. В самых больших обществах существовали, кроме того, различные категории членов — помимо почетных членов были еще действительные члены и члены-корреспонденты. Учитывалось не то, где проживает член общества, а прежде всего репутация, связанная с университетскими званиями; некоторым членам-корреспондентам разрешалось выступать с сообщениями на заседаниях секций⁹⁰.

Что касается юридических обществ, которым удавалось функционировать регулярно, то можно утверждать, что их неспособность стать более привлекательными для широкой публики профессионалов в сфере права оказывалась подчас оборотной стороной той интеллектуальной открытости, которую они проявляли по отношению к другим дисциплинам. Эти общества были куда более открытыми к теоретическим установкам других наук, чем к заботам и практическим проблемам широких масс профессиональных юристов и к повседневным правовым коллизиям. Исследования, проводившиеся некоторыми юридическими обществами, были по-настоящему оригинальны в плане междисциплинарных поисков. Так, юридические общества, связанные с Московским и Санкт-Петербургским университетами, смогли освободиться от тех строгих дисциплинарных рамок, которые навязывали им университетские уставы. Их деятельность позволила развиваться «новым» наукам, вроде современной экономики или социологии, которые в системе высшего образования в Российской империи отдельными дисциплинами не признавались. В то же время возникает и вопрос о том, насколько проблемы, решаемые этими науками, смогли тогда обогатить собственно правоведение.

Первой из упомянутых дисциплин была экономика, особенно заметно развивавшаяся в Московском юридическом обществе, где в 1882 г. было открыто отделение экономики и статистики. Московские юристы с явным вниманием относились к прогрессу такой науки, как статистика, разрабатывавшейся земскими деятелями; это отделение было создано Московским обществом с разрешения Министерства народного образования как раз

⁹⁰ См.: Устав Юридического общества при Императорском С.-Петербургском университете // Журнал Министерства народного просвещения. 1877. № 4. Отд. I. С. 136–141; Юридическое общество... С. 98–99; Муромцев С.А. Московское юридическое общество за первое двадцатипятилетие его существования (1863–1888). Речь председателя общества, прочитанная в торжественном заседании 13 марта 1888 г. // Муромцев С.А. Статьи и речи. Вып. II. С. 49–55.

для поддержки этих работ в надежде использовать их для развития правовой науки⁹¹. В Санкт-Петербурге ситуация была другой — там уже очень давно действовало Вольное экономическое общество⁹². Это положение дел было нарушено уже упоминавшимся закрытием в 1899 г. юридического общества в Москве. В начале XX в. представители экономической дисциплины все чаще стали оспаривать первостепенную важность юридического образования для подготовки управленческих и хозяйственных кадров, тем более, что статистика и политэкономия по-прежнему преподавались на юридических факультетах. В 1902 г. заседания комиссии по подготовке реформы высшей школы демонстрировали растущее напряжение между экономистами и юристами, ибо первые открыто вдохновлялись интервенционистской политикой в сфере образования, проводившейся Министерством финансов под руководством Витте⁹³. В воспоминаниях этого государственного деятеля сохранились свидетельства о том, как негативно он оценивал рутину юридических факультетов, несмотря на свой интерес к научной стороне права⁹⁴. Недовольство преобладанием юридических материй в подготовке бюрократических элит только возрастало, и институциональные изменения в высшем образовании вынуждали все большее количество ученых-юристов этот факт осознать. Можно предположить, что закрытие в 1899 г. Московского юридического общества еще больше отдалило друг от друга юристов и экономистов. Этот процесс отчуждения развивался, даже несмотря на то, что после открытия в 1910 г. в Москве юридического общества заново, его новый журнал, вышедший в 1913 г. (и взявший прежнее название «Юридического вестника») издавался одновременно и под эгидой созданного в 1912 г. нового экономического общества, названного в честь знаменитого московского экономиста А.И. Чупрова.

Схожим образом обстояло дело с реализованным в Московском юридическом обществе вторым, еще более значимым, дисциплинарным поворотом — на этот раз в сторону социологии. Он пришелся на то же самое время, когда совершался и «экономический» поворот, но уже без создания специальной организационной единицы, каким было отделение экономики

⁹¹ См.: Муромцев С.А. Московское юридическое общество... С. 30–37, 50; *Mespoulet M.* La section de statistiques de la Société juridique de Moscou (1882–1899): un projet d'homogénéisation des méthodes et des outils statistiques // *Journal L'Electronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique — Electronic Journal for History of Probability and Statistics.* 2010. Vol. 6. No. 2.

⁹² *Stanziani A.* L'économie en révolution: le cas russe, 1870–1930. P.: Albin Michel, 1998. P. 25–30.

⁹³ *Тисье М.* Юридическое образование... С. 347–350.

⁹⁴ *Витте С.Ю.* Воспоминания. Т. 3: Детство; царствования Александра II и Александра III (1849–1894). Берлин: Слово, 1923. С. 57–58, 70.

и статистики. Вся система работы общества получила социологическую направленность под влиянием его председателя, Сергея Муромцева. Именно он защищал в среде российских юристов позитивистские идеи, высказывавшиеся в Германии Рудольфом фон Иерингом. Его позиция подверглась суровой критике со стороны других правоведов, принадлежавших, как и Муромцев, к либеральной юридической культуре, но, в отличие от него, исходивших из принципов естественного права. Большинство этих ученых были членами Санкт-Петербургского юридического общества, журнал которого в начале XX в. стал крайне враждебным к позитивистскому направлению в правоведении⁹⁵. Закрытие Московского юридического общества нанесло большой вред позитивистскому течению в правоведении, лишив его наиболее выдающихся представителей значимой и официально признанной площадки для распространения своих теорий. Однако было бы неправильно воспринимать противостояние юридического позитивизма и естественноправового подхода как проявление институционального конфликта Московского юридического общества и его петербургского собрата. После закрытия московской организации Муромцев был, можно сказать, вполне «принят» Санкт-Петербургским юридическим обществом, хотя его деятельность там была абсолютно несопоставима с тем, что он ранее мог осуществлять в Москве.

Необходимо также отметить, что чрезвычайно острые конфликты между приверженцами разных правовых теорий были в значительной степени смягчены в начале XX в. общей борьбой за конституцию и участием многих юристов-ученых в деятельности либеральных политических партий (особенно кадетов). Это не означает, что политическая необходимость вынудила всех к примирению, и все же возникающие в этой среде споры уже не были прямым продолжением прежних теоретических расхождений. Начало проявлять себя более молодое поколение ученых, прокладывавших иные пути и часто находившихся под влиянием обновленных теорий естественного права, но не обязательно враждебных к социологическим рассуждениям. Как раз в Москве после создания нового юридического общества и благодаря возрождению «Юридического вестника» в начале 1910-х годов этот «социологический синтез»⁹⁶ проявился в трудах издателя журнала Богдана Кистяковского.

Научная открытость, проявленная большими «юридическими» обществами, весьма примечательна; можно сказать, что она стала важным фак-

⁹⁵ См.: От редакции // Вестник права. 1899. № 1. С. I–XXX; и ответ одного из учеников Муромцева: *Нечаев В.М.* Вестник права и юриспруденция XIX века // Журнал Министерства юстиции. 1899. № 3. Отд. II. С. 309–350.

⁹⁶ *Vucinich A.* Social Thought in Tsarist Russia... P. 125.

тором подъема гуманитарных и общественных наук в России начала века. Их положение и связь с Московским и Санкт-Петербургским университетами являлись как их сильной, так и слабой сторонами. Сильная была связана с деятельностью определенного числа крупных личностей, обладавших ярко выраженным пристрастием к теоретической работе и весьма высокими научными притязаниями. Слабость же была обусловлена зависимостью от государственного благорасположения или от университетской администрации: первое Московское юридическое общество и прекратило свое существование именно за «политику», а отношения нового общества с властями и осторожными университетскими функционерами в Москве очень быстро расстроились и помешали ему нормально функционировать после 1913 г.⁹⁷ Пример юридических обществ в плане открытости иным дисциплинам был особенно действенным вне университетов, на устройстве которых воздействия тогдашнего подъема гуманитарных и общественных наук отразились лишь в незначительной степени. В области преподавания права, как и других дисциплин, со времен Александра III и до падения царского режима штатная структура этих учреждений и набор университетских кафедр остались в целом неизменными. Между тем общая система высшего образования в целом значительно изменилась в начале XX в., но не в результате структурной реформы университетов или элитных школ, а из-за выросшего разнообразия типов высших учебных заведений.

Эти изменения начались, в частности, под влиянием Витте, который был инициатором создания Санкт-Петербургского политехнического института императора Петра Великого, где существовало весьма влиятельное отделение экономики⁹⁸. Они продолжались и углублялись после революции 1905 г., когда открылись многочисленные неправительственные учебные заведения, например, Психоневрологический институт в Санкт-Петербурге, где работали те правоведы, которые не находили места в царских университетах⁹⁹. В этих новых учреждениях право зачастую преподавалось весьма уважаемыми учеными, но статус этой дисциплины уже не имел ничего общего с преобладающей позицией юриспруденции в императорских университетах.

⁹⁷ См.: Давыдов Н. Юридическое Общество, состоящее при Императорском Московском Университете // Юридический вестник. 1914. № VI (II). С. 303–316. Однако новый журнал «Юридический вестник» продолжал независимо издаваться вплоть до 1917 г.

⁹⁸ Guroff G. The Legacy of Pre-Revolutionary Economic Education: St. Petersburg Polytechnic Institute // Russian Review. 1972. Vol. 31. No. 3. P. 272–281.

⁹⁹ Wartenweiler D. Civil Society and Academic Debate in Russia, 1905–1914. Oxford: Clarendon Press, 1999. P. 189–215.

Таким образом, наибольшую научную активность в начале XX в. проявляли те юридические общества, которые были открыты для горячих концептуальных дебатов того времени. Самые продуктивные сотрудники этих обществ полагались на свои знания и верили в мощь теории, хорошо знали общеевропейские дискуссии в своей сфере, были уверены в своем социальном статусе и предназначении. Зато они не слишком заботились о том, как расширить состав своих обществ за счет привлечения новых когорт профессионалов, что действительно мешало осуществлению изначального проекта интеграции практических знаний и теоретических устремлений в работе юридических обществ и в развитии правовой сферы вообще. Опыт деятельности юридических обществ показывает, сколь значительными были конкретные сложности, стоящие на пути задуманного диалога теоретиков и практиков в правовой сфере, а также причины и факторы организационного поражения этого перспективного проекта.

* * *

Мы попытались продемонстрировать, как важно рассматривать развитие юридической дисциплины на фоне создававшихся и бурно развивавшихся в XIX — начале XX в. гуманитарных и общественных наук. Конкретное изучение вопросов, связанных с преподаванием права и с функционированием юридических обществ, ставит под сомнение постоянно повторяющееся — и в целом не слишком огорчающее самих юристов — утверждение о блестящей изоляции права и как университетской (и практической) дисциплины, и как «чистой» науки от иных сфер социогуманитарного знания.

Теперь уже не вызывает сомнения, что право оказалось тогда полем столкновения разных позиций на двух, резко отличающихся друг от друга, уровнях дебатов по юридическим вопросам. С одной стороны, это философский уровень, где в конце XIX — начале XX в. резко оживилось фундаментальное противостояние между юридическим позитивизмом и теориями естественного права. С другой стороны, это уровень юридической практики, где тогда же определялись важнейшие оппозиции по отношению к действующему праву, а также выявились противоборствующие течения в правовой культуре профессиональных юристов.

В то же время, как мы выяснили, изучив различные виды отношений между теоретическими устремлениями и практическими знаниями в этой сфере, — противоречивый характер права как дисциплины применительно к позднеймперскому периоду следует рассматривать и на третьем уровне. Во время активной деятельности основных юридических обществ этот конфликт «жизни» и «науки» очень часто разрешался в пользу теоретической работы. Тем самым подтверждалась связь наиболее современных юридических исследований с новейшими способами теоретизирования в

гуманитарных и общественных науках. Однако не стоит делать из этого вывод, что наиболее радикальные защитники научного статуса права одержали полную победу, сохранив, как это удалось Петражицкому, автономию своей науки в общей системе дисциплин университетского цикла. Ведь и их оппоненты из ученых-юристов, и элита юристов-практиков, исходя из совсем иных соображений, культивировали тогда замкнутость своего круга («практическая» ориентация преподавания, отстаиваемая научными соперниками Петражицкого и Гессена, этому отнюдь не противоречила). В начале XX в., в эпоху стремления к демократии, передовые правоведы, ориентировавшиеся на сугубо академические дисциплинарные стратегии, оказались обречены так или иначе сталкиваться с весьма проблематичными политическими и идейными дилеммами либерального элитизма.

НАУКОУЧЕНИЕ ЭДМУНДА ГУССЕРЛЯ И КРИЗИС ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ НАУК*

Какова роль философии в процессе дифференциации гуманитарных дисциплин? Этот вопрос заключает в себе тройную интригу. Во-первых, следует указать, в какой мере научная специализация зависит от философских аргументов; во-вторых, необходимо выяснить, насколько сама автономия гуманитарных наук нуждается в философском обосновании; и в-третьих, возникает проблема соотношения научного и философского познания.

Все три вопроса переплелись в рамках знаменитого спора о разделении наук, который разгорелся в немецкой философии на рубеже XIX–XX вв. Традиционно основными участниками спора о разделении наук считаются Вильгельм Дильтей и баденские неокантианцы в лице Вильгельма Виндельбанда и Генриха Риккерта; однако помимо этого в дискуссии приняли участие такие заметные фигуры, как Карл Штумпф, Рудольф Штаммлер, Теодор Липпс, Эдмунд Гуссерль. Институциональное значение этой дискуссии неотделимо от гносеологического. Одной из ее главных задач было уяснение отношений между натуралистической психологией, с одной стороны, психологией за пределами естествознания — с другой, и философией — с третьей¹. Воздействие спора о разделении наук проявилось и в интенсивном использовании его результатов для легитимации разных версий научной социологии². Кроме того, его отзвуки заметны в парал-

* Данное научное исследование (№ 14-01-0204) выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014–2015 гг.

¹ См.: Куш М. Победителю достается все: Философия жизни и триумф феноменологии // Логос. 2004. № 3. С. 167–200; Коллинз Р., Бен-Дэвид Дж. Социальные факторы при возникновении новой науки: случай психологии // Логос. 2002. № 5–6. С. 1–30; Куренной В.А. Психологизм и его критика Эдмундом Гуссерлем // Логос. 2010. № 5. С. 166–182.

² Среди наиболее значимых работ см.: Habermas J. Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982; Lepenies W. Die drei Kulturen: Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. München: Hanser, 1985; Ringer F. Max Weber's Methodology. The Unification of the Cultural and Social Sciences. Cambridge: Harvard University Press, 1997; Давыдов Ю.Н. Неокантианские импульсы теоретико-методологических исканий социологии XX в. // История теоретической социологии: в 4 т. Т. 2 / под ред. и сост. Ю.Н. Давыдова. М.: Канон+, НФ Реабилитация, 2002. С. 259–282.

ельных дебатах о самоопределении, происходивших в исторической³ и экономической науке⁴.

При всем различии позиций авторов, участвовавших в дискуссии, их взгляды в отношении трех отмеченных аспектов во многом схожи. Большинство из них (во всяком случае, на начальной стадии спора) сходилось в том, что:

1) критерии для разделения научных дисциплин не могут быть ситуативными и определяться социально-историческим контекстом существования науки (например логикой полезности), а должны быть дедуцированы из общих принципов разума;

2) естественные и гуманитарные дисциплины равноправны в своем познавательном статусе, однако при этом существенно различаются в смысле некоторого критерия;

3) принципы разделения не могут быть доступны самим наукам, они должны изучаться философией.

В «Споре факультетов» Иммануил Кант, предвидя будущую дифференциацию наук, указал, что философия имеет своей целью «пользу всех наук» и «может обращаться со своими принципами», «как считает нужным»⁵. Такая модель, *mutatis mutandis*, оказывается доминирующей и в период дискуссии об автономии гуманитарного знания. Философия рассматривается как поставщик обоснований для отдельных наук и занимает позицию, аналогичную лукавому кантовскому «низшему факультету», становится методологией и теорией познания, на которой может основываться целостное здание научного исследования мира. Эту модель можно назвать «паритетной»: равноправие между естественными и гуманитарными науками опирается на общее для тех и других философское обоснование, в то время как критерий их разделения является специфическим предметом теории познания.

Впрочем, Кант едва ли считал философию в чем-нибудь низшей по отношению к «прикладным» дисциплинам и резервировал это по видимости подчиненное положение в тактических целях. Точно так же при внимательном анализе можно видеть, что в построениях немецких идеалистов

³ См., в частности, о значении «Истории германского народа» К. Лампрехта для методологии историографического исследования: *Iggers G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert: Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.

⁴ Параллельный «спор о методе» в экономике, определивший ее участь на столетие вперед, ставил перед исторической наукой тот же вызов, что и дискуссия о разделении наук (см.: *Hodgson G. How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science*. L.; N.Y.: Routledge, 2001).

⁵ *Кант И. Спор факультетов // Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 325, 315.*

философия отнюдь не довольствуется ролью методологии, работа которой заканчивается в тот момент, когда частные науки удается обосновать (и, возможно, начинается вновь, когда факты требуют осмысления и обобщения, на которое исследователь-эмпирик уже неспособен). Метанаучная позиция, которую занимает философия, позволяет ей выполнить две функции, жизненно необходимые для гуманитарного знания в этот период, — обосновать, с одной стороны, его научность, а с другой — его специфичность. Именно это решение оказывается весьма эффективным как в теоретико-познавательном, так и в институциональном отношении, а его влияние на самоосознание гуманитарных наук ощущается и по сей день. Вместе с тем для самих фигурантов спора о разделении наук гуманитарные дисциплины, очевидно, намного более значимы, и оттого в паритетной теории, оказавшейся столь полезной для самого разделения, обнаруживаются серьезные противоречия.

Эти противоречия становятся все более явными по мере развития дискуссии. Обычно считается, что основная фаза спора завершилась в 1911 г. вместе со смертью Вильгельма Дильтея: к этому моменту основные позиции были оформлены и задействовались частными гуманитарными науками в их борьбе за институциональное признание. Однако проблематика разделения наук продолжала привлекать интерес философов и после этого, причем в последующей фазе развития теории на первый план вышли проблемы, которым прежде уделялось меньше внимания, — одной из них является статус философии в системе наук. Вероятно, наиболее активно вопросами разделения наук в это время занимались феноменологи: так, для Мартина Хайдеггера эта проблематика стала отправной точкой в «Прологоменах к истории понятия времени» (1925)⁶, а Эдмунд Гуссерль регулярно возвращался к ней, начиная с 1910-х годов и до конца жизни.

Философия науки Гуссерля позволяет наиболее показательным образом продемонстрировать трудности дисциплинарной модели, которая утверждается силами теории разделения наук и придает легитимность сразу нескольким проектам гуманитарных дисциплин. Задача этой модели состояла в том, чтобы средствами метанаучной рефлексии обосновать, с одной стороны, радикальную гетерогенность, а с другой — равноправие естественных и гуманитарных наук. У тех и других имеется общее основание, по отношению к которому определяется их специфика. В версии Дильтея этим основанием является опыт, который членится на внешний и внутренний⁷, у Риккерта — действительность, в которой можно искать универсальное (как

⁶ Хайдеггер М. Прологомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 1998.

⁷ Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Алетейя, 1996. С. 16.

это делает естествознание), а можно — индивидуальное, специфическое (как это делает историко-гуманитарное познание)⁸, у Гуссерля — бытие, которое подразделяется на онтологические регионы.

Во всех этих случаях позиция, с которой становится заметным это различие, — это точка зрения философии. Однако каждый раз попытка найти для самой философии место в выработанной системе онтологических категорий приводит к тому, что философия оказывается по одну сторону базового онтологического различения. В результате баланс нарушается, и симметрия между естествознанием и гуманитарной наукой исчезает.

Развитие философии жизни Дильтея предполагало не только примат внутреннего опыта над внешним, но и ликвидацию противопоставления субъекта познания его предмету; лишь таким образом можно решить главную задачу — «понять жизнь из самой жизни»⁹. Аналогичным образом в философии Риккерта попытка решить проблему разделения наук с позиций трансцендентализма была подчинена грандиозному проекту философии истории: неслучайно субъективные переживания, специфицированные Дильтеем как собственная предметная область наук о духе, у Риккерта оказались в сфере компетенции философии, так что подлинного познания «великого телеологического комплекса действительности» достигала именно философия истории¹⁰. Потребность в науке о духе заявлялась самим субъектом истории, и независимо от того, как понимался этот субъект — как народ, как европейская цивилизация или как человечество в целом, — исследователь искал гарантии познания в единении с ним.

Позиция Гуссерля в этой дискуссии заслуживает особого внимания. Приступив к выработке собственной концепции, по сути, уже после смерти Дильтея, Гуссерль испытал заметное влияние как великого берлинского философа, так и баденских неокантов. Гуссерль усвоил их сформировавшиеся идеи и в то же время разработал собственный подход к проблеме разделения наук. Он перенял у Дильтея и Риккерта паритетную теорию, но в процессе ее разработки столкнулся с рядом трудностей, которые показали, что на теоретическом уровне граница между ролями философа и ученогуманитария оказывается весьма зыбкой. В данной работе мы рассмотрим концепцию Гуссерля в контексте спора о разделении наук и продемонстрируем, что развитие паритетной теории разделения наук, использовавшей-

⁸ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб.: Наука, 1997. С. 223.

⁹ Dilthey W. Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Erste Hälfte. Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften // Dilthey W. Gesammelte Schriften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. Bd. 5. S. 4.

¹⁰ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 514.

ся для дифференциации дисциплин, обнаружило ее внутренние противоречия. В конечном счете эти противоречия привели к наблюдавшемуся на рубеже XX–XXI вв. переоформлению границ между различными классами наук, с одной стороны, и между наукой и философией — с другой.

1. Предметности и модусы их данности

Общей для Дильтея, баденских неокантианцев и Гуссерля темой стали статус и метод психологии, и интерес Гуссерля к проблематике разделения наук вырос именно из попыток противостоять психологизму — первый том его «Логических исследований» посвящен освобождению чистой логики от психологизма, сводящего законы логики к законам психологии. Уже разрабатывая в начале 1910-х годов трехтомный проект «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии», Гуссерль предполагал посвятить отдельный том изложению своего взгляда на разделение наук¹¹. В 1911 г. в статье «Философия как строгая наука» Гуссерль обсуждал вопросы, напрямую связанные с полемикой вокруг разделения наук, и распространил критику психологизма в области логики на натурализм в целом и на психологический натурализм в особенности. Опасность натурализма, считал он, состоит в том, что в результате применения экспериментального метода к психическим явлениям внутренний опыт смешивается с опытом, данным естествоиспытателю. Из-за этого от рассмотрения ускользает вопрос о способах данности этого опыта. Если сознание понимается по аналогии с данной в естествознании природой, то натуралистическая психология не в состоянии обнаружить интенциональность сознания, тот факт, что оно непременно является «сознанием о чем-либо». А в отсутствие такого анализа структур, присущих сознанию, сама психология неизбежно руководствуется предпонятиями, полученными из наивного опыта и потому незаметно перетекающими в результат исследования. Там, где естествознание правомерно отвергает наивный опыт, усматривая во всех феноменах природу, скрепленную каузальными связями, натуралистическая психология, напротив, ста-

¹¹ Этот проект так никогда и не был реализован. Первая часть второй книги, посвященная разработке феноменологического взгляда на природу и дух, не удовлетворяла Гуссерля, постоянно разрасталась, многократно перерабатывалась, была в итоге выпущена лишь после его смерти под названием «Идеи II» на основании рукописей, собранных ученицей Гуссерля, Э. Штайн, и в настоящий момент готовится к переизданию. Вторая часть второго тома, посвященная отношениям между феноменологией и другими науками, напротив, после 1912 г. уже не изменялась; она также увидела свет посмертно, под названием «Идеи III», и почти не содержит рассуждений о науках, о духе, так как к моменту ее написания Гуссерль еще не подготовил соответствующий элемент «Идей II», посвященный конституции духовного мира.

новится жертвой донаучных предрассудков, поскольку, желая быть наукой о феноменах, она подменяет их естественно-научной природой¹².

Очевидно, в этой части Гуссерль в значительной степени воспроизводил аргументацию Дильтея в пользу разделения наук: его возражения вызывало неправомерное применение естественно-научного метода к предмету, который устроен принципиально иным образом, что фактически ведет к игнорированию психического как самостоятельной области исследования. С точки зрения Дильтея, решающим аргументом в пользу существования собственной предметной сферы наук о духе является нередуцируемость внутреннего опыта к внешнему:

Пока никто не заявит, что он в состоянии вывести всю ту совокупность страстей, поэтических образов, творческого вымысла, которую мы называем жизнью Гете, из строения его мозга и из свойств его тела, сделав ее таким образом более доступной пониманию, самостоятельный статус подобной науки не будет оспорен¹³.

«Жизнь Гете» значима лишь в своей целостности и взаимосвязанности — она не разложима на отдельные психофизические элементы, между которыми следовало бы искать причинно-следственные связи. Более того, эта целостность изначально доступна человеку в опыте, для ее восприятия не требуется никакой дополнительной синтез. Если же представлять ее как состоящую из отдельных ощущений, то это грозит двумя следствиями. Во-первых, самостоятельность этой жизни как возможного предмета исследования будет утеряна — именно это происходит в результате распространения позитивизма на исследование человека. Во-вторых, без внимания останется сам факт исходного единства сознания, из которого только и проистекает возможность любой аналитики, любого построения гипотез, которые объясняли бы взаимосвязь отдельных атомов, — иными словами, структура опыта будет поставлена с ног на голову. Наблюдение о взаимосвязанности внутреннего опыта привело Дильтея к необходимости дополнить различие наук по предмету различием по методу:

Метод объяснительной психологии возник из неправомерного распространения естественнонаучных понятий на область душевной жизни и истории <...> живую связь души мы приобрели не путем постепенного испытания. Связь эта есть жизнь, которая налицо — до всякого познания¹⁴.

¹² Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. С. 696–702.

¹³ Дильтей В. Введение в науки о духе // Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 285.

¹⁴ Дильтей В. Описательная психология. С. 92–93.

Вслед за Дильтеем Гуссерль подчеркивал, что реакция на натурализм призвана реабилитировать переживание как особый вид опыта и ту науку, которой следует заняться исследованием внутренней структуры переживаний:

Что «есть» психическое, не может сказать нам опыт в том же самом смысле, который имеет значимость по отношению к физическому. Психическое не есть познаваемое в опыте как являющееся: оно есть «переживание», в рефлексии созерцательно усвояемое переживаний¹⁵.

Несмотря на такое согласие с Дильтеем, в той же работе Гуссерль выступил с критикой историзма, который он связывал именно с ним. С точки зрения Гуссерля, разрабатывавшийся Дильтеем анализ мировоззрений и исторически ограниченных философий прокладывал прямой путь к крайнему скептицизму. Поэтому точно так же, как и натурализм, историзм не давал возможности объяснить феномены в их объективной значимости, т.е. понять, как эта объективная значимость вообще возможна. Между тем именно это, с точки зрения Гуссерля, должно было являться целью настоящего наукоучения.

В рамках этой критики Гуссерль не принял в расчет последнюю работу Дильтея, «Построение исторического мира», в которой был совершен существенный поворот к анализу объективной значимости предметов внешнего мира через их вписывание в более широкий контекст общественно-исторического мира. Дильтей пытался справиться с тем, что в его ранней концепции описательной психологии, ориентированной на изучение внутреннего опыта методом понимания, герметично замкнутый внутренний мир, созерцаемый психологом-гуманитарием, оказывался не способен наделять предметы внешнего мира значимостью, которая консолидировала бы монады посредством механизмов транспозиции. Слой опыта, объединяющий отдельные микрокосмы, возможен, только если духовный мир является по существу общественно-историческим и содержание внутреннего опыта изначально внутренне согласовано. В этом случае изучать внутренний опыт не означает всматриваться в себя с намерением схватить единство волевых и мыслительных актов; это единство следует искать в более широком контексте общественно-исторической жизни, а соответствующая работа приобретает герменевтический характер. В связи с этим позиция позднего Дильтея была ориентирована на изучение духовного мира как мира исторического. Средства для такого анализа могла предоставить только герменевтика. Понять взаимосвязи, данные во внутреннем опыте, Дильтей считал возможным только через их соотнесение с более широким контекстом взаимосвязей истории — точно так же, как понять текст можно

¹⁵ Гуссерль Э. Философия как строгая наука... С. 703.

только в его связи с контекстом. Это не означало исторической детерминации содержаний внутреннего опыта — напротив, Дильтей стремился показать, что по-настоящему великие произведения искусства и исторические личности не следуют слепо велениям судьбы, а формируют общественно-исторический мир, сами задают этот контекст (поэтому его инструментарий был ориентирован в первую очередь именно на изучение великих индивидуумов):

Однако история литературы и поэтика имеют дело лишь с отношением этой чувственной связи слов к тому, что ими выражено. И это является решающим: не внутренние процессы в голове поэта, а создаваемая, но в то же время и отделимая от них взаимосвязь¹⁶.

В конечном счете, исследование, руководимое такими принципами, преследует цель наиболее целостного воссоздания мировоззрения, характерного для определенной исторической эпохи, — воссоздания, которое не ограничивается поиском вложенных автором или исторической личностью значений, но понимает объективные продукты деятельности лучше самого действующего, более целостно.

Однако и это решение позднего Дильтея вряд ли удовлетворило бы Гуссерля, для которого принципиальной задачей было сохранение сознания как поля психологического исследования интенциональности¹⁷. С точки зрения Гуссерля, проблема объективной значимости должна быть решена путем вскрытия универсальных структур сознания, а не через герменевтическое истолкование исторической жизни в ее единстве. Общественно-исторический мир не следует принимать как предданный; напротив, следует объяснить саму возможность его конституирования как мира для определенной общности.

Таким образом, для Гуссерля идея разделения наук изначально имела принципиальное значение, поскольку в отсутствие такого разделения естественно-научный метод поглотил бы сознание как предмет психологического исследования. Несмотря на то что Гуссерль, как кажется, следовал за Дильтеем в проведении границ наук сообразно предмету исследования, он с самого начала сформулировал отдельную задачу исследования этих предметов («предметностей») в способе их данности. Разграничение частных наук и выбор адекватного для каждой из них метода исследования должны были базироваться на прояснении соответствующих предметностей.

¹⁶ Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе / пер. с нем. под ред. В.А. Куренного // Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М.: Три квадрата, 2004. С. 129.

¹⁷ Jalbert J. Husserl's Position between Dilthey and the Windelband–Rickert School of Neo-Kantianism // Journal of the History of Philosophy. 1988. Vol. 26. No. 2. P. 284–285.

Этот путь в определенной мере наметил ранее К. Штумпф, который предложил собственную классификацию наук, построенную под влиянием «Логических исследований» и оказавшую впоследствии воздействие на выработку подхода к этой проблеме самим Гуссерлем. Штумпф в целом сохранил идею Дильтея о разграничении наук по предмету: науки о природе имеют дело с процессами, которые в каузальном отношении лежат в основании всех явлений, в то время как науки о духе — с процессами, которые «вводятся в игру самими явлениями»¹⁸. При этом, однако, Штумпф особым образом понимал «предмет»: «Построение предметов в нашем смысле, под влиянием повседневного опыта, относится к предыстории научного мышления. Наука уже заранее находит различные предметы»¹⁹. Таким образом, уже Штумпф указывал на то, что предметы конституируются в повседневном опыте, в результате чего оказываются для науки предданными. В то же время Штумпф не следовал за Гуссерлем в ключевом различении, которое намечено в «Логических исследованиях», — различении предметностей по способу их данности. Именно исследование этого различения и должно было, согласно Гуссерлю, прояснить предметности различных наук, как они обнаруживаются уже в донаучном опыте.

Такую задачу могла решить только специальная дисциплина, способная описать способ данности каждой из этих предметностей исходя из знания о данности мира в целом.

Все роды сознания, как они, так сказать, телеологически собираются под названием познания или, вернее, группируются соответственно различным категориям предмета — как специально им соответствующие группы функций познания, — должны быть подвергнуты изучению в своей существенной связи и в своем отношении к им соответствующим формам сознания данности. <...> Смысл высказывания о предметности, что она есть и познавательным образом проявляет себя как сущее и притом сущее в определенном виде, должен именно из одного только сознания сделаться очевидным и вместе с тем без остатка понятным. А для этого необходимо изучение всего сознания, так как оно во всех своих образованиях переходит в возможные функции познания²⁰.

Если Дильтей считал возможным на основании различения предметностей (видов опыта) перейти собственно к изучению конкретных духовных структур в расчете получить в результате целостную исторически фундированную философию, то Гуссерль ввел дополнительное поле исследования —

¹⁸ *Stumpf C. Zur Einteilung der Wissenschaften. Berlin: Verlag der königlichen Akademie der Wissenschaften, 1907. S. 23.*

¹⁹ *Ibid. S. 10.*

²⁰ *Гуссерль Э. Философия как строгая наука... С. 686.*

поле сознания предметностей. Ему соответствовала феноменология как дисциплина, которая рассматривала сознание в его интенциональности.

Можно сказать, что концепция Гуссерля сочетала в себе позиции Дильтея и Виндельбанда—Риккерта. Первую из них принято обозначать как «разделение по предмету», а вторую — как «разделение по методу», однако это не вполне удачные обозначения уже потому, что для обеих теорий различие предметов немедленно влечет за собой различие методов, и наоборот. Если обратиться к различиям в подходах Дильтея и неокантианцев, то более очевидным представляется акцент на объективной двойственности мира в случае Дильтея (остаточный картезианский дуализм, от которого Дильтей стремился избавиться) и на конституирующей роли субъекта в случае неокантианского подхода. Ключевым для Риккерта являлось различие видов «познавательного интереса» к действительности: в естествознании этот интерес направлен на поиск универсального, в историческом (культурно-научном) познании — на постижение индивидуального, специфического²¹. Для Гуссерля различие видов направленности сознания на мир (риккертовскому «интересу» у Гуссерля во многом синонимично понятие «установки») соответствовало различию видов объективной действительности. Выражаясь феноменологически, между интенцией сознания и опытом мира устанавливается необходимая корреляция, и объяснить ее способна только феноменология, которая занимается исследованием конституирования предметностей.

Когда Дильтей в 1911 г. упрекнул Гуссерля в том, что тот занимается метафизикой, Гуссерль без колебаний отмел этот упрек, указав на то, что его метафизика не имеет ничего общего со спекуляциями о «вещах-самих-по-себе»²². Этот ответ, по-видимому, не вполне убедил Дильтея²³, и причина состояла в том, что на тот момент в метафизике Гуссерля действительно не был поднят вопрос об отношении философского познания к данному нам миру²⁴. Именно обсуждения и решения этой проблемы ожидал Дильтей;

²¹ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 223.

²² Husserl E. Briefwechsel. Philosophenbriefe // Husserliana Dokumente VI. Dordrecht: Kluwer, 1994. S. 48.

²³ «Мы едины против положения о том, что за данной нам действительностью имеется что-то само-по-себе. И все же пусть различие между нами, которое я обозначил в своем предыдущем письме, останется в силе до Ваших дальнейших публикаций...» — писал Дильтей (Husserl E. Briefwechsel. Philosophenbriefe... S. 51).

²⁴ О предвестниках метода феноменологической редукции в первом издании «Логических исследований» см.: Lavigne J.-F. La réduction phénoménologique dans les Recherches Logiques selon leur première édition, 1901 // Alter. Revue de phénoménologie. 2003. No. 1 (La réduction). P. 23–50. Автор считал, что зачатки метода следует искать не в относительно случайном употреблении Гуссерлем слова «редукция», а в попытках приостановить полагание трансцендентных объектов.

она не была однозначно решена Гуссерлем никогда, однако в развитии его мыслей мы можем проследить определенную полемику с Дильтеем. Задача интуитивного обретения аподиктического знания могла восприниматься как претензия на доступ в область трансцендентного (и действительно воспринималась так многими последователями Гуссерля)²⁵. Но по мере того как Гуссерль приходил к пониманию окружающего мира как изначально данного духовного мира, отношение феноменологии к духовному миру проблематизировалось. Феноменологическое предприятие начинало рассматриваться как начинающее с духовного мира, отталкивающееся от него, а не просто тематизирующее его.

Гуссерль следовал за Дильтеем в определении психологии как науки о духе (причем науки фундаментальной) и в выборе «духа» (а не «культуры», как у Риккерта) для демаркации границ естествознания. Однако речь здесь идет не просто о том, что «Гуссерль понимал категорию духа как конституируемую не натуралистически»²⁶, но о том, что понятие «духа» у обоих мыслителей стало играть решающую роль в решении последних философских вопросов. По словам Карела Кейперса, произошел «немаловажный сдвиг в концепции феноменологии и понимании ее целей. Этот сдвиг состоит в усвоении идеи всеобщей науки о духе как нового, лучшего и дальше ведущего пути в феноменологию»²⁷. Сам Гуссерль признал уже в «Идеях II», что «не науки о природе, но науки о духе ведут в “философские” глубины; потому что философские глубины — это глубины последнего сущего»²⁸.

²⁵ По мнению Боба Сэндмейера, критика со стороны Дильтея была вызвана тем, что он не мог знать о «трансцендентальном повороте» в творчестве Гуссерля, так как Гуссерль-феноменолог к тому моменту не опубликовал ничего, кроме «Логических исследований» и «Философии как строгой науки». Не зная об идее «трансцендентального очищения», Дильтей неверно понял метод гуссерлевой философии (*Sandmeyer B. Husserl's Constitutive Phenomenology: Its Problem and Promise.* N.Y.; L.: Routledge, 2009. P. 44–45). Но едва ли осведомленность о трансцендентальной феноменологии что-то изменила бы в дильтеевской оценке, поскольку настоящий предмет его критики не понятие «сознания», а отношение философа к миру. Для Дильтея любое суждение находится в историческом контексте, и достижение абсолютного знания возможно только в рамках духовного исторического мира, путем понимания жизни, к которой это знание принадлежит; ведь науки о духе появляются из задач, которые ставит сама жизнь (*Дильтей В. Построение исторического мира...* С. 123). Позиция Гуссерля в «Идеях» — позиция философа, созерцающего дух как конституированный в трансцендентальном сознании, — вызвала бы тот же упрек Дильтея в метафизичности (см. также: *Makkreel R. Dilthey: Philosopher of the Human Studies.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992. P. 275).

²⁶ *Konopka A. The Role of Umwelt in Husserl's Aufbau and Abbau of the Natur/Geist Distinction // Human Studies.* 2009. Vol. 32. P. 322.

²⁷ *Kuypers K. Die Wissenschaften vom Menschen und Husserls Theorie von zwei Einstellungen // Analecta Husserliana.* 1971. Bd. 1. S. 187.

²⁸ *Husserl E. Ideen II. Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution // Husserliana IV.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1952. S. 366.

2. Феноменологическое прояснение региональной структуры бытия

Проблема разделения наук оказывается неразрывно связанной с гуссерлевой идеей системы наук и поиском места в этой системе для двух дисциплин, которые он стремился утвердить в качестве таковых, — феноменологической («рациональной») психологии и феноменологической философии. Создание такой системы требовало основательной переработки сложившихся дисциплинарных границ. Ведь открытие сознания как поля, неподвластного изучению естественно-научными методами, имело как минимум два важных следствия: во-первых, необходимость построить науку, которая изучала бы сознание на предмет разьяснения структуры переживаний; а во-вторых, обосновать из открывшейся перспективы сами предметности, с которыми имеют дело различные науки, — в первую очередь, природу и дух. Анализ сознания составлял не только собственную сферу психологии как науки о духе, но и необходимую предпосылку для какой бы то ни было науки. Но не возник ли таким образом логический круг? Не заступила ли новая психология на место всеобщей теории познания, выдвигающей претензии и на обоснование самой себя? Гуссерль признавал, что психология «через посредство феноменологии <...> должна ближе стоять к философии и в своей судьбе оставаться самым внутренним образом переплетенной с нею». Однако при этом ключевая разница состояла в том, что психология исследовала эмпирическое сознание, в то время как феноменология — сознание чистое²⁹.

В сфере чистого сознания должны были быть поставлены вопросы о том, как те или иные предметности вообще конституируются до своего превращения в предметы конкретных наук. Это позволило бы обнаружить на уровне чистого сознания некое общее основание для всех наук, которое сводило бы их в единую систему. Существование единой системы, которую венчала бы *prima philosophia*, было необходимо, с точки зрения Гуссерля, именно потому, что в эпоху невероятного прогресса научного знания науки вследствие специализации и технизации теряют общий горизонт, лишаются понимания себя как научного разума. Именно с этим, по мнению Гуссерля, связано разочарование в науках, совпавшее с их наибольшим расцветом. Ответом должно было стать объединение наук на новой основе, которая позволила бы вернуть им понимание своей миссии и восстановить тем самым платоновскую идею научного разума³⁰. Де-факто в качестве та-

²⁹ Гуссерль Э. Философия как строгая наука... С. 687.

³⁰ Husserl E. *Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1919* // *Husserliana Materialien IV*. Dordrecht: Kluwer, 2002. S. 13.

кой основы предлагалась феноменология, которая уравнивала все частные науки в конститутивном анализе их предметностей и отсюда выводила обоснование для их метода³¹.

Таким образом, феноменология находилась в отношении обоснования ко всем эмпирическим наукам. Однако связь между ними не прямая. Преодоление натурализма обнаружило, что помимо присущего естествознанию индуктивного метода, состоящего в выявлении каузальных связей между вещами на основании фактов, существует и «рациональный» метод, состоящий в выявлении безусловных очевидностей, которые для естественной науки остаются недоступными. Такой метод направлен на усмотрение сущностей и называется эйдетическим³². Этот метод не только позволяет обосновать психологию за пределами естествознания, но и указывает на то, что эйдетический анализ может быть предпринят для любой предметности. Его цель — выявить то, что с необходимостью присуще предметности постольку, поскольку она как конституированная сознанием обладает собственной структурой. С точки зрения Гуссерля, сам факт того, что предметности могут быть даны нам по-разному³³, удостоверяет то, что данный нам в сознании как целое мир подразделяется на регионы. Соответственно, в отношении каждого такого региона может быть предпринято исследование сущностей, которые присутствуют в нем с необходимостью и обуславливают то, каким образом его предметности могут нам являться. Дисциплина, осуществляющая такое исследование применительно к определенному региону, называется региональной эйдетикой, а в силу того, что через анализ конституирования предметностей полностью раскрывается то, каким образом они существуют, она может быть также названа региональной онтологией³⁴.

В основании здания наук лежит, таким образом, философия, а именно — трансцендентальная феноменология, имеющая дело с чистыми феноменами и устанавливающая методом усмотрения безусловные конститутивные законы, в соответствии с которыми бытие имеет региональную структуру.

³¹ Конечно, с другой стороны, все науки объединяются единством правил умозаключения. Несмотря на важность этого пункта для самого Гуссерля, нас он интересует в меньшей степени.

³² Husserl E. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie // Husserliana III/1*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976. S. 12–13.

³³ Это доказывается самим фактом существования различных наук. Такое предположение не приводит обоснование в замкнутый круг, как можно было бы предположить, однако оно вводит достаточно сильную предпосылку относительно влияния науки на мир, данный нам в донаучном опыте. Это предположение заслуживало бы отдельного рассмотрения, для которого здесь нет возможности.

³⁴ Husserl E. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie...* S. 22–23.

Эта региональная структура задает структуру частных наук. Каждая из таких наук имеет свою онтологию (региональную онтологию), в рамках которой основная предметность уже не исследуется на предмет ее конституирования, но просто («догматически») постулируется как существующая и задается набор основных категорий и аксиом данной науки, т.е. безусловно необходимых для нее истин, обозначающих те способы, которыми отдельные предметы вообще могут быть явлены³⁵. После этого наступает время эмпирической науки, которая имеет дело уже не с сущностями, а с фактами.

Разумеется, эмпирическая наука не должна ожидать, пока феноменология вскроет соответствующий ей способ конституирования предметности, а региональная онтология задаст концептуальный и аксиоматический аппарат, который эта эмпирическая наука сможет впоследствии принимать как само собой разумеющийся³⁶. В действительности такие обоснования могут возникать (и обычно возникают) хронологически *ex post*, но при этом они приносят эмпирической науке несомненную пользу, так как направляют ее дальнейший поиск и, напротив, ограждают ее от неадекватного применения метода к предметам. Ведь метод эмпирической науки задается не произвольным образом, он обусловлен тем способом данности, который характерен для данного региона:

Метод создается не тем, что зовется «современной наукой», и не теми, кто зовется «профессионалами»; наиболее важное в методе предписывается сущностью предметов и соответствующей ей сущностью возможного опыта, в котором даются предметы соответствующей категории (это априори феноменологической конституции), и гениальные профессионалы отличаются тем, что могут схватить это интуитивно³⁷.

Согласно Гуссерлю, в отношении природы как региона бытия, которому соответствует собственный способ конституирования предметов, а именно как вещей (*res extensa*), связанных причинно-следственными связями, важной частью региональной онтологии является геометрия (наряду с кинематикой и учением о времени). Именно геометрия определяет необходимые свойства материальной вещи, которые в опыте воспринимает естествознание — ее протяженность, внешнюю пространственность³⁸. Однако сама

³⁵ Husserl E. *Ideen III. Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften*. Hamburg: Meiner, 1986 (Text nach Husserliana V). S. 23–25, 79–80.

³⁶ Мы не рассматриваем здесь формальные дисциплины, связанные с формальной стороной познания, — формальную логику, формальную онтологию и т.д. В контексте разделения наук нас интересуют лишь материальные, или региональные, дисциплины.

³⁷ *Idem*. *Ideen III*. S. 24.

³⁸ *Idem*. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie...* S. 24; *Idem*. *Ideen III*. S. 39.

геометрия при этом полагает как сущее то, что конституируется в чистом сознании и потому должно быть исследовано феноменологическим методом, — само пространство и пространственные структуры. «Геометрическое суждение имеет силу только при условии, что есть идея, сущность пространства и пространственной структуры» — т.е. что пространственная структура возможна³⁹.

В рамках «Идей» Гуссерль не разъяснял, как должны выглядеть соответствующие отношения в случае региона духа и какова структура наук о духе, поскольку в этом проекте попытка создать феноменологию духа не увенчалась успехом (в дальнейшем мы обратимся к причинам этой неудачи). Однако позднее, в 1919 г., Гуссерль возобновил активную работу над проблематикой природы и духа, выступил во Фрайбурге с докладом на соответствующую тему и прочитал курс лекций. В этот период ему также не удалось добиться определенности с классификацией наук о духе, хотя он подчеркивал, что членение на эмпирические и априорные науки должно иметь место и в этом случае. Другое различие, применимое к наукам о духе, — это деление на дескриптивные и нормативные дисциплины. К первым относятся как эйдетическая, так и эмпирическая наука, а вторые занимаются «наблюдением данного с точки зрения нормы разума», т.е. оценкой наблюдаемых феноменов в соответствии с некоторыми идеалами⁴⁰.

3. Разрушение онтологического паритета

Гуссерлева систематика наук, в которую предполагалось вписать разделение на науки о духе и науки о природе, заключала в себе ряд трудностей. При том что Гуссерль поставил себе задачу легитимировать место феноменологической психологии и трансцендентальной феноменологии в рамках предложенной им классификации, акцент на этих дисциплинах имел разрушительные последствия для всей системы. Феноменология как способ реализации науки пронизывала всю систему и в значительной мере стирала те различия, которые Гуссерль пытался наметить. Мы выделим в связи с этим три проблемы.

А) Гуссерль стремился отделить региональные онтологии от трансцендентальной феноменологии с помощью идеи чистого сознания, но соответствующая грань оказалась не вполне различимой. Основной принцип различения состоял в том, что в онтологии «мы судим о том, что на самом

³⁹ Husserl E. Ideen III. S. 84.

⁴⁰ *Idem*. Naturwissenschaftliche Psychologie, Geisteswissenschaft und Metaphysik // Issues in Husserl's Ideas II / L. Embree, T. Nenon (eds). Dordrecht: Kluwer, 1996. P. 4.

деле соответствует некоторым предметностям “как таковым”, что означает здесь: необходимо и всеобще. Феноменология в подразумеваемом нами смысле есть наука об “истоках”, “прародителях” всякого познания⁴¹. Иными словами, предметности, которые ограничивают ту или онтологию, т.е. собственно регионы, постулируются ей некритично — проблемы их конституирования исключаются из рассмотрения⁴². В то же время феноменология приостанавливает веру в реальность самих этих регионов и рассматривает их как результат конститутивной деятельности сознания. Однако и та и другая продвигаются путем прямой интуиции, усматривающей необходимые условия опыта, и в результате обнаружение на трансцендентальном уровне самой идеи определенного региона уже во многом предопределяет конкретно-всеобщие условия опыта в этом регионе. Обнаружение природы как региона, в котором вещи воспринимаются как существующие в пространстве и связанные каузальными связями, заранее указывает на многие из категорий и аксиом, которые будут составлять соответствующую региональную онтологию. Ведь тем самым имплицитно не просто геометрия как региональная онтология, но геометрия как совокупность конкретных аксиом, без которых сама идея геометрии (и, соответственно, идея соответствующего региона) была бы невысказанной.

Гуссерль вынужден был признать, что термин «феноменологический» применим и к результатам онтологических исследований с той оговоркой, что речь здесь идет о «приложении» феноменологии к онтологии. Те необходимо всеобщие структуры сознания, которые удалось выявить косвенным путем, с помощью онтологического анализа, не перестают поэтому быть феноменологическими⁴³. В этом состоит значение онтологических изысканий для феноменологии, но здесь же обнаруживается и трудность, связанная с различием обеих дисциплин.

При этом Гуссерль настаивал на том, что «сама по себе онтология — это не феноменология». Дополнительный аргумент, который предлагается по этому поводу, состоит в том, что некоторые предметности конституируются одноступенчатым образом (число, величина и др.), а другие, более сложные (такие, как природа и дух), — многоступенчатым. Только трансцендентальная феноменология может уловить эту многоэтапную конституцию, поскольку для нее реальности не постулируются (в то время как в онтологии сами регионы некритически принимаются как реально сущие),

⁴¹ Husserl E. Ideen III. S. 82.

⁴² Szilasi W. Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1959. S. 133–136.

⁴³ Husserl E. Ideen III. S. 83.

а рассматриваются в их конституировании в чистом сознании. Здесь же, однако, читаем: «Несмотря на то что феноменологию интересует не учение о сущностях реальностей, но конституирование реальностей, а также чистого Я и Я-сознания вообще, все же именно вместе с ней удается полностью ухватить сущность реального»⁴⁴. Отсюда легко видеть, что исследование конституирования реальностей можно представить только как элемент учения о реальных сущностях, т.е. материальной онтологии.

Как отмечает Сёрен Госвиг Олесен, вопрос о границе между онтологией и феноменологией приобретает ключевое значение, поскольку от него зависит возможность удержать трансцендентальную феноменологию над различием «формальный/материальный» и тем самым сохранить для нее основополагающее место в замышляемой Гуссерлем классификации наук. Если феноменология переходит в региональную онтологию, то ее нейтральное положение по отношению к этому различию ставится под сомнение и тем самым оспаривается ее статус *prima philosophia* в смысле всеобщей теории познания. Именно поэтому, с точки зрения Олесена, Гуссерль в этот период стремился по возможности заменить термин «теория познания» на «феноменология» и двигался в сторону понимания феноменологии как онтологии⁴⁵.

Если региональные онтологии имеют дело с регионами бытия, то феноменология чистого сознания, имеющая дело с миром сущего, как он дан трансцендентальной субъективности в своем единстве, оказывается онтологией универсальной. Позднее Гуссерль предложил термин «полная и конкретная онтология», которая тождественна трансцендентальной философии⁴⁶. С одной стороны, этот переход вполне естественен для феноменологического метода, для которого единство сознания и коррелятивное ему единство мира являются ключевым исходным постулатом. Все региональные и формальные онтологии могут иметь смысл только в связи с этой идеей единства, а значит, в связи с полной онтологией⁴⁷. С другой стороны, способна ли универсальная онтология ограничиться описанием сущностей регионов, не уходя при этом в материально-онтологический анализ и не используя его категории? Такое ограничение было бы искусственным.

⁴⁴ Husserl E. Ideen II. S. 129–130.

⁴⁵ Olesen S.G. Wesen und Phänomen: eine Untersuchung der ontologischen Klärung der Wissenschaften bei Edmund Husserl, Alexandre Koyré und Gaston Bachelard. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1997. S. 116, 130.

⁴⁶ Husserl E. Idee der vollen Ontologie // E. Husserl. Erste Philosophie. Zweiter Teil / Husserliana VIII. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1959. S. 215.

⁴⁷ Pažanin A. Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1972. S. 79–81.

В) Другая проблема связана с разграничением региональных онтологий и эмпирических наук. Их различие должно покоиться на методе: для региональной онтологии он является исключительно эйдетическим, поскольку она не имеет дела с фактами. Но возможно ли провести такую границу? В конечном счете Гуссерль был вынужден признать, что все науки об *onta*, как рациональные, так и эмпирические, могут в широком смысле называться «онтологиями», поскольку они занимаются единствами «конституции»⁴⁸.

Эта проблема не является столь существенной, как предыдущая, однако она показывает, что границы эйдетики достаточно сложно установить, и дифференциация наук на рациональные и эмпирические оказывается непростой задачей. В том случае, если феноменология намеренно ограничивает себя описанием наиболее общих предметностей, она оказывается чрезмерно далека от эмпирических наук. Гуссерлю не случайно не удалось установить предполагаемую связь через региональную онтологию, которая описывала бы «априори духа»⁴⁹. На самом деле попытки создать такую онтологию немедленно обнаружили бы связь наиболее всеобщих феноменологических проблем с фактическим положением дел (позднее мы продемонстрируем, что именно это происходит в поздних работах Гуссерля).

С) Более важная проблема связана с различием между трансцендентальной феноменологией и феноменологической психологией. В «Идеях» оно также вводится с опорой на категорию «чистого сознания», т.е. очищенного от того, что с необходимостью конституировано для сознания живого организма, человека или животного. «Эмпирическому переживанию противостоит в качестве предпосылки его смысла абсолютное переживание»⁵⁰. Таким образом, переход в трансцендентальную феноменологию из психологии осуществляется путем методического прекращения постулирования реальности того, что переживания переживаются живым организмом, благодаря переходу к простому потоку переживаний, путем трансцендентальной редукции.

Рациональная психология как эйдетическая наука должна выступать в качестве региональной онтологии для региона «душа» точно так же, как геометрия выступает онтологией для «природы»:

Для философии принципиально важно проводить различие между эйдетикой состояний сознания, которая есть часть рациональной онтологии, и эйдетикой

⁴⁸ Помещение Гуссерлем «конституции» в кавычки в этом контексте едва ли меняет дело, хотя и указывает на то, что он испытывает трудности с ограничением этого термина (*Husserl E. Ideen III. S. 80*).

⁴⁹ *Perreau L. Phénoménologie et "sciences de l'esprit": la distinction Natur-Geist dans la phénoménologie husserlienne // Alter. Revue de phénoménologie. 2003. No. 11 (La réduction). P. 369.*

⁵⁰ *Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie... S. 119.*

трансцендентально очищенного сознания (или бытия-в-переживании), потому что последняя есть настоящая и чистая феноменология, и она точно так же не является рациональной психологией, как и рациональным учением о природе⁵¹.

Точно так же, как и геометрия, эйдетическая психология устраняет из рассмотрения все сущее (*Daseiende*) и обращается к сущему-как-сущность (*Wesenseiende*), различие состоит лишь в методе (в случае онтологии природы речь идет о дедуктивном методе, в случае рациональной психологии — о дескриптивном)⁵². Как и все региональные онтологии, эти дисциплины в некотором смысле входят в состав феноменологии.

При этом психологию применительно к ее положению относительно феноменологии отличает от всех прочих онтологий то, что она имеет дело с сознанием и переживанием. По этой причине можно сказать, что, с одной стороны, рациональная психология является частью феноменологии, а с другой — наоборот, феноменология возникает как часть психологии, имеющая дело с чистым, трансцендентально очищенным Я как конститутивной сферой⁵³. Гуссерль видел здесь угрозу «психомонизма», состоящую в том, что сознание и переживание приравняют к «психическому» и тем самым психология будет объявлена основанием для всех наук. Поэтому он считал необходимым ограничить «психическое» как переживания, которые относятся к душе и, соответственно, к живому организму⁵⁴. Таким образом, «путь» из эмпирической, а затем рациональной, психологии в трансцендентальную феноменологию связан с обнаружением чистого Я как конститутивного источника всех возможных предметов в их единстве — Я, которое само конституирует предметности «душа» и «живое тело». Переход к исследованию этого источника означает приостановку полагания души как сущего и, стало быть, выход из области психологии.

То обстоятельство, что как феноменологическая психология, так и трансцендентальная феноменология (а также и естественно-научная экспериментальная психология!) имеют дело с сознанием, вызывало путаницу среди интерпретаторов Гуссерля, пытавшихся восстановить соотношения между этими дисциплинами⁵⁵. Оно беспокоило и самого Гуссерля. Герберт

⁵¹ Husserl E. *Ideen* III. S. 77.

⁵² *Ibid.* P. 44, 62.

⁵³ Ströker E. *Phänomenologie und Psychologie. Die Frage ihrer Beziehung bei Husserl* // *Zeitschrift für philosophische Forschung*. 1983. Bd. 37. S. 3–19.

⁵⁴ Husserl E. *Ideen* III. S. 76.

⁵⁵ См., например: Golomb J. *Psychology from the Phenomenological Standpoint of Husserl* // *Philosophy and Phenomenological Research*. 1976. Vol. 36. No. 4. P. 462.

Шпигельберг отмечал, что «даже сам Гуссерль в течение всего своего философского развития не смог определить раз и навсегда свое отношение к психологии и назначить ей точную функцию в рамках его меняющейся концепции феноменологии»⁵⁶. Гуссерля не устраивало такое «раздвоение сознания» на эмпирическое и трансцендентальное, даже если между ними и удавалось провести относительно четкую границу с помощью трансцендентального очищения. Именно поэтому в более поздних работах он стремился показать, что доступ к чистому сознанию на самом деле возможен через психологию. Чтобы удержать границу между психологией и феноменологией, он пытался закрепить за психологией возможность освободиться от полагания отдельных предметностей, не воздерживаясь при этом от полагания мира в целом⁵⁷. Однако в собственных критических комментариях к этим рассуждениям Гуссерль сделал два важных замечания. Во-первых, он признал, что это невозможно, так как если психолог желает исследовать наиболее общие проблемы душевных переживаний, ему необходимо воздержаться от полагания себя как живого организма (и, соответственно, как человека) и задаться вопросом о том, как конституируется единство сознания такого организма⁵⁸. Во-вторых, это означает, что различие между феноменологией и психологией исчезает, так как указанные вопросы попадают в сферу трансцендентальной феноменологии и доступ к ним осуществляется посредством одних и тех же механизмов «очищения» сознания⁵⁹.

В целом отношения между психологией и феноменологией постепенно становились у Гуссерля все менее ясными по мере того, как он пытался решить проблему единства сознания. В последней своей работе, «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», он заключил, что «чистая психология в себе самой тождественна трансцендентальной философии как науке о трансцендентальной субъективности»⁶⁰.

Эти трансформации гуссерлевой систематики могут восприниматься по-разному. Так, по мнению Изо Керна, попытка Гуссерля гарантировать единство сознания неудовлетворительна как раз потому, что она стирает границу между трансцендентальной философией и рациональной психологией. В терминах гуссерлевой систематики наук это означает, что из ис-

⁵⁶ Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. М.: Логос, 2002. С. 152.

⁵⁷ Husserl E. Idee der vollen Ontologie... S. 140–142.

⁵⁸ Ibid. S. 444–450.

⁵⁹ Ibid. S. 319.

⁶⁰ Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 340.

следования души как региона можно перейти (*umschlagen*) в поле трансцендентальной субъективности, а это нелегитимно и эквивалентно такому же переходу в философию из исследования региона природы — т.е. тому самому натурализму в философии, который Гуссерль столь активно критиковал⁶¹. Элизабет Штрёкер, напротив, полагала, что движение в сторону открытия для психологии доступа в трансцендентальную сферу следует считать успехом, поскольку оно позволяет продвинуться собственно в исследовании трансцендентальной сферы. Эта сфера должна исследоваться обеими дисциплинами, пусть и по-разному⁶². Так, Герман Дрюе считал, что психологу нужно перемещаться между различными сферами. Трансцендентальная сфера не является исключением — в этом случае мы имеем дело с трансцендентальной психологией, реализовав которую, психолог возвращается в свой человеческий мир, чтобы затем ввести в свою научную практику те усмотрения, которые были получены им на уровне созерцания чистого сознания⁶³. Впрочем, различие между трансцендентальной психологией и трансцендентальной философией становится в этом случае совсем смутным.

Какая бы из этих оценок учения Гуссерля о методе психологии ни была верной, все они позволяют сделать некоторые существенные выводы относительно гуссерлевой систематики наук. Очевидно, что идея региона играет в ней ключевую роль, причем иерархическая схема «трансцендентальная философия — региональная онтология — эмпирическая наука» построена на положении, согласно которому регионы равны между собой в теоретико-познавательном отношении. Это положение, в свою очередь, базируется на принципе онтологического равенства регионов. Однако этот принцип ошибочен. Преодоление Гуссерлем картезианского дуализма, который сохранялся в учениях Вильгельма Дильтея и Франца Brentano, означает, что борьба с натурализмом в психологии не ограничивается выделением сферы «внутреннего опыта», недоступного естествознанию, но выводит на проблему конституирования природы как предметности в сознании. Эйдетика не просто находит себе поле психологического исследования, как предполагалось на ранних этапах развития гуссерлевой феноменологии, а перетолковывает другие регионы и тем самым расширяется до размеров уни-

⁶¹ Kern I. The Three Ways to Transcendental Phenomenological Reduction in the Philosophy of Edmund Husserl // Husserl: Expositions and Appraisals / F. Elliston, P. McCormick (eds). Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1977. P. 136.

⁶² Ströker E. Husserls letzter Weg zur Transzendentalphilosophie im Krisis-Werk // Zeitschrift für philosophische Forschung. 1981. Bd. 35. S. 177–180.

⁶³ Drüe H. Edmund Husserls System der phänomenologischen Psychologie. Berlin: Walter de Gruyter, 1963. S. 221–222.

версальной онтологии. Природа и дух не могут быть рядоположенными регионами просто потому, что они не равны в своем отношении к конституирующей субъективности.

Гуссерль столкнулся с этими неизбежными следствиями собственного хода мыслей в работе «Идеи II», где была предпринята первая систематическая попытка анализа конституирования основных предметностей. Нарастающие проблемы, с которыми сталкивалось его наукоучение, могут быть в значительной мере сведены к тем трудностям, которые обнаружились в этой работе при онтологическом анализе и которые стали причиной того, что она так и не была опубликована при жизни Гуссерля. Ключевым вопросом здесь стало соотношение между природой и духом как регионами бытия: анализ этого соотношения в конечном счете вынудил Гуссерля признать «онтологическое превосходство» духа над природой (относительность природы и абсолютность духа), и тем самым покончить с паритетной теорией разделения наук⁶⁴.

* * *

Итак, Эдмунд Гуссерль, включившийся в спор о разделении наук одним из последних, вероятно, пошел дальше остальных в деле разрушения паритета между естественными и гуманитарными науками, с одной стороны, и между науками и философией — с другой. Феноменологический анализ показал, что мир, который первичным, естественным образом дан нам, — это мир духа, жизненный мир, который окружает нас прежде всякой науки. В отношении этого исходного мира мир природы может быть только искусственной конструкцией, созданной нововременным естествознанием. Из этого следовало не только то, что познание природы не может быть равноправным по отношению к познанию мира духовного, но и то, что философия, которая имеет дело с исходным, предданным нам миром, только и может выступать в качестве подлинной и универсальной науки о духе. Как отмечал Роберт Д'Амико, «науки о духе играют большую роль в гуссерлевом проекте строгой философии, т.е. феноменологии», так как «у Гуссерля, что особенно очевидно в его поздних работах, происходит сближение между исследованиями изначального значения, которые производит систематическая феноменология, и историчностью человеческой культуры»⁶⁵.

Эта позиция, выработанная в результате преодоления исходной архитектоники науки, свойственной для теории разделения наук, полезна для понимания нынешнего непростого положения гуманитарных наук и фило-

⁶⁴ Husserl E. Ideen II.

⁶⁵ D'Amico R. Husserl on the Foundational Structures of Natural and Cultural Sciences // Philosophy and Phenomenological Research. 1981. Vol. 42. No. 1. P. 7–8.

софии в дисциплинарной структуре науки. Если на этапе институционализации гуманитарных дисциплин их строгое отделение от философии и притязания на равноправие с естествознанием составляли эффективную стратегию, то сегодня они выглядят попыткой найти опору там, откуда она давно ушла. Паритетная модель организации науки не способна решить свою главную задачу — обеспечить гуманитарному знанию защиту от натурализма, именно в силу того, что между науками не может быть паритета, как не может быть его и между наукой и философией. Гуманитарные науки напрасно пытаются опираться на старые философские обоснования и напрасно рассчитывают на действенность старой системы разделения труда, в которой философии отводится работа с предпосылками и обоснованиями, а науке — эмпирическое исследование. Воспроизводство этой системы будет вести лишь к экспансии натурализма. Единственной действенной альтернативой остается использование потенциала философии в научном познании духовного мира. Только таким образом гуманитарные науки могут обнаружить и реализовать свое превосходство над естествознанием — превосходство онтологического характера.

РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В ИМПЕРСКОМ КОНТЕКСТЕ*

Не существует сложившегося канона изложения истории российской социологии в XIX — начале XX в. Не в последнюю очередь такое положение вещей объясняется тем, что до радикального пересмотра всей структуры общественных наук после 1917 г. эта многоликая дисциплина так и не дала исчерпывающего описания своей истории (за исключением беглых очерков в университетских учебниках и статей в энциклопедиях). На протяжении большей части советского периода социология находилась под запретом как дисциплина, поставляющая альтернативные ортодоксальной марксистско-ленинской доктрине модели для объяснения функционирования и организации общества. Это объясняется тем, что одна конкретная социологическая доктрина (марксизм) служила главным источником политической легитимности режима и в этом своем качестве не допускала критики и конкурирующих трактовок. Само возрождение социологии в Советском Союзе, равно как и место ее наследия в постсоветской социологии, принадлежит к числу наиболее острых вопросов, по которым сегодня спорят российские социологи в порядке профессиональной саморефлексии¹. Существуют различные мнения о том, в какой степени дореволюционное социологическое наследие востребовано современными российскими социологами². Мы видим также попытки изобрести особую, внутренне непротиворечивую национальную социологическую традицию³. Однако большинство российских социологов и многие представители российской общественной мысли считали себя принадлежащими к общеевропейской интеллектуальной тра-

* Авторизованный перевод М. Лоскутовой осуществлен по изданию: *Sociology and Empire: The Imperial Entanglements of a Discipline* / G. Steinmetz (ed.). Durham, NC: Duke University Press, 2013. P. 53–82.

Авторы признательны Сергею Глебову, Джорджу Штейнмецу и Чарльзу Стейнведелу за критические замечания, которые помогли в работе над главой.

¹ Фирсов Б.М. История советской социологии 1950–1970 гг. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2001.

² Медушевский А.Н. История русской социологии. М.: Высшая школа, 1993; Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX–XX вв. М.: Онега, 2005.

³ Ядов В.А. Для чего нужна сегодня русская социология? // Социологические исследования. 2008. № 4. С. 16–20.

диции, они мыслили в категориях и обсуждали проблемы, которые возникли в европейском и трансатлантическом контекстах. Уже в силу одного этого обстоятельства все попытки в буквальном смысле «национализировать» российскую социологию представляются нам бессмысленными.

1. Российская дилемма

С позиции функционального подхода, Российская империя при всей своей очевидной специфике состояла из тех же базовых элементов, что и современные ей композитные политические образования, и сталкивалась с теми же вызовами. Специфика России заключалась, скорее, в соотношении между этими системными «элементами» и их конкретным историческим и культурным контекстом. Сказанное объясняет, почему российские интеллектуалы, осмысливая структуры и динамику своего общества, без труда оперировали теориями и моделями, разработанными их западноевропейскими коллегами, и почему они же испытывали серьезные трудности, когда пытались применить эти теории и модели к условиям Российской империи. На наш взгляд, чтобы понять проблемы, с которыми сталкивались российские социологи (как кабинетные исследователи, так и те, кто обращался к построению теоретических моделей российского общества для решения практических задач), российский исторический опыт следует анализировать не через политические институты и социальные структуры, а через практики и социальные отношения, характерные для российского общества.

Исторически существовавшая Российская империя может быть осмыслена в аналитических категориях современных социальных наук как явление специфическое именно потому, что в ней присутствовали все основные элементы западных имперских формаций. Однако они существовали в специфическом историческом контексте, который не способен описать никакие монологичные схемы создания и поддержания различий и дистанций в обществе. Учитывая, что российские общественные науки были хорошо интегрированы в европейскую, а позднее и в трансатлантическую научную жизнь, в которой почти полностью игнорировалась специфика внутреннего российского империализма, сложно выделить те направления российской общественной мысли, которые осмысливали особенности местной имперской ситуации. И все же внимательное изучение развития социальных теорий и социологической научной дисциплины в Российской империи позволяет выявить различные модусы взаимоотношений между социологией и империей. Более того, подобный анализ способствует лучшему пониманию феномена империй, поскольку в его фокусе — процесс

осмысления российского имперского опыта разнообразия в области производства современного знания.

Помимо «пространственной» специфики России, где не существовало четко локализованного «центра» и «периферии», эта империя также отличалась «хронологическим сдвигом». В семье современных наций Россию постоянно представляли реликтом минувших эпох. Под влиянием парадигмы эпохи Просвещения в общественной мысли (и в социологии) Западной Европы сформировалась такая господствующая модель нормативного социального устройства, которая в исходных своих посылах строилась на контрасте с «азиатскими», «варварскими» или «недостаточно рационально устроенными» обществами. В разряд этих последних, наряду с Османской империей и другими восточноевропейскими и «ориентальными» политическими образованиями, зачисляли и Россию⁴. При всех противоречиях между отдельными учениями, теоретики права и философы морали — от Гоббса до Руссо и от Пуфендорфа до Монтескье — разделяли мнение о том, что правильно устроенная политическая общность состоит из людей, принадлежащих к одной культуре (т.е. говорящих на одном языке, исповедующих одну религию и живущих по одним и тем же обычаям). Такое воображаемое политическое единство было результатом естественного исторического процесса — будь то основанный на всеобщем согласии общественный договор или интегрирующий длительный опыт подданства одной короне. Россию же почти все без исключения мыслители того времени рассматривали как отклонение от этих норм: ее территория представлялась произвольным конгломератом земель, приобретенных в ходе (незаконных) завоеваний, ее население было не только чрезмерно стратифицировано в социальном отношении, но, что еще хуже, оно состояло из множества чуждых друг другу народов. Столь разнообразное население не было рационально организовано, управление им не строилось на началах справедливости. Задолго до того как Франция или Германия сами достигли известной степени внутреннего единства и культурной интеграции, Россия уже рассматривалась как пример безнадежно отсталой политической общности. Эти стереотипы не были следствием одной лишь «русофобии», будто бы характерной для Европы. Проблема таилась глубже, она коренилась в нормативном понимании европейскости как истинного Запада и воплощенной модерности.

Российские интеллектуалы унаследовали это господствующее понимание нормативной Европы как неотъемлемую часть своего образования и приобщения к европейской культуре. В российском образованном обще-

⁴ Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

стве, по крайней мере с XVIII в., не существовало альтернативных культурных традиций и норм. Неудивительно поэтому, что даже представители общественной элиты высказывали порой весьма критические суждения по поводу своей родины (что порой приводило их в ряды политических или религиозных диссидентов). Человек культуры (европейской) в России по определению был противником всего «исконно русского».

Хотя российское образованное общество обращалось к европейским социальным теориям, по крайней мере со времен Петра I, можно утверждать, что собственно теоретический социальный дискурс возник в России только после 1840-х годов. Восторженное отношение российской интеллигенции к гегельянству (характерное в первую очередь для московского кружка молодых преподавателей и студентов университета, группировавшихся вокруг Николая Станкевича) сыграло значимую роль в развитии всех основных течений общественной мысли той эпохи: протонационалистического славянофильства, протосоциалистического анархизма и ранних изводов либерализма. В философии Гегеля российские интеллектуалы нашли редкую комбинацию «социальной структуры» и «социальной динамики», представленных как саморазвитие абсолютного духа в процессе истории, протекающим в несколько стадий, каждая из которых отличается своим общественным укладом. Характерная фигура этого раннего периода российского гегельянства — Михаил Бакунин. Он экспериментировал как с ультраконсервативным прочтением гегелевского идеализма, так и с его революционными коннотациями, подразумевавшими переустройство общества в соответствии с желаемой идеальной моделью⁵. В этих метаниях между противоположными друг другу в политическом отношении трактовками одной и той же теории очевиден главный интерес Бакунина. Его занимает социологическая модель как таковая, а не ее конкретные приложения. В конечном счете Бакунин снискал известность как основоположник российского анархизма, представлявший идеальное общество в виде федерации независимых местных общин. Хотя среди первых русских гегельянцев были люди с более четко сформулированными представлениями об обществе, придерживавшиеся совсем других политических идеалов, пример Бакунина показателен благодаря ряду осознанно сделанных им выборов⁶. Чтобы полностью соответствовать избранной им теоретической модели, он счел необходимым занять антиимперскую позицию. Применив к России принципы справедливого общественного устройства (т.е. общества, осно-

⁵ См.: *Пирумова Н.М.* Бакунин. М.: Молодая гвардия, 1970; *Randolph J.* The House in the Garden: The Bakunin Family and the Romance of Russian Idealism. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2007.

⁶ *Berlin I.* Russian Thinkers. L.: Hogarth Press, 1978; *Walicki A.* A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism. Stanford: Stanford University Press, 1979.

ванного на свободно заключенном общественном договоре) и исторического прогресса, Бакунин пришел к выводу, что этот имперский конгломерат должен погибнуть в результате народного восстания. Все категории угнетенных (крестьяне, этнические и религиозные меньшинства, преступники) должны восстать, чтобы получить возможность выражать собственную субъектность. Следуя этой логике, «подлинная» Россия должна быть воссоздана с нуля как свободный политический союз самоопределяющихся субъектов. Таким образом, этот самый что ни на есть «типичный русский» и антисистемный идеолог разрешал имперскую дилемму вполне в духе господствующей эпистемы современной европейской социальной мысли.

Фундаментальный троп отсталости Российской империи в сочетании с дискурсом европейской модерности сделали следующее поколение российских интеллигентов особенно восприимчивыми к марксизму. Даже те, кто не разделял крайних политических взглядов, очень серьезно подходили к знаменитой фразе из ранней работы Маркса «Тезисы о Фейербахе» (малоизвестной в кругу европейских сверстников российских интеллигентов): «Философы лишь различным образом интерпретировали мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (11-й тезис). Российская имперская дилемма усиливала значение этой идеи для российских социальных мыслителей: надлежащая интерпретация «иррегулярного» имперского общества была равносильна его радикальной трансформации (или выдвигала таковую в качестве императива).

Подобные императивы политической философии объясняют, почему для общественных наук в России эволюционизм стал ключевым формирующим фактором. В российском контексте двойного отставания (Россия *versus* Европа и отсталые регионы империи *versus* территориальные и нетерриториальные локусы модерности) идея единого пути эволюции сулила преодоление этого разрыва в отдаленном будущем. В гетерогенном имперском социальном ландшафте упорядоченная таксономическая классификация, столь характерная для общественных наук на этапе их становления, почти автоматически обретала вектор развития. Именно поэтому в России ранний оптимистический эволюционизм благополучно пережил ту критику, которая вызвала последующее отторжение или серьезный пересмотр этой доктрины в Европе и США. Начиная с 1870-х годов находившаяся под влиянием народничества российская этнография все больше склонялась к эволюционизму как средству преодоления партикуляризма и научной самореабилитации как современной науки. Российская физическая антропология усвоила эволюционизм прямо с момента своего институционального становления в середине XIX в.⁷ Решающую роль в том, что эволюционизм

⁷ Могильнер М. Номо імперії: історія фізическої антропології в Росії. М.: Нове літературне обзирення, 2009.

сохранял свои позиции в имперской России, играла его способность функционировать в качестве современной, легитимной в научном отношении имперской идеологии. Эволюционизм избавлял Россию от статуса *alter ego* европейской модерности и помещал на универсальную цивилизационную лестницу, давая таким образом надежду на нормализацию ее статуса в будущем. Открытым оставался вопрос о цене, которую следовало заплатить за подобную нормализацию.

Одно из принципиальных различий между лагерями российских интеллектуалов, споривших о «цене вопроса», восходило к противостоянию между универсалистским наследием эпохи Просвещения и партикуляризмом романтической традиции. По другой линии размежевание шло между теми мыслителями, кого социальная теория интересовала по практическим (политическим) причинам, — и теми, кто пришел в социологию под воздействием общего (чисто научного) эпистемологического интереса (к последнему лагерю можно причислить, например, В. Хвостова или Е. Спекторского). Как это бывает характерно для имперской ситуации, противостояние по одному из этих вопросов до некоторой степени снимало противоречия по другому, и наоборот. Таким образом, хрестоматийно известная борьба между народниками и марксистами конца XIX в. может восприниматься как непринципиальное расхождение по вопросам вторичного порядка — если в центре внимания находятся эпистемологические основания понимания природы общества. Действительно, несмотря на существовавшие между народниками и марксистами глубокие политические различия, и те, и другие мыслили практически в одних и тех же концептуальных категориях: они спорили о будущем классового общества, капитализма и традиционных (домодерных) общественных форм в России, но не о том, насколько применимы к ней сами эти категории. Равным образом, для политизированных представителей российской общественной мысли (будь то Ленин или Михайловский) споры между неокантианцами и сторонниками феноменологического подхода были лишь схоластической риторикой, за которой скрывалось принципиальное единство взглядов по вопросу о легитимности существующего социального строя. Тем не менее предлагаемая ниже базовая схема направлений в российской социологии полезна как инструмент, с помощью которого можно определить место того или иного социолога в общей классификации и установить его интеллектуальную генеалогию и аналитическую программу.

2. Российская народническая социология

Специфика российской «имперской дилеммы» являлась общим контекстом как для ученых, занимавшихся теоретическими проблемами социологии, так и для тех политизированных интеллектуалов, кто в основном ин-

тересовался практическим воплощением своих идей. Стремясь определить место России на карте мейнстрима социального развития, они исходили из нескольких возможностей: переопределить «русскость», критикуя интерпретации особого пути развития России или выявляя некую «истинную русскость», которая не мешала бы прогрессу; интеллектуально деконструировать (или разрушить на практике) империю; задать новые границы нормативной «европейскости», дабы уничтожить структурную стигматизацию российского общества; любое сочетание вышеперечисленных вариантов.

Эти дискурсивные стратегии стали возможны только после того, как все течения российской общественной мысли признали, что социальные отношения являются фундаментальной социальной базой, детерминирующей формы государства, законодательства, культуры и всей человеческой деятельности вообще⁸. В России — и это еще одна ее особенность — такая комплексная «социальная сфера» изначально представлялась как социальное тело (общество = народ). Лишь позднее, к началу XX в., ее стали понимать как социальную структуру. Сказанное объясняет преобладание в российской социологии XIX в. народничества — крайне разнородного конгломерата концепций и подходов, которые объединяло лишь одно: все они отводили главное место «народу», а не общественным институтам и практикам. И революционные, и консервативные «народники» занимались преимущественно выяснением того, как строятся взаимоотношения между отдельным человеком и коллективом, на чем основаны коллективная общность людей и коллективное социальное действие. Последовательность совершаемых отдельными людьми и целыми группами поступков и выборов понималась телеологически как «история».

На теоретическом уровне писатели и идеологи «народничества», такие как Петр Лавров или Николай Михайловский, критиковали социал-дарвинизм, органическую социальную теорию Спенсера, а также теорию социальных фактов Дюркгейма и его представления о дисциплинарной автономии социологии⁹. Одновременная критика российскими авторами как органических теорий, так и аргументов, обосновывающих независимость социологического знания, объясняется их озабоченностью вопросом о движущих силах модерности (и шире, исторического процесса в целом) в

⁸ См. анализ тех аспектов европейской социологии, которые связаны с определением Французской революции как явления, нарушающего общественный порядок и потому лежащего за пределами социологии. Именно эти элементы анализа дали новое понимание политики через призму категорий социального: Wolin S. *The Politics of the Study of Revolution // Comparative Politics*. 1973. Vol. 5 (3). P. 343–358; *Idem*. *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.

⁹ *Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia: The Quest for a General Science of Society, 1861–1917*. Chicago: University of Chicago Press, 1976. P. 15–66.

особых условиях запаздывающего развития. Эта критика укрепляла убеждение российских «народников» в особой идеологической и нравственной миссии русской интеллигенции как носителя самосознания общества и, соответственно, агента его трансформации¹⁰. В итоге «субъективная школа» российской народнической социологии соединяла в единое целое изучение общества, моральное суждение и утопический социализм.

И все же, за исключением теории критически мыслящей личности, народническая социология в своей основе следовала западному пониманию холистской и детерминирующей все природы социального порядка. При этом русская крестьянская община понималась как замкнутая социальная структура, лежащая в основе российского общества. В рамках этой целостной гуманистической традиции народническую интеллигенцию все время преследовал страх социальной «фрагментации» или «отчуждения» человека — будь то «дифференциация» внутри капиталистического общества или «узкая специализация» индивида. Независимо от партийной принадлежности, основанная на подобном мировоззрении общественная деятельность приобретала форму политики тела — будь то террористические акты или «хождение в народ» с просветительскими целями. Сознательная личность рассматривалась как средство и как искомый результат социального взаимодействия, в то время как любые формализованные процедуры (будь то институты или технологии) отвергались. Народники идеализировали крестьянский общественный уклад не столько в силу неверного, поверхностного анализа общества, сколько под воздействием двух исходных посылок — понимания природы российского общества (т.е. «народа») и западной модерности. Поскольку конечной целью модернизации виделся социализм, этому идеалу более соответствовала Россия с исконными крестьянскими общинными традициями, а не, например, Россия как многонациональное общество или пространство с богатыми ресурсами, разнообразием климатических зон и т.д.¹¹

Между прочим, во всех случаях, когда российские социологи говорили о «народе», они прежде всего понимали под этим словом широкий слой непривилегированного в правовом и имущественном отношении населения. Та же риторика, но исходившая от интеллектуалов с двойной идентификацией (русской культурной и украинской или еврейской этнической), почти сразу же изменяла передаваемый смысл — мотив социальной эмансипации

¹⁰ Wortman R. The Crisis of Russian Populism. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

¹¹ «Они действовали как социалисты-утописты, а не как социологи-эмпирики, когда помышляли о том, чтобы избежать капитализма за счет сочетания сложных промышленных технологий с простой общинной взаимопомощью» (Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia... P. 63).

уступал место национальному освобождению. Возьмем, к примеру, Михаила Драгоманова и его спор с русскими революционерами по вопросу об особенностях народничества на Украине: «...только нелогичный народник может не стать украинофилом, и наоборот. А с какого конца кто начинает, — это дело личного развития, не больше»¹². Достаточно долгое время российские интеллектуалы не замечали этой двусмысленности народнического дискурса в условиях имперского разнообразия. Более того, многие из них даже не обращали внимания на это разнообразие, рассматривая Россию по аналогии с идеализированной Францией или любой другой европейской «нацией». Озабоченность народников социальным телом «народа» приводила к тому, что они не обращали внимания на политические институты российского государства, охватывавшие разнородное в региональном, религиозном и этническом отношении пространство Российской империи и вовлекавшие различные группы населения в структуры имперского гражданства¹³. Такое положение дел стало меняться к концу XIX в., по мере того как Российская империя переставала соответствовать идеальному типу традиционного сложносоставного политического образования, основанного на территориальном единстве¹⁴, в котором дифференцирующий режим имперской политики отвлекал внимание социологов от социальных и культурных отличий в обществе, — если, конечно, допустить, что Российская империя вообще когда-то вписывалась в эту идеальную модель. Политика модернизирующейся империи, колониализма, возросшие социальная мобильность и культурная гибридность¹⁵ заставили даже народнических социологов задуматься над вопросом об устройстве имперского общества и о проблеме разнообразия.

Среди социологов народнического толка конца XIX в. Глеб Успенский и Сергей Южаков больше других интересовались имперским разнообразием

¹² Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? // Русское богатство. 1881. № 11. С. 124–125; Миллер А. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). СПб.: Алетейя, 2000. С. 220–223; Hagen M. von. Federalisms and Pan-movements: Re-imagining Empire // Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 / J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev (eds). Bloomington: Indiana University Press, 2007. P. 503–505.

¹³ Burbank J. An Imperial Rights Regime. Law and Citizenship in the Russian Empire // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7 (3). P. 397–431.

¹⁴ Hosking G. Russia: People and Empire, 1552–1917. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.

¹⁵ Suny R. Learning from Empire: Russia and the Soviet Union // Lessons of Empire: Imperial Histories and American Power / C. Calhoun, F. Cooper, K. Moore (eds). N.Y.: The New Press, 2006. P. 73–93; Gerasimov I. Modernism and Public Reform // Late Imperial Russia: Rural Professionals and Self-Organization, 1905–1930. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

ем. Обоих занимал протекавший на их глазах процесс переселения/колонизации, затрагивавший сельское население империи¹⁶. Оба автора были известными писателями-народниками, сотрудничавшими с ведущими периодическими изданиями этого направления. Успенский много путешествовал в качестве журналиста, а Южаков служил секретарем компании, строившей Уссурийскую железную дорогу на Дальнем Востоке. Они наблюдали переселение сельских жителей в степные районы, на Северный Кавказ, в Сибирь и на Дальний Восток, отслеживая контакты переселявшихся крестьянских общин и туземного населения¹⁷. Успенский писал о влиянии капитализма, проявлявшемся в земельных спекуляциях и приобретении крестьянами в частную собственность земли на Урале (в Уфимской и Оренбургской губерниях). В совокупности эти процессы вели к «исчезновению башкир» — служилого сословия, обладавшего правом собственности на эти земли¹⁸. Южаков описывал разнородное в культурном и социальном отношении население Владивостока и Дальневосточного региона, состоявшее из военнотружущих российской армии и флота, русских крестьянских общин, китайских бандитов пограничья — хунхузов, китайских и корейских наемных работников, японских проституток, а также купцов и осужденных преступников разного вероисповедания и происхождения. Однако в своем анализе оба автора постоянно возвращались к вопросу о положении дел в крестьянской общине, которая составляла главный объект их интереса. Эти общины могли состоять из разных восточнославянских групп («великорусов», «населения Малороссии и юга России») или неславянского населения, но в глазах авторов-народников они формировали общую социальную структуру и всегда оставались главным объектом анализа.

Следуя магистральной традиции народнической социологии, Успенский и Южаков так сместили акценты в своих путевых очерках, что в центре внимания оказался не разнородный контекст переселения/колонизации, а перспективы развития социального порядка, основанного на распространении образования, технологий и укреплении групповой солидарности.

¹⁶ Успенский Г.И. Поездки к переселенцам // Успенский Г.И. Полное собр. соч.: в 6 т. Т. 6. СПб.: А.Ф. Маркс, 1908. С. 3–165; Южаков С.Н. Доброволец «Петербург»: Дважды вокруг Азии. Путевые впечатления. СПб.: Типолиграфия Б.М. Вольфа, 1894.

¹⁷ Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2004; Breyfogle N. Heretics and Colonizers: Forging Russia's Empire in the South Caucasus. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005; Peopling the Russian Periphery: Borderland Colonization in Eurasian History / N. Breyfogle, A. Schrader, W. Sunderland (eds). N.Y.: Routledge, 2007.

¹⁸ Steinwedel C. Tribe, Estate, or Nationality? Changing Conceptions of Bashkir Particularity within the Tsar's Empire // Ab Imperio. 2002. Vol. 2. P. 249–278.

Поскольку социологи-народники исходили из холистского представления об обществе с четко очерченными границами, они игнорировали процессы взаимодействия и гибридизации имперской социальной ткани, а в случае Южакова даже отказывали разнородной социальной среде Владивостока в праве называться обществом. Показательно, что, описывая царящие во Владивостоке индивидуализм, коррупцию и безудержную погоню за наживой, Южаков использовал термин «Восточная Америка»¹⁹. Столь же показательно, что «исчезающие башкиры» и в самом деле исчезли из рассказа Успенского о несправедливостях правительственной переселенческой политики и трудностях, с которыми приходилось сталкиваться необразованным русским крестьянам. Отмечая исходящую от наемных рабочих-«иностранцев» угрозу общинной крестьянской солидарности, Южаков призывал — вместе с уничтожением опасных для человека дальневосточных тигров — устранить с территории Дальнего Востока и «иностранческое» население²⁰, и в этом пункте он едва не доходил до призывов к этническим чисткам.

В целом пример российской народнической социологии конца XIX в. демонстрирует такие отношения между социологией и империей, которые не описываются в политических категориях, т.е. не сводятся к тому, поддерживает социология империю или критикует ее. Здесь проявляется эпистемологический аспект взаимоотношений между парадигмами современного знания и реальностью империи, где нежелание признавать разнообразие и взаимосвязанность социального пространства империи вытекает из «ученого незнания»²¹, проявляемого социологическим дискурсом, основанным на холистском понимании общества.

Пример российских социологов народнического толка поколения Успенского и Южакова также заставляет усомниться в существующем представлении о российском немарксистском социализме как о явлении, принципиально отличном от народнических идеологий и движений в Центральной Европе, склонных к национализирующей политике и этническому национализму. Социологический анализ Южакова, в котором российский Дальний Восток понимался как «Восточная Америка», заключал в себе

¹⁹ Южаков С.Н. Добровolec «Петербург»... С. 101.

²⁰ Там же. С. 94–97. Южаков пользовался понятием «иностранцы». Исходно это был юридический термин, обозначавший кочевые и полукочевые группы населения. К концу XIX в. он приобрел новый смысл — им стали обозначать всё нерусское население, в отличие от «русского народа». О сложной семантической эволюции этой ключевой категории имперской политики см.: *Slocum J. Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Category of “Aliens” in Imperial Russia // The Russian Review. 1998. Vol. 57 (2). P. 173–190.*

²¹ *Stoler A. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton: Princeton University Press, 2009. P. 247.*

потенциальную возможность развития представлений об обществе как о целостной, замкнутой структуре в программу радикальной трансформации имперского пространства путем искоренения гибридности, разнообразия и исключения «иностранцев».

3. Эволюционистская и сравнительная методология социальных наук

Помимо политизированной, сосредоточенной на «социальном теле» народнической традиции в России существовала и социология другого типа, за которой стоял в основном чисто академический интерес к общественным наукам и эпистемологии. Она развивалась в императорских российских университетах, а позднее в частных учебных заведениях и в развитой сети профессиональных ассоциаций и неформальном интеллектуальном общении. В этом контексте возник целый ряд социальных наук, включая и поздно сформировавшуюся академическую социологию. До революции 1905 г. социологию обычно понимали в духе Конта — как дисциплину, обобщающую результаты, полученные в разных областях знания об обществе. Поэтому границы этой специальности не были жестко очерчены — существовало множество точек соприкосновения между подобной наукой об обществе и юриспруденцией, этнографией, политической экономией, физиологией, психологией, историей. В основе соприкосновения интересов лежали общие для всех этих дисциплин парадигмы позитивизма и эволюционизма. Для периода, предшествовавшего революции 1905 г., достаточно сложно выделить зарождавшуюся тогда область академической социологии из общего пространства теорий общества, имевших очевидную политическую направленность. Тем не менее заметно, что академическую социологию уже тогда все чаще и чаще определяли путем указания на методологию социологического анализа и ссылок на академические американские и европейские школы социологии.

Представляется небесполезным взглянуть на положение социологического знания в мире в целом, в том виде, в каком это положение рисовалось представителям российской академической социологии. Так, самопровозглашенный защитник российской «субъективной социологии» и контовской трактовки социальных наук, профессор Петербургского университета Николай Кареев считал, что социологическая наука в мире представлена различными национальными школами и интеллектуальными традициями. При этом он настаивал на равноправном положении российской народнической социологии, развивавшей критику монизма, включившей социальную психологию в сферу социологической теории и во многом предвосхитившей неокантианский поворот в философии общественных

наук²². Появление социологической литературы на национальном языке было истолковано Кареевым как признак принадлежности России к «цивилизированным народам» (к которым он относил и таких новичков на мировой арене, как японцы) и как отражение высокой степени развития нации в общественной и политической сфере²³. Школы академической социологии также отражали соответствующие «национальные» политические и исторические условия. Так, по мысли Кареева, в Германии поздно усвоили идеи Огюста Конта в силу того, что исторически в этой стране господствующее положение занимала идеалистическая философия. Главный объясняющий фактор социологии Людвиг Гумпловича — конкурентная борьба между расами — обусловлен борьбой между разными национальностями в габсбургской монархии²⁴. Российская народническая традиция в социологии, с точки зрения Кареева, основывалась на следующих факторах: теоретическая социология возникла здесь в недрах прогрессивной политической мысли, а знакомство со всеми европейскими социологическими традициями обеспечило ей способность установить взаимосвязи и разрешить противоречия между ними, что придало российской социологической традиции синтезирующий характер²⁵. Империя и имперское разнообразие, следовательно, никоим образом не воспринимались как условия возникновения и существования российской социологии или как факторы, определяющие задачи исследования российских социологов.

В отличие от Кареева, Максим Ковалевский полагал, что социологическое знание в мире связано не только с национальными традициями и контекстами, но и со структурами империи. Ковалевский был многосторонним исследователем, он занимался сравнительным и публичным правом, экономической историей, политическими институтами и этнографией²⁶.

²² Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1996. С. 43–48, 355; Он же. Введение в социологию. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1907. С. 67–69, 223–225, 253–255. См. также главу «Социология профессий и социология как профессия» в наст. изд.

²³ Кареев Н.И. Введение в социологию. С. 336, 394.

²⁴ Там же. С. 394–395.

²⁵ Там же. С. 396.

²⁶ Арсеньев К.К. М.М. Ковалевский: ученый, государственный и общественный деятель, гражданин. Петроград: А.Ф. Маркс, 1917; Сафронов Б.Г. М.М. Ковалевский как социолог. М.: Изд-во МГУ, 1960; Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia... P. 153–172; Калоев Б.А. М.М. Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа. М.: Наука, 1979; Медушевский А.Н. История русской социологии. 1993. С. 119–162; Бороноев А.О. М.М. Ковалевский в истории русской социологии и общественной науки: сборник статей к 145-летию рождения М.М. Ковалевского. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996; Погодин С.Н. Максим Максимович Ковалевский. СПб.: Нестор, 2005.

И все же он считал, что главное его призвание и заслуги перед наукой лежат в сфере социологии или точнее в той области, которую он определял как «генетическую социологию». В знак признания вклада Ковалевского в развитие европейской социологии и институционализацию академической социологии в России первое социологическое общество было названо его именем. Ковалевский был ярким примером ученого-космополита, служившего посредником между академическими кругами Санкт-Петербурга, Москвы, Харькова (его родного города), Вены, Берлина, Лондона, Парижа, Стокгольма и Чикаго. Поездка в Англию в начале научной карьеры привела к заметной перемене в области научных интересов Ковалевского: от изучения публичного права и федералистского режима империи Габсбургов он перешел к социологии и сравнительному правоведению. В своих воспоминаниях Ковалевский признавал, что все его основные труды в области античного и сравнительного права, сравнительного изучения общинного землевладения, этнографии традиционных обществ Кавказа и истории экономического развития Европы докапиталистической эпохи были задуманы во время пребывания в Англии, когда он смог познакомиться с английской и американской литературой по этнологии и социологии²⁷. Обращение Ковалевского к сравнительной методологии общественных наук произошло под влиянием Генри Самнера Мэна (Мэйна) и его работ по сравнительному анализу «традиционных обществ»²⁸. От внимания Ковалевского не укрылось, что Мэн сочетал занятия наукой с административной должностью юрисконсульта в британском Министерстве по делам Индии. Универсализм империи и сравнительная эволюционная социология были связаны между собой. Областью их пересечения были архивы империи как место производства знания и власти²⁹. С помощью Мэна Ковалевский получил доступ к архивам британской администрации Индии и смог приступить к своему первому компаративному исследованию, посвященному общинному землевладению. Это и другие исследования Ковалевского в области эволюции общественных форм в их связи с обычаями и развитием законодательства определялись хранившимися в различных архивах Британской империи этнографическими материалами и административной документацией. Работы Ковалевского создавали «карты» традиционных обществ британской

²⁷ См.: Ковалевский М.М. Моя жизнь: воспоминания. М.: РОССПЭН, 2005. С. 90–97, 161.

²⁸ Kovalevsky M. *Modern Customs and Ancient Laws of Russia, Being the Ilchester Lectures for 1889–90*. L.: David Nutt, 1891. P. 3–5; Mantena K. *Alibis of Empire: Henry Maine and the Ends of Liberal Imperialism*. Princeton: Princeton University Press, 2010.

²⁹ Mantena K. *Alibis of Empire...*; Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе: в 2 т. Т. 1. М.: А.И. Мамонтов, 1890. С. 8.

Индии, испанских колоний в Америке, французского Алжира и российского Кавказа, помещая их в один временной пласт³⁰.

Сравнительная методология, как ее практиковал Ковалевский, была неотъемлемой составной частью эволюционной теории. Последняя устанавливала универсальность исторических стадий развития права, форм социальной организации и культуры и тем самым закладывала основы «единства истории» — формулировала общие научные законы эволюционного развития всего человечества, от примитивных объединений людей древности до современного индивидуалистического общества³¹. В понимании Ковалевского любой подлинно научный закон неизбежно должен быть универсальным, всеобщим, а эволюция, отвечающая своему определению, должна разворачиваться сама по себе, а не под действием внешних сил. С этой позиции Ковалевский критиковал теорию изобретений и подражания Габриэля Тарда, отмечая, что подражание обществу, стоящему на более высокой ступени развития, может иметь место лишь в ситуации готовности общества-реципиента воспринять заимствование и лишь как приспособление чужих культурных влияний к местным историческим и культурным условиям³². Ковалевский четко осознавал политические следствия, вытекающие из эволюционной социологии. С ее помощью можно было опровергнуть утверждения об уникальности славянских народов, замкнутых в своем общинном общественном укладе и общинном землевладении, об их отличии от европейских исторических народов с их особым, «естественным» социальным строем, основанным на нуклеарной семье и частной собственности³³. Поэтому эволюционная социология заключала в себе научно обоснованный прогноз неизбежного, вытекающего из внутренних условий развития России преодоления ею своей социальной и политической отсталости и ее сближения с европейскими формами социальной и политической организации³⁴.

В то же самое время эволюционная социология Ковалевского и сравнительный метод были инструментами концептуальной организации пространства Российской империи. Следуя примеру Мэна, чьи компаративные

³⁰ Ковалевский М.М. Моя жизнь... С. 160–161; *Он же*. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения. Ч. 1. М.: Ф.Б. Миллер, 1879.

³¹ Kovalevsky M. Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété. Stockholm: Samson & Wallin, 1890. P. 1–7; Ковалевский М.М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М.: Ф.Б. Миллер, 1880; *Он же*. Социология и сравнительная история права. М.: И.Н. Кушнерев, 1902.

³² *Он же*. Сочинения: в 2 т. Т. 2. СПб.: Алетея, 1997. С. 17–18, 37.

³³ *Он же*. Моя жизнь... С. 157–159.

³⁴ См.: *Он же*. Социология и сравнительная история права.

исследования определялись границами Британской империи, Ковалевский понимал Российскую империю как разнородное пространство, позволяющее заниматься сравнительным анализом общественных форм, стоящих на разных ступенях всеобщей эволюции. Ковалевский изучал горные народы Кавказа, социальную организацию «малорусских» и великорусских крестьян и поощрял своих учеников к тому, чтобы они занимались исследованием обычного права казаков. Эти работы рисовали масштабную картину обществ, стоящих на разных ступенях эволюции общественных отношений, — от кровнородственных обществ Кавказа до современного «индивидуалистического» общества европеизированных высших и средних классов России. Полученная таким образом «карта» социальной эволюции империи была трехмерной — она учитывала не только пространственное измерение евразийского пространства, но и социальную дистанцию между городом и деревней³⁵. В то время как сравнительный метод позволял Ковалевскому объединить в концептуальном отношении разнородное пространство Российской империи, эволюционная социология снабдила его инструментами для построения иерархии общественных и культурных форм. Концептуальное упорядочение пространства империи для Ковалевского было не только чисто научным предприятием, но также и инструментальным, прикладным знанием, которое можно будет использовать в работе суда и администрации и для обоснования особой политики в отношении некоторых групп населения³⁶. В то же самое время работы Ковалевского по традиционным обществам Кавказа проникнуты чувством разочарования, вызванного заметной разницей в положении дел между Россией и Британской империей. В Российской империи администрация отнюдь не стремилась воспользоваться прикладным знанием для рационализации управления³⁷. Размышляя о прикладном значении своих исследований, Ковалевский приходил к неоднозначным выводам: с одной стороны, он поощрял административное вмешательство, имея в виду прогрессивные реформы обычного

³⁵ *Kovalevsky M. Modern Customs and Laws...*

³⁶ На учениках Ковалевского сказалось увлечение их учителя прикладным социологическим знанием. Михаил Николаевич Харузин (1860–1888) по настоянию Ковалевского занялся изучением обычного права в Российской империи. Он написал основополагающее исследование, посвященное обычному праву донских казаков (*Харузин М.Н. Сведения о казачьих общинах на Дону. Материалы для обычного права. Т. 1. М.: М.Н. Щепкин, 1885*). В личности Харузина соединились два разных мира — он был в равной мере вхож в среду ученых и в бюрократические круги Российской империи, состоя одновременно на службе в губернской администрации Эстляндии и исполняя обязанности секретаря этнографического отделения Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

³⁷ *Ковалевский М.М. Закон и обычаи на Кавказе. С. vi–vii.*

права и традиций недостаточно развитых классов населения и «примитивных народов». С другой стороны, он склонялся в пользу сохранения обычного права и структур традиционного общества, исходя из представления о взаимозависимости между правом и социальной организацией общества. Кроме того, сохранение обычного права и традиционных общественных структур позволяло использовать непрямые практики управления, что способствовало сохранению стабильности империи³⁸.

Второй аспект эволюционной социологии Ковалевского — «картографирование» различных ступеней общественного развития, от примитивных социальных образований к современному (модерному) обществу, на определенном политическом пространстве — предопределил довольно консервативную позицию этого исследователя по отношению к либеральным планам преобразований начала XX столетия. Вера Ковалевского-эволюциониста в то, что «история не признает скачков», сделала его критиком радикальных реформаторских проектов, выдвигавшихся кадетской партией в условиях революции 1905 г. В основе позиции Ковалевского, отрицавшего необходимость предоставления равных гражданских прав некоторым группам российского имперского общества и допуска их к участию в политической жизни, лежала концепция традиционного общества:

Представьте себе кавказского горца, обсуждающего те или другие статьи уголовного кодекса и проникнутого убеждением, что кровь надо смывать кровью или взамен этого требовать коров и баранов... Когда окружной суд приговаривает убийцу черкеса к каторжным работам в Сибири, ближайший родственник жертвы спешит последовать за ссыльным, чтобы осуществить на нем долг мести. Такие факты не раз упоминаются судебными протоколами и административной перепиской³⁹.

На всех этапах своего пути в науке Ковалевский стремился заниматься сравнительными социологическими исследованиями. Он благожелательно относился к развитию американской социологии с ее программой эмпирического изучения социальных структур и поведения людей. Ковалевский

³⁸ *Kovalevsky M.* Russian Political Institutions. The Growth and Development of These Institutions from the Beginnings of Russian History to the Present Time. Chicago: The University of Chicago Press, 1902. P. 280–281. Подытоживая свои этнографические наблюдения, связанные с изучением места общинного права в жизни горских народов Северного Кавказа, Ковалевский пишет: «...Мы далеко не относимся с таким отрицанием к прежним горским судам, с каким относится к ним большинство юристов на Кавказе. <...> Но мысль — иметь на суде выбранных от народа посредников и предоставлять им решение дел по “адату” (обычаю) — должна быть признана плодотворною и заслуживает того, чтобы быть принятой в расчет при ближайших попытках пересмотра или исправления наших судебных уставов применительно к нуждам Кавказа» (*Ковалевский М.М.* Моя жизнь... С. 612–613).

³⁹ *Он же.* Отношение России к окраинам // Русские ведомости. 1905. 9 октября. С. 2.

принял участие в исследовании, которым руководил чикагский социолог Уильям Томас, специалист в области изучения расовой психологии, преступности и иммиграции⁴⁰. Этот проект был посвящен изучению социальных структур крестьянства Восточной Европы в связи с общественным поведением иммигрантов крестьянского происхождения из этого региона в США, что предполагало также сравнение с «негритянским вопросом»⁴¹. Ковалевский поддержал исследование и помог привлечь к нему российских участников. Он консультировал Уильяма Томаса по вопросам общей теории социальной эволюции и сравнительного метода⁴². Поскольку сам Томас представлял эмпирическое направление в социологических исследованиях, перспектива создания «генетической социологии» не произвела на него особого впечатления. В ответ на предложения Ковалевского Томас заявил:

Существует принцип параллельного развития. Он означает, что разные группы, несмотря на их удаленное друг от друга место проживания, тем не менее вырабатывают сходные институты. Очевидно, что этот закон имеет общий характер, особенно в том, что касается так называемых первоначальных форм общественных отношений — одобрение мужества, осуждение предательства, право собственности, племенная организация, междоусобицы, простые механические изобретения, магия, образы и символы, некоторые запреты, соответствующие ветхозаветным заповедям. Однако определенные вторичные, специализированные формы общественных отношений — такие как представительное правление, всеобщее образование, экспериментальная наука, признание равноправия женщины — возникают медленно или вовсе не возникают сами, а заимствуются с исключительной легкостью при наличии благоприятных условий⁴³.

⁴⁰ Ковалевский принял участие в этом исследовании при посредничестве Сэмюэла Харпера — американского исследователя российских политических институтов и сына первого президента Чикагского университета. Харпер учился у Ковалевского и также принимал участие в социологическом исследовании Томаса. Кроме того, Харпер принимал участие в миссии Министерства труда США во главе с У.У. Хазбэндом, которая должна была представить иммиграционному ведомству, располагавшемуся на острове Эллис, необходимые данные о миграционных потоках, что позволило бы контролировать немецкие судовладельческие компании, в основном и занимавшиеся перевозкой иммигрантов из Восточной Европы в США (*Harper S.N. The Russia I Believe in: The Memoirs of Samuel N. Harper, 1902–1941. Chicago: The University of Chicago Press, 1945. P. 78–80*); *Ross D. The Origins of American Social Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 304, 348, 251.*

⁴¹ Итоговая работа: *Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America: Monograph of an Immigrant Group. 3 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1918–1920.*

⁴² *Thomas W.I. Letter from William I. Thomas to Samuel N. Harper. 1912. July 18; Letter from William I. Thomas to Samuel N. Harper. 1912. July 19 // University of Chicago Library / Special Collections and Research Center. Samuel N. Harper collection. Box 1. Fol. 16.*

⁴³ *Idem. Race Psychology: Standpoint and Questionnaire, with Particular Reference to the Immigrant and the Negro // American Journal of Sociology. 1912. Vol. 17 (6). P. 741–742.*

Между эволюционной социологией XIX в., представителем которой вплоть до начала следующего столетия был Ковалевский, и новым функциональным, структуралистским подходом в социологии, основанным на презентизме и эмпирических исследованиях, существовал концептуальный разрыв. Хотя Ковалевский полностью не отказался от своего представления о социологии как о науке, проникнутой историческим видением прогрессивного развития общественных форм, данный случай совместного международного изучения крестьянских обществ и глобальной миграции показывает его открытость по отношению к новой парадигме функциональной, структуралистской социологии. Ковалевский был одним из немногих своих соотечественников, кто расстался с традиционной ориентацией российской интеллигенции исключительно на Европу. В 1881 и 1901 гг. он совершил две поездки в США, чтобы познакомиться с социальными реалиями американского общества⁴⁴. В свои обзоры современного состояния социологических исследований он всегда включал американскую литературу. В своих политических оценках стратегий общественной трансформации Российской империи начала XX в. он с одобрением отзывался об американской модели ассимиляции⁴⁵. Ученик Ковалевского, Питирим Сорокин, унаследовал эту склонность к американским подходам в социологии и продолжил труд своего учителя в области компаративных исследований социальной реальности России и США.

4. Институционализация академической социологии

Институционализация российской социологии началась в рамках российского университета в эмиграции. Речь идет о Русской высшей школе общественных наук, основанной в Париже в 1901 г. Ильей Мечниковым,

⁴⁴ Ковалевский М.М. Моя жизнь... С. 304–337.

⁴⁵ Ковалевский приводил в пример Соединенные Штаты, когда отстаивал необходимость устранения гражданского неравенства среди населения Российской империи: «История доказывает нам, что без всякого принуждения язык и культура наиболее численной национальности входят в повседневный обиход; язык ее становится языком коммерческих сделок, биржевых и банковых операций, одним словом, — общегражданским, а не только государственным языком. Немцы, переселившиеся в Северную Америку, имеют свои школы; но дети их все без исключения владеют английским языком, так как на этом языке ведутся ежедневно на протяжении всей страны общегражданские сделки. Богатый, звучный, “великий”, по словам Тургенева, русский язык, на котором за протекшее столетие возникла богатейшая литература, изучаемая ныне во всех концах мира, не нуждается во внешней помощи чиновников Министерства внутренних дел и Министерства народного просвещения. Общегражданский оборот делает из него язык не только государственный, не только язык культурных слоев, но и язык коммерческий, язык повседневного обихода» (Ковалевский М.М. Задача прогрессивных партий на будущих выборах // Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов: документы и материалы, 1906–1916 гг. М.: РОССПЭН, 2002. С. 257–258).

Максимом Ковалевским, Евгением де Роберти и Юрием Гамбаровым. Школа возникла как продолжение деятельности, начатой Международной ассоциацией содействия развитию науки, искусства и образования в рамках Парижской всемирной выставки 1900 г. Читавшиеся на Всемирной выставке лекции для российских участников составили базис программы постоянного заграничного русского университета, преподавателями которого стали политически инакомыслящие профессора, а слушателями — российские эмигранты. В институциональном плане учреждение школы стало возможно благодаря ее ассоциации с парижской Школой высших социальных исследований (*École des hautes études en sciences sociales*)⁴⁶.

Следуя контовскому пониманию социологии как обобщающей науки, основатели университета в эмиграции положили в основу всего учебного плана широко понимаемую ими социологическую парадигму, в которой узловое положение занимали эволюционная теория и сравнительный метод. Помимо социологической теории, учебный план включал также курсы по российской и европейской социальной истории, философии, психологии, экспериментальной биологии, сравнительной истории права, публичному и гражданскому праву, политической экономии, криминологии, этнографии и физической антропологии. Эти курсы были структурированы таким образом, чтобы дать общее введение в общественные науки и показать подходы различных дисциплин к основополагающим вопросам социологической теории того времени. Подобная структура оказалась возможной благодаря духу сотрудничества, царившему среди российских ученых, а также помощи европейских исследователей, преподававших в Русской высшей школе, — Альфреда Эспинаса, Марселя Мосса, Габриэля Тарда, Эмиля Вандервельде, Рене Вормса.

Русская высшая школа общественных наук была частью феномена российской политической эмиграции предреволюционной эпохи. Ключевые российские преподаватели Школы либо обосновались в Европе по своей воле, либо были вынуждены уйти из российских университетов под давлением имперских властей, преследовавших их за политические взгляды или за защиту принципа университетской автономии. Типичного студента Школы можно описать как человека, для которого доступ в российские университеты был закрыт в силу причастности к революционной или иной оппозиционной политической деятельности. В Школу записывались женщины и евреи, чьи возможности обучения в университетах Российской империи были ограничены в силу действовавших законов. Политический контекст эмиграции помогает понять, почему в парижской Высшей шко-

⁴⁶ Гутнов Д.А. Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901–1906 гг.). М.: РОССПЭН, 2004.

ле социология играла столь важную роль. В то время как правительство Российской империи считало социологию политически неблагонадежным предметом, преподаватели и особенно студенты этого учебного заведения видели в ней современное знание, которое может быть применено на практике для решения выдвигавшихся либералами или социалистами политических задач⁴⁷. С точки зрения либерально настроенного преподавательского состава Школы, социология являлась формой современного объективного прикладного знания, а также формой самосознания современного общества в России, которое, согласно законам эволюции, достигло зрелости. Социология как форма знания была лишена метафизических элементов предыдущих политических и философских доктрин — во всяком случае, так считали российские социологи в эмиграции. Разделяя много общих черт с марксизмом, социология была, однако, свободна от присущего историческому материализму редуционизма. Как никакая другая дисциплина, она подходила на роль науки, изучающей различные факторы, определяющие экономические, социальные и политические условия общества и присутствующие в этом обществе политические идеологии. В этом качестве социология была формой критической теории, позволяющей «освободить общественное сознание от предрассудков и заблуждений» и внести коррективы в односторонние политические взгляды⁴⁸.

Особый характер Русской высшей школы общественных наук как университета российской политической эмиграции привел к тому, что в центре образовательного процесса оказались жгучие политические вопросы либеральной и революционной политики. Устроители поощряли выступления в Школе политиков и общественных деятелей. Так, например, Владимир Ленин прочел здесь лекцию о марксистских подходах к аграрному вопросу в Западной Европе и России. Виктор Чернов — лидер партии эсеров — выступил с лекцией, посвященной критике органических теорий, а различные представители российской либеральной оппозиции делились здесь своими взглядами на будущее либеральных политических реформ в России.

⁴⁷ Учащиеся этой Школы охотно участвовали в политических дискуссиях, нередко превращая занятия в арену борьбы сторонников разных политических программ — главным образом, эсеров и социал-демократов. Они также настаивали на том, чтобы Школа занимала более заметное место в текущей российской политике (Hoover Institution of War... Box 78. Fol. 9. Kocharovskii Affair. Letters and Pamphlets of Student Organizations Reporting on the Political Clash that Happened in the Course by Professor Kocharovsky; Box 78. Fol. 10. Letter from Students Calling for a Public Expression of the Attitude of the School to the Kishinev Pogrom).

⁴⁸ Роберти Е.В. де. К оценке основных предпосылок социологической теории Карла Маркса // Русская высшая школа общественных наук в Париже / под ред. Е.В. де Роберти, Ю.С. Гамбарова, М.М. Ковалевского. СПб.: Г.О. Львович, 1905. С. 44.

Помимо бушевавших в Школе межпартийных споров, политизация социального знания шла и в другой плоскости: неоднородное пространство Российской империи здесь оказалось концептуализировано как совокупность нерусских национальных движений и их политических притязаний. Школа приглашала выступать с лекциями ученых, которые в то же время являлись активистами национальных движений в Российской империи, как, например, историк Украины Михаил Грушевский. Грушевский был лидером украинского национального движения как в габсбургской Галиции, так и в российской Украине, а впоследствии — главой Центральной рады независимой Украинской народной республики. Представители польской интеллигенции выступали в Русской высшей школе с лекциями об историческом противостоянии польского и русского народов и перспективах их примирения. Устроители Школы осознавали значимость проблемы имперского разнообразия и пытались отразить ее в учебном плане. Изучением разнообразия социально-экономического и культурного порядка империи занимались несколько преподававших в Школе ученых. Иван Лучицкий — участник украинского национального движения середины XIX в. и историк, проявлявший значительный интерес к эволюционной социологии, — читал здесь лекции об украинском общинном землевладении. Федор Волков — украинский интеллектуал с европейским образованием в области физической антропологии — преподавал этнографию и физическую антропологию славянского населения Российской империи. Михаил Тамамшев читал курсы по исламу и Кавказу⁴⁹.

Уже при основании Школы Евгений де Роберти и Максим Ковалевский предполагали использовать ее как модель для создания учебных программ нового типа по общественным наукам в самой России⁵⁰. Благоприятные условия для продолжения экспериментов в системе образования возникли после революции 1905 г. Русская Высшая школа общественных наук в Париже послужила образцом для разработки учебного плана и программ преподавания в санкт-петербургском Психоневрологическом институте⁵¹. Этот институт был еще более необычным учебным заведением, нежели его парижский предшественник. Он стал воплощением утопических мечтаний группы передовых российских естествоиспытателей и обществоведов, пы-

⁴⁹ Hoover Institution of War, Peace, and Revolution. 1901–1904 // Boris Nikolaevsky Collection. Box 78. Fol. 11. Course catalogues.

⁵⁰ Русская высшая школа общественных наук в Париже. С. vi.

⁵¹ Иванов А.Е. Психоневрологический институт в Петербурге // Россия в XIX–XX вв. Сборник статей к 70-летию со дня рождения Р.Ш. Ганелина / под ред. А.А. Фурсенко. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 264–270; Акименко М.А. Институт имени В.М. Бехтерева: от истоков до современности (1907–2007 гг.). СПб.: ГУ СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2007.

тавших создать единую науку будущего — экспериментальную синтетическую науку, сосредоточенную на изучении человека как психосоциологического феномена. Общий замысел и руководство его практической реализацией принадлежали академику Владимиру Бехтереву, знаменитому российскому исследователю в области неврологии и психиатрии. Он полагал, что модернизирующаяся Россия нуждалась (однако не имела) в таком учреждении, которое бы объединило новое знание в общественных, естественных науках и «науках о душе». Как отмечал Бехтерев, «в университете нет кафедры антропологии. Этнографу негде учиться. Необходима широкая постанова дела»⁵². Институт, имевший статус негосударственного учреждения и существовавший за счет частных пожертвований и платы за обучение, включал в себя ряд экспериментальных клиник, а также Психопедологический институт⁵³. Социология была представлена здесь в виде соответствующей кафедры и входила в очень необычный учебный план, включавший курсы по анатомии, физической антропологии, криминальной антропологии, теории дегенерации, педологии, социальной санитарии и т.д. Будучи негосударственным учреждением, Психоневрологический институт принимал всех желающих учиться, особенно привлекая тех, кто был лишен права поступить в императорские университеты по политическим причинам либо в силу своей национальности (евреи), а также тех, кто при поступлении в университет не выдерживал конкуренции с более подготовленными выпускниками гимназий. Списки студентов Психоневрологического института за 1909–1917 гг. сохранились не в полном объеме. В них числятся 5120 человек, из которых до 40% составляли студенты нерусского происхождения — армяне, евреи, татары, немцы и представители других народностей⁵⁴. Они активно усваивали знание, которое имело прикладное значение для будущего научного переустройства архаичного имперского общества и имперского политического строя, основанного на восприятии различий как нормы, а не как отклонения. Применение системного социологического подхода к условиям Российской империи показывало, что лю-

⁵² Заседание Русского общества обычной и патологической психологии 13 апреля 1904 г. // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 1904. № 4. С. 359.

⁵³ Психоневрологический институт // Вестник психологии... 1907. № 4. С. 306–320.

⁵⁴ РГИА СПб. Ф. 115. Оп. 2. Т. 1. 1909–1907. Д. 5120. Подобно Парижской высшей школе Психоневрологический институт был на подозрении у российских властей — его программу преподавания находили опасной, ведущей к формированию антиправительственных настроений среди молодежи. Несколько раз правительство рассматривало вопрос о запрещении преподавательской деятельности в институте, имея в виду оставить за этим учреждением чисто исследовательские функции.

бые попытки рационализации общественного устройства несли с собой новые формы упорядочивания различий, а не их нивелировку. Эксперты в области гуманитарного знания в России постепенно начинали осознавать эту эпистемологическую проблему.

Институционализация социологии в этот период не означала доминирования какой-то одной парадигмы. Народническое направление сосуществовало с неопозитивистской школой социальной психологии и структуралистским, функциональным подходом, развивавшимся бок о бок с возникающей неокантианской социологической рефлексией по поводу объективности социального знания и оценочного суждения. Последнее направление активно развивалось в России учеником Макса Вебера, Богданом Кистяковским, который был тесно связан с либеральными реформаторами и украинским национальным движением⁵⁵.

В то же самое время политический контекст думской монархии выдвигал возникавшую дисциплину социологии на перекресток идеологических течений, пытавшихся заново определить эпистемологический статус и политический смысл таких понятий, как социальный порядок, социальное действие и современность. С одной стороны, политический марксизм в России пытался заменить плюралистические теоретические основы социологического анализа экономическим детерминизмом и утопической программой радикального переустройства общества и даже человеческой природы. Сочетание в российском марксизме одновременно модернизаторских и утопических черт объясняет, почему позднее, в первое десятилетие советской власти, социология вытеснила историю как обязательный предмет школьной и университетской программы и почему в то же время в Советском Союзе различные социологические школы начала XX в. — от неопозитивистской социологии Сорокина до неокантианцев — преследовались цензурой и подвергались политическим гонениям. С другой стороны, революция 1905 г. дала новый толчок дискуссиям о миссии интеллигенции и ее «моральном фундаментализме», а также стимулировала идеалистическую критику социального редукционизма любого рода (включая критику социологических исследований, в которых культурные ценности и правовые нормы рассматривались как социально детерминированные⁵⁶). Между крайностями марксистского редукционистского понимания социального и

⁵⁵ *Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia...* 1976. P. 125–152; *Heuman S. Kistiakovsky: The Struggle for National and Constitutional Rights in the Last Years of Tsarism.* Cambridge, MA: Harvard Ukrainian Research Institute, 1998.

⁵⁶ *Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism.* Oxford: Clarendon Press, 1987; *Колеров М.А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех».* 1902–1909. СПб.: Алетейя, 1996.

моральным и метафизическим преодолением логики социальных наук существовали и другие варианты политизированной социальной теории. Например, Петр Струве в эти годы развивал тезис о выживании сильнейших в межгосударственном соревновании за статус великой державы и за контроль над территорией⁵⁷.

5. Питирим Сорокин и его «единство в разнообразии»

Новое поколение ученых, пришедшее в науку после революции 1905 г., попыталось построить динамическую модель социологического анализа имперского разнообразия. Среди этих людей в первую очередь следует назвать Питирима Сорокина, с самого начала получившего социологическое образование. Начало пути Сорокина в науке отражает быстроту изменений в общественной жизни Российской империи. Родившись в смешанной великорусской и коми-зырянской семье, Сорокин в полной мере воспользовался плодами миссионерской деятельности православной церкви на Русском Севере. Семинарское образование позволило Сорокину покинуть мир сельских ремесел и начать продвигаться в политическом и социальном пространстве позднеимперского общества. Он перебрался из деревни в город, в 1905 г. вел революционную пропаганду от имени партии эсеров, сидел в тюрьме как политический заключенный, достиг высот в науке. В 1917 г. Сорокин был назначен личным секретарем главы Временного правительства Александра Керенского. Во время Гражданской войны он одно время скрывался от большевиков, а после основал социологический факультет Петроградского университета⁵⁸. Со ссылками на метод, который можно назвать методом включенного наблюдения⁵⁹, Сорокин подчеркивал, что его собственный жизненный опыт обусловил интерес к социологии и направление его социологических исследований — от изучения механизмов социальной регуляции в первой крупной работе «Преступление и кара. Подвиг и награда»⁶⁰, до главных трудов в области социальной стратифика-

⁵⁷ Pipes R. *Struve, Liberal on the Right, 1905–1944*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

⁵⁸ Sorokin P. *Leaves from a Russian Diary*. Boston: Beacon Press, 1950; *Idem*. *A Long Journey. The Autobiography of Pitirim A. Sorokin*. New Haven: College and University Press, 1963; Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991; Johnston B. V. *Pitirim A. Sorokin: An Intellectual Biography*. Lawrence: University Press of Kansas, 1995.

⁵⁹ Sorokin P. *Russia and the United States*. N.Y.: E.P. Dutton and Co., 1944. P. 7–8.

⁶⁰ Сорокин был также многим обязан своему учителю Льву Петражицкому в том, что касалось его размышлений об интроспекции и наблюдении человеческого поведения как методов социологического исследования: *Idem*. Review of Leon Petrazycki, *Law and Morality* // *Harvard Law Review*. No. 69 (6). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956. P. 1154.

ции и воздействия войны и голода на общественное поведение. Последние были завершены еще до изгнания Сорокина из Советской России в 1922 г. После Октябрьской революции, опираясь на свой исследовательский опыт и все более воспринимая социологию как прикладную науку, Сорокин отстаивал перед советским правительством такую систему социологического образования, которая поощряла бы эмпирические исследования в местах быстрых общественных изменений и погружение социологов в практики культурного производства и строительства новой системы образования⁶¹.

Николай Кареев справедливо указывал на то, что Сорокин был представителем новой парадигмы в социологии, порвавшей с традициями российской социологии XIX в. Это было связано не только с тем, что в теоретической области Сорокин ориентировался на американскую социологию, а сам он в России начала XX столетия был одним из немногих ученых, выигравших в профессиональном плане от институционализации социологии в Психоневрологическом институте и Русском социологическом обществе⁶². Социология Сорокина обозначила водораздел в развитии российской социологии потому, что «он выдвигал проблему строения общества в то время, когда прежде на первом плане стояла проблема его развития»⁶³.

Действительно, для Сорокина само существование общества в Российской империи последних предреволюционных десятилетий было далеко не очевидно. Первое исследование в области этнографии народа коми Сорокин провел в 1908–1909 гг. в родных для него губерниях Русского Севера⁶⁴. Исследование стало возможным благодаря тому, что Сорокина включили в состав экспедиции, которая должна была собрать данные для подготовки

⁶¹ Сорокин П.А. *Общедоступный учебник социологии: в 2 ч. Ч. 1.* Ярославль: Изд-во Ярославского кредитного общества сов. кооперативов, 1920; *Он же.* Популярные очерки социальной педагогики и политики. Ужгород: Комитет деловых народно-просветительных рад в Подкарпатской Руси, 1923; *Он же.* Документальные штрихи к судьбе и творческой деятельности // *Социологические исследования.* 1991. № 10. С. 125–130.

⁶² Сорокин сначала был зачислен в Психоневрологический институт, а затем продолжил учебу на юридическом факультете Петроградского университета под руководством Максима Ковалевского, Евгения де Роберти и Льва Петражицкого. В своей официальной автобиографии Сорокин отмечает, что с самого начала своей научной карьеры он получил профессиональную подготовку именно как социолог.

⁶³ Кареев Н.И. *Основы русской социологии.* С. 263.

⁶⁴ Сорокин П.А. *Программа по изучению зырянского края.* Яренск: Изд-во союза «Коми котыр», 1918; *Он же.* Колонизационные вождения // *Социологические исследования.* 1990. № 2. С. 134–138; Несанелис Д.А., Семёнов В.А. Традиционная этнография народа коми в работах П.А. Сорокина // *Рубеж (альманах социальных исследований).* Вып. 1. 1991. С. 52–53.

переселения крестьян и колонизации этого региона. Сорокин хорошо понимал политическую значимость работы этой комиссии — это были годы, когда колонизация стала лозунгом правительственной политики в аграрном вопросе, позволяя отказаться от идеи экспроприации помещичьей земли и поощряя национализацию империи. Занимаясь этнографическим изучением коми, Сорокин вскрыл в работе правительственной комиссии подтасовку фактов, неверные интерпретации культуры и обычного права местного населения, недооценку земельного голода в регионе и завышение данных о наличии свободной для колонизации земли. Тем самым он продемонстрировал колонизаторские устремления правительственной политики и указал на потенциальные очаги конфликтов в пространстве империи⁶⁵.

Определяя социологию как самостоятельную науку, изучающую общие формы социального взаимодействия, Сорокин считал, что ее главным вопросом является не то, каким образом можно познать общество или как из социальной теории вывести государство, а то, как общество возможно в качестве пространства социального взаимодействия:

Почему на определенной территории люди живут вместе? почему они общаются друг с другом? почему они тяготеют друг к другу, а не разбегаются в разные стороны? <...> Сам факт сосуществования и взаимодействия людей, их тяготение друг к другу такие теории находят чем-то само собой понятным, не нуждающимся и не заслуживающим никакого объяснения⁶⁶.

Под влиянием Льва Петражицкого и его понимания права как психологического и социального механизма саморегулирования общества, Сорокин посвятил свое первое крупное социологическое исследование воздействию механизмов социальной регуляции на возникновение общественного единства⁶⁷. Формально оставаясь в рамках эволюционной социологии своего учителя Ковалевского, Сорокин не демонстрировал интереса к выявлению вектора общественного прогресса в исторической последовательности разных форм общественного устройства. Вместо этого он представил абстрактную картину действия сил принуждения и вознаграждения в процессе распространения и внутреннего усвоения общественных норм в социальном поведении.

⁶⁵ См. монографию Ю. Дойкова о раннем этапе биографии Сорокина: *Дойков Ю.В. Питирим Сорокин. Человек вне сезона*. Т. 1: 1889–1922 гг. Архангельск: [б.и.], 2008. — *Примеч. ред.*

⁶⁶ *Сорокин П.А. Система социологии*: в 2 т. Т. 1. Петроград: Издательское товарищество «Колос», 1923. С. 287.

⁶⁷ *Он же. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали* / предисл. проф. М.М. Ковалевского. СПб.: Изд-во Я.Г. Долбышева, 1914.

Итоговый труд Сорокина в области социологии, «Система социологии», посвященный проблеме социальной структуры, появился уже после революции 1917 г. и шел в разрез с господствующими идеологическими течениями того времени⁶⁸. Красной нитью через всю работу проходит теория социального единства и взаимных связей, основанная на тезисе о внутренней гетерогенности социального пространства. Двухтомник «Система социологии» Сорокина посвящен осмыслению структуры общества, начиная с уровня отдельного человека и формирования элементарных социальных образований до уровней кумулятивных общественных групп (класс и национальность) и агрегатных социальных общностей (население отдельной страны или всего мира). Определяя понятие социума через концепцию взаимодействия, Сорокин обращал особое внимание на конфликты и противостояния, представляя их как формы социальной взаимосвязи. На всех уровнях анализа Сорокин подчеркивал многообразие форм социальных общностей и взаимодействия, споря с теми своими интеллектуальными и политическими противниками, кто рассматривал общество сквозь призму одного критерия, будь то класс или национальность. Элемент социальной динамики присутствовал в работе Сорокина как возникновение, существование или распад социальных общностей. Иной смысл социальная динамика приобретала в меняющихся очертаниях социальной структуры. На фактическом материале Гражданской войны на Украине Сорокин описывал множественность фронтов в конфликте и множественные социальные конфигурации, которые поддерживали эти фронты. Война выражалась в борьбе между «красными» и «белыми», в столкновении между русским и украинским национализмом, в конфликте между городом и деревней, в дезинтеграции общества, толкавшей одно село к войне с другим. Сорокин попытался выразить свое понимание плюрализма социальных общностей и взаимодействий при помощи таких понятий, как «множественные „души“» и «функциональные связи меняющихся коллективных единств» (что можно считать прототипом сетевого анализа)⁶⁹. «...Наше “я” — мозаично и плюралистично. Оно похоже на факеточный глаз, составленный из множества различных “я”, объединенных в пределах одного организма, как физического носителя этих “я”». Сложная социология идентичности на индивидуальном уровне дополнялась Сорокиным динамической картиной изменения социальных связей и социальной ткани сложно устроенного общества:

⁶⁸ Выход в свет «Системы социологии» Сорокина произошел вопреки давлению большевистской идеологической цензуры. Тираж первого издания (10 тыс. экземпляров каждого из двух томов) был распродан за две недели, прежде чем появилось распоряжение о его конфискации (Голосенко И.А. Питирим Сорокин... С. 84).

⁶⁹ Сорокин П.А. Система социологии. Т. 2. 1920. С. 20–21, 444.

Пусть в данном городе имеется 2 самостоятельных телефонных общества А и В, обслуживающих население. Население в отношении телефона распадается на «абонентов» обществ А и В. Число абонентов телефонных обществ колеблется: одни абоненты выбывают из числа абонентов А или В и переходят в другое общество, например из А в В и наоборот. Вместе с тем, часть бывших абонентов этих обществ совершенно выключается из списка телефонных абонентов; часть населения, до сих пор не абонируемая ни в одном обществе, записывается в абоненты одного из них⁷⁰.

Попытка создать динамическую модель «разнообразия в единстве» выявила многие противоречия в «Системе социологии». В частности, Сорокин так и не смог примирить теоретический подход объективной социологии и изучение форм «реального коллективного единства» с обещанием построить динамическую модель сетевого анализа и множественных идентичностей.

Научная карьера Сорокина после его вынужденной эмиграции в 1922 г. выходит за рамки данной главы. Следует, однако, отметить, что в работах Сорокина по социологии революции и сравнительному анализу СССР и США можно заметить существенный разрыв с его трудами российского периода. Центральной проблемой его социологии революции стала критика революции и обещанного ею коренного переустройства социальной структуры. Таким образом, социология революции Сорокина подчеркивала момент воспроизводства основополагающего структурного деления общества на правящий и управляемый классы. Новацией здесь было введение оценочного суждения по отношению к тому, что считать «нормальными» и «аномальными» социальными группами в революции⁷¹. В работах Сорокина, посвященных русскому народу, подчеркивалось структурное, выходящее за пределы исторического процесса, единство великорусов, украинцев и белорусов и преуменьшались конфликты и противоречия на пространстве Российской империи⁷².

6. Post scriptum: социолог-утопист прогрессивной империи

Российская империя исчезла очень быстро, оставив свое бывшее население не столько без метрополии (которая никогда и не была гомогенным

⁷⁰ Там же. С. 350.

⁷¹ *Он же*. Современное состояние России. Прага: Лингва, 1922; *Sorokin P.* The Sociology of Revolution. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1925; *Finkel S.* Sociology and Revolution: Pitirim Sorokin and Russia's National Degeneration // Russian History. Histoire Russe. 2005. Vol. 32 (2). P. 160.

⁷² *Sorokin P.* Russia and the United States. P. 29–31, 33–47; *Idem.* The Essential Characteristics of the Russian Nation in the Twentieth Century // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1967. Vol. 370. P. 99–115.

образованием, четко локализованным в пространстве), сколько без концептуальной рамки для осмысления разнообразия местных обычаев и культур как элементов единого воображаемого политического сообщества. Новая риторика революционной социальной инженерии маргинализовала прежний язык империи и дискурс фундаментальной социальной гетерогенности внутри советской России. Имперское господство над колониями и угнетение меньшинств теперь можно было обнаружить лишь в мире империализма или в российском прошлом, как это изображалось в сочинениях историков школы Михаила Покровского⁷³. Внутри СССР господствующая идиома социального эволюционизма или даже революционаризма представляла все существующие социальные и культурные различия как пережитки старого режима, которые будут стерты или интегрированы в однородном обществе будущего. Ирония состояла в том, что эта социальная инженерия и дискурсивные манипуляции в значительной степени носили очевидный имперский и даже империалистический подтекст. Тем не менее было бы ошибкой однозначно приписывать советским обществоведам скрытые имперские установки. Эпистема советских общественных наук имеет сложную собственную генеалогию и требует специальной деконструкции и исследования.

Что касается предшествующей традиции, то последний выдающийся социолог Российской империи остается неизвестным в этом качестве, хотя его идеи подводят итог нескольких десятилетий поисков российскими учеными аналитической модели сложносоставного открытого общества. Этот неожиданный социолог империи — Александр Чаянов (1888–1937), на короткое время снискавший популярность в западном обществоведении в 1970-е годы как признанный предшественник крестьяноведения, экономики развивающихся обществ и зарождающейся гендерной экономики⁷⁴. В западной русистике он известен как оригинальный теоретик крестьянской экономической рациональности и теории крестьянского хозяйства и как активист сельского кооперативного движения⁷⁵. Чаянова за его неор-

⁷³ Barber J. *Soviet Historians in Crisis, 1928–1932*. L.: Macmillan Press, 1981.

⁷⁴ A.V. Chayanov on the Theory of the Peasant Economy / D. Thorner, B. Kerblay, R.E.F. Smith (eds). Homewood, IL: R.D. Irving, 1966; Harrison M. The Peasant Mode of Production in the Work of A.V. Chayanov // *Journal of Peasant Studies*. 1977. No. 4 (4). P. 323–336; Durrenberger E.P. Chayanov's Economic Analysis in Anthropology // *Journal of Anthropological Research*. 1980. 36 (2). P. 133–148; Tannenbaum N. The Misuse of Chayanov: "Chayanov's Rule" and Empiricist Bias in Anthropology // *American Anthropologist*. 1984. No. 86 (4). P. 927–942.

⁷⁵ Jasny N. *Soviet Economists of the Twenties: Names to Be Remembered*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972; Shanin T. *The Awkward Class; Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia, 1910–1925*. Oxford: Oxford University Press, 1972; Harrison M. Chayanov and the Economics of the Russian Peasantry // *Journal of Peasant Studies*. 1975. No. 2 (4). P. 389–417; Solomon S.G. *The Soviet Agrarian Debate: A Controversy in Social Science, 1923–1929*. Boulder,

тодоксальные экономические взгляды в 1920-е годы жестоко критиковали большевистские авторы, а в 1970-е — британские и индийские марксисты⁷⁶, однако это — единственное формальное связующее звено между Чаяновым и социологией имперской «нерегулярности». По-видимому, сам он иначе понимал значение своих работ, насколько мы можем судить по фрагментам личной информации, которая сохранилась после конфискации всех его личных бумаг во время первого ареста в 1930 г.

В 1906 г. Александр Чаянов поступил в элитарный Московский сельскохозяйственный институт, дававший исключительное образование в области биологии (известный генетик Николай Вавилов был однокурсником Чаянова) и экономики. Хотя дипломная работа Чаянова была посвящена установлению южной границы распространения трехполья в России и он потратил много времени, изучая материалы статистических обследований крестьянских хозяйств, уже весной 1909 г. он признавался своей подруге и однокурснице Екатерине Сахаровой в том, «что его настоящая область — только социология»⁷⁷. Еще раньше, в октябре 1908 г., в письме к своему научному руководителю Алексею Фортунатову он упомянул две тетради с «социологическими изысканиями», из которых он более всего ценил свою попытку связать данные из области экспериментальной психологии с некоторыми социальными фактами. В особенности он отмечал влияние на себя основателя современной психологии во Франции, Теодюля Рибо, вдохновившего его заняться моделированием теории личностной мотивации⁷⁸. В другом письме Фортунатову Чаянов прямо выражал свое несогласие с господствующим пониманием социологии как науки, занимающейся исключительно абстрактными моделями и идеальными типами:

Социология представляется мне не какой-нибудь абстрактной наукой о всеобщем обществе, но, наоборот, наукой о реальном, наукой о том действит[ельном] обществе, что шумит и волнуется вокруг нас, наукой, не только разлагающей процессы обществен[ной] жизни на составляющие факторы, не только объясняющей и разделяющей явления, но наукой, могущей указать дальнейшее направление общественной жизни⁷⁹.

CO: Westview Press, 1977; *Idem*. Rural Scholars and the Cultural Revolution // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931 / S. Fitzpatrick (ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1978. P. 129–153.

⁷⁶ Harrison M. Chayanov and the Marxists // Journal of Peasant Studies. 1979. No. 7 (1) P. 86–100.

⁷⁷ Сахарова-Вавилова Е.Н. Дневниковые записи 1911 // РГАЭ. Ф. 328. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 158.

⁷⁸ Чаянов В.А. А.В. Чаянов — человек, ученый, гражданин / под общ. ред. Г.И. Шмелёва. М.: Изд. дом «Дашков и Ко», 2000. С. 110.

⁷⁹ Там же. С. 113.

В этом письме Чаянов попытался объяснить своему мыслившему в позитивистском ключе учителю, что его, Чаянова, интересует механизм процессов самоорганизации общества, а не общая таксономия социальных форм и структур, игнорирующая конкретные исторические и экономические обстоятельства. Последующее изложение Чаяновым своих взглядов на социологию сохранилось благодаря прижизненной публикации, замаскированной под литературную утопию. Написанная во второй половине 1919 г. (и вышедшая под псевдонимом в 1920 г.), небольшая книжка под названием «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» описывала события 1984 г. — почти за 30 лет до публикации «1984» Джорджа Оруэлла⁸⁰. Довольно неуклюжая по стилю, обрывающаяся на полуслове повесть Чаянова интересна своим комплексным идеологическим посылом⁸¹. Особый интерес представляет включенный в текст повествования пространственный некролог, посвященный памяти вымышленного персонажа, некоего Арсения Брагина — «выдающегося социолога», «патриарха основанной им науки». Его фамилия может являться шарадой, намекающей на самого Чаянова⁸², а обстоятельства жизни Брагина подчеркивают важные эпизоды биографии автора⁸³. Брагин — выдуманное alter ego Чаянова, воплощение его идеала специалиста в области социальных наук и его понимания социологии:

Идя к социальной теории от социальной техники, Брагин любил повторять, что путь к созданию научной социологии лежит, во-первых, через накопление научного опыта в деле изучения частных проблем социальной практики и, во-вторых, через нахождение форм количественного выражения социальных явлений.

Брагин прославился исследованиями, определившими облик и границы новой дисциплины, такими как «Скорость социальных изменений и

⁸⁰ Чаянов А.В. Избранные произведения. М.: Современник, 1989; Chaianov A.V. [Ivan Kremenov]. The Journey of My Brother Alexey to the Land of Peasant Utopia // The Russian Peasant, 1920 and 1984 / R.E.F. Smith (ed.). L.: Frank Cass, 1977. P. 63–116.

⁸¹ Герасимов И. Душа человека переходного времени: Случай Александра Чаянова. Казань: Анна, 1997.

⁸² По своему исходному значению греческие имена «Арсений» и «Александр» близки другу другу. Фамилия «Брагин» отсылает нас к традиционному крестьянскому спиртному напитку, в то время как «Чаянов» — к не менее популярному безалкогольному напитку.

⁸³ Так, Брагин предстает как создатель «политической партии крестьянства», ставший затем вождем крестьянского движения. В 1930 г. Чаянова обвиняли в создании никогда не существовавшей антисоветской Крестьянской трудовой партии, однако в 1917 г. он действительно размышлял о создании «широкой крестьянской партии» (Gerashimov I. Modernism and Public Reform... P. 212).

метод их измерения» (исследование, посвященное проблеме количественного описания социальных процессов), «Теория создания, поддержания и разрушения репутаций» и многотомный труд «Теория политического и общественного влияния». Таким образом, он выполнил все «намеченное в одной из его юношеских записок как программа жизни»⁸⁴ — возможно, в той самой записке 1908 г., которую мы цитировали выше. Очевидно, Чаянов не верил в самодостаточную эвристическую ценность статистической или таксономической агрегации эмпирических данных⁸⁵. Его интересовала социология динамичных открытых систем, лишь отчасти детерминированных социальными структурами (будь то общественное мнение или «репутация»). Верный своему рано сформулированному убеждению, что конечной целью социологии является «указание на дальнейшее направление общественной жизни», Чаянов продемонстрировал общественно-политические последствия социологии Брагина, его коллег и последователей. В утопической России 1984 г. государственные институты приспособлены к местным нуждам и особенностям: «Так, в Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели “удельного князя”, правда, ограниченного властью местного совдепа, а на Монголо-Алтайской территории единолично правит “генерал-губернатор” центральной власти».⁸⁶ Все городские центры перестроены и превращены в «города-сады», в экономике господствующее положение занимают мелкие производственные единицы, объединенные сетями кооперативов. Общество состоит из переплетения отдельных местностей и региональных особенностей, связанных между собой социальной системой, ориентированной на рациональное использование имеющихся природных и человеческих ресурсов. Правящий класс состоит из достаточно неформально организованного, но четко выделенного сообщества экспертов. Чаяновское утопическое общество будущего представляет собой осуществившиеся идеалы прогрессивизма (будь то городская реформа, антимонопольная риторика, культ рациональных управленцев или принципиальное пренебрежение институциональными формами политики). Однако эти общие идеалы трансатлантического прогрессивизма⁸⁷ приспособлены к выражению специфики России именно как империи. Конечно, это великая держава, но одновременно и социальное

⁸⁴ См.: Чаянов А.В. Избранные произведения. С. 123.

⁸⁵ Aleksandr Chayanov and Russian Berlin / F. Bourgholtzer (ed.). L.; Portland, OR: Frank Cass, 1999. P. 77–78.

⁸⁶ Чаянов А.В. Избранные произведения. С. 124.

⁸⁷ Rodgers D.T. Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1998. P. 5.

пространство величайшей внутренней гетерогенности. Самая большая трудность, с которой сталкивается социология этой прогрессистской империи, заключается в том, чтобы одновременно удовлетворить потребность в достижении некоторого общего единства и при этом учитывать индивидуальные и локальные особенности (в теории и на практике). В утопии Чаянов пытается найти формулу, которая бы допускала господство в обществе политического класса экспертов посредством механизма, который лучше всего описывается понятием «говернментальность» (governmentality), но избегая при этом примитивного языка колониализма и эксплуатации. Чаянов строит модель и пытается проанализировать современную или, скорее, постmodernную Россию как империю мультикультурализма и разнообразия, демократическую и эффективную, и все равно не способную преодолеть дилемму внутренней гегемонии знания и власти над «инаковостью», локальным знанием и местными нуждами.

* * *

Чаяновское видение «постимперской» социологии имперского общества отсылает нас к моменту разрыва российской истории в 1917 г. Этот разрыв был вызван революциями, распадом имперского пространства и последующей перестройкой империи, превратившейся в Советский Союз. Конечно, 1917 год не следует рассматривать как непроходимую пропасть между двумя эпохами. Однако для целей данной главы важно отметить два процесса, которые образуют своего рода водораздел в развитии общественных наук об империи и связанной с ней социологической рефлексии.

Многие историки обращали внимание на то, что Советский Союз продолжал идти по тому же пути, что и Российская империя, включая сохранение недемократических форм правления, направленных на «управление обширной территорией и полиэтничным населением»⁸⁸. Другие признают, что советская трактовка местного разнообразия отличалась от прежнего имперского подхода. Советская политическая сфера определялась категорией класса. Советская национальная политика была направлена на создание базовых общностей, внутри которых люди имели бы выраженное ощущение своей принадлежности к одной определенной нации с четкими границами, при одновременном территориальном размещении этих общностей в пределах административных территорий, определяемых в этнических категориях. Результатом стало взаимоналожение идеологического режима поддерживаемой государством эволюционистской эпистемы, доминирующих в государственной политике и социальных науках категорий

⁸⁸ Lieven D. Empire. The Russian Empire and Its Rivals from the Sixteenth Century to the Present. L.: John Murray, 2000.

класса и этничности, и системы этно-территориального федерализма⁸⁹. Это был радикальный разрыв с имперским обществом иррегулярных различий как контекстом, формировавшим развитие российской социологической мысли. Как подчеркивалось выше, именно этот контекст отражался в российской социальной теории и социологическом анализе в их ранний период в самых разнообразных проявлениях — включая революционную традицию демонтажа империи, народническую традицию «ученого неведения» об империи, эволюционистский дискурс нормализации Российской империи в европейском пространстве «имперских формаций», а также поиск динамической модели социологии имперского общества разнообразия.

Отношения между системой общественных наук и идеологическим режимом в раннесоветский период характеризовались как прямой цензурой и политическими преследованиями, так и состоянием неопределенности. Судя по всему, у советского режима с самого начала не было никакой готовой развернутой социальной теории-идеологии, помимо революционной риторики и практики. При этом объявленная «социалистическая» революция предполагала радикальное переустройство всего общества на основе правильно понятых законов его исторического развития. Соответственно, социология и обществоведение приобретали колоссальное политическое значение. В поисках новой обществоведческой ортодоксии режим поощрял развитие «истинно» марксистских социальных наук, создав ряд учреждений высшего образования и исследовательских центров (таких как Коммунистический университет им. Свердлова, Коммунистическая академия, Институт красной профессуры и т.д.). В то же самое время режим приступил к масштабному негативному отбору, самым энергичным образом отфильтровывая все те идеи и их выразителей, которые казались чуждыми большевистским идеологам. Эта фильтрация включала вынужденную политическую эмиграцию (именно такая судьба была уготована Сорокину), аресты (случай Чайнова) и цензуру⁹⁰. Постепенно негативный отбор обер-

⁸⁹ A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / R. Suny, T. Martin (eds). N.Y.: Oxford University Press, 2001; *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001; *Hirsch F.* Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005; *Khalid A.* Backwardness and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective // *Slavic Review*. 2006. No. 65 (2). P. 231–251.

⁹⁰ Чтобы представить себе рвение, с которым цензоры охотились за политически вполне благонамеренными, но «чуждыми» в социологическом отношении текстами, достаточно сказать, что в 1919 г. Петроградский комиссариат по делам печати, агитации и пропаганды запретил издательству «Кооперация» публиковать книгу Марка Твена «Принц и нищий», исторический роман Алексея Толстого «Князь Серебряный», экономический трактат М. Боголепова «Бумажные деньги» и сочинение Зака «Государственное банкротство». Единственным разрешенным к печати сочинением стала «Луна» Клейна... (*Сандомирский Г.* Вопросы кооперативного издательства // *Кооперативная жизнь*. 1919. № 7–8–9. С. 24).

нулся против самих бывших идеологов социалистической революции, как это произошло с харизматичным историком Покровским. Оба эти процесса — фильтрация чуждых элементов и создание подлинно марксистской социологии — в конце концов сошлись в одной точке на исходе 1930-х годов, когда, после серии дискуссий, сталинский канон общественных наук был сакрализован в классическом тексте «История ВКП(б). Краткий курс» (1938). К тому времени уцелевшие обществоведы были вынуждены принять новую ортодоксию. Наступила эпоха, положившая конец наиболее творческому и критически заостренному социальному теоретизированию, которым были отмечены первые два десятилетия XX в. Но это произошло уже после того, как в изначальную марксистскую социологию силами советских обществоведов была внесена целая серия теоретических новаций — прежде всего, теория исторической закономерности смены общественно-экономических формаций, которая подпитывала советскую обществоведческую мысль еще полвека.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ПСИХОЛОГИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Обращение к истории русской психологии¹ и смежных наук зачастую оставляет у заинтересованного наблюдателя ощущение неполноты, недосказанности, двусмысленности и неясности. Виной тому отчасти неизбежные пробелы в знании предмета, отчасти вечные проблемы «самостоянья» психологии, которая с первого момента заявки на собственную партию в нестройном хоре наук о человеке так, кажется, и не вышла из хронического «кризиса», в котором она пребывает от своего рождения по настоящий день², а отчасти дело в том, что историография психологии и смежных с ней дисциплин по целому ряду причин до сих пор находится в зачаточном состоянии, несмотря на сотни и тысячи печатных страниц, отведенных под обсуждение истории психологии. В последнее время наметилась тенденция к преодолению давнего застоя в историографии русской психологии. Радикальное обновление и фундаментальный прорыв в этой области знания были сравнительно недавно заявлены в терминах «архивной», а вслед за ней и «ревизионистской» революции в выготсковедении³. Началось и рас-

¹ Под «русской психологией» здесь понимается тот свод идей, текстов, экспериментальных и социальных практик, который напрямую завязан на, условно говоря, «психологические» публикации на русском языке вне зависимости от географической расположенности, национальности или институциональной аффилиации их авторов. Таким образом, с известной натяжкой переводная литература на русском языке и производные от нее теории, дискурсы и практики также включаются в такое расширительное понятие «русской психологии».

² Литература о «кризисе психологии» действительно огромна и вряд ли поддается учету. Из самых недавних и, пожалуй, наиболее обширных обсуждений этой «вечной темы» можно указать серию статей, вышедших под общим заголовком: Psychology, A Science in Crisis? A Century of Reflections and Debates // Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2012. Vol. 43. No. 2. P. 317–582. <<http://sciencedirect.com/science/journal/13698486/43/2>> (дата обращения: 21.02.2014).

³ См.: Yasnitsky A. “Archival Revolution” in Vygotskian Studies? Uncovering Vygotsky’s Archives // Journal of Russian and East European Psychology. 2010. Vol. 48. No. 1. P. 3–13; *Idem*. Revisionist Revolution in Vygotskian Science: Toward Cultural-Historical Gestalt Psychology. Guest Editor’s Introduction // *Ibid.* 2012. Vol. 50. No. 4. P. 3–15. Под «выготсковедением» понимаются комплексные систематические транснациональные исследования в области историкоисследования,

пространение ревизионистского подхода на всю историографию русской психологии. В частности, одной из наиболее важных проблемных областей остается дисциплинарная история психологии, которая до настоящего времени была представлена большим объемом разнообразных работ по узкоспециальным и в той или иной степени изолированным дисциплинарным направлениям психологических и околопсихологических дисциплин, расцветшим в Советской России и в других республиках СССР в первой трети XX в., — таким как собственно *психология*, *педология*, *психотехника*, *дефектология*, *рефлексология*, *реактология*, *психогигиена*, *психотерапия* и т.п. Тем не менее значительная фрагментация прежних опытов описания всего разнообразного и огромного поля теорий, практик и методов этих дисциплин — зачастую исключительно тесно взаимосвязанных и порой неотличимых одна от другой — в определенной степени сводит на нет попытки реконструировать подлинный смысл исторических процессов того периода.

Таким образом, несмотря на огромный потенциал ревизионистской историографии и уже проведенную работу в этом направлении, значительный объем работы еще только предстоит выполнить, и данный очерк, при всей его сжатости и неизбежной фрагментарности, думается, вносит свой вклад в создание интегративной, сравнительной и общей дисциплинарной истории русской психологии.

Весь драматизм истории дисциплинарного становления психологии можно описать в терминах определения собственных границ, позволяющих, с одной стороны, отделить психологию от других научных дисциплин (таких как физиология, психиатрия, педагогика, искусствоведение, социология и др.), искусств (литература, музыка и проч.) и «ненаучных» дискурсов (философия и богословие) и, с другой стороны, найти ей место среди общественных практик (таких как медицина, образование, индустрия, военное дело, реклама и пропаганда и т.п.). Обзору истории дисциплиностроительства и дисциплинарного становления русской психологии на протяжении первой половины XX в. и посвящена эта глава.

текстологии, истории и собственно научного содержания наследия Л.С. Выготского (1896–1934), самого популярного русского психолога. Ревизионистский мейнстрим представлен в первую очередь работами исследователей из Бразилии, Великобритании, Германии, Голландии, Израиля, Италии, Канады, Швейцарии, Эстонии и Южной Африки. В исторических и теоретических исследованиях современных российских авторов ревизионистское направление представлено работами Е. Завершневой и ее сотрудников (см. библиографию работ Завершневой, уже вышедших и готовящихся к публикации на четырех языках: *Nemo_Nostrum*. Библиография Е. Завершневой // *Psyhistorik*. LiveJournal. 06.10.2011 [San Francisco]: LiveJournal, Inc., cop. 1999–2014. <<http://psyanimajournal.livejournal.com/10520.html>> (дата обращения: 27.06.2014)).

1. Операционализация дисциплинарного исторического исследования

И все же, прежде чем приступить к собственно исторической реконструкции событий и процессов дисциплиностроительства в советской психологии, необходимо определить, что для нас в контексте данного обсуждения означает психология как научная дисциплина и как мы ее операционализируем на уровне анализа конкретного исторического материала.

Психология как собственно научная дисциплина понимается в данном очерке как сложное социально-культурное явление, которое рассматривается на разных уровнях и в рамках, задаваемых двумя полюсами. С одной стороны, это *философия*: целый спектр философских течений от разнообразных идеалистических направлений до позитивизма (в период до прихода к власти большевиков в России в 1917 г.) и сравнительно узкое поле различных вариаций марксизма как доминирующей философской доктрины в стране (после 1917 г.⁴). С другой стороны, это широко понимаемые *индустрия* и *народное хозяйство*. Дело в том, что применительно к советской психологии межвоенного периода не представляется возможным провести четкую границу между собственно наукой, философией и индустриальной практикой — в силу общих установок советской науки на партийность (принципы материализма и марксизма) и приоритет практики, разделяемых в равной мере и учеными, и их патронами-большевиками⁵. Исторически сложилось так, что психология была особенно заметна и ее роль потенциально особенно велика в таких сферах, как медицина и здравоохранение, образование и воспитание, промышленность и труд, военное дело и, наконец, пропаганда и агитация. В свою очередь, научная дисциплина, понимаемая в предельно суженном виде как деятельность ученых по производству знания, предстает как комплекс, где связаны общая теория — в советских условиях безальтернативно опирающаяся на положения философского марксистского мейнстрима — и эмпирические исследования, которые включают в себя лабораторно-экспериментальные (*in vitro*) и, с другой стороны, прикладные (*in vivo*) разработки.

⁴ О вариациях в советском марксизме см.: *Дмитриев А.* «Академический марксизм» 1920–1930-х годов: западный контекст и советские обстоятельства // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 10–38. <<http://magazines.russ.ru/nlo/2007/88/dm2.html>> (дата обращения: 21.02.2014).

⁵ См.: *Krementsov N.* *Stalinist Science*. Princeton: Princeton University Press, 1997; *Кременцов Н.Л.* Принцип конкурентного исключения // На переломе: советская биология в 20-х — 30-х гг. / под ред. Э.И. Колчинского. Вып. 1. СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН, 1997. С. 107–164. <<http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/naperelome/1/107-164.pdf>> (дата обращения: 21.02.2014).

Отношения между этими четырьмя сферами и структурными блоками научной дисциплины исключительно сложны и исторически обусловлены той или иной конкретной социальной ситуацией. Можно представить их взаимное отношение в виде иерархической структуры с философией на самом верху, а общественной практикой в самом низу, как, например, это сделано в схеме 1 (см. ниже). Можно, в соответствии с марксистским принципом «восхождения от абстрактного к конкретному», эту схему и полностью реорганизовать так, чтобы философия составляла фундамент, а практика представляла собой вершину развития дисциплины. На самом же деле, здесь, по всей видимости, следует, скорей, говорить о взаимозависимости между всеми четырьмя «системными блоками», которые графически можно было бы также представить и в виде совокупности элементов с разнообразными переходами между ними.

1. Философия				
2. Общая (психологическая) теория				
3. Эмпирические исследования				
Лабораторно-экспериментальные			Прикладные	
4. Индустрия и народное хозяйство				
Медицина и здравоохранение	Образование и воспитание	Промышленность и труд	Военное дело	Пропаганда и агитация

Схема 1. Структурные компоненты научной дисциплины в социальном контексте

И все же следует заметить, что данная схема остается неполной по той причине, что она представляет лишь структурные и статичные характеристики научной дисциплины в социальном контексте, но при этом ничего не говорит нам о тех силах, которые приводят эту статичную структуру в движение и заставляют ее реально функционировать. Для наших текущих целей обсуждения дисциплинарной истории русской психологии первой половины XX в. мы выделяем несколько таких механизмов, движущих сил (и в то же самое время продуктов развития науки в ее социальном бытовании).

Первое — *аксиоматический базис*, т.е. совокупность убеждений, установок, представлений о мире, ценностных ориентаций и т.п., которые определяют отношение того или иного индивида к окружающему миру, к роли и месту человека в этом мире, понятия о границах возможного и т.д. Несмотря на глубоко личностный и персональный характер аксиоматического базиса, в основе своей и по своему происхождению он принципиально не оригинален и не индивидуален, составлен определенным набором базо-

вых смысловых ориентаций, в большей или меньшей степени разделяемых некоторой социальной группой, и обусловлен исторически как культурной традицией, так и в некоторой степени конкретно-историческими «производственными отношениями», понимаемыми здесь предельно широко. Вопреки кажущейся неизменности и ригидности, аксиоматический базис подвержен мутациям, трансформациям и даже радикальным переоценкам. Все эти ценностные установки лежат за пределами собственно научных представлений, тем не менее именно они в огромной степени определяют содержание, формы и социальное бытование научного знания в данных конкретных условиях в ту или иную историческую эпоху. Все это, несомненно, верно и в приложении к истории психологии как научной дисциплины.

Второе — *дискурсы*, регламентирующие, направляющие и порождающие деятельность агентов того или иного социального проекта (как в нашем случае научной дисциплины), и в то же время порождаемые и детерминированные деятельностью, проводимой в рамках этого проекта. В значительной мере именно дискурсы, т.е. тексты (постановления, директивы, нарративы, документы и письменные источники) составляют суть работы ученых, хотя, безусловно, далеко не всю, а, скажем так, лишь видимую, «надводную» часть того айсберга, который представляет собой наука как дисциплинарное образование.

Третье — *системы (неформальных) личных связей*, т.е. совокупности агентов, которые действуют в своих интересах и преследуют свои цели в соответствии с набором их аксиоматических жизненных ценностей и при этом суммарно выполняют общую задачу сверхиндивидуального уровня. Применительно к нашей теме это дисциплиностроительство, поддержание жизнеспособности и функционирования той научной дисциплины, в рамках которой и разворачивается интеллектуально-административная деятельность самих агентов. Их цели и задачи вполне могут быть разнообразными и разнонаправленными, а подчас даже и противоположными, а сами агенты не обязаны быть представителями одной конкретной области и сферы деятельности — например, одной научной дисциплины (или ряда смежных научных дисциплин); более того, их круг может наряду с собственно научными деятелями включать в себя и их родственников, патронов, спонсоров или представителей других видов деятельности (например, искусств, философии или издательского дела).

Четвертое — *социальные практики*, в которые вовлекаются агенты данного профессионального сообщества и участники сети их формальных и неформальных связей в ходе эволюции данного конкретного дисциплинарного поля⁶. Очевидно, что в случае научных деятелей такие практики вы-

⁶ О понятии «социальных практик» см. обсуждение в: *Kremetsov N. Stalinist Science.*

ходят далеко за пределы исследовательской (экспериментальной, прикладной, теоретической) и публикационной активности: они включают также и целый спектр видов деятельности, направленной на социальное позиционирование и продвижение научного знания, коммуникации разного рода, карьерные вопросы и т.п., без которых не мыслима нормальная работа никакого социального института, в частности, института науки и научных дисциплин.

Таким образом, в данной работе мы определяем научные дисциплины, с одной стороны, в терминах четырех условно различных структурных блоков в континууме от философии через теорию и эмпирические исследования к индустрии и народному хозяйству, а с другой стороны, с помощью динамических механизмов, приводящих в действие всю эту статичную систему, таких как аксиоматический базис, система (неформальных) личных связей, дискурсивные и социальные практики (см. схему 2).

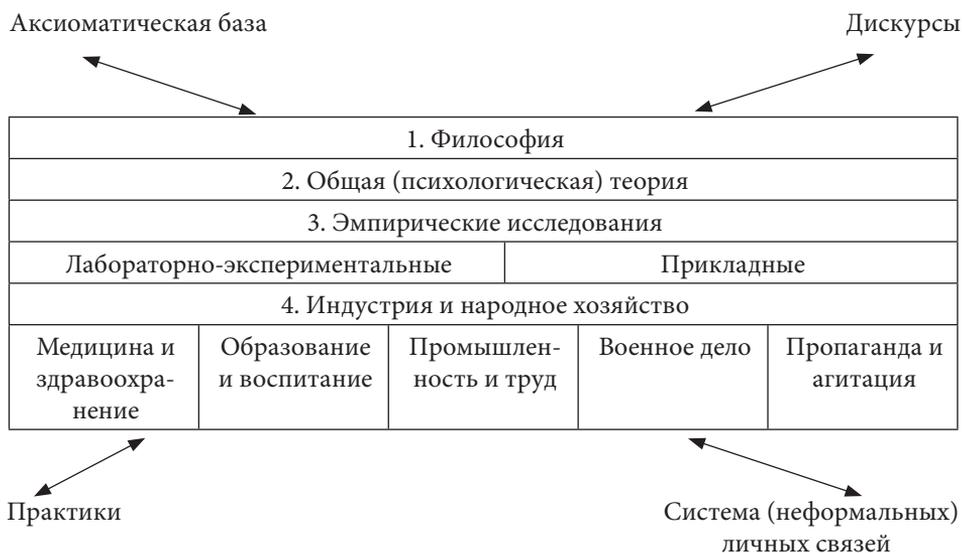


Схема 2. Научная дисциплина в социальном контексте
(в единстве структурных и динамических характеристик)

Но и это еще не все. Если мы попытаемся представить научную дисциплину как организм в естественных условиях ее социокультурного окружения, то сможем увидеть, что она в своем нормальном повседневном функционировании зависит в большей или меньшей степени от трех институциональных факторов:

1. Власть, патронат и спонсорство, обеспечивающие ресурсную базу и осуществляющие функции административной, финансовой и законодательной поддержки науки.

2. Международное сообщество ученых — представителей данной (или смежных) научной дисциплины, — вырабатывающих международные стандарты научной дисциплины и создающих контекст легитимации локально проведенных исследований за пределами данного локального научного сообщества.

3. Образование и социализация, поддерживающие не только продолжение нормального (т.е. инновационного) функционирования науки, но и ее непрерывное воспроизводство, передачу и сохранение канона и традиции.

Отношения научной дисциплины с этими тремя институтами динамичные и двусторонние (см. графическое представление на схеме 3).



Схема 3. Научная дисциплина как «организм»

По нашему мнению, вся эта сложная и целостная (хотя и значительно упрощенная в данном изложении) картина должна лежать в основе будущей, еще не написанной дисциплинарной истории русской психологии и смежных дисциплин. Разумеется, не все многообразие явлений, связей и процессов здесь отражено.

Исходя из вышеизложенного, для операционализации оценки прогресса в становлении российской/советской психологии как самостоятельной научной дисциплины мы обращаемся к следующим критериям и параметрам:

- место дисциплины в общей структуре других научных дисциплин в стране и ее соответствие аналогичным дисциплинам за пределами страны, поддерживаемым и развиваемым международным научным сообществом;

- роль и административная представленность в «большой» Академии наук (АН СССР, ныне — РАН), в специализированных академиях и академических структурах: психологи в качестве членов и членов-корреспондентов Академии наук СССР; наличие профильных институтов психологии, аффилированных с академиями наук СССР и (бывших) союзных республик, и т.п.;

- количество выходцев из данной дисциплины в административных, медицинских, образовательных структурах и среди лауреатов наиболее престижных государственных премий;

- профильные научные периодические издания;

- положение дисциплины в образовании и учебных курсах — в высшем, среднем и школьном образовании, — представленное в виде учебных планов и учебников, опубликованных под грифом соответствующего федерального или локального наркомата или министерства.

2. Предыстория: 1900 — начало 1920-х годов

До 1917 г. русская психология развивалась вполне в рамках европейского психологического мейнстрима, точнее сказать: в русле, уже проложенном к тому времени пионерами психологической науки в Европе. Российские ученые зачастую совершали академические поездки в Старый Свет: на учебу, для подготовки к научным званиям или на стажировку. Они принимали участие в зарубежных конференциях и с определенной регулярностью печатались в иностранных научных журналах, преимущественно на немецком или французском языках. Основная доля научных связей приходилась на Германию и в меньшей степени на немецкоязычные страны (т.е. Австро-Венгрию и Швейцарию), а в еще меньшей степени на Францию и франкофонную Европу. Мирное существование двуязычной зарубежной ориентации русской психологии нарушилось с расколом академического мира, вызванным началом Первой мировой войны в 1914 г. Однако мощные культурные связи России и Германии благополучно сохранились и после Октябрьского восстания 1917 г., при новом режиме. В значительной мере это распространяется и на благоприятную для сотрудничества научную политику этих двух стран, в частности, в области психологии и смежных наук⁷.

⁷ Об интенсивных русско-немецких научных контактах в межвоенный период см., например: *Doing Medicine Together: Germany and Russia between the Wars* / S.G. Solomon (ed.). Toronto: University of Toronto Press, 2006. Об одном из наиболее важных советско-германских проектов в области психологии, а именно о научном обмене и сотрудничестве между исследователями «круга Выготского» и немецко-американскими гештальт-психологами, см.:

Русская психологическая наука дореволюционного периода следовала в кильватере науки европейской, была во многом вторична, неоригинальна, а потому малоинтересна в Европе. Объем переводов психологических работ западных авторов на русский язык (импорт западной психологии в Россию) ощутимо превышал количество переводов работ русских авторов на европейские языки (экспорт русской психологии за границу⁸).

С теоретической точки зрения у русских последователей западных ученых было несколько основных возможностей. Первая — спекулятивная психология, которая развивалась в рамках тех или иных философских направлений. Вторая — объективистская, т.е. эмпирическая и позитивистская психология, основанная на лабораторном эксперименте. Наконец, третья — развитие психологии не только как эмпирической, но как и прикладной, основанной, в отличие от первых двух, как правило, на конкретном материале лечебно-клинической или учебно-образовательной социальной практики. В известном смысле можно рассматривать такую прикладную науку если и не как полностью атеоретическую, то как в значительной степени безразличную к той или иной концептуальной рамке, что позволяет (или по меньшей мере не препятствует) этой науке плодотворно развиваться.

Справедливости ради не следует преувеличивать различия между этими тремя возможностями. Так, к примеру, спекулятивная психология, постулировавшая «жизнь», «дух» или «высшие психические функции» как основополагающие объекты своей рефлексии, нередко вполне мирно уживалась и с эмпирическим лабораторным исследованием «низших функций». И наоборот, самые ярые сторонники «неакадемического» прикладного направления порой оказывались в то же самое время и в составе профессорско-преподавательского корпуса университетов. И все же такое совпадение функций «академических ученых» и «прикладников» было несколько нетипичным для элитарной университетской науки Российской империи⁹. И даже участие страны в Первой мировой войне, обнажившей проблему мобилизации научных ресурсов как важной составной части со-

Ясницкий А. К истории культурно-исторической гештальт-психологии: Выготский, Лурия, Коффка, Левин и др. // Психологический журнал Международного университета природы общества и человека «Дубна». 2012. № 1. С. 60–97.

⁸ В целом эта важная тема остается неразработанной в современной историографии. Тем не менее кое-что о сравнительной переводной публикационной активности русских психологов и их западных коллег на материале анализа данных за 1920–1930-е годы см.: *Он же*. Об изоляционизме советской психологии: научные публикации 1920–30-х годов // Вопросы психологии. 2011. № 1. С. 124–136.

⁹ Об элитарной академической культуре того времени см. анализ, проведенный на немецком материале: *Рингер Ф.* Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890–1933. М.: Новое литературное обозрение, 2008 (пер. с англ.).

временной военной кампании, не изменило существенно положения дел в русской психологии, как, например, это произошло в Германии, где социальный статус этой дисциплины в 1914–1918 гг. резко возрос¹⁰. В этом контексте прикладные психологические исследования в дореволюционной России заслуживают особого внимания. Эти прикладные исследования развивались преимущественно в связи с образовательно-педагогическими и медико-биологическими научно-практическими мероприятиями, при этом социальные запросы, вызвавшие их к жизни, и логика их исторического развития были очень своеобразны и различны.

С одной стороны, развитие прикладного психологического знания шло по линии *народного образования*, представители которого в ряде стран Европы и Америки к концу XIX в. осознали необходимость создания научной дисциплины, способной дать теоретическое обоснование и стимул к дальнейшему систематическому развитию практики формального образования¹¹. Весьма характерна и иллюстративна в этом отношении карьера А.П. Нечаева (1870–1948), одного из ведущих представителей и организаторов этого общественного и научно-практического движения¹². Нечаев, выпускник Петербургского университета, был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию и продолжения академической

¹⁰ См.: Geuter U. *The Professionalization of Psychology in Nazi Germany*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

¹¹ Об истории разных дисциплинарных проектов в области народного образования и науки о детском обучении и развитии начала XX в. в Европе и Северной Америке см., например: Cohen S. *The Mental Hygiene Movement, the Development of Personality and the School: The Medicalization of American Education* // *Historical Education Quarterly*. 1983. Vol. 23. No. 2. P. 123–149; Depaepe M. *The Heyday of Paedology in Belgium (1899–1914): A Positivistic Dream That Did Not Come True* // *International Journal of Educational Research*. 1998. Vol. 27. No. 8. P. 687–697; *Idem*. *Between Educationalization and Appropriation. Selected Writings on the History of Modern Educational Systems*. Leuven: Leuven University Press, 2012; Depaepe M., Simon F., Gorp A.V. *The Canonization of Ovide Decroly as a “Saint” of the New Education* // *History of Education Quarterly*. 2003. Vol. 43. No. 2. P. 224–249; Hofstetter R. *The Construction of a New Science by Means of an Institute and Its Communication Media: The Institute of Educational Sciences in Geneva (1912–1948)* // *Paedagogica Historica*. 2004. Vol. 40. No. 5–6. P. 657–683; Nisbet J. *Early Textbooks in Educational Research: The Birth of a Discipline* // *European Educational Research Journal*. 2002. Vol. 1. No. 1. P. 37–44.

¹² О Нечаеве, см.: Романов А.А. А.П. Нечаев: у истоков экспериментальной педагогики. М.: Изд-во РОУ, 1996. <http://elibr.gnpbu.ru/text/romanov_nechaev-u-istokov-pedagogiki_1996> (дата обращения: 21.02.2014); Никольская А.А. А.П. Нечаев: жизненный и творческий путь // *Вопросы психологии*. 1997. № 2. С. 100–112. <http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/972/972100.htm> (дата обращения: 21.02.2014); Аншакова В.В. Вклад А.П. Нечаева в становление и развитие возрастной и педагогической психологии: Материалы к спецкурсу. Астрахань: Изд-во Астрах. гос. пед. ун-та, 2002. <http://elibr.gnpbu.ru/text/anshakova_vklad-nechaeva-psihologii_2002> (дата обращения: 21.02.2014).

карьеры. Именно с этой целью он был направлен за границу на два с лишним года (1898–1900) — для сбора материалов для докторского исследования по спекулятивной философии Гербарта. Однако в ходе ознакомления с современной западной наукой в научных заведениях в Лейпциге, Гёттингене, Йене, Гейдельберге, Цюрихе и Париже соискатель увлекся новомодными экспериментальными исследованиями и вернулся в Россию с диссертацией в русле экспериментальной науки о человеческой душе, озаглавленной «Современная экспериментальная психология в ее отношении к вопросам школьного обучения» (1901). Неудивительно, что такой поворот событий встретил резкое неприятие профессуры, твердо стоявшей на позициях спекулятивной академической философии, и диссертация Нечаева была провалена, что повлекло за собой его увольнение из университета и, казалось бы, конец академической карьеры. Тем не менее в сложившейся ситуации был найден выход: Нечаев получил предложение от дирекции петербургского Педагогического музея военно-учебного ведомства¹³, и уже в октябре 1901 г. при музее была основана экспериментальная лаборатория, укомплектованная оборудованием, сконструированным в Германии по специальному заказу Нечаева. Эта лаборатория предоставила площадку для дальнейшей научно-практической работы в самом центре Петербурга и стала организационным центром для последующих мероприятий по консолидации нового общественного движения. На рубеже веков происходит заметная активизация международного движения за создание «науки о детском развитии и образовании»¹⁴, и российские деятели народного образования следуют за своими коллегами на Западе, преимущественно в США, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии и Голландии. В результате значительной по объему исследовательской, научно-практической и общественной работы были проведены всероссийские съезды по педагогической психологии (первый и второй съезд, соответственно, в 1906 и 1909 гг.), а затем, после учреждения в Петербурге в 1910 г. Общества экспериментальной педагогики, состоялись три всероссийских съезда по экспериментальной педагогике (в 1910, 1913 и 1916 гг.), все — в Санкт-Петербурге/Петрограде. Дисциплинарная неопределенность статуса образовательной практики, ищущей своего научного обоснования, и динамика изменений дисциплинарной самоидентичности специалистов по педагогике хорошо прослеживается по одним только названиям их съездов.

¹³ Музей основан в 1864 г.

¹⁴ См., например: *Claparède É. Experimental Pedagogy and the Psychology of the Child*. L.: Edward Arnold, 1911. <<https://archive.org/details/experimentalpeda00claprich>> (дата обращения: 21.02.2014).

Помимо этого следует назвать и еще один дисциплинарный проект, интенсивно развивавшийся наряду с «педагогической психологией» и «экспериментальной педагогикой» представителями западного народного образования и их последователями в России. Это зарождающаяся наука *педология*, понимаемая как комплексное и интегральное исследование ребенка в его развитии. Вряд ли можно говорить о каких-то принципиальных различиях между этими тремя терминологическими нововведениями, имевшими параллельное хождение в то время. Единственное, пожалуй, что их различало, это географическое распределение сторонников того или иного наименования формирующейся науки о ребенке, развитии и образовании. Так, «*педология*» изначально по своему происхождению — американский проект¹⁵; она весьма недолго была популярна в Европе до начала Первой мировой войны (хотя интерес к ней и был заметным), а по ее завершении растеряла своих поклонников, отказавшихся от этого самоназвания в пользу других, по всей видимости, менее амбициозных и революционных — или более традиционных и устоявшихся — наименований, таких как «педагогическая психология», «экспериментальная педагогика» или «образовательная наука»¹⁶.

С другой стороны, к концу XIX в. запрос на некоторую «психологизацию» своей области вызрел среди представителей медицинских специальностей, в определенной степени разочарованных положением дел в традиционной, т.е. соматической, механистической и позитивистской медицине того времени. И в самом деле, практикующие врачи не могли не замечать разрыва между теми теоретическими концепциями человека и его болезни, которые им предлагались в ходе их университетского обучения, и практикой, которая постоянно сталкивала их с проблемой «человеческого фактора», т.е. с результатами повседневной жизнедеятельности пациентов, их свободной волей действовать и интерпретировать происходящее по своему усмотрению.

В разных областях медицины эта психологизация принимала разные формы. Так, например, в области невропатологии и психиатрии¹⁷, наиболее чувствительной к признанию факта существования «души» и «душевных

¹⁵ См., например: *Chrisman O. Paidology; The Science of the Child. The Historical Child.* Boston: R.G. Badger, 1920. <<https://archive.org/details/paidologyscience00chri>> (дата обращения: 21.02.2014).

¹⁶ О судьбе педологии в начале века в России и на Западе см.: *Byford A. Turning Pedagogy into a Science: Teachers and Psychologists in Late Imperial Russia (1897–1917)* // *Osiris.* 2008. Vol. 23. P. 50–81; *Depaere M. The Heyday of Paedology...* Vol. 27. No. 8. P. 687–697.

¹⁷ Замечательный очерк истории психиатрии в свете очерченной здесь проблематики см. в: *Каннабих Ю.В. История психиатрии.* Л.: Гос. мед. изд-во, 1928. <<http://psylib.org.ua/books/kanny01/index.htm>> (дата обращения: 21.02.2014).

недугов» человека, конец XIX и начало XX в. ознаменовались движением за гуманизацию психиатрической практики в форме «психиатрии нестеснения». Основным лозунгом тут было содержание психически больных в условиях постельного режима — в противоположность «психиатрии сдерживания», при которой больные содержались в богадельнях в полутюремных условиях изоляторов, зачастую — в цепях и оковах. Последовательным логическим развитием этой тенденции стала идея амбулаторного и диспансерного лечения нервно-психических заболеваний и, далее, общественной профилактики психического здоровья населения. Это движение получило свое институциональное развитие в Соединенных Штатах и Европе в виде «психической гигиены» (*mental hygiene*), а в русскоязычной традиции стало известным под названием *психогигиены*¹⁸. В начале XX века неврология и психиатрия получили дополнительный — и мощный — импульс в сторону академизации в результате разработки проблематики гипноза и внушения, понимаемых как методика вербального и невербально-поведенческого (т.е. немедикаментозного и бесконтактного) воздействия на больного. Главную роль тут сыграли новаторские работы французских медиков и исследователей из Парижа и Нанси, а также первые публикации Фрейда и его последователей, заложившие основы практики *психотерапии*. Впоследствии достижения медицинской практики, вдохновленной идеями гипноза, внушения и психотерапии, уже в развитой форме распространились далеко за пределы психиатрического и неврологического сегментов медицины. Суммарно период рубежа веков может быть охарактеризован как время оживления психологических интересов в области медицинской теории и практики вследствие растущего признания в среде медицинских специалистов роли «слова как физиологического и лечебного фактора»¹⁹. Все эти разнообразные, но зачастую перекликающиеся попытки «психологизации» (и в определенной степени «социологизации») медицины, зародившиеся в Америке и Западной Европе, нашли свое прямое отражение в деятельности представителей медицинской специальности и в России. При этом следует отметить, что, по всей видимости, в силу традиционно консервативно-

¹⁸ Об эпизоде ранней истории дисциплинарного «импорта-экспорта» психогигиены, см.: Ясницкий А. Изоляционизм советской психологии? Интеллектуальная история как миграция, трансформация и циркуляция идей // Вопросы психологии. 2012. № 2. С. 66–79. <[http://individual.utoronto.ca/yasnitsky/texts/Yasnitsky%20\(2012\)_VopPsy_2.pdf](http://individual.utoronto.ca/yasnitsky/texts/Yasnitsky%20(2012)_VopPsy_2.pdf)> (дата обращения: 21.02.2014).

¹⁹ Об этом см. в пионерской, но до сих пор недооцененной, работе под редакцией харьковского профессора К.И. Платонова «Слово как физиологический и лечебный фактор» (Харьков, 1930); см. в: Психотерапия: сб. ст. / под ред. К.И. Платонова // Украинский психоневрологический институт. Труды. Т. XIV. Харьков: Гос. изд-во Украины, 1930.

го склада мышления и узкоклановой социальной организации врачебного сообщества им благополучно удалось дистанцироваться от самопровозглашенных «психологов»-теоретиков спекулятивно-идеалистического и академического толка. С другой стороны, эмпирически-экспериментальная «психология» — благодаря своей естественно-научной теоретической ориентации — нередко вызывала определенную симпатию у представителей медицинских специальностей, что приводило к плодотворному сотрудничеству внутри профессионального альянса врачей-практиков и психологов-эмпириков.

Самым, пожалуй, ярким воплощением такого единства практики, лабораторного психологического эксперимента и прикладных психолого-медицинских исследований был гигантский научно-практический проект, заложенный В.М. Бехтеревым (1857–1927) еще в его бытность в Казани в конце XIX в. (1885–1893), но в полной мере развитый лишь в Петербурге в начале XX в.

По вкладу в самые разнообразные научно-теоретические, исследовательские, административно-организационные и практически-прикладные проекты значение Бехтерева трудно переоценить. В круг внимания *дисциплинарной историографии* русской психологии Бехтерев попал лишь с начала XX в., примерно с 1907 г., когда он завершил публикацию своего монументального труда по анатомии и физиологии нервной системы («Основы учения о функциях мозга», на 2500 страницах, в семи выпусках, 1903–1907 гг.). Тогда, действительно, начался принципиально новый период его научной биографии. Он ознаменовался началом публикации другой фундаментальной работы под характерным названием «Объективная психология» (здесь и далее курсив мой — А. Я.), вышедшей в трех выпусках в 1907–1912 гг. В ней Бехтерев недвусмысленно заявил свои амбиции на доминирование не только в анатомии, физиологии, психиатрии и неврологии, но и в эмпирической (т.е. «объективной») психологии. Эта работа, очевидно, появилась не на пустом месте: ее публикации предшествовали такие значимые вехи научно-административной биографии Бехтерева, как основание и активное участие в работе журналов «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии» (Петербург, основан в 1896 г.²⁰) и «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» (Петербург, основан в 1904 г.; с 1912 г. выходил под названием «Вестник психологии, крими-

²⁰ См. библиографические данные издания: *Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии* // Библиография периодических изданий России, 1901–1916 / ФЭБ «Русская литература и фольклор». [М.]: ИМЛИ РАН, сор. 2002–2014. <<http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb2/bb2-5014.htm>> (дата обращения: 21.02.2014).

нальной антропологии и педологии»²¹) и председательство в Русском обществе нормальной и патологической психологии (Петербург, с 1900 г.). Тем не менее именно «объективная психология» выдвинула его на первый план не только как организатора науки, но и как теоретика этой научной дисциплины, чей собственно научный вклад с этого времени мог быть в полной мере оценен не только его соотечественниками, но и иностранными учеными²².

В том же 1907 г. состоялось событие, которое открыло новую главу в истории институционализации русской психологии, а именно — основание в Петербурге под руководством Бехтерева нового исследовательского и учебного заведения, беспрецедентного по своему замыслу и широте охвата дисциплин о человеке (как биосоциальном организме). *Психоневрологический институт* под руководством Бехтерева стал тем центром научной работы и университетской подготовки кадров, который дал старт многим психологическим исследованиям, проводившимся в рамках реализации бехтеревской комплексной и междисциплинарной программы исследования человека. Здесь раскрылись и профессионально реализовались несколько исключительно ярких исследователей — среди них А.Ф. Лазурский (1874–1917), который курировал психологические исследования в бехтеревских учреждениях еще с конца 1890-х (например в Психологической лаборатории при бехтеревской клинике душевных и нервных болезней), а впоследствии возглавил исследования по психологии и в Психоневрологическом институте. Также под эгидой бехтеревского научно-административного мегапроекта и бок о бок с Лазурским работал и уже упомянутый А.П. Нечаев, который активнейшим образом продвигал свою прикладную исследовательскую программу «педагогической психологии», «экспериментальной педагогики» и «педологии». В этой же команде²³ под началом Бехтерева работал и А.А. Крогиус (1871–1933), защитивший диссертацию

²¹ См. библиографические данные издания: Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма // Библиография периодических изданий России. № 1068 / ФЭБ «Русская литература и фольклор» [М.]: ИМЛИ РАН, сор. 2002–2014. <<http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb1/bb1-2221.htm>> (дата обращения: 21.02.2014).

²² См., например, пер. на фр.: *Bechterew W. La psychologie objective, par W. Bechterew; traduit du Russe par N. Kostyleff. P.: Alcan, 1913*; или пер. на нем.: *Bechterew W. Objektive Psychologie, oder Psychoreflexologie, die Lehre von den Assoziationsreflexen, von W. von Bechterew. Autorisierte Übersetzung aus dem Russischen. Mit 37 Figuren und 5 Tafeln. Leipzig; Berlin: B.G. Teubner, 1913*.

²³ Так, к примеру, именно этой команде суждено было подготовить к печати несколько томов обширнейших «Основ физиологической психологии» Вильгельма Вундта, вышедших в русском переводе в начале 1910-х в Петербурге под редакцией А.А. Крогиуса, А.Ф. Лазурского и А.П. Нечаева.

под научным руководством Бехтерева в Военно-медицинской академии в 1909 г.²⁴ и ставший фактически первым российским исследователем психологии слепых²⁵.

Содержательный анализ научной программы Бехтерева остается за рамками данного исторического очерка. Можно высказать осторожное мнение, что существовал определенный разрыв между, с одной стороны, его теоретическим кредо исследования рефлексов как естественно-научного коррелята психических явлений и, с другой — провозглашаемой им направленностью на *всестороннее* изучение личности в ее естественных конкретно-исторических и социальных условиях. Вероятно, такое теоретическое основание в принципе не позволяет реализовать в полной мере исследование личности и общества без крайностей упрощенчества и биологического редукционизма. Несмотря на это нельзя не признать, что при всем при том работа этой группы исследователей (а также их сотрудников, учеников и последователей) дала огромный импульс психологическим исследованиям в стране, в большей степени заметный в Петербурге (впоследствии Петрограде и Ленинграде), Украине (в частности — в Харькове) и других исследовательских центрах по всей стране, в основном за пределами Москвы. Реальный масштаб и актуальность этого импульса остаются не до конца оцененными до сих пор.

Тем не менее вклад «бехтеревской империи», объединявшей несколько десятков научных, медицинских и образовательных заведений, в традиционной дисциплинарной историографии русской психологии выглядит не таким уж значительным. Думается, тому существуют две основных причины. Первая причина: сам Бехтерев, предложивший программу исследований в русле «объективной психологии», в определенный исторический момент — на рубеже 1917–1918 гг. — делает несколько неожиданный и радикальный разворот в сторону от *психологии* и провозглашает новый курс, на новую научную дисциплину, которую он именует *рефлексологией*. При этом Бехтерев не просто подвергает критике психологию как научную дисциплину, но в своей критике идет еще дальше и выступает с предложением ликвидации ее как таковой. Вторая причина весьма прозаична: историю пишут победители, а победителями в деле психологического дисциплиностроительства в СССР оказались представители московских институций, и именно их версия научного прошлого считается канонической и обще-

²⁴ См.: Крогиус А.А. Процессы восприятия у слепых: дис. ... степень доктора медицины. СПб.: Сенатская Типография, 1909.

²⁵ Об А.А. Крогиусе см. содержательную, недавно опубликованную работу: Maslov K. В свете незримого: жизнь и судьба А.А. Крогиуса. Tallinna Ülikooli Kirjastus: TPÜ Kirjastus, 2013.

принятой в современном психологическом сообществе как в России, так и за ее рубежами. Несмотря на колоссальный импульс, который придала деятельность Бехтерева (и еще важнее — его сотрудников) распространению интереса к психологии и психологическому мировидению в прикладных областях знания — в первую очередь в образовании и медицине, — картина становления психологии именно как научной дисциплины обычно рисуется с неперменным соблюдением «культа Института психологии» в Москве — первого заведения такого рода в России.

Институт психологии в Москве был официально учрежден в 1912 г. (открылся двумя годами позже) по инициативе профессора Московского университета Г.И. Челпанова (1862–1936) и так же как и Психоневрологический институт Бехтерева в Петербурге/Петрограде финансировался из фонда частных пожертвований (в первую очередь из средств предпринимателя С.И. Щукина и, согласно его воле, получил имя его покойной жены, Л.Г. Щукиной). Именно ему суждено было стать первым российским *Психологическим* институтом. Впрочем, даже в Москве это была далеко не первая организация, в названии которой фигурировала психология. Так, к примеру, по инициативе ряда профессоров Московского университета, представлявших практически все факультеты университета, еще в 1885 г. было основано Московское *психологическое общество*, с 1889 г. издававшее журнал «Вопросы философии и психологии», который вскоре стал важнейшим философским журналом в России. Характер общества был всегда весьма пестрым; оно включало не только университетскую профессуру, но и тех, для кого размышления о «вечных вопросах», о «духе», «душе» и «духовной жизни» входили в круг непосредственных интересов, например, служителей искусства (членами общества были Л.Н. Толстой, А.А. Фет, А.Н. Скрябин, В.И. Немирович-Данченко и Ю.И. Айхенвальд) или общественных деятелей. Очевидно, что в задачи данного общества не входила такая частная и узкоспециальная проблема, как систематическая разработка и создание теории и методологии собственно психологического эмпирического исследования или общественная практика утверждения *психологии* в качестве самостоятельной научной дисциплины. Но именно в этом интеллектуальном окружении к идее создания психологического института пришел Челпанов, профессор философии Московского университета с 1907 г. (ранее — профессор Киевского университета), который вел там психологический семинарий и при этом активно участвовал в жизни Московского психологического общества.

Идея университетского «института психологии» при университете, при ее новизне в России и основательности финансовой и административной поддержки этого проекта в Москве, была далеко не новинкой за границей. Так, в одной только Германии к началу Первой мировой войны было созда-

но уже пятнадцать институтов психологии при целом ряде ведущих университетов страны²⁶, и московский институт вполне следовал западной модели. При организации и оснащении нового института в Москве Челпанов опирался на свой опыт непосредственного знакомства с работой таких организаций в Германии (Лейпциг, Берлин, Бонн и Вюрцбург) и в Соединенных Штатах (психологические лаборатории в Гарвардском, Корнелльском, Чикагском, Мичиганском, Филадельфийском, Уэслианском, Колумбийском университетах, в Йеле и Университете Кларка)²⁷. Челпановский Психологический институт, задуманный как «учено-учебное учреждение университета, имеющее целью научную разработку психологии и распространение знаний в этой области», представлял собой в первую очередь учебное заведение. В силу того, что он естественным образом был продолжением челпановского семинария по психологии, на сегодняшний взгляд он гораздо больше походит на обычный университетский факультет психологии, чем на научно-исследовательский институт²⁸. И в самом деле, практически вся деятельность этого заведения была завязана на его директора, профессора университета Челпанова. Правда, по признанию его сотрудника, «допустив создание института, министерство ряд лет отказывало в оплате труда персонала института». Достаточно сказать, приводя свидетельство одного из сотрудников, что «первые годы своего существования институт пользовался бесплатным трудом лаборантов и ассистентов», — таким образом, «в первые годы существования института [вплоть до 1917 г.] его штат состоял из двух-трех человек»²⁹. Так или иначе, это обстоятельство никак не ума-

²⁶ Список этих институтов см. в: *Ash M.G. Gestalt Psychology in German Culture, 1890–1967: Holism and the Quest for Objectivity*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995. P. 413–414.

²⁷ Об этом см. свидетельства самого Челпанова, включая отчет о специальной ознакомительной поездке в Соединенные Штаты, смету на постройку нового здания и приобретение оборудования для нового института, временные правила нового структурного отдела при Московском университете и тому подобное, в публикации в журнале «Вопросы психологии» (1992. № 3). См. также: Речи и приветствия на торжественном открытии Психологического института им. Л.Г. Шукиной при императорском Московском университете // *Вопросы психологии*. 1992. № 5. С. 41–44. Большой интерес в этом контексте представляют также мемуары: *Рыбников Н.А.* Как создавался Психологический институт // *Вопросы психологии*. 1994. № 1; Из автобиографии Н.А. Рыбникова — одного из первых сотрудников психологического института // Там же. <<http://www.voppsy.ru/issues/1994/941/941011.htm>> (дата обращения: 21.02.2014); *Гордон Г.О.* Из воспоминаний о Г.И. Челпанове // *Вопросы психологии*. 1995. № 1. <<http://voppsy.ru/issues/1995/951/951084.htm>> (дата обращения: 21.02.2014).

²⁸ Такое резкое разделение на учебные и исследовательские заведения в России появилось лишь после революции 1917 г.

²⁹ См.: *Рыбников Н.А.* Как создавался Психологический институт... С. 6–7.

ляет важности рекламно-пропагандистской составляющей в деятельности Психологического института в Москве в процессе становления психологии как научной, эмпирической дисциплины в России.

Что же касается интеллектуально-научной составляющей, то Челпанов являет собой прекрасный пример того, насколько легко могут соединяться и сосуществовать в рамках одного проекта спекулятивная, т.е. неэмпирическая и философски ориентированная психология и, с другой стороны, эмпирическая психология лабораторно-эмпирического склада. И правда, в опубликованных работах Челпанову удавалось непринужденно сочетать рассуждения о «душе» как объекте психологических спекуляций с обсуждением экспериментальных лабораторных исследований в позитивистском и естественно-научном ключе. Впрочем, даже и в этом он не был оригинален, а в полной мере следовал за своим наставником и, можно предположить, примером для подражания — лейпцигским профессором Вильгельмом Вундтом (1832–1920)³⁰. Очевидно, что в таком контексте о полномасштабных прикладных исследованиях в области образования или здравоохранения речь и не заходила: ни лабораторные экспериментальные психофизиологические исследования рефлексов, скорости реакции, иллюзий восприятия и т.п., ни метафизические спекуляции о «душе», «духовной жизни», «воспитании нравственности» или о «духе народа» для этих целей решительно не подходили. Очень иллюстративны воспоминания ближайшего сотрудника Челпанова по институту Н.А. Рыбникова (1880–1961):

В течение пяти лет работая в лаборатории, я неплохо освоил технику и методику экспериментальной психологии. Хотя основной моей темой была память, но я последовательно брал и остальные темы. Помню, что дольше других задержался на осязании, бинокулярном зрении. Вот почему, когда в 1913 г. мы переезжали во вновь отстроенное здание Психологического института, я считал, что в основном своей специальностью (экспериментальной психологией) я овладел. И в новом здании я продолжал свою работу по психологии памяти, но уже не с тем подъемом, как раньше. <...> Кроме того, у меня появились новые интересы (педагогическая психология), которые не только не находили поддержки у руководителя, но даже наоборот — он их осуждал. <...> Вот почему я постепенно отходил от института, душой был в Педагогическом музее Учительского дома, где велась живая и для меня более интересная работа³¹.

Тем не менее именно спекулятивная психология и лабораторные экспериментальные исследования остаются на повестке дня челпановского инсти-

³⁰ Примера ради, см. такую характерную публикацию как: *Челпанов Г.* Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе. 6-е изд. СПб.: Изд-во т-ва В.В. Думнов, 1918 [1900].

³¹ См.: Из автобиографии Н.А. Рыбникова... С. 13.

тута. Очевидно, что признание сосуществования как «души», так и «тела» («мозга») и сведение их к крайностям либо бехтеревской психофизиологии (к *рефлексу*), либо челпановского спиритуализма и его «критики материализма», и при этом сравнительно независимое развитие прикладных психологических дисциплин в таких сферах, как образование и здравоохранение, — все это вряд ли способствовало выработке общих оснований и принципов психологии как самостоятельной научной дисциплины. Это стоит отметить, несмотря на пропагандистский успех Психологического института как первого собственно психологического научного заведения в стране. Ситуация существенно изменилась после начала революционных преобразований 1917 г.

3. «Если бога нет, то все дозволено»: 1920-е — начало 1930-х

Прогрессивные и революционные социально-политические идеи начала XX в. в России в большинстве принадлежали к таким же «импортным» изделиям, что и психологические теории и методы научного исследования. В этом смысле русские революции 1905–1917 гг. являются прямым продолжением и реализацией тенденций к модернизации общества, общей для России, Западной Европы и Северной Америки того времени³². Тем не менее у российского сценария общественного развития были и свои, весьма характерные черты: радикальный слом традиционных общественных институтов (связанных с институтом церкви, включая и отделение ее от государства), национализация промышленного производства, государственный контроль за всеми сферами общественной жизни и, вскоре после большевистского переворота 1917 г., установление однопартийной политической системы. Помимо этого следует упомянуть рационализм и сциентизм нового руководства страны, верившего не только в возможность радикального изменения общественных устоев, но и в рациональное, научное социальное моделирование и прогнозирование общественных процессов.

Большевики исключительно высоко ставили науку, которая для них являлась одним из важнейших рычагов модернизации и преобразования всей общественной жизни. Кроме того, весьма актуальным был вопрос о признании СССР за рубежом, и здесь трудно переоценить ту роль, которую играли в «культурной дипломатии»³³ и в деле укрепления международной

³² См. об этом, например: *Hoffmann D.L. Cultivating the Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939.* Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2011.

³³ О «культурной дипломатии» см. недавнюю работу: *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941.* Oxford, UK: Oxford University Press, 2012.

репутации Советского Союза известные деятели науки и культуры, примкнувшие к грандиозному большевистскому эксперименту по преобразованию человека и общества (в этом отношении очень характерен пример поразительной уступчивости и покладистости большевиков, сумевших убедить остаться в стране и склонить к сотрудничеству нобелевского лауреата физиолога И.П. Павлова, никогда не скрывавшего своей неприязни к новой власти³⁴).

Ресурсы, предоставленные новой властью советским ученым на развалинах старого мира, были весьма значительны — хотя и претендентов на свою долю в научном секторе бюджета страны было предостаточно. Все это привело к тому, что именно в послереволюционные годы, как грибы после дождя, возникают новые, зачастую конкурирующие научные направления, объединения и исследовательские программы. И прежний разрыв между теоретической спекуляцией «о душе», экспериментальной практикой в лаборатории и социальной практикой сотворения «нового мира» на «руинах старого», с точки зрения нового этоса послереволюционной науки становится просто недопустимым. Наконец, учитывая то обстоятельство, что одни и те же научные деятели зачастую принимали участие в совершенно различных проектах, принадлежавших, казалось бы, разным дисциплинам, совершенно очевидно, что изолированное видение этих начинаний будет неверным, напротив, рассматривать их следует как целостное образование, во всем единстве составляющих его частей.

Так, первую, «импортированную», группу научных дисциплин и связанных с ними общественных практик составили *педология* (комплексная наука о детстве и развитии ребенка), *психотехника* (т.е. дисциплина, изучающая роль человеческого фактора в разных областях человеческой деятельности с целью ее рационализации и непосредственно связанная с вопросами формирования кадров и профессионального отбора, утомляемости и профессиональных заболеваний, научной организации и психофизиологии труда и т.п.), *социальная гигиена* и *психогигиена* (наука об укреплении нервно-психического здоровья, предупреждении и борьбе с нервно-психическими заболеваниями, а также соответствующая теория и практика оздоровительных мероприятий), *психотерапия* (планомерное пользование психическими средствами для лечения различных болезней и научная область, изучающая закономерности такого лечения).

Вторую, «доморощенную», группу научных дисциплин составили *рефлексология* (теория «объективной психологии» В.М. Бехтерева, резко сменившая терминологический аппарат после 1917 г.), *дефектология* (по-

³⁴ Об этом см., например: *Todes D.* Павлов и большевики // Вопросы истории естествознания и техники. 1998. № 3. С. 26–59 или *Todes D.P.* Ivan Pavlov. A Russian Life in Science. N.Y.: Oxford University Press, 2014.

нимаемая как учение и социальная практика компенсации и преодоления замедленного и аномального физического и психического развития детей и как борьба с «моральными» и «социальными» дефектами детского развития, такими как, например, детская преступность и беспризорничество), и *реактология* (поведенческая наука о системах реакций, представленная ее защитниками в качестве оппозиции старой, традиционной психологии, расколотой между метафизически-спекулятивной, экспериментально-лабораторной и прикладной сферами ее бытования). В этом же ряду стоит *психоневрология* — слово, которым Бехтерев обозначал свои комплексные и междисциплинарные научные проекты. Так, например, атрибут «психоневрологический» фигурирует в названии Психоневрологического института, который Бехтерев открыл в Петербурге в 1907 г., или Психоневрологического института, основанного в Харькове в 1922 г. и реорганизованного десятилетием позже в Украинскую психоневрологическую академию (УПНА). Тем не менее все же неправомерно говорить о том, что «*психоневрология*» позиционировалась как самостоятельная научная дисциплина. Скорее, судя по доступным нам текстам, под этим словом понимался тогда комплекс относительно самостоятельных, хотя и взаимосвязанных, смежных дисциплин о человеке — психиатрии, психологии, неврологии, криминологии, антропологии и т.п., — которые время от времени объединялись в различные междисциплинарные проекты, но при этом могли существовать и сравнительно независимо одна от другой.

При всемерной поддержке большевистского правительства в Советском Союзе на протяжении 1920-х годов образуется разветвленная и пространенная на всю страну сеть специалистов, занятых во всевозможных проектах в области психологии и смежных, преимущественно прикладных, дисциплин. Описание всей этой сети в ее целостности заведомо не вместились бы в пределы отдельно взятой главы и по своему объему заслуживает солидной книги, а возможно и не одной. Объектами такого будущего исследования должны стать научные сообщества, институты, периодические издания, научные съезды и конференции, а также формы государственного патронажа и поддержки власти, примеры низовой инициативы и самоорганизации, как всего профессионального сообщества, так и отдельных научных и общественных деятелей³⁵.

³⁵ Об этом см. отличный, хотя и фрагментарный и несколько устаревший очерк, посвященный дисциплинарной истории *педологии*: Эткинд А.М. Общественная атмосфера и индивидуальный путь ученого: опыт прикладной психологии 20-х годов // Вопросы психологии. 1990. № 5. <<http://voppsy.ru/issues/1990/905/905013.htm>> (дата обращения: 21.03.2014); см. также недавнюю публикацию: Minkova E. Pedology as a Complex Science Devoted to the Study of Children in Russia: The History of Its Origin and Elimination // Psychological Thought. 2012. Vol. 5. No. 2. <<http://psycst.psychopen.eu/article/view/23>> (дата обращения: 21.03.2014). В области истории *психотех-*

Что же представляли собой эти многочисленные психоневрологические научные дисциплины, и, в частности, каково было место психологии среди них? Попытаемся расположить различные «психоневрологические» дисциплины внутри очерченного ранее континуума от философии до народного хозяйства (см. схему 1). При этом необходимы два уточнения. Первое: как было уже указано, в послереволюционный период абстрактное теоретизирование все еще возможно, но в существенно суженном объеме и строго заданных рамках материалистической, марксистской философской модели, причем в той мере, в какой это теоретизирование потенциально соответствует задачам практического преобразования общества. Второе: лабораторное экспериментирование остается составной частью «психоневрологической» науки, но для наших целей обсуждения роли и места различных дисциплин в едином дисциплинарном «гештальте» наук о человеке эта составляющая науки выносится за скобки.

Следует различать две основные группы внутри континуума наук о человеке применительно к 1920-м годам. Первую группу образуют дисциплины, которые претендовали на статус общей, объединительной теории, способной объяснить данные, собранные всеми другими, вспомогательными дисциплинами. По вполне понятным причинам эти дисциплины были особенно близки к философии и представляли собой промежуточное и переходное звено от диалектического и исторического материализма к эмпирическим исследованиям. Вторая группа — это те дисциплины, само существование которых было вызвано к жизни общественными нуждами; они были связаны с прикладными исследованиями в естественных условиях, т.е. за пределами психологических и физиологических лабораторий.

Начнем с первой группы. *Психология* традиционно претендовала на статус общей науки о человеке. Тем не менее основная трудность с «психологией» в послереволюционном и секулярном государстве заключалась в том, что она принципиально была неспособна ответить на весьма простой и в то же время основополагающий вопрос: что является предметом этой дисциплины? И в самом деле, психология как «наука о душе» вряд ли могла удовлетворить социальный запрос на марксистскую материалистическую науку, а альтернатива старорежимной «душе», которая обеспечила бы всеобщее согласие представителей этой дисциплины, не только не виделась тогда, но,

ники огромную работу провела О.Г. Носкова, см.: *Носкова О.Г. История психологии труда в России (1917–1957)*. М.: Изд-во МГУ, 1997. Кое-что было сделано и в области истории русской и советской психогигиены, см.: *Сироткина И.Е. Психопатология и политика: становление идей и практики психогигиены в России // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 1. С. 154–177; Ясницкий А. Изоляционизм советской психологии?.. С. 66–79. Для обзора истории дефектологии см.: *Замский Х.С. История олигофренопедагогики*. М.: Просвещение, 1980. Вып. 2.; также очень информативной представляется работа: *Maslov K. В свете незримого...**

пожалуй, не найдена и до сих пор. В ситуации советской науки 1920-х такое положение вещей подталкивало к радикальным альтернативным решениям, например, к идее о несостоятельности психологии как таковой и необходимости ее замены на другую науку с четко обозначенным предметом ее исследования. В качестве такой альтернативы была предложена *рефлексология* как научный эрзац психологии, прочно опирающийся на исследования физиологических *рефлексов*, которые, по мнению сторонников этой дисциплины, составляют основу всех не только физиологических, но и психологических явлений и процессов. Лидерство в этой новоявленной и воинствующей «материалистической» дисциплине о человеке принадлежало ее создателю В.М. Бехтереву, который, как уже было отмечено выше, оперативно ввел рефлексологию в оборот практически сразу после Октябрьского переворота 1917 г. Другую альтернативу психологии как общей теоретической науке составила *реактология* К.Н. Корнилова, постулирующая *реакцию* как предмет универсальной науки о человеке и предположительно преодолевающая узкий физиологический редуccionизм рефлексологии. С точки зрения социального позиционирования реактологии, эта новоявленная дисциплина, наталкивалась на фундаментальную проблему — ее основатель Корнилов с ноября 1923 г. состоял директором московского Института *психологии* (!). Это произошло после отстранения от руководства институтом его основателя Челпанова, который, похоже, так и не осознал смысла произошедших социальных перемен, а потому продолжал проводить в науке консервативную линию и был фактически обречен на увольнение при власти большевиков. Как следствие Корнилов оказался в несколько двойственной позиции, с одной стороны, как основатель «*реактологии*», а с другой стороны, как обладатель должности директора Института психологии и самопровозглашенный лидер «марксистской *психологии*» в стране (см. схему 4).

Философия				
Общая (психологическая) теория: <i>психология, рефлексология, реактология</i>				
Прикладные эмпирические исследования: <i>психотерапия, дефектология, педология, психогигиена, психотехника</i>				
Индустрия и народное хозяйство				
Медицина и здравоохранение	Образование и воспитание	Промышленность и труд	Военное дело	Пропаганда и агитация

Схема 4. Дисциплины советской психологии в 1920-е годы

Во второй группе, наряду с этими общими теориями и дисциплинами «человековедения», развивался и ряд прикладных областей исследования и социальной практики, которые, строго говоря, не претендовали на звание самостоятельных академических дисциплин и благополучно находили поддержку и подчас весьма щедрое финансирование на уровне государственных и правительственных структур — применительно к соответствующим сферам общественной жизни (медицине и здравоохранению, образованию и воспитанию, индустрии и промышленности и, в сравнительно меньшей степени, военному делу, а также пропаганде и агитации). Проекты, которые реализовывались в области этих прикладных дисциплин, чаще всего проводились в рамках деятельности ведомств, работавших под эгидой Наркоматов (впоследствии — министерств) просвещения, здравоохранения, труда, путей сообщения, тяжелой промышленности и т.п. При этом некоторые могли получать финансирование одновременно из разных ведомственных источников. Такое происходило нередко именно благодаря тому, что научные деятели могли с легкостью мигрировать из одной дисциплины в другую и представлять реализацию одного и того же исследовательского замысла в виде нескольких разных проектов. Это обстоятельство не могло не вызывать некоторой настороженности спонсоров и покровителей науки в период нэпа, но до конца 1920-х власть обычно ограничивалась минимальным вмешательством в инициативы снизу. Сталинский «великий перелом» существенно изменил положение дел в дисциплинарной расстановке сил в советской науке.

4. Великий перелом: 1929 — начало 1930-х годов

«Великий перелом», провозглашенный Сталиным в самом конце 1920-х годов, по сути означал радикальную смену всего общественного устройства страны — прежде всего, невиданный ранее рост государственного контроля за общественной жизнью. Очевидно, что это не могло не отразиться на расстановке сил и социальном статусе психологических дисциплин. Причина тому достаточно прозаична: в отличие от многих других, условно говоря, «классических» научных дисциплин, психология в СССР на начало 1930-х так и не смогла получить полное признание и закрепиться на уровне Академии наук СССР, да и ее успехи в структурах менее престижной Коммунистической академии были недостаточно весомы. Лишь в 1928 г. начали выходить такие журналы, как «Психология», «Педология» и «Психотехника и психофизиология», что хотя и было свидетельством успеха этих дисциплин, но успеха сравнительно незначительного. Основной проблемой было то, что границы между этими и смежными с ними дисциплинами и общественными практиками не были четко очерчены, а потому, вполне в духе времени, уже с первых

публикаций в этих журналах начались споры о контурах дисциплинарных границ и новом разделении сфер научного влияния.

С другой стороны, положение дел в философии совсем не вносило ясности в происходящее. Напротив, борьба на два фронта — против «механицизма» и «меньшевистствующего идеализма», развязанная внутри философского сообщества с подачи Сталина в конце 1929 г., еще более запутала положение дел в психологических науках, которые, несмотря на благие помыслы их представителей, так и не смогли окончательно преодолеть прежний разрыв между теоретической, экспериментально-лабораторной и прикладной составляющими своей дисциплины. Хуже того, несмотря на множество деклараций, манифестов и программных заявлений о «марксистской науке», высказанных почти всеми авторами, выступавшими от лица этой дисциплины, подлинно марксистская — историческая, диалектическая, материалистическая — психология по факту так и не была выстроена.

«Великий перелом» в психологических науках обернулся серией ритуализованных «публичных дискуссий» начала 1930-х годов, в результате которых были повержены два амбициозных научных проекта, претендовавших на статус общей теоретической дисциплины, — *реактология* Корнилова и *рефлексология* Бехтерева. И та и другая не выдержали упреков в неспособности сформулировать и эмпирически продемонстрировать нередукционистскую, социальную и личностно ориентированную, теоретико-прикладную научную дисциплину о человеке. Дополнительным слабым местом этих двух дисциплинарных проектов была их излишняя революционность и явная изоляция от научного мейнстрима того времени. И в самом деле, в то время как *психология* была явно представлена на международном уровне в виде множественных научных обществ, журналов и международных психологических конгрессов, проходивших в Европе и Северной Америке еще с конца XIX в., *реактология* и *рефлексология* так и не смогли выйти за границы Советского Союза, а по своим целям и задачам со всей очевидностью полностью укладывались в сознании западных ученых в их представления о психологии. Примером тому, скажем, книга «Психология в 1930 году», вышедшая в Соединенных Штатах под редакцией Мерчисона, где впервые в западном мире был выделен целый раздел «русской психологии» в составе трех глав. Эти главы представили такие диковинки, как *теория высшей нервной деятельности* Павлова, *рефлексология* Бехтерева³⁶ и *реактология* («марксистская психология») Корнилова³⁷. Несмотря на неоднозначное от-

³⁶ Ввиду того, что Бехтерев скончался в 1927 г., рефлексологическую главу написал его ученик Шнирман.

³⁷ См.: Kornilov K.N. Psychology in the Light of Dialectic Materialism // Psychologies of 1930 / C. Murchison (ed.). Worcester, MA: Clark University Press, 1930. P. 243–278; Pavlov I.P.

ношение каждого из этих авторов к собственно психологии, все три проекта были представлены в контексте презентации разных ликов психологии (или же, по выражению редактора тома, «психологий»).

Прикладные дисциплины с их упором на общественную практику, казалось, были в более надежном положении. Тем не менее и они попали под огонь критики за отрыв практики от теории — как это случилось, например, в ходе дискуссий начала 1930-х годов о концепции так называемого политехнического образования, которое, по замыслу его создателей, было ориентировано на разрыв между умственным и физическим трудом, а также между теоретической и практической деятельностью. По всей видимости, у руководства страны назревало ощущение взаимной дополнительности этих сравнительно разобщенных дисциплин и необходимости, с одной стороны, укрупнения, а с другой стороны, объединения разрозненных проектов в науку. Так, к примеру, уже в конце 1930 г. московский *Психологический институт* был преобразован в единый *Институт психологии, педологии и психотехники*. В 1931 г. закрылся журнал «Вопросы дефектологии», в 1932 за ним последовало закрытие московских журналов «Психология», «Педология» и журнала ленинградского Института мозга им. В.М. Бехтерева «Вопросы изучения и воспитания личности»; на два года их пережил журнал «Советская психотехника», закрытый в 1934 г. В целом период первой пятилетки вплоть до партийного «съезда победителей», прошедшего в 1934 г. и провозгласившего окончательное установление социализма в стране, характеризуется не только усилением террора, но и резким снижением публикационной активности среди советских психологов. Да и сама психология, по всей видимости, в этот период утрачивает свои позиции в системе других, официально признанных в СССР социогуманитарных дисциплин. Показательно, что в многотомной Большой советской энциклопедии «психология» в 1932 г. исчезает как отдельная рубрика из номенклатуры наук этого издания, где она числилась подотделом в общем отделе «Естествознание и точные науки» (с самого начала этого проекта в 1926 г.); взамен там появляется несколько неопределенная общая рубрика «*психоневрологические науки*». Тем не менее по не вполне понятной причине статус психологии как официально признанной научной дисциплины к середине 1930-х был восстановлен, свидетельством чему является хотя бы тот факт, что во второй половине 1935 г. психология опять появляется в энциклопедийной номенклатуре научных дисциплин (см., например, том 29 БСЭ, который был сдан в производство 7 августа, а подписан к печати 21 декабря 1935 г.). До окончательной дисциплинарной победы психологии оставалось совсем немного.

Outline of the Higher Nervous Activity // Ibid. P. 207–220; Schniermann A.L. Bekhterev's Reflexological School // Ibid. P. 221–242.

5. Начало золотого века советской психологии: 1936 г.

Поворотным моментом в истории психоневрологических наук в СССР стало известное постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» от 4 июля 1936 г.³⁸ Этот декрет, запрещавший использование методов тестирования в науках о человеке, оказался беспрецедентным силовым вмешательством партии в науку: до этого момента партийные руководители предпочитали действовать за кулисами и решать задачи административного разрешения конфликтов руками самих же специалистов в той или иной, чаще всего смежной и конкурирующей, области. В результате «педологического постановления» целая научная область — *педология* — и сопутствующие ей общественные практики и институты были закрыты, а ее представителям было рекомендовано переквалифицироваться в педагоги. Заодно с *педологией* пострадали и такие области, как *психотехника* и *дефектология*, которые хоть и не были запрещены постановлением 1936 г., но автоматически подпали под его действие из-за повсеместного активного использования в них системы тестирования, например, в целях профессионального отбора или сортировки учащихся. Таким образом, в результате июльского постановления 1936 г. многие психотехнические и дефектологические практики были по всей стране свернуты, а массовые общесоюзные движения педологов и психотехников прекратили свое существование. Примечательно, что сама практика участия психологов в детском образовании, подготовке специалистов или работе с умственно отсталыми детьми как таковая осталась, но продолжала существовать под другими названиями.

Под подозрение попали (и были дезавуированы) не только методы тестирования и количественной оценки умственного развития и психологического профиля учеников, но еще и сами названия соответствующих прикладных областей, потенциально допускавшие их интерпретацию как самостоятельных и независимых научных дисциплин. Мы пока что не можем с уверенностью утверждать, какими именно критериями руководствовались представители высшей власти в стране при принятии решений в отношении тех или иных психологических дисциплин. Тем не менее обращает на себя внимание то обстоятельство, что ограничению или запрету подверглись именно те квазидисциплины, которые к концу 1930-х либо вообще никак не были представлены в системе наук, признанных ученым сообще-

³⁸ См. текст постановления: Постановление ЦК ВКП(б) от 04.07.1936 о педологических извращениях в системе Наркомпросов // Законы России. <http://lawrussia.ru/texts/legal_586/doc586a100x809.htm> (дата обращения: 21.03.2014).

ством на Западе (например, *дефектология*, *педология*), либо были там в последней фазе своего выживания (как, например, *психотехника*, которая уже в 1940-е годы составит основу дисциплины «прикладная психология»). Что же касается таких квазидисциплинарных образований, как *психогигиена* и *психотерапия*, то оба пережили кризис в 1930-е годы с тем, чтобы окончательно отказаться от каких бы то ни было дисциплинарных амбиций и остаться в медицинской практике в качестве наборов вспомогательных профилактических и лечебных мероприятий.

Педологическое постановление нанесло удар и по психологам, оказавшимся перед необходимостью официального покаяния в ошибках и размежевания с опальным учением педологов. Для развития идей целого ряда видных ученых, например скончавшихся несколькими годами ранее М.Я. Басова (1892–1931) или Л.С. Выготского (1896–1934), которые работали сразу в двух этих областях, политическое решение 1936 г. имело весьма негативные последствия. Большой террор внес определенную сумятицу в устоявшиеся схемы патрон-клиентских отношений между научными деятелями и партийным руководством страны, представленным Политбюро ЦК, а порой и персонально Сталиным. Но уже к 1939 г. связи между учеными посредством высокопоставленных переговорщиков (*spokesmen*, т.е. посредников между научным и партийным руководством, представителей конкретных дисциплин) и партийно-государственным аппаратом были налажены вновь³⁹.

И действительно, в 1938–1941 гг. психология остается в номенклатуре научных дисциплин Большой советской энциклопедии в качестве самостоятельного отдела наряду с такими отделами, как «Марксизм-ленинизм» и «История ВКП(б)», «Философия», «Государство и право», «Экономика», «География», «Народное образование», «Сельское хозяйство», «Геология», «Биология» или «Медицина»⁴⁰.

К концу 1930-х, насколько мы можем судить по косвенным признакам, меняется статус психологии и в структуре образования, о чем свидетельствует публикация серии учебников на русском, украинском и грузинском языках для средних и высших учебных заведений в Советской России, Украине и Грузии⁴¹. Одному из этих учебников суждено было сыграть

³⁹ *Krementsov N. Stalinist Science...*

⁴⁰ См., например, том 33 БСЭ, подписанный к печати 8 сентября 1938 г.

⁴¹ См.: *Корнилов К.Н., Теплов Б.М., Шварц Л.М.* Психология. М.: Учпедгиз, 1938; Там же. 2-е изд. 1941; *Костюк Г.С.* Психологія. Посібна книга для студентів педагогічних вищих шкіл. Київ, 1939; *Он же.* Психологія. Посібна книга для студентів педагогічних вищих шкіл. Друге видання, стереотипне. Київ, 1941; *Рубинштейн С.Л.* Основы общей психологии. М.: Гос. уч.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940; *Узнадзе Д.Н.* Общая психология. Тбилиси, 1940.

особенно важную роль в дисциплиностроительстве советской психологии. Учебник С.Л. Рубинштейна (1889–1960) «Основы общей психологии» (1940) был удостоен Сталинской премии второй степени за 1941 г.⁴², и это знаменательное событие, по всей видимости, было непосредственно связано с серией административно-научных назначений Рубинштейна, ставшего первым представителем психологии в «большой» Академии: он был избран членом-корреспондентом АН СССР в 1943 г. В том же году Рубинштейн стал первым заведующим кафедрой психологии и основателем отделения психологии в Московском государственном университете, а также заместителем директора и заведующим сектором психологии при Институте философии Академии наук СССР, ставшим первым в истории Академии ее психологическим структурным подразделением. Вторым представителем психологии в Академии наук СССР стал С.В. Кравков (1893–1951), который в 1946 г. был избран членом-корреспондентом сразу двух советских академий: и «большой» Академии, и Академии медицинских наук СССР. В 1943 г. была основана Академия педагогических наук РСФСР, долгие годы после этого служившая пристанищем множеству советских психологов, ставших ее членами-корреспондентами и академиками.

Впрочем, высшие административные назначения и учреждения новых научных организаций затронули психологов не только в РСФСР, но и в национальных республиках. Так, первым советским психологом-академиком стал Д.Н. Узнадзе (1886–1950), избранный академиком Академии наук Грузинской ССР в 1941 г., а первым советским академическим подразделением в этой сфере оказался учрежденный им в Тбилиси в том же году Сектор (с 1943 г. — Институт) психологии АН ГССР. Вскоре за этим последовало создание Научно-исследовательского института психологии Наркомпроса (впоследствии — Минпроса) УССР, который был основан осенью 1945 г. в Киеве под руководством Г.С. Костюка (1899–1982). Вне всякого сомнения, все эти события отражали принципиальное изменение отношения к психологии как научной дисциплине в иерархии советских наук и ее новый, официально признанный высокий статус на академическом Олимпе в масштабах всей страны.

Во время войны было создано отделение психологии на философском факультете МГУ (1943), а 3 декабря 1946 г. было опубликовано и постановление ЦК ВКП(б) «О преподавании логики и психологии в средней школе», согласно которому психология была введена в курс школьного преподавания в СССР в качестве одного из предметов учебного плана в старших классах. Это событие сделало очевидным тот факт, что советская психология, пережившая *рефлексологию* и *реактологию* и фактически поглотившая

⁴² Премия присуждена в категории «философские науки» в 1942 г.

педологию, психотехнику и дефектологию, не только состоялась как дисциплинарный проект национального масштаба, но и вступила — в институциональном плане — в эпоху своего «золотого века». Парадоксально, но именно период 1936–1938 гг., ознаменовавшийся постановлением о педологии и массовыми репрессиями в стране, оказался временем полной реорганизации и своего рода «зачистки» места для будущей «настоящей» советской психологии. Именно она приняла на себя основную нагрузку всех «вымерших» дисциплин психоневрологического сегмента наук о человеке (и очень выборочно сохраняла память о дореволюционном прошлом). Психология развивалась в послесталинский период уже в условиях нормализации и гораздо более «плавного» и даже инерционного утверждения своих норм и установок — в отличие от бурного, интеллектуально насыщенного и разнопланового этапа 1920–1930-х годов. Триумф советской науки и техники начального периода «холодной войны» обозначил поколенческий разрыв двух генераций советских психологов — ученых дореволюционной формации и «шестидесятников»; преодоление же этого разрыва было обусловлено постепенным уходом старшего поколения и утверждением «младших» на административных вершинах. Именно этой оттепельной когорте предстояло в полной мере воплотить ту самую «сталинистскую модель» в советской психологии, которая — вопреки всем риторическим обличениям прошлого — и по сей день во многом остается основной организационной формой существования отечественной университетской психологии⁴³.

⁴³ См., например, обсуждение этой темы в: *Yasnitsky A. The Archetype of Soviet Psychology: From Stalinism of the 1930s to the “Stalinist Science” of Our Days // History of Psychology. 2015 (в печати)*. Этот парадокс послевоенной, а затем и постсоветской истории стал предметом рассмотрения в одной из глав коллективной монографии, подготовленной в рамках интернационального проекта «ревизионистской революции в выготсковедении». Остается лишь надеяться, что этот материал непременно найдет и своего русского читателя.

СОВЕТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ПОЛИЦЕЙСКАЯ НАУКА

1.

Эта глава возникла в результате стечения обстоятельств, позволивших возобновить работу над старой темой с новых позиций. Немногом менее четверти века назад я собирался написать книгу о советской социологии, небольшую и преимущественно теоретическую, посвященную разбору некоторых дискуссий, актуальных тогда для нашей науки. Книга не получилась, а статья, вышедшая в 1993 г., отразила состояние умов, еще не остывших после перестройки, и мои собственные попытки понять происходящее в терминах распада империи¹. Самым главным результатом работы я считал идентификацию советской социологии как имперской, т.е. принципиально соотносящей все свои высказывания с тем большим политическим пространством, которым были Советский Союз и его союзники². Я держусь этой точки зрения и до сих пор. Однако тогда мне не удалось увидеть самое главное: функциональное место советской социологии. Без этого постановки проблем, исследования и дискуссии оказывались совершенно непонятными. Разумеется, в социологии была идеологическая составляющая, а полностью разделить идеологию и собственно исследовательскую работу очень трудно, если вообще возможно. Но работы советских социологов отнюдь не сводились к повторению и уточнению формул, придуманных профессиональными идеологами, да и создавать социологию, развивать ее только для того, чтобы получать на выходе ту же самую идеологическую продукцию, было бы бессмысленным предприятием. Несмотря на то что угроза включить социологию в сугубо идеологическое производство существовала всегда, она занимала важное место в конструкции экспертного знания советской эпохи. Социология в СССР сформировалась под влиянием мировой и постоянно испытывала ее влияние³. Разобраться в

¹ См.: *Filippov A.F. A Final Look Back at Soviet Sociology // International Sociology. 1993. Vol. 8. No. 3. P. 355–373.*

² См. подробнее: *Филиппов А.Ф. Наблюдатель империи // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 89–120.*

³ История советской социологии неплохо документирована и постоянно пополняется новыми исследованиями. См., прежде всего: *Российская социология шестидесятых годов в*

ее устройстве — значит отчасти лучше понять Советский Союз того времени, но и наоборот: не понимая, что собой представлял СССР в последние десятилетия своего существования, трудно понять его социологию.

Советская социология, строго говоря, никуда не исчезла и до сих пор. Живы и, к счастью, продолжают писать многие из тех, кто создавал ее полвека назад, не говоря уже о следующих поколениях. В первую очередь благодаря этому в ретроспективных описаниях ее истории господствует (хотя и не является единственным) нарратив «борьбы ученых во имя науки против идеологического контроля». Несмотря на то что каждое такое описание заслуживает анализа и уточнений, опровержение или дискредитация этого нарратива были бы делом неблагодарным. Вопрос должен ставиться иначе. Не в том дело, сколько науки было в советской социологии, что она смогла отвоевать как область свободы от идеологической бюрократии. Дело в том, что это была за наука, так или иначе нашедшая свое место в системе общественных наук СССР. Конечно, такая постановка вопроса заведомо предполагает, что речь идет о некотором единстве, а этот тезис сам по себе был бы не бесспорен. Однако столь масштабная задача здесь и не ставится. Речь идет лишь о том, чтобы расширить горизонт тематизации самоописаний советской социологии, показать в новом свете давно известное и путем не испробованных ранее аналогий и сравнений подойти к обретению новых возможностей интерпретации.

Мне кажется осмысленным провести аналогию между советской социологией и полицейской наукой в том особом понимании, смысл которого будет раскрыт ниже. Это касается и ее функционального места, и отношения к другим обществоведческим дисциплинам, и, что очень важно, самопонимания, которое было свойственно, конечно, далеко не всем, но весьма многим ее представителям. Сразу хочу заметить, что в понятие «полицейская наука» я не вкладываю никаких оценочных характеристик. В данном случае «полицейская наука» — это управленчески-экспертная система полицейского государства. Понятие полицейского государства, конечно, тоже нуждается в уточнении и предварительно определяется как система бюрократического управления, использующая монопольное право на насилие для осуществления административных решений, нацеленных на достижение блага и основанных на оценке ситуации и объективной необходимости, а не на длительной, опосредованной правилами и правом процедуре с неопределенным результатом. СССР последних десятилетий своего существования более всего напоминает в этом смысле полицейское государство, а идея научного управления — полицейскую науку. Социология и является одной

воспоминаниях и документах / под ред. Г.С. Батыгина. М.: РХГИ, 1999; Фирсов Б.М. История советской социологии: 1950–1980-е годы. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2012.

из таких полицейских наук. Борьба за признание социологии в советские времена — это борьба не только с идеологией, но и с другими управленческими дисциплинами за место в системе экспертного знания.

2.

Это основное положение хотелось бы представить в виде нескольких простых тезисов, положенных в основу главы. Я попытаюсь развить и частично проиллюстрировать их, однако ими не исчерпывается то, что в связи с этим можно было бы сказать о предмете. Иллюстрации суть не более чем иллюстрации, частные примеры, которые могут быть умножены, но которым — я отдаю себе в этом отчет — могут быть противопоставлены другие примеры. Речь идет о возможном, но не единственно возможном, способе интерпретации одного и того же материала. Тезисы эти таковы.

1. Советский Союз на том отрезке его истории, когда была институционализована и развивалась социология, был полицейским государством. Точнее было бы назвать его социально-полицейским, однако этот последний термин не конвенциональный, я буду использовать его лишь время от времени, для более точного выражения некоторых мыслей.

2. Как государство Советский Союз был континентальной империей, т.е. большим политическим пространством, смысл которого, как фон и горизонт, в более или менее явной форме присутствовал во всех действиях и коммуникациях, совершавшихся на его территории.

3. В течение нескольких десятилетий Советский Союз был тоталитарным режимом, и хотя родовые черты тотального господства сохранялись в его устройстве до самого конца, появление социологии как науки практически совпало по времени с его трансформацией⁴, заключавшейся в изменении форм, способов и объемов контроля.

4. Социология была задумана как полезная. Она была нужна для того, чтобы обеспечить на деле декларируемое идеологами научное управление обществом. Однако стиль социологии как науки по большей части мог быть только импортирован.

5. Социология была нужна как эмпирическая наука, но эмпирическое неотделимо от постановки исследовательской задачи, а исследовательские

⁴ Движение в сторону создания в стране социологии начинается, как свидетельствуют историки, через несколько лет после смерти Сталина, однако ключевые события происходят лишь в конце 1950-х годов: идеологические сановники отправляются на Запад для участия в социологических конгрессах, в Москве в 1958 г. проходит Международное совещание социологов по вопросу о мирном сосуществовании. Тем не менее до институционализации советской социологии еще далеко.

задачи формулируются на языке, который обоснован далеко не эмпирически и может быть в некоторых (но не всех) отношениях плохо совместим с языком господствующей идеологии, обладающим своей внутренней консистентностью.

6. В самом общем виде то решение относительно позиции социологии в советском обществе, которое не просто было навязано сверху, но получено в результате далеко не односторонних усилий бюрократов, идеологов и обществоведов, можно охарактеризовать в двух словах как «полицейскую науку».

7. «Полицейская наука» — это не уничижительная характеристика. Речь идет отнюдь не об оправдании или техническом совершенствовании политического контроля, политической полиции и т.п. Такая — «тайно-полицейская» — социология в СССР тоже существовала, но ее история — отдельная тема. Мы же будем говорить о том, что дают нам аналогии между социологией и той дисциплиной (или группой дисциплин), которая возникла некогда в Европе как область наук об управлении страной, находящейся под централизованным господством, не опирающимся на правовые процедуры как свой основной принцип⁵.

8. Уподобление социологии полицейской науке не означает отсталости. Скорее речь может идти об очень сложном процессе, в ходе которого некоторые старые и кажущиеся изжитыми феномены обретают не только новую жизнь, но и новый вид, какого они не могли бы иметь в прошлом.

9. Социология в СССР не была однородной и не была все время одной и той же. Тезис о том, что она была полицейской наукой, поневоле огрубляет ситуацию. Разумеется, это высказывание имеет смысл лишь применительно к институционализированной социологии, однако к борьбе школ внутри нее оно не имеет никакого отношения. Все остальное надо доказывать через анализ документов, с самого начала не исключая, что часть из них будет свидетельствовать не в пользу, а против выдвинутой гипотезы.

Я начну с самой сжатой характеристики полицейской науки и сопоставления ее с социологией на разных этапах существования последней. Затем приведу несколько положений из работ советских социологов, которые могут подтвердить мою точку зрения. Более доказательное и подробное развитие ее я оставляю для последующих, обширных работ.

⁵ О различии принципов управления в полицейском и правовом государстве см.: *Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1973. S. 88–106*: «Целевое программирование решений в полицейском государстве, — говорит Луман, — предполагает возможность политического (обусловленного целесообразностью) вмешательства на уровне отдельных решений, в то время как в правовом государстве программирование кондициональное: воздействие идет через изменение правовых процедур».

3.

История полиции столь же стара, как история государства. Это суждение может показаться очевидным, но очевидность обманчива, а суждение двусмысленно. Политические образования разного рода, которые мы привычно именуем государствами, действительно существуют издавна, но государство в современном понимании — феномен не столь уж древний. То же самое относится и к полиции. Одно дело — те или иные средства принуждения к порядку, другое — регулярные полицейские силы. Первые известны с древности, вторые относительно новы. Дополнительную путаницу может внести еще и то, что слово «полиция» появляется раньше, чем возникают эти регулярные силы, но при этом означает оно не столько органы государственного принуждения, сколько сам порядок как таковой, причем взятый во всей совокупности, как строй социальной жизни. В последние 30 лет благодаря многочисленным исследованиям, посвященным полиции⁶, старое немецкое выражение для обозначения такого строя «*gute Ordnung und Policey*» — «добрый порядок и полиция» — стало широко известным, а выдержки из документов, относящих к полиции общественную гигиену и добронравие, мало-помалу теряют свою экзотичность даже в глазах широкого круга читателей⁷. Наверное, в нашей стране и специальных разысканий не требовалось, чтобы вспомнить русскую историю. Изданный Екатериной Второй «Устав благочиния, или полицейский» называется так потому, что в светском (нецерковном) смысле слова «благочиние» (полиция) как раз и есть тот самый «добрый порядок».

В это время в самом распространенном понимании полиция все еще остается скорее синонимом совокупного управления социальной жизнью, чем названием одних только регулярных сил принуждения и охраны порядка, новейшую историю которых принято отсчитывать с конца XVII в.

Полиция в старых немецких государствах означала прежде всего помощь; а для осуществления на деле этой помощи — в первую очередь в эпоху после Тридцатилетней войны, когда началось становление современной политики, — не было нужды вообще ни в каком принуждении. Кроме того,

⁶ См., прежде всего, лекции Мишеля Фуко, центральное место среди которых в нашем случае занимает курс «Безопасность, территория, население»: *Foucault M. Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977–1978* / M. Senellart (ed.). N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007. Существующий русский перевод трудно рекомендовать ввиду существенных ошибок в передаче терминологии.

⁷ См., например: *Neocleous M. Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power*. L.: The Pluto Press, 2002; *Police and the Liberal State* / M.D. Dubber, M. Valverde (eds). Stanford: Stanford University Press, 2008.

не следует упускать из виду этический характер заботы о благополучии и в политической теории просвещенного абсолютизма. Как «принуждение» полиция выступает лишь на фоне автономии индивида и ставшего совершенно самостоятельным гражданского общества⁸.

Притом именно в XVII–XVIII вв. получает развитие наука о полиции, или наука полиции, целью которой является отыскание наилучших средств для государственного управления хозяйственной и моральной областями жизни ради всеобщего блага. Она, писал знаменитый немецкий полицейист фон Юсти,

состоит в познании того, как из наличного состояния общественной жизни [gemeinen Wesens] вывести разумные меры для сохранения и приумножения совокупного достояния государства в его внутренней конституции, а также делать оное достояние как в целом, так и в отдельных частях его все более пригодным и полезным для счастья и благоденствия общественного⁹.

Хорошая, счастливая жизнь отдельного человека немислима без хорошей, счастливой жизни сообщества, а полиция блюдет в первую очередь нравственное состояние подданных, а затем уже заботится об их гражданском состоянии (способности подданных быть полезными членами общества) и о предотвращении несправедливости и злобы¹⁰. Юсти «пропагандирует набор государственных мероприятий, центр тяжести которых смещается с набора запретов в старых полицейских регламентах к комбинации стимулирования, поддержки и гарантий безопасности»¹¹. В общем, как говорил М. Фуко, суммируя свои впечатления от трактатов о полицейской науке, речь идет о безграничной регуляции поведения подданных, именно в этом суть полицейского управления¹².

Задача способствовать устроению общественной жизни для приумножения достояния государства и всеобщего счастья формулировалась в контексте камерализма — скорее комплекса прикладных дисциплин, нежели отдельной науки, — который в ретроспективе иногда слишком узко рассма-

⁸ Meier H. Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre. München: C.H. Beck, 2009. S. 325.

⁹ Justi J.H.G.von. Grundsätze der Polizei-Wissenschaft in einem vernünftigen, auf den Endzweck der Polizei gegründeten, Zusammenhange und zum Gebrauch akademischer Vorlesungen abgefasst. Dritte Ausgabe. Göttingen: Verlag der Witwe Vandenhoeck, 1782. S. 9.

¹⁰ Ibid. S. 14.

¹¹ Stolleis M. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Bd. 1. München: Beck, 1988. S. 381.

¹² См.: Foucault M. The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. P. 7–8.

тривается как сугубо экономический¹³. В Германии камерализм и полицейская наука составляли единую полицейски-камералистскую программу¹⁴. Несомненно, камералисты плотно занимались экономическими вопросами, но только в связи с вопросами более общего характера. Вот, например, несколько пунктов из программы раннего немецкого камералиста Ф.Л. фон Зеккендорфа, который предлагал, чтобы подданные не испытывали нужды ни в чем жизненно необходимом, уделять внимание: 1) фундаментальному обеспечению, под которым он понимал воспитание молодежи; 2) производству жизненно необходимых продуктов; 3) равномерной поддержке всякого рода простых занятий, например поденной работы; 4) регуляции цен, отмене ростовщичества, упорядочению мер и весов; 5) регулированию расходов на празднества и наряды; 6) ограничениям на пользование иностранными товарами, вроде одежды и пищи; 7) борьбе с паразитическими группами: игроками, фокусниками, мошенниками; 8) справедливому управлению доходной собственностью общин¹⁵. Добрые намерения, добрые нравы, содействие верховной власти в установлении «хорошей полиции» через соответствующие законы и учреждения — характерные черты камералистского проекта, инициаторы которого предлагали разные способы централизованной социально-экономической и нравственной регуляции в своих землях. Достижение общего блага через благо отдельных элементов общества, ориентация на особый характер отдельных общественных групп, координация действий этих групп — вот что находится в центре внимания.

Не теоретический, но практический характер полицейской науки не означал отсутствия амбиций. Однако и амбиции были практического свойства. Камералисты обещали успехи и процветание. В конце концов отсутствие того и другого стало слишком заметным! Камералистский проект провалился, а идеология полицейского государства уступила место идеологии государства правового. Между тем развитие социального знания шло своим чередом. Полицеистика, даже та, что сохранилась после краха

¹³ А. Смолл еще 100 лет назад указывал на узость такого понимания. См.: «Пусть это прозвучит парадоксально, но камерализм — теория и практика не экономики, но политики. <...> Камерализм <...> не поднимал никаких фундаментальных вопросов чистой экономики. Он был в первую очередь теорией и техникой правления. <...> Государство было главным. Камералисты были служителями государства» (*Small A. The Cameralists. The Pioneers of German Social Polity. Kitchener, ON.: Batoche Books, 2001 [1909]. P. 19–20.*)

¹⁴ См.: *Wakefield A. The Disordered Police State: German Cameralism as Science and Practice. Chicago: The University of Chicago Press, 2009. P. 74.* Практика камерализма, утверждает Уэйкфилд, совсем не походила на теорию. В теории был отрегулированный порядок. На практике — ложь, обман, охота за доходными позициями в преподавании и управлении.

¹⁵ См.: *Small A. The Cameralists. P. 82.* Всего в программе Зеккендорфа было 12 пунктов, я свел вместе некоторые из них для удобства изложения.

камерализма, отступила на задний план. В разных странах судьба ее сложилась по-разному. Россия первоначально ориентировалась на европейские образцы, по большей части французские и немецкие. Во Франции век полицейской науки оказался короче, чем в Германии, но и в Германии она полностью выдохлась к середине XIX в. (на чем история, правда, не кончается)¹⁶. Причины этого разнообразны и лежат по большей части не в научной плоскости. Полицейская наука не выполнила главного обещания. Ведь она ориентирована не на получение нового знания как такового, а на выработку методов эффективного управления. Но в части экономической бюрократическое управление со стороны центральной власти уже было сильно дискредитировано, а то, что мы бы назвали социальным управлением, превратилось в полицейский контроль в смысле принуждения и репрессии. Насущной полицейской задачей оказалось противостояние революциям, а гармонизация отношений между устойчивыми, унаследованными с давних времен группами общества была признана совершенно неактуальной. Полиция перестала быть способом попечения и заботы и сделалась исключительно полицией безопасности, в том числе и политической. К этому времени интерес к ней в Европе был исчерпан, а вниманием просвещенной публики завладели новые интеллектуальные предприятия, одним из которых стала социология.

Социология исторически представляет собой проект, совершенно отличный от полицейской науки и прямо не связанный ни с ней, ни даже с ее критикой. Социология — это новое теоретическое знание, автономное от политической практики. Она предлагается как новая наука об обществе, иначе говоря, все прежнее объявлено ненаучным, донаучным. Во Франции она формируется (в противоположность социализму, предполагавшему революционное преобразование мира) как способ соединения порядка и прогресса на основании знания, которое позволяет видеть, чтобы предвидеть¹⁷. Она полезна, но пользу приносит лишь постольку, поскольку преследует теоретические цели. В Германии на смену полицейской науке приходит теоретическое «государствование» (Staatslehre), также противостоящее французскому социализму. Социология в точном смысле в Германии появляется сравнительно поздно, бюрократы ее путают с социализмом, уче-

¹⁶ Несколько попыток сохранить полицейскую науку как науку правового государства делалось в Германии в середине XIX в. В начале XX в. там же ее попытались восстановить как науку о всеобщем администрировании. В России в середине XIX — начале XX в. теоретики полицейского права рассматривали свою дисциплину в первую очередь как науку об управлении, основанном на результатах более частных дисциплин, в том числе социологии и экономики.

¹⁷ «Порядок и прогресс», «видеть, чтобы предвидеть» — формулы Огюста Конта.

ние о государстве считается достаточным для разумного бюрократического управления. Так же обстоят дела и в России — с той только разницей, что все там идет с некоторым временным запозданием, а после Октябрьской революции, по мере укрепления нового государства, шансов у социологии остается все меньше.

После 1933 г. Германию за рубежом, особенно в либеральных Великобритании и США, все чаще стали называть полицейским государством. Это же слово еще до того, как была придумана концепция тоталитаризма, прилепилось и к Советскому Союзу¹⁸. В либеральном мире почти совершенно забыли о полицейской науке и о самом изначальном смысле полицейского государства. Социология, как считалось, была не нужна и даже вредна для полицейского государства. В самом деле, социология представляла собой инстанцию истинного знания относительно устройства социальной жизни. Для тоталитарных режимов это было в принципе неприемлемо, причем в случае СССР это усугублялось тем обстоятельством, что высшие инстанции власти и научного знания совпадали по определению. Таким образом, социология как отдельная от официальной идеологии наука просто не могла существовать. Знание же было одновременно и фундаментальным (знанием о том, как на самом деле все устроено), и технологичным (как всем этим управлять, чтобы получать необходимый эффект). Разумеется, весь тот огромный блок полицейского контроля, без которого немислимо тоталитарное устройство, не мог быть публично описан и обоснован в «научной идеологии»¹⁹. Даже после начала размывания тоталитаризма и до самого завершения советской истории он оставался тайной технологией власти, *arsanum imperii*, умолчание о которой бросало тень на все обществоведческие дисциплины. Однако и прочие части социального устройства не нуждались в публичном (доступном дискуссии и критике) описании, сколько-нибудь напоминающем язык конвенциональной социологии как академической дисциплины западных стран. Эти описания, в свою очередь, не были нужны, потому что социальная реальность считалась пластичной, поддающейся в любой момент целенаправленному действию с предсказуемым результатом. Со времен Вико было известно, что мы лучше всего знаем то, что создаем. Создавая и пересоздавая все с нуля и обращая созданное в ничто, тоталитарная власть, по идее, не оставляла пространства тому, что невозможно пересоздать и, таким образом, познать в полной мере.

¹⁸ См.: *Thomson Cr. The Police State: What You Want to Know about the Soviet Union*. N.Y.: Dutton Publishers, 1950.

¹⁹ Даже и в это время, в общем, осознавалась необходимость в получении дополнительных сведений, дать которые могла, помимо статистики и полицейских донесений, эмпирическая социология. История такого рода исследований при тоталитарных режимах является в данном случае, однако, побочной темой.

4.

Все это вещи хорошо известные, и тем более важно видеть, что произошло, когда социология в СССР все-таки появилась. Социология 1970-х годов — это продолжение и развитие 60-х, в некотором роде (что обусловлено как внешними, так и внутренними обстоятельствами) завершение тенденций, которые в 60-е были только намечены.

Начнем с очевидного. Размывание, трансформация контроля в более мягкие формы с середины 50-х годов в СССР приводит — и не может не привести — к появлению множества все более неподконтрольных, непредсказуемых событий. Это и появление нового рода мотивов, точнее говоря изменение самого словаря мотивов²⁰, и увеличение горизонтальной мобильности, немислимой в прежние годы, и многое другое в том же роде. Отказаться от ключевой идеи, что социальная реальность при коммунизме имеет целиком научно сконструированный и потому вполне прозрачный для конструкторов характер, было, разумеется, идеологически невозможно, но и потребность в знании о происходящем необходимо было учитывать. Помимо разного рода ухищрений, представляющих в историческом плане большой интерес, но выводящих нас за пределы нашей темы, были предприняты также усилия по встраиванию принципиально эмпирической по характеру социологии в систему марксистской идеологии.

Один из выходов был найден в знаменитой трехчастной схеме, с бóльшим или меньшим успехом просуществовавшей в социологии до конца советской власти и ставшей предметом длительных, хотя и не всегда продуктивных дискуссий. То, что эти дискуссии (время от времени прерывавшиеся утверждениями разных начальников о том, что вопрос давно решен и не нуждается в обсуждениях) постоянно возобновлялись, имеет, конечно, характер симпто-

²⁰ См. более подробно: *Фирсов Б.М.* Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2008. См. в особенности главу 3 «От коллективного ослепления к индивидуальному прозрению». Возможно, одной из важнейших работ, зафиксировавших это изменение словаря мотивов, стала — правда, уже несколько позже — знаменитая книга И.С. Кона «Социология личности». В самом начале книги Кон аккуратно, но твердо объясняет, что положение о сущности человека как совокупности общественных отношений, высказанное Марксом в «Тезисах о Фейербахе», имеет смысл лишь применительно к «родовому понятию» человека, но не к каждому человеку в отдельности. Разумеется, действия человека определяются его социальным положением и его интересами, носящими объективный характер. Но мотивы — другое дело. «Мотив обозначает субъективное отношение человека к своему поступку, сознательно поставленную цель, направляющую и объясняющую поведение. <...> Мотивы зависят как от особенностей индивида, так и от конкретной ситуации и могут быть противоречивыми и непоследовательными» (Кон И.С. Социология личности. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1967. С. 27). Термин «ситуация» нам еще встретится ниже.

матический. Просуществовавшее несколько десятилетий сочетание советского истмата с импортированной социологией требовало все новых усилий для сохранения его в виде содержательного, а не просто декларированного единства. Трехчленная схема не была придумана целиком на месте, скорее она перекочевала к нам из западной социологии. Роберт Мёртон еще в конце 1940-х годов предложил сосредоточить основное внимание социологов не на общей теории, а на теориях «middle range». В те годы их начали у нас называть «теориями среднего значения», потом — «среднего ранга», а затем уже окончательно устоялось название — «теории среднего уровня». Применительно к отечественной социологии часто говорили также о «специальных социологических теориях», но, в общем, существа дела это не меняло²¹. Было известно, что западным (буржуазным) ученым можно, как писал Ленин, доверять в специальных вопросах, но нельзя верить ни единому слову в общих. Но как раз специальные вопросы и рассматривались теориями среднего уровня! Это помогало решить часть вопросов импорта науки. Считалось, что есть высший этаж социологического знания — общая теория. Ниже располагаются специальные социологии — вроде социологии труда, науки, свободного времени и т.п. Еще ниже — «эмпирические», или «прикладные», социологические исследования. На раннем этапе существования социологии в ходу было также понятие «конкретного исследования», и даже институт Академии наук, созданный в 1968 г., назывался Институтом конкретных социальных исследований (ИКСИ). Долгие споры о том, называть ли «конкретные исследования» социологическими или социальными, сводить ли конкретное к эмпирическому, не опасно ли намекать на абстрактный характер прочих исследований, заслуживают здесь не более чем беглого упоминания.

Задавая границы и формулируя задачи социологии, один из ведущих идеологов, академик АН СССР Ф.В. Константинов, в 1962 г. вошедший в состав исполкома Международной социологической ассоциации, писал: «Конкретные социологические исследования означают творческое применение марксизма как метода познания и объяснения новых социальных явлений и процессов, структуры и механизма действия законов общественного развития»²². Именно исторический материализм был объявлен общей социологической теорией, что можно было, конечно, интерпретировать по-разному. В более благоприятных для науки случаях речь могла идти о том, что (марксистско-ленинская) социология едина, и ученый, занимающийся работой с данными эмпирических

²¹ О подходе Мёртона и его переосмыслении в советской марксистской социологии см.: *Андреева Г.М.* Марксистская социология и ее задачи // О структуре марксистской социологической теории. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. С. 25–34; *Ядов В.А.* Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М.: Наука, 1972. С. 12–13.

²² *Константинов Ф.В.* Социологические исследования — исторический материализм в действии // Социальные исследования. М.: Наука, 1965. С. 29.

исследований, в принципе, может дойти до высших уровней социального знания и внести свой вклад чуть ли не в исторический материализм. В менее благоприятных — о том, чтобы ставить интерпретацию социологических данных под контроль философов, хранителей истины истмата.

В период становления советской социологии позиции были оформлены по-другому, не менее резко, но в каком-то смысле более рационально. Вот что говорил один из интеллектуальных лидеров тогдашней социологии Ю.А. Левада: «Попытки “пристегнуть” эмпирические исследования общества к ряду данных, полученных иначе, — в рамках передовой исторической науки или передовой философии, или, в частности, социальной философии, — всегда оказываются чем-то искусственным и неудачным»²³. Здесь, конечно, следует обратить внимание на слова «передовая философия» и «социальная философия». Левада обособлял социологию от той социальной философии, которая официально признавалась в СССР высшим этажом социального знания. Дальнейший ход его мысли подтверждает это:

Как и всякая эмпирическая, опытная, конкретная наука, социология имеет и свою теорию, строит свои гипотезы, в том числе и весьма абстрактные схемы (теперь говорят — модели) для изображения определенных сторон общественных процессов. Эта теория непосредственно опирается на систематическое наблюдение и эксперимент, проверяется ими, поэтому мы можем сказать, что это — эмпирическая теория²⁴.

Теория чего? Можно было бы предполагать, что речь идет о частной теории, основанной на систематических наблюдениях одной из сторон общественной жизни. Однако это не так: «В отличие от других общественных наук, социология рассматривает не отдельную сферу деятельности общества, а нечто более целостное: общественную жизнь как систему отношений и отдельные сферы как части этой структуры»²⁵. Это значит, что социология — с одной стороны, автономная эмпирическая наука, а с другой — единственная наука, предметом которой может быть общество в целом, а не отдельные его сферы. Социологические теории отдельных областей социальной жизни не отрицают того, что и высший этаж социологического знания занят теорией, построенной на тех же принципах, что и теории среднего уровня. Эта точка зрения была несовместимой с официальной трактовкой трехуровневой схемы.

Академик П.Н. Федосеев, с середины 1960-х годов (с перерывом на несколько лет) куратор всех социальных и гуманитарных наук страны в ранге вице-президента АН СССР, практически одновременно с «Лекциями» Левады писал:

²³ Левада Ю.А. Лекции по социологии // Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР. № 6 (21). М.: ИКСИ АН СССР, 1969. С. 13.

²⁴ Там же. С. 20.

²⁵ Там же. С. 15.

Мне представляется, что исторический материализм составляет теоретическое содержание социологии. Нет и не может быть социологии вне или над историческим материализмом. <...> Исторический материализм представляет общую теорию общественного процесса, определяющую основное направление социальных преобразований, а конкретные социологические исследования являются теми прикладными знаниями, через которые общая теория воздействует на практику и рекомендации которых непосредственно используются в повседневной практической деятельности²⁶.

Разумеется, между ученым и высокопоставленным аппаратчиком не могло быть собственно научной дискуссии. Характерной особенностью ситуации было и то, что постоянно маячило на горизонте как реальная возможность: *ultima ratio* идеологов были не аргументы, а насилие²⁷. Однако даже вне всякой возможной дискуссии все высказывания о структуре социологии принадлежали тем не менее к одному дискурсивному порядку. Вопрос, как обращаться с фактами, которые могут быть — в принципе — столь упрямы, что опрокинут самую продвинутую теорию, основанную на «единственно верном» учении, должен был найти какое-то разрешение. «Опыт многих социологических исследований показывает, — писал один из отцов-основателей советской социологии Г.В. Осипов, — что, как бы ни была совершенна их методика, они оказываются безрезультатными и бесплодными, не имеют научного значения именно в силу пренебрежения общей теорией социального развития»²⁸. Эти слова необходимо читать правильно, не столько в контексте мировых дискуссий о теории и эмпирии, сколько в контексте непрекращающейся борьбы за социологию²⁹. Признание социологической теории принципиально эмпирической, признание теории самостоятельной и первенствующей по отношению к фактам, утверждение социологической теории как теории социального развития позволяют примерно реконструировать точку зрения, согласно которой социологи, в общем, не отказывались от участия в идеологической работе, сосредоточивали внимание на тех областях истмата, которые допускали большую свободу толкования, а

²⁶ Федосеев П.Н. Социологические исследования в СССР // Социальные исследования. Вып. 2. М.: Наука, 1968. С. 8–9.

²⁷ «Лекции по социологии», как известно, обернулись для Левады многообразными репрессиями, в том числе увольнением из ИКСИ и многолетним запретом на публикации.

²⁸ Осипов Г.В. Основные черты и особенности марксистской социологии // Социология в СССР. М.: Мысль, 1965. С. 46.

²⁹ В это время также существовали и в высшей степени изощренные, усложняющие общую схему попытки соотнести факты и теории. Это в особенности хорошо удавалось специалистам по методологии исследований, акцентировавшим в большей мере то, как должно быть построено правильное исследование, нежели то, что оно, собственно, сможет получить в итоге. См. один из первых опытов такого рода: Андреева Г.М., Никитин Е.П. Метод объяснения в социологии // Социология в СССР. С. 124–144.

самое главное — позволяли формулировать теоретические основания эмпирических исследований. Поэтому формулы «Рабочей книги социолога», подготовленной в середине 1970-х годов, звучат не просто догматически, но далеко не безобидно именно для социологов-эмпириков:

Представляя собой общую социологическую теорию, исторический материализм вместе с тем является методологией социального познания вообще, конкретного социологического исследования — в частности. <...> Теория научного коммунизма <...> есть незыблемая теоретическая основа социологических исследований любых явлений, процессов и сфер жизнедеятельности социалистического общества³⁰.

5.

Но что двигало социологами, кроме естественной для человека жажды познания? Обоснование необходимости социологии в их трудах представляет для нас особый интерес — именно здесь, как мне кажется, находится «исток и тайна советской социологии». Авторы некогда знаменитой, хотя и «спрятанной» под нарочито скромным названием книги пишут:

Конкретные социологические исследования имеют не только теоретическое, но и непосредственно практическое значение, так как они способны внести полезные коррективы в различные сферы коммунистического строительства и тем самым ускорить темп общественного развития в целом. Но эти исследования могут иметь практическое значение лишь в том случае, если они основываются на правильной методологии и научно разработанной методике³¹.

Очевидно, что здесь декларируется нечто большее, чем просто намерения. Речь идет о том, что в реальности совершается некое развитие, что знание о развитии должно быть получено особым методом и что на основе этого знания в самом развитии могут быть внесены коррективы. Но что еще есть в реальности, кроме развития? События и ситуации — говорят авторы³². «Во взаимодействии с общей волей, действующей при социализме по единому плану, воли отдельных людей не оказываются равными нулю. Каждая воля участвует в формировании

³⁰ Рабочая книга социолога / под отв. ред. Г.В. Осипова. М.: Наука, 1976. С. 9, 11. Разумеется, далее речь идет и о специальных социологических теориях, и об эмпирических исследованиях. Однако следует обратить внимание и на то, что значительная часть текста посвящена изложению исторического материализма, в частности, концепции общественно-экономической формации. Так шла борьба. Социологи испытывали давление истматчиков и переносили свои усилия на их поле, объявляя истмат социологической теорией и методологией. Это, в свою очередь, вынуждало их вбирать темы и постановки проблем в истмате в свои собственные конструкции.

³¹ *Осипов Г.В.* и др. Задачи и методы конкретно-социологических исследований // Вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований. М.: Росвузиздат, 1963. С. 17.

³² Там же. С. 18.

исторических событий»³³. Ситуации могут складываться позитивно или негативно, и даже в «нашей жизни» бывают иногда конфликтные ситуации. Однако «для социалистического общества особенно характерно образование ситуаций положительного характера, в которых гармонически взаимодействует материальное и духовное, общественное и личное. Это прямой результат сознательного воздействия людей на развитие исторического процесса»³⁴.

Хорошим дополнением к этим рассуждениям может служить другой важный текст — написанное Г.В. Осиповым предисловие к переводной книге «Социология сегодня: Проблемы и перспективы»³⁵. Такие тексты сегодня надо уметь читать. Они совсем не про то, как плоха западная социология по сравнению с марксизмом. Они — про наши проблемы и наши задачи, только сформулировано все очень иносказательно и деликатно. Речь идет, конечно, не о том, что влиятельные социологи были скрытыми агентами зарубежной социологии. Однако, повествуя о ее достижениях, они, несомненно, предполагали принести пользу социалистическому обществу в случаях, которые могли быть похожи на те, что считали проблемой западные коллеги. Осипов пишет, что буржуазная социология, в XIX в. развивалась в общем русле философии, не имела практического применения, обходилась без рассуждений об обществе и социальном прогрессе. Этот сомнительный с точки зрения истории социологии заход служит ему для того, чтобы противопоставить социологии XIX в. социологию века XX. В XX в.

перед социологией была поставлена задача разработки действенных средств поддержания и сохранения существующей системы капитализма. Теоретические исследования дополнились эмпирическими. <...> Проводя эмпирические исследования и выясняя настроения трудящихся, западные социологи разрабатывают систему практических мероприятий, которые позволяют заглушать и приглушить противоречия капиталистического общества³⁶.

«Это, — продолжает Осипов, — позволяет даже привести к временному «смягчению» (кавычки автора!) социальных противоречий»³⁷. Социология помогает сохранять группы, невзирая на конфликты, поддерживать их сплоченность, подчинять господству «государственной власти монополий» и т.п. Наиболее примечательно между тем, что, когда Осипов переходит к общей характеристике структурного функционализма (на позициях которого сто-

³³ Осипов Г.В. и др. Задачи и методы... С. 19.

³⁴ Там же. С. 20.

³⁵ Социология сегодня: Проблемы и перспективы / пер. с англ.; общ. ред. и предисл. Г.В. Осипова. М.: Прогресс, 1965.

³⁶ Осипов Г.В. Предисловие // Социология сегодня: Проблемы и перспективы. С. 6.

³⁷ Там же. С. 9.

яли авторы книги), критический пафос у него практически пропадает. Он говорит о том, что функционалисты характеризуют общество как систему, что проблемы, которые они рассматривают, — действительно серьезные научные проблемы. Сухо и внятно он объясняет, что солидарность, альтруизм, легитимность (в то время ее еще называли «законностью») институтов не выводятся непосредственно из общей культуры. Если члены общества и его групп разделяют одни и те же ценности и нормы, отсюда отнюдь не следует их лояльность институтам, склонность к альтруизму и готовность избегать конфликтов. Стоит лишь немного продолжить эту мысль автора, чтобы понять, что он старается донести до читателя. Заменим культуру на «идеологию» — и обнаружим, что не ставящаяся социологами (как и любым публикующимся в СССР автором) под сомнение приверженность советских людей коммунистической идее не гарантирует сама по себе мирных и лояльных отношений ни между собой, ни к государству. Это не данность, а проблема, о которой надо знать заранее и решать ее при помощи социологии.

Посмотрим на дело с другой стороны. Например, уже в программной статье сборника «Количественные методы в социологических исследованиях», сыгравшего большую роль в становлении исследовательских программ советской социологии, А.Г. Аганбегян и В.Н. Шубкин решительно связывали социологические исследования с народно-хозяйственным планированием и прогнозированием. Так, для планирования жилищного строительства в городах нужна информация и прогноз об изменениях состава семей на перспективу; для налаживания торговли нужны сведения о потребительском поведении и т.п. «Каковы потребности различных социальных групп в разных районах страны? Как, под влиянием каких факторов и в каких направлениях эти потребности меняются? Какова величина спроса на различные товары? Каковы тенденции?»³⁸ Конечно, продолжают авторы, тут мы ступаем на зыбкую почву субъективного, но лучше уж так, чем никак, ведь «социалистическое и коммунистическое производство — не самоцель. Оно должно быть подчинено человеку с его потребностями»³⁹. Другая проблема — это эффективное управление трудовыми ресурсами. Здесь тоже приходится вторгаться в область субъективного. А поскольку работать приходят люди с определенным образованием, приходится изучать не только трудовую мотивацию, но и ситуацию в образовании. «Поэтому нужно постоянно знать, кого готовить, какой уровень образования требуется для работы по данной профессии на перспективу, в какой мере нужны знания, которые получили выпускники, для практической рабо-

³⁸ Аганбегян А.Г., Шубкин В.Н. Социологические исследования и количественные методы // Количественные методы в социологических исследованиях / под ред. А.Г. Аганбегяна. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1964. С. 13.

³⁹ Там же. С. 14.

ты, насколько эффективна данная форма обучения»⁴⁰. Среди первостепенных задач авторы указывают еще движение населения, а также специально акцентируют планирование социальных изменений. «Объектом социального планирования являются общественные отношения. Поскольку человек есть продукт определенных общественных отношений, постольку социальное планирование включает в себя направленное изменение самого человека как через изменение его социальной среды, так и через воспитательную работу»⁴¹. Социология, по мысли авторов, нужна именно «сейчас, когда ставится задача создания огромной, охватывающей все отрасли и предприятия системы информации»⁴². Несколько более сдержанно о задачах социологии пишет Г.В. Осипов:

...Первая основная социальная функция марксистской социологии — конкретное исследование важнейших жизненных процессов и явлений; вторая — научно обоснованное воздействие на развитие общества; третья — разработка научных основ планирования социальных отношений; четвертая — всестороннее развитие человеческой личности⁴³.

Мы видим здесь важную, постоянно акцентируемую тему: целенаправленное воздействие на общество является ключевой задачей социологии, работающей для управленческих институтов, партийных и государственных. Мотивы действующих людей представляют собой для социологов зону неопределенности. «Самое богатое и сложное социальное образование, наименее понятное и наиболее трудно управляемое — индивид; самое простое, легко предсказуемое и легче управляемое — общество на социальном уровне»⁴⁴. Несмотря на то общее, что производится через социальное положение, общую идеологию и прочее, унификации индивидов здесь нет и, по идее, не должно быть. В число декларируемых идеологических приоритетов советского общества входит всестороннее развитие личности. Но развитие означает более высокую индивидуализацию, а это, в свою очередь — неопределенность, причем не сущностную, как сказали бы тогдашние марксисты, а неопределенность на уровне конкретных ситуаций и конфигурации событий. Это является дополнительным аргументом в пользу массовых опросов⁴⁵.

⁴⁰ Аганбегян А.Г., Шубкин В.Н. Социологические исследования... С. 16.

⁴¹ Там же. С. 19.

⁴² Там же. С. 22.

⁴³ Осипов Г.В. Основные черты и особенности... С. 52.

⁴⁴ Левада Ю.А. Лекции по социологии... С. 55.

⁴⁵ Значение исследований общественного мнения постоянно подчеркивается в 1960-е годы. В 70-е тема перестает быть центральной, зондажи общественного мнения производят закрытые социологические службы.

Управленческий пафос социологов находит себе много приложений. Во всяком случае, они делают ставку не на простые решения, предполагающие примитивные формы контроля и репрессии. «Любое общество всегда — явно или скрыто, жестко или гибко — навязывает отдельным членам и группам свои ценности и нормы. Из этого не следует, что отдельный человек или группа всегда суть марионетки, и поэтому общество отвечает за их дела. Различие форм контроля весьма существенно»⁴⁶. При этом одной из важнейших областей исследования, контроля и планирования оказывается время. Свободное время — это те немногие часы, когда человек не занят ни на производстве, ни перемещениями из дома на работу и обратно, не восстанавливает силы и т.п. Это время также должно быть сферой изучения, планирования, контроля, целенаправленного воздействия. Пожалуй, своеобразным апофеозом планирования является книга В.Н. Шубкина «Социологические опыты». Цель социального планирования, пишет Шубкин, — «решение конкретных социальных задач, достижение все большей социальной однородности, обеспечение социального равенства и свободы, ликвидация препятствий, которые еще мешают гармоническому развитию человека, сочетание интересов индивида с интересами коллектива, общества в целом»⁴⁷. В ретроспективе это суждение кажется набором идеологических штампов и — кто знает — специально, быть может, сконструировано автором для защиты от цензоров. Однако внимательное чтение позволяет видеть в нем специфическое для перелома от 60-х к 70-м понимание задач социологии. «Свобода» и «гармоническое развитие» — это еще наследие предыдущей эпохи. «Социальная однородность» — это лозунг текущего момента, одна из главных забот социологов 70–80-х годов. Она возникает благодаря социальной мобильности (перемещениям индивидов между местами жительства и работы, изменениям в положении детей по сравнению с положением родителей и т.п.) и в перспективе становится настолько большой, что при коммунизме не будет уже никаких классов и слоев⁴⁸. Но что остается неизменным, так это идея научного управления. Планирование и управление предполагают «конкретное познание общества»⁴⁹.

⁴⁶ Левада Ю.А. Лекции по социологии... С. 77.

⁴⁷ Шубкин В.Н. Социологические опыты. М.: Мысль, 1970. С. 40.

⁴⁸ Ср. также: «Управление процессом социальных перемещений, как и изменение социальной структуры вообще, представляет собой особую область управления обществом, со спецификой которой надо считаться. Если этими процессами не управлять со знанием дела, в том числе опираясь на конкретные исследования, в них могут получить преобладание стихийные моменты» (Руткевич М.Н., Филиппов Ф.Р. Социальные перемещения. М.: Мысль, 1970. С. 249).

⁴⁹ См.: Шубкин В.Н. Социологические опыты. С. 43. Собственно, планирование и прогнозирование — это центральная тема всей книги, особенно ее первой главы.

Таким образом, советская социология внятно определяет себя как дисциплину — при всех теоретических амбициях — конкретную, эмпирическую, прикладную. Она полезна. Польза ее состоит в том, что она отслеживает массовые процессы, проистекающие из многообразия волеизъявлений и действий, открывает, опираясь на статистику и опросы, «законы-тенденции» и создает ресурсы для преобразования того, что складывается «само собой» в целенаправленное развитие. При этом всем исследовательским предприятиям положены внятные пределы. Определения основным целям развития давало партийное руководство. Их можно было в известных рамках интерпретировать, но не ставить под сомнение. Кроме того, само политическое устройство страны принималось как данность. Оно не могло быть не то что поставлено под сомнение, но даже просто изучено как социальный факт. Деятельность отдельных институтов управления могла становиться объектом изучения⁵⁰ только для того, чтобы управление было более эффективным, и такого рода исследования могли проводиться в интересах и по заказу партийных инстанций. Но сам способ устройства СССР как однопартийного режима с очень сложным переплетением административной и идеологической составляющих, при несомненном ни для кого огромном значении тайной полиции не мог, разумеется, становиться предметом обсуждения. Большими усилиями и с утверждениями о несомненной пользе научного управления социологи смогли выгородить для себя области⁵¹, где сама допустимость научной, в том числе эмпирической, работы не ставилась под сомнение. Конечным ориентиром для нее (в 60-е — более внятными, в 70-е и далее становившимся все более пустой идеологической формулой) было благо⁵².

Советская социология, по крайней мере в некоторое время и в некоторой части, была не столько теоретической, сколько практической дисциплиной — наукой о регуляции поведения, трансформации мотивов и распределении стимулов для достижения общего блага в бюрократическом, социально-полицейском государстве. В этом смысле она и была полицейской наукой. Ее видение социального мира, ее конструкции, внутренние конфликты, успехи и неудачи, ее связь с историей «социального государства»⁵³ требуют специального, многостороннего и куда более тщательного изучения. На этом пути мы сделали пока что лишь самые первые шаги.

⁵⁰ См., например: *Подмарков В.Г.* Введение в промышленную социологию. М.: Мысль, 1973. См. особенно главы I и IX (о социальном планировании на предприятиях).

⁵¹ Последовательность их появления, значение тех или иных тенденций в западной социологии для их формирования, образование зон большей или меньшей свободы в отечественной социологии — все это представляет отдельный исследовательский интерес.

⁵² Известный слоган тех лет «Все во имя человека, все для блага человека» должен быть прочитан прежде всего философски.

⁵³ Подобно тому, как история камерализма связана с историей западного социального государства.

ДИСЦИПЛИНЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ В ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ И В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ок. 1850–1940 гг.)*

Отношения таких областей, как исследовательская деятельность, образовательные институции и профессиональные занятия, на протяжении истории складывались в очень разные конstellации. В Европе начиная с Античности и затем на протяжении многих веков научные исследования — и в области естествознания, и в таких отраслях знания, как история, — оставались формой проведения досуга образованных людей. В других частях света ситуация была, по крайней мере отчасти, иная, поэтому трудно или даже невозможно делать какие-то обобщения, которые были бы релевантны в мировом масштабе, когда речь идет о профессиях, образовании и исследовательской работе. Однако это не значит, что вовсе нельзя говорить о существовании каких-то условий универсального характера, которые повсюду сходным образом влияли на отношения между этими интеллектуальными практиками. Существовали некие фундаментальные условия, которые одинаково воздействовали на отношения в этой триаде, даже притом, что эти условия, возможно, развивались по-разному в разных частях света. Поэтому излагаемые здесь соображения я ограничу Европой.

С тех самых пор, как возникли университеты, церковь и государство были кровно заинтересованы в них, так как очень нуждались в специалистах (хотя, разумеется, собственно понятия «специалист» тогда еще не существовало). По мере того как европейские государства росли и освобождались в большей или меньшей степени от господства церкви, они постепенно расширяли свое поле деятельности, в силу чего увеличивалась и их потребность в профессионалах-управленцах. До первой половины XVIII в. ни церковь, а точнее, церкви — в ту пору, когда отношения между православным миром и Западной Европой начали становиться более тесными, а христианский мир Запада оказался расколот Реформацией, — ни государства не проявляли особого интереса к науке и научным исследованиям, однако и светские, и духовные власти старались держать университеты под контролем.

Реальные перемены в отношениях между наукой и властью произошли только в XVIII в. Я не буду вдаваться в дискуссию о том, что возникло

* Перевод с английского выполнен К.А. Левинсоном.

раньше и что чему явилось причиной, но очевидно, что университетам за это столетие удалось обрести бóльшую, чем ранее, свободу как от церквей, так и от государств. Исследовательская деятельность стала процветать. Внутренние коммуникационные сети, объединявшие ученых, создавались чаще, чем когда-либо прежде. Это относится в первую очередь к наукам естественным, хотя некоторые новые начинания стали заметны и в области гуманитарных наук. Однако происшедшие перемены почти не затронули среды специалистов.

Как показал — преимущественно на немецком и французском материале — Рудольф Штихве, вплоть до XIX столетия школы и университеты в Европе не были жестко отделены друг от друга. Школы — он имеет в виду прежде всего гимназии (*Gymnasium*) — были созданы раньше университетов; они позволяли сначала овладеть инструментарием для дальнейшего обучения (т.е. обеспечивали знание латыни и других языков), а затем изучить предметы, которые требовали этих знаний. В основе университетского куррикулума лежала иерархия предметов — от истории до философии и далее до математики. Позже между образовательными учреждениями пролегла отчетливая граница: возникла формальная иерархия, закреплённая введением обязательного экзамена на аттестат зрелости, который нужно было сдавать по окончании школы и который заменил несколько различных способов поступления в университет, существовавших прежде. Изучаемые в высшей школе дисциплины теперь принципиально отличались от пропедевтических курсов, преподававшихся в гимназиях: университеты провозгласили себя цитаделью науки, предоставив школам быть лишь przygotowательной ступенью на пути к настоящим научным занятиям¹.

Таким образом, до начала XIX в. европейские университеты могли отличаться друг от друга своей внутренней структурой и способами управления, но перед ними всегда стояла одна и та же задача: готовить специалистов, которые были нужны обществу. Французская система образования, хотя она и подверглась после Революции 1789 г. сильным изменениям, тем не менее преследовала те же самые основополагающие цели, которые стояли перед высшим образованием в других частях Европы. Реформа Наполеона 1808 г. объединила французские университеты под эгидой «Университетского совета» (*Conseil de l'Université*, позже Совет по делам общественного образования — *Conseil supérieur de l'Instruction Publique*), который с ходом времени постепенно превращался в административное ведомство, подоб-

¹ *Stichweh R. Differenzierung von Schule und Universität im 18. und 19. Jahrhundert // "Einsamkeit und Freiheit" neu besichtigt / G. Schubring (Hrsg.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1991. S. 38–49. Ср. также: Hüllenschmidt E. Enzyklopädien, Wissenschaftsdifferenzierung und Sprachwissenschaft um 1800 (Frankreich) // "Einsamkeit und Freiheit". S. 57–59.*

ное другим государственным ведомствам. Высшее и среднее образование в провинциях и регионах Франции получали на факультетах университетов и в лицеях (они соответствовали гимназиям в других частях Европы), которые функционировали независимо друг от друга, но находились в административном подчинении у провинциальных властей, а в конечном счете — у Университета². Существовали богословские, а также юридические, медицинские факультеты и различные факультеты словесности, точных и естественных наук. Затем появились «высшие школы» (*grandes écoles*), где можно было получить специальное образование, пользовавшееся большой популярностью. Изначально оно расценивалось как образование средней ступени, но престиж его быстро рос, так что вскоре оно превзошло в этом отношении университетское образование. Возрождение отдельных университетов во Франции произошло только в 1896 г.³

Большинство стран Восточной и Северной Европы более или менее точно воспроизводили немецкую модель высшего образования. В этой модели поощрялось предоставление профессорам контролируемой свободы преподавать, следуя своему мнению, если только это мнение не было лишено здравого смысла, а студентам — свободы изучать то, что они находили для себя интересным и полезным. В обоих случаях, однако, по умолчанию предполагалось, что университеты должны выполнять свою главную задачу: обеспечивать государство необходимыми ему профессионалами. Богословские факультеты готовили священнослужителей; юридические поставляли судей, прокуроров, адвокатов и некоторые другие категории юристов, на которых был спрос в обществе; целью медицинского факультета была подготовка врачей как для службы в государственных больницах и в армии, так и для удовлетворения мало-помалу увеличивавшегося спроса на частные медицинские услуги. Учеба на факультетах не делала студентов готовыми профессионалами: им необходимо было упражняться в практическом применении своих знаний, а возможностей для этого внутри университета, как правило, не существовало. Факультет искусств, который на протяжении XIX в. постепенно превращался в философский, едва ли не до середины столетия не имел собственной профессиональной программы. Прежде его функция заключалась в том, чтобы готовить будущих студентов других факультетов к завершению их высшего образования, однако уже в конце XVIII в. стали частыми случаи, когда студенты этого факультета становились учителями средних школ.

² Имеется в виду Совет по делам общественного образования (*Conseil supérieur de l'Instruction Publique*). — *Примеч. ред.*

³ *Weisz G. The Emergence of Modern Universities in France, 1863–1914. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983. P. 18–36.*

В обязанности университетских преподавателей всех факультетов входило не только обучение студентов: они должны были поддерживать стандарты научных знаний в своей области, а область эта, как правило, определялась довольно широко. Такие нечетко очерченные области знаний с ходом времени постепенно отграничивались друг от друга — происходило становление научных дисциплин. Этот процесс происходил на всех факультетах, и в качестве отдельных областей исследований большинство дисциплин имели долгую историю. Однако остается неясным, входила ли в обязанности университетских профессоров исследовательская деятельность, направленная на расширение и углубление знаний в той или иной дисциплине.

1. Дисциплины как специальности

В XIX в. началась дифференциация дисциплин, с давних пор преподававшихся на философском факультете. Следствием этого явилась реорганизация университетов, а куррикулум философских факультетов сделался более разнообразным, чем был прежде. Философские факультеты диверсификация затронула в большей степени, нежели факультеты «высшие», которые к тому же окончательно потеряли свое привилегированное положение. Примером может служить Лундский университет в Швеции. В литературе, посвященной истории этого университета, мы обнаруживаем довольно точные даты учреждения в нем новых профессорских должностей с конца XVIII в. до 1950 г. (поскольку учреждение новых профессорских кафедр свидетельствует о введении новых дисциплин: см. табл. 1, в которую, однако, включены только такие должности, которые должны были быть объявлены вакантными после ухода занимавших их лиц, т.е. без учета почетных или временных профессорских должностей).

Таблица 1
**Лундский университет (Швеция):
преподаватели / дисциплины на факультетах**

Год	Теологический	Юридический	Медицинский	Философский
1789	4	2 (1?)	4	10
1840	4	2	3	13
1910	6	7	10	27
1950	8	8	15	47

Источники: Gierow K. Lunds universitets Historia. Vol. 3 (1790–1867). Lund: Gleerup, 1971. Passim; Weibull J. Lunds universitets Historia. Vol. 4 (1868–1968). Lund: Gleerup, 1968, особенно илл. на с. 224 (теологический ф-т), 256 (юридический ф-т), 384, 400, 408 (медицинский ф-т), 304, 310, 320, 336, 344, 352, 360, 368 (философский ф-т).

В Лундском университете наблюдалось необычайное расширение той области знания, которая в начале XIX в. считалась прерогативой философского факультета. Внутри нее обозначилось несколько различных направлений. Здесь необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что со времени возникновения факультета философии в Средневековье (повсюду в Европе) к его ведению относились буквально все отрасли знания, кроме тех, которые были непосредственно связаны с профессиональной деятельностью духовенства, юристов или врачей. Интересно отметить, что в Лунде вплоть до 1950 г. обособление специальностей в медицинском образовании шло медленнее, чем на философском факультете.

Обратившись к истории Берлинского университета, мы увидим, что и его развитие происходило сходным образом. В сокровищнице работ по истории университета, опубликованных к его 100-летию, содержится богатейший статистический материал; среди прочего, там есть и особая таблица, которая позволяет проследить развитие научного образования и рост числа подразделений в университете. Эта таблица (она использована для составления табл. 2) позволяет оценить меру притязаний факультетов университета в области научных исследований. Мы видим, что теологический факультет сначала делит с философским второе место среди всех факультетов по количеству научных семинаров (или эквивалентных им форм занятий на других факультетах), но позже сравнивается с юридическим, занимая, как и он, третью по университету позицию: на каждом из двух этих факультетов действует в общей сложности по пять различных семинаров. На медицинском их число выросло с семи до тридцати трех, а на философском — с двух до тридцати четырех. Следует отметить, что цифры в таблице показывают численность не профессоров, а именно семинаров, клиник и институтов — т.е. тех учреждений и форм коммуникации, существование которых на самом деле является более надежным свидетельством осуществления научной деятельности и показателем ее диверсификации.

Факты из истории университетов Лунда и Берлина я привел лишь в качестве примеров, однако и в других университетах имели место процессы, подобные тем, что протекали в этих двух, хотя юбилейные истории, написанные на основе университетских архивов, обычно и не содержат столь красноречивых статистических данных. Интересно отметить, что весьма сходным образом происходил рост специализации и во Франции — несмотря на то что система высшего образования там была организована иначе, чем в немецких и шведских университетах. Теологические и юридические факультеты определяют направление и ход развития, за ними следуют сначала медицинские и лишь потом, в конце XIX в., факультеты словесности и естественных наук⁴.

⁴ Weisz G. The Emergence of Modern Universities... P. 26–29.

Примечательно, что, как подчеркивает Вайс, ограниченная численность преподавательского состава на французских факультетах была связана с очень низкой посещаемостью занятий.

Таблица 2
**Берлинский университет: количество семинаров
и институтов и рост их числа на факультете**

Годы	Теологический	Юридический	Медицинский	Философский
1810–1819	3	0	7	2
1820–1829	3 (+0)	0 (+0)	8 (+1)	3 (+1)
1830–1839	3 (+0)	0 (+0)	9 (+1)	4 (+1)
1840–1849	4 (+1)	0 (+0)	10 (+1)	4 (+0)
1850–1859	4 (+0)	0 (+0)	14 (+4)	5 (+1)
1860–1869	4 (+0)	0 (+0)	16 (+2)	7 (+2)
1870–1879	5 (+1)	2 (+2)	17 (+1)	11 (+4)
1880–1889	5 (+0)	3 (+1)	21 (+4)	22 (+11)
1890–1899	5 (+0)	4 (+1)	27 (+6)	27 (+5)
1900–1909	5 (+0)	5 (+1)	33 (+6)	34 (+7)

Примечание. Категории «семинары и институты» не применимы к медицинскому факультету: на этом факультете им примерно соответствуют такие формы организации научно-исследовательской работы, как институты и клиники.

Источник: Lenz M. Geschichte der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Bd. 3. Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1910. S. 446.

Эволюция университетов подразумевала не только организационную их перестройку, но также — что еще важнее — переопределение их задач. Я имею в виду сделавшееся уже притчей во языцех возникновение исследовательского университета, часто связываемое с именем Вильгельма фон Гумбольдта и проведенной им реформой Берлинского университета. Гельмут Шельски, в молодости — ученый, преданный нацистским идеалам, а в послевоенный период — видный немецкий социолог, оказавший огромное влияние на политику правительства ФРГ в области высшей школы (особенно в отношении Билефельдского университета), попытался возвести происхождение некоторых важных идей, касавшихся истории исследовательского университета, к Карлу Фридриху Бейме, прусскому статс-секретарю, тем самым лишая Гумбольдта известной доли принадлежавшей ему славы творца нового университета⁵. Как бы то ни было, после создания Берлин-

⁵ Schelsky H. Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen. Düsseldorf: Bertelsmann, 1970. S. 42–47.

ского университета перед другими университетами встала, помимо подготовки профессионалов, еще одна новая задача: преподавание в них должно было быть таким, чтобы обеспечивать образование, т.е. не только обучение, но и формирование личности (*Bildung*) студентов. В том виде, как эта задача была сформулирована Бейме, она подразумевала разрыв с прежней системой, навязывавшей университетскому образованию сугубо «цеховые» профессиональные требования и ограничения. Бейме даже хотел отказаться от использования слова «университет» в названии открытого в Берлине нового учебного заведения, чтобы избежать ассоциаций с традиционными университетами⁶. Шельски полагал, что предпосылки для возникновения «исследовательского университета» были созданы совместными усилиями Бейме и Гумбольдта. По его мнению, Гумбольдт привнес в этот проект прежде всего идею гуманистического образования, которая и позволила сформулировать принцип «формирования личности через постижение наук» (*Bildung durch Wissenschaft*)⁷. Эта формула отражала гуманистический идеал знания ради понимания современного общества и мира. Для Шельски гуманистическое формирование личности (*Bildung*) стало этическим идеалом, которому отвечало чрезвычайно важное в контексте его мысли понимание «исследовательского университета» как места уединения и свободы. В совместном действии этих двух сил он видел основное условие возникновения новой концепции науки (*Wissenschaft*), которая определила характер нового Берлинского университета и, если верить Шельски, сохраняла свое значение и после 1945 г.⁸

Интерпретация Шельски (воспринятая в контексте его биографии) спровоцировала ответную реакцию: в 1994 г. вышел сборник статей под названием (в моем вольном переводе) «Новый взгляд на уединение и свободу». Главным редактором этой книги стал Герт Шубринг, математик и историк математики и естественных наук. В предисловии Шубринг и его соавтор говорили, что их целью был выход за пределы институционального подхода. Основоположителем этого подхода Шубринг назвал Рудольфа Кёпке — ученика Ранке и автора книги, посвященной 50-летию Берлинского университета, — вместо того чтобы связать этот подход с именем Шельски, о котором он даже не упомянул. Шубринг констатировал, что исследователей все меньше удовлетворяет такой способ объяснения, который предполагает, что создание нового учреждения кладет начало новому направлению исследований. Вместо этого он искал такие теоретические принципы,

⁶ Ibid. S. 44–46.

⁷ Ibid. S. 55.

⁸ Ibid. S. 63–101.

которые позволили бы объяснить и основание Берлинского университета, и многие другие изменения в развитии дисциплин и университетов. Этот теоретический проект заменил бы анализ «идеи университета» исследованиями межкультурных и межгосударственных влияний и обмена. Упомянулись в этой связи два варианта: теории модернизации и теория систем. Последняя была взята не в ее американском понимании, а в том виде, как ее разрабатывал немецкий социолог Никлас Луман⁹.

Тем не менее развитие и распространение «современного», или «исследовательского», университета по-прежнему часто связывают с Гумбольдтом и с ролью, которая отводилась в Берлине «формированию личности» (*Bildung*). Впрочем, последнее само по себе еще не означало приоритета науки как способа производства и получения нового знания, хотя возможна и такая интерпретация этого понятия, которая позволила бы думать, что именно наука играет в *Bildung* особую роль. Однако издревле вменявшаяся университету обязанность транслировать знания от профессоров к новым поколениям часто воспринималась как противоречащая задаче производства нового знания¹⁰. Когда же приобретение новых знаний стало мыслиться как основа понимания, расширение горизонта представлений о свойственных человеку способах рассуждения и реакциях оказалось пригодным и для того, чтобы расширить возможности понимания проблем общества и мира, интерес к которым на протяжении XIX в. неуклонно рос. Эта забота о способах получения нового знания имплицировала напряженность отношений между специализацией и «формированием личности». Целой серией интересных примеров Штихве иллюстрирует тот тезис, что в области подвергшихся дифференциации дисциплин специализация науки (*Wissenschaft*) не породила никаких проблем. Специализация стала рассматриваться как неизбежный результат социализации в науке, готовившей человека для участия в научной работе, и, следовательно, «больше не была проблемой»¹¹.

Однако в социальной организации науки наличествовали и другие стимулы, помогавшие активизировать поиск научных подступов к тайнам жизни и природы. Одним из таких стимулов явилась растущая профессионализация представителей интеллектуальных слоев.

⁹ *Schubring G., Hültenschmidt E. Vorwort // "Einsamkeit und Freiheit" neu besichtigt / G. Schubring (Hrsg.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1991. S. 11–12.*

¹⁰ *Turner R.S. The Growth of Professorial Research in Prussia, 1818 to 1848 Causes and Context // Historical Studies in the Physical Sciences. 1971. Vol. 3. P. 137–182; Blomqvist G. Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück // Bibliotheca historica Lundensis. Vol. 71. Lund: Lund University Press, 1992. S. 107–168.*

¹¹ *Stichweh R. Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994. S. 222.*

2. Обновление профессий и экспертов

В то время как старые «высшие» факультеты в XIX в. сохраняли за собой задачу подготовки профессионалов-практиков (и большинство преподавателей на этих факультетах составляли также профессионалы-практики: католические или протестантские священники, практикующие юристы и врачи), студенты философского факультета часто находили для себя на рынке труда новые ниши, связанные с частным сектором. Поиск таковых облегчился, когда выпускники философского факультета приобрели статус, приблизительно равный тому, который имели выпускники других факультетов. В уравнивании их статусов было заинтересовано и государство¹². Выпускники естественно-научных факультетов все чаще и чаще находили себе применение в качестве экспертов в промышленности (до 1890-х годов об этом можно говорить лишь в ограниченной степени), но выпускникам-гуманитариям приходилось искать другие источники дохода. Одним из таковых была работа учителя, и значение ее как источника доходов возрастало по мере того, как традиционное домашнее обучение и услуги гувернеров становились редкостью. Значение этого рода занятий росло еще и потому, что и школ, и ступеней образования в них становилось все больше. Преподавательская деятельность стала диверсифицироваться с появлением новых образовательных целей, которые породили увеличение спроса на учителей и создали пространство для учительских карьер¹³. Развивалась и такая отрасль, как хранение древностей в архивах и музеях (иногда частных, иногда государственных). Здесь французская «Школа хартий» стала образцом для многих университетов. Другие ниши обнаружили в частном коммерческом секторе: работа в книжном магазине, в банке или страховой компании и т.д. Кроме того, государственные (а с конца XIX в. и муниципальные) бюрократические структуры нуждались во все большем числе технических и экономических работников, и постепенно забота о благосостоянии сотрудников и контроль за их работой и ее эффективностью вели к появлению новых категорий персонала¹⁴. Благодаря всем этим различным процессам

¹² *Hammerstein N.* Vom Interesse des Staates. Graduierungen und Berechtigungswesen im 19. Jahrhundert // Examen, Titel, Promotionen. Akademisches und staatliches Qualifikationswesen vom 13. Bis zum 21. Jahrhundert / R.Ch. Schwings, M.-C. Schöpfer Pfaffen (Hrsg.). Basel: Schwabe, 2007. S. 169–194.

¹³ *Führ Ch.* Gelehrter Schulmann-Oberlehrer-Studienrat. Zum sozialen Aufstieg der Philologen // Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert / W. Conze, J. Kocka (Hrsg.). Bd. 1. Stuttgart: Klett-Cotta, 1985. S. 417–57; *Blomqvist G.* Elfenbenstorn eller statskepp? S. 172–174; *Florin Ch.* Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår // Umeå Studies in the Humanities. Vol. 82. Umeå: Universitetet i Umeå, 1987. S. 72–191.

¹⁴ *Torstendahl R.* Bureaucratisation in Northwestern Europe, 1880–1985: Domination and Governance. L.; N.Y.: Routledge, 1991. P. 98–119.

возникали новые сферы занятости для квази-профессиональных или признававшихся профессиональными практиков. Создавались эти сферы занятости силами выпускников философских факультетов и для них (в конкуренции с инженерами, получавшими образование в новых технических «высших школах» (Hochschulen), или с другими экспертами из иных специализированных высших учебных заведений)¹⁵. Интересы промышленности играли очень большую роль в обеспечении финансовой основы для специализированных исследований и выделения более частных дисциплин в химии и близких к ней отраслях науки¹⁶.

Начиная с середины XIX столетия профессионалы-практики стали образовывать ассоциации — отчасти для того, чтобы повысить свой авторитет в обществе, отчасти — чтобы поддерживать профессиональные стандарты. Эта заинтересованность в сохранении профессиональных знаний была, по всей вероятности, не вполне бескорыстной. Благодаря повышению стандартов знаний в профессиональной среде доступ в ряды представителей каждой профессии становился все более и более трудным, а дистанция, отделявшая профессионалов от любителей, увеличивалась. Конечно, необходимо было думать и об отношениях с клиентами: представлялось важным создавать у них впечатление, будто требования, предъявлявшиеся к тем, кто хотел стать профессионалом в той или иной области, неуклонно росли исключительно ради блага потребителей. Не случайно понятие «доверие» стало главным в новейших исследованиях профессиональных групп¹⁷. Как выяснилось в ходе таких исследований, наибольшего эффекта достигали в обеспечении доверия к себе врачи, но и многие другие профессии тоже с большим мастерством решали деликатную проблему возвращения доверия у клиентов. Основным инструментом здесь суждено было стать специализации. Клиентам полагалось думать, что забота о них станет более тщательной, если за дело возьмется специалист именно в той области, к которой относятся их специфические потребности, будь то проблемы со здоровьем, экономическое консультирование, юридические дела или уклонение от налогов. По прошествии времени большинство профессий смогло предоставить потребителям такой широкий выбор специалистов-практи-

¹⁵ Хорошие обзоры по истории профессий и их роли в обществе (несколько преувеличенной) см. в: *Perkin H. The Rise of Professional Society: England Since 1880.* L.; N.Y.: Routledge, 1989; *Idem. The Third Revolution. Professional Elites in the Modern World.* L.; N.Y.: Routledge, 1996.

¹⁶ О Франции см.: *Weisz G. The Emergence of Modern Universities...* P. 162–172.

¹⁷ *Trust and Professionalism* / J. Evetts (ed.) // *Current Sociology.* 2006. Vol. 54. No. 4. Special Issue. P. 515–663; и особенно: *Evetts J. Introduction: Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes* // *Current Sociology.* 2006. Vol. 54. No. 4. P. 515–531.

ков, что клиенты порой с ностальгией вспоминали прежние порядки, когда можно было обратиться к специалисту (например к семейному доктору) за профессиональной помощью, не обременяя себя предварительно доскональным анализом своих проблем.

Профессионалы почти всегда оставались в жестких границах своих профессиональных ассоциаций, но внутри специальностей стала происходить диверсификация. Профессионалы становились знатоками в какой-то частной области своей профессиональной деятельности, например: в медицине — по ортопедии, педиатрии, анестезиологии, гинекологии, онкологии и т.д., в технической области — по архитектуре, жилищному строительству, машиностроению, гражданскому строительству (часто даже по более узким его разделам — строительству дорог или мостов, плотин и т.д.), по химическому машиностроению или электротехнике. Эти крупные категории с течением времени делились на более дробные. Интересно, что хирурги долго отказывались считать свою специальность разделом медицины (особенно в Великобритании). А у духовенства и юристов новых специализаций не возникло вплоть до конца XX в.

Профессиональные сообщества обычно стремились сохранить профессию как можно более гомогенной, за исключением вопросов оплаты. Что касается духовенства, то можно спорить о том, существовали ли на самом деле разные духовные профессии (монашеское монашество в католической, а также в православных церквях можно рассматривать как профессию второго порядка; есть и другие пограничные случаи) или же здесь следует говорить только об иерархии. Среди юристов гомогенность достигалась за счет открытого признания различных субпрофессий, требовавших при этом одинаковой теоретической подготовки (судьи, прокуроры, адвокаты)¹⁸. Следует отметить, однако, что юриспруденция и теология с их долгой историей отличались от основной модели, которая стала характерной для всех новых профессий и предполагала равенство (в принципе) между всеми профессионалами в той или иной области. У духовенства существовала иерархия, предполагавшая, что одни члены этого профессионального сообщества могли требовать послушания от других в профессиональных вопросах. Аналогичная иерархическая структура имела и в некоторых юридических субпрофессиях. Равенство в других профессиональных сообществах не означало, что мнения всех представителей этой профессии имели равный вес и значение. Оно означало только, что один

¹⁸ Замечательный анализ эволюции профессии юристов представлен в издании: *Siegrist H. Advokat, Bürger und Staat: Sozialgeschichte der Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und der Schweiz (18–20 Jh.). Bd. 2.* Frankfurt a. M.: Klostermann, 1996; *Burrage M. Revolution and the Making of the Contemporary Legal Profession: England, France, and the United States.* Oxford: Oxford University Press, 2006.

ее представитель не обязан был подчиняться диктату другого, а мог лишь уступить и принять его мнение, если соглашался с вескими профессиональными аргументами в пользу такового. Иерархическая структура — это одна из важных причин, в силу которых военных не следует считать профессией; среди других причин можно назвать, например, традиционное право политиков принимать решения по тактическим и стратегическим вопросам во время войны: ведь это означало, что профессиональная компетенция военных во многих ситуациях оказывалась отменена в сторону.

Специализацию внутри профессий можно рассматривать как результат специализации учебных дисциплин и научной работы. Таково, как кажется, было мнение социологов, изучавших профессии, до конца 1980-х, но данная тема почти не обсуждалась, пока в 1988 г. не появилась книга Эндрю Эбботта «Система профессий». Эбботт утверждает, что между профессиями идет постоянная борьба за прерогативу высказывать решающее мнение о том, как клиентам следует поступать в определенных случаях. Новые профессии добивались авторитета в глазах общества, заступая на территории, прежде находившиеся в «юрисдикции» более старых профессий. Примером может служить аудит, занявший видное положение в управлении производством, а равно и деятельность других специалистов (в области делового администрирования, информационных технологий, СМИ или проектирования), объявивших сферой своей специальной компетенции вопросы, которые ранее считались принадлежащими к более широкой области какой-либо более общей профессии¹⁹.

Несомненно, Эбботт обратил внимание на важную черту профессионализма, когда попытался создать картину профессионального поведения, а не реестр характеристик конкретных профессий. Конфликт является динамическим фактором в его модели. Он описывает ситуацию с ограниченным числом профессиональных областей, где должны быть приняты некоторые серьезные решения и где конкуренция за власть, связанную с принятием этих решений, является скрытой или явной. Он не обсуждает возможность изменения внутри профессиональных областей как таковых, а, как кажется, считает их содержание постоянным. Новые профессии, обеспечиваемые новым специальным образованием, которое покрывает лишь некоторые из проблем, существующих в той или иной области, пытаются захватить часть данной области. Согласно модели Эбботта, в таком случае может возникнуть либо открытая борьба между теми, кто ранее контролировал все поле,

¹⁹ *Abbott A. The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: University of Chicago Press, 1988.* Об этой работе Эбботт сказал, что «он воображал мир межпрофессиональной конкуренции за юрисдикцию в области работы» — см.: *Idem. Professions, Sociology of...* // *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 18 / N. Smelser, P. Baltes (eds). Amsterdam: Elsevier, 2001. P. 12168.*

либо латентный конфликт между старой и новой профессиями, который может привести к разделению всего поля или к исчезновению одной из конкурирующих профессий²⁰.

Но существует и еще одна возможность, которая не обсуждается в книге Эбботта: заинтересованные группы могут вступить в переговоры, в ходе которых они поделят поле между собой в соответствии со своей специализацией. Элиот Фрейдсон на протяжении многих лет неоднократно призвал анализировать такое явление, как профессионализм, в соответствии с принципами рационального разделения труда. Специализация дала ключ к рациональной процедуре разделения задач между группами и, таким образом, к установлению межпрофессиональных границ, которые не являются просто результатом борьбы²¹.

В 2001 г. Эбботт опубликовал самокритичный комментарий, в котором заявил, что «определение Эбботта — профессия есть занятие, которое конкурирует с другими, опираясь на теоретическую реинтерпретацию их работы, — предполагает существование фиксированных и организованных занятий, каковых может попросту не быть в современных условиях наемного труда». Тем самым он заодно отметил, что социологии профессий приходится иметь дело с таким положением вещей, когда не ясно, какие виды работников должны быть для нее объектом изучения²².

Итак, специализация профессионалов-практиков считалась результатом: 1) академической специализации; 2) конкуренции за право решать такие вопросы, которые являются частью сформировавшейся профессиональной области; 3) рационального разделения труда. Эти три подхода приводят к совершенно разным выводам относительно практиков. Существуют веские причины не упускать из виду третий аспект, как это часто случалось прежде.

3. Академический профессионализм и профессиональные исследователи

Академический профессионализм отличается от профессионализма специалистов-практиков, но и сам по себе он неоднозначен. Нередко то, что университеты и профессии тесно связаны друг с другом, воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Верно, что профессии в том

²⁰ Эбботт разрабатывает эти вопросы теоретически в кн.: *Idem*. The System of Professions... P. 59–113; а также на примерах трех кейсов: *Ibid*. P. 213–314.

²¹ *Freidson E.* Professionalism Reborn. Theory, Prophecy, and Policy. Cambridge, UK: Polity, 1994, оо-бенно: P. 47–91; *Idem*. Professionalism: the Third Logic. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

²² *Abbott A.* Professions, Sociology of... P. 12168.

смысле слова, который оказался закреплен за ним в социологии XX столетия (в обиходном английском языке это понятие используется менее строго) возникли из образования, которое давали «высшие» факультеты старых университетов. Профессионализм и высшее образование были тесно переплетены между собой, что и заставило некоторых авторов считать университетских преподавателей (или ученых) одной из многих профессий.

В 1987 г. Бертон Кларк выпустил новаторскую книгу под названием «Академическая профессия». Среди прочего эта книга стимулировала дискуссию о том, существует ли академическая профессия. Вместо того чтобы различать много разных типов профессионализма представителей академической среды, в этой дискуссии было выработано представление, согласно которому характерным признаком академической профессии является особое сочетание функций²³. Это нельзя назвать хорошим ответом на вопрос, кем следует считать ученых, — по двум причинам:

1) Сочетание функций должно определяться через их разделение. У университетских преподавателей не одна профессиональная практика, а несколько: преподавание, административная работа и исследовательская деятельность (это отмечали и Кларк, и другие авторы); можно еще добавить руководство аспирантами, которое представляет собой пограничный вид деятельности — нечто среднее между исследовательской и преподавательской работой. Некоторые университетские преподаватели посвящают свое время главным образом одной из этих функций, другие отдают приоритет второй, а некоторые делят свое время между ними более или менее поровну. У многих из них преподавательская и административная деятельности заполняют почти весь рабочий день.

2) Исследовательская работа представляет собой весьма специфический тип деятельности, который является прерогативой не одних лишь профессоров, но и младших преподавателей, аспирантов и научных сотрудников, нанятых исключительно для проведения исследований. Таким образом, есть веские причины, чтобы отличать научных сотрудников, занятых исследованиями, от профессуры, выполняющей преподавательскую работу.

Предметом изучения Блэкберна и Лоуренса стала «исследовательская деятельность на факультетах». Их анализ трудовых биографий работников университета отправляется от принципа «публикуйся или погибни», который важен в первую очередь для молодых сотрудников, а для обычных

²³ The Academic Profession. National, Disciplinary and Institutional Settings / B. Clark (ed.). Berkeley: University of California Press, 1987; Boyer E.G., Altbach Ph.G., Whitelaw M.J. The Academic Profession. An International Perspective. Princeton, NJ: Carnegie, 1994; The European and American University Since 1800. Historical and Sociological Essays / Sh. Rothblatt, B. Wittrock (eds). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993.

профессоров почти не имеет значения. Данные, представленные авторами в таблицах, обращают внимание читателя на различия между функциями разных групп, относимых к категории «академическая профессия». Это не означает, что авторы не следуют сформулированному выше определению, которое гласит, что академическая профессия соединяет в себе различные функции, — но очевидно, что комбинации задач у разных представителей этой профессии отличаются друг от друга довольно сильно²⁴. Бичер и Траулер (в новой версии статьи, опубликованной ранее Бичером без соавтора) рассматривают все поле, занятое тем, что они называют «академическими племенами» и их «территориями» с точки зрения «высшего образования», — т.е. они относят исследовательскую деятельность к этой категории и рассматривают ее как часть высшего образования. Однако они учитывают факт существования сообществ исследователей и положение индивидов в них, расценивая это как важный аспект «жизни сообществ». Подобно Кларку, они считают исследовательскую компетенцию, скорее, коллективным качеством сотрудников университета (или иного учебного заведения), нежели личной профессиональной квалификацией индивидов. Таким образом, вопрос о сообществах затмевается разговором о высших учебных заведениях и не играет той решающей роли в обсуждении академического профессионализма, которая ему подобает²⁵. А значит, весьма важная аналитическая работа, проделанная авторами, не проясняет различий между сообществами преподавателей и исследователей, и может даже показаться, будто они считают само собой разумеющимся, что профессиональный статус исследователя в сообществе автоматически переносится на то учебное заведение, сотрудником которого является обладатель этого статуса. Даже если утверждать — а я думаю, Бичер и Траулер так не считают, — что преподавательские и исследовательские задачи каждого индивида должны быть различны²⁶, это не мешает рассматривать каждый аспект его работы отдельно и проводить различие между преподавательским профессионализмом университетских преподавателей и их же исследовательским профессионализмом.

²⁴ Blackburn R.T., Lawrence J.H. Faculty Research // The Academic Profession. The Professoriate in Crisis / Ph.G. Altbach, M.J. Finkelstein (eds). N.Y.; L.: Garland Publishing, 1997. P. 215–281.

²⁵ Becher T., Trowler P.R. Academic Tribes and Territories. Intellectual Enquiry and the Culture of Disciplines. 2nd ed. Buckingham; Philadelphia: Open U.P. SRHE, 2001. P. 23–57, 75–103, особенно: P. 75–95.

²⁶ Stichweh R. Wissenschaft, Universität, Professionen... S. 228–245. Штихве представляет точку зрения, широко распространенную среди германских исследователей академической деятельности. Ее разделяют — по крайней мере отчасти, — и Бертон Кларк, и другие американские ученые. См.: Clark B.R. Conclusion // The Academic Profession... P. 371–399.

Научные сотрудники считают себя профессионалами в проведении исследований (хотя могут считать себя и профессиональными преподавателями). Как исследователи они рассматривают себя и рассматриваются другими в качестве профессионалов исключительно в своей специфической области исследований. Отношения лояльности связывают их (как исследователей) с коллегами — как в их стране, так и за ее пределами, поэтому существует несколько таких неформальных научных сообществ, занятых исследованиями в различных областях науки. Особых формальностей, которые делали бы исследователя профессионалом, не существует: его профессионализм не подтверждается ни выдачей диплома, ни даже разрешением на вступление в ассоциацию (в то время как именно членство в адвокатских коллегиях в разных странах дает формальный статус адвоката). Важно только молчаливое признание коллегами того, что данный субъект осуществляет профессиональные исследования.

Начиная примерно с 1850 г. (а в отдельных странах и дисциплинах и с более раннего времени) и по сей день быть профессиональным исследователем — это совсем не то, что быть профессиональным практиком. Профессиональная практика предполагает, что в ходе работы имеет место взаимодействие с другими людьми (пациентами, клиентами). Существуют специфические паттерны действий — обычно непосредственно связанные с пациентами или клиентами, — характерные для деятельности, которой занимаются врачи, юристы, аудиторы, медсестры, банковские кассиры и многие другие в то время, когда они выступают в качестве представителей своей профессии. Исследователи, разумеется, тоже должны производить какие-то действия, когда они заняты своей работой (в разных дисциплинах набор этих действий разный), но это не то, что делает их профессионалами в исследовательской деятельности. Суть работы исследователей заключается в производстве некоторых теоретических результатов, которые могут быть описаны словами (или другими символами) на бумаге и которые их сообщество признает профессиональными. Их клиентами не являются ни их помощники или консультанты, ни те, кто дает им гранты или платит заработную плату²⁷.

Такая интерпретация исследовательской деятельности как профессии в каждой дисциплине (или в более узком направлении исследований) существенным образом противоречит той идее, будто бы во всех профессиях профессионализм имеет примерно одну и ту же базовую структуру. Однако не все, кто признают различия между профессиями практическими и ис-

²⁷ Частично анализ этой проблематики углублен в моей статье: *Torstendahl R. Historical Professionalism. A Changing Product of Communities within the Discipline // Storia della Storiografia. 2009. No. 56. P. 3–26*; аргументация более обстоятельна в моей книге: *Idem. Rise and Propagation of Historical Professionalism*, которая скоро выйдет в свет.

следовательскими, имеют одинаковые взгляды на исследовательские профессии. Так, Штихве, который разделяет мнение, согласно которому существует известная разница между науками и практическими профессиями, полагает при этом, что процесс, наблюдаемый в науке в настоящее время, следует считать, скорее, процессом депрофессионализации²⁸. Его аргументы направлены против социологии науки, которую он считает ответственной за создание понятия «профессионализация науки». Его возражение состоит в том, что основной характеристикой современной науки является как раз ее депрофессионализация, так как она освободилась от профессий раннего Нового времени (теологии, юриспруденции, медицины) как с кадровой точки зрения, так и с точки зрения тех знаний, которые имеют в своем багаже ее представители.

Это консервативное определение профессионализма, как оказалось, подразумевало то же самое следствие — депрофессионализацию исследователей, — что и исследования, которые в качестве причины депрофессионализации называют воздействие капитализма на университетскую систему. Когда рыночная экономика вторглась в науку, это привело к превращению исследований в товар, что лишило исследователей их автономии²⁹. Такое представление о депрофессионализации не подразумевает никаких различий между профессионалами-исследователями и профессионалами-практиками, а его обоснованность лучше засвидетельствована применительно к молодым исследователям, вынужденным вести борьбу за достижение профессионального статуса, чем применительно к академическому истеблишменту³⁰.

Более общей характеристикой исследователей-профессионалов является свойственная им зависимость от мнения сообщества коллег. Таким образом, утверждается, что только сообщество как таковое решает, кто должен быть принят в нем как профессионал. Это означает, что рецензии на книгу или рукопись, написанные одним или несколькими уважаемыми членами сообщества, участие в конференциях с докладом и с комментариями к до-

²⁸ *Stichweh R. Wissenschaft, Universität, Professionen... S. 280–281.* Впоследствии к такому же выводу пришли другие исследователи, исходившие из иных посылок: *Hasselberg Y. Vetenskap som arbete: normer och arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen. Möklinta: Gidlund, 2012.*

²⁹ *Slaughter S., Leslie L.L. Academic Capitalism. Politics, Policies and the Entrepreneurial University. Baltimore; L.: Johns Hopkins University Press, 1997, особенно: P. 208–245; Slaughter Sh., Rhoades G. Academic Capitalism and the New Economy. Markets, State, and the New Economy. Baltimore; L.: Johns Hopkins University Press, 2004. P. 157–206; Hasselberg Y. Vetenskap som arbete... S. 9–47, 228–258.*

³⁰ Мне кажется, что Хассельберг в «*Vetenskap som arbete...*», изучая аспирантов и молодых ученых, делает слишком далеко идущие выводы о том, что касается автономии исследователей.

кладам других лиц, а также иные подобные виды деятельности могут служить пропуском в профессию³¹. В противоположность адвокатам, у ученых нет никаких механизмов исключения из исследовательской профессии. Невозможно «вытолкнуть» из сообщества того, кто не является ни его лидером, ни формальным членом. Исследователи, входящие в такое сообщество, считают себя отличными от других людей: те высказывают *мнения* о предмете, который члены сообщества считают своей специальностью, и эта разница превращает их в профессионалов в своей области. Так, понята профессия зиждется на нормах, разделяемых всеми ее представителями. Эти нормы касаются как того, что профессионалам предписывается соблюдать в обязательном порядке в той или иной области исследований (я называю это «минимальными требованиями» этой области), так и того, о чем важно и интересно нечто узнать (нормы оптимальности)³².

4. Нормы профессиональные и моральные

Минимальные требования и нормы оптимальности, принятые в той или иной конкретной области исследований (например, истории или социологии), не следует путать с общей системой действующих в науке нормативных правил — научным этосом, концепция которого была впервые разработана в 1942 г. Робертом К. Мёртоном. Мёртон выделял четыре «институциональных императива» науки: универсализм, коммунизм, бескорыстие и организованный скептицизм³³. К этим четырем императивам вскоре был добавлен пятый — оригинальность (а «коммунизм» в годы холодной войны был заменен на «коммунализм» или коллективизм), и эта совокупность правил науки стала известна под аббревиатурой CUDOS (communalism, universalism, disinterestedness, originality, scepticism. — *Примеч. ред.*). Идея заключалась в том, что наука призвана быть общей задачей для всех ученых, которые должны работать над своими исследованиями ради блага человечества в целом. Идеи Мёртона были встречены с большим энтузиазмом многими учеными, но вскоре появились и критики, утверждавшие противоположное: они говорили, что идеи Мёртона — это идеалы, не имеющие соответствия в реальном мире науки, где царят корысть, пла-

³¹ *Becher T., Trowler P.R. Academic Tribes and Territories... P. 75–103, 131–158.*

³² *Turner R.S. The Growth of Professorial Research... См. также: Stichweh R. Wissenschaft, Universität, Professionen... S. 222.*

³³ Статья Мёртона была переиздана: *Merton R.K. The Normative Structure of Science // The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago Press, 1973. P. 267–278.*

гиат, секретность и законы рынка. Другие просто хотели усовершенствовать идеи Мёртона. Последовала широкая дискуссия³⁴.

Здесь я в первую очередь хочу подчеркнуть, что CUDOS и вся дискуссия по его поводу касаются не того, что было указано в качестве основы научного (включая гуманитарный) исследовательского профессионализма. Обсуждение CUDOS явилось «проверкой на прочность» тех моральных норм, которые должны были (но, по мнению критиков, так и не стали) регулировать профессиональную деятельность исследователей в их специфической исследовательской работе и вне ее. С другой стороны, минимальные требования являются чисто техническими нормами, которым желательно следовать ради достижения определенных целей, а нормы оптимальности направляют внимание исследователя (сосредоточивая его на теме, являющейся «важной») таким образом, который имеет лишь косвенное отношение к морали. Это немаловажно, поскольку обсуждение принципов Мёртона обременило научную работу морализмом и в итоге привело к тому, что сама идея научного профессионализма оказалась скомпрометирована. Я не хочу сказать, что морализм как таковой является неоправданным, но он заставляет обращать внимание в первую очередь на экономические или карьерные интересы исследователей (которые не слишком сильно отличаются от интересов людей других профессий). Однако этот аспект находится за пределами обсуждаемой ныне темы. Нельзя поспорить с тем, что по крайней мере у некоторых критериев «важности» или «плодотворности» исследовательской работы есть свои нравственные аспекты — например, если речь идет об определении рас в биологии и антропологии с начала XX в. и позже или об экономике, деловом администрировании и политологии, где исследователи измеряют важность субъекта той ролью, которую он играет в современном бизнесе или во власти. Однако в большинстве гуманитарных наук и во многих общественных науках внутренне присущая им профессиональная система ценностей лишь изредка влияет на моральную позицию исследователей (хотя, конечно, отдельные научные работники могут высказывать моральные суждения о достигнутых ими результатах, но это уже другой вопрос).

Суть этого аргумента в том, что научный профессионализм имеет нормативное содержание, основанное на ценностях, которые в большинстве своем непосредственно не относятся к морали. Собственно профессиональные ценности направляют внимание исследователя в первую очередь на решение профессиональных проблем и заставляют его сосредоточить свои усилия преимущественно на этом. В других же профессиях нормы, наоборот, играют роль моральных регулятивов. У специалистов-практиков профессиональные сообщества скрепляются с помощью норм, кото-

³⁴ Основательный разбор этой темы см. в: *Ziman J. Real Science: What It Is, and What It Means*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. В книге также имеется обширная библиография.

рые образуют основу их ассоциаций. Именно нормы, касающиеся главным образом поведения по отношению к пациентам или клиентам, зачастую и составляют профессиональный этический кодекс. Являясь нравственным содержанием той или иной профессиональной деятельности (что делать и чего не делать по отношению к пациентам/клиентам), система этических правил, однако, не претендует на то, чтобы превратить саму профессию в идеалистическое (именно с моральной точки зрения) занятие, как часто провозглашалось на заре профессиональной социологии и как продолжал утверждать еще в середине 1960-х годов Гарольд Виленски³⁵.

Не следует смешивать друг с другом требование существования актуальных для данной профессии норм (минимальных требований и нормы оптимальности), значимое для исследовательских профессий, и требование хорошо разработанного морального кодекса поведения, имеющее силу для профессий, важной частью которых являются отношения с клиентами или пациентами.

5. Профессионалы-практики и исследовательская специализация

Если университетские профессора богословия, права и медицины начиная с раннего Нового времени обычно обладали двойной идентичностью, т.е. были преподавателями и в то же время профессионалами-практиками, то на философском факультете и различных его отделениях, возникавших после 1800 г., дело обстояло иначе. В этом была сильная сторона «высших» факультетов: будущие врачи, священнослужители, а до некоторой степени и адвокаты имели возможность видеть своих учителей «в деле». В особенности это относится к медицинскому факультету, где большинство профессоров были также главными врачами отделений в университетской клинике.

В течение XX в. эта прочная связь постепенно ослабевала. С развитием лабораторной медицины (требовавшей таких специальностей, как биохимия и др.) получение клинического опыта стало возможным лишь в рамках отдельных направлений образования, хотя по-прежнему оставалось очень важной его частью. Что касается факультета теологии, то со второй полови-

³⁵ «Но то, насколько успешными окажутся притязания на статус профессионала, зависит и от того, в какой мере практик соблюдает набор моральных норм, характерных для сформировавшихся профессий. Эти нормы заставляют <...> человека быть приверженным идеалу служения: ставить интересы клиента выше личной или коммерческой выгоды и руководствоваться этим при принятии решения, когда между интересами клиента и соображениями собственной выгоды возникает конфликт» (*Wilensky H. The Professionalization of Everyone? // American Journal of Sociology. 1964. Vol. 70. No. 2. P. 140.*)

ны XIX в. ситуация, когда его профессора в то же время являлись священнослужителями, становилась все более редкой, и по мере того как повышался социальный статус (и оклад) профессоров, переход с профессорской должности в священнический сан (независимо от того, о какой церкви идет речь) перестал быть естественным карьерным шагом. Правда, зачастую студенты-теологи, готовившиеся стать клириками, могли обучаться в учреждениях, тесно связанных с университетом, и у тех же самых преподавателей, которые учили их в стенах университета. Таким образом, связь была ослаблена, но не оборвана.

Система образования профессионалов-практиков нового типа — тех, которые должны были проходить подготовку на философских факультетах, прежде чем приступить к практической деятельности за пределами университета, — вплоть до конца XX столетия лишь в редких случаях предоставляла им возможность практиковаться в профессии, подражая своим преподавателям и перенимая их навыки. Школьным учителям преподавали те предметы, которые им предстояло преподавать самим, но их не учили учить этим предметам; музейные и архивные работники тоже получали только теоретическое образование; то же самое можно сказать и о будущих специалистах в области делового администрирования, и о различных государственных служащих. Только во второй половине XX в., да и то лишь постепенно, подготовка специалистов, владеющих новыми профессиями — т.е. теми, что не относились к теологии, юриспруденции и медицине, — стала рассматриваться как задача, подобающая университету.

Заключение

Дифференциация профессий и рост численности их представителей, начавшиеся примерно с 1850 г., были тесно связаны с изменениями внутри университетов и средних специальных учебных заведений (предназначенных для подготовки инженеров, аптекарей, ветеринаров, менеджеров, аудиторов и т.д.). Эти виды образования были созданы ради блага общества в целом, а не ради пользы университетов. Таким образом, они существовали параллельно с возникшей ранее профессиональной подготовкой юристов (со всеми их разновидностями), духовенства и врачей (которые по-прежнему считались представителями одной профессии и имели одну ассоциацию для каждой страны, несмотря на очевидные различия в специализации ее членов). Эти профессиональные группы, старые и новые, практиковали вне стен университетов, даже если получали образование в университетах или в новых, подобных им высших учебных заведениях, созданных для подготовки специалистов в той или иной специфической области.

У ученых и исследователей дело обстояло иначе. В качестве преподавателей они участвовали в подготовке разного рода профессионалов, однако до Второй мировой войны преподавание, как правило, не составляло их основной профессиональной идентичности. Традиционные дисциплины претерпели глубокую трансформацию в конце XVIII — начале XIX в., когда исследовательская деятельность и производство нового знания стали занимать в каждой дисциплине центральное место и именно на этом стало сосредоточиваться внимание действующих и будущих профессоров. Они образовывали сообщества, подобно профессионалам-практикам, но в отличие от них не формализовали членство в профессии. Нельзя было подать заявление на прием в члены профессиональной ассоциации, чтобы получить лицензию профессионального физика, социолога, историка или другого ученого. В распоряжении ученых были только неформальные способы принимать новых людей в свой круг. Участие в решении центральной для той или иной дисциплины проблемы, т.е. приращение фонда знания, которым это дисциплина располагала, — вот что обычно обеспечивало перспективным молодым ученым признание со стороны тех, кто уже завоевал себе позиции в ней.

Связь между специализированной исследовательской деятельностью и профессиональной специализацией никогда не была однозначной и непосредственной. В богословии и юриспруденции традиционно существовавшая тесная связь между исследованиями и профессионализмом сохранялась, по крайней мере до середины XIX в. В медицине эта связь была еще более ощутимой. Это означало, что доктора-специалисты начали появляться в качестве практиков в больницах и открытых пунктах медицинской помощи и что эти доктора, в принципе, должны были применять в своей практике те достижения новых исследовательских специальностей, с которыми они познакомились в ходе обучения своей профессии. Эта связь между исследовательской работой и профессионализмом не становилась слабее по мере углубления специализации исследовательской деятельности. Велик был контраст между медицинскими факультетами, с одной стороны, и философскими (включая все новые факультеты, которые в той или иной мере можно считать наследниками старых философских факультетов), с другой. Вплоть до последних десятилетий XIX в. сколько-нибудь отчетливой связи между исследовательской специализацией и профессиями ни в одной из областей (прежнего) философского факультета — ни в естественных науках, ни в общественных, ни в гуманитарных — не прослеживается. Скорее, начался (главным образом после Второй мировой войны) обратный процесс: стали заметны попытки создавать исследовательские специальности в тех областях, где профессии уже завоевали себе прочные позиции. Так обстояло дело, например, в сфере «социальной работы», которая стала теперь об-

ластью исследований. Подобный же процесс наблюдался и на медицинских факультетах, где возникла исследовательская специализация в области «сестринского дела» (медицинского ухода за больными и престарелыми). К тому времени, когда это произошло, и социальная работа, и сестринское дело представляли собой уже вполне сложившиеся профессии.

Вместе с тем постепенно сформировалось множество профессий, связь которых с научными исследованиями и академическими дисциплинами была очень слабой; пожалуй, особенно много их стало в гуманитарных науках. Есть целый ряд таких практических профессий, которые имеют отношение к истории, истории искусств, археологии и этнологии, но лишь в самом общем и неопределенном смысле: библиотекарь, архивариус, учитель, хранитель музея и др. Ни одна из них не связана с конкретными исследовательскими специальностями ни одной из упомянутых дисциплин, несмотря на то что таких специальностей в них много. Применительно же к медицине верно обратное: там специалисты приобретают свое профессиональное положение благодаря занятию должностей, непосредственно связанных с исследовательскими специальностями. В то же время для историка, историка искусства или этнолога, который претендует на вакансию архивариуса, учителя или хранителя музея, не важно, какая специальность (будь то учебная или исследовательская) у претендента является основной.

Из того что было сказано выше о различии между профессионалами-практиками и профессионалами-исследователями, а также о важности сообществ (ассоциаций или неформальных сетей) для формирования и утверждения профессий, вытекает еще одно весьма значимое наблюдение, касающееся университетских преподавателей. Для того чтобы различать преподавание и исследовательскую деятельность в плане их значения для профессиональной идентичности профессуры, есть существенные причины, однако этими соображениями исследователи до сих пор пренебрегали или же отделялись от них простыми отговорками. Преподавательский профессионализм укоренен в сообществе, которое охватывает различные дисциплины, но по составу членов является локальным или, самое большее, национальным, в то время как основа исследовательского профессионализма — сообщество, которое включает в себя ученых со всего мира, хотя при этом и является узко специализированным. Хотя большинство профессоров вовлечено в качестве профессионалов и в преподавание, и в исследовательскую деятельность, все же многие из них принадлежат преимущественно или исключительно лишь к одному из этих двух профессиональных сообществ. Те, кто ранее занимался изучением этой проблематики (от Бертона Кларка до Тони Бичера), будучи введены в заблуждение доктриной о единстве преподавательской и исследовательской деятельности, создали искусственный конструкт — некую «академическую профессию»,

объединявшую в себе черты их обеих. Только тогда, когда мы признаем различие между ними, мы сможем адекватно описать тех многочисленных работников академической сферы, которые были наняты преимущественно для того, чтобы выполнять какую-то одну из этих двух функций — либо чтобы преподавать, либо чтобы заниматься исследованиями. До 1940 г. лишь немногие из тех, кто преподавал в университете, утверждали, что являются прежде всего преподавателями, зато многие считали себя исследователями в своей дисциплине или какой-то ее части. Кроме того, существовали и такие работавшие в неучебных институтах исследователи, которые являлись видными и влиятельными членами своих профессиональных сообществ.

После Второй мировой войны имел место стремительно протекавший процесс диверсификации профессионализма и дальнейшего превращения университетов в кузницы различных специалистов, действовавшие в условиях все более острой конкуренции со специальными высшими учебными заведениями. Эта тема выходит за пределы рассматриваемой в данной главе проблематики, но нет никаких очевидных причин, чтобы не считать такие изменения просто новыми способами канализовать потребность в специализированном знании — как внутри университета, так и для нужд практики за его пределами.

Раздел III

«ПОСЛЕ ДИСЦИПЛИН» ИЛИ НОВАЯ ДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ?

СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ И СОЦИОЛОГИЯ КАК ПРОФЕССИЯ

За свою вековую институциональную историю социология успела опробовать целый ряд вариантов легитимации. В зависимости от эпохи и страны необходимость социологической науки и социологического образования обосновывались по-разному. Последнюю широкую дискуссию о *raison d'être* социологии развернул британско-американский марксист Майкл Буравой: с его точки зрения, в американской социологии, которая задает тон социологическим практикам во всем мире, доминирует профессиональная модель легитимации¹. И хотя сам Буравой настроен примирительно, заявляя, что профессионализм должен оставаться ядром дисциплины, его рассуждения позволяют поставить под вопрос фигуру социолога как профессионала.

Еще сильнее влияние профессиональной модели на российскую социологию: язык профессионализации остается для социологических факультетов и их внешней среды (абитуриентов, инспекторов от государства, работодателей) наиболее удобной базой для взаимодействия. Дискурс о социологическом образовании организуется вокруг неизменной оппозиции и связки «теории и практики»: обучение должно давать «теоретическую базу», которая будет затем эффективно конвертирована в «практические навыки», чтобы обеспечить конкурентную позицию на рынке труда для людей со специальными компетенциями — профессионалов. Однако в любом случае объем преподаваемого «теоретического знания» оказывается непропорционально огромен для того ограниченного набора монетизируемых «компетенций», которые удастся получить в университете. И хотя социологическое образование не уместится в рамки профессионализации, модель индустриальной экономики, в которую нужно встроиться, пройдя через транзитную зону социализации в университете, до сих пор остается главным инструментом согласования интересов факультета и его контрагентов.

Обращаясь к базовому образцу, стоит указать, что концепция социологии как профессии отнюдь не была в США первым и естественным способом самоопределения этой науки и даже в период своего господства всегда имела много противников. Ее становление связано с деятельностью ряда

¹ Буравой М. За публичную социологию // *Общественная роль социологии / под ред. П.В. Романова, Е.В. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2008. С. 36–39.* В качестве других типов легитимации Буравой выделяет управленческий (в русском переводе он назван «прикладным»), публичный и критический.

фигур, задававших тон в американской социологии довоенного и послевоенного периодов, наиболее значимой из которых был Толкотт Парсонс. Более того, даже у Парсонса идея профессиональной социологии сочеталась со смежными стратегиями легитимации — в первую очередь с «прикладной социологией» Пола Лазарсфельда. И все же можно выделить несколько ключевых компонентов представлений Парсонса о социологе как профессионале *par excellence*, что позволит раскрыть основной замысел автора, связать его с социальным контекстом и проследить некоторые неизбежные следствия.

Вклад структурного функционализма Парсонса в академическое бесспорное отечественной социологии не подлежит сомнению — он представляется даже большим, чем, например, вклад марксизма любого толка. У нас нет задачи установить, в какой степени именно этим объясняется задействие именно профессиональной модели легитимации. В то же время, содержание знания невозможно отделить от его функции: все, что принимается за позитивное социологическое знание, несет на себе отпечаток определенного убеждения в том, для чего нужна социология.

1. Социологическое определение профессии

Чтобы определить социологию как профессию, Парсонсу потребовалось создать целую дисциплину — именно его нередко называют основателем социологии профессий. До Парсонса дискуссия о профессиях определялась противопоставлением этики профессионализма капиталистической этике: расцвет профессий с их ценностной ориентацией и жесткими правилами входа в группу не укладывался в общую логику развития современных обществ в направлении целерационального ведения дел и индивидуалистической морали². Ключевую роль в социологическом осмыслении профессий играла критика «экономистского» подхода к разделению труда Эмилем Дюркгеймом. В либеральной теории Герберта Спенсера содержание процесса профессионализации сводилось к экономической специализации, в ходе которой каждый индивид, преследуя свою личную выгоду, создавал условия для удовлетворения нужд других³; Дюркгейм же полагал, что профессионализация несет с собой новые принципы морального регулирования жизни общества, создающие основания для солидарности органического типа. Социальная сплоченность, по его мнению, достигается не за счет взаимовыгодного согласования интересов, как полагал Спенсер, а на

² *Ben-David J.* The Sociological Study of Professions // *Current Sociology*. 1964. Vol. 12. No. 3. P. 248.

³ *Spencer H.* The Principles of Sociology. N.Y.: D. Appleton and Company, 1887. Vol. 3. P. 322.

основании ощущения своей функциональной полезности для общества и одновременно зависимости от него, которое возникает у профессионалов⁴. Дюркгеймовскую оценку профессий разделял и Томас Хемфри Маршалл, для которого «организованная профессия правомерно считает себя органом, который наделен ответственностью за определенное искусство или науку, за их использование в интересах общества»⁵. В конечном счете в зависимости от взгляда комментатора на тенденции исторического развития, профессии как носители особой этической организации социальной жизни рассматривались либо как некий рудимент, либо, наоборот, как актуальная альтернатива капитализму.

Парсонс поспешил отказаться от такой теоретической рамки. Во-первых, он заключил, что между профессиями и бизнесом в действительности больше общего, чем кажется, так что оба вида деятельности способствуют развитию капитализма: «Противопоставление бизнеса профессиям, которое обычно делалось на основании проблемы корыстного интереса, не отражает всей полноты картины»⁶. Во-вторых, он сразу отверг оппозицию капиталистического эгоизма и профессионального альтруизма: с точки зрения Парсонса, человеческие мотивы всюду одинаковы, а различаются только способы институциональной организации, которые производят разное поведение. Стремление к успеху присутствует как у дельцов, так и у профессионалов, просто успех в этих случаях по-разному регулируется с нормативной точки зрения⁷.

⁴ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 127. В лекциях «Физика нравов и права», впервые изданных в 1950 г. (уже после того как Парсонс начал заниматься разработкой проблематики профессий), Дюркгейм резко противопоставляет мир профессий сферам промышленности и коммерции: последние, по его мнению, лишены профессиональной морали. В расширении этих сфер жизни Дюркгейм видит корень проблем, с которыми сталкиваются европейские общества на рубеже XIX–XX вв. См.: *Durkheim E. Physique des mœurs et du droit*. P.: Presses universitaires de France, 1950.

⁵ *Marshall T.H. The Recent History of Professionalism in Relation to Social Structure and Social Policy // The Canadian Journal of Economics and Political Science*. 1939. Vol. 5. No. 3. P. 329.

⁶ *Parsons T. The Professions and Social Structure // Social Forces*. 1939. Vol. 17. No. 4. P. 458.

⁷ В связи с этим утверждения о том, что Парсонс был воодушевлен альтруизмом профессионалов, скорее затемняют дело. См. у Р. Абрамова: «Явная дифференциация бизнеса и корпуса профессионалов служит для Парсонса хорошим предзнаменованием окончания эпохи “стяжательского капитализма”. Сам американский социолог симпатизировал им же созданному типу профессионального человека, озабоченного альтруистическим выполнением своих обязанностей перед обществом» (Абрамов Р.Н. Профессиональный комплекс в социальной структуре общества (по работам Т. Парсонса) // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 55).

В целом, Парсонс выделил три элемента, которые объединяют бизнес и профессии:

1) Институциональная рациональность: если искать объяснение поведения не на уровне рациональных мотивов поведения, а на уровне институтов, то обнаружится, что как профессии, так и бизнес представляют собой характерные проявления современной цивилизации с ее ростом институциональной рациональности. Причем рациональное основание профессиональной деятельности обеспечивается наукой, и чем больше профессия связана с «разработкой и применением» науки, тем более она рациональна.

2) Функциональная специализация: если бизнес предполагает замену отношений статуса отношениями контракта, то профессии сводят профессиональное взаимодействие к области технической компетентности профессионала.

3) Универсализм в противовес партикуляризму. Здесь стоит отметить, что Парсонс видит серьезную угрозу для профессий в контакте со структурами, обладающими институциональным устройством, основанным на партикуляризме, и полагает, что их следует ограждать от такого взаимодействия⁸. При этом Парсонс признает, что развитие торгашества и мошенничества также представляет собой опасность, однако она связана не с тем, что профессионалы перенимают чуждые им ценности бизнеса, а с разрушением нормативной интеграции как в бизнесе, так и в профессиях.

В рамках функционалистской теории профессия, как и вообще любая деятельность, может быть осмыслена только в связи с ее значением для более крупной социальной системы. Позднее Парсонс определит профессию следующим образом:

Профессия — это род занятий [occupational role], организованный вокруг владения [mastering] некоторым участком культурной традиции общества, а также фидуциарной [доверительной] ответственности за нее, включая ответственность за ее поддержание и дальнейшее развитие⁹.

Здесь заложен принцип меритократии: профессионал ощущает собственную важность для общества и вправе требовать от него вознаграждения сообразно своей значимости.

Профессии, далее, характеризуются «ученостью» (т.е. профессия, в отличие от ремесла, обладает интеллектуальным содержанием, «выходящим за пределы сиюминутных практических требований конкретной про-

⁸ *Parsons T.* The Professions and Social Structure. P. 463.

⁹ *Idem.* Some Problems Confronting Sociology as a Profession // *American Sociological Review*. 1959. Vol. 24. No. 4. P. 547–559.

фессиональной функции»¹⁰) и «либеральностью» (фундаментальностью образования). Можно видеть, как задается концентрическая структура профессии: ядро профессиональной деятельности образуется научным знанием. Кроме того, центральное положение в структуре любой профессии занимает функция учителя как транслятора знания из когнитивного ядра профессии к ее прикладным областям (периферийным в смысле близости к «практике»). Учитель закрывает разрыв между «академическим» и «практическим». В медицинской профессии, которая стала для Парсонса первым объектом исследования, это достигается наложением «практики» на процесс обучения: как профессор, так и студент вовлекаются в процесс лечения, и для профессора это выступает условием его развития как ученого. Профессия оказывается комфортной средой для распространения и циркуляции рациональности. Наиболее рационализированной областью является научное ядро (ведь именно наука представляет собой рациональность *par excellence*), из которого рациональность излучается на периферию практики; напротив, с периферии в центр поступают эмпирические данные, которые подвергаются научной обработке и способствуют дальнейшей рационализации мира.

2. Контекст профессионализации

Следует обратить внимание, что к концу 1930-х годов, когда Парсонс закладывал основы своей социологии профессий, сама социология в США в целом уже прошла процесс институционализации как научной дисциплины: она располагала по меньшей мере двумя собственными научными журналами и ежегодно производила более 40 обладателей научных степеней. Всего этого удалось достичь без активного обращения к риторике профессионализации: ни в Чикаго, ни в Колумбийском университете, ни в Северной Каролине, где возникли первые социологические факультеты, социология не представлялась как профессия¹¹. Играя на поле социального реформизма и/или просвещения и обращаясь к широкой неакадемической аудитории в поисках ресурсов, отцы-основатели американской социологии (Л. Уорд, А. Смолл, Ф. Гиддингс, У. Самнер) исповедовали весьма различаю-

¹⁰ *Idem*. Remarks on Education and the Professions // International Journal of Ethics. 1937. Vol. 47. No. 3. P. 365.

¹¹ Это, конечно, не мешало впоследствии описывать ее становление в терминах профессионализации. См., например: *Furner M. Advocacy and Objectivity: A Crisis in the Professionalization of American Social Science, 1865–1905*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2001 [1975].

щиеся модели социологической науки, так что формирование единой профессиональной рамки было невозможным¹².

Начиная с 1930-х разрастающаяся дисциплина была вынуждена искать стабильные источники поддержки: в США усилились сциентистские тенденции, и работающая на широкую публику социология вышла из моды¹³. Частные фонды все менее были склонны финансировать социальную науку, которая находилась в двусмысленном отношении к естествознанию. Перед социологией встала задача не оказаться выброшенной из академической сферы волной сциентизма, и поэтому работа по доказательству научного статуса дисциплины весьма активизировалась. Так, в 1947 г. Рид Бейн, который впоследствии сам заведовал отделом поэзии в «The Humanist», в статье «Социология как естественная наука» недвусмысленно высказывался об исключении социологии из сферы естествознания как о распространенном предрассудке:

...Большинство по-прежнему очень смутно представляет себе, что такое научная социология. Те, кто плохо информирован, путают ее с социализмом, социальной работой, социальным реформаторством, контролем за уровнем рождаемости и разводов, сюсюканьем с разбойниками, а также вообще со всем, что люди одобряют или же порицают¹⁴.

Бейн также напирал на значение социологии для контроля над послевоенным миром:

Научный социальный контроль, основанный на научной социологии, внезапно стал для мира самой насущной проблемой и главной надеждой. Следовало бы срочно обучать лучшие умы мира фундаментальной и прикладной социальной науке, выделять миллиарды на это, а не на авианосцы и атомные бомбы — только так можно остановить явное сползание к трагедии первой ядерной войны¹⁵.

Начинается поиск новых моделей легитимации, который продолжится в послевоенный период. Обретение легитимности должно обеспечивать дисциплину ключевыми ресурсами — в том числе финансированием. Еще в 1930 г. фонд Рокфеллеров выделяет большой грант (875 тыс. долл.) на исследование промышленных рисков Гарвардскому университету в лице психолога Элтона Мейо и биолога Лоуренса Хендерсона — людей, которые

¹² Calhoun C. Introduction // *Sociology in America* / C. Calhoun (ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 2007. P. 25.

¹³ Ross D. *The Origins of American Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 388–389.

¹⁴ Bain R. *Sociology as a Natural Science* // *American Journal of Sociology*. 1947. Vol. 53. No. 1. P. 9.

¹⁵ Ibid. P. 15.

слабо ассоциируются с зарождающейся самостоятельной социологической наукой. В этом случае как и в других проектах, поддержанных фондом Рокфеллеров, интерес грантодателя связан с полезностью получаемого знания, и для ученых это означает появление шанса на новое позиционирование социологии. Однако несмотря на выраженную прикладную ориентацию проекта, он не повлек за собой институциональных последствий, не стал прецедентом функционирования новой схемы организации социальной науки. Фонд Рокфеллеров предполагал, что получаемое знание будет впоследствии распространяться через профессиональные школы Гарварда, однако результаты работы проекта не дали технологий, которые можно было бы встроить в программы обучения и в производственный процесс. Иными словами, в проекте изначально отсутствовало понимание того, как научное знание должно организовывать практику профессионалов¹⁶.

Тем не менее благодаря этому проекту возникла идея встраивания социологии в процесс профессионального образования: такая схема позволила бы снизить зависимость от средств, выделяемых на исследования фондами, и опереться на образовательные бюджеты. Однако для этого требовалось создавать своего рода «интерфейсы» между социологией и смежными областями деятельности. Именно в это время вызревает концепция «социологии как профессии» — ее начинает разрабатывать Парсонс, ближайший помощник Хендерсона в Гарварде.

Случай опробовать институциональные возможности этой концепции выпал, когда встала задача получения средств от Национального научного фонда (National Science Foundation, NSF) на развитие социальной науки. Проект создания фонда с целью централизованной поддержки научных исследований был выдвинут в 1945 г., и через год ведущая координирующая организация в области социальных наук в США того времени, Общественный совет по исследованиям в области социальных наук (Social Science Research Council, SSRC), заказала Парсонсу для NSF отчет, в котором он должен был обосновать необходимость финансирования социологии.

Задача Парсонса состояла в том, чтобы встроить социологию в сциентистский дискурс — это позволило бы избежать создания отдельного фонда поддержки социальных наук и последующей маргинализации социологии¹⁷. Парсонс вскоре начал публиковать свою позицию в серии статей, используя аргументы, похожие на аргументы Бейна: во-первых, социаль-

¹⁶ Buxton W., Turner S. From Education to Expertise: Sociology as a “Profession” // *Sociology and Its Publics: The Forms and Fates of Disciplinary Organization* / T. Halliday, M. Janowitz (eds). Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 390.

¹⁷ Parsons T. The Science Legislation and the Role of the Social Sciences // *American Sociological Review*. 1946. Vol. 11. No. 6. P. 660–661.

ные проблемы послевоенного времени ничуть не менее серьезны, чем проблемы взаимодействия с природой, и для контроля социального порядка так же необходимо использовать научный подход, как и для контроля и использования природных ресурсов. Во-вторых, наука представляет собой единый рациональный проект познания, недоступного «рядовому» здравому смыслу. Парсонс также указывал на то, что современные социальные науки уже сформировали единое сообщество, а дисциплинарные споры и споры между «школами» уже решены. Кроме того, Парсонс активно приводил примеры прикладной эффективности социальных наук, в особенности в исследовании морального духа собственной армии и армии противника в годы войны¹⁸. Парсонс стремился представить современное общество как профессиональную структуру, организованную вокруг устоявшегося разделения научного труда и научной экспертизы — это позволило бы продемонстрировать, что целостная структура такого рода немыслима без социологической науки.

Однако Парсонсу не удавалось добиться большого успеха: конгрессмены и сенаторы высказывались неблагоприятно по вопросу финансирования социальных наук. Как заявил один из них, республиканец К. Браун:

Обычному американцу не нужно, чтобы вокруг него крутились какие-то эксперты, которые будут решать, как ему жить. Если в Конгрессе почувствуют, что такой закон нужен для создания организации, где множество женщин с короткими волосами и мужчин с длинными волосами станут лезть в личные дела и интересоваться, любит ли человек свою жену, то закон этот через Конгресс не пройдет¹⁹.

Подготовленный Парсонсом проект обоснования не получил поддержки и в самом SSRC: 69 членов Совета принимали участие в его оценке и подвергли его критике. Проблема состояла в том, что текст был слишком сложен²⁰, в то время как Парсонс и здесь считал, что ориентироваться следует не на обывателя, а на экспертную аудиторию, которая уже разделяет ценности науки. В итоге текст так и не был официально опубликован, Пар-

¹⁸ *Parsons T. Science Legislation and the Social Sciences // Political Science Quarterly. 1947. Vol. 62. No. 2. P. 247.* Парсонс использовал при исследовании морального духа солдат наработки проекта Хендерсона по моральному духу рабочих. В статье военного времени он сравнивал работу социолога-пропагандиста с работой медика (психотерапевта) по нормализации порядка. См.: *Parsons T. Propaganda and Social Control [1942] // Talcott Parsons on National Socialism / U. Gerhardt (ed.). N.Y.: Walter de Gruyter, 1993. P. 243–274.*

¹⁹ Цит. по: *Haney D. The Americanization of Social Science: Intellectuals and Public Responsibility in Postwar United States. Philadelphia: Temple University Press, 2008. P. 33.*

²⁰ Позже Чарльз Райт Миллс предъявит Парсонсу этот упрек в гораздо более жесткой форме в своей критике «гран-теории» (*Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: Nota Bene, 2001. С. 31–61.*).

сонс не стал его переделывать, а социальную науку не поддержали в NSF именно из-за ее несоответствия научным канонам²¹.

Несмотря на неудачу, проект Парсонса заметно повлиял на послевоенную репрезентацию социологии. В нем была разработана идея легитимации социологии как экспертного ядра системы технократического управления, развитие которой неизбежно вследствие общей рационализации жизни. Позже Парсонс использовал модель социолога-эксперта, вокруг которого выстраивается профессиональная деятельность, при создании специализированных экспертных организаций (таких как Центр русских исследований в Гарварде в 1948 г.) с небольшой аудиторией и государственной поддержкой. Таким образом, социологи могли входить в мир разных профессий в качестве экспертов — за счет этого финансирование социологии удавалось представить как обеспечение деятельности самих этих профессий²².

3. Рационализация как стратегия

На протяжении 10–15 послевоенных лет модель социологии как профессии набирала силу и становилась ведущим инструментом легитимации этой науки. По мере того как ослабевало влияние чикагской социологии и усиливались позиции Гарвардского и Колумбийского университетов, отсылка к профессиональной структуре общества превращалась в основную рамку для обсуждения вопроса о месте социологии в обществе. Теперь задача Парсонса состояла в том, чтобы, опираясь на разработанную им теорию профессий, предложить ответ на вопрос, какое положение в мире профессий занимает сама социология. К 1959 г. решение было готово: по заказу Американского социологического общества Парсонс подготовил и представил на его ежегодном заседании отчет «О проблемах, с которыми сталкивается социология как профессия».

Доклад был выдержан в триумфальном тоне: он демонстрировал, что социология состоялась как профессия, организованная вокруг определенной научной дисциплины. Если кратко обобщить рассуждения Парсонса, то можно зафиксировать, что для определения социологии в терминах профессий он формулирует требования отделения социологии от ряда областей, с каждой из которых она должна иметь выстроенный интерфейс взаимодействия. Эти требования можно назвать «императивами закрытия». Всего Парсонс указывает четыре таких императива, которые должна выполнять социология:

²¹ Haney D. The Americanization of Social Science... P. 37–38.

²² Buxton W., Turner S. From Education to Expertise... P. 397–398.

1. Закрытие от паранауки — установление канона научной адекватности и объективности. Для Парсонса решение этой задачи связано с «созданием действующего профессионального кодекса обращения с определенной интеллектуальной предметной областью»²³. Этот кодекс, свод методических правил, должен создать основания для экспертного социологического знания и обеспечить соответствие запросам сциентизма.

2. Закрытие от других наук — дифференциация собственной предметной области. Парсонс констатирует, что социологии в короткие сроки удалось получить собственное место в системе разделения научного труда, а также заработать престижное положение в иерархии наук. Интересно, однако, что его беспокойство вызывают междисциплинарные исследования: с одной стороны, они очевидным образом необходимы, с другой — угрожают научной и профессиональной автономии. Парсонса успокаивает лишь то, что умножающееся число случаев междисциплинарного сотрудничества не обнаруживает никакого устойчивого образца — если бы такой образец сложился, это означало бы разрушение дисциплинарной сетки. В отсутствие такого образца всегда сохраняется возможность точно указать, что именно социология дает другим дисциплинам и что от них получает²⁴. Такая фиксация социологического вклада позволяет лишней раз акцентировать дисциплинарные границы.

3. Закрытие от практики. Здесь Парсонс явно указывает на веберовский принцип свободы от ценностных суждений как на критерий отделения социологии от практической деятельности в обществе (а также социальной политики). Он с сожалением замечает, что специфика американской социологии традиционно предполагала тесную связь с филантропией, религиозным подвижничеством, community service и социальной работой. Тем не менее, с точки зрения Парсонса, и здесь удалось добиться прогресса и отделить собственно социологию от исследования социальных проблем²⁵.

4. Закрытие от «ненаучных аспектов культуры» — философии, религии, литературы, искусства. Признавая исторический долг социологии перед немецкой идеалистической философией с ее склонностью к обобщениям

²³ *Parsons T. Some Problems Confronting...* P. 547.

²⁴ *Ibid.* P. 552–553.

²⁵ *Ibid.* P. 550. Здесь виден след раскола, случившегося в 1953 г., когда из Американского социологического общества выдвинулось Общество по исследованию социальных проблем, создавшее собственный журнал «Social Problems». Несмотря на то что раскол не был полным (многие социологи участвовали в деятельности обеих организаций), в Американском социологическом обществе все же увидели необходимость дистанцироваться от нового движения и монополизировать «настоящую» социологию.

в духе *Weltanschauungen*, Парсонс настаивает на необходимости решения проблемы отделения от «философской матрицы», поскольку эта проблема «существенно влияет на положение и поведение соответствующих профессиональных групп» и является «источником напряжения»²⁶.

В чем смысл этих императивов закрытия, которым социология, по мнению Парсонса, успешно следует? Во всех четырех компонентах заметно влияние веберовской концепции рациональности, квинтэссенцией которой является научное познание мира. Создавая перегородки, Парсонс стремится отделить более рациональное от менее рационального, ядро рационализации от периферии, которая рационализируется позднее. Благодаря размещению социологии в точке пересечения линий рационализации, Парсонс рассчитывает создать для нее «монополию» на рациональность: если научное методическое познание социального порядка с целью его дальнейшего регулирования — это квинтэссенция современного рационального мира, то описываемая в таких терминах профессия получает максимальное значение в современном обществе в силу его устройства. Динамика модернизации предполагает, что в дальнейшем влияние социологии (если ей удастся занять данную позицию) будет только усиливаться.

Этот замысел позволяет осмыслить предлагаемую Парсонсом стратегию профессионализации социологии, которая имеет три уровня.

1. Основной точкой институционализации социологии является университет. Здесь социология, несколько запоздавшая в своем развитии по сравнению с другими науками, выравнивается с ними за счет одновременного учреждения профессионального образования — факультетов и исследовательских центров, которые позволяют выполнять две «базовые функции профессии» (*sic!*) — «продвижение собственной дисциплины и подготовку ее кадрового ядра»²⁷.

2. Вклад в идеологию, который Парсонс видит в выработке «общего определения ситуации». Он полагает, что после войны возникает «новая идеологическая эра», когда социология перенимает у психологии и экономики положение ключевого поставщика знания для формирования идеологии. В этом же контексте он обращает внимание на идеологическое значение преподавания социологии профессионалам-несоциологам. Это, в свою очередь, позволяет дополнительно закрепить статус социологии не только как главного проводника идеологии, но и за счет формирования у профессионалов представления о современном типе общества, где социология наконец стала царицей наук. Как предполагает Парсонс, «судя по всему, имеет

²⁶ Ibid. P. 549.

²⁷ Ibid. P. 552.

место связь между этим социологическим уклоном идеологических проблем и консолидацией социологической профессии в обществе»²⁸.

3. Социология должна обладать выраженной прикладной функцией; основными сферами потенциального привлечения профессиональных социологов являются маркетинговые исследования и организация труда на производстве. Здесь, однако, Парсонс вынужден признать наличие проблемы: в 1952 г. из обладателей степени PhD по социологии 86% шли работать в колледжи и университеты, а из выпускников магистратуры — 69%²⁹. Такой профиль занятости делает социологию гораздо более похожей на гуманитарные дисциплины, чем на медицину и право, на которые Парсонс хотел бы ориентироваться. Он, впрочем, видит значение трудоустройства выпускников в профессиональные школы в том, что это позволяет поддерживать концентрическую структуру профессии — готовить практиков (тем самым обеспечивая науке защиту от практики) и в то же время следить за ситуацией во внешнем мире.

Тот факт, что социологическое образование готовит главным образом тех, кто осуществляет социологическое образование, — не случайность, а неизбежное следствие парсонсовской модели социологии как профессии. Ориентированная на экспансию рациональности, эта модель систематически производит профессионалов, готовых к работе в условиях высокой рациональности и потому предсказуемо выбирающих для построения карьеры наиболее привычную для себя среду. Закрытие социологии, построение шлюзов между ней и инородными средами, потенциально угрожающими целостности профессии, приводит к неспособности воспринять условия и потребности развития самих этих сред: они могут рассматриваться только как объекты, подлежащие обследованию и дальнейшей рационализации.

В результате способность социологов-профессионалов к адаптации в таких средах оказывается в зависимости от шансов навязать этим средам социологическую рациональность — недаром Парсонс считает одной из важнейших задач профессиональной ассоциации социологов лоббирование номинации «социолог» в описаниях вакансий³⁰. В противном случае даже в потенциально благоприятных средах (таких как маркетинговые исследования) социолог может устроиться лишь в той мере, в которой он подчиняет свои технические навыки собственной рациональности данной среды — а значит, перестает быть профессионалом в парсонсовском понимании, так как перестает продвигать социологическую рациональность.

²⁸ *Parsons T. Some Problems Confronting... P. 554.*

²⁹ *Ibid. P. 555.*

³⁰ *Ibid. P. 558.*

В остальных же случаях трудоустройство вообще не является результатом систематического социологического образования³¹.

* * *

Предложенная Парсонсом модель «социологии как профессии» получила признание в американской академической социологии. В том же 1959 г. после доклада Парсонса Американское социологическое общество было переименовано в «ассоциацию», и хотя формально причиной называлась неблагозвучность исходного акронима (ASS), в этой смене названия, по видимому, велика роль парсонсовской концепции: согласно ей, профессионалам надлежит объединяться в ассоциации для защиты коллективных интересов.

У этого переименования были и противники, которые одновременно противостояли и принятию для своей науки социопрофессиональной модели. Одним из них выступил чикагский социолог Эверетт Хьюз, развивавший собственную социологию занятий (occupations). Для Хьюза профессии представляют собой род занятий, основанный на эзотерическом знании, и хотя в целом занятия тяготеют к профессионализации, эта стратегия не всегда является желательной. Так, профессионалы противоположны интеллектуалам: если для первых знание существует ради практики, то для вторых — наоборот. В то время как профессионалы образуют гильдии, интеллектуалы составляют ученые общества. Профессионализация интеллектуалов ведет к тому, что они начинают пользоваться в своей деятельности дисциплинарным языком, и тем самым навязывают этот язык своему объекту. С точки зрения Хьюза, социолог не может быть профессионалом уже потому, что он не обслуживает какой-то один институт, но перемещается между институтами, занимает позицию маргинала и потому обязан сохранять чувствительность к разным языкам³².

Другие направления атаки на модель Парсонса были связаны с критикой его сверхоптимистичной трактовки теории рационализации Вебера и веберовской доктрины «свободы от оценки»³³. И хотя в дальнейшем оппозиция Парсонсу только возрастала, все же парсонсовская модель стала наиболее влиятельным подходом к легитимации американской социологии в течение длительного послевоенного периода. Успех концепции социологии

³¹ В интервью российских выпускников это обычно обозначается выражением «работаю не по специальности».

³² Hughes E. Professions // Daedalus. 1963. Vol. 92. No. 4. P. 655–668.

³³ См., например: Gouldner A. Anti-Minotaur: The Myth of a Value-Free Sociology // Social Problems. 1962. Vol. 9. No. 3. P. 199–213.

как профессии зависел от действенности социальной теории Парсонса — в первую очередь от его философии рационализации и социологии профессий, которые составили когнитивный фундамент проекта дисциплинарной легитимации.

Однако ставка Парсонса на продвижение социологии через укрепление рациональной профессиональной структуры и экспансию через экспертные аудитории не оправдалась и, по-видимому, не могла оправдаться. Серьезные успехи в академической институционализации социологии и обретении уверенного положения в системе наук компенсировались изоляцией социолога-профессионала. Те профессионалы, которые должны были стать его главной аудиторией, были слишком малочисленны и рассматривались им скорее как объект изучения и просвещения, чем как активные контрагенты. Потребность государства в идеологической поддержке со стороны социологии была преувеличена, а целенаправленные усилия Парсонса в этом направлении скоро вызвали ответную политическую реакцию³⁴. Возможности же социологии по экспансии собственной рациональной среды, в которой она могла бы чувствовать себя комфортно, оказались ограниченными. В то же время этот проект стоил американской социологии потери поддержки широкой публики, к которой она апеллировала на ранних этапах своего становления³⁵. Современные дискуссии о перспективах публичной социологии во многом представляют собой попытки справиться с институциональным наследием профессионального проекта.

Недостаток исторической рефлексии по поводу способов собственной легитимации ставит социологию в положение, когда *le mort saisit le vif* — отыгранные идеи контрабандой проникают в сегодняшнюю практику. Идея социологии как профессии, построенной вокруг научной дисциплины, представляет собой лишь один из возможных проектов легитимации, отягощенный специфическим контекстом своего возникновения и особым теоретическим аппаратом социологии профессий. Ценность этого проекта можно оценивать по-разному; для интеллектуальной истории задача-минимум состоит в том, чтобы указать на его границы.

³⁴ Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии. М.: Наука, 2003.

³⁵ Buxton W., Turner S. From Education to Expertise... P. 403.

«КАК БЕЗЗАКОННАЯ КОМЕТА...»: КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОИСКАХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ*

Образ кометы не случайно появился в заглавии этого текста. В рефлексиях о судьбе Cultural Studies, культурных исследований, очень сильно ощущается временная конъюнктура. Прежде всего, перед нами область знания, достаточно молодая по сравнению с теми гуманитарными дисциплинами, которые мы уже привычно именуем «традиционными». В течение очень небольшого по историческим меркам периода 1980–2000-х годов Cultural Studies пережили подъем, имевший характер интеллектуального бума. Однако связанные с ним надежды на принципиальное обновление гуманитарного знания и университетского преподавания довольно быстро сменились разочарованием и ощущением исторической неудачи. Обращенность к современности, открытость, противопоставляемая ригидности и замкнутости сложившихся дисциплин, не стали залогом успешной академической самореализации Cultural Studies. Их вхождение в образовательное пространство носило внутренне противоречивый характер, будучи связано с критикой воспроизводства знания в университетах. Все это спровоцировало дискуссии, причем в таком количестве, в каком их, возможно, не вызывала никакая другая область знания. Их предметом становились как обоснованность высказываемой критики, так и позиция, с которой она могла быть произведена. Обсуждались самые разные аспекты академического статуса культурных исследований: соответствие знания, производимого исследователями в этой области, академическим стандартам, обоснованность их претензий на определение научного фронта, укорененность в организационной системе высшей школы и т.д. С учетом остроты этих споров, приступая к характеристике Cultural Studies, необходимо быть особенно внимательным к происхождению тех или иных оценок этой традиции, к прояснению того, какое представление об этом явлении стоит за той или иной позицией, вы-

* В данной научной работе использованы результаты проекта «Формирование дисциплинарного поля в гуманитарных и социальных науках», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г.

ступают ли культурные исследования объектом позитивной или негативной идентификации, в каком контексте они рассматриваются.

Специфическое значение это имеет и для отечественной науки. Рецепция Cultural Studies до последнего времени не носила в России систематического характера, будучи, как отмечает Виталий Куренной, частично растворена (а я бы сказал — потеряна) «в смутном и фрагментированном понятии “постмодернизма”»¹. Парадоксальным образом, отечественная культурология в целом очень слабо участвовала в трансляции достижений «культурного поворота». Пожалуй, бóльшую роль в этом процессе сыграли такие дисциплины, как история и антропология. В ситуации дефицита содержательных дискуссий по поводу задач культурологии, основным предметом обсуждения был идеологический характер производимого в рамках этой области знания². Исследовательская программа культурных исследований была представлена лишь в рамках отдельных образовательных программ и единичных публикаций, причем осмысление специфики этой программы до последнего времени по-настоящему так и не было предпринято³. Значимым событием в процессе ее рецепции стал специальный выпуск журнала «Логос», где были опубликованы переводы ключевых текстов, принадлежащих перу ее зачинателей — Рэймонда Уильямса, Стюарта Холла, Ричарда Джонсона, а также основательная и вместе с тем провокативная статья Виталия Куренного, посвященная характеристике британской традиции культурных исследований⁴.

Признавая наследие этой исследовательской программы в ряде отношений актуальным и современным, в оценке нынешнего состояния этой области знания автор главы склонен солидаризироваться с экспертами, констатирующими ее упадок, выхолащивание и утрату потенциала крити-

¹ Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос. 2012. № 1. С. 15.

² Анализ современного состояния этой области знания см. в: *Tolkachova A., Gurova O. Culturology and Cultural Studies in Curriculum of Russian Universities: Friends or Foes?* (рукопись). Благодарю авторов за возможность ознакомиться с текстом до его публикации.

³ Самым значимым опытом представления этой традиции, пожалуй, можно считать вышедший под редакцией В. Зверевой сборник: *Массовая культура: Современные западные исследования* / под ред. В. Зверевой. М.: Прагматика культуры, 2005, который, к сожалению, был выпущен без запланированного в нем изначально теоретического раздела. Наиболее содержательной публикацией о Cultural Studies до последнего времени оставалась статья: *Усманова А. Гендерная проблематика в парадигме «культурных исследований»* // Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учеб. пособие. ХЦГИ. СПб.: Алетейя, 2001. С. 427–464. Характеристику ситуации с освоением наследия культурных исследований см. также в статье В. Куренного.

⁴ См.: Куренной В. Исследовательская и политическая программа... С. 15.

ческой рефлексии⁵. Аргументы в пользу этой точки зрения, безусловно, заслуживают подробного обсуждения, которое выходит за рамки задач этой главы. Для меня скорее важен вопрос об интерпретации такой критики. Она, на мой взгляд, может быть, во-первых, симптомом негативной самоидентификации по отношению к культурным исследованиям; во-вторых, формой критической саморефлексии самих представителей этого направления⁶. И если это так, то, возможно, настоящее и будущее Cultural Studies, а равно научное творчество отдельных исследователей и сообществ, идентифицирующих себя с этим направлением, не так уж безнадежны. Хотелось бы надеяться, что усилия по рецепции культурных исследований, манифестацией которых стал упомянутый спецвыпуск журнала «Логос», проторят путь к содержательному обсуждению работ не только «классиков», но и «современников», а также будут способствовать устранению разрыва между российскими культурологами и международным сообществом исследователей культуры, представленным целым пулом исследовательских центров, журналов, конференций и т.д.

В этом тексте я хотел бы обратиться к анализу дискуссий об академической самоидентификации Cultural Studies. Важное место в этих дискуссиях, инспирированных потребностью постоянного переосмысления исследователями культуры оснований своей работы и переопределения перспектив своего существования, занимает тема отношения к дисциплинарной организации науки и образования⁷. Объектом моего анализа будут преимуще-

⁵ См., например: Куренной В. Исследовательская и политическая программа... С. 69–71. Нужно отметить, что автор сосредоточивает внимание преимущественно на характеристике развития Cultural Studies в 1960–1980-х годах и оставляет современное состояние культурных исследований за пределами своего внимания.

⁶ Показателен в этом смысле пример цитируемого Куренным Майкла Берубе, который завершает свои желчные рассуждения о состоянии Cultural Studies выражением надежды, что у этой традиции есть большое будущее. Тексты, представляющие такого рода саморефлексию, описываются сегодня как образцы «интеллектуальной иеремиады». Название этого жанра восходит к библейскому рассказу о плаче пророка Иеремии по поводу разрушения Иерусалима. Этому жанру был посвящен доклад Т.Д. Венедиктовой на круглом столе «Знание о культуре: современная ситуация в России», проходившем в ВШЭ в 2008 г. См. также работу: Turner G. What's Become of Cultural Studies? L.: SAGE Publications, 2012. P. 22.

⁷ Подтверждением существования такой потребности служит внушительный корпус текстов. См., например, спецвыпуски журналов (Cultural Studies. 1998. No. 4. P. 1–594. Special Iss.: The Institutionalization of Cultural Studies), многочисленные сборники (Cultural Studies / L. Grossberg, C. Nelson. P. Treichler (eds). N.Y.; L.: Routledge, 1992; Relocating Cultural Studies: New Directions in Theory and Research / V. Blundell, I. Taylor (eds). L.: Routledge, 1993; A Question of Discipline: Pedagogy, Power, and the Teaching of Cultural Studies / J. E. Canaan, D. Epstein (eds). Boulder e.a.: Westview Press, 1997; New Cultural Studies: Adventures in Theory / G. Hall, C. Birchall (eds). Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006; The Renewal of Cultural Studies /

ственно работы 1990–2010-х годов, позволяющие составить представление о том, как осмысление дисциплинарного статуса связано с изменением интеллектуальных ориентиров и институционального положения Cultural Studies, а также с трансформацией университетской среды и ее социального и культурного окружения. Учитывая обвинения культурных исследований в различных интеллектуальных пороках — теоретическом эклектизме, политической ангажированности, популизме и т.д., — мне представляется важным не только продемонстрировать внутреннюю неоднородность этого сообщества и озабоченность его представителей проблемой соответствия знания о культуре задачам и стандартам научного анализа, но также указать на вклад этих представителей в осмысление форм организации производства и трансляции знания в современном университете. Предлагаемое исследование не может претендовать на полноту ни в плане охвата материала, массив которого, с учетом продолжающейся интернационализации культурных исследований, становится труднообозримым, ни с точки зрения подробности освещения истории движения, анализ которой сегодня переходит уже из области актуальных дискуссий в историко-научную плоскость⁸. Имея своей целью выявление основных стратегий самоописания, сформировавшихся в пространстве культурных исследований, я вынужден пренебречь анализом специфики этих стратегий, связанной с теми или иными локальными контекстами и разными периодами развития этой области знания.

Эскиз истории дисциплины

В контексте проблематики дисциплинарности меня будут интересовать не столько интеллектуальные истоки и политические контексты возникновения этого движения, сколько трансформация институциональных рамок и ориентиров работы его участников, основные вехи которой я и попытаюсь зафиксировать. Отправной точкой в истории культурных исследований, как известно, было создание в 1965 г. Бирмингемского центра современных культурных исследований, который функционировал также и в качестве учреж-

P. Smith (ed.). Philadelphia: Temple University Press, 2011 и др.), а также монографии видных представителей Cultural Studies (Grossberg L. *Cultural Studies in the Future Tense*. Durham: Duke University Press Books, 2010; Turner G. *What's Become of Cultural Studies?*). Последняя книга оказалась особенно полезной в ходе работы над этим текстом. Обсуждение книги Гроссберга см. в журнале: FORUM: On Cultural Studies in the Future Tense by Lawrence Grossberg // *Communication and Critical / Cultural Studies*. 2011. Vol. 8. Iss. 3. P. 307–329.

⁸ См. спецвыпуск журнала «Cultural Studies» об истории Бирмингемского центра культурных исследований: *Cultural Studies*. 2013. Vol. 27. No. 5. P. 663–900 (Special Iss.: Contributions to a History of CCCS).

дения постдипломного образования⁹. Деятельность центра никогда не была замкнута в рамках университета. Исследователи истории Cultural Studies неоднократно подчеркивали значимую как в культурном, так и в финансовом отношении связь бирмингемского центра с издательством «Penguin». Приоритетным направлением деятельности издательства, с которым с 1950-х годов тесно сотрудничал первый директор центра Ричард Хоггарт, был выпуск недорогих изданий интеллектуальной литературы¹⁰.

Центр культурных исследований существовал при факультете литературоведения (English Studies). В своей инаугурационной речи по поводу открытия центра Хоггарт указывал на необходимость для литературоведения как академической дисциплины «вступить в более активные отношения с современностью». Как отмечает Норма Шульман, объектом критики английского исследователя выступали присущие этой области знания элитизм, разделение высокой культуры и реальной жизни, истории и настоящего, теории и практики¹¹. Вместе с тем Хоггарт представлял Cultural Studies и как междисциплинарный проект. Уже в 1960-е годы он писал о том, что наряду с литературоведением и литературной критикой пространство этой области знания включает историческую и философскую составляющую, с одной стороны, и социологическую — с другой¹².

В 1970-е годы, в период пребывания на посту директора Стюарта Холла, развитие Cultural Studies как междисциплинарного проекта вошло в новую стадию. Она характеризовалась интенсивным диалогом и с традиционными дисциплинами, и с новыми междисциплинарными феноменами, такими как структурализм или феминизм. Ричард Джонсон отмечал, что это расширение интеллектуального горизонта существенно изменило конфигурацию знания о культуре, представление о культурных иерархиях, взаи-

⁹ Об истории британских культурных исследований, в том числе и о той ее части, которая предшествовала созданию Бирмингемского центра, см., например: *Turner G. British Cultural Studies: An Introduction*. L.: Routledge, 2002. P. 65–68. На русском языке анализ этой интеллектуальной традиции и политического контекста ее формирования см.: *Куренной В. Исследовательская и политическая программа... С. 17–34.*

¹⁰ См. об этом: *Hartley J. Short History of Cultural Studies*. L.: SAGE Publications Inc. (US), 2003. P. 23–26; *Carnie H. J. Talking to the Centre: Different Voices in the Intellectual History of The Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) // Gateway: An Academic History Journal on the Web*. Spring 2002. <<http://grad.usask.ca/gateway/archive21.html>> (дата обращения: 16.03.2014).

¹¹ См.: *Schulman N. Conditions of Their Own Making: An Intellectual History of the Centre for Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham // Canadian journal of communication*. 1993. Vol. 18. No. 1. <<http://cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/717/623>> (дата обращения: 16.03.2014).

¹² См.: *Hoggart R. Speaking to Each Other: Essays by Richard Hoggart*. Vol. II. About Literature. N.Y.: Oxford University Press, 1970. P. 255. Цит. по: *Carnie H.J. Talking to the Centre...*

модействии субъекта и объекта познания, способы позиционирования по отношению к другим дисциплинам и т.д.¹³ В духе усиливавшихся тенденций фрагментации знания была перестроена и организация исследовательской работы в центре. Теперь она сосредоточилась в рамках тематически ориентированных групп, таких, например, как группа по женским исследованиям, группа по исследованиям народной памяти и т.д.

Вторая половина 1970-х — начало 1980-х годов стали временем, с которым связывают рост влияния Cultural Studies в академическом мире. В этот период складывается сообщество исследователей, работы которых сформировали облик этой исследовательской традиции¹⁴. Выходит в свет целый ряд коллективных трудов, с которыми будет ассоциироваться деятельность Центра¹⁵. Более интенсивным становится процесс инкорпорирования Cultural Studies в университетское пространство. Специфика этого процесса была связана с тем, что, как отмечает Дэвид Инглис, в Британии соответствующие отделения чаще создавались в бывших политехнических университетах и реже — в старых университетах, по причине того, что там были сильны позиции социологии¹⁶. Экспансию Cultural Studies исследователи связывают также и с другими ориентированными на изучение массовых коммуникаций междисциплинарными институциями, такими как Центр исследований телевидения в Лидском университете, Центр исследований массовой коммуникации в Лестерском университете, Программа медиаисследований в Вестминстерском университете и т.д.¹⁷ Вместе с тем оформление Cultural Studies открыло дорогу институционализации более специализированных и разнообразно структурированных областей иссле-

¹³ *Джонсон Р.* Так что же такое культурные исследования? // *Логос*. 2012. № 1. С. 128. При этом, как отмечают исследователи, в составе слушателей центра стало меньше литературоведов и больше представителей социальных наук.

¹⁴ Здесь можно упомянуть таких представителей этой школы, как Д. Хебдидж, П. Уиллис, А. Макробби и др.

¹⁵ Речь идет о таких книгах, как: *Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain* / S. Hall, T. Jefferson (eds). L.: Hutchinson, 1976; *Hall S. et al. Policing the Crisis: "Mugging," the State and Law and Order*. L.: Palgrave Macmillan, 1978; *Women Take Issue: Aspects of Women's Subordination* / Women's Studies Group, Centre for Contemporary Cultural Studies. L.: Hutchinson, 1978; *Unpopular Education: Schooling and Social Democracy in England since 1944* / S. Baron (ed.). L.: Hutchinson, 1981; *The Empire Strikes Back: Race and Racism in 70s Britain*. Centre for Contemporary Cultural Studies. L.: Hutchinson, 1982 и т.д.

¹⁶ *Inglis D.* The Warring Twins: Sociology, Cultural Studies, Alterity and Sameness // *History of the Human Sciences*. Vol. 20/2. Los Angeles; L.; New Delhi; Singapore: SAGE Publications, 2007. P. 101.

¹⁷ См.: *Schulman N.* Conditions of Their Own Making... Подробнее об этом см.: *Turner G.* *British Cultural Studies...* P. 65–68.

дований культуры (таких как Media Studies, Cinema Studies, Memory Studies, Postcolonial Studies, Reception Studies и т.д.)¹⁸.

В этот же период начинают выходить журналы, представляющие данное поле исследований: «Social Text» (с 1976 г.), «Critical Inquiry» (с 1974 г.), «Media, Culture and Society» (с 1979 г.) и, наконец, «Cultural Studies» (с 1986 г.). С 1980-х годов этот корпус существенно пополняется и, по мнению Тоби Миллера, структурируется главным образом вокруг двух типов изданий — «журналов направления» и «профессиональных журналов». Первый тип — это издания, ориентирующиеся на политические проекты и актуальную повестку дня, провозглашающие идею социальных интервенций и претендующие на влияние поверх дисциплинарных границ. Второй — это журналы, связанные с дисциплинами и профессиональными ассоциациями, участием в которых определяется состав редколлегии и круг авторов журнала. В этих изданиях действует механизм двойного слепого рецензирования, оценки материалов по критериям фальсифицируемости и соответствия дисциплинарным стандартам. Как отмечает Миллер, некоторые из влиятельных в этой дисциплине изданий (примерами могут быть «Continuum. Journal of Media & Cultural Studies», «Cultural Studies», «International Journal of Cultural Studies») представляют собой промежуточные случаи, связанные с переходом из первой категории во вторую или совмещением принципов отбора материалов и организации издания, характерных для двух категорий¹⁹.

Следующим этапом академической экспансии Cultural Studies стало возникновение на рубеже 1980–1990-х годов специализированных бакалаврских программ. Данный процесс, вкупе с изменениями идеологического климата и коммуникативной ситуации, сформировал к началу XXI в. нового потребителя интеллектуальной продукции — тех преподавателей и исследователей, которые работали в этой области. Если в 1970-х годах, как отмечает Джон Хартли, аудиторию составляли «преимущественно взрослые мужчины, имеющие радикальные политические воззрения или являющиеся убежденными социалистами, политическими активистами или интеллектуалами», то в начале 2000-х годов потребитель интеллектуальной продукции исследователей культуры — это преимущественно человек «более юный, феминизированный, толерантный к различным этносам и мультикультуралистски ориентированный, а по своей институциональной принадлежности относящийся к студентам»²⁰.

¹⁸ См. об этом: Williams R. The Future of Cultural Studies // Williams R. Politics of Modernism. L.: Verso, 2007. P. 151–162.

¹⁹ Miller T. What It Is and What It Isn't: Introducing... Cultural Studies // A Companion to Cultural Studies / T. Miller (ed.). Malden: Blackwell Publishers, 2001. P. 8–9.

²⁰ См.: Hartley J. Short History of Cultural Studies. P. 150.

Еще одной важнейшей тенденцией трансформации пространства Cultural Studies на этом этапе стала его интернационализация. Наиболее значимой ее составляющей было распространение культурных исследований в англоязычном мире. По мнению Уилла Строу, оно репрезентировало поворот внутри ряда гуманитарных дисциплин, однако если в Америке социальные науки сыграли в этом повороте достаточно незначительную роль, то в Австралии, в ситуации более проницаемых границ между дисциплинами, социология и культурные исследования взаимодействовали гораздо теснее и образовывали разнообразные сочетания²¹. А в Австрии и Германии, как отмечает Роман Хорак, Cultural Studies не сформировались в том виде, как это произошло в англоязычном мире. По мнению исследователя, препятствием для утверждения академического статуса оказалась их связь с теориями Франкфуртской школы. В силу этого рецепция теорий Бирмингемской школы происходила в основном вне университетов — в рамках институций, связанных с педагогикой и социальной работой. В университетской же среде работы представителей Cultural Studies были востребованы преимущественно сообществами исследователей молодежных движений и субкультур²². Результатом интернационализации было появление множества локальных и национальных версий культурных исследований: French Cultural Studies, Spanish Cultural Studies, African Cultural Studies, Australian Cultural Studies и т.д.²³ В рамках этих направлений осуществляется не только осмысление (а в некоторых случаях — кристаллизация) местных культур, но и рефлексия в отношении выдвинутых в британских (и, шире, англоязычных) исследованиях моделей взаимодействия культуры и власти, публичной сферы и т.д.²⁴

²¹ *Straw W. Shifting Boundaries, Lines of Descent: Cultural Studies and Institutional Realignments in Canada // Relocating Cultural Studies: New Directions in Theory and Research / V. Blundell, I. Taylor (eds). L.: Routledge, 1993. P. 86–87.*

²² *Horak R. Cultural Studies in Germany (and Austria) and Why There Is no Such Thing // European Journal of Cultural Studies. 1999. Vol. 2. No. 1. P. 109–115.* О причинах отсутствия Cultural Studies во Франции см.: *Chalard-Fillaudeau A. From Cultural Studies to Études culturelles, Études de la Culture, and Sciences de la Culture in France // Cultural Studies. 2009. Vol. 23. No. 5–6. P. 831–854.*

²³ Показательно, что термин «Cultural Studies» иногда используется как синоним страноведения (Area Studies).

²⁴ См. об этом, например, в обзоре: *Preston P. Internationalizing Cultural Studies // Media, Culture & Society. 2006. Vol. 28. No. 6. P. 941–945.* Ср.: «И палестинская культура, и палестинские культурные исследования являются попытками победить историческую амнезию и создать более справедливое будущее. Поэтому палестинские культурные исследования являются, таким образом, контркультурными исследованиями» (*Tawil-Souri H. Where Is the Political in Cultural Studies? In Palestine // International Journal of Cultural Studies. 2012. Vol. 16. No. 1. P. 16.*)

Развитие культурных исследований в каждом локальном контексте было обусловлено особенностями соответствующих дисциплинарных конфигураций, соотношением между активностью отдельных исследователей, доступными им академическими траекториями и деятельностью разнообразных сообществ, довольно сильно отличавшихся по своим интеллектуальным ориентирам, географической привязке и институциональным позициям²⁵. Значимым параметром интернационализации дисциплины стала полемика по поводу ее интеллектуальной генеалогии. Как свидетельствует Дэвид Инглис, в Америке, где доминируют традиции текстуального анализа, Реймонд Уильямс и Ричард Хоггарт воспринимаются как принадлежащие к экзотической первоначальной стадии становления Cultural Studies, тогда как подлинно актуальная традиция связывается с работами постструктуралистов, таких как Ролан Барт и Жак Деррида²⁶.

Академическая институционализация культурных исследований, как уже было отмечено выше, носила противоречивый характер. Особенно показательной в этом смысле является экспансия Cultural Studies в американских университетах. С одной стороны, по мнению некоторых исследователей, именно в Америке культурные исследования в полной мере состоялись как академическая дисциплина: там сосредоточено наибольшее количество исследователей, ассоциирующих себя с этой областью знания, выпускается большинство журналов, представляющих дисциплину, а продвижение на американском книжном рынке является главным критерием успеха изданий по этой тематике. С другой стороны, именно с американским опытом развития Cultural Studies в большей степени связано разочарование в отношении тех радужных перспектив, которые рисовались многим участникам этого движения на рубеже 1980–1990-х годов²⁷. Оно связано не только с ослаблением критической составляющей в работах исследователей культуры, но также и с невысокой степенью проникновения в систему образования. Так, в 2002 г. Пол Макьюен характеризовал Cultural Studies как «криптодисциплину» («hidden discipline»), слабо представленную в структуре университетов, отсутствующую в университетских рейтингах и справочниках, ко-

²⁵ Cp.: *Straw W. Shifting Boundaries, Lines of Descent...* P. 88.

²⁶ *Inglis D. The Warring Twins...* P. 108.

²⁷ Начало экспансии Cultural Studies в Америке обычно связывают с конференцией «Cultural Studies Now and in the Future», которая состоялась в 1990 г. в Урбана-Шампейне. См. об этом в контексте дискуссии об интернационализации культурных исследований: *Stratton J., Ang I. On the Impossibility of Global Cultural Studies: 'British' Cultural Studies in an 'International' Frame* // *Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies* / D. Morley; K.-H. Chen (eds). L.; N.Y.: Routledge, 1996. P. 363–365.

торы публикуются различными агентствами²⁸. По оценкам Майкла Берубе и Грэма Тернера, эта ситуация продолжает оставаться актуальной и для конца 2000-х — начала 2010-х годов: по данным Тернера, в 2000 американских университетах представлено лишь около 20 магистерских программ по Cultural Studies²⁹. Кроме того, по мнению Берубе, культурные исследования не оказали какого-либо значительного влияния ни на другие дисциплины, ни на систему трансляции знания, которая не стала под их влиянием более демократичной и эффективной³⁰.

Весьма противоречиво сложилась и судьба самого Бирмингемского центра культурных исследований. Уже в конце 1980-х годов он оказался перед угрозой поглощения факультетом английской литературы³¹. В результате мобилизации ресурсов произошло его преобразование в отделение культурных исследований и социологии, созданное на месте факультета социологии. Однако в 2002 г. отделение было в одночасье расформировано, а преподаватели распределены по различным кафедрам и факультетам университета³². Ни развитие проекта культурных исследований, ни распространение идеи междисциплинарности не смогли предотвратить уничтожения этого организационного «очага».

Критика дисциплинарности

Критика дисциплинарности в работах представителей Cultural Studies органически выростала из формулируемой ими программы культурного анализа, ориентированной на выработку более широкого и всеобъемлющего понимания культуры и на критический анализ текущей ситуации. Од-

²⁸ McEwan P. Cultural Studies as a Hidden Discipline // International Journal of Cultural Studies. 2002. Vol. 5 (4). P. 427–437.

²⁹ Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 23. См. также: Bérubé M. What's the Matter with Cultural Studies? // Chronicle Review (Chronicle of Higher Education), September 14, 2009: B6-7. <<http://chronicle.com/article/Whats-the-Matter-With/48334/>> (дата обращения: 16.03.2014). Аналогичную констатацию применительно к Испании см.: D'arcy C.C.-G. "A Room of One's Own"? // Cultural Studies. 2009. Vol. 23. No. 5–6. P. 855–872. В Британии, Австралии, Канаде и Тайване ситуация выглядит существенно лучше: так, в Британии, по его сведениям, на 140 университетов существует 17 бакалаврских и 14 магистерских программ по Cultural Studies (Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 23). О ситуации в Австралии см. также: Bennett T. Cultural Studies: A Reluctant Discipline // Cultural Studies. 1998. Vol. 12. No. 4. P. 528–545.

³⁰ Bérubé M. What's the Matter with Cultural Studies?..

³¹ Turner G. British Cultural Studies... P. 65.

³² Подробнее об этом см.: Webster F. Cultural Studies and Sociology at, and after, the Closure of the Birmingham School // Cultural Studies. 2004. No. 6 (18). P. 847–862.

ним из удачных определений этой программы можно считать характеристику, предложенную Джоном Хартли:

Что представляли из себя культурные исследования? Это была философия полноты. Это были: исследования, посвященные изучению разрастающегося разнообразия человеческой деятельности (в период нарастающей глобализации, корпоративной экспансии и технологической опосредованности этой деятельности); ансамбль концепций, связанных с проблемами власти, значения, идентичности и субъективности в современных обществах; совокупность усилий, направленных на обнаружение и реабилитацию маргинальных, притесняемых и отброшенных на обочину регионов, идентичностей, практик и средств коммуникации; критическое предприятие, посвященное подрыву, децентрализации, демистификации и деконструкции здравого смысла, поддерживающего доминирующие дискурсы; практика активной включенности в интеллектуальную политику — производство различий внутри идей, по отношению к идеям, посредством идей. Это было также и издательское предприятие, сформированное деятелями культуры — как в академической сфере, так и в печатной индустрии. Культурные исследования были тем, чем их считали те, кто их практиковал и публиковал³³.

В этой характеристике представляются важными несколько моментов. Прежде всего, она указывает на то, как трансформировалась в рамках культурных исследований марксистская традиция критики современного общества. Важной рамкой социально-критического анализа культуры в 1990–2000-е годы становится проблематика глобализации и корпоративности. Еще более существенным моментом является превращение марксистской критики идеологии в программу анализа репрезентации. Одним из основополагающих принципов программы Cultural Studies становится критика доминирования экономики и политики над культурой. Последняя начинает определяться как целостный образ жизни («way of life»). В этой универсализирующей логике культура как предмет исследования лишается своего инструментального характера. Автономизация культуры как объекта изучения, утверждение самостоятельного значения ценностей и символических систем приводит в конечном счете к радикальному пересмотру концепции идеологии как «ложного сознания». «Комплексный марксизм» и «культурный материализм», необходимость разработки которых была провозглашена лидерами Cultural Studies, претендовали на преодоление редуционизма, присущего теориям Теодора Адорно, Луи Альтюссера и Вальтера Беньямина. Поиск более сложных объяснительных моделей выражал стремление к формированию рефлексивных стратегий критики современного общества³⁴. Другое направление этой трансформации было

³³ Hartley J. Short History of Cultural Studies. P. 10.

³⁴ См. об этом: Turner G. British Cultural Studies... P. 166–195.

связано с рафинированием исследовательского инструментария, реализованным благодаря обращению к структуралистским теориям, к антропологии и истории³⁵. Таким образом, логика выработки универсализированной концепции культуры диктовала выход за границы устоявшихся способов определения предмета и методов исследования и, стало быть, необходимость расширения дисциплинарного горизонта. Пожалуй, наиболее яркое выражение этой междисциплинарной перспективы проекта мы находим в статье Р. Джонсона «Так что же такое культурные исследования?»³⁶.

Важным импульсом для формирования концепции междисциплинарности в работах британских исследователей культуры была критика дефицитов академического знания, обозначавшая претензию этой области знания стать альтернативой уже сложившимся дисциплинарным комплексам. Основными адресатами этой критики оказывались, как уже было отмечено выше, литературоведение (*English Studies*) и социология. Реймонд Уильямс описывал проект культурных исследований как своего рода реакцию на профессионализацию рефлексии о литературе в рамках литературоведения как академической дисциплины. Утверждение и рафинирование профессиональных стандартов он связывал с замыканием дисциплины на самой себе и превращением ее в механизм самовоспроизводства сообщества преподавателей и экспертов. Последние утрачивают способность отвечать на вопросы, задаваемые извне дисциплинарных рамок, людьми, для которых — перефразируя его же собственную формулировку — производство «культуры» не является образом жизни³⁷. Аналогичной была ситуация в отношении социологии. Как отмечает Грегор Макленнан,

именно Стюарт Холл предложил классическую формулировку тезиса о том, что культурным исследованиям необходимо порвать с социологией, однако в бирмингемской версии образца 1970-х культурным исследованиям было скорее свойственно ставить социологические вопросы в противовес социологии как дисциплине, нежели отрицать социологическое воображение как таковое. И во влиятельных обзорах Холла, и в изданиях Бирмингемского центра типичная модель аргументации заключалась в критике социологов — будь то теоретики

³⁵ Я здесь отвлекаюсь от рассмотрения вопроса о том, какое значение с точки зрения проблематики идеологии имели разные направления развития внутри культурных исследований. См. об этом: Холл С. Культурные исследования: две парадигмы // *Логос*. 2012. № 1. С. 157–183.

³⁶ Джонсон Р. Так что же такое культурные исследования?.. С. 80–35. Более развернуто заявленная в статье концепция представлена в книге: *Johnson R. et al. The Practice of Cultural Studies*. L.: SAGE Publications, 2004.

³⁷ *Williams R. The Future of Cultural Studies...* P. 153. Филологические дисциплины выступают главным объектом критики дисциплинаризации и профессионализма также и для Р. Джонсона: Джонсон Р. Так что же такое культурные исследования?.. С. 109–110.

или специалисты в областях расовых отношений, образования, культуры рабочего класса и т.д. — в связи с идеалистическим характером, статичностью и частным характером предлагаемых ими трактовок объекта исследования, препятствующими возникновению трактовок материалистических, динамичных и универсалистских. Выпадение из официальной социологии (и официальных English Studies) было условием «впадения» в комплексный марксизм³⁸.

Развивая критику дисциплинарности, основатели Cultural Studies обозначали свое пограничное положение по отношению к университетам и стремление опираться на внеакадемические структуры. На это же указывает и Джон Хартли в приведенной выше характеристике. И Уильямс, и Холл неоднократно подчеркивали, в частности, вовлеченность представителей Бирмингемского центра в практику «образования для взрослых». Холл писал об эмансипационном значении этого контекста с точки зрения сопротивления интеллектуальному принуждению, которое лежит в основе академического воспроизводства знания и побуждает принимать готовые ответы. Согласно Холлу, суть междисциплинарности не сводится к простой кооперации представителей различных специализаций в рамках исследовательского проекта. «Серьезная междисциплинарная работа предполагает интеллектуальный риск заявить социологам, что то, что они называют социологией, ею на самом деле не является. Мы должны были учить тому, что мы считали социологией, полезной для исследователей культуры, тому, что мы не могли получить от людей, именовавших себя социологами»³⁹. Для Уильямса утрата соответствия между жизненными запросами и специализированным знанием была предметом беспокойства в связи с наметившимся процессом внутренней дифференциации культурных исследований. «Cultural Studies, — пишет британский исследователь, — часто воспринимаются как бесформенный и раздувшийся монстр» (*vague and baggy monster*). Однако при том, что в рамках субдисциплин, возникающих на его месте, существуют гораздо более благоприятные (в интеллектуальном, организационном и даже в техническом смысле) условия для производства знания, эти субдисциплины, в принципе, не могут взять на себя миссию осуществления

³⁸ *McLennan G.* Sociology and Cultural Studies: Rhetoric of Disciplinary Identity // *History of the Human Sciences.* 1998. No. 3. P. 4. Эта ситуация порой приводила к характерным недоразумениям. Так, Терри Ловелл вспоминала, как будучи уже старшекурсницей отправилась изучать социологию в Лидс, вдохновленная опытом чтения Хоггарта и Уильямса, и обнаружила, что «эти два автора упоминались в курсе первого года для того, чтобы указать на то, чем социология не является». Цит. по: *Johnson R.* Historical Returns: Transdisciplinarity, Cultural Studies, and History // *European Journal of Cultural Studies.* 2001. August. Vol. 4. No. 3. P. 272.

³⁹ *Hall S.* The Emergence of Cultural Studies and the Crisis of the Humanities // *October.* 1990. Vol. 53. P. 16. Холл связывает междисциплинарность с позицией интеллектуала, характеризующейся личной вовлеченностью в проблемы современного общества.

связи с современностью, которой изначально был инспирирован проект Cultural Studies⁴⁰. В силу всего этого Уильямс, Холл, Джонсон и другие участники бирмингемского центра с настороженностью относились к дисциплинаризации и кодификации, с которыми была связана нарастающая академическая экспансия культурных исследований.

В дальнейшем критика дисциплин приобретала все более обобщенный характер и сформировала определенный набор топосов, которые стали важным элементом в системе самоопределения представителей Cultural Studies⁴¹. Как показывает в своей содержательной статье Дэвид Инглис, «открытость», «подвижность», «неортодоксальность», «междисциплинарность», «широта исследовательского арсенала» и политическая ангажированность стали характерными топосами позиционирования Cultural Studies по отношению к традиционным академическим дисциплинам, которым приписывались нечувствительность к современности, политический консерватизм, догматическая монолитность, эмпиристки-позитивистская ориентация⁴². При этом использование понятия «практика», а также некоторых других понятий, таких как «дискурсивная формация» (Стюарт Холл)⁴³ или «языковая игра» (Крис Баркер)⁴⁴, было призвано подчеркнуть гибкость исследовательских стратегий и прагматические ориентации исследователей культуры.

Еще более фундаментальный характер противостояние дисциплинарности приобрело в процессе усвоения критики науки и научных институтов и сообществ, провозглашенной «в работах Пьера Бурдьё и Мишеля Фуко, в критике науки и сциентизма радикальных философов и радикаль-

⁴⁰ Williams R. The Future of Cultural Studies... P. 158. См. об этом: *During S. Is Cultural Studies a Discipline? And Does It Make any Political Difference? // Cultural Politics. 2006. Vol. 2. Iss. 3. P. 265–280.*

⁴¹ В этом смысле приведенные высказывания Холла и Уильямса можно рассматривать как попытки зафиксировать первоначальный контекст формирования этой критики в противовес ее абстрагированию.

⁴² Inglis D. The Warring Twins... P. 99–122. Позитивные коннотации, которые здесь приобретает открытость и подвижность культурных исследований, Инглис, вслед за Полом Уиллисом, связывает с утверждением социокультурного многообразия, присущего леволиберальному воображению. См. в этом отношении также приведенную выше радикальную формулировку Джона Хартли: «Культурные исследования были тем, чем их считали те, кто их практиковал и публиковал».

⁴³ Hall S. Cultural Studies and Its Theoretical Legacies // L. Grossberg, C. Nelson, P. Treichler (eds). *Cultural Studies...* P. 277–294.

⁴⁴ Barker C. *Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates.* L.: Sage, 2002. P. 2–4.

ных ученых, в радикальной философии и социологии образования и феминистской критике»⁴⁵. Одну из наиболее радикальных манифестаций этой позиции представляет часто цитируемое высказывание Эллен Руни о том, что культурные исследования представляют собой «антидисциплинарную практику, характеризующуюся постоянным, непрекращающимся отрицанием дисциплинарной логики»⁴⁶. Критикуя дисциплинарность как выражение нормативности в науке, представители направления актуализируют вопросы о связи власти и знания и о природе нейтральности науки, рассматривая последнюю как сферу борьбы за репрезентацию и инструмент формирования обыденных представлений.

Важным аспектом в критическом анализе дисциплинарности была тема политического самоопределения интеллектуала. Как показывают исследователи, эволюция Cultural Studies связана с довольно существенными изменениями представлений о позиции интеллектуала и характере его ангажированности⁴⁷. Речь идет не только об увеличивающемся разнообразии дискриминированных групп, но и о самой природе нормативности и ее взаимосвязи с разнообразием существующих культурных иерархий, соотношением высокой и массовой культуры. Принимая участие в деятельности новых левых, лидеры культурных исследований не раз критиковали не только их идеологические установки, но и сам характер их политической активности. С этим связано и стремление отмежеваться от области практической политики, проявившееся в формулировках, связывавших этот проект с политикой, реализуемой «другими средствами» (Стюарт Холл), с политикой, которая «еще не сформирована до конца» (Ричард Джонсон)⁴⁸.

При этом, однако, они никогда не считали политическую ангажированность достаточным условием для работы в области культурных исследований. Таким образом, несмотря на настороженное отношение к процессу

⁴⁵ Джонсон Р. Так что же такое культурные исследования?.. С. 84.

⁴⁶ Rooney E. Discipline and Vanish: Feminism, the Resistance to Theory, and the Politics of Cultural Studies // Differences. 1990. No. 2. P. 21; ср. также: Giroux H. et al. The Need for Cultural Studies: Resisting Intellectuals and Oppositional Public Spheres // Dalhousie Review. 1984. No. 64. P. 472–486.

⁴⁷ См. об этом: Said E.W. Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures. N.Y.: Pantheon Books, 1994.

⁴⁸ См.: Hall S. The Emergence of Cultural Studies... P. 12; Джонсон Р. Так что же такое культурные исследования?.. С. 86–87. Признание того, что деятельность центра никогда не была связана с реализацией конкретной политической программы, зафиксировано и в часто цитируемой формулировке Стюарта Холла, описывающей его участников как «органических интеллектуалов без какой-либо органической привязки» (Hall S. Cultural Studies and Its Theoretical Legacies... P. 266).

дисциплинаризации Cultural Studies, многие сохраняли приверженность академическому контексту⁴⁹. Недвусмысленную в этом отношении формулировку мы находим в статье Джонсона: «На самом деле проблема во многом остается той же, что и всегда: каким образом академическое участие и навыки могут способствовать получению элементов полезного знания?»⁵⁰

Академическая реакция

В 1990–2000-е годы Cultural Studies переместились с окраин академического мира в центр обсуждения ситуации в современном университете и дальнейшей его судьбы. Интенсивный рост их популярности и критика культурных и академических иерархий породили столь же резкую ответную реакцию в гуманитарном сообществе. Культурные исследования очень часто изображались как своего рода «академический Чужой», угрожающий основам существования университета⁵¹. Движению выставляли счет и за те издержки, которые принесла борьба за утверждение новой модели междисциплинарного и вместе с тем ангажированного знания; с деятельностью его представителей связывают утверждение постмодернистского релятивизма и разрушение традиционных университетских ценностей⁵². Важным импульсом для критики стала вовлеченность исследователей культуры в борьбу против культурного канона и лежащих в его основе разнообразных культурных иерархий, развернувшуюся в университетском пространстве (прежде всего в Америке) в 1980-е годы. Успех этой борьбы вызвал противодействие в академических кругах:

Таким образом, левые победили в Академии: в большинстве университетов были введены альтернативные программы и курсы; зато правые, уступив списки обязательной литературы, преуспели в списках бестселлеров — в частности, «Закат американской мысли» Алана Блума — пользовался беспрецедентной для академической литературы популярностью и действительно несколько недель был самой продаваемой книгой в Америке. В общественном мнении за-

⁴⁹ Подробнее о соотношении политических пристрастий и академических траекторий участников Бирмингемского центра см.: *Hartley J. Short History of Cultural Studies*. P. 149–156; *Куренной В. Исследовательская и политическая программа...* С. 25–34.

⁵⁰ *Джонсон Р.* Так что же такое культурные исследования?.. С. 84.

⁵¹ Пародийное изображение этой экспансии можно найти и в современном университетском романе. См., например: *Хайнс Д.* Рассказ лектора. М., 2001.

⁵² О критике в адрес Cultural Studies см. также: *Куренной В.* Исследовательская и политическая программа... С. 35–40, 68–71.

крепился карикатурный стереотип радикального профессора, который в грош не ставит мораль, религию и классическую литературу, а думает только о политической корректности⁵³.

В рамках борьбы с постмодернистской угрозой университету на Cultural Studies было навешено множество хлестких ярлыков вроде «политико-интеллектуальной свалки западного мира» (Кеннет Миноут) и «Диснейленда для слабоумных» (Крис Паттен)⁵⁴. Академическую репутацию движения несколько подпортило и нашумевшее «дело Сокала»: скандальная публикация появилась в журнале «Social text», на страницах которого публиковались многие представители течения⁵⁵.

Академическая экспансия Cultural Studies воспринималась как угроза и представителями смежных дисциплин. Примером здесь могут служить социологи, подвергавшие сомнению научный статус культурных исследований в силу отсутствия надежной теоретической базы и методов анализа социальной реальности, размытости объекта исследования, отсутствия исторического чутья и присутствия политической ангажированности⁵⁶. Резкая критика влияния Cultural Studies на социологию была высказана Брайаном Тернером и Крисом Рожеком. По их мнению, это влияние привело к фрагментации дисциплины и возникновению своего рода «декоративной социологии», не обладающей теорией и методологией для глубокого анализа культуры в ее связи с социальными институтами⁵⁷. В контексте про-

⁵³ Гронас М. Диссенсус. Война за канон в американской академии 80-х — 90-х годов // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 6–17. <<http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/gronas.html>> (дата обращения: 16.03.2014). Показательно, что автор одной из наиболее известных книг, посвященных проблематике культурного канона, Джон Гиллори, описывает изменения, произошедшие в структуре университета в результате «canon wars», как симптом социальных изменений, в основе которых лежит стремление растущего класса менеджеров освободиться от давления культурного капитала буржуазии.

⁵⁴ См. об этом: Miller T. What It Is and What It Isn't... P. 10. См. также названия следующих публикаций: Windschuttle K. The Poverty of Cultural Studies // Journalism Studies. 2000. Vol. 1. No. 1. P. 145–159; McQuillan M. Why Cultural Studies Is the End of Thinking // Educational Philosophy and Theory. 2013. Vol. 45. Iss. 6. P. 693–704.

⁵⁵ Эта история была связана с вызвавшей большой скандал публикацией в журнале в 1996 г. статьи физика Алана Сокала, текст которой представлял собой имитацию постмодернистского дискурса и был призван вскрыть падение стандартов интеллектуальной строгости, которое происходит под влиянием постмодернизма: Sokal A.D. Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity // Social Text. Spring/Summer Vol. 46/47. P. 217–252.

⁵⁶ Подборку критических откликов см.: Inglis D. The Warring Twins... P. 111–114.

⁵⁷ Ibid. P. 112.

цессов интернационализации показательны рассуждения известного французского социолога Натали Айниш, которая с удовольствием констатирует отсутствие культурных исследований во Франции и иронически описывает ситуацию в Америке, где они все более захватывают то пространство, которое ранее занимала социология⁵⁸. При этом формирующаяся в США социология культуры выступает проводником так называемой французской теории, сферой экспансии которой уже посредством американцев становится и французская социология⁵⁹.

Один из достаточно взвешенных образцов рефлексии о месте культурных исследований в современном университете представлен в книге Билла Ридингса «Университет в руинах», написанной в 1996 г. Появление Cultural Studies он связывает с внутренним кризисом идеи культуры, определяющей миссию этой институции. По его мнению,

...культурные исследования возникают, когда культура перестает быть имманентным принципом организации знания в Университете, вместо этого становясь одним из множества объектов. Феминистские, гомосексуалистские и лесбийские, постколониальные исследования выходят на сцену, когда абстрактное понятие «культура» перестает адекватно и исчерпывающе описывать субъекта, когда очевидная пустота и универсальность субъекта «государство» позволяют увидеть в нем хранилище привилегированных маркеров мужского пола, гетеросексуальности и беложести⁶⁰.

Вместе с тем Ридингс указывает на внутреннюю противоречивость самих исследований культуры. С одной стороны, реабилитируя повседневность и популярную культуру, апеллируя к маргинальному и вытесненному, они позиционируют культуру вне университетских стен. Это соотносится и с новой структурной ролью интеллектуала, который выступает уже не носителем культурной нормы, но глашатаем дискриминированных в куль-

⁵⁸ Айниш приводит в пример случай, когда в книжном магазине на вопрос о книгах по социологии ей указали на полку с работами по Cultural Studies. Обратную ситуацию, когда такую традиционную сферу интересов культурных исследований, как функционирование масс-медиа, определяют как социологическую, описывает М. Берубе: *Bérubé M. What's the Matter with Cultural Studies?*..

⁵⁹ *Heinich N. What Does 'Sociology of Culture' Mean? Notes on a Few Trans-Cultural Misunderstandings // Cultural Sociology. 2010. Vol. 4. P. 257–265.* Эта ситуация побуждает автора статьи определять свою профессиональную идентичность не как социолога культуры, а как социолога искусства.

⁶⁰ *Ридингс Б. Университет в руинах. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. С. 142, 146.* Ридингс констатирует принципиальную принадлежность Cultural Studies к академической сфере, отличая их в этом отношении от ангажированных феминистских и мультикультуралистских исследований.

турном пространстве (и, стало быть, в академическом тоже) социальных групп и культурных сообществ⁶¹. С другой стороны, стремление исследователей культуры «вырваться за границы академического мира структурно встроено в сами эти границы»⁶². Соответственно, несмотря на объективный характер трансформации идеи культуры, лежащей в основе университетского образования, ожидание позитивных революционных изменений в результате академической институционализации Cultural Studies не имеет, по мнению Ридингса, под собой достаточных оснований. Канадский исследователь критикует также идею о том, что эта институционализация создаст условия для междисциплинарной коммуникации и станет источником обновления интеллектуальной жизни в университете. Идея эта высказывалась некоторыми представителями данного направления (Энтони Истхоупом, Кэри Нельсоном и др.) в начале 1990-х годов.

Идентификация места Cultural Studies в университетском контексте, намеченная Ридингсом, оказалась вполне органичной и для представителей культурных исследований⁶³. Озабоченность перспективой их институционализации в 1980-е годы переросла в 1990–2000-е в работу по критическому осмыслению результатов этого процесса. Можно указать на два основных контекста этого осмысления. Первый из них связан с вопросами о том, какое влияние критическая программа культурных исследований оказала на организацию науки и образования в университете, каким образом она сказалась на социальных функциях и роли интеллектуалов. Второй — с проблемами оценки характера и результатов социального и академического признания этой области знания и перспектив дальнейшего ее развития как области исследования, совокупности научных институций и образовательных программ. Проблема дисциплинарности оказывается в центре поисков новой модели самоидентификации в условиях новой конъюнктуры и с учетом нового статуса Cultural Studies. Эти поиски ведутся опять-таки в двух направлениях. С одной стороны, предметом дискуссии становится судьба сформулированной в рамках этого проекта критической программы, с другой стороны, обсуждаются возможности обозначить новые координаты интеллектуального самоопределения и критерии оценки производимого знания.

⁶¹ См., например: Бауман З. Законодатели и толкователи: Культура как идеология интеллектуалов // Неприкосновенный запас. 2003. № 1 (27). С. 5–22.

⁶² Ридингс Б. Университет в руинах. С. 147.

⁶³ Об этом свидетельствует, кроме всего прочего, и востребованность идей Ридингса в рассуждениях о месте культурных исследований в университете. См., например: Striphas T. The Long March: Cultural Studies and Its Institutionalization // Cultural Studies. 1998. Vol. 12. No. 4. P. 462–464; Rutherford J. Cultural Studies in the Corporate University // Cultural Studies. 2005. Vol. 19. No. 3. P. 297–317.

Проблема сохранения идентичности

В противовес критикам Cultural Studies, которые рассматривают распространение последних как симптом деградации университетской науки, представители движения склонны скорее констатировать, что их воздействие на академический мир имело сугубо внешний, поверхностный характер. С одной стороны, свидетельством неудачи академического самоутверждения движения является, по их мнению, то, что многие исследователи, которые идентифицируют себя с Cultural Studies, работают тем не менее в департаментах, представляющих более традиционные университетские дисциплины. С другой стороны, еще в 1991 г. Кэри Нельсон писал, что соотнесение себя с Cultural Studies становится для литературоведов «не более чем способом по-новому упаковать то, чем мы уже и так занимаемся», утрачивая при этом всю конфликтную историю самоопределения движения и критическое отношение не только к академическому миру, но и к собственным теоретическим основаниям⁶⁴.

Вместе с тем, по мнению исследователей, происшедшая дисциплинаризация подтверждает опасения относительно утраты революционного потенциала и возвращения к тем формам организации и воспроизводства знания, от которых их представители стремились дистанцироваться⁶⁵. По мнению Грэма Тернера, одной из форм рутинизации Cultural Studies стало распространение модели преподавания соответствующих курсов, которую исследователь обозначает как CS 101. Каркас этих курсов образуют не столько проблемы и ключевые понятия, сколько имена отдельных канонизируемых теоретиков. Здесь обнаруживается негативная сторона открытости Cultural Studies, поскольку содержание курса зависит в большей степени от субъективных предпочтений преподавателя, нежели обуславливается связью с составляющими стержень дисциплины сюжетами. Подобные курсы обычно демонстрируют и порочную дидактическую стратегию, которая характеризуется отказом от задействования культурного капитала студентов и тяготеет к начетнической модели преподавания, связанной с разъяснением содержания эзотерических текстов теоретиков⁶⁶. Таким об-

⁶⁴ Цит. по: *Bérubé M. Engaging the Aesthetic // The Aesthetics of Cultural Studies / M. Bérubé (ed.). Oxford: Blackwell Publishing, 2005. P. 1.*

⁶⁵ О педагогической концепции Cultural Studies см.: *Sefton-Green J. Cultural Studies and Education // Cultural Studies. 2011. Vol. 25. No. 1. P. 55–70.*

⁶⁶ *Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 79–81.* Такого рода дидактические стратегии дискредитируют и теорию, утрачивающую критические функции и становящуюся механизмом самовоспроизводства, и идею субъективности, которая здесь оказывается связана с пристрастиями преподавателя и реализуется через его доминирование в учебном процессе.

разом, по мнению Тернера, в рамках Cultural Studies начинает воспроизводиться модель преподавания, существовавшая в English Studies 40 лет назад и ставшая точкой отталкивания для первых. Объектом критического анализа становятся также механизмы формирования системы звезд, причем показательно, что эта критика звучит также и из уст самих живых классиков данного направления⁶⁷.

Еще одним аспектом того внутренне противоречивого положения, в котором в последние годы оказались культурные исследования, стало быстрое устаревание идей и концепций, составлявших инновационный потенциал движения в 1970–1980-е годы. Это касается не только антропологической концепции культуры, которая в настоящее время разделяется многими гуманитарными дисциплинами⁶⁸, но и идеи междисциплинарности. Одним из факторов, обеспечивших популярность Cultural Studies в 1970-е годы, было то, что образовательные институты (вроде «свободных университетов»), на которые опиралось движение, предоставляли студентам, как отмечает Грэм Тернер, большую свободу в формировании собственной образовательной траектории, возможность заниматься темами, вытесненными за пределы традиционных дисциплин и т.д.⁶⁹ Ситуация в современном университете, где эти возможности поддерживаются вариативностью, заложенной в организации образовательного процесса, задает для Cultural Studies совершенно новый образовательный контекст. И дело не только в том, что идея междисциплинарности утратила свою новизну. Залогом прорыва, осуществленного культурными исследованиями в 1970–1980-е годы, Тернер считает то, что связанные с проектом образовательные институты были пространством эксперимента, направленного на освоение новых предметов исследования, таких как популярная культура или массмедиа. Но при этом они привлекали студентов, уже обладавших определенным дисциплинарным

Вероятным следствием такого подхода Тернер считает производство элитистского знания о культуре и утрату практического горизонта. В приведенном высказывании заслуживает внимания то, что исследователь использует для характеристики культурных исследований понятия «стержень» и «дисциплина».

⁶⁷ Примером последнего могут служить, в частности, критические отзывы Холла о конструировании бирмингемской ортодоксии. См.: On Postmodernism and Articulation. An Interview with Stuart Hall // Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies... P. 149; Moran J. Cultural Studies and Academic Stardom // International Journal of Cultural Studies. 1998. Vol. 1 (April). P. 67–82.

⁶⁸ Johnson R. et al. The Practice of Cultural Studies... P. 19–20. При этом, как отмечают авторы, представители традиционных дисциплин склонны отрицать влияние Cultural Studies.

⁶⁹ Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 42–43.

бэкграундом — филологическим, историческим и т.д. Именно потребность в обновлении исследовательского арсенала, двигавшая этими студентами, придавала реальное содержание междисциплинарному поиску, в то время как изначально междисциплинарный характер современных образовательных программ создает опасность выхолащивания этой идеи. Критическая рефлексия в отношении идеи междисциплинарности разворачивается и в плоскости университетского управления, где эта идея может становиться основанием для закрытия или слияния университетских подразделений в угоду требованиям экономической рентабельности⁷⁰. Тед Стрифас и Грэм Тернер призывают к тому, чтобы сегодня четко осознать ответственность за романтизацию идеи междисциплинарности, которая была конститутивной для самоопределения представителей культурных исследований на рубеже 1990-х⁷¹.

Следующее направление рефлексии о расхождении академической идентичности и критической программы связано с намеченной еще Реймондом Уильямсом проблемой внутренней дифференциации Cultural Studies и возникновения новых специализированных направлений исследования культуры. Предметом обсуждения здесь становится изменившаяся конъюнктура существования университета и позиция интеллектуала. Концептуальная рамка этой дискуссии кристаллизовалась на рубеже 1990-х годов в контексте дискуссии о культурном популизме. Особенно сильным импульсом для нее стало появление в 1992 г. книги Джима Макгигана с одноименным названием. Автор книги определял культурный популизм как характерное для некоторых исследователей культуры предположение о том, что символические конструкции и практики, лежащие в основе опыта обычных людей, «имеют большее аналитическое и политическое значение, чем Культура с большой буквы»⁷². Отсылка к «Культуре» в определении Макгигана была не случайной: культурный популизм рассматривался здесь как стратегия самореализации интеллектуалов. Однако основным объектом критики выступали не столько сами по себе симпатии к культуре обычных людей (в этом смысле сам Макгиган готов был причислить себя к культурным популистам), сколько некритическое восприятие, включающее в себя идеализацию потребления культуры, отказ от различения массовой и популярной культуры и утрату материалистической перспективы, связанной с социально-экономическим анализом, изучением институциональной власти и публичных коммуникаций. Эти тенденции, по мнению исследователя, об-

⁷⁰ Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 45.

⁷¹ Striphas T. The Long March... P. 461–462. Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 41–42.

⁷² McGuigan J. Cultural Populism. L.: Routledge, 1992. P. 4.

наруживались ранее в работах Уильямса, Холла и других представителей Cultural Studies, однако дискуссия о ходе институционализации и профессионализации проекта в Америке придала более универсальный характер и спорам о культурном популизме. Текстуализация культуры как объекта исследования и деполитизация теоретической работы, характерные для американских исследований культуры, стали объектом критики для тех, кто ратовал за сохранение идентичности движения, которая связывалась с британской версией культурных исследований⁷³. Показательны в этом смысле неоднократные критические инвективы Стюарта Холла в адрес американских Cultural Studies. Провозглашая приверженность модернизму в противовес расхожему мнению о связи культурных исследований и постмодернизма, Холл стремился отмежеваться от некритического восприятия массовой культуры и указывал на значимость фигуры органического интеллектуала, вдохновлявшей участников сообщества, группировавшегося вокруг Бирмингемского центра⁷⁴.

В новом социокультурном и университетском контексте 2000-х годов у Cultural Studies появляются новые «значимые другие». Речь идет о таких новых областях гуманитарного знания, как исследования новых медиа (New Media Studies), гибридной культуры (convergence culture) и креативных индустрий (creative industries). Развитие этих областей, возникших во многом благодаря распространению культурных исследований, становится вызовом для последних. Осуществляя активную экспансию в академическое пространство, эти области начинают вытеснять как традиционные специализации в области гуманитарных и социальных наук (например искусствознание), так и собственно специализации, традиционно существовавшие в Cultural Studies. Не менее важно и то, что свою генеалогию при этом они возводят к культурным исследованиям, претендуя одновременно на место новых законодателей повестки дня в исследовании современной культуры⁷⁵.

Появление этих областей связано с задачами осмысления новых типов коммуникации, которые характеризуются бóльшим равноправием, активной вовлеченностью участников и меньшей степенью коммерциализации. Идеологической предпосылкой исследования становится, таким образом,

⁷³ Это стало важным стимулом для конструирования британской генеалогии культурных исследований. Анализ этого сюжета см. в статье: *Stratton J., Ang I. On the Impossibility of a Global...* P. 360–392.

⁷⁴ Майкл Берубе приводит саркастический комментарий Стюарта Холла, который в одном из интервью сказал: «Я уже не в силах читать еще один сделанный в рамках культурных исследований анализ творчества Мадонны или “Клана Сопрано”» (*Bérubé M. What’s the Matter with Cultural Studies?..*).

⁷⁵ *Ibid.* P. 103.

новая модель воспроизводства культуры, альтернативная традиционным представлениям о связи капитализма, массмедиа и политического порядка, каковые традиционно выступали отправной точкой для представителей Cultural Studies. С развитием новых медиа и гибридных форм культуры, а также с формирующимися на этой почве культурными индустриями связываются надежды на возможность подлинной популярной культуры, связанной с низкой активностью и демократическим участием, снимающей оппозицию между производителем и потребителем⁷⁶.

Грэм Тернер находит в этой идеологии характерные признаки культурного популизма: сентиментальное отношение к популярной культуре, тяготение к модному в ущерб неудобным темам, отказ от критической составляющей. Вместе с тем примирение с существующей культурой принимает здесь и специфические формы. В исследованиях новых медиа происходит, по его мнению, переход от характерного для Cultural Studies акцента на критическом анализе культурной политики в рамках национальных государств к изучению глобального рынка как среды существования новых экономических и культурных форм. Утверждение последних в качестве объектов исследования связано с презумпциями экономического и технологического оптимизма (идеи наращивания общественного блага и возможности новых технологий в плане разрешения социальных проблем), каковые презумпции, по мнению Тернера, пока не подтверждены эмпирическими данными. Успехи академической институционализации этих новых областей связаны с рыночной валидностью предлагаемого ими знания, которая приобретает особую актуальность в связи с происходящим в последние десятилетия сокращением государственного финансирования университетов. При этом само содержание подобных программ слабо связано с трудами представителей Cultural Studies и ориентировано не столько на развитие критической рефлексии о культуре, сколько на трансляцию технических навыков, необходимых для самореализации в новых экономических и медийных условиях. Характерно, что, противопоставляя культурные исследования исследованиям новых медиа, гибридных культур и креативных индустрий, Тернер не только подчеркивает связь Cultural Studies с традиционными дисциплинами, имея виду их общую ориентацию на развитие навыков теоретической рефлексии, но, более того, говорит также и об их «дисциплинарном потенциале», который у новых направлений отсутствует⁷⁷.

Высказываемая Тернером критика новых институций и лежащих в их основе направлений исследований интересна не только тем, что академи-

⁷⁶ Bérubé M. What's the Matter with Cultural Studies?.. P. 104.

⁷⁷ Turner G. What's Become of Cultural Studies?... P. 116–117.

ческий статус здесь измеряется дисциплинарным потенциалом. Продолжая традицию рефлексии о культурном популизме, она увязывает формирование определенных познавательных и педагогических стратегий с изменениями в образовательной политике и в социокультурном контексте существования университета. Любопытно также, что будучи спроецированными на новые направления исследований позитивные ориентиры Cultural Studies как интеллектуального проекта превращаются в свою противоположность: стремление к актуальности и открытости современной культуре становится в случае New Media Studies и других новых областей погоней за модой, теоретические основания оказываются неоправданными, а практическая ориентация дискредитируется как технологичность. Авторы, позиционирующие себя по другую сторону обозначаемого Тернером водораздела, провозглашают отказ от нормирующей функции и заявляют, что Cultural Studies должны быть гибкими по отношению к образовательным контекстам и открытыми по отношению к запросам аудитории. Так, например, Саймон Дюринг отмечает, что мотивация студентов к изучению современной культуры весьма разнообразна. Соответственно, задача заключается в том, чтобы отвечать этим потребностям, а не в том, чтобы пытаться их контролировать⁷⁸.

В целом признавая то, что некоторые из лозунгов Cultural Studies сегодня в определенном смысле реализованы в современной университетской практике, представители этого движения в очень слабой степени готовы удовлетвориться результатами этих преобразований и идентифицировать себя с ними. По мнению Грэма Тернера, позитивным следствием произошедших трансформаций является то, что университет стал более открытым. Однако в отличие от старого университета, в нем гораздо меньшее значение имеет важная для идеологии культурных исследований идея публичного блага. В этом неолиберальном университетском контексте даже отличающие Cultural Studies от традиционных дисциплин открытость, мобильность и способность адаптироваться к новым реалиям не являются гарантией устойчивости их положения.

Новые рамки самоопределения

Наряду с осмыслением судьбы Cultural Studies в новом университетском контексте, мы видим в текстах исследователей усилия, направленные как на осмысление тех координат, в которых этот проект мыслился, так и на поиск путей к снятию внутренних конфликтов, которыми традиционно определялась идентичность исследователей культуры. Важнейшей темой здесь становится вопрос об их политической ангажированности и диапазоне форм

⁷⁸ *During S. Is Cultural Studies a Discipline?.. P. 275.*

критической интервенции. Демонстрируя преимущество по отношению к высказываниям об «академической ангажированности» отцов-основателей этой традиции, представители Cultural Studies стремятся сегодня более последовательно соблюдать дистанцию по отношению к политике в традиционном понимании. В связи с этим объектом критики становятся и высказывания о связи проекта Cultural Studies с идеей «иной политики» — такие, например, как тезис Стюарта Холла об исследовании культуры как реализации политики иными средствами⁷⁹. В 1990-е годы целый ряд авторитетных представителей Cultural Studies, таких как Тони Беннет, Лоуренс Гроссберг, Джон Стори, критикуют попытки акцентировать политическую ангажированность знания о культуре. По мнению Стори, признание политической подоплеки Cultural Studies задает ложные ориентиры для их самоописания. Он подвергает критическому анализу сам термин «институционализация», употребление которого основано на имплицитном допущении, что культурные исследования изначально развивались вне академической среды и прошли путь от «героического сопротивления» до инкорпорирования. Он считает неоправданной романтизацию политической ангажированности, поскольку считает ее препятствующей нормальному академическому функционированию и выстраиванию отношений с другими дисциплинами. В противовес подобным установкам Стори предлагает исходить из того, что Cultural Studies изначально являются «теоретической практикой и исследовательским и педагогическим проектом» и в этом смысле совершенно естественно могут быть признаны полноценной дисциплиной⁸⁰.

С другой стороны, предпринимается попытка переопределить горизонт политической активности исследований культуры и продемонстрировать, что последняя не обязательно входит в противоречие с академической работой. По мнению Теда Стрифаса, «антидисциплинарное» самоопределение Cultural Studies связано с тем, что в качестве основной формы политической самореализации ее представителей выступала практика критического письма. При этом на второй план отодвигалось институциональное строительство. Однако последнее имеет свои политические импликации, связанные с влиянием университетов на медийную и политическую среду, с формированием интеллектуально активной прослойки и с подготовкой будущих производителей культуры⁸¹. Указывая на необходимость переноса активности исследователей культуры в эту плоскость, Стрифас оговарива-

⁷⁹ Storey J. There's no Success Like Failure: Cultural Studies; Political Romance or Discipline? // *Journal of Communication Inquiry*. 1997. Vol. 21. No. 2. P. 98–109.

⁸⁰ Ibid. P. 106.

⁸¹ Striphas T. The Long March... P. 455–459.

ется, что такого рода работа не должна иметь конъюнктурного характера и быть ориентированной на достижение непосредственного политического эффекта. С этим связано также признание необходимости учитывать логику университета и сделать свое присутствие в нем более определенным. Пол Макьюен отмечает, что «проявление» Cultural Studies в университетском пространстве, превращение их из «криптодисциплины» в полноценную дисциплину является условием реализации идеи открытости этой области знания. Однако теперь эта идея должна быть реализована не в теоретико-методологическом, а в институциональном ключе: речь идет, в частности, о включении в рейтинги и развитии ресурсов, представляющих публике информацию об образовании в этой области, и т.д.⁸²

Таким образом, условием выработки представителями культурных исследований новой интеллектуальной идентичности становится преодоление жесткой оппозиции между представлением об академической работе, как имеющей принципиально рутинный характер, с одной стороны, и, с другой стороны, неременной обусловленностью творческого и критического характера деятельности представителей Cultural Studies их непосредственной политической ангажированностью. По мнению Теда Стрифаса, в рамках этой оппозиции самоопределение исследователей культуры будет неизбежно травматическим, поскольку любая институционализация должна описываться как провал и утрата подлинности, якобы изначально присущей Cultural Studies как критическому интеллектуальному проекту. Вместе с тем для любого непредвзятого наблюдателя очевиден разрыв между утверждениями о политической ангажированности Cultural Studies и реальностью их повседневного существования, в перспективе которого эти утверждения выглядят декларативными и идеологическими⁸³. Закономерным следствием этой логики становится нормализация дисциплинарности и отказ рассматривать дисциплины исключительно как инструмент власти⁸⁴.

Нынешняя слабая институционализированность Cultural Studies рассматривается как одна из издержек их теоретико-методологической неопределенности. Разумеется, речь идет не о том, чтобы отбросить всю предшествующую критику, а о том, чтобы, с одной стороны, заботиться о выработке иммунитета по отношению к рутинизирующим механизмам дисциплинаризации, а с другой — использовать эту новую дисциплинарную идентичность для реализации основополагающей задачи культурных исследований — критического анализа современной культуры, осущест-

⁸² McEwan P. Cultural Studies as a Hidden Discipline... P. 427–437.

⁸³ Striphas T. The Long March... P. 453, 465.

⁸⁴ Ibid.

вляемого во имя реализации общественного блага. В этом плане показательно следующее: если раньше представители Cultural Studies опасались, что исследования культуры превращаются исключительно в педагогическую практику⁸⁵, то сегодня они намерены пересмотреть соотношение исследовательской и педагогической составляющих в пользу последней⁸⁶. Этическим обоснованием для необходимости выработать долгосрочную программу развития Cultural Studies как университетской дисциплины является ответственность перед будущими поколениями исследователей⁸⁷.

Показательным симптомом движения в сторону дисциплинарной самоидентификации, реализуемой в современном междисциплинарном поле, можно считать готовность вписать культурные исследования в историю гуманитарных дисциплин XX в. Примеры мы находим в работах Тоби Миллера, по мнению которого, Cultural Studies проходят через те же болезни роста и обвинения, что социология после Второй мировой войны, литературоведение во второй половине XIX в., естественные науки в начале XX в.⁸⁸ Также можно указать здесь и на работы Джона Стрэттона и Иен Энг, которые сравнивают интернационализацию культурных исследований с распространением социологии, — с той лишь разницей, что в отличие от социологии, претендовавшей на универсальность разрабатываемой модели, исследователи культуры «на местах» чаще настаивают на партикулярности производимого ими знания⁸⁹. Важной составляющей поиска новой самоидентификации становится осуществляемый «поверх барьеров» критический анализ стереотипов, опосредующих конфликтные взаимоотношения между представителями различных дисциплин. Пример подобного анализа мы находим в статье Дэвида Инглиса, который, описывая взаимные предрассудки представителей социологии и Cultural Studies, уподобляет конфликт этих областей знания побищу близнецов Труляля и Траляля в известной сказке Льюиса Кэрролла⁹⁰.

⁸⁵ См., например: *Turner G. "It Works for Me": British Cultural Studies, Australian Cultural Studies // What Is Cultural Studies? A Reader / J. Storey (ed.). L.: Edward Arnold, 1996. P. 322. Цит. по: Storey J. There's no Success Like Failure... P. 101–102.*

⁸⁶ *Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 71–73.*

⁸⁷ *Ibid. P. 65–66.*

⁸⁸ Podcast: *Toby Miller on Cultural Studies by Social Science Bites. 2012. December 3. <<http://www.socialsciencespace.com/2012/12/toby-miller-on-cultural-Studies/>> (дата обращения: 17.03.2014).*

⁸⁹ *Stratton J., Ang I. On the Impossibility of a Global... P. 363–365.*

⁹⁰ Анализ причин взаимного отторжения и возможностей диалога между Cultural Studies и историей см.: *Pickering M. Engaging with History // Research Methods in Cultural Studies. Edinburgh*

Другим средством становится историзация восприятия дисциплинарности в рамках самих Cultural Studies. По мнению Саймона Дюринга, можно говорить о двух этапах становления этой концепции. Первый из них он связывает с работами Ричарда Хоггарта, идея которого заключалась в том, что Cultural Studies должны были выступить посредником во взаимодействии литературоведения (English Studies) и социологии. О противостоянии дисциплинарности в этот момент речь, в принципе, не шла. Программное значение критика дисциплинарности приобрела на втором этапе, после 1968 г., в период руководства Стюарта Холла, взявшего курс на политическую ангажированность культурных исследований, которую он рассматривал как необходимое условие принципиального анализа взаимоотношений культуры и общества⁹¹.

Тема междисциплинарности также побуждает поставить вопрос о разрыве между идеологическими декларациями и реальной практикой академической работы. В этом контексте предметом обсуждения становится способность данной области знания реально осуществлять междисциплинарный диалог, организовывать площадки для коммуникации между представителями разных дисциплин и использовать теоретический потенциал культурных исследований для повышения эффективности этой коммуникации⁹².

В связи с этим переопределяется и место идеи междисциплинарности в структуре идентичности Cultural Studies. Достаточно рафинированную трактовку этого сюжета мы находим в книге Ричарда Джонсона, Деборы Чемберс, Парвати Рагурам и Эстеллы Тинкнелл «Практика культурных исследований»⁹³. Отправной точкой для этой трактовки становится краткий очерк истории исследований культуры в контексте их отношений с другими дисциплинами. В этой истории Джонсон и его коллеги выделяют четыре этапа. Первый из них был связан с формированием проекта. Имея отправную точку вне существующих дисциплин, этот проект был адисциплинарным и даже отчасти контрдисциплинарным. Второй этап характеризовался освоением подходов, существовавших в других дисциплинах, в силу чего этот отрезок связан с мультидисциплинарной установкой и поисками интердисциплинарного синтеза. Третий этап, который обозначается как трансдисциплинарный, авторы

University Press, 2008. P. 193–213; Rodman G. Cultural Studies and History // The SAGE Handbook of Historical Theory / N. Partner, S. Foot (eds). L.: SAGE Publications Ltd., 2013. P. 342–354.

⁹¹ During S. Is Cultural Studies a Discipline?... P. 272–273.

⁹² Striphos T. The Long March... P. 466. Конкретный пример подобного проекта — «Сеть исследователей культуры» («Cultural research network»), организованную в Австралии в 2005 г., — описывает в своей книге Тернер: Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 167–178.

⁹³ Johnson R. et al. The Practice of Cultural Studies... P. 19–20.

связывают с влиянием Cultural Studies на другие дисциплины⁹⁴. Наконец, четвертый этап — это судьба культурных исследований в ситуации свершившегося культурного поворота. Возникновение форм культурного анализа в различных дисциплинах окончательно разрушает монополию Cultural Studies. Исследователи, работающие в этой области, оказываются перед необходимостью мониторинга существующих подходов, оценки степени их инновационности или тривиальности в контексте разнообразных исследовательских практик. Эта ситуация, по мнению Джонсона и его коллег, не является состоянием постдисциплинарности: прежние механизмы организации науки и формы самоидентификации существуют сегодня наряду с новыми. Вместе с тем важно понимать, что идентичность ученого — исследователя культуры сегодня часто оказывается множественной и, соответственно, идентификация с Cultural Studies в большинстве случаев не является единственной самоидентификацией исследователя культуры.

Инструментальное понимание (меж)дисциплинарности, которое является презумпцией этого экскурса, предполагает в качестве перспективы развития культурных исследований поиск эффективной комбинации двух равноправных стратегий, одна из которых связана с идеей их открытости внешним влияниям, другая — с самоопределением (академическим, дисциплинарным)⁹⁵. Поиск этот ведется в двух плоскостях. В одной из них оппозиция этих стратегий раскрывается как дилемма актуальности и профессионализма: не отказываясь от традиционной открытости актуальной повестке дня и от принципов критики научной дисциплинарности (рассмотрения ее с точки зрения ограничений и регулятивных функций), необходимо соблюсти ценности профессионализма и академической состоятельности. В другой плоскости речь идет о соотношении опоры на существующую исследовательскую традицию и поиска возможностей дисциплинарного обновления⁹⁶. Благодаря этому дисциплинарные границы выводятся из режима рутинного воспроизводства в сферу рефлексивного контроля.

* * *

Подводя итоги своей характеристики современного состояния и перспектив развития Cultural Studies, Грэм Тернер отмечает, что эволюция этой области знания представляет собой «естественным образом сложившийся,

⁹⁴ При этом авторы оговариваются, что культурные исследования, конечно же, не были единственным трансдисциплинарным направлением, инспирировавшим культурный поворот.

⁹⁵ В аналогичном направлении движется и Грэм Тернер, указывая на три возможности идентификации Cultural Studies — в качестве дисциплины, в качестве совокупности теорий и методов и в качестве проекта: *Turner G. What's Become of Cultural Studies?* P. 156–161.

⁹⁶ *Johnson R. et al. The Practice of Cultural Studies...* P. 22–24.

непреднамеренный лонгитюдный эксперимент» по реализации междисциплинарного проекта⁹⁷. Важной характеристикой этого эксперимента оказывается стремление представителей данной области знания определить ее как антидисциплину. Внутренне противоречивый характер критики дисциплинарности обнаруживается в процессе интенсивной дисциплинаризации культурных исследований, происходившей в контексте наложения целого ряда временных конъюнктур: трансформаций культуры в целом и университетской культуры в частности, познавательных поворотов и изменений механизмов воспроизводства знания в области гуманитарных наук, академической экспансии и внутренней дифференциации самого этого направления. Переживание этой ситуации как кризиса побуждает исследователей культуры к интенсивному поиску своей идентичности, к определению возможностей адекватного самоописания, которое создало бы условия для преодоления разрывов между идеологическими декларациями и практикой повседневной работы. Изучение этих поисков дает возможность наблюдать дискурсивные механизмы конструирования дисциплинарности, режимы ее оправдания, которые сегодня находятся в центре внимания социологов науки, занимающихся этой проблематикой⁹⁸.

Этот поиск идентичности можно было бы проанализировать, обратившись к имплицитным категориям, «свернутым» в определениях предмета и в характеристиках методологии. Однако в нашем случае речь шла об эксплицитных категориях, связанных с самоопределением исследователей культуры в отношении дисциплинарности как таковой. Их анализ выявляет категориальную сетку, в рамках которой осуществляется самоидентификация в контексте академической культуры: институты vs. тексты, преподавание vs. исследование, критика vs. политическая ангажированность, открытость vs. закрытость и т.д. Интересно также и то, как в поиске самоидентификации происходит согласование различных конъюнктур — эволюции дисциплины, развития университета, изменения социального запроса, политической ситуации и т.д. Что касается собственно эволюции восприятия дисциплинарности, то при всем разнообразии отправных точек ее осмысления, исследователи в большей степени склоняются к положительной ее оценке. Однако эта положительная оценка не носит абсолютного характера. Она может рассматриваться как результат инструментализации тех смысловых образований, которые были ключевыми для самоописания

⁹⁷ Turner G. What's Become of Cultural Studies? P. 57.

⁹⁸ Примером здесь могут быть работы Тони Бечера и Поля Траулера, Мишель Ламон. Подробнее об этом см. главу «Дисциплинарный принцип, академический рынок и вызовы “общества знания”».

Cultural Studies в 1980-е годы. Благодаря этому становится возможным не только представление собственной истории как внутренне неоднородной, но и работа по деконструкции стереотипов, формирующих негативный образ культурных исследований в глазах академического сообщества и широкой публики. Конструктивистские ориентации культурных исследований в рассмотренных выше образцах рефлексии становятся инструментом дереификации представлений о собственной идентичности. Вопросы о границах этой рефлексии, а также о существовании обратной связи между рефлексией и выходом на новые исследовательские рубежи, указывают на новые возможности, которые могут быть реализованы на следующем этапе обсуждения этой темы.

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ: ДИСЦИПЛИНА ИЛИ ПРОФЕССИЯ?*

Уже почти полвека существует феномен публичной науки — публичная психология (особенно психоанализ), публичная криминология, публичная философия, публичная социология, публичная история и проч., — осмысление которого по-новому ставит вопросы не только о границе между наукой и ее популярными версиями, но и о специализации и профессионализме ученого, по отношению к труду которого публичность выступает в качестве отклоняющейся модели. В каждой дисциплинарной области публичность проявляется по-своему, отличаясь часто даже целеполаганием. Так, например, публичная философия отвечает людям на ключевые мировоззренческие вопросы в свете современных философских доктрин, публичная социология объясняет природу социальных проблем и помогает людям в выработке конструктивных преобразовательных и приспособительных стратегий¹, а публичная история удовлетворяет интерес к прошлому на уровне современных научных знаний². Тем не менее, во всех дисциплинах, выходящих в публичную сферу, мы наблюдаем конфликт между идеологией партисипаторности и ценностью профессии, а в связи с последним — разговор о новой отдельной профессии публичного ученого, отличного от публичного интеллектуала.

* В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта № 11-01-0067 «Профессиональные историки в “публичной истории” XXI века», реализованного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012–2013 гг.

Я признательна Елене Вишленковой, Александру Дмитриеву, Александру Махову и Борису Степанову за обсуждение ключевых положений данной статьи, существенно развившее ее в некоторых важных пунктах, а Оксане Запорожец — за интерес к публичной социологии, неожиданно возникший на занятии по академическому письму, которое она провела на руководимом мной научно-исследовательском семинаре.

¹ Подвойский Д.Г. «Публичная социология» в прошлом и настоящем: уточнение координат // Социологические исследования. 2009. № 5. С. 19.

² Подробнее о границах между профессиональной и медийной презентацией научного знания см.: Савельева И.М. Таланты и посредники: граница между академической и публичной наукой // Общественные науки и современность. 2015. № 1. С. 24–36.

Задача данной главы — анализ отношений между исторической дисциплиной и публичной историей (далее ПИ), а также конвенций, по которым происходит репрезентация прошлого за пределами академического контекста, и процессов трансфера научного знания из академической среды в общество. Тем самым в поле зрения оказываются как когнитивные аспекты (конвенциональные способы высказываний об истории, языки описания прошлого), так и социальные (формирование институций, механизмы признания знания, профессиональная идентификация), связанные с изучением «публичной истории».

Публичная история (*public history, people's history, histoire publique, history for the laity, weekend history, angewandte Geschichte, etc.*) развивается достаточно бурно, но феномен ее удивительным образом остается малоисследованным³. Сами публичные историки (в отличие от публичных социологов или философов) рассуждают о своих занятиях редко и не очень глубоко. Это преимущественно «практикующие историки», и видимо поэтому, многие из имеющихся исследований представляют собой скорее калейдоскоп практик и казусов ПИ⁴, в большинстве других почти не обнаруживается критической рефлексии. Знакомство с журналами и сайтами, посвященными ПИ, еще больше укрепляет в этой мысли. В предисловии к серии «*Making Sense of History*» ее ответственный редактор, известный немецкий историк Йорн Рюзен, пишет, что в то самое время, когда многие теоретики провозгласили, что история как академическая дисциплина приблизилась к своему концу, «исторические предметы» обсуждения (*historical matters*) — народная память, телевизионные и голливудские истории, публичные и политические дискуссии о прошлом — «кажется, с остервенением занимают ее место». В связи с этой констатацией он ставит следующий вопрос:

³ О публичной истории см.: *Evans R.J. Telling Lies about Hitler: The Holocaust, History and the David Irving Trial*. L.: Verso, 2002; *Jordanova L. History in Practice*. 2nd ed. L.: Hodder Arnold, 2006 [2000]; *History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres* / B. Korte, S. Paletchek (Hrsg.). Bielefeld: transcript Verlag, 2009; *Packaging the Past? Public Histories* / J. Rickard, P. Spearritt (eds). Melbourne: Melbourne University Press, 1991; *Samuel R. Theatres of Memory. Vol. 1: Past and Present in Contemporary Culture*. L.: Verso, 1996 [1994]. Об аналогичном, но намного более позднем развитии ПИ в Германии см.: *Tomann J. u. a. Diskussion Angewandte Geschichte: Ein neuer Ansatz? Version: 1.0 // Docupedia-Zeitgeschichte*. 2011. Februar 15. [Potsdam]: Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, cop. 2014. <http://docupedia.de/zg/Diskussion_Angewandte_Geschichte> (дата обращения: 25.03.2014). Сокращенная версия: Аккерманн Ф. и др. Прикладная история, или Публичное измерение прошлого // *Неприкосновенный запас*. 2012. № 3 (83). С. 233–244. <<http://www.nlobooks.ru/node/2293>> (дата обращения: 25.03.2014).

⁴ О практиках публичной истории см., например: *History Sells. Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt* / W. Hardtwig, A. Schug (Hrsg.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009. S. 3–4.

Представляет ли академическая дисциплина «история», какой она сложилась в западных университетах на протяжении последних 200 лет, специфический способ или тип исторического размышления, который можно отличить и отграничить от других форм и практик исторического сознания⁵.

Этот вопрос, сузив его, можно адресовать публичной истории. Представляет ли она собою специфический способ или тип исторического суждения и исторической практики, и если да, то как она соотносится с исторической наукой/дисциплиной?

По моему убеждению, для решения поставленных задач необходимо анализировать весь цикл «расширенного воспроизводства» исторического знания, в котором одинаково важны процессы производства знания (научных исследований), его трансляции, где ведущую роль играют образование и средства массовой информации, и, наконец, восприятия этих знаний населением. Мне не известны работы, специально посвященные проблеме трансформации исторического научного знания в публичное, однако работа Дж. Гилберта «Трансформация научных открытий в научное знание» (1976)⁶ может в определенном смысле послужить моделью для такого исследования. А матрицей для меня в какой-то мере стали исследования по публичной социологии (ПС), прежде всего, статьи ее зачинателя и энтузиаста Майкла Буравого⁷.

Информационная база исследования включает собственно научную историческую литературу и, прежде всего, работы о «публичной истории» опубликованные за последние десятилетия; высказывания профессиональных историков о публичной истории (научные публикации, выступления,

⁵ Western Historical Thinking: An Intercultural Debate / J. Rüsen (ed.). N.Y.; Oxford: Berghahn Books, 2002. P. vii, ix.

⁶ Gilbert G.N. The Transformation of Research Findings into Scientific Knowledge // Social Studies of Science. 1976. Vol. 6. No. 3/4. P. 281–306.

⁷ С рядом оговорок, потому что в задачах ПС и ПИ я нахожу радикальное различие. О ПС см.: Burawoy M. For Public Sociology // The British Journal of Sociology. 2005. No. 56 (2). P. 259–294. <http://www.amazon.com/Public-Sociology-Research-Action-Change/dp/1412982634#reader_1412982634> (дата обращения: 25.03.2014 г.); Beck U. How not to Become a Museum Piece // The British Journal of Sociology. 2005. Vol. 56. No. 3. P. 335–343. См. также: Общественная роль социологии / под ред. П.В. Романова, Е.П. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПИ, 2008; Public Sociology: Research, Action, and Change / Ph. Nyden, L. Hossfeld, G. Nyden (eds). Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2011; The Handbook of Public Sociology / V. Jeffries (ed.). Lanham; Boulder; N.Y.; Toronto: Rowman and Littlefield, 2009; Public Sociology: Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten Years of Sociology in Aalborg / M.H. Jacobsen (ed.). Aalborg: Aalborg University Press, Denmark, 2008; Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century / D. Clawson et al. (eds). Berkeley: University of California Press, 2007.

интервью, анкеты); непрофессиональную историческую литературу (по мере необходимости).

Наши с Андреем Полетаевым исследования по теории исторического знания, формированию массовых исторических представлений и науковедению, опубликованные в предшествующие годы⁸, позволяют активно использовать разработанный в них концептуальный и методологический аппарат для исследования феномена публичной истории. Мы изучали научное знание о прошлом и массовые представления, а медийное историческое знание во всех его аспектах (производство, критерии признания, трансляция, усвоение), равно как и типы и уровни этого знания, осталось нами не изученным. ПИ в силу соединения в производстве и сохранения знания о прошлом представителей науки и общественности представляет, на мой взгляд, отличный полигон для аналитического вторжения в эту область.

Глава разбита на темы, которые называются: «Что?», «Кто?», «Когда?», «Почему?», «Зачем?» и «Как?». Столь лапидарные подзаголовки — не только дань форме: они таковы, потому что о публичной истории пока очень мало написано и требуется предварительный обзор поля, о котором пойдет речь. Прежде всего, надо определить, что это за новый тип исторического труда, провести целый ряд различий между видами историков, которые занимаются профессиональной и/или публичной историей.

1. Что?

Найти ответ на вопрос «что такое публичная история?» нетрудно, скорее трудно сделать оптимальный выбор из имеющихся определений. Многие из них обнаружила американская исследовательница Дженнифер Эванс (см. ниже).

Можно суммировать все эти определения, акцентировав когнитивные, профессиональные и функциональные характеристики публичной истории, которая представляет собой совокупность подходов и практик, направленных на идентификацию, сохранение, интерпретацию и презентацию исторических артефактов, текстов, структур и ландшафтов во взаимодействии историков-профессионалов с широкой публикой.

⁸ Савельева И.М., Полетаев А.В. Классическое наследие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010; *Они же*. Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М.: Новое литературное обозрение, 2008; *Они же*. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого. СПб.: Наука, 2003; Там же. Т. 2. 2006.

Описания и определения публичной истории⁹

Публичная история — это средство представления исторического знания широкой публике. Публичная история существует в разных формах — музейных экспозициях и выставках, телевизионной документалистике, планах исторической презервации, проектах по сбору и организации коллекций и записей и переводу традиционного исторического знания в современные компьютерные базы данных. <...> Как академическая дисциплина, она также направлена на эффективное и морально ориентированное управление нашим историческим наследием и коллективной памятью (University of Baltimore Public History web page).

Публичная история отсылает к сфере занятости историков и историческому методу за пределами академии (*Kelley R. Public History: Its Origins, Nature and Prospects // The Public Historian. 1978. Vol. 1. P. 16*).

Публичная история чаще всего описывает занятость историков в сфере, относящейся к истории, но находящейся за пределами академии, особенно разнообразные способы, с помощью которых историки воссоздают и представляют историю общественности и иногда вместе с общественностью (*Gordon M. Syllabus for Introduction to Public History taught by Michael Gordon at the University of Wisconsin, Milwaukee*).

Публичная история — это история, находящая практическое применение. Она основана на понимании того, что история познается не только в классе, но и во множестве разных мест и разными путями. Публичные историки распространяют историческую информацию в широкой среде через такие институты, как архивы, дома истории (*historical houses*) или исторические общества, музеи, консалтинговые фирмы, исторические библиотеки и вебсайты. Они являются поставщиками первичных и вторичных источников, и часто представляют информацию своим заказчикам в таком виде, чтобы последние могли самостоятельно формулировать свои идеи об истории и исторических событиях, устраивая выставки и проводя исследования (*Wilmer E. Emeritus Editor, PHRC*). Публичная история возникла из поиска возможностей «альтернативной карьеры» за границами (традиционного) понимания и практики «мастерства историка», которое в кампусах безоговорочно воплощалось в триединстве исследования, преподавания и карьеры с приоритетом публикаций в реферируемых изданиях (*Scarpino Ph.V. Some Thoughts on Defining, Evaluating, and Rewarding Public Scholarship // The Public Historian. 1993. Vol. 15. No. 2 (Spring). P. 55–61*)¹⁰.

⁹ Все цитаты, приведенные в таблице, см.: *Evans J. What Is Public History // Public History Resource Center. 1999. May 8 (Revised September 2000). <http://www.publhistory.org/what_is/definition.html>* (дата обращения: 25.03.2014).

¹⁰ Составлено: *Debra DeRuyver, Managing Editor, PHRC; полный текст см.: Descriptions and Definitions of Public History // Public History Resource Center. cop. 1999–2010. <http://www.publhistory.org/what_is/definition.html#deruyver>* (дата обращения: 25.03.2014).

Замечу сразу, что речь не идет об исторической политике¹¹, о политическом (ab)use истории. В США и Великобритании это именно «people's history», а не «policy-relevant history». Такую же ориентацию имеет ПИ в Германии. Конечно, как и академическая история, ПИ существует в национальных вариантах. Так, Грэм Дэвисон, сравнивая американских и английских публичных историков, видит существенное различие между ними в том, что в США ПИ предполагает общественный консенсус, а в Великобритании — атмосферу социального конфликта и несправедливости. Соответственно, в этих двух сообществах различаются и работа публичного историка, и ПИ¹².

Разные практики ПИ основаны на взаимодействии с *разной* аудиторией, и общественность может являться как адресатом, так и партнером. В случае партнерства речь идет о четко очерченной, специфической группе, часто с весьма конкретным интересом, и требует поиска и взаимного признания не только методов работы с прошлым, но и выработки общих целей.

2. Кто?

Если ответ на вопрос «что?» требовал скорее создания оптимального определения, то в ответах на вопрос «кто?» сразу же обнаруживаются два принципиально разных подхода. Первый, предельно широкий, включает в круг публичных историков четыре группы:

- тех, кто пишет широко читаемые, обсуждаемые и влияющие на публику книги;
- тех, кто выступает в СМИ, освещая проблемы интерпретации прошлого, имеющие общественное звучание;
- тех, кто предлагает заказчикам экспертные оценки;
- тех, кто практикует публичную историю, предполагающую активное взаимодействие с общественностью, организованной в самые разные объединения.

Очевидно, что во всех четырех вариантах зафиксирована достаточно давняя функция историка как транслятора профессионального знания о прошлом общественности (образованным слоям, публике, массам, группам). Эта функция сформулирована и акцентирована в многочисленных манифестах и исследованиях. В какой мере речь идет о разных *группах* историков, а в какой о разных *ипостасях* одних и тех же лиц — без специальных исследований судить трудно. Конечно, в числе профессиональных историков, которые активно репрезентируют себя на ниве публичной, присутствуют самые известные представители нашей профессии, но интересная картина соотношения

¹¹ См.: Историческая политика в XXI в. / под ред. А. Миллера, М. Липмана. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

¹² Davison G. Paradigms of Public History // Packaging the Past? P. 4–15.

научного и публичного полюсов в области французской философии была обнаружена в исследовании, проведенном Луи Пэнто, — правда, довольно давно, в 1987 г. Сравнив университетские и интеллектуальные неспециализированные журналы, он установил, что группы авторов обоих типов изданий пересекаются лишь в небольшой части: всего 7% авторов университетских журналов публикуются одновременно в каких-либо ведущих интеллектуальных журналах; в то же время около 60% авторов, написавших хоть одну более или менее философскую статью, не принадлежат к университетскому миру¹³.

Использование широкого понятия *public historian*, особенно свойственное европейским авторам, в достаточной мере обесмыслило его. Возможно, это случилось потому, что изначально термин был слишком общий и употреблялся в разных контекстах. Поэтому теперь приходится всегда пояснять, о каких публичных историках идет речь, а еще лучше было бы переопределить широкое понятие и его составляющие. Здесь я ограничусь спецификацией, условно говоря, узкого подхода, который относит к публичным только ту группу историков, которая вступает во *взаимодействие* с публикой, причем имеется в виду даже не диалог, а *совместное производство* исторического знания. (Применительно к социологии, где тоже наблюдается подобное явление, Майкл Буравой используется выражение «organic» public sociologist — «натуральный публичный социолог»¹⁴.) Не буду в данной работе злоупотреблять этим термином (возможно, в дальнейшем можно было бы обосновать его введение), но «натуральные публичные историки» — это и есть новое поколение «Пи», известные выразители идей которого — Людмила Иорданова, Хилда Кин, Дэвид Кеннедин, Барбара Корте, Сильвия Палечек, Рой Розенцвейг, Дэвид Телен, Рафаэль Сэмюэль, Джон Тош и др.¹⁵ Применительно к этому типу достаточно точным представляется, например, следующее определение:

¹³ Pinto L. Les Philosophes entre le lycée et l'avant-garde. Les métamorphoses de la philosophie dans la France d'aujourd'hui. P.: L'Harmattan, 1987. P. 39–58.

¹⁴ «Органическая публичная социология» предполагает, что «социологи работают в тесном контакте с видимой, плотной, активной, локальной и часто контр-общественностью. Это может быть рабочее движение, соседские ассоциации, религиозные общины, группы борьбы за права иммигрантов, организации по защите прав человека. Между органическим публичным социологом и публикой идет диалог, процесс взаимного образования. Признание публичной социологии должно распространиться на этот органический тип, который часто остается невидимым, приватным и рассматривается как обособленный от нашей профессиональной жизни» (Burawoy M. For Public Sociology. Presidential Address 2004 // American Sociological Review. 2005. February. Vol. 70. P. 4–28, здесь: P. 7–8).

¹⁵ К предложенной типологии публичной истории, которая включает широкий и узкий подходы, можно добавить представление о публичной истории без ее «узкой» версии. Например, именно такое понимание предлагает Джером де Гроот, который вообще не упоминает такую форму работы с прошлым, как сотрудничество историка и его аудитории (Groot J. de. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. L.; N.Y.: Routledge, 2009).

Публичные историки, в противоположность академическим историкам, работают вместе с общественностью и для общественности. Они работают в архивах, музеях, общественно-политических организациях, исторических обществах и медиа. Публичные историки посвящают себя занятиям историей за пределами классной комнаты (аудитории). Историки работают для местных, штатских и государственных групп, включая корпорации и правительственные институты. Задача публичного историка — сбор, сохранение и распространение информации о прошлом. Публичные историки используют такие средства, как фотографии, свидетельства устной истории, музейные экспозиции и мультимедийные возможности, чтобы обращаться к широкому кругу исторических проблем и представлять их неакадемической аудитории¹⁶.

В данном описании, наряду с ключевым словом «для», мы видим и другое, еще более важное, слово — «вместе», во взаимодействии. Последнее важно потому, что в данном случае четко обозначена установка практикующих это направление публичных историков, согласно которой ПИ — это *взаимодействие* между историком, публикой и историческим знанием/объектом.

Определение публичной истории как истории-вместе, дано на сайте магистерской программы по публичной истории Университета штата Нью-Йорк:

Публичная история — это история, увиденная, услышанная, прочитанная и интерпретированная обычной публикой. Публичные историки развивают методы академической истории, делая акцент на нетрадиционных свидетельствах и форматах презентации, переформулируя вопросы и создавая в процессе (такой переработки) особую историческую практику. <...> Публичная история — это также история, которая принадлежит публике. Подчеркивая публичный контекст исследования, публичная история (как дисциплина) учит историков, как трансформировать свое исследование, чтобы дотянуться до аудитории за пределами академии¹⁷.

Непрофессиональная группа в такой трактовке является не реципиентом, а со-трудником, со-творцом наряду с историком. Более того, предполагается, что в открытом и рабочем диалоге профессионалов с находящейся за стенами университета общественностью стороны могут создавать новое и даже, если можно так выразиться, более правильное знание о прошлом. И наконец, в данном описании сказано о задачах и средствах. Все составляющие этого определения действительно позволяют увидеть отличия публичного историка не только от его сугубо академического собрата, но и от историка-просветителя или историка-эксперта старого толка. В этом случае как раз и возникает возможность говорить о ПИ как о профессии, т.е.

¹⁶ Buffington Ch.P. Public History — What Is It? Цит. по: Evans J. What Is Public History.

¹⁷ Ibid.

как о совокупности некоторых навыков, которыми «традиционный» историк исходно не обладает. Эти компетенции касаются вопросов этики, с одной стороны, и эффективности — с другой (ср.: «Как академическая дисциплина ПИ также направлена на эффективное и морально ориентированное управление (management) нашим историческим наследием и коллективной памятью» (University of Baltimore Public History)). Из этого следует, что в отсутствие этих компетенций историк (традиционный) не может быть a priori «историком для» (хотя может быть самоучкой) в ситуациях, связанных не столько с производством знания, сколько с бытованием его в обществе.

Для меня в данном исследовании основной интерес представляет публичный историк в узком смысле, практикующий именно в области сотрудничества с публикой, в силу относительной новизны самого явления, хотя, как увидит читатель, в дальнейшем изложении придется все время обращаться к разным практикам ПИ.

3. Когда?

Один из ведущих представителей и зачинателей публичной истории в США, Рой Розенцвейг, связывает идею публичной истории с публикацией в 1932 г. статьи крупнейшего американского представителя «новой истории» Карла Беккера «Каждый сам себе историк»¹⁸. Впрочем, историк-медиевист Джон Арнольд — небольшой поклонник публичной истории, — переводя разговор в другую плоскость, замечает, что уже в V в. до н.э. мы находим историка (Фукидида — ИС), который проводит различие между поддельной развлекательной (публичной) и серьезной (правильной) историей¹⁹.

Действительно, даже если не поддаваться соблазнам «идола истоков», к нашей области вполне применимо мнение, высказанное Д.Г. Подвойским относительно социологии: «Взгляд на публичную социологию как проект начала XXI в. кажется ограниченным, поскольку в биографии нашей науки немало страниц иллюстрируют варианты интерпретации проблем, которые озвучены Буравым»²⁰.

¹⁸ *Becker C. Everyman His Own Historian // American Historical Review. 1932. January. Vol. 37. P. 233–255; Rosenzweig R. Afterthoughts: Everyone a Historian // The Presence of the Past / Roy Rosenzweig Center for History and New Media. George Mason University, cop. 1996–2013. <<http://chnm.gmu.edu/history/faculty/rrosenzw/rvita.html>> (дата обращения: 25.03.2014).*

¹⁹ *Arnold J. Why History Matters — and Why Medieval History also Matters // History & Policy. [L.]: King's College London, cop. 2014. <<http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-81.html#S3#S3>> (дата обращения: 25.03.2014).*

²⁰ *Подвойский Д.Г. «Публичная социология» в прошлом и настоящем... С. 5.*

Эволюция отношений между профессиональным и популярным историческим знанием со времен возникновения научной истории прошла несколько фаз, связанных, с одной стороны, с профессионализацией науки и специализацией исторического знания, а с другой — с особенностями состояния исторической культуры, массовых представлений о прошлом²¹.

Вплоть до утверждения научного исторического знания (строго говоря, до появления позитивистской историографии) историки писали с ориентацией на «широкого» образованного читателя. Напомним, что XIX век еще не стал «веком масс», но зато он был «веком публики» — временем, когда общественное мнение могло оказывать важное воздействие на политический процесс, равно как и на многие другие области жизни²². XIX век сделал историю поистине «всенародным» достоянием. Возникали разнообразные исторические общества, комиссии, журналы, сохраняло популярность коллекционирование древностей. При этом вплоть до начала XX столетия история оставалась в большей степени элементом культуры, чем науки²³. Как точно заметил А.Б. Каменский,

Карамзин написал «Историю», рассчитанную на массового читателя своего времени, и ее читали все уездные барышни, которые вообще умели читать. У Соловьева были «Публичные чтения о Петре Великом», а Ключевский знаменит, прежде всего, своим опять же публичным курсом лекций. Во второй половине XIX в. возникают многочисленные общества: Русское историческое общество, Русское генеалогическое общество, Историко-родословное общество, Общество любителей древней письменности, Общество истории древностей российских, Императорское Русское Археологическое общество и т.д. Это только общероссийские, а сколько было местных! Они объединяли и профессионалов, и любителей, которые работали вместе, как, впрочем, и в губернских ученых архивных комиссиях²⁴.

Таким же образом создавалось множество музеев — частных и государственных, в том числе и Государственный Исторический музей (Императорский Российский исторический музей имени Императора Александра III). Не забудем и о краеведении²⁵.

²¹ Подробно см.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Глава 8. Роль истории // Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом. Т. 1. С. 375–438.

²² Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag, 1962.

²³ Историческое сознание формировалось культурой целостно, и основой для него становились самые разные виды искусства: архитектура, скульптура, живопись, исторические романы, драмы и баллады и т.д. Подробнее см., например: Potthast B. Die Ganzheit der Geschichte: Historische Romane im 19. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein, 2007.

²⁴ Подробнее о трансляции исторической культуры через разнообразные исторические общества см.: Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом / под отв. ред. А.Н. Дмитриева. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2012.

²⁵ Письмо А.Б. Каменского И.М. Савельевой, 9 января 2014 г. Архив автора.

Однако на исходе XIX в. — именно тогда, когда история находилась в зените общественного признания, — началось падение авторитета историков, и предопределили его в первую очередь процессы становления *научного исторического знания*. Дело в том, что в последней трети XIX столетия сложилась академическая историческая дисциплина, произошла профессионализация. Историки стали писать для историков.

Немецкая историческая школа провела четкую границу между научным и популярным (в том числе и «полезным») подходами к прошлому, выработала критерии научного исторического исследования. Это было сделано с немецкой основательностью, и к концу XIX в. мало кто в основных европейских странах и США затруднился бы с различением научной и ненаучной истории²⁶. В результате утверждения позитивистской парадигмы в историографии производство популярной истории практически полностью перешло в руки «посредников» (литераторов, художников, а затем и журналистов и кинематографистов).

Посреднические широкодоступные практики (серии популярных книг, публичные коллоквиумы, научно-популярные журналы, рубрики «идей» в газетах, телепрограммы, а также институции посвящения, престижные премии, рейтинги) множатся и многократно усиливаются вместе с развитием средств коммуникации. Выработывается формула интеллектуальной журналистики. Сегодня влияние массмедиа предполагает не только формирование сложной инфраструктуры, которая делает возможной их власть, но и, как заметил Пэнто, воздействие на само содержание транслируемого знания:

Поскольку сами интеллектуальные журналисты непрерывно разрываются между ролью критика и ролью творца, они склонны поощрять культурную продукцию, наиболее близкую их собственным социальным и интеллектуальным диспозициям. В частности, бесконечные политико-культурные дебаты по поводу «духа времени» обеспечивают им не только статус особого участника, способного интерпретировать, ставить вопросы, судить держателей предполагаемой научной компетенции, но также дают им власть указывать тех, с чьим мнением стоит считаться в высших и ключевых вопросах «современности» («конец истории», «индивидуализм», «постмодернизм» <...>), тех, в ком можно быть уверенным, что они ответят на вопросы, которые «все» ставят перед ними²⁷.

²⁶ *Lingelbach G., Hadler F., Middell M.* Institutionalisation of historical research and teaching. Einführende Bemerkungen und Fragen // *Historische Institute im internationalen Vergleich* / F. Hadler, G. Lingelbach, M. Middell (Hrsg.). Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft, 2001. S. 9–37; *Lingelbach G., Picard E.* Places of Innovation and Exchange: The Extra-University Institutions for Historical Research // *Setting the Standards. Institutions, Networks and Communities of National Historiography* / I. Porciani, J. Tollebeek (eds). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. P. 224–239.

²⁷ Пэнто Л. *Философская журналистика* // S/L'97. Социо-Логос постмодернизма. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996. С. 5. <<http://sociologos.net/textes/pinto/pinto1.htm>> (дата обращения: 26.03.2014).

В последние десятилетия в результате бурного развития массмедиа производство «книг по истории» (исторические романы, исторический детектив, путешествия во времени, популярная история, альтернативная история, контристория и комиксы) поставлено на поток; создается огромное количество исторических фильмов и сериалов, в том числе документальных, в связи с чем появились такие выразительные термины как *faction*, *docudrama* и др.; ТВ предлагает специальные исторические программы и специализированные исторические каналы, среди рубрик немецкоязычных СМИ есть даже *historische Docu-Soap*²⁸; быстро развивается *digital history*; в Интернете мы наблюдаем экспоненциальный рост любительских исторических сайтов.

В профессиональном историческом сообществе с конца 1960-х годов по отношению к процессу «омассовления истории» сформировались разные стратегии. Прежде всего, проявилось стремление ряда известных историков писать литературно и сделать свои главные научные труды достоянием не только профессионалов, но и просто широкой читательской аудитории. С конца 1960-х годов ведущие английские историки, такие как Джон Тэйлор, Хью Тревор-Роупер, Эрик Хобсбаум, Эйза Бриггс, Джон Эллиот, Оуэн Чэдвик, Лоуренс Стоун и Кристофер Хилл, начали писать книги, цель которых — достичь массового читателя. Чуть позже появилась новая волна научных исторических бестселлеров, созданных известными историками. Среди них — Эммануэль Ле Руа Ладюри, Карло Гинзбург, Роберт Дарнтон, Натали Земон Дэвис, Роже Шартье и многие другие²⁹. Эти историки не только хорошо пишут, они ориентируются в механизмах производства «истории на продажу», коммерческом книгоиздании, вкусах и интересах публики.

Демократизация знания предполагает не только литературизацию, но и демократизацию слова. Новые нормы письма — интеллектуальное письмо — практикуется известными историками наряду с академическими. Интеллектуальное письмо формирует каноны драматургии и интереса (желательна и интрига!). Конечно, литературно одаренных историков не так много, но что гораздо важнее, их успех как в профессиональной, так и в читательской аудитории меняет (можно сказать, уже изменил) языковые

²⁸ Подробнее о ТВ-истории см. сборник под редакцией Дэвида Кеннедина, в котором представлены как академические авторы, так и те, кто «делает» историю на телевидении: *History and the Media* / D. Cannadine (ed.). L.: Basingstoke, 2004.

²⁹ Многие из этих работ были изданы в России: *Ле Руа Ладюри Э.* Монтайю, окситанская деревня (1294–1324) / пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001 [1975]; *Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XV в. / пер. с итал. М.: РОССПЭН, 2000 [1976]; *Дарнтон Р.* Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / пер. с англ. М.: НЛО, 2002 [1984]; *[Земон Дэвис Н.]* Возвращение Мартена Герра / пер. с англ. М.: Прогресс, 1990 [1983]; *Она же.* Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века / пер. с англ. М.: НЛО 1999 [1995]; *Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции / пер. с фр. М.: Искусство, 2001 [1990].

стандарты исторических текстов. Сознательно беллетристическая манера, способность свободно ставить себя на место своих героев, делать отступления, вставки и т.д., вплоть до написания вымышленных диалогов с историческими героями³⁰, все, что в XIX в. обеспечивало интерес публики, возвращается и приносит историкам бесспорный издательский успех.

Существует также небольшая группа историков, которые экспериментируют с «творческим non-fiction». Например, известный историк Голо Манн, сын знаменитого Томаса Манна, написал биографию полководца XVII в. Альбрехта фон Валленштейна³¹, используя для достижения научных целей метод потока сознания, и сам назвал свою работу «совершенно настоящим романом». (Впрочем, английский историк Питер Бёрк, анализирующий это произведение, примечания Манна находит более убедительными, чем его текст³².)

Другая стратегия состоит в активизации деятельности профессиональных историков «на ниве народного просвещения». Действительно, почему было не обратиться к возможностям сначала телевидения, а потом и Интернета, которые так широко стали использовать журналисты и историки-любители для популяризации исторических знаний? В 1957 г. первая телезвезда — специалист по европейской дипломатической истории, Джон Тэйлор, собиравший миллионные телевизионные аудитории³³, — будучи уже очень известным историком, не получил должность Regius Professor³⁴ в Оксфорде, потому что он слишком увлекался подобными вещами («because he did too much of that sort of thing»)³⁵. Однако уже в конце 1960-х годов ситуация изменилась,

³⁰ См., например: [Земон] Дэвис Н. Дамы на обочине. С. 7–10.

³¹ Mann G. Wallenstein: Sein Leben erzählt. Frankfurt a. M.: Fischer, 1971.

³² Burke P. History and Social Theory. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1993. P. 128.

³³ Присущая А.Дж.П. Тэйлору комбинация академической строгости и умения нравиться публике позволила историку Ричарду Овери назвать его «Маколеем нашего века» (*Overy R. Riddle Radical Ridicule // The Observer. 1994. January 30. P. 8*).

³⁴ Regius Professor — профессор, кафедра которого учреждена одним из английских королей (особенно относится к профессорам, руководящим кафедрами в Оксфорде или Кембридже, основанными королем Генрихом VIII). В 1957 г. кафедра (Regius Professorship) по истории в Оксфорде была вакантной, и на нее претендовали Тэйлор и Хью Тревор Роупер. Когда Тэйлор и Тревор-Роупер в 1961 г. участвовали в теледебатах, Тревор-Роупер сказал: «Боюсь, что Ваша книга “Происхождение Второй мировой войны” может повредить Вашей репутации как историка». На что Тэйлор ответил: «То, что Вы меня критикуете, нанесет ущерб Вашей репутации как историка, если у Вас она вообще есть».

³⁵ Daunton M. Interview // Making History: The Changing Face of the Profession in Britain: The Institute of Historical Research, cop. 2008. <http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/Daunton_Martin.html> (дата обращения: 26.03.2014).

и многие ведущие историки стали активно участвовать в производстве медийных знаний, особенно телевизионных, и воздействовать на общественное мнение. Историки появляются на телеэкранах не только в исторических, но и в актуальных политических программах. Так, в частности, немецкие историки активно выступали в серии передач, сопровождавших показ фильма «Холокост» в 1978 г. и в дискуссиях, последовавших за публикацией статей Эрнста Нольте в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «Негативная жизненность Третьего Рейха» и «Прошлое, которое не хочет уходить» в 1980 и 1986 гг.³⁶ Сегодня известных историков-профессионалов нередко можно увидеть в качестве консультантов и комментаторов серьезных исторических передач на западном телевидении, в первую очередь в программах английской BBC, американской PBS, спутникового канала Discovery-Civilization и т.д. Пост-тейлоровский период на английском телевидении продолжают такие телезвездные историки, как Ричард Холс, Дэвид Старки, Саймон Шама. В России в этой роли часто выступают ведущие историки О.В. Будницкий, И.Н. Данилевский, А.Б. Каменский, С.А. Иванов, С.В. Мироненко и др.

Наконец, публичные историки начинают использовать возможности медиа и для создания «мест встречи» профессионалов и не профессионалов: архивистов — с авторами фотоколлекций и дневников, ученых — с создателями исторических фильмов, с инициаторами общественных расследований прошлого или с борцами за память.

Так с конца 1970-х годов в западных странах публичная история становится заметной как область деятельности ведущих профессиональных историков, направленная на презентацию результатов исследований на неакадемических форумах. В США конец 1970-х отмечен открытием первой специализированной магистерской программы и появлением журнала «Публичный историк» («The Public Historian») на базе основанного в это же время Национального совета по публичной истории (National Council on Public History — NCPH)³⁷. Тогда же в журнале «Radical History Review» появляется постоянная рубрика «История в медиа» («History in the Media»)³⁸.

³⁶ В этих публикациях Эрнст Нольте утверждал, что отношение к прошедшему как к настоящему затрудняет анализ прошлого. В частности, по мнению Нольте, это мешает осознанию родового сходства между нацизмом и большевизмом и пониманию того, что ГУЛАГ был предшественником Освенцима. Некоторые подходы к этой проблеме были намечены Э. Нольте еще в его первой монографии «Фашизм в его эпохе» (1963), но законченное выражение они получили в книге «Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм» (1989).

³⁷ Johnson W.G. The Origins of The Public Historian and the National Council on Public History // The Public Historian. 1999. Vol. 21. No. 3. Summer. P. 168.

³⁸ Table of Contents // Radical History Review. 1978. No. 18. Fall. <<http://rhr.dukejournals.org/content/1978/18.toc>> (дата обращения: 26.03.2014); Ibid. 1978–1979. No. 19. Winter. <<http://rhr.dukejournals.org/content/1978-79/19.toc>> (дата обращения: 26.03.2014); Ibid. 1979. No. 20. Spring/Sum-

Как пишут Барбара Корте и Сильвия Палечек, со второй половины 1990-х годов история «обрушивается на обычного человека в научно-популярных изданиях, исторической литературе, в музеях, на выставках, в тематических исторических парках, на средневековых рыночных площадях, в кино, на телевидении, в компьютерных играх³⁹ и Интернете»⁴⁰. Возникновение понятия «публичная история» означает, что между двумя старыми антиподами — историей профессиональной и популярной — появляется промежуточное звено, и дихотомия, разводящая профессиональную и публичную историю, в определенной мере снимается. Сегодня мы имеем дело с триадой: *history professionals* — *public historians* — *popular historymakers*. Замечу, что в третьей категории могут находиться люди с дипломом историка (в современной России — Николай Сванидзе, Леонид Млечин), но работают они как «чистые» популяризаторы-медийщики. Для нас же важно то, что некоторые академические историки, принадлежащие к публичным историкам в широком определении, научились быть публичными, а значит популярными, оставаясь в границах науки и не поступаясь ее принципами в своей *основной* работе. Для другой же группы публичных историков (в узком значении) ПИ становится именно профессией в социологическом смысле, включая солидарность, построенную на воспроизводстве себе подобных, пожизненную (часто) специализацию, а также институционализацию в виде образовательных учреждений и корпоративных ассоциаций.

4. Почему?

Если «обобществление» истории технически обеспечивалось развитием средств коммуникации, то социально-культурных причин появления публичной истории в узком значении было множество.

Первая причина — процесс демократизации западного общества после 1968 г., усиливший формирование партисипаторного сознания и модели участия (партисипаторного действия)⁴¹. Майкл Фриш в статье с аналогич-

mer. <<http://rhr.dukejournals.org/content/1979/20.toc>> (дата обращения: 26.03.2014); Ibid. 1979. No. 21. Fall. <<http://rhr.dukejournals.org/content/1979/21.toc>> (дата обращения: 26.03.2014).

³⁹ Компьютерные игры предоставляют совершенно разные уровни «общения с историей»: от «стрелялок» до серьезного знакомства с прошлым (*Macalium-Stuart E. Geschichte und Computerspiele // History Sells. P. 119–130.* В статье Райнера Пёппингхега относительно образовательного потенциала компьютерных игр высказываются большие сомнения: *Pöppinghege R. Wenn Geschichte keine Rolle spielt // History Goes Pop... P. 131–138.*

⁴⁰ *History Goes Pop... P. 9.*

⁴¹ О партисипаторной исторической культуре см.: *Thelen D. Afterthoughts: A Participatory Historical Culture // The Presence of the Past / Roy Rosenzweig Center for History and New Media:*

ным названием пишет, что профессиональные историки, вовлеченные в левые движения, пытались привнести более демократичный этос в свои исторические практики. Такие рискованные начинания, как программы устной истории, фотоэкспозиции, исторические туры и экскурсии, документальные съемки и фильмы, лектории и курсы по истории, часто непосредственно вырастали из социальных движений 1960-х и 1970-х годов⁴². С тех пор не умолкали голоса, твердящие о необходимости «демократизации» или, точнее, «обобществления» процессов производства исторического знания. Американская исследовательница Сьюзан Крейн, выступая против навязывания индивиду, обладающему собственным историческим сознанием, той истории, которая создается историками, назвала этот драйв попыткой «вернуть индивида в коллективную память»⁴³.

По словам Джеймса Баннера, озабоченного изоляцией академической сферы от общества, настало время признать историю «самой демократичной среди социальных и гуманитарных наук»: «мы потерпим неудачу как историки, если сведем определение профессионального историка исключительно к историку академическому»⁴⁴. Кристофер Брук, сам не принадлежащий к когорте публичных историков, выразился столь же определенно: «История засохнет на корню, если у нее не будет почвы за стенами университетов»⁴⁵.

В целом происходит радикальная инверсия: искомое состояние уже не власть над публикой, а власть, *разделенная* с публикой, и история, *принадлежащая* публике. Майкл Фриш вводит понятие «разделенной власти» (shared authority), которая может быть «укоренена скорее в культуре и опыте, чем в ученых познаниях», и «эта власть должна стать определяющей в деле демонстрации способности обеспечить плодотворный союз с историей» и породить диалог «о форме, смыслах и значении истории»⁴⁶.

George Mason University, cop. 1996–2013. <<http://chnm.gmu.edu/survey/afterdave.html>> (дата обращения: 26.03.2014).

⁴² Frisch M. A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. Albany, N.Y.: SUNY Press, 1990. P. XX, XXII. См.: Rosenzweig R. Afterthoughts: Everyone a Historian... Подробнее см.: Махов А.С. Рой Розенцвейг: делая историю публичной // Диалог со временем. 2013. Вып. 43. С. 180–189.

⁴³ Crane S.A. Writing the Individual Back into Collective Memory // American Historical Review. 1997. Vol. 102. P. 1372–1385.

⁴⁴ Becoming Historians / J.M. Banner Jr., J.R. Gillis (eds). Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2009. P. 288.

⁴⁵ Brooke C. Interview Transcript // Making History: The Changing Face of the Profession in Britain: The Institute of Historical Research, cop. 2008. <http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/Brooke_Christopher.html> (дата обращения: 26.03.2014).

⁴⁶ Frisch M. A Shared Authority... P. XX, XXII. См.: Rosenzweig R. Afterthoughts: Everyone a Historian...

Тем самым делается довольно рискованный шаг: высказывается положение, что «разделение властей» в интересах не только исторической профессии (авторитета историка), оно способствует развитию когнитивной стороны самой дисциплины, ее содержания.

Второй важный фактор в становлении ПИ — диверсификация предмета исторической науки, во второй половине прошлого века стремительно сдвинувшейся от немногих традиционных направлений (историй политической, национальной, международных отношений, войн, экономической, социальной и проч.) ко множеству историй всевозможных практик, идей и людей. Изменение ситуации было связано с происходившими в академической истории процессами диверсификации дисциплины и фрагментацией предметного поля, что само по себе необычайно способствовало усилению интереса к прошлому. В поле зрения историков оказались новые объекты (детство и брак, ментальность и образцы культуры, карнавалы и праздники, еда и запахи, чтение и образование, сплетни и военный быт), а также новые источники (фотографии, предметы быта, артефакты народной культуры, карты, планы поселений и расписания поездов, кулинарные рецепты), столь интересные, что они породили у обычных людей желание самим заниматься такой историей.

Третий фактор, который надо назвать, — утрата гуманитарным образованием в целом и историей в частности своих позиций в университетах, даже в элитарных, не говоря уже о community colleges. Падение престижа гуманитарных наук, сжатие гуманитарного надела признается повсеместно⁴⁷, а сокращение спроса на академических историков на рынке труда привело к диверсификации интересов самих людей с историческим образованием⁴⁸ и заставило многих из них обратиться к поискам новых форм занятости за пределами университетов, архивов, музеев, библиотек и школ. Идея обеспечить занятость историков-практиков вне привычных доменов была сформулирована членами Национального совета по публичной истории, которые обратили внимание на то, что публичный историк может быть востребован бизнесом, частными организациями, администрацией разного уровня для создания их историй в соответствии с профессиональными

⁴⁷ См. лекцию Михаила Эпштейна, утверждающего, что именно публичность — один из путей выхода из кризиса: *Эпштейн М.* Гуманитарные науки: время кризиса и обновления // HSE Video. М.: НИУ ВШЭ, cop. 1993–2013. <<http://www.hse.ru/video/71113323.html>> (дата обращения: 26.03.2014). Сам М. Эпштейн — создатель Центра обновления гуманитарных наук при Даремском университете (Великобритания).

⁴⁸ *Donoghue F.* Can the Humanities Survive the 21st Century? // *The Chronicle of Higher Education*. 2010. September 5. Washington: The Chronicle of Higher Education, cop. 2014. <<http://chronicle.com/article/Can-the-Humanities-Survive-the/124222/>> (дата обращения: 26.03.2014).

требованиями⁴⁹. Все эти интенции, направляя взгляд историков в сторону исторической экспертизы и консалтинга, расширили диапазон профессии за счет таких направлений, как сервисная история, *market history* и др. Желание найти для выпускников исторических факультетов новые ниши на рынке труда, не связанные с преподаванием, но предполагающие профессиональные компетенции историка, оперативно реализовалось в предложениях новых специальностей и компетенций, и ПИ — в их числе. Сейчас в США существует значительное число магистерских программ по ПИ, сопоставимое с количеством программ по *Cultural Studies*⁵⁰, причем программы в форме «академическое знание для широкой публики» (*public history*) отличаются от «образовательной истории для широкой публики» (*didactic history*). К *public history* обычно добавляется специальность *mass media*, к *didactic* — социальная педагогика⁵¹. Первая в России магистратура по ПИ, «Public History: историческое знание в современном обществе», открылась в 2012 г. в МВШСЭН (Шанинка)⁵².

Четвертой причиной развития ПИ стало необычайно распространившееся к концу прошлого века производство «исторической памяти»⁵³. Одной

⁴⁹ Kelley R. *Public History: Its Origins, Nature and Prospects* // *The Public Historian*. 1978. Vol. 1. P. 16, 19; Johnson W.G. *The Origins of the Public Historian...* P. 168; *Idem*. Editor's Preface // *The Public Historian*. 1978. Vol. 1. P. 6–7.

⁵⁰ Удивительно, но к началу 2010-х годов, по данным Дж. Тернера, по *Cultural Studies* в 2000 американских университетов было представлено лишь около 20 магистерских программ, что вполне сопоставимо с количеством программ по ПИ. См.: Turner G. *What's Become of Cultural Studies?* L.: Sage, 2012. P. 23. См. также: Bérubé M. *What's the Matter with Cultural Studies?* *Chronicle Review* // *Chronicle of Higher Education*. 2009. September 14. P. 6–7. <<http://chronicle.com/article/Whats-the-Matter-With/48334/>> (дата обращения: 26.03.2014). Аналогичную констатацию применительно к Испании см.: Darcy C.C.-G. "A room of one's own"? // *Cultural Studies*. 2009. Vol. 23. No. 5–6. P. 855–872. В Британии, Австралии, Канаде и Тайване ситуация выглядит существенно лучше.

⁵¹ Например, в Майнцском университете им. И. Гутенберга (Германия) это отдельные программы с дополнительными специализациями.

⁵² Несмотря на то что выпускники магистратуры в МВШСЭН получают в итоге британскую степень MA University of Manchester, программа построена с учетом русских реалий и в curriculum проводится попытка комбинирования опыта *public history* из европейских программ с потребностями и опытом русских программ обучения истории. Сообщение об этой программе сделала В.С. Дубина на конференции «Профессионализация знания: история и значение для современного состояния гуманитарных наук» 25 февраля 2013 г., которую организовали ИГИТИ и Лаборатория исследований культуры ЦФИ НИУ ВШЭ. См. подробный репортаж о конференции: Видеорепортаж о конференции «Профессионализация знания» // Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева. М.: НИУ ВШЭ, cop. 1993–2013. <<http://igiti.hse.ru/news/75236959.html>> (дата обращения: 26.03.2014).

⁵³ Характеристику публичной истории в свете концепции памяти см. в работе: Glassberg D. *Public History and the Study of Memory* // *The Public Historian*. 1996. Vol. 18. P. 7–23.

из главных причин появления как феномена, так и понятия «историческая память», и наполнения его тем или иным содержанием стало повышенное и во многом оправданное внимание к воспоминаниям жертв величайших трагедий XX в. — Холокоста, сталинских репрессий, других этнических и политических геноцидов, — равно как и к воспоминаниям участников войн и революций прошлого столетия. Затем и термин «память», и связанные с ним политические инициативы стали быстро распространяться на самые разные аспекты социальных представлений о прошлом⁵⁴.

В последние десятилетия прошлого века происходила самоидентификация новых социальных групп (этнических, гендерных, жертв трагических событий, потомков жертв и т.д.), породившая новые идеологические конструкции: гендеризм, мультикультурализм и т.д. Эти группы, как и социальные группы, формирующиеся исключительно на основе прошлого (речь идет о непосредственных участниках тех или иных исторических событий), нуждались в идентификации и, соответственно, в создании своих архивов, написании собственной истории, а партикулярное прошлое требовало пересмотра истории «города и мира». Джон Арнольд отмечает:

Надо ли доказывать, что любая попытка сделать историю значимой (*matter*) для широкой публики неизбежно до какой-то степени играет на руку определенной (*particular*) политике, а это, в свою очередь, ведет к партикулярной интерпретации истории?⁵⁵

Поскольку процесс формирования исторической памяти совпал с переворотом, связанным с появлением новых электронных средств фиксации, хранения и воспроизведения информации, на протяжении последних десятилетий возникла целая «индустрия памяти»⁵⁶, в которой активно трудятся энтузиасты от политики, журналистики, искусства, музееведения и истории.

Помимо прагматического группового, существует и «чистый» интерес к истории на самых разных уровнях: от прошлого индивида и семьи до объединяющихся в исторические общества знатоков отдельных событий и биографий героев прошлого, локальных патриотов и т.д. Ностальгия по прошлому — это взгляд на культурную традицию модерна как на что-то завершившееся или завершающееся на наших глазах. Историзация как бы ком-

⁵⁴ Процессы, связанные с упрочением практик исторической памяти, давно привлекли внимание исследователей и достаточно хорошо изучены (Я. Ассман, Б.В. Дубин, М. Камен, Д. Лоуэнталь, П. Нора, О.Г. Эксле, П. Рикёр, Л.П. Репина, Р. Розенцвейг, Р. Самуэль, Д. Телен, М. Ферро, представители устной истории).

⁵⁵ *Arnold J. Why History Matters...*

⁵⁶ *Donoghue F. Can the Humanities Survive the 21st Century?*

пенсирует утрату значимости того или иного явления, происходящую в настоящем. Так, например, «рабочая история процветает, когда рабочий класс перестает играть активную политическую роль, история семьи процветает, когда распадаются семейные связи»⁵⁷. Осмысление феномена постмодерного отношения к настоящему мы находим и у французского историка Франсуа Артога⁵⁸, рассуждающего о том, что ныне прошлое определяется настоящим, которое более, чем когда-либо ранее, способно воспринимать себя как «будущее прошлое» и целенаправленно обеспечивает материалами грядущие исторические исследования. Отдельно можно указать и на появление термина «*histotainment*» — напоминание о «чистом» удовольствии от истории.

И наконец, мы приходим к росту интереса к прошлому (связано с пунктами 1, 2, 4), который в разных странах хорошо фиксируется продажами исторических книг (устойчивое словосочетание: *history sells*), материалами опросов, увеличением количества и разнообразием низовых инициатив (любительские тематические исторические общества, местные музеи, исторические перформансы, движения реконструкторов, любительские исторические фильмы и хроники, публичные лекции, ведение исторических интернет-сайтов, создание семейных историй и проч.)⁵⁹.

Конечно, причины роста ПИ можно специфицировать по странам. Например, Дэвид Кеннедин, говоря об экстраординарной популярности истории в Великобритании, называет факторы, связанные с политическими процессами в Соединенном Королевстве: миллениум, гибель Империи, события в королевской семье, увеличение количества выпускников с дипломами историков и фундаментальные изменения в социальной структуре системы образования и в потреблении медийной продукции⁶⁰.

Описывая позицию своих респондентов по вопросу о том, кому «принадлежит» история, Розенцвейг, один из соавторов этапной для публичной

⁵⁷ *Samuel R. Continuous National History // Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity: 3 vols. Vol. 1 / R. Samuel (ed.). L.; N.Y.: Routledge, 1989. P. 9–20.*

⁵⁸ *Hartog F. Regimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps. P.: Editions du Seuil, 2003.*

⁵⁹ См. материалы круглого стола: «Неакадемические формы работы с прошлым». 2013. 26 марта. ИГИТИ НИУ ВШЭ и Международное общество «Мемориал» // Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Поletaева. М.: НИУ ВШЭ, сор. 1993–2013. <<http://igiti.hse.ru/announcements/77065506.html>>; <<http://igiti.hse.ru/Meetings/Conferences/NonAcadVideo>>; <http://igiti.hse.ru/Meetings/NonAcademic_Report> (дата обращения: 26.03.2014). Замысел мероприятия состоял именно в том, чтобы выйти за пределы нашей башни из слоновой кости и пригласить к диалогу людей, которые обитают за ее стенами и работают с прошлым по иным стандартам.

⁶⁰ *Cannadine D. Introduction // History and the Media / D. Cannadine (ed.). P. 1–6.*

истории книги «Присутствие прошлого: повседневное использование истории в американской жизни»⁶¹, пишет:

Люди предпочитают сами создавать свою историю. Когда они сталкиваются с историческими выводами, предложенными другими, они стремятся рассмотреть их критически и сопоставлять с собственным опытом или опытом известных им людей. В то же время они признаются, что исторические работы, которые не вызывают у них доверия и не выдерживают критики, — коммерциализированные истории на телевидении или учебники для старших классов — не смогли ни увлечь их, ни оказать на них влияние⁶².

Разрыв науки и повседневности, запрос общества на историю, партисипаторное сознание, императивы рынка труда гуманитариев и прочие названные выше социокультурные факторы способствовали тому, что в публичных инициативах по изучению и репрезентации истории объединяются усилия дилетантов и профессионалов, возникает платформа для диалога и исследовательских поисков. При чтении текстов по ПИ становится очевидным, что у многих представителей этой сферы деятельности есть синдром «народничества». Ждет ли их разочарование? Думаю, что нет, потому что они, в отличие от народников, идут не проповедовать, учить и лечить, а сотрудничать. И между ними и теми, к кому они идут, нет социально-культурного конфликта, их объединяет интерес, отличаются же они только наличием профессиональных знаний. Как пишет Филипп Скарпино, «как историки, все мы занимаемся исследованиями, анализируем и интерпретируем найденное нами и обсуждаем полученные результаты. Основное различие между публичной и академической историей лежит в сфере коммуникации — в публике, к которой мы обращаемся, и в средствах, которые мы используем для передачи наших познаний той или иной аудитории»⁶³.

Поскольку публичная история «может означать историю для публики, историю публики, историю, создаваемую самой публикой или при ее участии»⁶⁴, возникает еще и задача определения публики. Социология может дать нам ответ на вопрос о феномене публики (здесь можно указать на

⁶¹ *Rosenzweig R., Thelen D. The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life. N.Y.: Columbia University Press, 1998. P. 292.* Авторы на материалах телефонных интервью изучали, как простые американцы в своих повседневных практиках обращаются к прошлому, для чего они к нему обращаются и что им это дает.

⁶² Цит. по: *Rosenzweig R. Afterthoughts: Everyone a Historian...*

⁶³ *Scarpino P.V. Some Thoughts on Defining, Evaluating, and Rewarding Public Scholarship // The Public Historian. 1993. Vol. 15. No. 2. Spring. P. 55–61.*

⁶⁴ См.: *Franco B. Public History and Memory: A Museum Perspective // The Public Historian. 1997. Vol. 19. No. 2. Spring. P. 65.*

долгую традицию⁶⁵); однако такие известные социологи, как Алан Вольф, Роберт Патнем, Тедда Скокпол, Ричард Сеннет, вообще считают, что публика (общественность) сегодня исчезает под разрушительным влиянием рынка, колонизации медиа и бюрократических уловок⁶⁶. Однако само существование публичной истории и, как мы покажем ниже, социокультурные факторы ее возникновения свидетельствуют об обратном. В определенном смысле публика только сейчас и возникает, причем возникает уже не как масса, к которой обращен авторитетный голос специалиста, а как партнер по коммуникации. При этом важно учитывать, что, говоря о ПИ, всегда приходится иметь в виду специфику той аудитории, к которой обращается или с которой взаимодействует историк, — общее понятие «публика» здесь не всегда инструментально.

5. Как? Или Skill of transmission

Отвечая на вопрос «когда?», я говорила преимущественно о публичной истории в расширительной интерпретации, тогда как, отвечая на вопрос «почему?», — о ПИ в узком значении. Однако эти значения в определенный момент оказываются внутренне конфликтными. Первое предполагает априорное разделение профессиональных и непрофессиональных контекстов деятельности историка, «основное место работы» и «совместительство» или даже хобби, констатируя приоритет первого и растущую важность второго. Как пишет Пэнто, «журналистская деятельность перестает восприниматься как маргинальная, отныне она призвана стать как бы частью обычных атрибутов карьеры нового мандарина»⁶⁷. Второе допускает, что мы ставим вопрос о новой профессии, а то и дисциплине, предполагая идентификацию, специализацию, создание соответствующих институций — образовательных и коммуникационных (программы обучения, журналы, ассоциации, конференции и т.д.).

Если мы говорим о тех, «кто пишет широко читаемые, обсуждаемые и влияющие на публику книги; тех, кто выступает в СМИ, освещая проблемы интерпретации прошлого, имеющие общественное звучание», то речь, как правило, идет не о профессиональном контексте ПИ, а о том, каковы стратегии, используемые историками и определяющие их успех в этих сферах

⁶⁵ В числе видных исследователей этого феномена должны быть названы Роберт Парк, Уолтер Липпман, Джон Дьюи, Ханна Арендт, Юрген Хабермас, Ричард Сеннет, Нэнси Фрейзер, Майкл Уорнер и др.

⁶⁶ *Burawoy M.* For Public Sociology. Presidential Address. 2004. P. 8.

⁶⁷ *Пэнто Л.* Философская журналистика. С. 10.

(по-видимому, они будут различными), и какую реакцию у публики и профессионального сообщества они вызывают. Как преодолеваются ограничения академического аскетизма, как профессиональные знания и навыки совмещаются с формами общения, ориентированного на непосвященную аудиторию?

Замечу попутно, что, по мнению некоторых исследователей, участие профессионалов в медиасреде может позитивно влиять на академическую науку. Как пишет Пэнто о философии, внеуниверситетский успех популярной философии оказывает существенную поддержку философии в школе:

Парадоксальным образом, медийный успех укрепляет академизм, поощряя продукцию, наиболее отвечающую внутренней логике школьного воспроизводства, даже ту, которая производится и передается самими конформистскими преподавателями средней школы: ведь для того чтобы отстраненно говорить о современности, желательно привлекать проверенные и широко признанные ресурсы этой школьной дисциплины⁶⁸.

Каковы механизмы трансформации «научного» историка в «публичного», когда он выступает в роли транслятора знания? Как преобразуется само это знание и опыт его производителя? Это то же самое знание или уже нечто иное?

Если же мы говорим о людях, которые профессионально идентифицируют себя как публичные историки, то возникает вопрос о skills, а также о ценностях и нормах — т.е. о том, что позволяет конституировать ПИ как отдельную профессию.

При этом когнитивная составляющая здесь связана не с противопоставлением ПИ академической исторической науке в качестве новой познавательной программы — в приведенных определениях это не заметно, — а скорее с новым объектом исследования: «историей с публикой» (разумеется, с этим может быть связано и теоретико-методологическое своеобразие). Используя слова Ульриха Бека, сказанные о публичной социологии, ПИ тоже «необходима собственная репутация, свое видение, своя методология, свое отнесение к ценности (“Wertbeziehung” у Макса Вебера) и собственный голос, чтобы быть услышанной на <...> публичных аренах»⁶⁹.

В связи с решением коммуникативных задач («эффективное и этическое управление»), можно, как мне кажется, говорить о круге вполне профессионально-релевантных вопросов вроде следующих: каким образом неоднозначность прошлого, фиксируемая в академических исследованиях, может быть переведена на язык, доступный неспециалисту; каким образом

⁶⁸ Там же. С. 14.

⁶⁹ Beck U. How not to Become a Museum Piece... P. 338.

имеющееся знание о прошлом включается в опыт современного человека — динамичный, обусловленный воздействием медиатехнологий и т.п.; каким образом должна быть переустроена практика накопления исторических источников в связи с дифференциацией системы хранилищ, переходом на новые механизмы коммуникации и использованием новых средств консервации информации и т.п.

Если анализировать трансформацию мастерства и трансмиссию знания профессионального историка, выступающего в публичной роли «по совместительству», то здесь я тоже вижу серьезную исследовательскую проблему. В то время как одни сохраняют дистанцию, что свойственно идентичности ученого, «авторы другого типа чаще всего используют эмоциональный репертуар, необходимый для того, чтобы поддерживать со своими непосвященными читателями сложные отношения — одновременно соблазна и шантажа»⁷⁰. Риторически, аргументативно, психологически разговор с публикой устроен иначе, чем диалог ученых; историк должен понимать, что говорит с обычными людьми, носителями «наивного знания», и при этом не грешить против знания профессионального.

Сначала я предполагала использовать эмпирический материал, в частности интервью. Но при том что интервью с вопросами о ПИ достаточно много⁷¹, я не нашла в них вопросов о том, как происходит трансформация мастерства. Успешно выступая в публичной роли, используя свои научные результаты в качестве ресурса для популяризации истории, историки не задумываются о том, как они «говорят прозой». Включение мной подобного вопроса в интервью, собранные участниками студенческой лаборатории «Культура университетской памяти» в рамках проекта «Культура университетской памяти в России: механизмы формирования и сохранения»⁷², пока это наблюдение

⁷⁰ Пэнто Л. *Философская журналистика*. С. 3.

⁷¹ См., например, подборку интервью с английскими историками: *Interviews // Making History: The Changing Face of the Profession in Britain*. L.: The Institute of Historical Research, cop. 2008. <<http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/>> (дата обращения: 26.03.2014).

⁷² За шесть месяцев работы участники лаборатории подготовили два типа вопросника и собрали по ним 31 интервью (значительная их часть взята у историков). Тексты интервью выложены на сайте Центра университетских исследований ИГИТИ НИУ ВШЭ: *Интервью по истории университетов // Центр университетских исследований*. М.: НИУ ВШЭ, cop. 1993–2013. <<http://igiti.hse.ru/unimemory/interview>> (дата обращения: 26.03.2014). Мной были предложены следующие вопросы:

- Выступаете ли вы в качестве публичного историка? Какую пользу такой роли для историка-профессионала вы видите?
- Когда вы выступаете в роли публичного историка/ученого, на чем вы акцентируете внимание слушателя? Что вас больше привлекает в публичной науке: письменная (публикация популярных исторических работ в малой и большой форме) или устная форма (ТВ, радио)?

не опровергает. Ученые легко и по-разному отвечают на вопрос, почему они выступают в роли публичных, но уклоняются от ответа на вопрос о том, как трансформируется их мастерство, или отвечают довольно однообразно.

Однако вслед за моим выступлением с докладом по публичной истории я получила следующие размышления от Кирилла Левинсона:

После выступления на «Эхе Москвы» мне пришел в голову ответ (один из многих возможных) на Ваш вопрос о том, что переключается в голове у историка, когда он выступает в качестве «public historian». Когда он выступает перед коллегами, ему важно сказать им, знающим многое, нечто новое, добавленное лично им к общему фонду знания историков. А когда он выступает перед «общественностью», он должен рассказать людям многое такое из этого фонда, что для историков тривиально, но чего простые люди не знают, т.е. его задача тут — не обогащать фонд знания историков, а представлять его публике.

И еще: разговор о методе исследования, о степени изученности проблемы, концептуальные споры, вообще вся эпистемология — это для выступления перед профессионалами, а для непрофессионалов — прежде всего, результаты, рассказ о том, «как это было на самом деле», именно в форме повествования о событиях и личностях, причем простым и общепонятным языком, с минимумом терминов (и каждый термин пояснять!), с минимумом ссылок, которые [в этом случае] лишь придают словам выступающего больший вес, а не служат «подключению» аудитории к его рабочему процессу⁷³.

Еще сложнее обнаружить механизм трансформации профессионального историка в публичного в его практической деятельности. Примеры работы историка с общественностью отражены и в специальных изданиях, и на многочисленных сайтах ПИ, но по таким описаниям не удастся отследить механизмы трансформации. Конечно, каким-то навыкам и компетенциям, предполагающим сохранение профессионализма при работе с общественностью, учат в университетах на соответствующих магистерских программах. При этом публичный историк должен понимать правила, по которым историческое знание функционирует за пределами научного сообщества, представлять себе группу, с которой он ведет диалог, ориентироваться в тематике, вызывающей общественный интерес. В этом ключе магистерские программы могут дать интересные данные, показывающие на какие конвенции с потребителем претендуют публичные историки и как эти конвенции достигаются.

• Можете ли вы определить, что с вами происходит, когда вы выступаете в роли публичного историка? Является ли для вас публичная история набором специфических практик? Различаете ли вы конвенции, по которым происходит конструирование прошлого в научной и публичной истории?

Анализ материалов опросов см.: *Gafina Z., Savelieva I. Academic Historians in Russian Media: A Selfie-Session // Rozprawy z Dziejów Oświaty. 2014. Vol. LI. P. 11–33.*

⁷³ Из письма К.А. Левинсона И.М. Савельевой, 16 марта 2013 г. Архив автора.

Допустим, чувство границы профессии приходит в процессе работы в поле публичной истории, но не представляется возможным убедительно его подтвердить — разве что заявлениями о том, что профессиональная история является *conditio sine qua non* публичной истории⁷⁴.

Как тогда на данном этапе можно исследовать этот аспект (а он-то как раз и кажется мне одним из самых интересных)? В тех случаях, когда речь идет о ПИ в широком значении, это может быть анализ профессиональных и публичных текстов одного и того же историка. Однако и на сложность такой дистинкции обращает внимание Эрик Хобсбаум, ссылаясь в качестве примера на список книг, получивших в 1972 г. Премию Вольфсона по истории (Wolfson History prize)⁷⁵, которой награждают за выдающееся мастерство в создании книг по истории для широкой публики. По словам Хобсбаума, эти книги

...в определенном смысле репрезентируют серьезную историю, бесспорно требующую оценки серьезных профессиональных историков, но адресованы они читателям, которые не обязательно являются профессионалами. И вы обнаружите, что это заслуживающие большого уважения, очень высокого уровня произведения. Это в основном первоклассные работы, но такие первоклассные работы, которые написаны для широкой публики⁷⁶.

Изучение разных регистров исторической устной или письменной речи представляет собой отдельную и трудоемкую работу, и в данной главе я могу лишь указать на нее как на многообещающую исследовательскую перспективу. Помимо текстологического анализа интересные результаты, возможно, даст и обращение к психолингвистическим методам. В тех случаях, когда речь идет о практической работе историка с общественными груп-

⁷⁴ См., например, ответ И.Н. Данилевского: «В публичных выступлениях я, прежде всего, стараюсь оставаться на профессиональных позициях: объяснять, откуда это известно, что представляют собой исторические источники, донесшие до нас информацию о том или ином событии, человеке или процессе, как эта информация может быть корректно обработана, и что происходит, если историческая информация обрабатывается тенденциозно» (из интервью И.Н. Данилевского на сайте Центра университетских исследований ИГИТИ НИУ ВШЭ: Интервью с Игорем Николаевичем Данилевским // Центр университетских исследований. М.: НИУ ВШЭ, соp. 1993–2013. <http://igiti.hse.ru/unimemory/int-danilevsk?_r=207011363983774.48311&__t=478029&__r=OK> (дата обращения: 26.03.2014).

⁷⁵ Премия Вольфсона по истории является литературной премией, ежегодно присуждаемой в Великобритании с целью обеспечения и поощрения *standards of excellence* в трудах по истории для широкой публики. Ежегодно награждаются две или три выдающиеся работы, опубликованные в течение года, и периодически вручается еще и награда за выдающиеся достижения в написании истории (*oeuvre prize*). Присуждение премии спонсирует и администрирует Фонд Вольфсона, победителей определяет жюри, состоящее из знаменитых историков.

⁷⁶ *Hobsbawm E. Interview Transcript // Making History: The Changing Face of the Profession in Britain. L.: The Institute of Historical Research, соp. 2008.* <http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/Hobsbawm_Eric.html> (дата обращения: 26.03.2014).

пами и организациями, конечно, результативными были бы направленные интервью и работа в поле. Отрефлексированные наблюдения и обработка записей, сделанных в ходе реализации проекта, могут стать исходным пунктом для выработки обоснованной теории (*grounded theory*).

Пока же вопрос: является ли публичная история набором специфических практик или отдельной профессией с собственными условиями легитимации знания, — я перевожу собственно в плоскость анализа механизмов производства, передачи и признания исторического знания и конвенций, по которым происходит конструирование прошлого в научной и популярной истории. Я в данном случае ищу ключи в привычной мне сфере анализа разных типов и уровней социального знания. Удивительным образом, несмотря на постоянные коллизии и дискуссии, которые возникают в публичной сфере по поводу искажений «исторической истины» в медийном знании о прошлом, эта проблема остается теоретически неисследованной. Учебники, исторические романы, памятники — все валится в одну кучу (некогда Пьер Нора именно эту кучу вполне возвышенно назвал «места памяти»), хотя теоретические аспекты формирования знания о прошлом, на мой взгляд, могут исследоваться в рамках феноменологической концепции социологии знания (исследования, посвященные анализу механизмов формирования экспертного и обыденного знания, публиковали Питер Бергер и Томас Лукман, Дэвид Блур, Джордж Гилберт, Майкл Малкей, Карин Кнорр-Цетина, Яакко Хинтика и др.)⁷⁷.

* * *

История лишь один из типов знания о прошлой социальной реальности. Религия, философия, идеология, искусство и общественные науки тоже конструируют свои образы прошлого, хотя в настоящее время историческая наука играет доминирующую роль в общей совокупности представлений о прошлом. Обоснование тезиса, что в разных типах знания прошлое конструируется разными способами и по разным законам, — одно из главных научных открытий А.В. Полетаева⁷⁸. В нашей последней совместной работе, «Социальная организация знаний о прошлом: аналитическая схема», принята попытка систематизации различных подходов к анализу механизма формирования социальных представлений о прошлом и предлагается концепция, демонстрирующая познавательные возможности и взаимосвязи

⁷⁷ *Gilbert G.N.* The Transformation of Research Findings...; *Gilbert G.N., Mulkay M.* Opening Pandora's Box: A Sociological Analysis of Scientists' Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; *The Historical Film: History and Memory in Media / M. Landy (ed.)*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2001; *Knorr-Cetina K.D.* The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon Press, 1981.

⁷⁸ *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Знание о прошлом.

разных познавательных дискурсов⁷⁹. В указанной статье сложный феномен формирования социальных представлений о прошлом представлен в виде условной схемы, структурирующей процесс производства, передачи и усвоения знаний о прошлом. Мы выделяем три уровня формирования представлений и, соответственно, три объекта анализа: источники формирования представлений о прошлом, собственно механизм формирования и конечные результаты этого процесса, т.е. содержание представлений о прошлом.

Как и другие типы знания, историческое знание всегда существовало и как знаточеское, и как популярное (хотя носители и распространители последнего во многих случаях являлись профессионалами), и уже хотя бы поэтому массовое знание связано с «высоким». Связь между популярной медийной продукцией и отношением публики к исторической науке довольно сложная. Обычный человек чаще всего ждет от профессиональных историков «правды», т.е. одной согласованной версии истории, а от литераторов — выдумки, развлечения. Разместить между этими «понятными» ему полюсами популярную «как бы научную» историческую продукцию ему вообще крайне трудно и, видимо поэтому, он относится к ней скорее как к достоверной, тем более что такие версии обладают соответствующими признаками научности: документальными материалами, свидетельствами очевидцев, причинно-следственной системой аргументации. У популярного исторического знания долгая традиция, что тоже немаловажно. Отталкиваясь именно от этого бесспорного тезиса, сторонники демократизации истории обычно подчеркивают, что история не является прерогативой историка, потому что она — «социальная форма знания; работа, которую во всех возможных случаях выполняют тысячи разных рук»⁸⁰.

Чтобы перейти к вопросу о взаимодействии научного и популярного знания в «руках» историка, оттолкнусь от рассуждения Вольфганга Моммзена. Говоря о критериях верификации *научного* исторического знания и суждения, он писал, что исторические работы и исторические суждения являются научными, если они «интерсубъективно понятны и верифицируемы». Интерсубъективность исторического знания конституируется через суждения других людей, прежде всего историков. Точно так же очевидна верифицируемость исторических суждений (дискурсов), которая достигается на основе по крайней мере трех вполне конкретных критериев.

1. Были ли использованы относящиеся к данному вопросу источники и были ли приняты во внимание результаты предшествующих исследований, в том числе последних?

⁷⁹ Они же. Социальная организация знаний о прошлом: аналитическая схема // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2011. Вып. 35. С. 7–18.

⁸⁰ Samuel R. Theatres of Memory. P. 8.

2. В какой мере в этих исторических суждениях интегрированы все имеющиеся исторические данные?

3. Являются ли эксплицитные или лежащие в основе данного суждения объясняющие модели строгими, когерентными и непротиворечивыми?⁸¹

Легко заметить, что верифицируемость суждений в качестве научных в данном определении признается прерогативой профессионалов, а как простому человеку судить о научности предложенной ему версии — остается неясным. Если представить публику как субъекта, то может ли знание быть признано научным, если оно для нее не понятно и не верифицируемо (т.е. в его изложении используются неясные для публики аргументы)? Очевидно, что применительно к публичной истории безусловным является только третий критерий, и мы прекрасно понимаем, что он исполним при отсутствии двух первых. Но возможно, первых два присутствуют имплицитно (невидимо и неслышимо)? Вероятно, свидетельством сохраненной научности могут быть научные работы историка по той же проблематике?

Наконец возникает главный вопрос: если мы говорим о профессиональном сообществе, то несомненно, что в нем должны вырабатываться критерии оценки собственной деятельности, различения хорошего и плохого. Но каковы они, если когнитивные критерии, релевантные для академической истории, здесь не работают или работают не вполне? Что означают понятия «истина», «объективность» в дискурсах публичной истории?

Чтобы в первом приближении разобраться с этими вопросами, я составила таблицу, которая ни в коей мере не претендует на полноту или законченность (см. табл. 1).

Таблица 1
Критерии научной и публичной истории

Критерии	Научная история	Публичная история
Адресат	Научное сообщество	Группа, сообщество, публика. Эти термины предполагают разнообразные социальные образования, отличающиеся друг от друга по возрасту, полу, социальной и этнической принадлежности, месту жительства, образованию, интересам, прошлому опыту и т.д.

⁸¹ *Mommsen W.J. Social Conditioning and Social Relevance in Historical Judgements // History and Theory. 1978. Vol. 17. December. No. 4. P. 33.*

Критерии	Научная история	Публичная история
Цели	Историческая истина	Соучастие, просвещение, сохранение памяти, формирование идентичности, но, может быть, и истина
Метод	Исторический метод (каузальный, сравнительный, статистический, семиотический и интерпретативный) и методы других наук о человеке	Обращение к нетрадиционным свидетельствам и форматам презентации, литературная реконструкция, рецептивная эстетика, эмпатия
Продукты и практики	Научные книги, статьи, лекции, доклады. Рецензии в академических изданиях. Научные проекты. Научная работа в музеях и архивах	Популярные книги, статьи, лекции, доклады. Рецензии и колонки в популярных изданиях. Проекты, перформансы, создание музеев, архивов (памяти, идентичности и проч.)
Форма	Академическое письмо ⁸²	Интеллектуальное письмо. Демократизация речи. Особая роль визуальных источников

Мне кажется, для решения вопросов о легитимных способах производства исторического знания за пределами академических институтов, о конвенциях, по которым оно производится, и о практической деятельности историка в контексте «разделения властей» с публикой продуктивно следующее рассуждение Майкла Буравого о согласии относительно статуса истины в профессиональной и публичной социологии. Привожу его полностью (купюра и пояснения в квадратных скобках авторы главы):

В случае профессиональной социологии акцент делается на производстве теорий, которые соответствуют эмпирическому миру, <...> в то время как в публичной социологии знание основано на консенсусе между социологами и их аудиторией. Каждый тип социологии имеет свою собственную легитимацию: профессиональная социология легитимирует себя, ссылаясь на научные нормы, публичная социология — на свою актуальность. Каждый тип социологии имеет и свою собственную ответственность [в смысле «подотчетность»]: профессиональная социология несет ответственность перед экспертами-рецензентами, публичная социология — перед той общественностью, которую она

⁸² «Как бы ни внедрялись в жизнь термины, в языке науки остается нечто, что нельзя перевести на обыденный язык» (Филиппов А. Ф. Механика объяснения в социальных науках: по ту сторону риторики и политики. Доклад на «Полетаевских чтениях» 2011. Сентябрь 27).

выбрала [в качестве адресата]. Кроме того, каждый тип социологии имеет свои собственные политические импликации. Профессиональная социология отстаивает научные критерии, публичная социология понимает свою политику как демократический диалог. Наконец, и это самое главное, каждый тип социологии страдает своей патологией, происходящей от его когнитивных практик и его включенности в разные институты⁸³.

Применение этого рассуждения к анализу отношений между научной и публичной историей показывает еще одно направление анализа. Подытоживая размышления, в дисциплинарном аспекте вопрос можно сформулировать так: историки в роли публичных «передатчиков знания» — это одна из ролей или отдельная профессия? Если принять тезис Буравого (а он разумен), то ПИ — профессия, но не научная дисциплина. Профессионализм в данном случае подразумевает знание истории (историческое образование) плюс владение специальными практиками работы с общественными группами и организациями.

⁸³ *Burawoy M. For Public Sociology. P. 15.*

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТИЗМ: ЛИНГВИСТИКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ*

Вопрос о дисциплинарных границах филологии (как единой науки о языке и литературе) и ее внутренней структуре очень непросто. Например, созданный в 2011 г. в НИУ ВШЭ факультет филологии делится на два направления: лингвистики и филологии. Несколько огрубляя, можно сказать, что этот факультет готовит филологов-филологов и филологов-нефилологов. Эту терминологическую коллизию неправильно было бы считать неудачным выбором названия или, тем более, случайностью: она отражает объективную сложность дисциплинарного поля. Например, на вопрос, является ли лингвистика частью филологии, многие лингвисты ответят решительным «нет!», хотя согласно официальной классификации специальностей это именно так¹. Можно продолжать называть специалистов по художественным текстам «литературоведами», как уже принято в отечественной науке, хотя некоторые ученые отвергают именно такую идентификацию, предпочитая называться «просто» филологами, чтобы не ассоциироваться с литературной критикой, во-первых, и не отказываться от академического интереса к исследованию языка — во-вторых. Наверное, естественнее всего было бы определить лингвистику как новую дисциплину на последнем этапе обособления от традиционной филологии, причем многие лингвисты признают эту эмансипацию свершившимся фактом, а некоторые филологи — тенденцией, которая нуждается в преодолении. Осложняется эта коллизия еще и тем, что практическое изучение иностранных языков в наше время также все чаще называют лингвистикой².

* Благодарю членов-корреспондентов РАН, Владимира Михайловича Алпатова и Владимира Александровича Плуногяна, за ценное обсуждение этой статьи и важные уточнения.

¹ Один известный лингвист ругал своих студентов «филологами», имея при этом степень кандидата филологических наук.

² Критику этого словоупотребления с позиции «настоящих» лингвистов см. у В.А. Плуногяна: Плуногян В.А. Современная лингвистическая типология // Вестник РАН. 2011. Т. 81. № 4. С. 301–311.

Мы не претендуем на решение непростой проблемы дисциплинарного членения внутри филологии и в сопредельных областях. Данная глава посвящена более частному аспекту: соотношению понятий «лингвистика» и «языкознание/языковедение» в контексте институциональной истории филологического факультета МГУ. Именно здесь во второй половине XX в., если уместна метафора гражданской войны, шли довольно напряженные бои между «самопровозглашенной» лингвистикой и филологической «метрополией», в связи с деятельностью Отделения структурной и прикладной лингвистики (далее — ОСиПЛ). Если говорить о связях с другими лингвистическими сообществами, то у ОСиПЛа/ОТиПЛа не было регулярной совместной деятельности ни с ленинградцами (кафедра математической лингвистики филфака ЛГУ), ни с новосибирцами (отделение математической лингвистики гуманитарного факультета НГУ); тем более, не могло быть интенсивных контактов с зарубежными учеными и студентами. Связи с Лабораторией машинного перевода и Отделением машинного перевода (позднее — Отделением прикладной лингвистики) Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза у университетских лингвистов были, но само отделение просуществовало недолго³. Поэтому имеет смысл говорить о преподавателях, сотрудниках, студентах и выпускниках ОСиПЛа как об отдельном академическом сообществе.

Конечно, «лингвистика» и «языкознание/языковедение» остаются синонимами, однако как будет показано ниже, в некоторых случаях эти термины указывают на противоположные тенденции, противоборствующие школы в науке о языке. Однако прежде, чем обратиться к главной теме этой работы, необходимо обрисовать, обратившись к предыдущей истории, хотя бы в самых общих чертах соотношение между филологией и лингвистикой в европейско-американском контексте. Маркером самостоятельности лингвистики может служить прежде всего ее институциональный статус.

³ Обе институции первоначально возглавлял В.Ю. Розенцвейг, но вскоре отделение было передано кафедре общего языкознания, а «к середине семидесятых Отделение прикладной лингвистики и вовсе было сведено на нет» (Гиндин С.И. Штрихи к портрету А.Я. Шайкевича // Московский лингвистический журнал. 2003. Т. 7. № 1. С. 25). Таким образом, академического сообщества, которое было бы не только кругом научных сотрудников, но и полноценной самовоспроизводящейся системой, в МГПИИЯ, в отличие от ОСиПЛа не сложилось, хотя среди преподавателей и выпускников института немало крупных ученых-лингвистов. С.И. Гиндин предлагает в этом контексте говорить об «Остоженском (или Метроостроевском) лингвистическом сообществе» (Там же. С. 24).

1. Европейско-американский контекст и несостоявшееся рождение советской лингвистики

Как справедливо пишет Роберт Генри Робинс, в XIX в.⁴ лингвистика в значительной степени

...была сконцентрирована на историческом изучении индоевропейских языков. <...> В этот период лингвистика была преимущественно заповедником немецкой науки, и те, кто работали в других странах, или получили подготовку в Германии, как американец У.Д. Уитни⁵, или были выходцами из Германии, как Макс Мюллер в Оксфорде⁶.

Традиция науки о языке не теряла связи с античной грамматикой, и лингвистика в XIX в. ассоциировалась с классической филологией, а также — благодаря особой роли санскрита — с востоковедением⁷. Многие известные языковеды занимали кафедры филологии и востоковедения. Август Вильгельм Шлегель 30 лет был профессором литературы и истории искусства в Боннском университете со времени его основания в 1814 г.⁸ Франц Бопп в 1821 г. стал в Берлине профессором восточной литературы

⁴ Почему этот обзор следует начинать с XIX в.? Как справедливо показывает А.М. Дэвис, только в начале этого столетия лингвистика занимает определенное место в университете, а в предшествующие века ученые, исследовавшие язык, скорее могут считаться философами, чем лингвистами (*Morpugo Davies A. History of Linguistics. Vol. IV: Nineteenth-Century Linguistics / G. Lepschy (ed.). L.; N.Y.: Longman, 1998. P. 3–4*).

⁵ Уильям Дуайт Уитни (1827–1894) может считаться основателем американской лингвистики. По крайней мере одна из недавних монографий прослеживает историю науки о языке в США от Уитни до Хомского (*Joseph J.E. From Whitney to Chomsky: Essays in the History of American Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 2002*).

⁶ *Robins R.H. A Short History of Linguistics. L.: Longman, 1976. P. 169.*

⁷ Открытие сходного с греческим и латынью санскрита привлекло внимание многих европейских интеллектуалов к лингвистической проблематике. Первые версии индоевропейской реконструкции отличались ярко выраженным «санскритским акцентом». Однако позднее древнеиндийский занял гораздо более скромное место: «Обычное явление в сравнительно-историческом языкознании состоит в том, что некоторые языки <...> признаются более важными или ближайшими к языку-предку, чем другие. <...> Иногда причина может лежать в ошибочной вере <...>, что данный язык «гораздо древнее». <...> Таков, например, случай санскрита» (*Нокк Н.Н. Privileged Languages and Others in the History of Historical-Comparative Linguistics // History of Linguistics 2005. Selected papers from the X International Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS X), 1–5 September 2005, Urbana-Champaign, Illinois. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 2007. P. 274*).

⁸ *John J. Schlegel, August Wilhelm von // Neue Deutsche Biographie 23. 2007. S. 38–40. <<http://www.deutsche-biographie.de/pnd118607960.html>> (дата обращения: 07.03.2014).*

и общего языкознания; видимо, это было первое появление лингвистики в названии профессуры, которое стало компромиссом между традиционной и новой дисциплинарными парадигмами⁹. В Дании Расмус Раск занимал с 1831 г. пост экстраординарного профессора восточных языков Копенгагенского университета¹⁰. Изучение языков в Германии проходило в рамках «германской, египетской, индийской, романской и английской филологий», а «более богатые университеты могли себе позволить также славянскую и кельтскую филологии»¹¹.

Упомянутый Макс Мюллер (1823–1900), который учился в Лейпциге классической филологии и философии, а в Оксфорде вначале занял кафедру новых европейских языков (с 1850 г.), затем получил место профессора сравнительной филологии¹². Во Франции первая кафедра сравнительной грамматики появилась в 1852 г., а Парижское лингвистическое общество было официально основано в 1866 г.¹³ О другой институциональной форме — научных лингвистических журналах — можно говорить, начиная с 1820-х годов, однако это были периодические издания по востоковедению, в которых публиковались отнюдь не только статьи о языке. Процесс создания именно лингвистической периодики в Германии начинается лишь в середине века, а, например, в США первый журнал по языкознанию выходит только в 1917 г.¹⁴ Американский антрополог Уолтер Гольдшмидт даже полагал, что «лингвистика стала отдельной дисциплиной лишь спустя примерно десятилетие после Второй мировой войны», когда стали появляться соответствующие кафедры в университетах США¹⁵.

Вплоть до начала XX в. в центре внимания лингвистов были компаративистика и история языка¹⁶. Именно в качестве специалиста в этой области был при жизни известен Фердинанд де Соссюр (1857–1913), который

⁹ *Morpugo Davies A. History of Linguistics. P. 7.*

¹⁰ *Hansen P. Illustreret dansk Litteraturhistorie. Kjøbenhavn: Det nordiske Forlag, 1902. S. 1022.*

¹¹ *Morpugo Davies A. History of Linguistics. P. 8.*

¹² *Ibid. P. 9.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid. P. 11–12.*

¹⁵ *Koerner E.F.K. Toward a History of American Linguistics. L.; N.Y.: Routledge, 2002. P. 17.*

¹⁶ «Описания современных языков и синхронные общетеоретические работы, хотя и продолжали писаться, ушли на периферию науки» (*Алпатов В.М. История лингвистических учений. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 58*).

стал, пожалуй, главной фигурой нового этапа в истории языкознания. Современники «назвали бы его просто лингвистом, так как историческая и сравнительная лингвистика (обычно идентифицировавшаяся с индоевропеистикой) была в те времена доминирующей формой науки о языке»¹⁷. Такая лингвистика была тесно связана с филологией, ибо основывалась почти исключительно на письменных источниках, причем возможно более древних.

Неудивительно поэтому, что выдающийся русский языковед Александр Потебня (1835–1891) занимал кафедру истории русского языка и литературы в Харьковском университете и был председателем историко-филологического общества¹⁸. Санскрит для Потебни оставался частью обязательного куррикулума языковеда: во время академической поездки в Германию он слушал там соответствующий курс¹⁹. О другом выдающемся ученом, Иване Бодуэне де Куртенэ (1845–1929), его знаменитый ученик в некрологе пишет: «Он был одним из первых филологов, который основательно занялся фонетикой»²⁰. Видно, что даже в контексте исследования живых разговорных языков, которым уделял большое внимание Бодуэн, для фонетиста Л.В. Щербы наука о языке остается еще частью филологии. Да и для самого основателя Казанской лингвистической школы занятия фонетикой идут в одном ряду с традиционным изучением текстов на мертвых языках: он вспоминает, что на домашних семинарах знакомил молодых ученых «с избранными отделами науки (такими как, например, чтение Ригведы, диалектологические упражнения, ознакомление с сочинениями по физиологии звуков или антропофонике и т.п.)»²¹. Однако со временем все более убежденно ученый начинает настаивать на «последовательно синхронном подходе к языку» и «отказе от обязательного историзма»²².

Тесная связь наук о языке и литературе, а также преимущественное внимание лингвистики к классическим языкам не в последнюю очередь

¹⁷ *Morpus Davies A.* Saussure and Indo-European linguistics // Cambridge Companion to Saussure. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 9.

¹⁸ *Дроздовская Е.* Потебня // Литературная энциклопедия: в 11 т. 1929–1939. Т. 9. М.: ОГИЗ РСФСР, 1935. С. 180–190.

¹⁹ *Булаховский Л.А.* Александр Александрович Потебня (К 60-летию со дня смерти). Киев: Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, 1952. С. 4.

²⁰ *Щерба Л.В.* И.А. Бодуэн де Куртенэ. (Некролог) // Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1930. Т. 3. Кн. 1. С. 316.

²¹ *Бодуэн де Куртенэ И.А.* Лингвистические заметки и афоризмы по поводу новейших лингвистических трудов В.А. Богородицкого // Журнал Министерства народного просвещения. 1903. Апрель. Ч. 346. С. 30.

²² *Алпатов В.М.* История лингвистических учений. С. 121.

определялись ролью этих языков в системе среднего образования. Если в современной российской школе ближайшим к лингвистике предметом оказывается русский язык, то в гимназии немецкого образца, доминировавшей в Европе XIX в., такими дисциплинами, несомненно, были латынь и древнегреческий. Уроки мертвых языков при всей догматичности преподавания исподволь готовили к лингвистическим занятиям в определенном ракурсе²³, а способность молодежи со школьной скамьи работать с греческим и латинским материалом способствовала развитию соответствующих областей языкознания.

Довоенный период для советских наук о языке и тексте был временем институциональных экспериментов²⁴. «Великий перелом» в жизни университетов на рубеже 1920-х и 1930-х годов²⁵, сопровождавшийся выделением гуманитарных факультетов обоих столичных университетов в отдельные вузы, чуть было не стал временем оформления лингвистики как отдельной дисциплины. В 1920-е годы в Петроградском университете традиционной филологии соответствовало литературно-художественное отделение факультета общественных наук, но параллельно существовало еще и отделение этнолого-лингвистическое²⁶. Позднее в Ленинграде «на базе кафедр, кабинетов и научных лабораторий, которые составляли в прошлом факультет языка и истории материальной культуры и факультет восточных языков» университета, в 1934 г. был организован лингвистический факультет (наряду с литературным), а вуз стал называться Ленинградским институтом истории, философии и лингвистики²⁷. Заслуга в объединении востоковедения с языкознанием принадлежит здесь, по всей видимости, академику Н.Я. Марру. Опираясь на свои действительные достижения в кавказоведении

²³ Ср., впрочем: «Несмотря на высокий уровень преподавательского состава нашей гимназии, в гимназии нам никто не говорил о лингвистике как особой отрасли науки, и я о ней имел очень смутное представление» (Воспоминания П.С. Кузнецова / Предисловие и публикация В.М. Алпатов // Московский лингвистический журнал. 2003. Т. 7. № 1. С. 160).

²⁴ «Гуманитарные факультеты на протяжении нескольких лет после революции то объединялись и укрупнялись, то разделялись и разукрупнялись» (Там же. С. 176).

²⁵ Дэвид-Фокс М. Наступление на университеты и динамика сталинского Великого перелома (1928–1932 годы) // Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). М.: НЛО, 2012. С. 523–563.

²⁶ Алпатов В.М. Языковеды, востоковеды, историки. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 181.

²⁷ Университеты и научные учреждения. М.; Л.: Объединенное Научно-Техническое Издательство, 1935. С. 245; Истории, философии, литературы институты // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 10. М.: Советская энциклопедия, 1972. С. 550.

нии и объективную необходимость изучать азиатские и африканские языки, он создал институцию, отвечающую за лингвистику в целом, очевидно, ради закрепления и распространения своего «нового учения». Оно было эксплицитно противопоставлено прежним подходам, поэтому естественным выглядело нетрадиционное название «лингвистика»²⁸. Факультету ставилось в заслугу преодоление остатков «филологизма буржуазной науки, которые давили научную лингвистическую мысль, распыляя²⁹ ее энергию между слишком пестрыми, несвязанными между собою объектами»³⁰.

Кроме приведенной цитаты в этой справочной книге середины 1930-х годов о филологии более не говорится (за исключением упоминания об историко-филологических факультетах царского времени). Таким образом, филология позиционируется тогда как нечто отжившее, буржуазное и, судя по цитате, поработавшее лингвистику, — как то, что не дает ей стать единой и самостоятельной. Новая лингвистика, получившая независимость в Ленинграде, упоминаемая также в текстах о Московском ИФЛИ и Дальневосточном университете, трактуется как прогрессивная и идеологически верная наука.

Однако в итоге институциональное ниспровержение филологии и отделение от нее лингвистики не состоялось. В последующие годы в университетах создавались не литературные и лингвистические, а именно филологические факультеты; кроме того, иностранное слово «лингвистика» уступало место «языкознанию». В этом можно увидеть и проявление общей тенденции к частичной реставрации дореволюционной «нормы» в академических преобразованиях середины 1930-х годов (ликвидация Комакадемии и Институтов красной профессуры, восстановление гуманитарного университетского преподавания и т.д.). Такое развитие не было единственно возможным: восстановленная в правах наука о текстах могла занять свое место на историко-филологических факультетах, а лингвистика получить отдельное институциональное оформление.

Положение в языкознании в послевоенные годы определяется наступлением марризма и репрессиями против оппонентов «нового учения о языке». К моменту начала знаменитой дискуссии по вопросам языкозна-

²⁸ Еще в 1928 г. Марр возглавил в Коммунистической академии общественных наук секцию материалистической лингвистики (*Аллатов В.М. История одного мифа: Марр и марризм. Изд. 2-е, доп. М.: УРСС, 2004. С. 79*).

²⁹ Этот упрек традиционному языкознанию в том, что исследование отдельных языков в отрыве друг от друга влечет за собой недостаточное внимание к общелингвистическим закономерностям, будет повторяться и впредь. Однако в данном контексте он прежде всего служит марризму.

³⁰ Университеты и научные учреждения. С. 246.

ния в мае 1950 г. на филологическом факультете МГУ еще теплился один из очагов сопротивления «яфетической теории». Так, Борис Александрович Серебрянников не только читал лекции студентам филфака со сравнительно-исторических позиций, но и написал резкую антимарристскую статью в газету «Правда»³¹. После того как к дискуссии на стороне ревнителей сравнительно-исторического языкознания присоединился сам Сталин, научная истина, казалось бы, была восстановлена³², но победа над лженаукой в основном сводилась к догматизированному изложению студентам индоевропейистики в не самом современном изводе и к необходимости цитировать не всегда корректные формулировки «гениального ученого». Декан филологического факультета и заведующий кафедрой общего языкознания, Н.С. Чемоданов, который выступил на стороне марристов в дискуссии 1950 г., был вынужден уйти в отставку³³. На кафедру языкознания приходит новый и перспективный преподаватель — Владимир Андреевич Звегинцев, который вскоре (после временного заведования О.С. Ахмановой) встанет во главе подразделения³⁴. В этот период нагрузка кафедры увеличивается, ее кадровый состав расширяется, в аспирантуру поступают будущие академики В.В. Иванов, Ю.С. Степанов, В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, — а также Т.В. Булыгина, А.И. Кузнецова, Ю.С. Мартемьянов, О.С. Широков, Б.А. Успенский и другие известные ученые³⁵.

³¹ К моменту начала дискуссии он уже находился под угрозой увольнения (Воспоминания П.С. Кузнецова. С. 232).

³² Ср. воспоминания С.Б. Бернштейна: «При первом чтении я даже совсем забыл, что марризм в значительной степени детище самого Сталина. <...> Мое сердце было переполнено глубокой благодарностью» (*Бернштейн С.Б.* Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи. М.: МГУ, 2002. С. 150).

³³ Николай Сергеевич лишь незадолго перед тем был вынужден перейти на марристские позиции (*Алпатов В.М.* История одного мифа... С. 126–127, 166); после отставки он продолжил преподавать на филологическом факультете и впоследствии возглавил кафедру германской филологии.

³⁴ Он, вероятно, был креатурой В.В. Виноградова (*Успенский В.А.* Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР: Как это начиналось (заметки очевидца) // Труды по нематематике. Кн. 3. Языкознание. М.: ОГИ, 2013. С. 456), который стремился обновить академическую среду столицы, подорванную репрессиями и деморализованную борьбой вокруг «нового учения о языке». Однако затем ученые резко разошлись (*Алпатов В.М.* О студенческих годах // Алпатов В.М. и др. Полвека в японоведении: сб. ст. и оч. МГУ имени М.В. Ломоносова. Филол. ф-т ОСИПЛ. Японская группа 1968 г. вып. М.: Изд-во «Моногари», 2013. С. 44).

³⁵ *Кочергина В.А.* и др. Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания // Филол. ф-т Моск. гос. ун-та: очерки истории / под общ. ред. М.Л. Ремневой. Изд. 2-е испр. и

Кратко и емко «новые веяния», которые появились на факультете вместе с В.А. Звегинцевым, характеризует учившийся в те годы на классическом отделении М.Л. Гаспаров:

В 1955 г. В. Звегинцев, читая нам, второсортным — славистам, восточникам, античникам, — краткий курс общей лингвистики, сказал: по такому-то вопросу такие-то думают так-то, такие-то так-то, а общего мнения нет. Это было ошеломляюще: до того нам с кафедры объявлялись только истины в последней инстанции³⁶.

Эти подвижки совпали с бурными изменениями в общественной и академической жизни; если еще в начале 1950-х кибернетику называли «буржуазной лженаукой», то в 1956 г. вышла первая переводная монография по этой тематике, и вскоре слово было реабилитировано³⁷.

В том же 1956 г. — в год XX съезда КПСС — на факультете открывается семинар «Некоторые применения математических методов в языкознании»³⁸ (созданный по инициативе В.В. Иванова и В.А. Успенского, формально руководимый П.С. Кузнецовым³⁹). В своих воспоминаниях один из основателей объясняет, почему семинар пришлось назвать именно так: «...название “математическая лингвистика” казалось слишком опасным. <...> Даже вышедшая в 1961 г. книга О.С. Ахмановой и других авторов⁴⁰ имела на титуле подзаголовок “(о так называемой ‘математической лингвистике’)”⁴¹. Итак, осторожность потребовала не только указать в названии семинара, что он занимается не проблематикой языка целиком, а только некоторыми ее аспектами, но также заменить «лингвистику» на «языкознание». «Лингвистика» же, судя по всему, звучала бы недостаточно традиционно и слишком «зарубежно».

доп. М.: МГУ, 2006. С. 369. С 1953 г. на кафедре после защиты диссертации (под руководством П.С. Кузнецова) начинает работать фронтовик А.Г. Волков, ставший на фронте инвалидом (Там же. С. 367).

³⁶ Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 85.

³⁷ Богданов К. Физики vs. лирики: к истории одной «придурковатой» дискуссии // Новое литературное обозрение. 2011. № 111. С. 54.

³⁸ Успенский В.А. Серебряный век... С. 298.

³⁹ Петр Саввич был изначально не чужд математике: в молодые годы он слушал лекции Н.Н. Лузина по высшей алгебре и теории функций действительного переменного (Воспоминания П.С. Кузнецова. С. 174).

⁴⁰ Ахманова О.С. и др. О точных методах исследования языка. (О так называемой «математической лингвистике».) М.: МГУ, 1961.

⁴¹ Успенский В.А. Серебряный век... С. 298.

Еще один характерный пример: созданный в 1958 г. в Институте языкознания сектор прикладного языкознания во главе с А.А. Реформатским был в 1960 г. реорганизован в сектор структурной и прикладной лингвистики с группой машинного перевода⁴². При этом на филологическом факультете Ленинградского государственного университета отделение прикладной лингвистики было основано уже в 1958 г.; в 1962 г. там появилась и кафедра математической лингвистики. Таким образом, процесс институциональной легализации лингвистики занимает самый конец 1950-х годов вплоть до 1960-го, когда Отделение теоретической и прикладной лингвистики было создано и на филологическом факультете МГУ. Важно, что перед нами не просто случайное варьирование терминов «языкознание» — «языковедение» — «лингвистика», хотя принципиальный характер различие этих синонимов имеет далеко не всегда. Вывеска «лингвистика» и в случае с неудачным во всех смыслах проектом Марра, и в случае с закономерными и полезными процессами 1950–1960-х годов собирает ту часть академического сообщества, которая стремится к внедрению новых методов в науку о языке и к автономии от традиционной филологии. Особенно ярко важность вопроса о наименовании проявляется в истории создания отделения лингвистики на филологическом факультете МГУ.

2. ОТиПЛ/ОСиПЛ: смысл названия

История названия отделения/кафедры лингвистики до 1990-х годов кратко может быть описана таким образом: 1959 г. — принимается решение о создании на филфаке МГУ нового отделения, которое по инициативе В.А. Успенского получает название Отделение теоретической и прикладной лингвистики (ОТиПЛ); 1960 г. — происходит первый набор на ОТиПЛ; 1961 или 1962 гг. — создается кафедра структурной и прикладной лингвистики (заведующий В.А. Звегинцев), а специальность «структурная и прикладная лингвистика» вводится в номенклатуру специальностей вузов решением Министерства высшего и среднего специального образования СССР; 1963 г. — ОТиПЛ официально переименован в ОСиПЛ; 1982 г. — кафедра СиПЛ ликвидируется в форме слияния с кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания (новое название «кафедра общего, сравнительно-исторического и прикладного языкознания»); 1988 г. — от этой объединенной кафедры отделяется кафедра прикладного языкознания; наконец, с 1992 г. ведут отсчет своему существованию воссозданная кафедра и отделение ТиПЛ.

⁴² Там же. С. 328.

За этим сухим перечнем скрывается ряд важных с точки зрения дисциплинарности сюжетов, на одном из которых — замене в названии прилагательного «теоретическая» на «структурная» и обратно — я хотел бы остановиться подробно. Главный источник по этому вопросу — воспоминания Владимира Андреевича Успенского, автора первоначального названия, который на тот момент был доцентом механико-математического факультета МГУ. То, что в реформировании филологического факультета участвовал математик, не следует считать случайностью.

Середина XX в. отмечена заметным влиянием математики на ряд областей науки, которое приводило в них к существенным положительным результатам. Так, математик Андрей Николаевич Колмогоров имел основания шутить, что «один из его учеников заведует атмосферой, а другой — океанами: имелась в виду директор Института физики атмосферы, академик Александр Николаевич Обухов, и директор Института океанологии член-корреспондент, Андрей Сергеевич Монин»⁴³. Академик Колмогоров интересовался исследованиями в области языка и литературы, публиковал научные работы по филологии⁴⁴. В своем недавнем интервью В.А. Успенский, говоря о важности преподавания математики лингвистам, резюмирует: «...не говоря уже о том, что математика — такая общая наука, которая в состоянии все описать»⁴⁵. Универсальный характер математических методов, полезность математики для дисциплинирования любой интеллектуальной деятельности осознавались представителями этой науки всегда, но именно в этот период сложились особенно благоприятные условия для участия математиков в различных академических сообществах и влияния на них. Неудивительно, что великий ученый А.Н. Колмогоров поддержал стремление своего ученика привнести математические методы в изучение языка (см. выше о семинаре на филологическом факультете) и участвовал во встрече у ректора И.Г. Петровского 19 мая 1959 г., посвященной создаваемому отделению лингвистики.

На этом совещании В.А. Успенский при поддержке А.Н. Колмогорова и П.С. Кузнецова предложил ввести преподавание математики в значительном объеме для всех студентов, специализирующихся по языкознанию. Ру-

⁴³ Успенский В.А. Колмогоров, каким я его помню // Труды по нематематике: в 2 т. Т. 2. М.: ОГИ, 2002. С. 1072.

⁴⁴ На упомянутом выше семинаре В.А. Успенский предложил слушателям по следам своих бесед с Андреем Николаевичем в качестве первого задания дать строгое определение терминам «падеж» и «ямб» (Успенский В.А. Серебряный век... С. 299). Отметим, что первый из них относится к области языкознания, второй — литературоведения.

⁴⁵ Успенский В.А. Интервью сайту Lingling.ru 13.05.2010. <<http://www.lingling.ru/useful/archive.php>> (дата обращения: 07.13.2014).

ководство филфака смогло избежать реализации этой идеи на факультете в целом, но студенты вновь создаваемого отделения первоначально обучались математике в очень большом объеме. Далее приведу весьма показательную цитату:

Не только для Колмогорова, но и для ректора Петровского было откровением, что на филологическом факультете нет отделения языкознания. Они оба наивно полагали, что как механико-математический факультет делится, прежде всего, на отделение математики и отделение механики, так и филологический делится прежде всего на отделение языкознания и отделение литературоведения. Им показалось весьма странным, что в действительности это не так и что деление происходит по языку, а потому и лингвисты, и литературоведы получают одинаковый диплом: «специалист по такому-то языку и литературе». (Я эту странность, продолжающуюся и поныне, знал давно, но тогда еще не понимал, что советское языкознание просто не доросло до размежевания с литературоведением и не следует его к этому принуждать.)⁴⁶

Итак, в 1959–1960 гг. математики не просто участвовали в обсуждении проекта нового отделения, но предложили полностью реформировать филологический факультет, заменив традиционное деление студентов по первому изучаемому языку на деление «литературоведы»–«лингвисты» по образцу механико-математического факультета. Разумеется, здесь мы имеем дело не с частным мнением нескольких людей, а с проблемой проведения (внутри)дисциплинарной границы в определенных политических условиях. Традиционно академическое изучение иностранных языков было основано, прежде всего, на текстах; при затрудненности (невозможности) международного общения за «железным занавесом» эта традиция продолжалась и тогда, когда мировая лингвистика все чаще обращалась к исследованиям современных языков, разговорной речи и т.п. Эти изменения в объекте и методе лингвистической науки XX в. носили объективный характер, так что не стоит считать, будто эмансипация лингвистики — это исключительно инициатива математиков.

С другой стороны, необходимость размежевания литературоведов и лингвистов не является самоочевидной и может встретить некоторые возражения. Во-первых, как признает и В.А. Успенский, «классическая и другая “древняя” филология могла бы оставаться единой, поскольку там мы извлекаем язык из литературных памятников»⁴⁷; добавим к этому, что почти любое обращение к истории языка (до появления первых звукозаписей) вынуждено обращаться именно к письменным текстам (часто — к художественным). Во-вторых, фольклористика, не являясь в собственном смысле изучением литературы, не относится в то же время и к языкознанию.

⁴⁶ Успенский В.А. Серебряный век... С. 332–333.

⁴⁷ Там же. С. 335.

В-третьих, филологи нередко обращаются к анализу языка художественных произведений и используют при этом математические методы. Стихovedение, которым занимался и А.Н. Колмогоров, некоторые даже на этом основании относят к лингвистике, но материалом все же является именно литература, так что «красивое» в математическом смысле бинарное разделение материалов и методов следует признать невозможным или по крайней мере затруднительным⁴⁸.

Итак, учитывая сложность структуры филологического дисциплинарного поля, нельзя не увидеть в описанном выше сюжете пример дисциплинарной интервенции. В данном случае преподавание математики становится одним из инструментов создания новой дисциплинарной идентичности.

Вскоре В.А. Успенский осознал, что из-за сопротивления филологов разделить факультет организационно на два отделения не получится, однако ему удалось добиться этого деления на терминологическом уровне. Благодаря его усилиям создаваемое подразделение стало называться Отделением теоретической и прикладной лингвистики. «Я исходил из того, что никакой другой лингвистики не бывает⁴⁹ и что, таким образом, формируемое отделение и будет по существу отделением просто лингвистики»⁵⁰. Тем самым на терминологическом уровне пожелание Колмогорова преподавать математику всем студентам-лингвистам было исполнено. По меркам факультета этих студентов было немного (13; пять из них составили первый выпуск отделения), но все остальные, даже если они интересовались исследованиями языка, оказались в логике институциональных разделений нелингвистами⁵¹.

⁴⁸ Как справедливо отметил В.М. Алпатов при обсуждении этой статьи, В.А. Успенский исходил из представления, что филологический факультет готовит прежде всего людей науки. Однако многие выпускники филфака работают в практической сфере: переводчиками, преподавателями иностранного языка и даже учителями русского языка и литературы в школе. С точки зрения этих специальностей раздельное обучение лингвистов и литературоведов нецелесообразно.

⁴⁹ На самом деле, это не единственно возможная классификация: можно, например, делить лингвистику на практическую и теоретическую, а последнюю — на фундаментальную и прикладную. В этом случае под практической лингвистикой понимают практическое изучение какого-либо языка. Именно такая классификация находится ближе всего к актуальной официальной структуре специальностей высшего образования. Направление «Лингвистика» предназначается для подготовки специалистов по иностранным языкам, а будущие лингвисты в традиционном смысле слова обучаются на направлениях «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (так происходит в МГУ, РГГУ, НИУ ВШЭ).

⁵⁰ Успенский В.А. Серебряный век... С. 336.

⁵¹ В дальнейшем ежегодный набор установился на уровне 25 человек (Кибрик А.Е. Кафедра и отделение структурной/теоретической и прикладной лингвистики // Филологический факультет Московского университета: Очерки истории. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 396, 414).

Если представить себе систему факультетских отделений как совокупность владений, которая без пересечений покрывает некоторое предметное поле (а именно так это часто и воспринимается), то в момент создания Отделения теоретической и прикладной лингвистики студенты других отделений, занимающиеся исследованиями языка, оказались вне поля лингвистики. Таким образом, впервые произошла первая официальная демаркация внутридисциплинарной (пока еще) границы, по одну сторону которой оказались лингвисты, а по другую — литературоведы и... языковеды. Действительно, термины «языковедение» и «языковед», которые в момент создания ОТиПЛа достаточно часто использовались (особенно традиционалистской частью сообщества), сохранили возможность самоидентификации для тех, кто не мог или не хотел принадлежать к новому отделению. Тем более что на факультете сохранялась кафедра общего и сравнительно-исторического языковедения.

Выше отмечалось, что еще в 1950-е годы слово «лингвистика» звучало слишком нетрадиционно и «зарубежно». Теперь за противопоставлением двух синонимичных терминов начали проглядывать контуры (внутри)дисциплинарной границы: исследование языка в союзе с математикой и физикой vs. традиционное филологическое изучение языка. И это размежевание (по крайней мере в московском академическом сообществе) произошло под влиянием математиков и, в особенности, лично В.А. Успенского.

Могут возразить, что здесь идет речь о не очень существенных вещах: так ли уж важно наименование какой-то кафедры или специализации? Однако это не просто слова, а (само)названия некоторых сообществ, с которыми идентифицируют себя конкретные люди. Если человек, имевший некоторую идентичность, вдруг без каких-либо действий со своей стороны теряет право на это самоназвание, он едва ли сочтет этот факт незначительным. Мне кажется, что осознание этого социально-психологического аспекта позволяет глубже понять трудности, с которыми сталкивался ОТиПЛ в момент создания, да и на протяжении всей своей истории. Они объясняются не только кознями «плохих ученых» и интригами эгоистичных администраторов, но и спором вокруг дисциплинарной идентичности⁵².

Не случайно большую важность названию придавал Владимир Андреевич Звегинцев, который возглавил вновь созданное отделение и во многих вопросах оппонировал В.А. Успенскому. В 1962 г. Звегинцеву удалось добиться переименования ОТиПЛа в ОСиПЛ с заменой «теоретической»

⁵² Своего рода экспроприация идентичности произошла в обсуждаемой дисциплинарной области и в наши дни. Оказалось, что термин «лингвистика», имеющий позитивные коннотации «современная» и «зарубежная», стал активно использоваться для описания изучения иностранного языка («лингвистические курсы» и т.д.), тем более что это позволяет неоднозначность английского слова «linguist». Лингвисты (в традиционном смысле слова) иногда говорят чуть ли не о рейдерском захвате названия своей специальности преподавателями иностранных языков.

лингвистики на «структурную»⁵³. Это странное соседство прилагательных «структурная» (название одного из методов⁵⁴) и «прикладная» (характеристика сферы деятельности) может вызвать недоумение. Однако оно открывало возможность неконфликтного деления дисциплинарного поля с филологами-языковедами: одни изучают язык структурными методами, другие — сохраняют верность более традиционным подходам⁵⁵. Продолжая метафору территориального спора, можно сказать, что Звегинцев уничтожил демаркационные знаки на части границы своего домена, предложив соседям совместное использование территории.

Может быть, более важной причиной отстаивать прилагательное «структурный» было для Звегинцева стремление закрепить в официальном названии легальность этой методологии. Тогда при очередной идеологической проработке⁵⁶ — а они, конечно же, воспоследовали — легче будет отбиваться от обвинений в низкопоклонстве перед Западом, гораздо удобнее будет переводить и публиковать в СССР труды ученых, причастных к направлению, дозволенность которого оформлена институционально⁵⁷.

⁵³ «Структуральнейшим лингвистом» гордо называет себя герой повести А. и Б. Стругацких «Попытка к бегству» (1962). Возможно, это прилагательное — результат полемического заострения. Как свидетельствует В.А. Звегинцев, противники новых методов в лингвистике тех лет вводили искусственное различие между «структурными» и «структуральными» методами. Последние — произведенные от буржуазного структурализма — оценивались негативно (*Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М.: МГУ, 1973. С. 95*). Этот пример также показывает важность тонких терминологических различий в идеологических баталиях того времени.

⁵⁴ Ср.: «Правильнее, впрочем, было бы сказать, что любая настоящая лингвистика тогда склонна была объединиться под эгидой “структурализма”, понимаемого скорее как опознавательный знак» (*Фрумкина Р.М. О нас — наискосок. М.: Русские словари, 1997. С. 100*).

⁵⁵ Иную, более неблагоприятную, интерпретацию мотивов Звегинцева см.: *Успенский В.А. Серебряный век... С. 289*.

⁵⁶ В воспоминаниях С.Б. Бернштейна и В.А. Успенского академик В.В. Виноградов предстает как фигура, враждебная структурализму или по крайней мере саботировавшая развитие этого направления на рубеже 1950-х и 1960-х (*Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти. С. 277; Успенский В.А. Серебряный век... С. 329*). Остро раскритикованный за это на совещании в 1959 г., Виноградов выглядел «жалким» и утверждал, что 10 лет назад пострадал за сочувствие структурализму, что вызвало смех в зале (Там же. С. 247). Однако Виктор Владимирович несколько не лукавил: например, министр С.Ф. Кафтанов в письмах Г.М. Маленкову в 1949 г. обвинял Виноградова в том, что тот проповедовал «чуждые советской науке формалистические теории сосюрианства и структурализма» (*Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград. 1940-е годы: в 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 1. С. 1.396*).

⁵⁷ Кафедра была не единственным подразделением, в названии которого было прилагательное «структурный». В 1960 г. в Институте славяноведения появился сектор структурной типологии славянских языков, который возглавил В.Н. Топоров, а в Институте русского языка был создан сектор структурной лингвистики под руководством С.К. Шаумяна.

Стоит учитывать и неединичность «перспективных» названий в этом новом дисциплинарном поле: большинство участников первых конференций по машинному переводу еще ничего не успели сделать в соответствующей проблематике, но, участвуя в этих собраниях, осваивали новую методологию, и в итоге возникло целое направление. Аналогичным образом Первая традиционная олимпиада по языковедению и математике, действительно, вошла в традицию и проводится до сих пор (ныне под названием Московская открытая олимпиада по лингвистике). И так, само по себе название должно было стимулировать развитие на кафедре структурных методов изучения языка — что в действительности и произошло.

3. Лингвистика и математика

Говоря об этой эпохе, мемуаристы и историки неизменно вспоминают знаменитое противостояние «физиков» и «лириков»⁵⁸, в котором первые находились в положении вопрошающих и атакующих, а вторые — оправдывающихся и обороняющихся. Однако из этого применительно к нашему материалу не стоит делать вывод об аннексии математикой некоторой части филологического дисциплинарного поля. Очень многими гуманитариями в 1950–1960 гг. помощь математиков оценивалась как необходимая и спасительная. Достаточно упомянуть, что лингвист с мировым именем Игорь Александрович Мельчук, учившийся на филфаке с 1950 по 1956 г., посещал некоторые занятия мехмата⁵⁹. Позднее он естественным образом вошел в состав группы математиков, занимавшихся проблемами машинного перевода, а в 1957 г. организовал в Институте языкознания математический семинар⁶⁰. Тогда же в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков (МГПИИЯ) появилось знаменитое Объединение по машинному переводу, созданное Виктором Юльевичем Розенцвейгом⁶¹. О совместном математическом семинаре В.А. Успенского, В.В. Иванова и П.С. Кузнецова было сказано выше. Будущий заведующий кафедрой ТиПЛ, А.Е. Кибрик, прослушал «весь пятилетний курс математики по шесть часов

⁵⁸ Прекрасное описание и анализ «придурковатой дискуссии» см. в статье: *Богданов К.* Физики vs. лирики...

⁵⁹ Об этом И.А. Мельчук сообщил автору этих строк в биографическом интервью 20.10.2012.

⁶⁰ См.: *Фрумкина Р.М.* О нас — наискосок. Вообще, И.А. Мельчук был важным неформальным лидером лингвистического сообщества и, оставаясь вне ОСИПЛа, сыграл в его истории заметную роль.

⁶¹ *Успенский В.А.* Серебряный век... С. 301–302.

в неделю», начав еще в бытность свою пятикурсником кафедры классической филологии⁶².

Действительно, математизация позволяла надеяться на реализацию идеала точного знания в гуманитарных науках и, как следствие, на участие в научно-технической революции⁶³, на освоение более совершенных методов исследования и открытие новых областей их применения⁶⁴. Тем, кто тяготился идеологизацией гуманитаристики, математика могла дать некоторую степень защиты от партийно-идеологического диктата. Если бы машинный перевод по образцу ядерной физики стал практически значимой областью оборонной промышленности, ученые-лингвисты могли бы надеяться на существенную независимость от внешнего давления. Кроме того, опора на универсализм математики позволяла создать идейную основу научной деятельности, отличную от марксизма-ленинизма, и это внутреннее освобождение для многих было, пожалуй, не менее важным, чем внешнее⁶⁵. Академическое сообщество гуманитариев даже в отношении общей культуры выглядело не слишком выигрышно⁶⁶. Таким образом, запрос на математизацию филологии существовал с трех сторон: части филологов (отнюдь не только тех, кто считали себя лингвистами), части математического сообщества и некоторых руководителей науки и производства (надеявшихся получить практический выход от этого междисциплинарного сотрудничества).

С другой стороны, некоторые филологи относились к этим процессам настроенно или даже резко негативно. Такова, например, была реакция

⁶² Успенский В.А. Серебряный век... С. 337.

⁶³ Фильм «Девять дней одного года», который в значительной степени воплотил в себе представления общества об НТР, вышел на советские экраны в 1962 г.

⁶⁴ «Мне как-то даже не пришло в голову усомниться в том, резонно ли начинать серьезные занятия лингвистикой именно с математики», «математика была для нас образцом науки» (Фрумкина Р.М. О нас — наисосок. С. 96, 98); «Казалось, что такое счастье можно найти на переднем крае науки, разумеется, “точной”» (Алпатов В.М. О студенческих годах. С. 13); «[я] сам в то время был убежден, что овладеть математическими знаниями нужно во что бы то ни стало» (Ревзин И.И. Воспоминания // Из работ московского семиотического круга. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 798).

⁶⁵ Ср.: «Модернистская лингвистика есть прямое выражение того бегства от идеологии, которое наметилось уже давно. Правда, давно уже замечено, что бегство от идеологии — это тоже идеология и притом далеко не безобидная» (Абаев В.И. Языкознание — общественная наука // Русская речь. 1971. № 5. С. 131).

⁶⁶ Мемуарист делится впечатлением от годовичного собрания Академии наук в марте 1959 г.: «Представители точных и естественных наук в массе значительно интеллигентнее гуманитариев» (Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти. С. 247). Возможно, одной из причин была «позитивная дискриминация» лиц рабоче-крестьянского происхождения, начавшаяся еще в 1920-е годы.

Э.А. Макаева, которого в своих воспоминаниях лингвист Р.М. Фрумкина называет «одним из наиболее блестяще и разнообразно образованных людей, которых я когда-либо встречала». Как свидетельствует Ревекка Марковна, «для Макаева идея чего-то “машинного” тогда звучала как угроза подлинно гуманитарному началу», поэтому он очень огорчился планам младшей коллеги работать во вновь созданной лаборатории А.А. Реформатского⁶⁷.

Даже отношения первого заведующего кафедрой ТиПЛ к математике не назовешь вполне положительным. Как пишет В.А. Успенский, «в докладе, который Звегинцев сделал на филологическом факультете, <...> Звегинцев говорил о циновке, которую математики якобы собираются вытащить из-под лингвистики (что прежде всего было бы аморальным, так как каждый должен сидеть на своей циновке)»⁶⁸.

Показательно осторожное мнение преподавателя кафедры общего языковедения, А.Г. Волкова⁶⁹. Одобрительно цитируя различные труды по математической лингвистике, он вместе с тем предостерегает:

Для лингвистики представляет принципиальный интерес то противоречие, в котором оказывается математика, предлагающая свои заманчиво объективные методы исследования языка. В своих постулатах даже крупные математики исходят из сомнительного представления, что «законы лингвистики в основном достаточно просты для того, чтобы допустить математическое описание» (курсив мой. — А. В.)⁷⁰. Это допущение о простоте основано на смешении лингвистики (т.е. науки о языке <...>) с языком, т.е. с объектом предлагаемого математического описания⁷¹.

Опасаясь интервенции со стороны математики, Волков приводит в предисловии еще одну цитату из той же статьи Р.Л. Добрушина:

Мы на пороге создания единой лингвистики, в которую войдут как старые классические методы, так и новые, зарождающиеся. Это бесспорно. Спорным и открытым является вопрос: Кто будет заниматься созданием этой науки? При-

⁶⁷ Фрумкина Р.М. О нас — наискосок. С. 99.

⁶⁸ Успенский В.А. Серебряный век... С. 333. Об этом же совещании: «Присутствующие специалисты без особого труда показали некомпетентность докладчика. Звегинцев не знает традиционной лингвистики, решил податься в математическую, за что получил по заслугам» (Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти. С. 246).

⁶⁹ Волков А.Г. Язык как система знаков. М.: Изд-во МГУ, 1966.

⁷⁰ Добрушин Р.Л. Математические методы в лингвистике // Математическое просвещение. 1961. № 6. С. 40 (примеч. А. Волкова).

⁷¹ Волков А.Г. Язык как система знаков. С. 42–43.

мут ли в этом должное участие те, кто занимается сейчас лингвистикой, или их место придется занять людям, пришедшим со стороны?

В ответ математику филолог примирительно предлагает «опираться, прежде всего, на филиацию научных идей и их разумный синтез»⁷².

Кафедральным рецензентом книги А.Г. Волкова был Ю.В. Рождественский, который позднее возглавит кафедру общего и сравнительно-исторического языкознания, а в 1982 г. получит ОСиПЛ в свое управление. О том, каковы были взгляды Рождественского на обсуждаемую проблематику, можно судить по следующей цитате из его книги «Лекции по общему языкознанию» (1990):

Автор стремился сделать свои лекции как можно более *гуманитарными*. С 60-х годов в лингвистике распространился образ языка, заимствованный из математической теории связи, когда языковая система рассматривалась как код, а текст — как сообщение. <...> При этом оказывается несущественным то, что языковая деятельность является историко-культурным объектом, назначение которого фиксировать и хранить достижения культуры, обучать и служить объединению всех форм духовной, материальной и физической культуры. В данном курсе основное внимание обращено на это фундаментальное свойство языка, являющееся смыслом его существования. Образ теории связи, принятый многими учеными, был направлен на акты речи вне их культурной значимости. Так стали понимать слово «лингвистика». Лингвистика разорвала связи с литературой, письменностью, устной ораторской практикой и стилем. Это привело к дефектам языкового образования и воспитания, сокращению числа языков, на которых ведется преподавание, к безобразной практике использования слов в поэзии и непониманию роли деловой прозы.

В этой книге, как и в других своих трудах, Ю.В. Рождественский подчеркивает, что языкознание — часть филологии, а математические и естественнонаучные подходы в этой области приводят к ошибкам или даже запрещены⁷³. Можно видеть, что в заглавии книги стоит «языкознание», а термин «лингвистика» в приведенной цитате обозначает именно ошибочные, порочные, с точки зрения автора, методы и подходы к изучению языка. Конечно, Ю.В. Рождественский нередко употребляет слово «лингвистика» и в положительном смысле, однако явно предпочитает «языкознание»⁷⁴. Таким образом, мы ви-

⁷² Волков А.Г. Язык как система знаков. С. 6.

⁷³ «Не все объекты науки поддаются эксперименту. Одни из них недоступны экспериментальной технике, над другими же нельзя экспериментировать. Например, нельзя экспериментировать над человеком и обществом» (Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М.: Высшая школа, 1990. С. 57).

⁷⁴ Любопытно, что ранее Рождественский был близок к структурализму. Как вспоминает В.М. Алпатов, в 1968 г. Юрий Владимирович состоял в группе структурной лингвистики, и лишь год спустя ушел в Отдел литератур.

дим, что два рассматриваемых термина, сохраняя частичную синонимию, имеют тенденцию обозначать противоположные подходы к изучению языка и противостоящие друг другу научные школы. Одной из ключевых позиций, разделяющих эти школы, стало отношение к математике, на что, в частности, указывает и редкость словосочетания «математическое языкознание»⁷⁵.

Нет сомнений, что преподавание математики сыграло огромную роль в формировании интеллектуальной культуры ОТиПЛа/ОСиПЛа. «В этом ее главная задача: в выработке дисциплины мышления», — говорит о роли математики в образовании лингвистов В.А. Успенский, сравнивая ее с практикой на парусном судне у современных моряков и строевой подготовкой при обучении военнослужащих.

Однако эта позиция — не единственная и не абсолютная. Большая и сложная программа по математике играла неоднозначную роль в системе образования на ОСиПЛе в первый период его существования. Так, член-корреспондент РАН, выпускник отделения лингвистики В.М. Алпатов, оппонировав В.А. Успенскому, указывает на положительные изменения в программе отделения, когда количество часов на математику вопреки всем усилиям последнего было сокращено: «В целом программа стала более продуманной и систематичной, уровень лингвистической подготовки после 1967 г. возрос, а математика <...> заняла подобающее ей место»⁷⁶. Эта оценка крупного и авторитетного ученого не является единичным частным мнением. Не присоединяясь ни к одному из этих суждений, укажем на неоднозначность этой проблемы.

При этом важность преподавания математики лингвистам не отрицает никто или почти никто из членов этого академического сообщества. Именно под влиянием математики сложился важнейший для интеллектуальной культуры ОСиПЛа жанр самодостаточной лингвистической задачи. Идея привлекать потенциальных абитуриентов, одновременно формируя у них навыки теоретико-лингвистического мышления, оказалась чрезвычайно плодотворной. А тот факт, что задачи преимущественно основаны на материале малоизвестных языков, коррелирует с концепцией лингвистических экспедиций ОСиПЛа, о которых пойдет речь ниже⁷⁷. Кроме того, блестящая

⁷⁵ По данным Яндексa, строго в этой форме словосочетание встречается в интернете в 187 случаях против 21 тыс. «математическая лингвистика». В Национальном корпусе русского языка (ruscorpora.ru) «математическое языкознание» не встречается ни в одной из падежных форм.

⁷⁶ Алпатов В.М. История одного мифа... С. 167.

⁷⁷ Подробнее о жанре самодостаточных лингвистических задач и истории олимпиад см.: Зализняк А.А. Лингвистические задачи // Исследования по структурной типологии. М.: Изд-во АН СССР, 1963; Журицкий А.Н. Слово, буква, число: Обсуждение самодостаточных лингвистических задач с разбором ста образцов жанра. М.: Наука, 1993; Иткин И.Б., Рубинштейн М.Л. Тридцать Олимпиад: Юбилейные заметки. М.: МГУ, 1999.

идея Олимпиады, выдвинутая А.Н. Журиным, на многие десятилетия стала еще одним общим, объединяющим делом для лингвистического сообщества.

4. Рецепция мировой науки

Конец 1940-х и начало 1950-х годов характеризовались кампанией против «низкопоклонства перед Западом». Она означала требование признавать приоритет российской/советской науки во всевозможных достижениях (в том числе в заведомо ей не принадлежащих). Ритуальные поношения «буржуазных ученых» были почти обязательным требованием для квалификационных работ и научных публикаций. В те годы усилилась и без того значительная изоляция отечественных специалистов от зарубежного академического опыта⁷⁸.

В следующий за этой кампанией период, пожалуй, важнейшим направлением деятельности Владимира Андреевича Звегинцева была рецепция западной науки для восполнения ущерба предыдущей эпохи. Этой цели была подчинена и его деятельность во главе редакции литературы по вопросам филологии и искусства в Издательстве иностранной литературы. Там он инициировал издание целого ряда важнейших научных трудов и создал серию «Новое в (зарубежной) лингвистике», по которой учились многие поколения гуманитариев.

Приведем пример, который позволит оценить меру смелости В.А. Звегинцева в стремлении ознакомить советскую, прежде всего студенческую, аудиторию с мировой наукой. Первая глава его книги 1962 г. «Очерки по общему языкознанию» открывается серией ответов на вопрос: «Что есть язык?» Там приведены цитаты из В. Гумбольдта, [Г.В.Ф.] Гегеля, А. Шлейхера, Г. Штейнталя, А.А. Потемни, Ф.Ф. Фортунатова, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Г. Шухардта, О. Есперсена, Б. Кроче, Э. Сепира, А. Марти, Ф. де Соссюра, Г. Эббингхауса, Ф. Кайнца, К. Фосслера, А. Мейе, Ж. Вандриеса, В. Пизани и Л. Ельмслева. Эта широкая панорама лингвистической мысли, представляющая разные страны и всевозможные методологии, не снабжена обычными критическими выпадами ни по национальному, ни по классовому признаку. Только указано, что возможны и другие точки зрения на природу и сущность языка. Цитаты из В.И. Ленина и К. Маркса даны ниже отдельно, но также лишены оценочных суждений: «В основе определения языка в советском языкознании лежат высказывания классиков марксизма-ленинизма...»

⁷⁸ Глубокая и богато документированная характеристика этого периода с преимущественным вниманием к ленинградской ситуации дана в работе: Дружинин П.А. Идеология и филология...

Далее говорится, что при всей важности этих высказываний они требуют развертывания, и это развертывание мы встречаем уже не в трудах основоположников, а в работах Я. Гримма, В. Гумбольдта и А. Шлейхера. Хотя автор тут же оговаривается, что, например, теория В. Гумбольдта о зависимости каждого отдельного языка и народа от некоей «человеческой духовной силы», неприемлема для «советского языковеда», можно также сказать, что она не соответствует современному подходу к теории языка. Разумеется, первыми страницами привлечение зарубежной литературы не ограничивается. В подстраничных примечаниях этой книги, ориентированной прежде всего на старших студентов, упоминаются книги и статьи на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и даже датском, румынском и чешском языках. Просветительская деятельность основателя ОСиП-Ла имела огромное значение: стремление поместить свои исследования в контекст мировой науки и откликаться на современные зарубежные работы стало одной из основных особенностей этого сообщества⁷⁹.

Некоторые из студентов и аспирантов кафедры Звегинцева в описываемый период прошли стажировку в капиталистических странах; вдвойне исключительным это было потому, что среди них были не только самые благонадежные, но и самые достойные. Во всяком случае, трое молодых ученых, связанных с кафедрой В.А. Звегинцева и получивших такую невероятную возможность, впоследствии стали учеными мирового уровня: студент А.А. Зализняк учился в Париже в 1956/1957 гг., а аспиранты Ю.С. Степанов и Б.А. Успенский стажировались в Париже в 1957–1958 гг. и Копенгагене в 1961 г. соответственно.

Если сравнить отношение Звегинцева и его учеников к рецепции европейской и американской лингвистики с позицией упоминавшегося Ю.В. Рождественского, то здесь заметны существенные отличия. Конечно, последний, как и другие представители «языковедческого направления», не отказывается от зарубежных источников, но роль новой зарубежной литературы в его работах значительно меньше. Так, в книге «Лекции по общему языкознанию» (1990) в конце каждой главы имеется список литературы. Если выписать все фамилии из этих списков, получится перечень из 112 позиций. Все эти книги и статьи на русском языке (что не удивительно для учебного пособия) и 32 позиции принадлежат переводным текстам. Приведу фамилии (или имена) авторов, указывая в скобках количество сочине-

⁷⁹ Уместно вспомнить слова Б.П. Ардентова, разоблачителя «советских структуралистов». Указывая, что в их работах много руководящих цитат из буржуазных ученых и мало сноска на классиков марксизма-ленинизма, он писал: «Это уже не просто фронда, это — настоящая идеологическая диверсия на лингвистическом фронте советской науки» (*Ардентов Б.П. О структурализме в советском языкознании (из лекций по общему языкознанию)*. Кишинев, 1968. С. 84).

ний, если их в книге более одного: Аристотель (5), Бэкон (2), Вайян⁸⁰, Гоббс, Гумбольдт (2), Декарт, Косериу, Лейбниц, Мейе (3), Пауль (2), Платон (2), Сводеш, Секст Эмпирик, Семереньи, Соссюр (3), Хоккет, Шлейхер (2), Энгельс (3). Из них зарубежным лингвистам XX в. принадлежат восемь имен и 12 текстов, что составляет 1/10 от общего числа рекомендуемых сочинений⁸¹. Это представляет собой заметный контраст с упомянутой выше книгой В.А. Звегинцева, которая носит почти такое же название и была написана почти на 30 лет раньше.

5. Экспедиции

Совместное целенаправленное перемещение в пространстве играет огромную роль в формировании различных сообществ, и академические корпорации не являются исключением. Особая экспедиционная субкультура имеется у геологов и биологов, археологов, этнографов; исследователи современных мегаполисов практикуют совместные прогулки по городу. Характерной практикой сообщества лингвистов ОТиПЛа/ОСиПЛа являются экспедиции, которые проводятся по особой методике и чаще всего бывают посвящены исследованию неиндоевропейских языков Кавказа и Сибири. Очень многие лингвисты, даже те, кто позднее не работал «в поле», в студенческие годы прошли через систему экспедиций, и это имеет огромное значение как для их личного опыта, так и для связности сообщества в целом. Интересно также, что рядом со словосочетанием «лингвистическая экспедиция» невозможно представить себе синоним «языковедческая экспедиция»⁸² — это лишний раз показывает, что термин «языковедение/языкознание» применим прежде всего к традиционному филологическому исследованию языка.

Фольклорные, этнографические и диалектологические экспедиции имеют давние традиции; в интересующем нас контексте важно упомянуть о трудах Московской диалектологической комиссии в начале XX в., а также об экспедициях участников Московского лингвистического кружка (П.Г. Богатырева, А.А. Буслаева, Р.О. Якобсона и др.), собиравших одновременно ин-

⁸⁰ В соавторстве с Мейе.

⁸¹ Статьи Косериу, Сводеша и Хоккета приводятся по Звегинцевскому сборнику «Новое в лингвистике». В подстрочных примечаниях упоминаются также работы Г.А. Витгенштейна, Дж. Гринберга, Я. Дембовского, К. Фриша, а из отечественных исследователей — А.Е. Кибрика и А.А. Зализняка.

⁸² Впрочем, в журнале «Культура Бурятии» в 1932 г. (№ 3) опубликована заметка Л.Ч. Гомбина «Языковедческая экспедиция Института Культуры».

формацию лингвистического, фольклорного и этнографического плана⁸³. Эта традиция, изменяясь и эволюционируя, воплощается в современной экспедиционной практике русского отделения филологического факультета МГУ. К ней возводит свою экспедиционную историю А.И. Кузнецова, которая была одним из основателей лингвистических экспедиций ОСиПЛа. Она вспоминает, что еще в студенческие времена, начиная с 1953 г., участвовала в диалектологических исследованиях в Курской и Орловской областях⁸⁴. Наряду с этими экспедициями, которые легли в основу диалектологических атласов русского языка, еще с 1949 г. проводились и обширные обследования болгарских говоров на территории СССР⁸⁵, которые были опубликованы в 1958 г.⁸⁶ Ездил в «поле» (в том числе в одиночку) и П.С. Кузнецов⁸⁷. Однако все эти исследования не стали идейно-методологической основой лингвистических экспедиций ОСиПЛа, хотя последний был научным руководителем главного основателя этого движения — А.Е. Кибрика.

Традиционно отечественная гуманитарная наука уделяла крайне мало внимания языкам России, не имевшим собственной письменной традиции, хотя в их описании ощущалась практическая необходимость. Ситуация ненадолго изменилась в годы советского языкового строительства⁸⁸, но прямой преемственности с экспедициями и работами этого периода на ОСиПЛе не было. Лингвистические экспедиции 1960-х открывают ценность каждого конкретного языка как уникального фрагмента человеческой культуры, и малоинтересные для традиционной филологии говоры Северного Кавказа в

⁸³ Касаткин Л.Л. Московский лингвистический кружок // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 318.

⁸⁴ Кузнецова А.И. Экспедиции: жизнь по другим законам // Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1950–1955 гг.: воспоминания выпускников [к 65-летию восстановления филол. фак. в составе Моск. ун-та / Е.А. Брызгунова, Г.Г. Копылова (сост.)]. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 138. Есть все основания предполагать, что выбор именно этих областей организаторами экспедиции был неслучаен. В своих в прямом смысле слова судьбоносных работах 1950 г. И.В. Сталин упоминал о «курско-орловских говорах» как об основе русского языка. Это упоминание вызвало к жизни чуть ли не направление исследований, в котором работал, в частности, С.И. Котков (*Бернштейн С.Б.* Зигзаги памяти. С. 154, 166).

⁸⁵ См., например: Там же. С. 126, 153.

⁸⁶ *Бернштейн С.Б., Чешко Е.В., Зеленина Э.И.* Атлас болгарских говоров в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Ч. 1–2.

⁸⁷ Воспоминания П.С. Кузнецова. С. 180–181, 184, 195, 197, 220–223.

⁸⁸ См., например, очерки В.М. Алпатов о выдающемся лингвисте Е.Д. Поливанове (*Алпатов В.М.* Лингвисты, востоковеды, историки. С. 71–94) и основателе советского кавказоведения Н.Ф. Яковлеве (Там же. С. 137–158).

определенной степени приравниваются к главным языкам Европы. И практическая деятельность по созданию машинного перевода, и теоретическая лингвистика диктуют такую точку зрения, в которой каждый конкретный идиом может пролить свет на устройство языка как такового в каком-либо важном отношении. Этот взгляд близок естественно-научному подходу, при котором, например, мелкие животные не менее интересны, чем крупные.

Заслуга создания этой традиции принадлежит преимущественно Александру Евгеньевичу Кибрику. Судя по его интервью 2008 г., он не столько следовал практике диалектологических экспедиций филфака МГУ, сколько отталкивался от нее⁸⁹. Кибрику принадлежит идея, что участники экспедиции предпринимают целостный анализ избранного малоизученного языка (или как минимум некоторой его подсистемы). Каждый из участников заранее назначается ответственным за определенную тему, а остальные обращаются к нему за консультациями, и постепенно фрагменты описания языка собираются в единое целое. Структурный подход к материалу, ясное целеполагание, четко организованная командная работа (в том числе на этапе подготовки экспедиции), возможность почувствовать себя первооткрывателем в большей степени, чем это возможно для диалектолога, — важные отличительные черты именно этой традиции.

В теоретическом отношении А.Е. Кибрик опирался, скорее, не на отечественную науку, а на работы американских дескриптивистов (в чем его поддерживал В.А. Звегинцев), в практическом же плане к 1967 г., когда состоялась первая экспедиция ОСиПЛа, Александр Евгеньевич был уже опытным организатором туристических походов студентов и сотрудников филологического факультета МГУ⁹⁰. Именно тогда эта сравнительно новая практика получает очень широкое распространение среди советской интеллигенции; однако если, скажем, для инженеров туризм был видом досуга, для лингвистов экспедиции стали одной из важнейших форм профессионального делания.

В заключение необходимо привести еще одно сравнение, важное для дисциплинарной характеристики ОСиПЛа. В 1962 г. Владимир Николаевич Топоров и Вячеслав Всеволодович Иванов организуют экспедицию к носи-

⁸⁹ Текст автобиографического интервью, данного 8 апреля 2008 г. В.В. Файеру и Е. Литвин в рамках видеомемуарного проекта «Сова Минервы» (рук. Н.В. Брагинская), не опубликован, однако сокращенная видеозапись доступна на сайте памяти А.Е. Кибрика: Биографическое видеоинтервью Александра Евгеньевича, данное в рамках видеомемуарного проекта «Сова Минервы» (РГГУ) 8 апреля 2008 г. <<http://otipl.philol.msu.ru/~kibrik/site/about/video>> (дата обращения: 08.03.2014).

⁹⁰ Из интервью А.Е. Кибрика о второй половине 1950-х годов: «На старших курсах <...> основная моя публичная деятельность была связана с этим, мы устраивали такие походы, на которые выходили по 100, по 200 человек, практически весь факультет, да и не только».

телям неиндоевропейского кетского языка — почти единственного живого представителя енисейской семьи языков. Результаты исследования нашли отражение в двух первых выпусках «Кетского сборника», имевших подзаголовки «Лингвистика» и «Мифология, этнография, тексты». На страницах сборника — не просто описание кетского языка, а комплексное исследование, где лингвистическая, этнографическая и фольклористическая части тесно связаны между собой. «Кетский сборник» демонстрирует междисциплинарный подход, характерный для Московско-тартуской семиотической школы. Объект исследования здесь принадлежит иному уровню, чем в лингвистической экспедиции ОСиПЛа; лингвистическое описание служит лишь средством для достижения иных, более широких целей. Показательна следующая цитата: «Как едва ли не главное достоинство Гете-ученого Вернадский подчеркивал то, что он не следовал общепринятой классификации наук, объединяя их по проблемам. По существу вся современная семиотика основана на таком подходе»⁹¹.

Соотношение двух важных интеллектуальных течений — лингвистического и семиотического — требует особого анализа, который здесь невозможен по соображениям объема. Этот анализ осложняется тем, что в условиях идеологического давления представители этих течений достаточно тесно взаимодействовали друг с другом. Так, интерес А.Е. Кибрика к лингвистике, согласно его воспоминаниям, в студенческие годы пробудил В.В. Иванов, и они даже договорились о научном руководстве по теме «Этрусский язык»⁹². А.А. Зализняк в аспирантские годы работал в рамках семиотического подхода⁹³. Издание «Кетского сборника» было продолжено одним из самых выдающихся выпускников ОТиПЛа, С.А. Старостинным. О некоторых исследователях можно сказать, что они одинаково успешно работали в обеих парадигмах. Однако все эти случаи сотрудничества и влияния все-таки не отменяют того факта, что лингвистическое и семиотическое направления шли несходными путями, ставили различные цели и выбирали во многом непохожие объекты исследования, что видно, в частности, на примере экс-

⁹¹ Иванов В.В. Очерки по предыстории и истории семиотики // Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 692.

⁹² По данным интервью А.Е. Кибрика 2008 г., эта курсовая работа так и не была написана, так как В.В. Иванова в 1958 г. изгнали с факультета за несогласие с официальной оценкой романа «Доктор Живаго» и поддержку Бориса Леонидовича Пастернака.

⁹³ Зализняк А.А. Опыт анализа одной относительно простой знаковой системы // Структурно-типологические исследования: сб. ст. / под ред. Т.Н. Моложная. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 172–187; Он же. Регулирование уличного движения как знаковая система // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 78–79.

педиций. Значимое отсутствие Вячеслава Всеволодовича Иванова на ОТиПЛе, как мне представляется, очень многое определило в судьбе лингвистического сообщества. Если бы этот выдающийся ученый, который занимался и занимается наукой о языке, имел возможность непосредственно участвовать в жизни отделения, думается, и в педагогическом, и в научном смысле ОСиПЛ был бы иным.

Отметим также, что семиотическая тематика на филологическом факультете МГУ была достаточно типична для языковедов. Так, Ю.С. Степанов в бытность заведующим кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания написал книгу «Семиотика»⁹⁴, а А.Г. Волков, автор книги «Язык как система знаков»⁹⁵, организовал при кафедре проблемную группу по семиотике. Любопытно, что два этих ученых представляли собой конкурирующие направления: в конце 1960-х годов А.Г. Волков выступил с программой «материалистической марксистской семиотики», направленной против «немарксистской семиотики Ю.С. Степанова»⁹⁶. В 1971 г. Ю.С. Степанов покинул факультет.

* * *

Первый период существования отделения лингвистики на филфаке МГУ завершился в 1982 г. его присоединением к кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания. Ряд преподавателей-лингвистов продолжили работать на факультете, набор студентов не прекращался, однако и в письменных источниках, и в устной традиции лингвистов это административное действие рассматривается как разгром и получает однозначно негативную оценку⁹⁷. Тем интереснее, что, лишившись институциональной самостоятельности на несколько лет, попав в зависимость от языковедов, лингвистическое сообщество не исчезло, а в конечном счете обрело новый уровень субъектности. В 1987 г. в Историко-архивном институте появляется кафедра ТиПЛ, а в 1991 г. с преобразованием МГИАИ в РГГУ появляется Факультет теоретической и прикладной лингвистики. Он существует параллельно с Историко-филологическим факультетом, так что лингви-

⁹⁴ Степанов Ю.С. Семиотика. М.: Наука, 1971.

⁹⁵ Волков А.Г. Язык как система знаков.

⁹⁶ Кочергина В.А. Кафедра общего и сравнительно-исторического... С. 374.

⁹⁷ А.Е. Кибрик использует слова «шестилетняя черная дыра» (Кибрик А.Е. Кафедра и отделение структурной... С. 406), а В.А. Успенский — «смерть» (Успенский В.А. Серебряный век... С. 385). При этом, как отмечает В.М. Алпатов, преподаватели и программы на отделении в целом сохранились, а падения академического уровня выпускников, судя по их научным работам последних лет, не произошло.

стика и филология становятся институционально равноправными⁹⁸; подчеркнем, что ФТиПЛ РГГУ всегда, даже в ситуации конкуренции с МГУ, не противопоставлял себя традициям ОСиПЛа. Параллельно с созданием лингвистики в РГГУ проходило восстановление ОТиПЛа в Московском университете в 1988–1992 гг.⁹⁹, а участие студентов в экспедициях возобновилось еще 1986 г.

Исключительная прочность сообщества, которая позволила ОТиПЛу восстановиться, обусловлена рядом факторов, среди которых иные, может быть, случайны (например, тот, что лидер сообщества А.Е. Кибрик¹⁰⁰ продолжал работать на филологическом факультете, и т.д.), но другие, видимо, закономерны. В 1960–1970-е годы сформировалось академическое сообщество со своей особой интеллектуальной культурой, корпоративными практиками, формами привлечения, отбора и воспитания молодежи, с осознанием собственной отделенности от других академических групп в гуманитарном дисциплинарном поле (не только враждебных, но и дружественных, таких как, например, Московско-тартуская семиотическая школа). Конечно, важным объединяющим фактором была общность исследовательских задач, однако такие различные проблемы, как фонетический анализ русской речи, изучение малых языков Кавказа или математизированное описание синтаксиса и семантики, в принципе мало связаны между собой и совершенно не обязательно должны были сложиться в целостную и взаимосвязанную исследовательскую программу. Однако интеллектуальная культура лингвистической корпорации создавала общую теоретико-методологическую рамку для этих и других непохожих задач, и в этой рамке появлялись новые направления, такие как школа компаративистики С.А. Старостина, по-новому и очень результативно работавшая на традиционном поле сравнительно-исторического языкознания.

Формирование этой теоретико-методологической рамки не предшествовало созданию отделения, а стало результатом эволюции сообщества. Кафедра не была группой единомышленников, способных создать такой

⁹⁸ В 2000 г. ФТиПЛ был преобразован в Институт лингвистики, но эта реформа была связана не с дальнейшим повышением статуса дисциплины, а с конфликтом ректора Ю.Н. Афанасьева и декана А.Н. Барулина. Увольнение Александра Николаевича, которое он оспорил в суде, руководство РГГУ решило совместить с реорганизацией. Этот болезненный эпизод в истории лингвистического сообщества, связанный не только с внешним, но и с внутренним конфликтом, слабо отражен в существующих источниках.

⁹⁹ Кибрик А.Е. Кафедра и отделение структурной... С. 407-6; Успенский В.А. Серебряный век... С. 385-388.

¹⁰⁰ Еще в середине 1960-х Александра Евгеньевича неофициально называли заместителем Звегинцева (Аллатов В.М. О студенческих годах. С. 40).

проект: видение лингвистики В.А. Звегинцевым существенно отличалось от концепции В.А. Успенского¹⁰¹, а вокруг них было немало случайных людей: неуместный заместитель заведующего кафедрой Ю.М. Отряшенков¹⁰², талантливый, но малокультурный «красный профессор» Т.П. Ломтев¹⁰³, крупный психолог Н.И. Жинкин, курс которого не был в достаточной мере связан с остальными¹⁰⁴. Некоторые из целей, ради которых создавалось отделение, оказались невыполнимыми: машинный перевод в конце 1950-х казался делом нескольких лет, но к началу 1970-х стала понятна вся сложность задачи (даже при нынешнем уровне технологий она решена лишь отчасти).

Следует подробнее сказать о сознании собственной отделенности, которое, несомненно, формировалось у студентов-лингвистов. Когда В.А. Успенский вспоминает, что первые наборы лингвистов, в отличие от остальных студентов филологического факультета, не посылали на картошку¹⁰⁵, то это свидетельствует не только о вынужденной почтительности деканата по отношению к бескомпромиссным преподавателям математики, но и о дополнительном дистанцировании лингвистов от однокурсников, так как хорошо известно, какую важную роль играют подобные поездки для социальных связей студентов. Даже территориально в зданиях МГУ на проспекте Маркса (Моховой) лингвисты были отделены от остальной части факультета улицей Герцена (Большой Никитской)¹⁰⁶. Зато вертикальные связи между студентами ОСиПЛа различных курсов, аспирантами и молодыми преподавателями успешно выстраивались в экспедициях, на олимпиадах, да и просто в процессе учебы¹⁰⁷. Сравнительно небольшое сообщество осиплян всегда было при этом по разным причинам достаточно заметным среди филологов и, шире, гуманитариев в целом.

¹⁰¹ Успенский В.А. Серебряный век... С. 398–408.

¹⁰² Алтатов В.М. О студенческих годах. С. 39.

¹⁰³ «Нас поразило, что профессор русского языка пишет с ошибками» (Там же. С. 32).

¹⁰⁴ Там же. С. 38.

¹⁰⁵ Успенский В.А. Серебряный век... С. 404.

¹⁰⁶ «Как-то, проходя с нами по истории лингвистики тему “Младogramматики” (направление немецкой лингвистики конца XIX в.), В.А. Звегинцев показал пальцем в окно на другое здание и сказал: “А вот там это направление до сих пор господствует”. Конфликт кафедры и остальной факультета как бы переходил и в территориальную разобщенность» (Там же. С. 43).

¹⁰⁷ «Многие <...> считали себя студентами не столько факультета, сколько отделения. Для некоторых постоянным местопребыванием была кафедра» (Алтатов В.М. О студенческих годах. С. 45).

Существенную роль в организационной жизни отделения играли хозяйственные договоры с различными внешними заказчиками. Они давали одновременно определенную кадровую свободу (факультет не мог в полной мере контролировать сотрудников, работавших по договорам) и осознание полезности, практической применимости своей работы. Впрочем, В.М. Алпатов в воспоминаниях характеризует секретную тему одного из таких договоров как не интересную студентам и сообщает, что выпускники при распределении старались избегать заявок из «почтовых ящиков», логически вытекавших из этих хозяйственных¹⁰⁸.

Интеллектуальная культура студентов остальной части филологического факультета в описываемый период заметно отличалась от лингвистической. Подавляющее большинство обучающихся были знакомы только с европейскими языками, причем описание этих языков давалось в русле соответствующей национальной традиции с поправкой на советскую ее рецепцию. Ключевую роль и для студентов, и для преподавателей играла парадигма экспертного знания. Студенты-лингвисты в силу знакомства с «экзотическими» языками — к этому приводило участие и в экспедициях, и в олимпиадах¹⁰⁹ — обладали большими познаниями в области типологии, обращали меньшее внимание на культурную значимость изучаемого языка и большее — на его собственно лингвистические особенности. Они чаще были носителями исследовательской парадигмы знания. Различие этих парадигм приводило к искажениям взаимного восприятия. Лингвисты могли казаться языковедам слишком поверхностными (в силу недостаточной погруженности в традицию), некомпетентными ни в одном из многочисленных изучаемых языков, гонящимися за научной модой, механистически мыслящими, выбирающими для исследования маргинальные и малоценные объекты¹¹⁰. Языковеды, в свою очередь, могли представляться лингвистам слишком догматичными, неспособными посмотреть на изучаемый язык в типологическом контексте, не склонными к строгому и логичному описанию фактов и созданию оригинального научного исследования, невнимательно следящими за достижениями мировой науки.

День, когда В.А. Успенскому удалось добиться наименования нового подразделения Отделением теоретической и прикладной лингвистики, был

¹⁰⁸ Алпатов В.М. О студенческих годах. С. 40, 49.

¹⁰⁹ Таким образом, сказанное неверно для студентов-лингвистов самых первых выпусков, когда еще не было экспедиций и олимпиад.

¹¹⁰ Типичная реплика языковеда-традиционалиста при знакомстве с новым лингвистическим описанием некоторого явления известного ему языка: «Мы всегда знали о существовании этого явления, только не давали ему никакого названия».

исходной точкой разделения науки о языке на два направления. Наряду с лингвистикой продолжала (и продолжает) существовать традиционная парадигма языкознания, не выделяющего себя из филологии. Во многих дисциплинах можно выделить направления «архаистов» и «новаторов», но в данном случае положение осложняется, во-первых, различным отношением направлений к науке-метрополии, а во-вторых, существованием параллельных и иногда конкурирующих самоназваний. Ситуация становится еще более неопределенной в связи с развитием таких научных направлений, как семиотика или когнитивная наука, которые стремятся работать поверх дисциплинарных границ. Этими фактами определяется комплексное устройство современного дисциплинарного поля наук о языке и тексте.

ДИЛЕММА ПРОФЕССИИ: СОВЕТСКИЕ ИНСТИТУТЫ И СОВРЕМЕННАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ*

Ученых, преподавателей, литераторов, судей и медиков обычно называют людьми свободных профессий. Эффективность труда представителей этих профессий сложно оценить человеку, не обладающему соответствующим образованием. Самый простой способ для стороннего наблюдателя убедиться в их квалификации — положиться на значимость выданных специалистами сертификатов, довериться их репутации среди профессионалов. Но свобода и власть такого сообщества не безграничны. История развития профессий демонстрирует сложные и порой конфликтные отношения как внутри соответствующих групп, так и их самих — с обществом и государством.

Вторая половина XIX в. — период становления и дифференциации современных академических профессий, когда корпоративные отношения представителей университетов и академий начинают регламентироваться правилами, установление которых в существенной степени определяется национальным (региональным) контекстом¹.

* Глава подготовлена в рамках проекта по гранту Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Институциональная история философии: формирование профессиональной философии в немецкой институциональной среде XVIII–XX вв.» 12-03-00451(а).

¹ В корпусе текстов по исследованию академических профессий, прежде всего, стоит выделить коллективную монографию под редакцией Бертона Кларка, обобщающую опыт дифференциации академических профессий XIX и XX вв. (*The Academic Profession: National, Disciplinary, and Institutional Settings* / B.R. Clark (ed.). University of California Press, 1987.) Анализу современных трансформаций академических профессий в странах БРИК и США посвящена работа: *The Global Future of Higher Education and the Academic Profession: The BRICs and the United States* / P.G. Altbach (ed.). [L.]: Palgrave Macmillan, 2013. Кроме этого, важно отметить исследования, концентрирующиеся на изучении их исторического генезиса и структуры в рамках отдельных государств и регионов: *Cocks G., Jarausch K. German Professions 1800–1950*. Oxford: Oxford University Press, 1990; *Perkin H. The Rise of Professional Society...*; *Kimball B.A. The “True Professional Ideal” in America: A History*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1996; *Engel A. The Emerging Concept of the Academic Profession at Oxford, 1800–1854* // *University in Society* /

Одной из первых стран, где процесс профессионализации затронул философское сообщество, была Германия. Реализация гумбольдтовской модели университета превратила университетских философов из интеллектуалов широкого профиля в достаточно узких специалистов. Профессионализация философского знания, предполагающая ограничение эпистемологических и социальных претензий, не проходила безболезненно и имела не только своих сторонников, но и критиков². Наиболее известным из них стал Артур Шопенгауэр, чьи скептические суждения в отношении «*Universitäts-Philosophie*» превратились в расхожий риторический троп. В эссе 1851 г. «Об университетской философии» Шопенгауэр выделяет два противоположных типа философии: «философия по поручению правительства» и «философия по поручению природы и человечества»³. Философия первого типа и есть университетская профессиональная философия. Шопенгауэру сложно отказать в социологической наблюдательности. Критикуя профессиональную философию, он подчеркивает не только ее идеологическую ангажированность государством (данная критика адресована, прежде всего, Гегелю), но и, что более важно, выступает против самой модели философской деятельности, детерминированной университетской организацией. Действительно, профессионализация философского знания привела к существенной тематической и структурной перестройке знания, состоявшей во все более усложнявшейся систематической профессиональной подготовке, в появлении новых жанров, стабилизации исследовательских циклов. Раннюю романтическую критику Шеллинга в адрес факультетов, обучающих хлебным профессиям, Шопенгауэр обращает на сам философский факультет — университетская философия представляется ему ремеслом, тогда как настоящая философия уподобляется «альпийской розе и эдельвейсу», поэтому преуспевать она может лишь «на свободном горном воздухе»⁴.

Различия институционального контекста формирования профессий определяют существенные особенности этого процесса в рамках национальных или региональных границ. Своеобразие образовательной и науч-

L. Stone (ed.). Vol. 1: Oxford and Cambridge for the 14th to the Early 19th Century. Princeton: Princeton University Press, 1974. P. 305–352.

² Амбивалентность процесса профессионализации научного знания хорошо заметна на примере американской дискуссии 1960-х годов вокруг превращения социологии в академическую профессию. Анализ этого случая см. в главе «Социология профессий и социология как профессия» данной монографии.

³ Шопенгауэр А. Об университетской философии // Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Республика, 2001. С. 106.

⁴ Там же. С. 119.

ной политики государств, особенности академических сообществ, различные социальные ожидания со стороны обществ в разных странах делают представителей одной дисциплины непохожими друг на друга. Правила современных философских сообществ во Франции, Германии, США или России, несмотря на сходство в целом, имеют определенные отличия. Выявление и анализ специфики организации философского сообщества способны заставить исследователя изменить методологию изучения истории философии и выработать нейтральный язык описания текущего состояния сообщества, позволяющий раскрыть связь особенностей устройства данного «цеха» с исследовательскими интересами его членов.

Цель данной главы — проследить, как на протяжении последних 20 лет изменялся дисциплинарный ландшафт философской профессии в России; насколько эти изменения повлияли на самоидентификацию специалистов-философов. Речь пойдет об организационно-административных и корпоративных, а также историографических показателях профессионализма, а критерии содержательные (меняющееся место историко-философской проблематики, трудов по философии науки, эпистемологии и дискуссии внутри этих субдисциплин) в данной работе сознательно оставлены автором в стороне.

Исследование современного философского сообщества требует анализа паттернов профессии, сложившихся в советское время. В конце 1990-х годов Николай Плотников подробно описал институциональный контекст советской философии в исследовании «Философия в России: тенденции и перспективы»⁵. Главные результаты этой работы были опубликованы на русском языке в 2001 г. в журнале «Логос». В статье «Советская философия: институт и функция» Плотников утверждал, что «вторичная институционализация», т.е. процесс дифференциации философии по субдисциплинам, распределенным по многочисленным формам научных учреждений, характерный для советской философии после 1960 гг., в условиях культурного кризиса 1990-х сменился процессом депрофессионализации⁶. Работая в русле концепции Н. Плотникова, полагаю необходимым уточнить периодизацию становления дисциплинарного ландшафта советской философии и проследить последствия «вторичной институционализации» для постсоветских условий. Я попытаюсь показать, что становление базовых для современного философского сообщества правил необходимо отнести к 1940-м годам; в са-

⁵ *Gethmann C.F., Plotnikov N.* Philosophie in Rußland. Tendenzen und Perspektiven. Bad Neuenahr-Ahrweiler: Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen, 1998.

⁶ *Плотников Н.* Советская философия: институт и функция // Логос. 2001. № 4 (30). С. 106–114.

мом же его историческом развитии можно выделить три крупных периода. На первом, «волюнтаристском», или сталинском, этапе (1940–1953 гг.), где последнее слово оставалось лично за Сталиным, создавались основы системы; второй — административно-командный, или централизованный, — этап (1953–1989 гг.) характеризуется контролируемой экстраполяцией системы. Третий — административно-рыночный — этап (1989–2010 гг.) связан с приспособлением унаследованной инфраструктуры к расширяющемуся спросу на высшее гуманитарное образование. Отталкиваясь от представлений о том, что вторичная дисциплинаризация является одной из главных черт советской философии, я попытаюсь доказать гипотезу, что именно она оказалась главным фактором сдерживания профессиональной философии от размывания в постперестроечный период. Однако одним из следствий этого стала регионализация философского сообщества в рамках национальной системы образования и науки. Особенности развития университетов в 1990-х годах привели к росту численности университетских философов, поставив их перед дилеммой: соблюдать сложившиеся конвенции или радикально пересматривать основания собственной профессии.

1. Философия как кафедральная наука, или становление философских факультетов в СССР

В институциональном плане ландшафт философской профессии делится на две территории: пространство университетской философии, предполагающее обучение студентов, и поле философии при исследовательских центрах, возможность работы в которых представляла, прежде всего, Академия наук СССР. Логика разных прав и требований к занимаемым должностям накладывалась на разный институциональный вес конкретных учреждений. В связи с этим возникает необходимость прояснить связь между становлением профессиональных норм философского сообщества и историей развития конкретных организаций, в которых работали его представители.

Вопрос о точке отсчета, с которой нужно вести становление профессиональных норм советских философов, — это вопрос их преемственности по отношению к организационным формам дореволюционного философского сообщества. Место философии в российских университетах существенным образом отличалось от положения этой дисциплины в немецкоязычных университетах. Философский факультет центрально-европейских университетов, наследуя еще средневековую традицию подготовительного факультета, в XIX в. стал ареной для развития всех научных дисциплин⁷.

⁷ Schwinges R.C., Studer B. *Artisten und Philosophen. Wissenschafts- und Wirkungsgeschichte einer Fakultät vom 13. Bis zum 19. Jahrhundert.* Basel: Schwabe, 1999.

Философский факультет Московского университета, существовавший с момента его основания в 1755 г., упраздняется уставом от 1804 г. Реорганизация высшего образования начала XIX в., учреждавшая сеть университетов, предполагала разделение «научного факультета» на два отделения: отделение нравственных и политических наук и отделение физических и математических наук. С принятием следующего устава в 1835 г., вероятно с оглядкой на немецкую традицию, два отделения реорганизуются и получают «зонтичное» название философского факультета. Однако уже в 1850 г. философский факультет упраздняется, а включенные в него отделения получают самостоятельность, превращаясь в историко-филологический и физико-математический факультеты⁸.

Пертурбации, связанные с реорганизациями философского факультета, отражают неясный статус философского знания. Кафедра философии относилась то к нравственным и политическим наукам, то к историко-филологическим, и уже по своему структурному положению не могла претендовать на обеспечение методологического единства наук. Нет ничего удивительного, что кафедру философии можно было изъять из состава университета на целое десятилетие, с 1850-х по 1860-е годы.

В начале XX в. положение философии в университете начинает меняться. Так, в 1906 г. на историко-филологическом факультете Московского университета появляется «учебный план по группе философских наук»⁹.

Революция 1917 г. резко изменила ситуацию в университетах. Первое послереволюционное десятилетие для гуманитарных наук характеризовалось организационным многообразием, часто предполагавшим разделение преподавательской и исследовательской деятельности. Следствием этого стали минимизация контактов исследователей со студенчеством, что имело политическое значение, и упрощение организационных механизмов новых исследовательских центров. Так, созданный в начале 1920-х годов Институт красной профессуры в 1938 г. был, по сути, поглощен новой структурой — Высшей школой марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), которая, в свою очередь, в 1946 г. была преобразована в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Созданная в первые годы Советской власти Социалистическая академия общественных наук (уже в 1919 г. она была переименованная в Социалистическую академию, а 1924 г. — в Коммунистическую академию),

⁸ Анализ специализации гуманитарного образования на примере исторической дисциплины см.: *Перковская Г.А.* Развитие исторического образования в университетах России во второй половине XVIII — начале XX вв.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Ставрополь, 2005.

⁹ *Павлов А.Т.* Философия в Московском университете. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2010. С. 201–223.

в 1936 г. поглощается Академией наук СССР¹⁰. Реформы и централизация привели к тому, что главной организацией в области философии стал учрежденный в 1936 г. Институт философии Академии наук СССР. Структура Института философии представляла систему секторов — подразделений, которые, в свою очередь, могли внутри разделяться на так называемые группы. Состав и количество секторов и групп в период с 1936 по 1957 г. были динамичными и могли меняться почти каждый год. Общая тенденция, однако, заключалась во все большей дифференциации структурных элементов организации с последующей ее стабилизацией. В результате количество секторов выросло с пяти (1936 г.) до девяти секторов и четырех групп к 1957 г.¹¹

Университетские дисциплины, репрезентирующие связь с античным наследием, к которым можно отнести философию и филологию, в наибольшей степени пострадали в годы «культурной революции». Появление философии в советских университетах совпало с позднесталинским возвращением к имперской стилистике, способствовавшей оживлению интереса к «классическим» дисциплинам¹². Вероятно, план по созданию философских факультетов в структуре центральных университетов следует отнести к рубежу 1930–1940-х годов. Создание подразделений, ведущих специализированное обучение философии, можно объяснить желанием ввести массовое преподавание общественно-научных предметов на разных уровнях системы образования (в частности, это касается включения в качестве обязательных школьных предметов логики и психологии — идеи, приписываемой лично Сталину¹³). Начавшаяся война внесла коррективы в сроки реализации проекта, растянув его исполнение на десятилетие.

¹⁰ Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС 1922–1952 / сост. В.Д. Есаков. М.: РОССПЭН, 2000. С. 216–224.

¹¹ В 1936 г. существовали следующие секции: истории философии, исторического материализма, диалектического материализма, философии естествознания, истории религии и атеизма, в 1956 — секторы: диалектического материализма, исторического материализма, эстетики, истории философии, современной буржуазной философии и социологии, атеизма, философских вопросов естествознания, психологии. Последовательность сохранена. АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. <<http://isaran.ru/?q=ru/opis&ida=1&guid=62B8A911-6C99-D863-77DE-6C7E3F6A72DE>>.

¹² Богданов К.А. Гуманитарий — где, когда и почему: социометрия и (русский) язык // Новое литературное обозрение. 2006. № 5. С. 18–29.

¹³ О том, что идея преподавания логики в школах принадлежала лично Сталину, косвенно свидетельствует рассказ о том, как в 1941 г. философ В.Ф. Асмус был вызван лично к Сталину, где ему было дано поручение написать учебник по логике (Смирнов В.А. Воспоминания об В.Ф. Асмусе // Вопросы философии. 1995. № 1. С. 46; Бажанов В.А. Партия и логика. К истории одного судьбоносного постановления ЦК ВКП(б) 1946 года // Логические исследования. Вып. 12. М.: Наука, 2005. С. 32–48).

Первый философский факультет возникает в Ленинградском университете. Он открывается в 1940 г. в результате преобразования философского отделения, созданного годом ранее на базе исторического факультета. Вслед за ним появляется философский факультет в Московском университете, в то время эвакуированном в Ашхабад. Новое подразделение учреждается 25 декабря 1941 г. Факультет создается в результате объединения и последующей реорганизации философского факультета Московского института истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ) и кафедры философии исторического факультета. Философский факультет Киевского университета открывается в освобожденном от фашистских войск городе в 1944 г.¹⁴

4 декабря 1946 г. решением ЦК ВКП(б) вводилось преподавание логики и психологии в средней школе. В соответствии с этим в 1947/1948 учебном году логика и психология должны были преподаваться в 200 школах крупных городов. Проблема с кадровым обеспечением специально оговаривалась авторами постановления:

В целях подготовки высококвалифицированных преподавателей психологии и логики для университетов и педагогических институтов предложено министру высшего образования СССР, директору Института философии Академии наук СССР и президенту Академии педагогических наук РСФСР довести не позднее октября 1947 г. контингент аспирантов: по психологии — до 100 человек, из них в Институте философии Академии наук СССР — до 20 человек, в Академии педагогических наук РСФСР — до 30 человек, в университетах и педагогических институтах — до 50 человек; по логике — до 50 человек, из них в Институте философии Академии наук СССР — до 20 человек, на философских факультетах университетов — до 30 человек¹⁵.

Предписываемые количественные показатели говорят о существовавшей иерархии образовательных институций, на вершине которой располагался академический Институт философии. Кроме того, о «патерналистском» статусе философского подразделения Академии наук (относительно университетских философских кафедр) говорит и тот факт, что в университете не было открыто ни одной кафедры, название которой не соответствовало бы названию сектора или группы Института философии¹⁶.

¹⁴ Губерський Л.В. Генеза філософських студій у Київському університеті. 2-е вид. Київ, 2010. С. 239–260.

¹⁵ О преподавании логики и психологии в средней школе. Постановление ЦК ВКП(б) // Учительская газета. 1946. Декабрь 4. № 55 (3184). С. 1.

¹⁶ Об истории института см.: Наш философский дом. К 80-летию Института философии РАН. М.: Прогресс-Традиция, 2009.

Открывшиеся факультеты структурно мало отличались друг от друга. В их состав входили кафедры логики, диалектического и исторического материализма, истории философии и отделение психологии. Допускались лишь небольшие различия: в частности, в 1943 г. в столичном университете открылась кафедра истории русской философии, а в Ленинграде и Киве некоторое время существовали кафедры педагогики. С 1953 г. чтения курсов диалектического и исторического материализма становятся обязательными для студентов и аспирантов всех специальностей. Это приводит к созданию специализированных кафедр: в университетах, имеющих философские факультеты, это кафедры философии для естественных и гуманитарных факультетов, в остальных вузах создаются общеуниверситетские кафедры философии.

Следующий этап институционального развития философии представляет собой контролируемое масштабирование программы, созданной в предыдущие годы. Ярким примером является история развития так называемых Университетов марксизма-ленинизма, фактически представляющих собой курсы при региональных комитетах КПСС. Число таких университетов, учрежденных в 1938 г., к 1956 г. достигло 288 с общим числом слушателей 149 тыс. человек. В течение последующих 20 лет их число еще увеличилось и достигло в 1974/1975 учебном году 352. Одновременно в них обучалось около 334 тыс. слушателей¹⁷.

Расширилась география вузов, в состав которых входили философские факультеты. Так, к трем существующим прибавились еще два факультета: в 1966 г. философский факультет был открыт в Свердловском университете, в 1970 г. — в Ростовском¹⁸. Траектория организации и развития новых философских факультетов в период с 1960-х до конца 1980-х годов может быть описана как приобретение организационных прав (путем создания кафедр) на преподавательские и исследовательские ресурсы. Представление о том, как проходило оформление новых подразделений, дают воспоминания известного ленинградского философа М.С. Кагана:

¹⁷ См.: Байкова В.Г. Идеологическая работа КПСС в условиях развитого социализма (некоторые вопросы теории и практики). М., 1977; Ненашев М.Ф. Идеино-воспитательная работа КПСС: особенности, опыт, проблемы. М., 1980; Университеты марксизма-ленинизма // Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 27. / А.М. Прохоров (гл. ред.). 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1977. С. 21.

¹⁸ Информация о кафедральном развитии философских факультетов преимущественно взята с сайтов соответствующих факультетов, а также в следующих изданиях: Философский факультет РГУ: история и современность: сб. науч. трудов филос. ф-та Ростовского гос. ун-та. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002.; Философский факультет. 1940–2005: Кафедры. Доктора наук, профессора. Воспоминания / под ред. Ю.Н. Солонина. СПб., 2005. Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: страницы истории / под ред. А.В. Козырева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.

В 1960 г., будучи доцентом кафедры истории искусства исторического факультета нашего университета, я получил от нового декана философского факультета Василия Павловича Рожина приглашение перейти на создававшуюся им кафедру этики и эстетики; возглавить ее декан поручил молодому доценту отделения психологии Владимиру Георгиевичу Иванову, предложив ему освоить новую дисциплину — этическую теорию, поскольку специалистов в области этики в то время в городе еще не было. Несколько преподавателей эстетики в Ленинграде уже работало, в том числе и присланные из Москвы для укрепления «идеологического фронта» выпускники Академии общественных наук¹⁹.

Особенность развития факультетов лишь в последовательности открытия кафедр, что связано с лоббистскими возможностями и амбициями администрации вузов: так, например, в ЛГУ кафедру этики и эстетики организовали в 1960 г., на два года опередив открытие аналогичной кафедры в МГУ, кафедра же истории и теории атеизма открывается в ЛГУ спустя 17 лет после того, как это было сделано в Москве. Такое отставание было вызвано тупиком в переговорном процессе между университетским руководством и представителями партийной структуры. М.М. Шахнович, ныне заведующая кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета СПбГУ, дочь советского религиоведа и философа М.И. Шахновича, так описывает последовательность событий, участником которых был ее отец: «Когда пришло указание, чтобы была в Ленинграде создана кафедра научного атеизма, обком обратился в университет. Университетское руководство хотело, чтобы кафедрой заведовал Шахнович, но обком не разрешал. Университет упорствовал. В итоге в Ленинградском университете кафедру не открыли, кафедра появилась в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена»²⁰.

В целом структура новооткрывшихся факультетов воспроизводила устройство уже существующих. Однако меньшие интеллектуальные и материальные ресурсы не позволяли достичь полного подобия. Как правило, кафедры объединяли две дисциплины. Так, в Свердловском университете в 1966 г. открывается кафедра эстетики и научного атеизма, на философском факультете Ростовского университета в 1973 г. создается кафедра логики, этики и эстетики. Внутренний порядок всех пяти факультетов воплощал матрицу, сформированную в эпоху позднего сталинизма, и отражал определенное понимание философии как отраслевого целого. Это означало, что

¹⁹ Кagan М.С. О философском факультете СПбГУ 60–70-х годов: Из воспоминаний М.С. Кагана. <<http://www.countries.ru/library/culturologists/kagan/vk.htm>> (дата обращения: 01.10.2013).

²⁰ Цит. по: Коняев А., Артемьев А. Сердце бессердечного мира. Как родился и умер советский научный атеизм? // Лента.ру (2013. Август. 9). <<http://lenta.ru/articles/2013/08/09/atheism/>> (дата обращения: 01.10.2013).

все необходимые знания уже содержались в курсах по диалектическому и историческому материализму, функции же кафедральной науки состояли лишь в детализации отдельных областей знания.

Кафедральный принцип организации философского факультета предполагал высокую степень специализации преподавательской и исследовательской деятельности, так как кафедра, за которой закреплялось чтение определенного цикла предметов, оказывалась выпускающим подразделением факультета. Структурная организация факультетов советских университетов имела свои особенности и отличалась от моделей других университетов, также организованных по кафедральному принципу. Согласно определению, данному в «Положении о высших учебных заведениях СССР» от 1969 г., «кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением высшего учебного заведения (филиала, факультета), осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным дисциплинам, воспитательную работу среди студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации»²¹. Предписанный кафедрам функционал предполагал, что научную подготовку нового поколения исследователей можно осуществлять исключительно в рамках существующей на факультете кафедральной специализации. Таким образом, кафедры оказывались в центре университетской науки, а их организационные границы становились внутривнутридисциплинарными барьерами. Завершающим этапом формирования специалиста на кафедре (уже на этапе постдипломной подготовки) выступала подготовка и защита им в рамках кафедральной специализации диссертационного исследования, тема которого должна была соответствовать не только профилю кафедры, но и закреплённой за ней специальности из общего списка номенклатуры.

Идея списка научных специализаций связывала организацию советской науки с дореволюционной традицией. Регламентация и административная классификация научных дисциплин была введена в России еще в начале XIX в. «Положением об испытаниях на звание действительного студента и на ученые степени» (1819). «Положение» определяло науки, по которым могли присваиваться ученые степени, и устанавливало единый порядок их получения²². На протяжении XIX в. список номенклатуры изменялся 3 раза,

²¹ Постановление Совета министров СССР от 22.01.1969 № 64 «Об утверждении Положения о высших учебных заведениях СССР». Текст цитируется по: <<http://base.consultant.ru/>>; этот же текст вошел в словарную статью «Высшие учебные заведения» Большой советской энциклопедии.

²² См. подробнее: Вишленкова Е.А., Ильина К.А. Об ученых степенях, и о том, как диссертация в России обрела научную и практическую значимость // Новое литературное обозрение. 2013. Т. 122. № 4. С. 84–107.

менялись границы возможностей университетов определять особенности процедур и норм присуждения квалификаций²³. Возврат к отмененной после революции системе состоялся в 1934 г. За советский период номенклатура изменялась 11 раз, а после распада Советского Союза еще 4 раза. Права определять специальности переходили от одного ведомства к другому. И хотя некоторые представители факультетов могли входить в число экспертов, имеющих формальные и неформальные рычаги влияния, в целом факультеты были пассивными субъектами проводимой политики.

Регламентация и контроль, осуществляемые в рамках сталинской науки, в последующем дополняются технократическим пафосом второй половины прошлого века. С 1957 г. все специальности получают шестизначные шифры, а указание специальности на автореферате становится обязательным. Первыми двумя цифрами шифра философских наук стали «09», последние две цифры номера обозначали специальность. Таким образом, каждой субдисциплине был присвоен собственный порядковый номер. На сегодняшний день среди философских специальностей насчитывается 14 таких подразделов; номера, закрепленные за субдисциплинами, которые со временем были отнесены к другим отраслям знания или, как в случае со специальностью 09.00.02 — теория научного коммунизма, просто изъяты, остаются пустыми, не прерывая целостность всей нумерации специальностей.

Умение определить, к какой специальности относится то или иное диссертационное исследование, становится «местом силы» профессионалов, значимым профессиональным навыком, от наличия которого может зависеть судьба диссертации как на стадии написания работы (ведь специальность во многом определяет выбор темы диссертации), так и на всех этапах подготовки ее к защите. В частности, диссертационный совет в лице избранной экспертной комиссии не может отказать в приеме диссертации к защите на основании несоответствия выполненной работы заявленной специальности или же той специальности, по которой диссертационный совет имеет право проводить защиту. Регулирование соответствия подготавливаемых

²³ Такой анализ проведен по нескольким дисциплинам, например, по юридическим наукам (*Балеевских Л.С., Муранов А.И.* Отечественная история нормативной регламентации номенклатур специальностей научных работников применительно к юриспруденции // *Правоведение.* 2008. № 5. С. 243–259) и по истории (*Ягудаева И.А.* Эволюция специальностей научных работников по историческим наукам в России (1819–2001 гг.) // *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.* 2008. № 61. С. 321–325). Обе работы имеют описательный характер и высоко оценивают существующее положение дел. Так, И.А. Ягудаева приходит к выводу, что существующая классификация исторических наук является «наиболее оптимальной». Кроме этого, см.: *Иванов А.Е.* Ученые степени в Российской империи. XVIII в. — 1917 г. М., 1994; *Присуждение ученых степеней в РСФСР и СССР: полное собрание нормативных правовых актов (1917–1961)* / сост. А.Н. Якушев. Ставрополь, 2006.

диссертаций установленным специальностям осуществляется через кафедральную систему, организованную по тому же принципу, что и распределение специальностей. Связка кафедрального устройства образовательного процесса с регулируемым государством набором научных специальностей делает внутридисциплинарные области герметичными и самодостаточными, в то же время объединяя их в единое целое как институционально однородные образования. Таким образом, сложившаяся в советское время и укрепившаяся в постсоветский период организационная модель производства и воспроизводства философского знания сыграла важную роль в сохранении философии как дисциплины в условиях разрушения всей марксистско-ленинской традиции.

Философские факультеты центральных советских университетов не имели аналогов в структуре предшествующих им императорских университетов. Однако новая организация преподавания философии заимствовала некоторые элементы дореволюционной философской традиции. Во-первых, это можно наблюдать в предметной организации философского образования. В частности, учебные пособия по логике и психологии для средних школ, по которым осуществлялось преподавание в первые годы после восстановления этих предметов, были просто переизданием дореволюционных учебников²⁴. Во-вторых, наличие обязательного курса для всех направлений обучения также имело место в практике дореволюционного университета. Чтение базового курса по философии для студентов историко-филологического факультета (а в некоторые периоды в ряде университетов — и для всех направлений), составляло существенную часть нагрузки сотрудников кафедры философии императорских университетов. В этом отношении философия была похожа на курс богословия, читавшийся силами одноименной кафедры в обязательном порядке всем студентам. Задача массового преподавания курса, одной из главных целей которого было формирование не только общего мировоззрения, но также конформизма и терпимости к идеологическим клише, наследуется кафедрой философии (или диалектического и исторического материализма), часто вынесенной за рамки философского факультета и имеющей организационную автономию.

Положение философского факультета в советских университетах структурно напоминало положение философского факультета в гумбольдтовской университетской модели. Претензия философии определять эпистемологическую ценность методологии частных наук и координировать их единство в контексте немецкой университетской науки обернулась борьбой за эман-

²⁴ Подробнее о преподавании психологии в средней школе Российской империи см.: *Wyford A. Psychology at High School in Late Imperial Russia (1881–1917) // History of Education Quarterly. 2008. Vol. 48. No. 2. P. 265–297.*

сипацию научных дисциплин. Заложенный в самой организационной архитектуре университета конфликт инициировал сложную конкуренцию дисциплинарных исследовательских программ, самым ярким примером тому может послужить случай с психологией²⁵. Философия в советской университетской системе так же, как немецкая философия XIX в., предполагала соотнесение частных дисциплин с общей теорией знания и мироустройства. Однако управление наукой «сверху» не допускало открытой конкуренции исследовательских программ, а разрастающееся кафедральное устройство позволяло относительно безболезненно дифференцировать знание. В условиях жесткого административного контроля все действия философов-профессионалов были понятны и предсказуемы, и поэтому отказ от контроля в конце 1980-х годов принципиально изменил ситуацию в этой области.

2. Институциональная ловушка постсоветской философии

Идеологическое давление на философское сообщество существовало не только в России. Богатая традиция осмысления академической свободы не смогла уберечь немецкое академическое сообщество от катастрофы 1930–1940-х годов.

В отличие от своих восточногерманских коллег, советские философы не прошли через процедуру переаттестации. Более того, в отличие от целого поколения восточно-немецких философов, которые были вынуждены оставить профессию, для тех российских философов, которые начали свою карьеру еще в Советском Союзе, открылись новые карьерные возможности. Несмотря на дискредитацию марксистско-ленинской философии, потерю философией статуса идеологически значимого знания и низкие заработки во всех академических профессиях, количество членов философского сообщества не только не сократилось, а наоборот, наблюдался стремительный рост численности профессиональных философов. Согласно статистике, представленной на заседании Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию, с начала 90-х годов количество вузов Российской Федерации, осуществляющих подготовку студентов по направлению «Философия», увеличилось почти в 10 раз, с 5 до 47²⁶. Экстен-

²⁵ Kusch M. *Psychologism: A Case Study in the Sociology of Philosophical Knowledge*. L.: Routledge, 1995; Куренной В. Психологизм и его критика Эдмундом Гуссерлем // *Логос*. 2010. № 5. С. 166–182.

²⁶ Доклад В.В. Миронова на заседании Президиума Учебно-методического совета по философии и религиоведению от 14 декабря 2011 года: <http://new.philos.msu.ru/dep/umo/resheniya_ums/zasedanie_prezidiuma_ums_14_dekabrja_2011_goda/> (дата обращения: 01.10.2013).

сивный рост в условиях кризиса легитимности прежней партийной философии и ограниченности ресурсов, затрачиваемых на повышение квалификации и академическую мобильность, стал вызовом для инфраструктуры философской профессии.

Начиная с 1989 г. меняется принцип формирования факультальной системы философских факультетов. В отличие от предыдущих периодов — сталинского и административно-командного — можно говорить о нескольких стратегиях развития факультета. На примере самого большого философского факультета в России — философского факультета Московского университета — ясно прослеживаются три пути: 1) кластеризация и последующий выход из состава факультета нескольких социальных дисциплин; 2) появление новых кафедр и специализаций философского факультета; 3) переименование (ребрендинг) имеющихся на факультете кафедр.

Кафедральная система постсоветских факультетов была достаточно эластична, а руководство университета и факультетов было заинтересовано в открытии новых позиций, так как это позволяло наращивать организационные мощности и при сравнительно невысоких затратах на профессорско-преподавательский состав обучать большее количество студентов.

Кластеризация социальных дисциплин проходила еще в советское время. Наиболее показательным в этом отношении развитие философского факультета МГУ. Так, кафедра психологии уже в 1947 г. превратилась в отделение, а затем в 1966 г. и в факультет; некоторые из созданных в конце 1960-х и в 1970-е годы кафедр позже образовали блоки «социологических» кафедр, уже в 1984 г. составивших отделение социологии (в 1989 г. превращенное в социологический факультет), и «политологических» кафедр, выделенных в отдельный факультет только в 2008 г.

Кафедральное устройство предоставляло инструменты, позволяющие довольно легко институционализировать новые исследовательские программы. Новые дисциплины, в зависимости от востребованности их образовательных программ, могли сравнительно легко реализовать свои «сепаратистские» стремления²⁷. Ярким примером превращения широкой рамки исследований в хорошо институализированную дисциплину является культурология. В период наиболее последовательно осуществляемой идеологической дискредитации официальной советской философии именно в рамках философского образования была предложена альтернатива. На сайте кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ так описываются мотивации ее отцов-основателей:

²⁷ См. описание общей ситуации на начало 2000-х годов: Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в вузах России: Аналитический доклад / под ред.-сост. Л.Г. Ионина. М.: Логос, 2003.

Кафедра Истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ — одна из первых в России культурологических кафедр — возникла в 1990 г. в обстановке интенсивных реформ высшей школы, когда историческая ситуация открывала редкие возможности для прихода или возвращения в Университет лучших сил российской гуманитарной науки. Программа реформ включала в себя замысел создания дисциплины, которая смогла бы интегрировать гуманитарные «общечеловеческие» ценности и тем самым занять в высшем образовании общества опустевшее место «идеологических» дисциплин. Таким образом, возникло новое весьма жизнеспособное направление, за которым закрепилось название «культурология»²⁸.

Создание новой дисциплины, противопоставленной деформированным идеологическим давлением «старым» наукам, оказалось проще нормализации работы в уже имеющихся областях знания.

Деперсонифицированные описания специальностей часто представляют образцы демонстративной риторики, не предполагающие наличия аргументации. В качестве характерного примера можно привести описание специальности 09.00.13 «Религиоведение, философская антропология, философия культуры»²⁹. Согласно тексту, «соединение проблем из трех областей знания» отражает комплексный характер данной специальности. Непроясненная исследовательская рамка компенсируется предельно широким толкованием предметной области специальности: «Объектами изучения в специальности являются религия, человек, культура в их различных аспектах, что вызывает необходимость использования соответствующих данных конкретных наук и философского осмысления этих данных»³⁰. Анализ текста показывает, что анонимный(е) автор(ы) пытается содержательно обосновать такое объединение, объективно имеющее исключительно организационную природу.

Кризис легитимности советской философии в постсоветский период оказался легко преодолим путем ряда косметических преобразований, не затронувших самой институциональной модели. Преобразования, осуществленные на подавляющем большинстве кафедр, касались лишь названия. Так, например, на философском факультете МГУ кафедра диалектического

²⁸ Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Направление подготовки «Культурология»: история. Цит. по: <<http://new.philos.msu.ru/section/cultura/historia/>> (дата обращения: 01.10.2013).

²⁹ В такой редакции специальность существовала лишь некоторое время, сейчас специальность разделена: 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры», 09.00.14 «Философия религии и религиоведение».

³⁰ Паспорт специальности 09.00.13 «Религиоведение, философская антропология, философия культуры». Цит. по: <<http://dbs.sfedu.ru/rsu/ps/09.00.13.htm>>.

материализма получила название кафедры теоретической философии, кафедра исторического материализма стала называться кафедрой социальной философии, кафедра истории и теории научного атеизма трансформировалась в кафедру философии религии и религиоведения. Кафедре, призванной изучать отечественную философскую традицию с 1955 г., отражая реалии эпохи дружбы народов, и носившей название кафедра истории философии народов СССР, после разрушения Советского Союза вернули первоначальное, данное в 1943 г. в разгар Второй мировой войны наименование — кафедра русской философии. Единственной жертвой преобразований стала кафедра истории марксизма-ленинизма. Ее закрытие в 1989 г. должно было символизировать завершение традиции.

Переименование кафедр во многих университетах было формальным, не затрагивая ни качественного, ни количественного состава подразделения. Однако оно имело большое символическое значение, поскольку требовало де-факто отказа от марксистско-ленинской философии, которую на протяжении многих лет преподавали большинство сотрудников. Быстрая и повсеместная смена названий кафедр и их дальнейшая унификация согласно новой номенклатуре специальностей свидетельствовали об отсутствии ресурса сопротивления процессам, которые многими воспринимались как отражение политической конъюнктуры. В этом отношении показательна история кафедры онтологии и теории познания философского факультета Уральского государственного университета. На сайте кафедры так описаны таксономические пертурбации:

С 1985 г. кафедра диалектического материализма была несколько раз переименована. Она называлась «кафедрой систематической философии», «метафизики и теории познания» (что вызывало массу вопросов и недоумений у диалектически воспитанных умов), «теории познания, философии науки и логики» (сотрудники кафедры сочли, что при громоздком названии тем не менее, не охватываются все основные исследовательские направления кафедры), «диалектики и теории познания» (так одно время квалифицировалась специальность ВАКа). А с 1996 г. кафедра носит свое нынешнее название: «кафедра онтологии и теории познания»³¹.

Унификация переименованных кафедр, создание новых подразделений с аналогичными названиями свидетельствуют о существовании сильных рычагов управления профессиональным сообществом, однако в отличие от советского времени они не находятся в руках партийных структур. Экстенсивный рост университетов, имеющих философские образовательные программы, может быть объясним спецификой спроса на гуманитарное

³¹ Философский факультет УГУ им. А.М. Горького. Кафедра онтологии и теории познания: история. Цит. по: <<http://philos.ispn.urfu.ru/faculty/hist/372>> (дата обращения: 01.10.2013).

образование. Обеспечить реализацию такой потребности администрации российских вузов удалось, пользуясь, с одной стороны, поддержкой государства, с другой — средствами самих обучающихся³².

В условиях ослабления управленческого и идеологического давления конца 1980-х годов административному университетскому истеблишменту удалось развить собственные формы профессиональной координации. Так, в 1989 г. была создана Ассоциация университетов СССР, в 1992 г. переименованная в Евразийскую ассоциацию университетов, и тогда же был учрежден Российский союз ректоров. Кроме профессиональных организаций, передаче части регулирующих полномочий университетской администрации способствовало создание в 1987 г. такого нового юридического формата в сфере образования, как «государственно-общественное объединение». В частности, была создана организация, получившая название «Учебно-методическое объединение университетов СССР» (УМО университетов СССР); с 1992 г. приступило к работе Учебно-методическое объединение по классическому университетскому образованию. Учреждение УМО существенно усиливало значение МГУ, так как, согласно уставу, возглавлять объединение должен ректор Московского университета, а деканы его факультетов назначаются председателями комиссий по отдельным научным направлениям. Задача комиссий УМО состояла в том, чтобы «контролировать содержание и методическое обеспечение образовательных программ».

Объединив свои лоббистские ресурсы, университетские администрации выстроили выгодные взаимоотношения с государством и обществом, предложив новую концептуализацию крупных советских университетов, получивших название «классических университетов». Данная маркировка обеспечивала возможность получить привилегированное государственное финансирование и приобрести определенный авторитет в глазах общества и самого университетского сообщества³³.

Усиление университетских факультетов оказало определенное влияние и на деятельность Института философии РАН. Интеллектуальные, институциональные и символические ресурсы Института позволили с середины 1990-х годов успешно выступить на рынке академического книгоиздания и принять участие в оказании коммерчески рентабельных образовательных услуг. Так, во многом силами сотрудников Института продолжает издавать-

³² Подробнее о экономических механизмах: Соколов М., Волохонский В. Политическая экономика российского вуза // Отечественные записки. 2013. № 4 (55). <<http://www.strana-oz.ru/2013/4/politicheskaya-ekonomiya-rossiyskogo-vuza>>.

³³ Дмитриев А. Переизобретение советского университета // Логос. 2013. № 1. С. 41–64; Вишленкова Е.А., Дмитриев А.Н. Удобное прошлое для одной корпорации: постсоветские университеты в поисках классического статуса // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 7. М., 2010. С. 381–396.

ся главный советский философский журнал «Вопросы философии», выходит ряд других периодических изданий, систематическая структура которых повторяет административную дифференциацию по подразделениям Института философии, например, «Историко-философский ежегодник». Сотрудникам Института удается обновлять линейку учебно-методических продуктов. Прежде всего, это четырехтомная «История философии: Запад-Россия-Восток», трехтомник «Философы двадцатого века», изданный в серии «Философские тетради», учебные пособия по философии науки³⁴. Кроме этого, под патронажем Института и ряда других учреждений РАН социогуманитарного профиля в 1992–1994 гг. был создан Государственный университет гуманитарных наук. Но поскольку образовательная деятельность явно не рассматривалась академическими учеными как приоритетная (а понималась, скорее, как дополнительный источник доходов), философский факультет ГУГН не смог предложить сильную образовательную программу, способную конкурировать с аналогичными программами классических университетов.

Желание большого количества вузов примкнуть к «классикам» оказалось крайне выгодным для представителей философской профессии, увидевших в этом процессе потенциал для собственного роста. «Университетизация» вузов, связанная с развитием гуманитарных и общественных дисциплин, обеспечивала заинтересованность университетской администрации в открытии философских факультетов или отделений. В отсутствие четких критериев (что подчеркивает сам уставной документ, называя их «примерными») наличие у университета лицензии на обучение по философским специальностям оказывалось значимым условием для получения статуса «классического университета»³⁵. Сами философы активно поддерживали веру в неизменность традиции и незыблемость положения философского факультета в университетской структуре: «Философский факультет присутствует в университете с момента его основания, т.е. с 1755 г. Иначе и не могло быть. Наличие философского факультета — это основной признак любого классического университета»³⁶.

³⁴ История философии: Запад-Россия-Восток / под общ. ред. Н.В. Мотрошиловой: в 4 т. М., 1999.; Философы двадцатого века / под общ. ред. И.С. Вдовиной: в 3 кн. М., 2004; *Гайденок П.П.* История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2009; Эпистемология классическая и неклассическая. 2-е изд. М., 2007; *Степин В.С.* Философия науки. М., 2004; *Никифоров А.Л.* Философия и методология науки в их истории. М., 2006; *Микешина Л.А.* Философия науки. М., 2005. Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / под общ. ред. И.Т. Касавина. М., 2010.

³⁵ Примерные критерии (признаки), определяющие высшее учебное заведение в качестве классического университета. <http://www.acur.msu.ru/members_criteria.php>.

³⁶ *Миронов В.* О деканах замолвите слово... // Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: страницы истории. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. С. 13.

Участие философов в формировании «классической» повестки для российских университетов заметно не только риторически, но и организационно. При Ассоциации классических университетов России в 2007 г. была создана ассоциация философских факультетов и отделений классических университетов России. Деятельность данной организации, вступить в которую, согласно пункту 2 ее устава, могут только руководители подразделений³⁷, определяется взаимодействием с УМО по классическому университетскому образованию и состоит в работе по учебно-методическому обеспечению дисциплины.

Специфика данных программных комплексов заключается в том, что содержание программ описывает некоторую область, закрепленную за соответствующей кафедрой, которая, в свою очередь, отражает предметное описание специальности. Такая автореферентная и деперсонифицированная (у этих программ нет авторства, так как они принимаются коллегиально) система порождает причудливые требования к знаниям, которые необходимо освоить студенту. Так, например, курс по социальной философии представляет не анализ конкурирующих концепций, а краткий обзор последовательных разделов, среди которых выделяются следующие: «Социальная философия в современном мире», «Состояние и перспективы отечественной социальной философии», «Деятельность как способ существования общественного человека. Социальное и природное. Феномен сознания. Труд. Пространство и время социальной деятельности», «Модели исторического прогресса; историософия XX в.; актуальные проблемы историософии России»³⁸. Различие перспектив отечественной социальной философии и социальной философии в современном мире очевидно в первую очередь авторам программы, которые нашли их настолько несовместимыми, что обзоры исследовательской литературы были разнесены по разным темам. В то же время вопросом остается то, насколько востребованным вне «кафедральной науки» окажется знание, усвоенное в результате обучения по данной программе.

Понимание курсов философского факультета как детализированного изложения *целостной* концепции знания оказалось заложено в институциональные рамки организации философского образования. Каналы формирования и распространения учебного материала по философии, доставшиеся

³⁷ Положение об ассоциации философских факультетов и отделений классических университетов России. <<http://affo.philos.msu.ru/index.php?id=362>>.

³⁸ Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования. Направление подготовки 030100 «Философия» утверждено приказом Минобрнауки России от 17.09.2009. № 337. ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки России от 19.05.2010. № 534.

после распада Советского Союза, блокируют включение актуальной философской литературы, новых методик организации преподавания. Показательна та литература, на которую ссылаются авторы современных учебников по философии. Она представлена тремя группами: книгами и статьями советских философов, начиная с 1970-х годов; западными работами, переводы которых изданы в конце 1980 — начале 1990-х годов; переизданными сочинениями русских религиозных мыслителей первой половины XX в.

Конечно, наличие этих программ не предполагает неукоснительного следования им. Можно предположить, что в реальной практике преподавания лишь немногие преподаватели, особенно из тех, чье профессиональное формирование пришлось на постсоветское время, придерживаются этих нормативных текстов. Преподавательская свобода, возникающая на стыке легитимной дозволенности и слабости механизмов контроля за содержанием (или качеством) преподавания, как правило, определяется квалификацией конкретного преподавателя и доступом к современной исследовательской литературе.

Реформы 1980 — начала 1990-х годов способствовали тому, что академические профессии получили больше прав и возможностей для организации процедур и институтов самоуправления. Движущими силами этого процесса выступили администраторы образования, усилиями которых стал возможен экстенсивный рост академических профессионалов. Такой путь развития профессии вызвал ряд проблем, связанных с недоверием к имеющимся институтам самовоспроизводства, и поставил вопрос о профессиональной идентичности.

3. Травматизм исторического опыта и сила профессионалов

Многочисленные переименования кафедр практически во всех университетах страны в начале 1990-х годов общеизвестны. Тривиальность этого знания оставляет непроблематизированными причины и следствия этого явления, очевидно, связанного с пониманием специфики профессии, а не только с изменившейся политико-идеологической конъюнктурой. Травматический опыт кажется столь глубоким и блокирующим всякую рефлексию, что сейчас сложно представить даже сам факт дискуссии о профессиональных поступках советских философов 1950–1980-х годов в этических категориях, наподобие также весьма болезненных дискуссий среди восточноевропейских интеллектуалов после 1960-х годов. Следствием запрета на анализ ближайшего прошлого философского сообщества можно считать характерное для отечественного академического цеха стремление к созданию и утверждению бесконфликтной, парадной истории российских

университетов³⁹. Официальное самописание истории конкретных философских факультетов является частным случаем этого явления. Тексты такого рода можно встретить не только в буклетах, выпущенных по случаю юбилеев, но и на сайтах кафедр и факультетов. Если в случае Московского и Санкт-Петербургского университетов философские факультеты берут свое начало с момента основания университета, то в отношении некоторых кафедр прослежена преемственность с советской кафедральной системой. Например, по заверению авторов текста сайта философского факультета МГУ, кафедра социальной философии была создана в 1991 г. Это «позволило организовать чтение полноценного академического курса социальной теории, свободного от догматической предвзятости прежних лет». Однако уже в следующем абзаце утверждается, что «предшественницей кафедры социальной философии на философском факультете была кафедра исторического материализма, образованная в 1960 г.», а продолжив чтение, можно узнать, что «в 2000 г. кафедра торжественно отмечала 40-летие. За эти годы подготовлено значительное число научных сотрудников и преподавателей высшей квалификации»⁴⁰. Историческое описание кафедры онтологии и теории познания Уральского государственного университета начинается с заявления, что «кафедра является “прямой наследницей” кафедры диалектического материализма, которая была ведущей кафедрой философского факультета с момента его создания»⁴¹. Обращают на себя внимание метаморфозы преемственности кафедры социальной философии Санкт-Петербургского университета: «Осмысля историю кафедры накануне ее 40-летия, сотрудники кафедры вовсе не полагают, что ее советский период был какой-то “черной дырой”. И тогда велась серьезная и интересная работа, хотя и в ограниченных идеологией рамках. Теперь все более приходит понимание, что в качестве идейных предтеч кафедры оказываются Семен Людвигович Франк (его работа “Духовные основы общества” и сегодня изучается студентами) и Сергей Иосифович Гессен. В “Педагогике” последнего содержится много существенных социально-философских идей. Его педагогика, по существу, и есть социальная философия»⁴².

³⁹ Исследование исторической репрезентации российских университетов в XIX и XX вв. см.: Сословие русских профессоров: создатели статусов и смыслов / под науч. ред. Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2013. С. 61–95.

⁴⁰ Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кафедра социальной философии: о кафедре. Цит. по: <<http://new.philos.msu.ru/kaf/socphil/about/>> (дата обращения: 01.10.2013).

⁴¹ Философский факультет УГУ им. А.М. Горького. Кафедра онтологии и теории познания: история. Цит. по: <<http://philos.ispn.urfu.ru/faculty/hist/372>> (дата обращения: 01.10.2013).

⁴² Философский факультет СПбГУ. Кафедра социальной философии и философии истории: Краткая историческая справка. Цит. по: <<http://philosophy.spbu.ru/128>> (дата обращения: 01.10.2013).

Картины прошлого развития философских кафедр, представленные на официальных сайтах этих подразделений, показывают проблематичность историко-философской экспертизы. История философии, несмотря на кажущуюся резистентность к идеологическому воздействию, уже в советский период имела специфическую дисциплинарную конструкцию⁴³. В постсоветский период «историзация» философии становится одной из доминирующих тенденций⁴⁴. Однако повышенный интерес к историко-философскому анализу не свидетельствует о нормализации дисциплины, скорее, наоборот, демонстрирует проблематичность появления новых исследовательских программ в постсоветской университетской философии⁴⁵.

Наложение риторических и институциональных моделей воспроизводства историко-философского знания, сложившихся в советское время, на желание реактуализировать свою науку в новом политическом контексте отчетливо проявилось в исследованиях по истории русской философии, явивших собой, по заявлению Коре Мьёра, пример «культурного национализма в академической среде»⁴⁶. Проблематичность тематизации «советской философии» в историко-философском плане демонстрирует, например, Михаил Немцев (представитель младшей академической генерации), утверждая, что «в контексте всемирной философии, наиболее важная тема истории философии в СССР — это то, что в ней было несоветского»⁴⁷. При такой постановке вопроса «советскость» лишь указывает на принадлежность к определенному периоду времени, но уже не выступает качественной характеристикой отечественной философии недавнего прошлого.

На возможности отделить «догматиков и приспособленцев» от «выдающихся умов, ярких личностей, связанных с культурой России и культурой

⁴³ Zweerde E. v. d. *Soviet Historiography of Philosophy: Istoriko-filosofskaja nauka*. Dordrecht, 1997.

⁴⁴ Анализ диссертационных работ, защищенных в период 1994–2006 гг., проведенный В.А. Куренным и А.А. Веретенниковым, показывает, что специальность «Социальная философия» (09.00.11) пользовалась наибольшей популярностью. По ней защитились более 3500 соискателей, с большим отрывом затем следуют «Онтология и теория познания» (09.00.01) и «История философии» (09.00.03): по этим специальностям присуждено чуть более 1400 и чуть более 1300 степеней соответственно (Куренной В.А., Веретенников А.А. Современная российская история философии // *Логос*. 2013. № 6). Результаты исследования были представлены на семинаре «Философия как профессия» 22 ноября 2013 г. в НИУ ВШЭ.

⁴⁵ Куренной В.А. Заметки о некоторых проблемах современной отечественной истории философии // *Логос*. 2004. № 3–4 (43). С. 3–29.

⁴⁶ Mjør K.J. A Past of One's Own: The Post-Soviet Historiography of Russian Philosophy // *Ab Imperio*. 2013. No. 3. P. 315–350.

⁴⁷ Немцев М. Философия в СССР как предмет и тема истории философии // *Идеи и идеалы*. 2012. № 3 (5). С. 5–17.

мировой, с гуманитарным и естественно-научным знанием», строит свою интерпретационную схему философии советского периода В.А. Лекторский, являющийся с конца 1970-х годов одной из ключевых фигур философского поля⁴⁸. Стратегия выведения из компрометирующего контекста значимых фигур советской философии реализовалась в издательской серии «Философия России второй половины XX века»⁴⁹. Каждая книга 30-томной серии представляет собой публикацию текстов того или иного философа и воспоминаний его близких коллег, выдержанных в торжественно-мемориальном стиле. «Прямая речь» центральных участников философских дискуссий 1960–1980 гг. создает ощущение достоверности и самодостаточности нарратива. Непосредственность переживаемого опыта и неразвитость теоретического аппарата⁵⁰, способного выстраивать исследовательскую дистанцию, заметны в большинстве этих работ, авторы которых стремились переключить внимание с патетики «большой» национальной истории философии на историю локальных интеллектуальных сообществ. Пафосом методического и тематического обновления подходов к истории советской и постсоветской философии проникнут целый ряд работ, изданных в 2000-е годы⁵¹.

Очевидные несоответствия, присутствующие в этих публичных презентациях, связаны не только с «близорукостью» сообщества, но и с недоверием к его конституирующим нормам. Один из самых ярких текстов, демонстрирующих такое недоверие, был опубликован в журнале «Новое литературное обозрение» (2013, № 113 (1)). Статья сотрудников Санкт-Петербургского университета А. Малинова и С. Троицкого «Русская фило-

⁴⁸ Лекторский В.А. О философии России второй половины XX в. // Вопросы философии. 2009. № 7. С. 3–11.

⁴⁹ Издание серии осуществляется при поддержке фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого». Данный фонд, названный в честь советского философа Г.П. Щедровицкого, организован его сыном, видным администратором и политическим консультантом, с 2008 г. занимающим должность заместителя директора Института философии РАН по научной работе.

⁵⁰ Ценную попытку осмысления современной философской практики и статуса профессионального философа представляет работа: Бикбов А. Философское достоинство как объект исследования // Логос. 2004. № 3–4 (43). С. 30–60.

⁵¹ Прежде всего, здесь стоит отметить монографию профессора Ульяновского университета Натальи Баранец (*Баранец Н.Г. Метаморфозы этоса российского философского сообщества в XX веке: в 2 ч. Ч. 2.* Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2008), книгу сотрудника Кемеровского университета Владимира Красикова (*Красиков В.И. Социальные сети русской философии М.: Водолей, 2011*) и работу доцента Санкт-Петербургского университета Вадима Семенкова (*Семенков В.Е. Философское знание. Модусы производства и признания.* СПб.: Алетейя, 2011).

софия под запретом (к 90-летию «философского парохода»)» рассматривает историю русской философии через призму репрессивных действий со стороны государства по отношению к сообществу философов. Рассказ о запретах в философии проходит на фоне утверждения принципиальной неэффективности университетской философии. Историки русской философии постулируют противопоставление «настоящей» философии социальному успеху, связываемому с профессорской должностью: «Философская бездарность и социальный успех — явления почти синонимические. Социальная система профессиональной философии в этом плане работает безотказно. Для своего устойчивого существования она нуждается в преобладании посредственностей, а клановые и корпоративные интересы окончательно замораживают ее в состоянии полной неподвижности и умственной апатии»⁵². Декларация антагонизма между исследующим и преподающим философом (или, даже шире, ученым) и академическим менеджментом (или шире, бюрократией) фактически означает признание принципиальной невозможности университетской автономии. Столь сильное недоверие представителей профессии к своим же институтам профессионализма делает маловероятным проговаривание принципов, на которых может быть организовано продуктивное взаимодействие между разными группами университетского сообщества.

Система академической периодики, которая в России явно не выполняет функции внутривоспитательной рефлексии, все же остается важным каналом академической коммуникации и распределения престижа. Введение так называемого ВАКовского списка журналов, утвержденного высшей аттестационной комиссией (ВАК), вызвало всеобщее раздражение и критику. Нововведение имело целью посредством публикационного прессинга осуществлять внешнее управленческое воздействие на «свободных профессионалов». Технологические требования к журналам, обязывающие предоставлять возможность доступа к полнотекстовым версиям журнальных статей, сделали видимой низкую квалификацию профессионалов, ассоциировать себя с которыми многие представители дисциплины не желали. Увеличивающееся по требованиям ВАКа количество публикаций в журналах из ВАКовского списка, необходимое для защиты диссертаций, привело к стремительному росту гуманитарной периодики, тогда как число признанных по гамбургскому счету «сильных» журналов практически не изменилось, что само по себе свидетельствовало об ограниченном научном потенциале профессии.

⁵² Малинов А.В., Троицкий С.А. Русская философия под запретом (к 90-летию «философского парохода») // Новое литературное обозрение. 2013. № 119. С. 53–66.

* * *

Воспоминание о невзгодах и великих победах позволяет сохранить профессионалам статус-кво. Позиция университетских философов представляет смешение двух стратегий поведения — лояльности и саботажа⁵³. Именно такое, до конца не проявленное, поведение, оказывается выгодным для существования в условиях профессии, правила которой задаются внешней инстанцией. Отсутствие сильных репутационных механизмов оказывается выгодным профессиональному большинству, которое не могло бы рассчитывать на высокие позиции в такого рода ранжировании. Дилемма профессионализма состоит в том, что лояльность к сложившимся институтам философского профессионализма в перспективе приводит к замыканию и локализации философского знания, к потере связи с другими дисциплинами и утрате возможности соотноситься с (интер)национальными философскими традициями других стран. В то же время сопротивление структурно подтвержденным иерархиям или сложившимся нормам кажется стратегией, мало оправданной с профессиональной точки зрения. Стремление пойти против сложившихся в своем цехе норм требует уверенности в обладании существенными интеллектуальными и организационными ресурсами.

⁵³ Громов Р.А. Диалектика просвещения // Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77). С. 111–123.

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Рождение нового аналитического направления, за которым закрепилось название «поведенческая (бихевиористская) экономика» (behavioral economics), по праву считается одним из наиболее интересных и примечательных событий в развитии экономической науки последних десятилетий. Его утверждение в качестве самостоятельной субдисциплины, сформировавшейся на стыке экономических и психологических исследований, произошло относительно недавно — в 1970-е годы. С самого начала поведенческая экономика представляла как прямой вызов стандартной (неоклассической) экономической теории. С методологической точки зрения ее главной отличительной чертой стало активное использование экспериментальных методов (преимущественно в лабораторных, но также, хотя и в намного меньшей степени, в полевых условиях). С содержательной точки зрения ее важнейшая посылка состояла в отказе от общепринятой модели рационального выбора — поведенческого фундамента, на котором традиционно строилась и продолжает строиться едва ли не большая часть современного экономического анализа. Многочисленные эксперименты, проводившиеся экономистами-бихевиористами, показали, что реальное поведение людей имеет не слишком много общего с тем, как ведет себя главный протагонист неоклассической теории — гиперрациональный Homo oeconomicus, обладающий строго упорядоченным набором предпочтений, располагающий совершенной информацией и наделенный безграничными счетными способностями.

Идеи и подходы, выработанные в рамках поведенческой теории, быстро получили академическое признание, проникнув в мейнстрим экономической науки и приведя к радикальной перестройке многих ее разделов. Если не на уровне реальной исследовательской практики, то по крайней мере на уровне общих концептуальных представлений бихевиористские установки принимают сегодня подавляющее большинство экономистов. О несомненной популярности этих идей говорит даже неполное перечисление областей, куда они проникли и где активно используются: теория потребительского выбора, финансовая теория, экономика права, макроэкономика, теория экономического развития, теория игр и многие другие.

Исследователи-бихевиористы не стали замыкаться в рамках позитивного анализа, достаточно быстро приступив к выработке нормативных рекомендаций, адресованных государству (отчасти и другим крупным «игрокам», таким как корпорации или политические партии). Нормативная программа, выросшая из идей поведенческой экономики, получила название «новый патернализм». Она значительно раздвинула границы допустимого государственного вмешательства в экономическую и, шире, частную жизнь людей по сравнению с тем, что была готова санкционировать традиционная неоклассическая экономика благосостояния. В популярной форме эта программа была представлена в ставшей бестселлером книге двух ведущих бихевиористов Ричарда Талера и Касса Санстейна «Подталкивание: как улучшить решения, касающиеся здоровья, достатка и счастья»¹. Ключевое понятие книги, вынесенное в ее заголовок, — «подталкивание» (*nudge*) — практически мгновенно вошло в лексикон экономистов, юристов, психологов и стало использоваться для обозначения как самой поведенческой экономики, так и сформировавшегося на ее основе нормативного подхода к государственному регулированию. Смысл этого манифеста, обращенного к широкой публике, достаточно прост: «Мы («новые патерналисты») знаем, как сделать вашу жизнь счастливее»².

Идеи поведенческой экономики оказались чрезвычайно притягательными для действующих политиков многих стран, причем из самых разных частей идеологического спектра. Так, их активно использовал в ходе своих избирательных кампаний Барак Обама, а став президентом США, он неоднократно ссылался затем на них в своих выступлениях. Журнал «Тайм» назвал группу его ближайших советников «бихевиористской командой мечты», цель которой — «преобразить страну», опираясь на разработки поведенческой экономики³. Устойчивый интерес к идеям бихевиористов питает и премьер-министр Великобритании, Дэвид Кэмерон. В рамках своего кабинета министров он создал специальное подразделение — Группу по разработке поведенческой политики, а главного гуру поведенческого подхода, Талера, пригласил стать неофициальным советником⁴.

¹ *Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. New Haven; L.: Yale University Press, 2008.*

² *Leonard T.C. Review on book: Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness // Constitutional Political Economy. 2008. Vol. 19. No. 4. P. 356–360.*

³ *Grunwald M. How Obama Is Using the Science of Change // Time Magazine. 2009. April 2. P. 28–32.*

⁴ *Wintour P. David Cameron's 'Nudge Unit' Aims to Improve Economic Behaviour // The Guardian. 2010. September 9.*

Настоящая работа представляет собой попытку критически оценить вклад поведенческой экономики в развитие современной позитивной и нормативной экономической теории. На первый взгляд, поведенческая экономика предстает как полная антитеза «ортодоксального» (неоклассического) подхода, доминирующего в экономической науке (при всех его многочисленных модификациях и метаморфозах) с конца XIX в. Казалось бы, речь идет о смене базовых принципов, на которых традиционно строился позитивный экономический анализ, и радикальной перестройке нормативного экономического анализа. Но насколько глубок этот парадигмальный сдвиг? Можно ли применительно к поведенческой экономике говорить о полном разрыве с теоретическими представлениями, выработанными неоклассикой? Так ли уж велика концептуальная дистанция между ними? Именно этот круг вопросов и будет находиться в фокусе нашего анализа.

1. Общая характеристика

Казалось бы, поведенческую экономическую теорию, родившуюся из симбиоза экономики и психологии, можно рассматривать в качестве еще одного примера мощного тренда в междисциплинарных исследованиях по социальной проблематике, известного как «экономический империализм». Речь идет о вторжении методов и понятий экономической науки в пределы смежных социальных дисциплин. Такой «колонизации» (с неодинаковым успехом) подверглись политология и социология, история и правоведение, антропология и криминология, религиоведение и демография. Привлечение в качестве метафоры термина «империализм» недвусмысленно указывает на неравноправие вступающих во взаимодействие сторон. Сторонники «экономического империализма» (Гэри Беккер, Джек Хиршлейфер, Эдвард Лезир и др.) готовы признать, что другие социальные дисциплины располагают ценными наблюдениями, понятиями и инструментами анализа, но общую концептуальную рамку для понимания различных социальных феноменов способна, по их убеждению, дать только экономическая наука.

Однако в случае поведенческой экономики характер междисциплинарного взаимодействия оказывается перевернут: в роли «метрополии» на сей раз выступает психология, тогда как в роли «колонируемой» территории — экономическая теория⁵. Более конкретно, экономические феномены анализируются исходя из концептуальных представлений, выработанных психологической наукой, с использованием принятых в ней методов и понятий.

⁵ Glaeser E.L. Psychology and the Market // American Economic Review. 2004. Vol. 94. No. 2. P. 408–413.

Такая инверсия ролей достаточно необычна для современной экономической науки с ее «имперскими» притязаниями. Как в свое время проницательно отметил Армен Алчиян, «империалистической является не экономическая наука сама по себе, а лежащая в ее основе теория поведения»⁶. Но демонстрация эмпирической несостоятельности этой теории — это, по сути, и есть сверхзадача экономистов-бихевиористов! Естественно, что в таком случае междисциплинарный синтез уже не может строиться на основе представлений о человеческом поведении, выработанных «конвенциональной» (неоклассической) экономической теорией.

Впрочем, здесь возникает дополнительная сложность. Дело в том, что внутридисциплинарные ситуации, сложившиеся в экономической науке, с одной стороны, и в психологической науке — с другой, принципиально различаются. В экономической теории уже давно наблюдается ситуация «монопарадигмальности», когда один теоретический подход — неоклассический — выступает в роли ортодоксального «главного течения». В отличие от этого, психологическая теория остается в состоянии «мультипарадигмальности»: внутри нее не сформировалось какой-либо доминирующей школы, способной претендовать на безусловное главенство. В условиях множественности конкурирующих исследовательских программ естественно возникает вопрос: какая же из них послужила для поведенческой экономики основным источником «импортируемых» ею методов и понятий?

Казалось бы, само присутствие в ее названии эпитета «поведенческая» отсылает нас к «классическому» бихевиоризму — одному из ведущих течений в психологии XX в., связанному с именем Джорджа Уотсона. Однако при ближайшем рассмотрении такая отсылка оказывается иллюзорной⁷. Как известно, бихевиоризм полагал, что предметом психологии может быть только наблюдаемое поведение, поддающееся объективному измерению, и считал совершенно недопустимыми для подлинной науки упоминания каких бы то ни было непосредственно ненаблюдаемых психических феноменов (представлений, желаний, интенций или планов). Поведенческая экономика исходит из прямо противоположной методологической установки, считая своей главной задачей изучение влияния различных ментальных (а значит, непосредственно ненаблюдаемых) состояний, испытываемых индивидами, на принимаемые ими решения. Это с очевидностью указывает на ее ближайшее родство с когнитивной психологией, сформировавшейся в прямой оппозиции к «классическому» бихевиоризму. Именно поэтому ее

⁶ Цит. по: Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Field of Economics / G. Radnitzky, P. Bernholtz (eds). N.Y.: Paragon House Publishers, 1987.

⁷ Angner E., Loewenstein G. Behavioral Economics // Philosophy of Economics / U. Maki (ed.). Vol. 13. Amsterdam: Elsevier, 2007.

квалификация в качестве «бихевиористской» расценивается многими комментаторами как терминологическое недоразумение. На их взгляд, гораздо уместнее было бы называть ее «когнитивистской экономикой»⁸.

Поведенческую экономику важно отличать от еще одного нового направления экономических исследований — экспериментальной экономики. Хотя разделяющая их черта очень условна (в зависимости от характера изучаемой проблемы один и тот же автор может выступать то как экономист-бихевиорист, то как экономист-экспериментатор), она все же существует — во всяком случае, на этом настаивают сами теоретики поведенческой экономики⁹. Конечно, у этих подходов много общего: оба ориентированы на изучение процесса принятия решений; и тот, и другой используют для этого экспериментальные методы; в обоих особое значение придается результатам лабораторных испытаний. Но если внимание первого сосредоточено на особенностях индивидуального поведения, то второго — на результатах межличностного взаимодействия людей. И если в рамках «поведенческой экономики» исследователей больше интересуют когнитивные и поведенческие ограничения рациональности как таковые, то в рамках «экспериментальной экономики» — возможности преодоления этих ограничений с помощью различных институциональных механизмов (тех или иных наборов «правил игры»). Отражением напряженных отношений, сложившихся между этими субдисциплинами, стало одновременное присуждение Нобелевской премии по экономике 2002 г. виднейшим представителям поведенческой и экспериментальной экономики — соответственно, психологу Даниэлю Канеману и экономисту Вернону Смиту.

Предшественницей «новой» поведенческой экономики, о которой говорим мы, можно считать «старую» поведенческую экономику 1950–1960-х годов, связанную с именами Герберта Саймона и Джорджа Катона¹⁰. Саймону принадлежит заслуга введения в лексикон экономистов понятия «ограниченная рациональность» для обозначения всего спектра ограничений, касающихся знаний и вычислительных способностей людей, не позволяющих им вести себя в реальном мире так, как предсказывает неоклассическая теория¹¹. Катона был, по-видимому, первым, кто ввел в употребление сам

⁸ Lambert C. The Marketplace of Perceptions // Harvard Magazine. 2006. No. 2. P. 50–95.

⁹ Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions // The Journal of Business. 1986. Vol. 59. No. 4. Part 2. P. S251–S278.

¹⁰ Sent E.-M. Behavioral Economics: How Psychology Made Its (Limited) Way Back into Economics // History of Political Economy. 2004. Vol. 36. No. 4. P. 742.

¹¹ Simon H.A. Bounded Rationality // The New Palgrave / J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds). N.Y.: W.W. Norton, 1987.

термин «поведенческая экономика»¹². Но хотя идеи «старой» поведенческой экономики получили определенный резонанс (достаточно напомнить, что в 1978 г. Саймон был удостоен за их разработку Нобелевской премии по экономике), все же для подавляющего большинства экономистов они прошли практически бесследно и не привели к созданию какой-либо новой самостоятельной субдисциплины. Еще удивительнее, что, несмотря на явную переключку идей, «старая» поведенческая экономика не оказала сколько-нибудь заметного влияния на «новую»¹³. Фактически это был новый старт: «новый» бихевиористский подход формировался вне какой-либо явной связи с более ранними попытками строить экономический анализ на фундаменте психологии. Кроме терминологической близости «новую» и «старую» поведенческую экономику не связывает практически ничего.

Считается, что начало бихевиористскому повороту в экономической теории было положено публикацией двух статей известных психологов — Даниэля Канемана и Амоса Тверски¹⁴. В них они подвергли критике «ортодоксальную» теорию ожидаемой полезности, предложив альтернативную концепцию принятия решений в условиях неопределенности, получившую название «теория перспектив»¹⁵. (По некоторым оценкам, вторая из этих статей, увидевшая свет в журнале «Econometrica», стала самой цитируемой работой из всех, когда-либо опубликованных в этом журнале.) Не меньшее значение с точки зрения популяризации бихевиористских идей имели появившиеся примерно в то же время работы экономиста Талера, в которых приводилось множество эмпирических свидетельств «субоптимальности»

¹² *Katona G. Psychological Analysis of Economic Behavior. N.Y.: McGraw-Hill, 1951.*

¹³ *Angner E., Loewenstein G. Behavioral Economics.*

¹⁴ См.: *Kahneman D., Tversky A. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science. 1974. Vol. 185. No. 4157. P. 1124–1131; Idem. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica. 1979. Vol. 47. No. 2. P. 263–291.*

¹⁵ Технически теория перспектив характеризуется четырьмя главными отличиями от стандартной теории ожидаемой полезности: 1) зависимостью от референтной точки (имеющаяся у каждого агента функция ценности зависит не просто от суммы выигрыша, но также от того, насколько эта сумма отличается от некоей референтной величины, принимаемой им за базу для сравнения); 2) неприятием потерь (функция ценности имеет перегиб в референтной точке, будучи более крутой для проигрышей (отрицательных исходов), чем для выигрышей (положительных исходов)); 3) убывающей чувствительностью (функция ценности является вогнутой по отношению к выигрышам и выпуклой по отношению к проигрышам, так что ее чувствительность в обоих случаях убывает по мере удаления от референтной точки); 4) перевзвешиванием вероятностей (агенты перевзвешивают вероятности так, что переоценивают шансы маловероятных и недооценивают шансы высоковероятных исходов). См.: *Della Vigna S. Psychology and Economics: Evidence from the Field // Journal of Economic Literature. 2009. Vol. 47. No. 2. P. 315–372.*

принимаемых экономическими агентами решений — таких как недооценка ими альтернативных издержек (opportunity costs); неспособность абстрагироваться от невозвратных издержек (sunk costs); недостаточный самоконтроль и др.¹⁶

Как Канеман и Тверски, так и Талер считали своей главной задачей разработку эмпирически адекватной теории выбора, которая описывала бы реально наблюдаемые процессы принятия решений экономическими агентами. Вдохновленные их примером, сотни экономистов и психологов включились в увлекательный процесс по «деконструкции» «стандартной» модели рационального выбора, отыскивая в ней все новые и новые бреши. Среди активных сторонников поведенческой экономики можно назвать таких известных исследователей, как Джордж Акерлоф, Дан Ариели, Колин Камерер, Джордж Лоуенстейн, Дэвид Лэйбсон, Тед О’Донохью, Мэттью Рабин, Касс Санстейн, Андрей Шляйфер и др. Воздействие поведенческой экономики на весь корпус экономических исследований оказалось настолько сильным и разносторонним, что некоторые комментаторы расценивают ее появление как настоящую «революцию» в развитии современной экономической мысли¹⁷.

2. «Конвенциональная» модель рационального выбора: что не так?

Стандартный подход, принятый в экономической теории, предполагает полную рациональность экономических агентов. Когда экономисты говорят о «полной рациональности», то имеют в виду несколько вещей¹⁸. Во-первых: индивиды обладают четко структурированными предпочтениями (целями) и, принимая решения, стремятся к их максимально полному удовлетворению. Во-вторых: они не делают ошибок (во всяком случае — систематических) при подсчете выгод и издержек, связанных с различными вариантами выбора. В-третьих: в ситуациях, характеризующихся неопределенностью, они способны строить вероятностные оценки возможных ис-

¹⁶ См.: *Thaler R. Toward a Positive Theory of Consumer Choice // Journal of Economic Behavior and Organization. 1980. Vol. 1. No. 1. P. 39–60; Idem. Mental Accounting and Consumer Choice // Marketing Science. 1985. Vol. 4. No. 1. P. 199–214.*

¹⁷ *Costa-Font J. Behavioural Welfare Economics: Does “Behavioural Optimality” Matter? // CESifo Economic Studies. 2011. Vol. 57. No. 4. P. 551–559.*

¹⁸ *Camerer C. et al. Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for “Asymmetric Paternalism” // University of Pennsylvania Law Review. 2003. Vol. 151. No. 1. P. 1211–1215.*

ходов, используя для этого всю доступную информацию, и пересматривают эти оценки сразу по мере поступления новых данных. Главный из этих пунктов, конечно, первый.

Понятие «рациональность», каким оно предстает в современной экономической теории, является чисто формальным. Оно ничего не говорит о том, насколько «правильны» (рациональны) цели, к которым стремятся индивиды. Рациональность в таком, сугубо формальном, понимании — это, по сути, синоним согласованности (непротиворечивости) предпочтений, которые выявляются в осуществляемых индивидами актах выбора: по словам Кеннета Эрроу, «главный смысл понятия рациональности сводится к требованию согласованности выборов, совершаемых при наличии разных наборов альтернатив»¹⁹. В результате ограничения, которые экономическая теория налагает на поведение людей с тем, чтобы оно могло считаться «рациональным», оказываются минимальными: лежащие в его основе предпочтения могут быть практически любыми за одним исключением — они не должны быть взаимоисключающими.

С точки зрения наблюдаемого поведения это предполагает, что, во-первых, попадая в идентичные ситуации, рациональные индивиды будут совершать идентичный выбор (выбирать одни и те же альтернативы), и во-вторых, какой бы выбор они ни делали, у них никогда не будет затем поводов от него отказываться и о нем сожалеть²⁰. Конечно, это не значит, что они всегда и во всем будут вести себя одинаково. Выбирая, скажем, между яблоком и апельсином, рациональный агент может предпочесть сегодня яблоко, а завтра — апельсин. Однако если спросить, сожалеет ли он о своем вчерашнем выборе, его ответ будет «нет». Более того, выбранное им вчера яблоко могло оказаться червивым, и, если бы он знал об этом заранее, его выбор был бы иным — в пользу апельсина. Однако если бы мы вернули его назад во вчерашний день и снабдили тем же ограниченным объемом информации, которым он тогда располагал, то увидели бы, что его выбор пал бы опять на яблоко.

Аналізу того, каким формальным требованиям должны отвечать акты выбора (и соответственно стоящие за ними предпочтения), чтобы гарантировалась их согласованность, посвящены множество исследований²¹. Пе-

¹⁹ Arrow K.J. Preface // *The Rational Foundations of Economic Behaviour* / K.J. Arrow et al. (eds). L.: Macmillan, 1996. P. XIII.

²⁰ Saint-Paul J. *The Tyranny of Utility. Behavioral Social Science and the Role of Paternalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.

²¹ См., например: Kahneman D., Tversky A. *Rational Choice and the Framing of Decisions*. P. S251–S278.

речни этих требований (аксиом рационального выбора) у разных авторов варьируют, но с точки зрения психологии поведения наиболее важными представляются два — транзитивности и независимости от контекста (в несколько иной терминологии — «независимости от незначимых альтернатив»).

Как хорошо известно, условие транзитивности предполагает, что если А предпочтительнее В, а В предпочтительнее С, то А предпочтительнее С. Благодаря этому рациональные агенты оказываются в состоянии совершать выбор не только при предъявлении им разрозненных пар альтернатив, но и любого их множества. (Агент с нетранзитивными предпочтениями на это неспособен: если он предпочитает яблоко апельсину, апельсин — банану, а банан — яблоку, то при предъявлении ему одновременно всех трех он впадет в ступор.)

Другое условие — независимость от контекста — имеет множество конкретных проявлений. В частности, оно предполагает, что выбор между двумя опциями не зависит от того, в каком порядке они предъявляются. Оно предполагает также, что добавление еще одной опции к двум имеющимся не должно влиять на выбор, если только она не предпочтительнее обеих предыдущих, и т.д. Обобщая, можно сказать так: решения, которые станут принимать индивиды при предъявлении им различных описаний одной и той же проблемы, в условиях независимости от контекста будут оставаться одними и теми же; т.е конечные результаты их выбора не будут зависеть от того, в каком формате он был им представлен.

С более общей философской точки зрения предпосылка рационального поведения эквивалентна предположению о единстве личности экономических агентов — о наличии у каждого из них единственного Я. Номо оeconomicus, каким его рисует неоклассическая теория, не может страдать раздвоением личности: будь это не так, ни о какой согласованности и упорядоченности его предпочтений говорить было бы нельзя. Выражаясь иначе, у него есть только одна функция полезности (только один набор предпочтений) — подобно тому, как у каждого человека есть только один нос или один желудок²².

Для неоклассической теории принцип рациональности имеет не только аналитическое, но также нормативное значение и используется ею не только при описании и объяснении наблюдаемых экономических феноменов, но также при оценке альтернативных состояний мира в терминах лучше/хуже. По сути, именно этот принцип выступает отправной точкой для традиционной экономики благосостояния, нормативный подход которой Роберт Сагден так и назвал — «велферистским» (от *англ.* welfare —

²² Saint-Paul J. The Tyranny of Utility... P. 20.

благополучие)²³. В его рамках предпочтения трактуются как данные, а полнота их удовлетворения служит нормативным стандартом, в терминах которого оценивается благополучие любого индивида. В свою очередь, благополучие общества понимается как агрегат благополучий составляющих его индивидов.

В экономической литературе эта общая идея встречается в нескольких редакциях. Нередко просто утверждается как само собой разумеющееся, что индивиды знают свои интересы лучше, чем кто бы то ни было еще (будь то другие индивиды или государство). Делаются также ссылки на принцип суверенитета потребителя, согласно которому «потребитель всегда прав». Концептуально более изощренную аргументацию предлагает теория выявленных предпочтений: сам акт выбора индивидом данной опции, когда ему были доступны (физически, финансово, информационно) какие-то иные, свидетельствует о том, что именно она является для него наилучшей и более всего соответствует его предпочтениям, так как в противном случае его наблюдаемый выбор был бы иным.

В поведенческой экономике все составляющие стандартной модели рационального выбора (как позитивные, так и нормативные) подверглись фронтальной атаке. Во-первых, эмпирические исследования показали, что в реальной жизни представления, на которых базируется эта модель, регулярно нарушаются:

Отклонения фактического поведения от нормативной модели [рационального выбора. — Р. К.] являются слишком многочисленными, чтобы их игнорировать, слишком систематическими, чтобы отвергать их как случайные ошибки, и слишком фундаментальными, чтобы пытаться вписать их в нормативную систему путем ослабления ее исходных предпосылок²⁴.

Во-вторых, выявление многочисленных поведенческих «иррациональностей» подрывает философскую основу конвенционального подхода, а именно — представление о наличии у индивидов единого центра принятия решений. Нельзя исключить, что многие регистрируемые аномалии являются следствием сосуществования в психике индивидов нескольких несовместимых наборов предпочтений — по сути, множественности их Я, каждое из которых, когда к нему переходит право на принятие решений, делает это исходя из собственных узких интересов без оглядки на интересы остальных. И даже если каждая из этих инкарнаций действует как рацио-

²³ Sugden R. Why Incoherent Preferences Do not Justify Paternalism // Constitutional Political Economy. 2008. Vol. 19. No. 3. P. 226–248.

²⁴ Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions. P. S252.

нальный максимизатор полезности, итогом наложения их решений друг на друга неизбежно будет становиться поведение, далекое от канонов рациональности.

Наконец, в-третьих, повисают в воздухе нормативные предписания «велферистского» подхода. Собранные исследователями-бихевиористами свидетельства говорят о том, что во многих случаях люди плохо представляют свои истинные интересы и нередко действуют вопреки им. Если же потребители способны наносить вред самим себе, то непонятно, почему и на каких основаниях должен уважаться их «суверенитет». Проблемы возникают и с принципом выявленных предпочтений: ведь в подобной ситуации уже нельзя быть уверенным, что варианты действий, фактически избираемых индивидами, всегда будут для них наилучшими из всех доступных, и что, следовательно, последнее слово относительно того, что для них хорошо и что плохо, должно принадлежать им. Поэтому нерациональные предпочтения не могут претендовать на роль нормативного стандарта при оценке благосостояния независимо от того, идет ли речь об отдельных людях или обо всем обществе.

3. Каталог иррациональностей

Наиболее общий эмпирический вывод, к которому приходит поведенческая экономика, состоит в том, что люди часто понимают и интерпретируют ситуации, в которые они попадают, не так, как предписывает стандартная модель рационального выбора. Они принимают решения под влиянием не имеющей никакого значения информации; страдают излишней самоуверенностью; тянут время с выполнением запланированных решений; действуют по инерции; неверно оценивают вероятность наступления будущих событий; ведут себя импульсивно, под влиянием быстро сменяющихся друг друга эмоциональных состояний. Из-за обилия и разнообразия когнитивных и поведенческих ошибок, фиксируемых бихевиористской литературой, при знакомстве с ней, как заметил Дэвид Левин, может «сложиться впечатление, что рациональный Homo oeconomicus умер печальной смертью, и экономическая профессия перешла к признанию глубинной иррациональности человеческого рода»²⁵.

²⁵ Levine D.K. Is Behavioral Economics Doomed? The Ordinary versus the Extraordinary. Open Book Publishers, 2012. P. 1. По словам другого исследователя, Ж. Сен-Пола, благодаря поведенческой экономике пал последний бастион рационализма в социальных дисциплинах, которым до недавнего времени еще оставалась экономическая наука. См.: Saint-Paul J. The Tyranny of Utility...

С аналитической точки зрения большинство поведенческих аномалий поддаются интерпретации в терминах множественности Я: у каждого такого Я есть своя особая шкала предпочтений, из-за чего эмпирически наблюдаемое поведение индивида перестает быть согласованным.

Разнообразные отклонения от конвенциональной модели рационального выбора можно разделить на два больших класса — когнитивных ошибок и дефектов воли. Впрочем, многие из них могут рассматриваться как проявления одновременно и интеллектуальной ограниченности, и недостаточного самоконтроля. Список когнитивных и поведенческих ошибок, зафиксированных и описанных исследователями-бихевиористами, велик и непрерывно пополняется. Согласно одному (наверняка далеко не полному) перечню, их общее число приближается уже к 50²⁶. Свой анализ мы ограничим лишь небольшой выборкой из наиболее важных психологических дисфункций, активно обсуждаемых в работах по поведенческой экономике.

1. *Гиперболическое дисконтирование*. Традиционный экономический анализ межвременного выбора исходит из того, что индивиды предпочитают настоящие блага будущим и готовы жертвовать большим количеством вторых ради получения меньшего количества первых. Пропорции такого «обмена» задаются субъективными нормами предпочтения времени. У разных людей они могут сильно различаться: кто-то может быть очень терпеливым (низкая норма дисконтирования); кто-то, наоборот, — очень нетерпеливым (высокая норма дисконтирования).

Но чтобы решения, рассчитанные на длительную перспективу, могли быть рациональными, норма дисконтирования у каждого человека должна оставаться постоянной. Иными словами, пропорция «обмена» между двумя любыми периодами должна определяться только дистанцией, которая отделяет их друг от друга, и не зависеть от дистанции, которая отделяет их от настоящего момента. Подобный алгоритм дисконтирования носит название *экспоненциального*, поскольку по мере удаления от настоящего момента ценность будущих благ убывает по экспоненте.

Однако, как выяснили бихевиористы, в реальной жизни многие люди (возможно, даже большинство) действуют как непоследовательные «дискаунтеры», прибегая вместо экспоненциального к *гиперболическому* дисконтированию²⁷. Используемые ими нормы дисконтирования не остаются постоянными, а оказываются тем выше, чем ближе сравниваемые периоды к текущему моменту. Так, индивид может оценивать 100 долл., которые ему

²⁶ Rizzo M.J., Whitman D.G. The Knowledge Problem of the New Paternalism // Brigham Young University Law Review. 2009. No. 4. P. 951.

²⁷ Laibson D. Golden Eggs and Hyperbolic Discounting // Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112. No. 2. P. 443–477.

предстоит получить через два года, как эквивалентные 90 долл., которые ему предстоит получить через год, но одновременно оценивать 100 долл., которые ему предстоит получить через год, как эквивалентные только 80 долл., которые ему предстоит получить прямо сейчас. В первом случае дисконтирующий множитель составит 0,9, во втором — 0,8. Решения, принимаемые в условиях гиперболического дисконтирования, оказываются несогласованными во времени, и индивид начинает разрываться между противоположными решениями, хватаясь то за одно, то за другое. Скажем, он может запланировать, что с нового года начнет откладывать деньги на пенсию или сядет на строжайшую диету, но с его наступлением будет от всего этого отказываться.

Экономисты-бихевиористы рассматривают такой тип поведения как очевидно иррациональный. Чаще всего он вызывается недостатком самоконтроля и отражает неспособность некоторых людей противостоять искушениям, когда они совсем близко. Излишняя нетерпеливость (высокая краткосрочная норма дисконтирования) будет подталкивать их принимать решения, выгоды от которых достаются немедленно, а издержки приходится на отдаленные периоды. Гиперболическое дисконтирование может становиться причиной таких явлений, как аддиктивное поведение (пристрастие к наркотикам, алкоголю, перееданию и т.п.), регулярное откладывание важных решений на будущее, залезание в долги, низкие нормы сбережения и т.д.

Гиперболическое дисконтирование можно рассматривать как свидетельство конфликта двух Я, каждого со своей особой функцией полезности, — нетерпеливого, думающего только о настоящем, и благоразумного, заботящегося о будущем. Следствием конфликта между ними становится непоследовательное поведение: когда право на принятие решений переходит к Я краткосрочному, оно отменяет решения, которые были приняты ранее Я долгосрочным.

2. «Холодные» и «горячие» психологические состояния. Эмоциональное состояние, в котором находится человек, может оказывать решающее влияние на совершаемые им акты выбора. В биологически «горячих» состояниях (гнева, страха, восхищения, возбуждения и т.д.) индивиды склонны принимать непродуманные, тогда как в «холодных» (спокойствия, хладнокровия, трезвого размышления и т.д.) — взвешенные решения²⁸. Иными словами, в «горячих» состояниях люди могут реагировать субоптимальным образом, переоценивая краткосрочные выгоды от принимаемых решений и недооценивая возникающие долгосрочные издержки.

²⁸ Camerer C. et al. Regulation for Conservatives... P. 1211–1254.

Здесь мы вновь сталкиваемся с конфликтом двух Я — «горячего» и «холодного», имеющих разные шкалы предпочтений. Понятно, что было бы опасно доверять «горячему» Я принимать жизненно важные решения, о которых «холодное» Я может затем горько сожалеть.

3. *Ошибки оптимизма и пессимизма.* Ошибка оптимизма делает людей излишне самоуверенными при принятии решений. Суть ее — в недооценке вероятности наступления нежелательных событий, способных нанести человеку серьезный, зачастую непоправимый вред. (Так, известно, что автомобилисты склонны в среднем недооценивать вероятности попадания в аварию лично для них.) Под влиянием подобной ошибки люди начинают принимать решения, налагающие на них неоправданно большие риски (например, вкладывать средства в сверхрискованные финансовые активы). Существует и противоположная ошибка — пессимизма, которая делает людей, наоборот, неуверенными в себе, заставляя их преувеличивать вероятность наступления нежелательных событий. Следствием этого становится, напротив, неоправданно сильная склонность к избеганию риска.

4. *Эффект присутствия (availability bias).* Эффект присутствия заключается в склонности людей переоценивать вероятность наступления событий, непосредственными участниками или свидетелями которых они становятся. Так, человек, подвергшийся ограблению в определенном районе города, будет считать его очень опасным, хотя объективно, по показателям преступности, этот район может быть ничуть не опаснее других. Под влиянием эффекта присутствия индивиды могут отказываться от проектов даже с очень умеренными, разумными уровнями риска, нанося этим ущерб своему благосостоянию (в этом смысле его действие противоположно действию ошибки оптимизма).

5. *Зависимость от контекста.* Выделяют две основные формы, в которых может выражаться зависимость от контекста. Во-первых, это эффект фреймирования (от *англ.* frame — рамка), когда совершаемый людьми выбор оказывается производным от малозначимых аспектов описания ситуации, в которой он делается. В этом случае мы имеем дело с прямым нарушением принципа «независимости от незначимых альтернатив» (см. выше). Речь идет о ситуациях, когда исход выбора определяется не его содержательным наполнением, а формальными характеристиками рамки (фрейма), в которую он помещен. Скажем, если опции предъявляются в очередности А–В, то люди выбирают А, а когда В–А, то В. (Хрестоматийный пример из медицинской практики: когда индивидам сообщают, что при определенном типе лечения доля выживших пациентов составляет 90%, то большинство соглашаются его пройти, но когда вместо этого им сообщают, что при данном типе лечения доля летальных исходов составляет 10%, большинство от него отказываются.)

Во-вторых, это оценка доступных альтернатив исходя из сравнений с неким референтным уровнем. Стандарт, с которым производится сравнение, может задаваться либо прошлым опытом самого человека, либо его окружением. Так, оценка индивидом своего благосостояния может зависеть не только от абсолютного, но и от относительного уровня получаемых им доходов — она будет тем ниже, чем выше доходы группы, с которой он себя сравнивает, и наоборот.

Еще один важный случай подобной зависимости, получивший название «ошибка статус-кво» (*status quo bias*), — это использование в качестве точки отсчета положения вещей, существующего на данный момент. Анализу этой ошибки посвящена обширная литература. Ее действие выражается в предрасположенности людей избегать всего нового, даже когда оно сулит им немалые выгоды, а издержки, связанные с отказом от старого, невелики. Одна из возможных причин этого — склонность индивидов испытывать более сильные сожаления по поводу результатов своих действий, чем своего бездействия. Другая — склонность к промедлению (*procrastination*), т.е. к регулярному откладыванию важных решений на будущее. Третья — «неприятие потерь» (*loss aversion*), т.е. склонность при сравнении эквивалентных по величине проигрышей и выигрышей придавать относительно большую отрицательную ценность первым, чем положительную ценность вторым. «Неприятие потерь» возникает, когда потери и приобретения оцениваются людьми в сравнении с ситуацией статус-кво — например, текущим уровнем их доходов. (В подобных условиях человек, чей доход вырос с 8 тыс. до 9 тыс. долл., может чувствовать себя намного счастливее, чем тот, чей доход сократился с 20 тыс. до 10 тыс. долл.)

С этим механизмом связан знаменитый «эффeкт первоначальной наделенности» (*endowment effect*) — резкое повышение ценности вещи сразу после ее приобретения. Как свидетельствует большой массив экспериментальных данных, ценность в глазах людей одного и того же блага оказывается гораздо выше, когда они обладают им, чем когда они им не обладают: сумма, которую они просят в качестве платы за то, чтобы расстаться с этим благом (когда оно у них есть), обычно значительно превышает сумму, которую они готовы отдать за его приобретение (когда его у них нет)²⁹.

Зависимость от контекста — пожалуй, наиболее очевидное нарушение принципа рациональности и наиболее яркий пример эндогенности предпочтений. В этом случае можно говорить не просто об их несогласованности, а об их фактическом отсутствии. Как замечают Санстейн и Талер, когда решения людей зависят от контекста, само понятие «предпочтения» во

²⁹ Knetsch J.L. The Endowment Effect and Evidence of Nonreversible Indifference Curves // American Economic Review. 1989. Vol. 79. No. 5. P. 1277–1284.

многим лишается смысла. В подобных ситуациях предпочтения не предшествуют выбору, а фактически формируются непосредственно в момент его совершения: «Если то, как организовано описание имеющихся альтернатив, оказывает существенный эффект на выбор потребителей, то тогда никаких подлинных [true] „предпочтений” у них формально не существует»³⁰.

Даже из этого схематичного и далеко не полного обзора видно, какими серьезными и многообразными потерями в благосостоянии — как для отдельного человека, так и для всего общества — чреват поведенческие ошибки. Возникает вопрос: в состоянии ли государство предотвращать такие потери? Бихевиористы отвечают на него однозначно положительно, предлагая широкий спектр государственных интервенций, способных заставить людей вести себя более рационально исходя из их собственных «истинных» интересов. Себе они отводят при этом роль социальных терапевтов, прописывающих обществу необходимый курс лечения³¹.

4. Под знаменем патернализма

Сами теоретики поведенческой экономики характеризуют общую нормативную установку, из которой исходят их политические рекомендации, как «патернализм».

В социальной философии под ним понимают любые формы вмешательства в жизнь человека против его воли со стороны третьих лиц или институций (государства, семьи, церкви и т.д.) на том основании, что оно улучшает его положение и/или не позволяет ему наносить себе вред³². О патернализме, следовательно, можно говорить, если, с одной стороны, мы имеем дело с проявлениями насилия (ограничениями свободы выбора), а с другой — его целью оказывается благо того, на кого оно направлено. Предполагается, что человек сам не в состоянии определить свои подлинные интересы, и некто, кто знает это лучше, может и должен формулировать их вместо него.

Хотя патернализм бывает не только государственным, но и частным, «в современном словоупотреблении этим термином чаще всего обозначают

³⁰ Sunstein C., Thaler R. Libertarian Paternalism Is not an Oxymoron // University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. No. 4. P. 1164.

³¹ Loewenstein G., Haisley E. The Economist as Therapist: Methodological Ramifications of “Light” Paternalism // Perspectives on the Future of Economics: Positive and Normative Foundations / A. Caplin, A. Schotter (eds). The Handbook of Economic Methodologies. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2006.

³² Paternalism // Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford, CA: Stanford University, cop. 2005. <<http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/paternalism/#1>> (дата обращения: 27.11.2013).

законы и меры государственной политики, которые ограничивают свободу людей в их же интересах»³³. В случае государственного патернализма государство берет на себя роль «отца», и его «отцовская опека» переносится на взрослых индивидов, даже когда закон признает их дееспособными и ответственными гражданами.

Экономическая теория традиционно находилась в оппозиции к политике патернализма, ограничивающей свободу выбора индивидов. Подобная последовательная антипатерналистская установка вполне логична и объяснима. В самом деле, если «потребитель всегда прав» (всегда действует рационально), то ни для каких улучшений его благосостояния путем вмешательства в принимаемые им решения просто не остается места. В таком случае любое вторжение государства способно только наносить ущерб, подменяя вырабатываемые потребителями оптимальные решения какими-то иными, субоптимальными.

Как следствие, традиционная экономика благосостояния допускает ограничения свободы выбора индивида лишь при одном условии — если они имеют целью улучшение положения других индивидов. Два традиционно используемых ею теоретических аргумента в пользу государственного вмешательства — это ссылки на «провалы рынка» и на перераспределительные соображения. Нерегулируемый рынок либо недостаточно хорошо делает свою работу (не обеспечивает эффективную аллокацию ресурсов), либо порождает такую структуру распределения доходов, которая не соответствует представлениям общества о равенстве. Вмешательство государства оправданно в этих и только в этих случаях. Прямое вторжение в принимаемые индивидами решения, поскольку за ним не стоит никакого теоретического обоснования, расценивается как недопустимое.

При использовании традиционных инструментов регулирования (налогов, субсидий, трансфертов и т.д.) меняются бюджетные ограничения, с которыми сталкиваются потребители, но никакого посягательства на их «суверенитет» не происходит. Последнее слово все равно остается за ними: они сами решают, как реагировать на производимые государством изменения. В этом смысле традиционная для экономической теории антипатерналистская установка выступает эффективным ограничителем возможной экспансии государства.

Но если идеи поведенческой экономики верны и экономические агенты лишь ограниченно рациональны, то ситуация радикально меняется. Тогда к привычному перечню «провалов рынка» добавляется еще один — «по-

³³ Weale A. Paternalism // The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought / D. Miller et al. (eds). Oxford: Basil Blackwell, 1991. P. 367–368. Цит. по: Klein D.B. Statist Quo Bias // Economic Journal Watch. 2004. Vol. 1. No. 2. P. 261–262.

веденческий». Как следствие, запрет на патерналистское вмешательство, идущий от традиционной экономической теории, теряет силу, и перед государственным активизмом открывается новое, несравненно более широкое, поле деятельности. Если люди не застрахованы от систематических ошибок, то пекущееся о них государство может (и должно!) приходить на помощь, направляя их поведение с использованием всех доступных ему средств в рациональное русло.

Конечно, «новый» патернализм, опирающийся на идеи поведенческой экономики, сильно отличается от патернализма старого образца — как по нормативным установкам, так и по формам рекомендуемого государственного воздействия. «Старый» патернализм чаще всего имел отчетливую религиозную или моралистическую окраску. Он игнорировал предпочтения и интересы «подопечных», фактически заменяя их предпочтениями и интересами «опекуна»: явно или неявно предполагалось, что государство-патерналист лучше самих индивидов знает, в чем заключается их «истинное» благо.

Позиция «нового» патернализма принципиально иная. Роль нормативного стандарта отводится в нем *субъективным предпочтениям самих индивидов*. По словам Ариели, «новый» патернализм в отличие от «старого» направлен на то, чтобы помогать людям достигать всего того, чего хотят они *сами*³⁴. Иными словами, он берется помогать им в повышении уровня их субъективного благополучия, что они не в состоянии делать сами из-за когнитивных и поведенческих ограничений.

Другое, не менее важное отличие заключается в том, что если «старый» патернализм пытался улучшать положение индивидов, лишая их свободы выбора, то «новый» полагает, что государственный контроль может повышать благосостояние индивидов, не ограничивая (или почти не ограничивая) их личной автономии³⁵. Эта идея существует в нескольких различных, но очень близких версиях: «асимметричного патернализма» Колина Камерера и его соавторов³⁶; «легкого патернализма» Джорджа Лоуенштейна и Эмили Хэйсли³⁷; «либертарианского патернализма» Санстейна и Талера³⁸.

³⁴ *Ariely D.* Predictably Irrational. Harper: Harper Collins Publishers, 2008. P. 241–242.

³⁵ *Mitchell G.* Libertarian Paternalism Is an Oxymoron // *Northwestern University Law Review*. 2005. Vol. 99. No. 3. P. 1245.

³⁶ *Camerer C.* et al. Regulation for Conservatives... *Passim*.

³⁷ *Loewenstein G., Haisley E.* The Economist as Therapist...

³⁸ *Sunstein C., Thaler R.* Libertarian Paternalism // *American Economic Review*. 2003. Vol. 93. No. 2. P. 175–179.

«Асимметричным патернализмом» именуют такие формы государственного вмешательства, которые «приносят значительные выгоды ограниченно рациональным людям <...> налагая при этом незначительные или даже нулевые издержки на людей, которые полностью рациональны»³⁹. Целью «легкого патернализма» провозглашается «улучшение качества принимаемых [людьми. — Р. К.] решений без их ограничения»⁴⁰. «Либертарианский патернализм» стремится при осуществлении патерналистской политики сохранять максимально широкую свободу выбора (отсюда — эпитет «либертарианский»): государство должно лишь особым образом структурировать поле выбора, оставляя принятие окончательных решений на усмотрение самих индивидов.

Несмотря на эти оговорки, традиционную антипатерналистскую установку экономической теории «новые» патерналисты решительно отвергают. Наиболее непримиримую позицию занимают здесь Санстейн и Талер. По их мнению, «догматический антипатернализм» стандартной экономической теории покоится на одной ложной посылке и двух ошибочных представлениях. Ложную посылку они формулируют так:

Почти все люди почти всегда совершают акты выбора, которые более всего отвечают их интересам или, по меньшей мере, оцениваются ими самими как лучшие по сравнению с теми, которые могли бы быть совершены за них третьими лицами⁴¹.

Эта посылка эмпирически несостоятельна, поскольку опровергается результатами многочисленных исследований, выполненных в рамках поведенческой экономики (см. выше). Что касается двух ошибочных представлений, то согласно им, с одной стороны, «антипатернализму не существует убедительной альтернативы», а с другой — «патернализм всегда предполагает насилие»⁴². И то и другое, полагают Санстейн и Талер, — заблуждение⁴³.

³⁹ Camerer C. et al. Regulation for Conservatives... P. 1219.

⁴⁰ Loewenstein G., Haisley E. The Economist as Therapist...

⁴¹ Sunstein C., Thaler R. Libertarian Paternalism Is not an Oxymoron. P. 1163.

⁴² Ibid. P. 1164–1165.

⁴³ Свое опровержение они строят на условном примере, ставшем хрестоматийным для «нового» патернализма. Речь в нем идет о дилемме, с которой сталкивается директор кафетерия некой фирмы. Посетители кафетерия движутся вдоль стойки с различными блюдами, выбирая те, которые нравятся им больше. Директор обнаруживает, что блюда, расположенные в начале стойки, пользуются большим спросом, чем расположенные в конце (эффект фреймирования). При этом из данных медицинских исследований он знает, что жизнь людей улучшится, если они будут есть меньше пирожных и больше фруктов. Как же следует их расположить? Сан-

Наш центральный тезис, — заявляют они, — состоит в том, что воздействие на индивидуальный выбор часто неустранимо. Конечно, по общему правилу, было бы лучше не блокировать возможности выбора, и мы не собираемся отстаивать здесь нелибертарианский патернализм. Но в одном важном отношении антипатерналистская позиция оказывается непоследовательной, потому что возможности каким-либо образом избежать воздействия на поведение и акты выбора людей просто не существует. Для убежденного либертарианца задача состоит в том, чтобы, несмотря на наличие таких воздействий, все же сохранить свободу выбора⁴⁴.

Однако для реализации этих идей общих деклараций недостаточно. В условиях множественности Я необходимо определить, вкусы какой личности следует считать отражением «истинных» предпочтений индивида: чьи акты выбора нам надлежит принять за точку отсчета, а чьими пренебречь? Новые патерналисты решают эту проблему, используя критерий, который можно назвать критерием «информированного желания»⁴⁵. Согласно ему, индивиды действуют вопреки своим интересам в тех случаях,

стейн и Талер выделяют четыре возможных варианта: расставить блюда случайным образом; поставить сначала те, которые, как представляется директору, полезнее посетителям; поставить сначала те, которые будут подталкивать их к переделанию; поставить сначала те, которые, как он полагает, более всего соответствуют их предпочтениям. Но последний вариант возможен только в том случае, если у посетителей существуют экзогенные предпочтения, не зависящие от контекста (т.е. от порядка расположения блюд). Если такие предпочтения у них отсутствуют (когда сначала расположены пирожные, то большинство посетителей выбирают их; когда фрукты, то их), то тогда этот антипатерналистский вариант отпадает и директор должен выбирать из трех оставшихся «патерналистских». Действительно, поскольку выбор того или иного фрейма (порядка расположения блюд) неизбежен, то неизбежно и направляющее воздействие решений директора на выбор посетителей кафетерия. Получается, что он не может избежать «подталкивания», даже если бы захотел. И если уж куда-либо «подталкивать» посетителей, избирая тот или иной вариант размещения блюд в качестве опции «по умолчанию», то, конечно же, это должен быть вариант, приносящий наибольшую пользу их здоровью.

⁴⁴ Sunstein C., Thaler R. *Libertarian Paternalism Is not an Oxymoron*. P. 1182. Ошибочность представления, что патернализм всегда предполагает насилие, они демонстрируют на том же условном примере. Размещая на стойке сначала фрукты, а потом пирожные, директор подталкивает посетителей к выбору блюд, которые в наибольшей степени соответствуют их интересам. Однако потребители при этом остаются свободными — ничто не мешает им, если они захотят, остановить свой выбор на пирожных. Иными словами, хотя патерналистская интервенция будет подталкивать (за счет эффекта фреймирования) ограниченно рациональных индивидов в выбранном директором направлении, она при этом никак не отразится на поведении полностью рациональных индивидов. При любом расположении блюд (независимо от фреймирования) они выберут те, которые им больше по вкусу. Таким образом, к предпочтениям рациональных потребителей либертарианский патернализм проявляет полное уважение; что же касается иррациональных потребителей, то из-за отсутствия у них упорядоченных предпочтений уважать в этом случае оказывается нечего. Так, политике «подталкивания» удастся совмещать, на первый взгляд, несовместимое — патернализм и либертарианство.

⁴⁵ Sugden R. *Why Incoherent Preferences...* Passim.

когда принимают решения, «которые они изменили бы, если бы обладали полной информацией, располагали неограниченными когнитивными способностями и не страдали нехваткой силы воли»⁴⁶. Предпочтения тех Я, чьи решения более всего приближаются к идеалу полной рациональности, должны приниматься как данные. Предпочтения тех Я, чьи решения от этого идеала отклоняются, следует корректировать с помощью патерналистских интервенций государства.

Неявно подобная точка зрения предполагает, что индивиды все же обладают набором хорошо упорядоченных «истинных» предпочтений, которые, однако, проявляются в наблюдаемых актах выбора в искаженной форме из-за всевозможных когнитивных и поведенческих помех. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы тем или иным способом их реконструировать. И решать ее, как видно из приведенного выше высказывания Санстейна и Талера, новые патерналисты предлагают с помощью мысленного эксперимента, по условиям которого требуется представить, что выбрал бы в данной ситуации данный человек, если бы он был полностью рационален.

В итоге позиция, которую сторонники бихевиористского подхода занимают по отношению к стандартной модели рационального выбора, оказывается двойственной: в качестве описательной теории они ее решительно отвергают, но в качестве нормативного идеала не только сохраняют, но и жестко настаивают на ее безусловной значимости. В таких условиях государственное вмешательство превращается в орудие, с помощью которого они хотят приблизить эмпирически наблюдаемое поведение ограниченно рациональных индивидов к теоретическому идеалу полной рациональности — превратить людей (насколько это достижимо, конечно) из ограниченно в неограниченно рациональных. В этом смысле никакого разрыва с привычными представлениями о рациональности в поведенческой экономике не происходит; напротив, она призывает максимально последовательно реализовывать их на практике:

Ирония заключается в том, что, атакуя Номо оeconomicus как эмпирически ложное описание процесса выбора, патернализм преподносит его же в качестве образца, к которому следует стремиться людям. Или точнее — в качестве образца того, какими хотели бы видеть людей сами патерналисты⁴⁷.

5. Критическая оценка

Поведенческая экономика — сложное и неоднородное явление. Начнем с того, что, несмотря на свой уже достаточно зрелый возраст, она до сих пор предстает всего лишь реестром разрозненных эмпирически наблюдаемых

⁴⁶ Sunstein C., Thaler R. Libertarian Paternalism Is not an Oxymoron. P. 1162.

⁴⁷ Leonard T.C. Review. P. 357.

психологических феноменов. Попыток объединить их в рамках некоей синтетической концепции не предпринималось. Поведенческая экономика не предлагает никакой «общей теории когнитивных ошибок», более того, не похоже, чтобы ее сторонники испытывали потребность в такой теории⁴⁸. Как правило, они довольствуются простым описанием тех или иных повторяющихся поведенческих реакций, а вопрос об их возможных причинах даже не ставится⁴⁹. Точно так же в поведенческой экономике не предпринималось систематических попыток оценить, насколько велика частота различных когнитивных и поведенческих ошибок. Каково количественное соотношение между рациональными и иррациональными индивидами? Одно дело, если, скажем, гиперболическому дисконтированию подвержено подавляющее большинство общества, другое — если ему подвержено ничтожное меньшинство, третье — если ему подвержены только определенные социальные группы.

Оценку нормативной программы поведенческой экономики можно дать под многими различными углами зрения. Нас будут интересовать несколько взаимосвязанных вопросов: а) в какой мере заслуживают доверия эмпирические данные, на которых она строится? б) насколько эта программа реализуема практически и какие обязательства она возлагает на государство? в) насколько убедительным можно считать ее теоретическое обоснование? г) наконец, действительно ли «новый» патернализм и традиционный, «старомодный» патернализм разделяет жесткая концептуальная граница, как уверяют сторонники бихевиористского подхода?

А. Нормативная программа «нового» патернализма строится на не слишком надежной эмпирической основе. Экспериментальные результаты, к которым она апеллирует, далеко не столь однозначны, чтобы исходя из них уверенно формулировать рекомендации для государства. Возможно, наиболее выразительный пример дает знаменитый «эффект первоначальной наделенности», впервые зафиксированный Талером⁵⁰: он в течение многих лет рассматривался как самый надежный и самый важный эмпирический результат из всех, когда-либо полученных в рамках поведенческой экономики⁵¹.

⁴⁸ *Wright D.J., Ginsburg D. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Its Fatal Flaws, and Its Implications for Liberty // Northwestern University Law Review. 2012. Vol. 106. No. 3. P. 1–106.*

⁴⁹ *Grüne-Yanoff T. Old Wine in New Casks: Libertarian Paternalism Still Violates Liberal Principles // Social Choice and Welfare. 2012. Vol. 38. No. 4. P. 635–645.*

⁵⁰ См.: *Thaler R. Mental Accounting and Consumer Choice. P. 199–214.*

⁵¹ Интерес к нему во многом подогревался далеко идущими практическими выводами, которые из него следуют. Дело в том, что эффект первоначальной наделенности прямо противоречит предсказаниям, вытекающим из теоремы Коуза, и может рассматриваться как ее опровержение. При его наличии распределение прав собственности перестает быть нейтральным фактором и

Лабораторные эксперименты, подтверждающие существование эффекта первоначальной наделенности, обычно строятся с использованием тех или иных недорогих предметов. Например, одной группе испытуемых вручают кофейные кружки, другой — шоколадные плитки приблизительно равной стоимости. Затем владельцам кружек предлагают обменять их на шоколадные плитки, а владельцам шоколадных плиток, наоборот, обменять их на кружки. Первый же такой эксперимент дал удивительные результаты: в первой группе 89% испытуемых не захотели расставаться с кружками, тогда как во второй 90% — с шоколадными плитками⁵². Отсюда был сделан вывод, что предпочтения индивидов определяются тем, каким предметом они оказываются «наделены» в лабораторных условиях: именно из-за этого в первом случае большинство участников оставляют себе кружки, тогда как во втором — шоколадные плитки. И те и другие отказываются расставаться с тем, владельцами чего в ходе эксперимента они стали. Фактически это предполагает, что при продаже предмета (когда он им принадлежит) они устанавливают на него значительно более высокую цену, чем при его покупке (когда он им не принадлежит). Но если бы агенты обладали экзогенными предпочтениями, не зависящими от контекста (в данном случае — от факта владения), то такого бы быть не могло: продажная и покупная цены должны были бы совпадать.

В чем же причина подобной обменной асимметрии? Стандартное бихевиористское объяснение связывает ее с эффектом первоначальной наделенности, который, в свою очередь, выводится из склонности индивидов к неприятию потерь. Согласно этому объяснению, люди по-разному оценивают потери от расставания с вещью и выгоды от ее приобретения: предполагаемые потери всегда выглядят в их глазах более значительными, чем предполагаемые выгоды. Из-за этого при продаже вещи они начинают устанавливать на нее цену выше той, за которую они были бы согласны ее купить.

Однако это конвенциональное объяснение было поставлено под сомнение в исследованиях Чарльза Плотта и Кэтрин Зейлер⁵³. Они обрати-

начинает влиять на структуру и эффективность производства, даже когда транзакционные издержки равны нулю. Действительно, если сам факт обладания неким благом автоматически повышает его ценность в глазах индивидов, то тогда права собственности могут навсегда «оседать» у менее эффективных собственников, так никогда и не переходя к более эффективным. В подобной ситуации вопрос о первоначальном распределении прав собственности приобретает критическое значение, и правовая система должна строиться с учетом этого обстоятельства.

⁵² *Knetsch J. L. The Endowment Effect...*

⁵³ См.: *Plott Ch.R., Zeiler K. Exchange Asymmetries Incorrectly Interpreted as Evidence of Endowment Effect Theory and Prospect Theory? // American Economic Review. 2007. Vol. 97. No. 4. P. 1449–1466; Idem. The Willingness to Pay — Willingness to Accept Gap, the “Endowment Effect”, Subject Misconceptions, and Experimental Procedures for Eliciting Valuations: Reply // American Economic Review. 2011. Vol. 101. No. 4. P. 1449–1466.*

ли внимание на то, что вручаемые в ходе экспериментов предметы могут восприниматься испытуемыми как подарки от организаторов; что сам факт передачи данного предмета организаторами эксперимента может интерпретироваться испытуемыми как свидетельство его более высокого качества; что когда испытуемым делают предложение о продаже (в первой части эксперимента), то предмет, о котором идет речь, находится у них перед глазами, а когда им делают предложение о его покупке (во второй части), то его перед ними не ставят; что решения о продаже/покупке соответствующих предметов принимаются публично, на виду у других участников. Когда Плотт и Зейлер видоизменили процедуру, учтя эти моменты, обменная асимметрия исчезла: доля участников, которые предпочли оставить у себя кружки (в первой части), оказалась практически такой же, как доля участников, которые предпочли приобрести их в обмен на шоколадные плитки (во второй части). Иными словами, при ближайшем рассмотрении эффект первоначальной наделенности оказался артефактом: было наглядно продемонстрировано, что обменная асимметрия, из которой он выводился, объясняется причинами, не имеющими прямого отношения к «неприятию потерь», что она не предполагает никаких поведенческих дисфункций и вполне укладывается в конвенциональную модель выбора.

Этот пример показывает, что при проведении лабораторных экспериментов исследователь не всегда знает, что стоит за той или иной предполагаемой аномалией — действительные нарушения принципа рациональности или какие-то особенности лабораторных процедур.

Еще один критически важный вопрос — в какой мере результаты лабораторных экспериментов переносимы на поведение людей в «поле». В лаборатории испытуемые оказываются в непривычной обстановке, сталкиваются с новыми для себя проблемами и за участие в эксперименте чаще всего получают чисто символическое вознаграждение. В реальной жизни люди имеют возможность накапливать опыт, а выигрыши и проигрыши, которыми вознаграждаются их рациональные решения и наказываются нерациональные, несравненно больше. Здесь у них появляются сильные стимулы к тому, чтобы специализироваться и учиться избегать ошибок, — стимулы, которые, как правило, отсутствуют в лаборатории.

Бихевиористы склонны игнорировать очевидный факт, что рациональное поведение не дается людям в готовом виде, а формируется постепенно в процессе обучения, т.е. невозможно без предварительного более или менее продолжительного периода ошибочных (нерациональных) решений, в течение которого идет накопление опыта. На ошибках учатся, и в этом смысле рациональность и поведенческие аномалии не обязательно исключают друг друга, как это, по сути, предполагает поведенческая экономика. Отсюда среди прочего следует, что, пытаясь оградить индивидов от проявлений ир-

рациональности, патерналистская политика государства будет препятствовать накоплению ими опыта (т.е. выработке у них навыков рационального поведения) и, следовательно, делать их менее рациональными.

Лабораторная среда является институционально стерильной: в ней практически полностью отсутствуют разнообразные инструменты по предотвращению и исправлению поведенческих ошибок, которые имеются у людей в реальной жизни. Поведение одного и того же человека в институционально бедной и институционально насыщенной среде может кардинально различаться. То, что институты (прежде всего — рыночные) делают человеческое поведение более рациональным, чем оно есть само по себе, — давняя тема экономической теории, начиная с Адама Смита. Существование эффективной системы институтов радикально снижает требования к рациональности экономических агентов и может делать рациональным поведение даже тех из них, кто страдает серьезными когнитивными ограничениями и слабо себя контролирует. Имеющиеся данные подтверждают, что накопление опыта, использование более сильных стимулов, наличие доступа к различным корректирующим механизмам, подверженность дисциплине рыночной конкуренции действительно резко снижают частоту поведенческих ошибок⁵⁴.

Б. Неявно сторонники «нового» патернализма исходят из представления, что политики лучше знают «истинные» предпочтения индивидов, чем они сами. Однако того факта, что поведение реальных людей не застраховано от ошибок (в том числе — систематических), еще недостаточно, чтобы делать из этого вывод о необходимости и желательности их «опеки» со стороны государства. Политика «подталкивания» должна оцениваться в сравнительно-институциональной перспективе.

Так, индивиды могут быть несовершенными максимизаторами полезности, но тем не менее достигать более высоких ее уровней, когда совершают выбор сами, чем когда за них это делают третьи лица (включая государство). Они могут быть недостаточно осведомлены о собственных предпочтениях, но все-таки знать о них больше, чем кто-либо другой⁵⁵.

⁵⁴ Levitt S.D., List J. Viewpoint: On the Generalizability of Lab Behavior to the Field // Canadian Journal of Economics. 2007. Vol. 40. No. 2. P. 347–370.

⁵⁵ Это предположение подтверждается результатами исследования Джоэля Уолдфогеля. См.: Waldfoegel J. Does Consumer Irrationality Trump Consumer Sovereignty? // The Review of Economics and Statistics. 2005. Vol. 87. No. 4. P. 691–696. В нем ценность в глазах индивидов предметов, которые по случаю определенных праздников они «дали» себе сами, сравнивалась с ценностью в их глазах подарков, которые им делали родственники и друзья. Оказалось, что в среднем ценность собственных покупок превосходила ценность подаренных вещей примерно на 18%, хотя подарки делали самые близкие люди, казалось бы, хорошо знающие вкусы и предпочтения тех, кому они предназначались. Но, если даже «ближние» имеют очень приблизительное представление о предпочтениях хорошо знакомых им людей, что тогда говорить о «дальних» — вроде представителей государства?

Чтобы патерналистская политика была успешной, государство должно располагать гигантским объемом информации⁵⁶. В частности, оно должно знать: 1) каковы «истинные» предпочтения индивидов (к этому вопросу мы еще вернемся); 2) какие специфические ошибки в каких специфических ситуациях они допускают; 3) какова цена этих ошибок (насколько велико их негативное влияние на благосостояние); 4) предпринимают ли индивиды какие-либо самостоятельные действия по предотвращению своих ошибок и если да, то насколько они эффективны; 5) как различные ошибки связаны между собой; 6) какова эффективность возможных мер воздействия, имеющих в арсенале патерналистского государства.

Выполнение этих информационных требований представляет собой практически нерешаемую задачу. Объем информации, в котором нуждается патерналистское государство для проведения политики точной настройки, мало уступает тому ее объему, в котором нуждалась для успешного функционирования система централизованного планирования.

В. Поведенческая экономика критикует неоклассическое представление о гиперрациональном индивиде, но при этом сама фактически выдвигает на роль гиперрационального существа государство. Это тем более удивительно, что о множественности Я агента под названием «государство» можно говорить не метафорически, а вполне буквально.

Аргументация бихевиористов строится так, как если бы участники политического процесса (избиратели, члены партий, эксперты, политики, чиновники) обладали врожденным иммунитетом по отношению к когнитивным и поведенческим ошибкам. В реальности это, конечно, не так. Правительства подвержены тем же ошибкам, что и частные лица. Они имеют короткие горизонты планирования; применяют сверхвысокие нормы дисконтирования, когда выгоды от тех или иных решений достаются прямо сейчас, а издержки возникнут в отдаленном будущем; легко поддаются соблазнам, сулящим краткосрочные политические дивиденды; склонны давать обещания и затем отказываться от них, когда подходит время их выполнять; сплошь и рядом принимают решения, находясь в «горячих» психологических состояниях. И как показывает исторический опыт, большинство реальных политических лидеров было бы затруднительно считать образцом ясного мышления и эмоционального равновесия⁵⁷.

К этому добавляется еще один фактор — давление групп со специальными интересами. Как следствие, на политическом рынке риск эксплуата-

⁵⁶ Rizzo M.J., Whitman D.G. The Knowledge Problem... P. 905–968.

⁵⁷ Glaeser E.L. Psychology and the Market... P. 408–413.

ции поведенческих ошибок (манипулирование ими в интересах отдельных политиков или лоббистских групп) оказывается намного выше, чем на экономическом рынке, подверженном жесткой конкурентной дисциплине.

Г. Все предшествующее обсуждение строилось при неявном предположении, что поведенческая экономика располагает нормативным стандартом, исходя из которого можно оценивать последствия тех или иных поведенческих ошибок как для отдельного индивида, так и для всего общества. Речь, напомним, идет о предпочтениях, отражающих «истинные» интересы людей. Однако предлагаемое ею решение оказывается внутренне противоречивым.

С одной стороны, она претендует на то, чтобы улучшать положение людей исходя из их собственных предпочтений, и утверждает, что государству эти «истинные» предпочтения известны лучше, чем самим людям. С другой — заявляет, что никаких упорядоченных предпочтений у индивидов даже «формально» не существует, о чем свидетельствует несогласованность совершаемых ими актов выбора. В самом деле, ведь, по ее данным, любой человек наделен сразу несколькими взаимоисключающими наборами предпочтений.

Возникает вопрос: может ли какой-либо из этих наборов быть признан «истинным» (т.е. отражающим подлинные интересы человека) и если да, то какой? Никаких внятных критериев для его решения поведенческая экономика не предлагает. Если согласованность предпочтений — это все, что необходимо для обеспечения рациональности поведения, то достигать ее можно многими способами, выбирая из общей совокупности предпочтений любые консистентные подмножества и отбрасывая все остальные. Какими из элементов этой совокупности следует пожертвовать, признав их не отражающими «истинных» интересов индивида?

Скажем, в условиях гиперболического дисконтирования согласованность предпочтений может достигаться за счет как снижения краткосрочной нормы предпочтения времени до уровня долгосрочной (к чему призывают бихевиористы), так и повышения долгосрочной до уровня краткосрочной. При сильном влиянии на поведение индивидов эмоционального фона ее можно достигать за счет блокирования как решений, принимаемых в «горячих» психологических состояниях (на чем настаивают бихевиористы), так и решений, принимаемых в «холодных», и т.д.

И когда бихевиористы усматривают подлинную сущность человека в его бережливом, а не расточительном Я; в его терпеливом, а не нетерпеливом Я; в его рассудительном, а не импульсивном Я; в его «холодном», а не «горячем» Я и т.д., они делают это полностью произвольно, исходя из своих субъективных симпатий и антипатий. В результате «новый» патернализм, обещавший с уважением относиться к собственным предпочтениям

«опекаемых» индивидов, перетекает в классический «старомодный» патернализм, навязывающий им установки и ценности «опекунов».

Выдвигая эндогенность предпочтений в качестве решающего аргумента против традиционной экономики благосостояния, бихевиористский подход действительно подрывает ее нормативные основания. Но этим же он лишает таких оснований и самого себя, поскольку тогда идея существования у индивидов некоего подмножества «истинных» предпочтений тоже повисает в воздухе.

В самом деле, как мы уже упоминали, «истинными» сторонники поведенческой экономики предлагают считать предпочтения, которые имелись бы у экономических агентов при идеальных информационных и когнитивных условиях. Лучше всего смысл подобной реконструкции передают слова Джона Харсаньи:

Истинными предпочтениями индивида являются те, которые он *имел бы*, если бы располагал всей значимой фактической информацией, всегда мыслил со всей возможной тщательностью и всегда находился в душевном состоянии, более всего подходящем для осуществления рационального выбора⁵⁸.

Иными словами, речь идет о предпочтениях, которые выявлялись бы в актах выбора, если люди были бы неограниченно рациональными существами, т.е. обладали совершенной информацией, безграничными когнитивными способностями и абсолютной силой воли.

Но это достаточно странное решение. Фактически оно предполагает замену обычных людей некими сверхъестественными существами, которых невозможно встретить в реальности. Во-первых, нам, строго говоря, не дано знать, какими предпочтениями обладали бы такие гиперрациональные существа, на этот счет можно только строить более или менее правдоподобные предположения⁵⁹. Во-вторых, само понятие «полной информированности» нельзя считать однозначно определенным: его наполнение зависит от целей, которые ставит перед собой человек, от его способностей и от контекста, в котором он действует⁶⁰. В-третьих, наделение человека совершенной информацией, безграничными когнитивными способностями и абсолютной силой воли настолько бы изменило его личность, что перед нами фактически был бы уже другой человек. О каком уважении к имеющимся у индивидов предпочтениям можно в таком случае говорить?

⁵⁸ Harsanyi J. Morality and the Theory of Rational Behaviour // Utilitarianism and Beyond / A. Sen, B. Williams (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1982. P. 55.

⁵⁹ Grüne-Yanoff T. Old Wine in New Casks...

⁶⁰ McQuillin B., Sugden R. Reconciling Normative and Behavioural Economics: The Problem to Be Solved // Social Choice and Welfare. 2012. Vol. 38. No. 4. P. 553–567.

Поведенческая экономика исходит из сверхамбициозного и явно нереалистичного взгляда на природу человека; никакой реальный человек по определению не может ему соответствовать. Это ясно показывает, что в своих нормативных построениях она налагает на поведение людей *внешние* по отношению к ним принципы, что противоречит ее обещанию судить об их благосостоянии исходя исключительно из их же собственных целей и устремлений:

Следствием дробления личности на несколько Я становится подрыв самой идеи истинных предпочтений. Но если никаких истинных предпочтений не существует, то тогда либертарианский патерналист не может помочь людям в получении того, что они желают на самом деле. Он может действовать только, как старомодный патерналист, навязывая людям то, что они должны желать⁶¹.

Но и это еще не все. Поскольку представления о гипотетических предпочтениях воображаемых гиперрациональных существ, выдвигаемые сторонниками «нового» патернализма в качестве нормативного идеала, неизбежно остаются размытыми и неопределенными, образовавшийся вакуум начинают заполнять вполне конкретные представления тех или иных реально существующих групп агентов. В каких-то случаях это могут быть предпочтения действующих политиков, в других — консультирующих их экспертов, в третьих — большинства общества и т.д. И если внимательнее присмотреться к тому, какие из альтернативных наборов предпочтений сторонники «нового» патернализма согласны признавать «рациональными», то становится очевидным, что это всегда предпочтения, отражающие ценности среднего класса — социального слоя, к которому они сами (в качестве экспертов) принадлежат. Они неизменно выступают за бережливость против расточительности; за осмотрительность против импульсивности; за расчет против эмоций; за здоровый образ жизни против вредных привычек; за терпеливость против нетерпения; за долгосрочное планирование против получения сиюминутных удовольствий и т.д. Можно сказать, что с социологической точки зрения «новый» патернализм представляет собой не что иное, как попытку навязывания обществу представлений и ценностей среднего класса. Но в таком случае разница между ним и традиционным «старым» патернализмом оказывается чисто символической: в конечном счете и тот и другой нацелены на то, чтобы навязывать людям — вопреки их желанию — чуждые им поведенческие нормы.

Как мы уже неоднократно отмечали, главной мишенью бихевиористской атаки выступает «велферистский» подход ортодоксальной экономики благосостояния с ее нормативным стандартом удовлетворения индивиду-

⁶¹ Leonard T.C. Review. P. 359.

альных предпочтений. Однако в социальной философии и экономической теории существует альтернативная нормативная традиция, которую эта критика не затрагивает.

В рамках этой традиции не предполагается, что обычные люди всегда и во всех случаях принимают наилучшие для себя решения. В ней лишь утверждается, что нам неизвестно, кто бы мог принимать решения лучше, чем они сами, и что политики, чиновники и эксперты почти наверняка будут справляться с этой задачей хуже. В этой традиции не постулируется, что индивиды — гиперрациональные существа, никогда не совершающие ошибок. Напротив, они рассматриваются как ограниченно рациональные и ограниченно нравственные создания, недальновидные, слабовольные, легко поддающиеся соблазнам. Что касается принципа «суверенитета потребителя», то он отстаивается этой традицией не потому, что «потребитель всегда прав», а потому, что с ее точки зрения свобода выбора сама по себе — огромная ценность. К числу важнейших прав она относит право людей на ошибки, потому что это необходимое условие их автономии, а также потому, что благодаря ему они могут становиться более компетентными, ответственными и независимыми (иными словами — более «рациональными»).

Мы имеем в виду традицию, восходящую к Адаму Смиту и другим философам шотландского Просвещения, которую в широком смысле можно обозначить как *традицию классического либерализма*. По словам Фридриха Хайека, в соответствии с этой традицией человек — это «не высокорациональное и непогрешимое, а достаточно иррациональное и подверженное заблуждениям существо, индивидуальные ошибки которого корректируются только в ходе общественного процесса»⁶². Мыслители, стоявшие у ее истоков, никогда не рассматривали поведение человека как оптимизирующее:

С их точки зрения, человек ленив и склонен к праздности, недальновиден и расточителен, и <...> только силой обстоятельств его можно заставить вести себя экономно и осмотрительно, дабы приспособить его средства к его же целям⁶³.

Если поведенческая экономика делает из факта ограниченной рациональности патерналистские, то смитианская традиция — прямо противоположные — антипатерналистские выводы. С ее точки зрения в современных, сложно организованных, обществах основную когнитивную нагрузку по координации экономической активности несут не индивидуальные умы, а институты «расширенного порядка» (термин Хайека)⁶⁴. Можно сказать,

⁶² Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 29.

⁶³ Там же. С. 31.

⁶⁴ См.: Boettke P., Caceres W.Z., Martin A. Error Is Obvious, Coordination Is the Puzzle // Hayek and Behavioral Economics / R. Frantz, R. Leeson (eds). L.: Palgrave Macmillan, 2013.

что главное предназначение этих институтов — предотвращение и исправление ошибок, совершаемых ограниченно рациональными индивидами. Если бы люди были полностью рациональными существами и обладали неограниченными когнитивными способностями, то такие институты, строго говоря, были бы не нужны. Сторонники бихевиористского подхода не сознают, что, пытаясь с помощью патерналистской «опеки» сделать поведение индивидуальных агентов более рациональным, они тем самым затрудняют работу институтов «расширенного порядка», усложняя координацию экономической активности и делая этот процесс менее рациональным. Как следствие, предлагаемые ими меры по сокращению издержек, связанных с поведенческими ошибками, могут оборачиваться их увеличением, и вместо движения в направлении большей рациональности, к чему они призывают, общество может, напротив, начать смещаться в направлении большей иррациональности.

* * *

Поведенческая экономика — новое перспективное направление исследований, во многом изменившее облик современной экономической науки. Хотя большинство используемых экономистами формальных моделей по инерции продолжает строиться исходя из принципа совершенной рациональности, поведенческая экономика представила многочисленные эмпирические свидетельства того, как сильно поведение людей в реальной жизни отклоняется от данного принципа. Настоящий переворот она произвела в нормативном экономическом анализе, отбросив традиционную для экономистов антипатерналистскую установку.

Среди историков науки неоклассическая теория давно уже славится своей поистине легендарной «гуттаперчевостью» — способностью «обволакивать» противостоящие ей подходы, включая их в свою орбиту. Но даже на этом фоне казус поведенческой экономики предстает как уникальный. Кажется бы, отказ от принципа рациональности, этого поведенческого фундамента неоклассической теории, не может не означать, что речь идет о конкурирующей научной парадигме. Здесь возможны два сценария: либо новая парадигма должна начать заменять собой старую, либо она будет оттеснена на обочину экономической науки в качестве еще одного «гетеродоксального» подхода, как это уже не раз бывало в истории этой дисциплины⁶⁵. Однако с поведенческой экономикой случилось нечто третье: она

⁶⁵ В этом смысле ситуация с поведенческой экономикой отличается от ситуации с другими подходами, которые также были успешно абсорбированы мейнстримом, такими как эволюционная или новая институциональная экономика. В момент своего рождения эти подходы открыто противопоставляли себя неоклассической ортодоксии, и хотя впоследствии их идеи (в так или иначе препарированном виде) усваивались мейнстримом и становились

была полностью абсорбирована мейнстримом, спровоцировав при этом его, если можно так выразиться, «шизофреническое» раздвоение: современные экономисты начали свободно переходить от моделей с полностью рациональными агентами к моделями с ограниченно рациональными или даже иррациональными агентами, не ощущая от этого никакого интеллектуального дискомфорта. (Трудно не увидеть иронии в том, что именно бихевиористский подход, пытающийся бороться с множественностью Я экономических агентов, сделался источником множественности исследовательских Я современных экономистов.) Если это и можно назвать научной революцией, то очень странной — «революцией», которая привела не к замене одной теоретической картины мира другой, а к их совмещению.

Объясняется такое одновременное «сидение» сразу на двух стульях чисто прагматическими причинами: модели, исходящие из предпосылки совершенной рациональности, продолжают использоваться потому, что отказ от нее может не иметь большого значения; или потому, что это чрезмерно усложнило бы анализ; или потому, что такова сложившаяся исследовательская практика и т.д. Учет «поведенческой» составляющей чаще всего ограничивается тем, что постулируется сосуществование двух классов агентов — с полной рациональностью и с ограниченной (разработка моделей с гетерогенностью экономических агентов расценивается многими как значительный шаг вперед в развитии формальной экономической теории). Хотя благодаря поведенческой экономике современные экономисты стали ясно осознавать, что реальные люди «устроены» не совсем так или даже совсем не так, как предполагается в большинстве используемых ими моделей, они не видят здесь серьезной проблемы и не выражают озабоченности сложившимся положением дел. Насколько в том или ином случае важно учитывать отклонения от принципа рациональности, зависит от характера изучаемых проблем.

Но в длительной временной перспективе подобное «раздвоенное» состояние экономической науки (если быть более точным — ее мейнстрима) не кажется ни новым, ни уникальным. Представление о том, что модель рационального выбора всегда входила в «твердое ядро» ортодоксальной экономической теории в качестве его необходимой части, является исторической aberrацией. Так, вопреки тому, что традиционно предполагалось в микроэкономической теории, макроэкономическая теория на протяжении многих десятилетий строилась исходя из предпосылки нерациональности

его частью, такое поглощение никогда не было полным: определенная часть сторонников этих подходов продолжали ему противостоять, образуя особые «гетеродоксальные» школы. (Собственно, такой была судьба и «старой» поведенческой экономики.) В отличие от этого теоретики «новой» поведенческой экономики с самого начала полностью принадлежали мейнстриму и никакой отдельной «гетеродоксальной» школы никогда не составляли.

поведения экономических агентов. Это можно сказать как о «старом» кейнсианстве, так и о «классическом» монетаризме. И как показывает идея «неоклассического синтеза» Пола Самуэльсона, у подавляющего большинства экономистов того времени этот дуализм не вызывал никакого протеста⁶⁶. Попытка положить конец двоemiрию микро- и макро- оказалась связана с революцией рациональных ожиданий.

Однако унификация поведенческих основ экономической науки просуществовала недолго. После проникновения в мейнстрим идей поведенческой экономики ситуация концептуального раздвоения возникла снова. Конечно, аналогия с более ранним эпизодом является далеко не полной. Во-первых, первоначально иррациональность экономических агентов присутствовала в макроэкономических моделях в неявной форме и большинством экономистов не осознавалась. В настоящее время эта предпосылка принимается ими вполне осознанно. Во-вторых, тогда грань между рациональным и иррациональным поведением совпадала с границей, разделявшей микро- и макроэкономику. Сейчас модели с рациональными и иррациональными экономическими агентами сосуществуют как внутри микроэкономического анализа, так и внутри макроэкономического. В-третьих, представления о иррациональности экономического поведения, использовавшиеся в кейнсианстве и монетаризме, носили достаточно произвольный характер и были лишены какого-либо прочного эмпирического основания. Поведенческая экономика такое основание предоставила. Тем не менее этот более ранний опыт ясно показывает, что состояние «поведенческой раздвоенности» не является для господствующего течения экономической теории чем-то аномальным.

Более того, вопреки первоначальному впечатлению, отношение самой поведенческой экономики к конвенциональной модели рационального выбора оказывается далеко не однозначным. Она отвергает ее в качестве дескриптивной теории, но сохраняет в качестве нормативного идеала, приближение к которому рассматривается как безусловное благо. Наиболее эффективным средством достижения этой цели провозглашается установление более детализированной «опеки» государства над обществом. В этом смысле ситуация с идеей совершенной рациональности очень напоминает ситуацию с другой базовой идеей неоклассической экономической теории — совершенной конкуренцией. Современные экономисты точно так же склонны отвергать модель совершенной конкуренции в качестве адекватного описания экономической реальности, но принимать ее в качестве нормативного стандарта, на который они призывают ориентироваться государство.

⁶⁶ В поведенческих терминах идея «неоклассического синтеза» фактически предполагает, что до достижения экономики состояния полной занятости участники рынка ведут себя как иррациональные, а после ее достижения — как рациональные экономические агенты.

По опыту прошлого мы знаем, что каждое открытие экономистами еще одной, новой разновидности «провалов рынка» неизменно сопровождалось всплеском государственного активизма. Поведенческая экономика не стала здесь исключением. Выявление ею поведенчески обусловленных «провалов рынка» открыло двери широкому спектру патерналистских интервенций. Ее сторонники не только предложили много оригинальных схем, ранее никогда не встречавшихся в практике государственного регулирования, но, что не менее важно, придали интеллектуальную респектабельность многим традиционным формам государственной политики, использовавшимся *ad hoc*, без явно выраженной санкции со стороны экономической теории.

Теоретические обоснования, санкционируя определенные типы вмешательства государства, в то же время дисциплинируют его поведение, поскольку иные типы вмешательства, к которым эти обоснования оказываются неприменимы, начинают рассматриваться как недопустимые. Именно так обстояло дело с традиционной экономикой благосостояния. Выдвигавшиеся ею теоретические аргументы могли успешно использоваться для оправдания разнообразных перераспределительных программ, а также различных мер, направленных на преодоление внешних эффектов. Но одновременно те же самые аргументы служили основанием для нормативного запрета патерналистских интервенций, прямо вторгающихся в процесс принятия решений индивидами.

Конечно, это не мешало представителям государства прибегать к различным мерам патерналистской «опеки» при отсутствии санкции со стороны экономической теории. Однако «атеоретические» формы государственного вмешательства имеют совершенно иной статус (неизбежного зла или отражения слабости государства) и обладают более ограниченным потенциалом роста. Одно дело повышать минимальную заработную плату под давлением профсоюзов и другое — повышать ее потому, что, как учит теория монополии, это ведет к увеличению занятости; одно дело раздувать бюджетный дефицит в докейнсианскую эпоху и другое — проводить такую политику исходя из кейнсианских аргументов о важности стимулирования совокупного спроса. Отсутствие необходимой теоретической санкции долгое время сдерживало «врожденные» патерналистские устремления современных государств и препятствовало расширению сферы их влияния.

Ситуация изменилась, когда поведенческая экономика такую санкцию предоставила. Она показала, что в вопросах собственного благосостояния реальные люди очень часто выступают далеко не лучшими судьями. Отсюда был сделан вывод, что патерналистски ориентированное государство может значительно улучшить качество принимаемых людьми решений. Когда «врожденные» инстинкты государства получают интеллектуальное подкрепление от академического сообщества, то чаще всего это становится

прологом к дальнейшему усилению его активности. Так, насколько можно судить, произошло и с идеями поведенческой экономики и выросшей на их основе нормативной программой нового патернализма. В этом контексте некоторые наблюдатели фиксируют набирающий силу тренд к перерастанию государства благосостояния в патерналистское государство с гораздо более широкими возможностями и полномочиями по надзору и контролю за деятельностью частных граждан.

Поведенческая экономика выступила с критикой «велферистского» подхода ортодоксальной экономики благосостояния, продемонстрировав неустойчивость индивидуальных предпочтений и их зависимость от контекста принятия решений. Но как ни парадоксально, эта критика оказывается разрушительной и для ее собственной политической программы. Она подрывает нормативную основу не только традиционного «велферистского» подхода, но и нового патернализма, который оказывается бессилем решить самый важный для себя вопрос — об «истинных» предпочтениях индивидов. В этих условиях естественным выглядит обращение к альтернативной нормативной традиции в социальной философии и экономической теории — «либеральной» в широком смысле слова, строящейся не вокруг идеи благосостояния, а вокруг *идеи свободы*. Принципиально важно, что в отличие от нового патернализма в этой альтернативной традиции, связанной с именами Юма, Смита, Милля, Найта, Хайека, Коуза, ограниченная рациональность индивидов предстает как аргумент не в пользу расширения, а, наоборот, в пользу ограничения масштабов государственного вмешательства в экономику и шире — в частную жизнь людей.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЕРАРХИИ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ ЗНАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

В «Истории экономического анализа» (1954) Йозеф Шумпетер утверждал, что описание истории отдельных национальных школ было бы «наихудшим из всех возможных способов написания истории экономики», поскольку «наука не имеет гражданства и не несет отпечатка никаких общих национальных черт»¹. Данное высказывание наилучшим образом отражает эпистемический универсализм, свойственный профессиональной идеологии современных экономистов доминирующего направления (mainstream). В этой идеологии нераздельно слиты два аспекта, первый из которых отсылает к универсализации, т.е. к амбиции создавать знание, не зависящее от места и времени, в то время как второй — к интернационализации, или пространственному распространению определенной формы знания. Сочетание этих двух устремлений лежит в основе формирования глобализованной экономической науки в первые десятилетия после Второй мировой войны. Основным содержанием этих процессов стала постепенная гомогенизация национальных дисциплинарных полей в том, что касается теории, методологии и критериев научной работы. В пределе создание глобального дисциплинарного поля означало бы использование экономистами разных стран одних и тех же аналитических инструментов, одинакового концептуального аппарата, методологии и языка и фактически исчезновение отдельных национальных школ с их специфической академической культурой².

Такое положение дел как нельзя лучше соответствовало бы определенному идеалу научного прогресса. Однако реальное функционирование экономической дисциплины в глобальном масштабе не совпадает с этим описанием. Констатируя значимый прогресс в глобализации экономической дисциплины во второй половине XX в., исследователи истории экономики одновременно отмечают неравномерный характер этих процессов, за-

¹ Цит. по: *Heilbron J.* Qu'est-ce qu'une tradition nationale en sciences sociales? // *Revue d'histoire des sciences humaines.* 2008. No. 1. P. 3–16.

² *Coats A.W.B.* Introduction // *The Development of Economics in Western Europe Since 1945 / A.W.B. Coats (ed.).* L.: Routledge, 2000. P. 8.

тронувших различные регионы мира в разное время и с разной глубиной³. Некоторые национальные дисциплинарные поля (к примеру, небольшие по размеру европейские страны) оказались подвержены интернационализации в намного большей степени, чем другие. Кроме того, обнаружилось, что, к примеру, европейские или латиноамериканские экономисты сохраняют в своем мировоззрении и профессиональных практиках характерные отличия от американских коллег. Наконец, подобно тому, как культурная и экономическая глобализация вызвала к жизни «обратное» движение в защиту локальных идентичностей, интернационализация научных полей заострила вопрос о существовании отдельных традиций экономической науки и их интеграции в единое дисциплинарное поле (и в Европе, и в развивающихся и «переходных» странах).

Современное состояние большинства национальных полей экономики характеризуется более или менее ярко выраженным напряжением между трендом интернационализации и локальными порядками знания, которое часто трактуют как чисто идеологическое противостояние между космополитическими и националистическими ориентациями в экономической науке. Полагая такое объяснение частичным и недостаточным, вслед за рядом авторов мы будем утверждать, что в основе указанного противоречия лежит глубокая связь научного знания с национальными контекстами его производства. Новые исследования по истории социального знания показывают, что дисциплинарная организация, начиная с периода институционализации экономических и других общественных наук в конце XIX в., была нераздельно связана с форматом национальных государств — их культурой, идеологией, политикой, социально-экономическим устройством⁴.

На самом общем уровне содержание экономических теорий несет на себе несомненный отпечаток национальной идеологии и интеллектуального контекста своего формирования⁵. Некоторые авторы последовательно

³ В последние годы вышел ряд важных обобщающих и сравнительных работ по интернационализации национальных дисциплинарных полей экономики: *The Development of Economics in Western Europe Since 1945* / A.W.B. Coats (ed.). L.: Routledge, 2000; *Economists in the Americas* / V. Montecinos, J. Markoff (eds). Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2010.

⁴ См., среди прочих: *Discourses on Society: The Shaping of the Social Science Disciplines* / P. Wagner, B. Wittrock, R. Whitley (eds). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991; *States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social Policies* / D. Rueschemeyer, T. Skocpol (eds). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996; *Global Science and National Sovereignty: Studies in Historical Sociology of Science* / G. Mallard, C. Paradeise, A. Peerbaye (eds). N.Y.: Routledge, 2008.

⁵ Например, французский и американский случаи проанализированы соответственно в: *Weiller J., Dupuigrenet-Desroussilles G. Les cadres sociaux de la pensée économique*. P.: Presses universitaires de France, 1974; *Ross D. The Origins of American Social Science*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

подчеркивают влияние, которое оказывают на содержание и структуру экономического знания специфика политического заказа, а также особенности национальной системы образования, рассматриваемой в более широком культурном и социальном контексте⁶. Наконец, экономическая теория может в известной степени быть отражением специфической экономической культуры и хозяйственных практик⁷. Все эти подходы в области исторической социологии экономики служат аргументом в пользу существования национальных школ или национальных профилей экономической науки, которые — независимо от их эпистемологических предпочтений — несут в себе характерные национальные черты. Причем влияние национального контекста является многомерным и определяет как мировоззренческие основы, так и конкретные институциональные формы, которые принимает экономическая наука, а также место, которое занимают экономисты и экономическое знание в данном обществе.

Такой дисциплинарный порядок стал заметно меняться после Второй мировой войны в связи с процессами транснационализации (в пределе — глобализации) научного знания. Разумеется, международная циркуляция идей и ученых, транснациональные иерархии научного престижа существовали и раньше. Однако формирование глобализованных дисциплинарных полей во второй половине XX в. качественно превосходит все прежние практики интеллектуального взаимодействия и привносит совершенно новые явления в функционирование национальных академических сообществ. Транснационализация научного знания (обоснованием для которой служит эпистемический универсализм) хотя и не отменяет, но существенно трансформирует локальные порядки знания, причем как в «центре», так и на «периферии» глобального академического мира. Иначе говоря, транснационализация становится новой главой в истории дисциплинарности.

В случае экономической науки этим изменениям соответствуют такие крупные процессы, имеющие источник вне академического мира, как экономическая (и в особенности финансовая) глобализация, геополитические сдвиги — холодная война, падение Берлинской стены, евроинтеграция, — а также распространение неолиберальных идей и технологий в самых разных областях, включая образование и науку. «Неолиберальный момент» в истории национальных дисциплинарных полей был проанализирован во многих исследованиях, выявивших на удивление схожие механизмы и за-

⁶ *Furner M.O., Supple B.* The State and Economic Knowledge: The American and British Experiences. Cambridge: Cambridge University Press, 2002; *Fourcade M.* Economists and Societies: Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.

⁷ *Biernacki R.* The Fabrication of Labor: Germany and Britain, 1640–1914. Berkeley: University of California Press, 1995.

кономерности процесса интернационализации⁸. Важным вкладом этих работ в развитие социологии знания был анализ внешних причин глубоких трансформаций экономической науки. Оpozнание и осознание новых факторов и фигур дисциплинарной динамики также потребовало привлечения дополнительных теоретических ресурсов и освещения новых проблемных областей — от социологии экспертного знания и экспертизы, филантропии, изучения международных финансовых организаций и институциональной диффузии инструментов экономической политики до социологии профессий и элит⁹. Классические вопросы социологии знания и науки дополняются в этой перспективе рассмотрением таких проблем, как современная техно-политика, особенности экономической науки как экспертной дисциплины, политические и институциональные контексты экспорта и импорта экономического знания.

Не менее важные вопросы, на которые еще предстоит найти ответ, касаются структуры глобализованных дисциплин и последствий глобализации для функционирования национальных дисциплинарных полей, вариативности локальных контекстов, в которых имеют место схожие процессы интернационализации, а также способов участия периферийных акторов в глобализованном научном мейнстриме. В этой главе рассматриваются, во-первых, основные социальные механизмы глобализации экономического знания и, во-вторых, последствия этих сравнительно новых явлений для теоретического осмысления эволюции научных дисциплин на примере постсоветской трансформации российской экономической науки.

1. Создание глобального поля *economics*

Современная экономическая наука (*economics*) конституируется во второй половине XX в. в качестве глобальной дисциплины и одновремен-

⁸ Больше всего работ, рассматривающих неолиберальную трансформацию экономической профессии и дисциплины, посвящено латиноамериканскому региону, но есть также множество исследований и по отдельным европейским странам. Литература, имеющая предметом трансформацию российской экономической науки, остается на сегодняшний день малочисленной и фрагментарной. Более подробно о последней см. в разделе 2 этой статьи.

⁹ Указанные проблемы и теоретические перспективы были в той или иной степени учтены в новейшей литературе по социологии экономического знания. Назовем здесь лишь несколько таких работ: *Centeno M.A.* Democracy within Reason: Technocratic Revolution in Mexico. College Station: Pennsylvania State University Press, 1994; *Bernstein M.* A Perilous Progress: Economists and Public Purpose in Twentieth-Century America. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001; *Dezalay Y., Garth B.* The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists and the Transformation of Latin-American States. Chicago: University of Chicago Press, 2002; *Mitchell T.* Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley: University of California Press, 2002; *Babb S.* Managing Mexico: Economists from Nationalism to Neoliberalism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.

но — технологии управления. Учет глубинной связи этих двух аспектов необходим для понимания современной формы мейнстримной экономической науки¹⁰. Знание, производимое экономистами, не является незаинтересованным и нейтральным по отношению к своему объекту; напротив, оно активно производит и трансформирует изучаемую реальность и, в свою очередь, испытывает на себе эффекты этой реальности. Наиболее существенными составляющими динамики глобализации экономической науки во второй половине XX в. стали три связанных между собой процесса: математизации, американизации экономического знания и глобализации экономической экспертизы.

«Онаучивание» экономического знания

В соответствии с конвенциональной историей экономической науки, поворотным моментом в ее развитии стала «маржиналистская революция» последней трети XIX в., трансформировавшая экономику в современную научную дисциплину. В этом дисциплинарном дискурсе история экономики рисуется как непрерывный прогресс в научной строгости, образцом которой служат естественные науки и, прежде всего, физика. При этом все прочие определения дисциплины, не связывающие ее прогресс с математизацией, в учебниковом варианте истории чаще всего отсутствуют.

Однако на деле вопрос о природе и границах экономического познания оставался открытым вплоть до середины XX в.¹¹ Среди экономистов, как и среди представителей других социальных наук, велись оживленные дискуссии о том, нужно ли следовать естественно-научной модели познания или же выработать принципиально иные подходы к изучению общества. В большинстве социальных наук указанная дилемма дала повод к разработке непозитивистских методологий (и к нескончаемым дискуссиям о научном статусе знания об обществе). Несмотря на то что идеи математической экономики находили убежденных сторонников среди влиятельных экономистов начиная с конца XIX в. (Вальрас, Парето, Эджуорт и др.), их оспаривали представители немецкой исторической школы, австрийской школы, американские институционалисты и другие ученые¹². Консенсус от-

¹⁰ Сошлемся в данном вопросе на статью Марион Фуркад, посвященную анализу механизмов транснационализации экономической науки и профессии: *Fourcade M. The Construction of a Global Profession: The Transnationalization of Economics // American Journal of Sociology. 2006. Vol. 112. No. 1. P. 145–194.*

¹¹ *Weintraub E.R. How Economics Became a Mathematical Science. Durham, NC: Duke University Press Books, 2002. P. 9.*

¹² Более подробно о споре американских неоклассиков и институционалистов см.: *Yonay Y.P. The Struggle over the Soul of Economics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998. P. 77–89.*

носителем эпистемического статуса и границ использования математики в экономических исследованиях отсутствовал даже среди представителей неоклассической парадигмы, легшей в основу современного мейнстрима¹³.

В 1920-е годы прогресс в математизации экономики был достигнут за счет активного развития эконометрических и статистических методов в Германии, Австрии, Великобритании, России, США и других странах. Однако в довоенный период математика все еще не входила в круг обязательных предметов в экономическом образовании. Все изменилось после Второй мировой войны с появлением прикладных математических инструментов (линейное программирование, исследование операций, теория игр и проч.), примененных в широком спектре стратегических сфер — от военно-промышленного комплекса до национальной экономики. Развитию инструментов математической экономики, при поддержке правительства и военных ведомств, способствовал также общий технократический настрой эпохи, который выразился в популярности кибернетических идей планирования и контроля применительно к обществу по обе стороны «железного занавеса»¹⁴.

Поворотным пунктом в развитии математической экономики стала в 1950-е годы аксиоматизация и формализация теории общего равновесия Вальраса¹⁵, которая составила ядро неоклассической парадигмы. С этого времени математика стала не только прикладным инструментом, но и универсальным языком экономической теории. «Формалистская революция» изменила характер теоретической работы в экономике, которая стала ассоциироваться с созданием и усовершенствованием математических моделей экономических явлений и поведения экономических агентов. В связи с этим возникли дискуссии об эмпирическом характере экономической науки. Несмотря на то что в определенный период серьезный вес в дисциплине приобрели адвокаты «чистой теории», привнесшие дух «бурбакизма» в экономику, в послевоенной экономической науке сложился широкий консенсус по поводу того, что по-настоящему научным должно быть логически согла-

¹³ Примечательно, что британский экономист Альфред Маршалл, который приписан каноном к отцам-основателям неоклассической парадигмы, предостерегал против чрезмерного использования математических инструментов и считал экономическую математику «тупиковым путем развития экономической науки» (*Weintraub E.R. How Economics Became a Mathematical Science. P. 38–39*).

¹⁴ Данной теме посвящена обширная литература; в качестве базовой может служить отсылка к книге Ф. Миrowsки: *Mirowski P. Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2002*.

¹⁵ Об истории формализации теории общего равновесия в середине XX в. см.: *Weintraub E.R. On the Existence of a Competitive Equilibrium: 1930–1954 // Journal of Economic Literature. 1983. Vol. 21. No. 1. P. 1–39; Idem. The Pure and the Applied: Bourbakism Comes to Mathematical Economics // Science in Context. 1994. Vol. 7. No. 2. P. 245–272*.

сованное (дедуктивное) и одновременно — согласуемое с реальностью знание¹⁶. По замечанию Стива Фуллера, этой трансформации соответствовал сдвиг в официальной историографии дисциплины: если ее ранние версии делали акцент на постепенном отмежевании ценностных суждений экономистов от мнений профанов, то теперь прогресс дисциплины стал описываться в терминах возрастающей точности тестов, которым подвергаются теории экономистов¹⁷. Вместе с тем ценностная составляющая экономического знания была вытеснена в подсознание дисциплины.

Данная эволюция имела важные последствия как для эпистемологии экономической науки, так и для образования и исследовательских практик экономистов. Начиная с 1960-х годов были существенно реформированы университетские программы по экономике: все больший вес в них приобретали эконометрические и математические дисциплины (стандартный набор курсов: микро-макро-эконометрика)¹⁸. Экономист стал рассматриваться по большей части как технический специалист, владеющий стандартной методологией *economics* и нацеленный на решение конкретных задач. Подобно своим коллегам в экспериментальных науках, большинство экономистов стали полагать, что их внимания заслуживают лишь последние публикации в узкой области специализации в ущерб работам классиков и исследованиям, ведущимся в смежных областях¹⁹. По выражению философа экономики Джеффри Ходжсона, экономика сознательно «забыла историю»²⁰.

¹⁶ О культуре моделирования в современной экономике см. также: *Yonay Y., Breslau D. Marketing Models: The Culture of Mathematical Economics // Sociological Forum. 2006. Vol. 21. No. 3. P. 345–386.*

¹⁷ *Fuller S. Disciplinary Boundaries and the Rhetoric of the Social Sciences // Poetics Today. 1991. Vol. 12. No. 2. P. 315.*

¹⁸ Анализ трансформаций экономического образования в США на примере Массачусетского технологического института, чей экономический факультет приобрел в послевоенный период статус одного из ведущих в мире, см. в: *Duarte P.G. MIT Graduate Networks: The Early Years // Working Paper. No. 2013-08. Department of Economics, FEA-USP, 2013.*

¹⁹ Об этом свидетельствует исследование динамики высшего образования в области экономики Арджо Кламера и Дэвида Коландера, проведенное в конце 1980-х (*Klamer A., Colander D. The Making of an Economist. Boulder, Colo.: Westview, 1990*) и повторенное в середине 2000-х годов (*Colander D. The Making of an Economist Redux // The Journal of Economic Perspectives. 2005. Vol. 19. No. 1. P. 175–198*). В повторном исследовании снизилась доля студентов, придающих высокую значимость углубленному знанию математики (с 57 до 30%), и увеличилась доля студентов, больше веса уделяющих эмпирической работе (с 16 до 30%), что отражает общую эволюцию дисциплинарного поля. Вместе с тем лишь 9% студентов все еще считают очень важным глубокое знание реальной экономики (в сравнении с 3% в 1990 г.), в то время как широкое знание экономической литературы ценится почти так же низко: 10% — теперь и 11% — раньше (*Colander D. The Making of an Economist Redux. P. 181*).

²⁰ *Hodgson G.M. How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science. L.: Routledge, 2001.*

Наконец, математизация экономического знания трансформировала публичный образ экономической науки. Риторика «научной экономики», сопровождавшая формализацию и квантификацию экономического анализа, способствовала усилению символической эффективности этой дисциплины по сравнению с другими социальными науками²¹. Это сделало экономику недостижимой для внешней критики и одновременно способствовало утверждению представления об универсальности и (идеологической) нейтральности экономического знания.

Американизация экономической науки

Хотя математическая экономика в послевоенный период активно развивалась и в других странах, включая СССР²², относительная унификация экономической теории в последние десятилетия XX в. произошла именно в стенах ведущих американских университетов. Начиная с 30-х годов центр экономической науки постепенно переместился из Европы в Северную Америку, чему немало способствовали приход к власти радикальных националистов во многих европейских странах и последствия Второй мировой войны. Конечно, этот тренд, отражавший упрочение доминирования США в мировой экономике и политике, затронул не только экономическую науку. Но, возможно, в сравнении с другими социальными науками экономика представляет в некотором смысле крайний пример этой логики: «Отличительные черты американских экономистов естественным образом стали отличительными чертами хорошей профессиональной экономической науки»²³.

Тотальное символическое доминирование американских университетов в производстве экономического знания, механизмы которого подробно

²¹ О символической эффективности риторики «научной» (математизированной) экономики см., например: *McCloskey D. The Rhetoric of Economics*. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

²² В СССР математические методы в экономике начинают (после перерыва) активно развиваться с конца 1950-х годов в основном усилиями экономистов вновь созданного Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ). Математические экономисты, работавшие над проблемами планирования, оптимального распределения ресурсов и ценообразования, стали альтернативой политической экономии социализма, являвшейся гарантом чистоты официальной идеологии (кратко об истории математической экономики в СССР, подробная версия которой все еще ждет своего автора, см.: *Ellman M. Planning Problems in the USSR: The Contribution of Mathematical Economics to Their Solution 1960–1971*. Cambridge: CUP Archive, 1973; *Zauberman A. The Mathematical Revolution in Soviet Economics*. Oxford: Oxford University Press, 1975; *Sutela P. Economic Thought and Economic Reform in the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

²³ *Coats A. W. The Sociology and Professionalization of Economics*. L.; N.Y.: Routledge, 1993. P. 43. Автор цитирует здесь слова известного канадского экономиста Гарри Джонсона.

описаны рядом авторов²⁴, включает несколько аспектов. Теоретическое лидерство отражается в подавляющем преобладании американских экономистов (и в еще большей степени — американских университетов) среди получателей престижной награды — Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля²⁵. Американские научные журналы по экономике задают стандарт научных публикаций в этой области и являются сертификатом качества публикуемых исследований и компетентности авторов. Среди авторов этих престижных изданий преобладают американские экономисты, которые также получают намного больше ссылок на свои работы, чем, для сравнения, экономисты из Европы²⁶.

Наряду с интернационализацией репутационных и оценочных механизмов под контролем американских университетов, в последние десятилетия XX в. произошла и униформизация экономического образования в разных регионах мира по американскому образцу. Ведущие американские факультеты (Чикаго, Гарвард, МИТ и др.), с которыми не в состоянии конкурировать европейские экономические школы, имеют репутацию наиболее престижных центров образования в области экономики. Многократно увеличившийся в последние два десятилетия приток в США иностранных студентов, особенно из азиатских стран, тоже в конечном счете подтверждает символическое доминирование американской экономической науки. Так, более половины докторских степеней по экономике престижных американских аспирантур присуждается иностранным студентам²⁷; некоторые выпускники остаются в Соединенных Штатах, но большинство возвращаются домой, и именно они становятся главной движущей силой трансформации дисциплинарных полей и профессиональных сообществ в своих странах.

Во многих «периферийных» странах экономисты, получившие докторскую степень в США, сыграли ведущую роль в создании исследовательских

²⁴ *Lebaron F.* La croyance économique: Les économistes entre science et politique. P.: Seuil, 2000; *Fourcade M.* The Construction of a Global Profession...; *Montecinos V., Markoff J.* Economists in the Americas и др.

²⁵ С 1969 г. по настоящий момент эта награда, неофициально называемая «Нобелевской премией по экономике», чаще всего присуждалась экономистам, представлявшим Чикагский университет (10 лауреатов), Беркли и Принстон (5 лауреатов), Гарвард, Массачусетский технологический институт и Колумбийский университет (по 4 лауреата). Единственным неамериканским университетом, получившим сопоставимый уровень признания (4 лауреата), стал Кембриджский университет (Великобритания).

²⁶ *Frey B.S., Eichenberger R.* American and European Economics and Economists // *Journal of Economic Perspectives.* 1993. Vol. 7. No. 4. P. 185–193.

²⁷ *Aslanbeigui N., Montecinos V.* Foreign Students in U.S. Doctoral Programs // *Journal of Economic Perspectives.* 1998. Vol. 12. No. 3. P. 171–182.

и экспертных организаций, ориентированных на успешные американские образцы. Кроме того, в 1950-е и 1960-е годы экспорту моделей организации экономического образования и экспертизы в Латинской Америке, Азии и Африке в значительной степени способствовала деятельность филантропических обществ. В контексте холодной войны финансирование поездок западных экономистов и поддержка исследовательских организаций (think tanks) по экономике в этих странах имела целью распространение либеральной идеологии в виду предотвращения «красной угрозы»²⁸.

В послевоенный период преобразование обучения экономике по американскому образцу происходило и в европейских странах, постепенно отказавшихся от традиционной континентальной системы, в которой политическая экономия была частью учебных программ факультетов права²⁹. Данная трансформация происходила — не без сопротивления и поколенческих конфликтов — путем реформирования старых университетов и создания новых школ, содержательно и организационно копировавших американские образовательные программы. И хотя американизация европейского экономического образования не была единообразной и не следовала единому ритму, в целом к 1970-м годам «использование английского языка и американских идей, методов и исследовательских стилей в учебниках, экономических журналах и академических диссертациях стало почти повсеместным»³⁰. Данное утверждение можно в меньшей или большей степени отнести к эволюции экономической дисциплины в разных странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и (для более позднего периода) — в постсоциалистических странах. Наибольшим престижем здесь пользуются «интернационально ориентированные» школы, дающие экономическое образование американского образца, которое повышает шансы обладателя соответствующей степени на получение престижной работы в академическом мире и за его пределами.

Глобализация экономической экспертизы

Интернационализация экономической науки и образования по американскому образцу неотделима от создания глобального поля экономической экспертизы, транслирующего институционализированные способы осмысления экономической политики и практики. По выражению Аль-

²⁸ См., например: *Berman E.* The Influence of Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy. N.Y.: State University of New York Press, 1983.

²⁹ The Development of Economics in Western Europe Since 1945. P. 6.

³⁰ *Coats A.W.B.* Introduction // The Post-1945 Internationalization of Economics. Annual Supplement History of Political Economy. 1996. P. 4.

фреда Хиршмана, формирование идейно унифицированного и математизированного мейнстрима способствовало усилению *моноэкономизма*, или представления, что у развивающихся стран нет особенностей в сравнении с индустриально развитыми странами, т.е. экономические проблемы не укоренены в локальном контексте³¹. Представление об универсальном характере экономических законов, а значит и рецептов экономического роста, лежало в основе создания международного рынка экономической экспертизы.

Период после Второй мировой войны, наряду с математизацией и относительной унификацией экономического знания, был отмечен ростом влияния экономистов и экономического знания в правительствах и публичной сфере. Это было связано с усилением вмешательства государства в экономическую жизнь в большинстве развитых и развивающихся стран, а также с возросшей властью экономических институций (министерств экономики и финансов, центробанков и т.д.) в государственных иерархиях. Наибольшим влиянием пользовались кейнсианский и социал-демократический подходы к экономической политике, «девелопментаризм» (в странах третьего мира), марксизм-ленинизм (в советском блоке) и др. Однако начиная с 1970-х годов многообразие этих методов регулирования уступило место консолидации новой парадигмы экономической политики, которая означала радикальное изменение в представлениях о правильном управлении.

Интеллектуальная и организационная основа «неолиберального поворота» была во многом подготовлена деятельностью созданного в 1947 г. общества «Мон Пелерин», среди лидеров которого были известные экономисты Чикагской школы: Милтон Фридман и Фридрих фон Хайек³². Хотя международная сеть интеллектуалов и практиков, которые входили в это общество, была довольно разнородной по мировоззрению и целям, их объединяло стремление к возрождению и продвижению ценностей экономической свободы против «тоталитарных» тенденций середины прошлого века. Символами «неолиберального поворота» в экономической политике стали политика Пиночета в Чили, тетчеризм и рейганомика — в том, что касается развитого мира. Интернациональной экспансии неолиберальной технологии управления, которая, в свою очередь, подготовила и легитимировала эти изменения, способствовала либерализация международной торговли, интернационализация финансовых институтов, усилившаяся с конца 1970-х годов в ответ

³¹ Hirschman A. L'économie comme science morale et politique. P.: Hautes Etudes/Gallimard/Le Seuil, 1984. P. 45.

³² Истоки неолиберализма в различных национальных традициях и история общества «Мон Пелерин» исследуются в книге: The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective / P. Mirowski, D. Plehwe (eds). Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.

на кризис предыдущих парадигм развития. К середине 1980-х набор предписаний экономической политики, ассоциируемый с неолиберализмом (приватизация, дерегулирование, сокращение государственных расходов и социальных программ, снятие таможенных барьеров, плавающий курс валюты и проч.³³), приобрел обязательный в глобальных масштабах характер.

Исследования неолиберальных реформ в разных странах мира свидетельствуют о решающей роли экономистов и экономического знания, что дало повод для подчас резкой критики «повсеместного повышения роли экономистов»³⁴. Каковы были механизмы и каналы усиления этого влияния? Одним из основных путей диффузии рецептов экономического роста и представлений о *правильной* финансово-экономической политике стала трансформация элит в развитых и переходных странах: приход экономистов неолиберальной ориентации во власть, на ключевые государственные должности, связанные с проведением хозяйственных и финансовых реформ (включая посты министра экономики, премьер-министра и др.). Причем в странах, зависимых в производстве экономической экспертизы от более крупных государств, на доминирующие позиции приходили экономисты, обученные чаще всего в США и Великобритании. Зависимость от внешней экспертизы проявлялась и в том, что заметную роль — по крайней мере на раннем этапе проведения реформ — здесь играли внешние, чаще всего американские, специалисты³⁵.

Одним из основных путей создания глобального рынка экономической экспертизы было создание международных финансовых институтов (Международный валютный фонд, Всемирный банк и др.), а также транснациональных экспертных организаций, предоставляющих правительствам, наряду с финансовой, также и «техническую помощь» в проведении экономической и социальной политики. Западная Европа после Второй мировой войны, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, а затем Восточная Европа и постсоветское пространство становились по

³³ Данный набор предписаний экономической политики, прежде всего для развивающегося мира, стал известен под названием «Вашингтонский консенсус». См.: *Williamson J. What Washington Means by Policy Reforms // Latin American Adjustment. How Much Has Happened? / J. Williamson (ed.). Washington: Institute for International Economics, 1990. P. 7–20.*

³⁴ Это выражение мы заимствуем из статьи: *Markoff J., Montecinos V. The Ubiquitous Rise of Economists // Journal of Public Policy. 1993. Vol. 13. No. 1. P. 37–68.*

³⁵ О роли американских экспертов-экономистов в принятии и проведении неолиберальных реформ в Латинской Америке см., например: *Babb S. Managing Mexico..., 2001; Valdes J.G. Pinochet's Economists: The Chicago School of Economics in Chile. A Study in the Transfer of Ideas. Cambridge: Cambridge University Press, 1995; в Восточной Европе: Wedel J.R. Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989–1998. N.Y.: St Martin's, 1998.*

очереди адресатами экспорта экономической экспертизы. В последние годы данная стратегия — финансовая помощь в обмен на неолиберальные реформы — распространилась и на некоторые европейские страны, испытывающие экономические трудности.

В функционировании глобальной системы экономической экспертизы заложен принцип международного разделения интеллектуального труда, в котором производство научных идей и знаний закреплено за ведущими развитыми странами, а их дальнейшее распространение — за сетью «международных» экспертов, чаще всего не имеющих серьезных научных амбиций³⁶. Тем не менее анализ механизмов распространения экспертного знания определенного типа имеет значение для дискуссии о дисциплинарности в силу того, что это влияние становится ставкой во внутренней борьбе за символические и материальные ресурсы в самой экономической дисциплине. Так, повсеместное многолетнее доминирование неолиберального тренда в экономической политике усиливает академические позиции отдельных школ и факультетов³⁷. В странах периферии создание «интернационально ориентированных» школ и исследовательских институтов, чей символический престиж обеспечивается «интернациональными» контактами и стандартами, часто становится ставкой в политической борьбе за определение экономического курса страны³⁸. Возникновение такого рода институций, обладающих специфическими компетенциями, востребованными на политическом рынке и рынке бизнес-консультирования, ведет к изменению соотношения сил и правил конкуренции в национальных дисциплинарных полях. Дискуссии об «интернационализации» тем самым здесь на долгое время рискуют быть сведены почти исключительно к своему политическому или идеологическому измерению.

Таким образом, современная экономическая наука является относительно унифицированным, глобализованным предприятием, чья символическая эффективность опирается на представление о его универсальном, объективном и идеологически нейтральном характере. Унификация образовательных и исследовательских стандартов, в свою очередь, поддерживается интернациональной экспансией *economics* как технологии управления и хозяйственной деятельности. Как было показано в данном разделе, гло-

³⁶ См.: Ong A. *Higher Learning in Global Space* // Ong A. *Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Durham, NC: Duke University Press, 2006.

³⁷ Fourcade M. *The Construction of a Global Profession...*

³⁸ См., например: Dezalay Y., Garth B. *Les usages nationaux d'une science "globale": La diffusion de nouveaux paradigmes économiques comme stratégie hégémonique et enjeu domestique dans les champs nationaux de reproduction des élites d'État* // *Sociologie du Travail*. 2006. Vol. 48. No. 3. P. 308–329.

бализация экономической науки не является спонтанным и политически нейтральным процессом. Институционализация определенных образовательных программ, профессиональных ассоциаций, надправительственных организаций на глобальном уровне требует международной циркуляции большого количества индивидов (студентов, профессоров, экспертов) и ресурсов (политических, финансовых, культурных).

2. Интернационализация российской экономической науки

Процессы интернационализации экономического знания затронули российскую экономику позже, чем во многих других странах: лишь в начале 1990-х годов после нескольких десятилетий доминирования марксистско-ленинской парадигмы. Импорт новой, капиталистической, модели экономического развития в момент краха советского строя сопровождался импортом знаний, призванных обеспечивать ее функционирование на уровне принятия политических решений и деятельности «обычных» экономических агентов. Тем самым, как важно отметить, резкая трансформация экономической дисциплины в России в направлении ее интернационализации происходила в большой степени под влиянием внешних, политических причин, хотя экономический дискурс во многом подготовил и легитимировал эти изменения.

Постсоветская трансформация как «научная революция»

Начиная со сталинского «великого перелома» советская экономическая наука развивалась в русле марксистско-ленинской идеологии — в относительной изоляции от остального мира. Интеллектуальные и институциональные обмены между советскими и западными учеными практически отсутствовали вплоть до эпохи оттепели. Некоторое ослабление идеологического давления, с одной стороны, и стратегические потребности советского правительства в сфере управления народным хозяйством, с другой стороны, приоткрыли окно для новых идей и форм знания, а также для личных контактов между советскими и западными экономистами³⁹. В этих условиях стала возможной публикация в СССР учебника известного американского экономиста Пола Самуэльсона⁴⁰, а также переводов других

³⁹ Bockman J., Bernstein M.A. Scientific Community in a Divided World: Economists, Planning, and Research Priority during the Cold War // Comparative Studies in Society and History. 2008. Vol. 50. No. 3. P. 581–613.

⁴⁰ Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс / пер. с англ. под ред. А.В. Аникина. М.: Прогресс, 1964.

западных книг в области математической экономики. Советские математические экономисты получили доступ к актуальной профессиональной литературе на иностранных языках, и некоторые работы советских экономистов стали доступны для зарубежных коллег (через публикации английских переводов оригинальных статей и книг). Вместе с тем они не имели возможности открыто обсуждать западные теории, и не могло идти речи о выходе за рамки социалистической экономической науки.

Западные экономические идеи стали активно проникать в российское интеллектуальное пространство с конца 1980-х годов, прежде всего, благодаря публикации переводов работ неоконсервативных теоретиков (Хайека, Фридмана) и их переложений в «толстых» журналах и профессиональной периодике. Многочисленные журнальные публикации способствовали распространению представления о неспособности экономической теории социализма дать ответы на актуальные народнохозяйственные проблемы и предотвратить неминуемый крах советской системы⁴¹. К концу советского периода среди российских ученых-экономистов, как и среди высшего советского руководства, утвердилось представление о необходимости или даже неизбежности «перехода к рынку». Американский учебник стандартной экономической теории, переведенный с одобрения советского правительства и изданный впечатляющим тиражом 500 тыс. экземпляров «Политиздатом» (ныне — «Республика»), стал базовым учебным пособием в российских вузах начиная с 1992 г.⁴²

Радикальный характер трансформации этой дисциплины, вызванный крахом Советского Союза, был осмыслен в терминах «смена парадигмы»⁴³, «научная революция»⁴⁴ или создание принципиально новой науки —

⁴¹ См. обзоры журнальной дискуссии периода перестройки в: *Sutela P. Economic Thought and Economic Reform...*; *Sutela P, Mau V. Economics under Socialism: The Russian Case // Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe / H.-J. Wagner (ed.). L.; N.Y.: Routledge, 1998. P. 33–79; Zweynert J. Economic Ideas and Institutional Change: Evidence from Soviet Economic Debates 1987–1991 // Europe-Asia Studies. 2006. Vol. 58. No. 2. P. 169–192.*

⁴² *Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т. / пер. с англ. М.: Республика, 1992. Об обстоятельствах перевода и публикации этого учебника см.: Brue S.L., MacPhee C.R. From Marx to Markets: Reform of the University Economics Curriculum in Russia // The Journal of Economic Education. 1995. Vol. 26. No. 2. P. 182.*

⁴³ *Автономов В.С. и др. Нужно ли оглядываться назад? К осмыслению исторических, институциональных и интеллектуальных предпосылок экономической науки (материалы круглого стола) // Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 3. М.: ГУ ВШЭ, 1998. С. 465–481.*

⁴⁴ *Шматко Н.А. «Научная революция» 1990-х годов как «событие» поля экономики // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. № 7. С. 153–169.*

economics — на месте старой, утратившей легитимность политической экономики социализма⁴⁵. Для наиболее радикальных критиков⁴⁶ экономика в СССР вообще являлась не наукой, а чистой идеологией. При этом встречаются и более нюансированные суждения: советские (и в целом восточноевропейские) экономисты имели некоторые достижения, но с исчезновением СССР не осталось ничего или почти ничего, что можно было бы из их наследия взять в будущее⁴⁷. В самом деле, в постсоветский период весь комплекс экономических дисциплин претерпел кардинальные изменения в том, что касается теоретических и мировоззренческих оснований, методологии, научного языка. Так, центральное понятие «народное хозяйство» было заменено понятием «экономическая система», в то время как многие понятия, связанные с функционированием плановой экономики, безвозвратно уходили в небытие⁴⁸. На рынке образовательных услуг и в частном секторе оказались востребованными не существовавшие ранее знания и компетенции. Как преподаватели-экономисты, получившие в советский период академическую подготовку, не имевшую ничего общего с современным западным образованием в этой сфере⁴⁹, так и пришедшие из других областей знания, были в равной степени вынуждены осваивать экономические дисциплины в соответствии с новыми стандартами.

Существенным фактором в трансформации экономической науки в постсоветский период стало изменение характера и объема спроса на знания и компетенции собственно в области экономики и бизнеса⁵⁰. Эконо-

⁴⁵ Alexeev M., Gaddy C., Leitzel J. Economics in the Former Soviet Union // *The Journal of Economic Perspectives*. 1992. Vol. 6. No. 2. P. 137–148.

⁴⁶ См., например: Ibid.; Zaozrovstsev A. Principal Conflict in Contemporary Russian Economic Thought: Traditional Approaches Against Economics // *HWWA Discussion Paper*. 2005. No. 329.

⁴⁷ См., например: Lavigne M. The Political Economy of Socialism: What Is Left? // *Europe-Asia Studies*. 1997. Vol. 49. No. 3. P. 479; Wagener H.-J. Second Thoughts? Economics and Economists under Socialism // *Kyklos*. 1997. Vol. 50. No. 2. P. 165–187.

⁴⁸ Примеры изменения базового вокабуляра экономической науки и административного дискурса после 1991 г. многочисленны. Так, показательно, что в языке официальной экономической статистики понятие «отрасли народного хозяйства» было заменено на «виды экономической деятельности», «показатели развития народного хозяйства» — на «показатели экономического развития» и т.п.

⁴⁹ Сравнение стандартной американской и советской учебных программ по экономической науке подробнее см. в: Brue S.L., MacPhee C.R. From Marx to Markets... P. 182–194.

⁵⁰ О многократном росте числа студентов экономических специальностей свидетельствуют следующие цифры: если в 1950-х годах удельный вес экономистов в общем числе студентов

мические специальности оказались наиболее востребованными на рынке образовательных услуг⁵¹. Вследствие возрастания спроса на экономическое образование, который происходил в основном за счет прикладных специальностей («финансы и кредит», «бухгалтерский учет, анализ и аудит» и др.) и бизнес-подготовки в 1990-е годы, имел место стремительный рост числа кафедр экономики и новых частных учебных заведений экономического профиля⁵². Экономические специальности появлялись практически в каждом вузе, что с неизбежностью поставило проблему дефицита квалифицированных преподавательских кадров, обученных стандартной глобализованной *economics*. Как показало исследование среди преподавателей экономических специальностей, проведенное в середине 2000-х годов, около трети преподавателей к тому времени все еще не имели базового экономического образования⁵³. Тем не менее несмотря на все трудности и недостатки, старые и вновь созданные вузы и факультеты были вынуждены адаптироваться к новой рыночной ситуации, осваивать «западные» теории и понятия.

Помимо изменения рыночного спроса, важным фактором трансформации экономического знания была поддержка правительства, зарубежных

составлял 6%, то к середине 2000-х годов он превысил 25% (Назарова И.Б. Преподаватели экономических дисциплин: профессиональный потенциал, особенности занятости и трудовой мотивации. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 9).

⁵¹ Прием студентов по направлению «экономика и управление» в вузы увеличился с 55,5 тыс. человек в 1990 г. до 78,3 тыс. в 2000 г. При этом как в 1990-е, так и в 2000-е годы экономические специальности занимали лидирующие позиции среди всех других направлений подготовки специалистов, и со временем это лидерство только усиливалось (Выпуск специалистов государственными высшими учебными заведениями по группам специальностей (тысяч человек), до 2006 года включительно // Статистика российского образования. М.: ФГУ ГНИИ ИТГ «Информика», сор. 2002-2008. <http://stat.edu.ru/scr/db.cgi?act=listDB&t=2_6_17&type=2&Field=All> (дата обращения: 21.01.2014)).

⁵² К 2001 г. экономические и управленческие специальности имелись в 75% всех вузов. Наиболее распространенными стали специальности: «менеджмент организации» (49%), «бухгалтерский учет, анализ и аудит» (41%), «финансы и кредит» (36%), «экономика и управление на предприятии» (33%). Сопоставимой по представленности в вузах является лишь специальность «юриспруденция» (40%) (Гребнев Л.С. Общество, учебные заведения, академические свободы (образование в России: грань тысячелетий) // Мир России. 2001. Т. 10. № 4. С. 164).

⁵³ Назарова И.Б. Структура и мобильность преподавательских кадров // Материалы форума «Преподаватель высшей школы: профессиональный потенциал, особенности занятости и трудовой мотивации». Опубликовано 15.03.04. М.: НИУ ВШЭ, ФПО Экономика. Социология. Менеджмент, сор. 2004-2014. <<http://ecsocman.edu.ru/text/16214009/>> (дата обращения: 21.01.2014).

правительственных организаций и филантропических фондов, заинтересованных в реформировании российской экономики и сближении России с западными либеральными демократиями. В том числе и с целью поддержки реформы экономического образования и рыночно ориентированных экономических исследований был создан ряд грантовых программ (TACIS, TEMPUS, EERC — The Economics Education and Research Consortium), финансирующихся западными правительственными и частными фондами⁵⁴. При поддержке некоторых европейских и американских университетов были созданы совместные магистерские программы (МВА) и программы студенческого обмена. Российские университеты (МГУ, но также и региональные высшие школы) получали многочисленные гранты для повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей в зарубежных вузах. Наконец, при западной технической и финансовой поддержке возникли новые образовательные учреждения и исследовательские центры, ставшие основными поставщиками экспертного знания и кадров для нового российского правительства и корпоративного бизнеса. При этом значительно сократился спрос на академические работы и экспертный продукт экономистов, получивших образование в советское время и не адаптировавшихся к новой ситуации.

Таким образом, особенности политической востребованности и одновременно рыночного спроса на экономическое знание в 1990-е годы в России, подобно другим странам, способствовали изменениям соотношения сил в дисциплинарном пространстве: традиционные (советские) академические НИИ теряли престиж, финансирование и кадры в пользу сектора высшего образования, и в особенности — в пользу новых исследовательских институций (think tanks) и высших школ, располагавших ценным «международным» ресурсом.

Ограниченная интернационализация постсоветской экономики

Основным вектором постсоветской трансформации экономической науки была ее «интернационализация»: глобальная economics была принята в качестве ориентира и стандарта современного образования и научной практики. Но хотя механизмы этой трансформации в значительной степе-

⁵⁴ О важной роли западных доноров в трансформации российской экономической науки и высшего образования см.: *Ivanova N., Wyplosz C. Who Lost Russia in 1998? // Money Doctors: The Experience of International Financial Advising 1850–2000 / M. Flandreau (ed.). L.: Routledge, 2003; Suspitsyna T. Adaptation of Western Economics by Russian Universities: Intercultural Travel of an Academic Field. N.Y.: Routledge, 2005.*

ни напоминают случаи других стран, прошедших через неолиберальные реформы, особенность ситуации в российской экономике, возможно, определяется тем, что эти изменения носили более резкий характер. Во-первых, в России до этого фактически не было экономистов в общепринятом «западном» смысле слова, а теоретические основания и практики советских экономистов радикально отличались от глобализованного мейнстрима⁵⁵. Во-вторых, делегитимация советской экономической науки произошла одномоментно, в то время как в других странах (от Швеции до Аргентины) интернационализация носила, скорее, волнообразный характер и растянулась на десятилетия. Наконец, важно отметить, что в отличие от таких новых для нашей страны дисциплин, как политология или социология, экономические науки были широко представлены в советской университетской и академической системе. Комплекс экономических дисциплин, включавший политическую экономию социализма, отраслевые экономики, историю советской экономики и историю экономической мысли, статистику и сравнительно компактную математическую экономику, давал работу десяткам тысяч преподавателей и исследователей. А значит, институциональная и интеллектуальная рутина, связанная с массивным присутствием «старых» институций и кадров, ощущалась здесь особенно сильно⁵⁶.

Однако несмотря на усилия по трансформации, описанные выше, экономика в России — и как университетская дисциплина, и как область научных исследований, — не стала частью глобальной *economics*, в первую очередь в содержательном отношении. Западные исследователи переходной экономики отмечают, что для постсоветских дисциплинарных пространств характерен специфический теоретический эклектизм⁵⁷. Перенос западной

⁵⁵ О глубине произошедшего разрыва могут свидетельствовать следующие данные: согласно выборочному обследованию среди преподавателей экономических дисциплин, 16% представителей специальности «экономическая теория» заявили, что в их нынешней деятельности им не пригодилось ничего из предметов, преподававшихся им в студенческие годы (*Назарова И.Б.* Структура и мобильность преподавательских кадров).

⁵⁶ Важность размеров институциональной и персональной базы дисциплины к моменту трансформации и наличия большого числа кадров, вошедших в профессии при прежней системе, становится особенно заметной при сравнении России, например, с Германией, где после присоединения ГДР к ФРГ бывшие преподаватели политэкономики социализма были практически в полном составе заменены западногерманскими профессорами экономики, что обеспечило быструю интеграцию восточногерманских экономических факультетов в глобальную *economics*. Более подробно об интернационализации немецкой экономической науки см.: *Либман А.М.* Немецкая экономическая наука: механизмы трансформации // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 9. С. 129–149.

⁵⁷ См.: *Wagener H.-J.* Demand and Supply of Economic Knowledge in Transition Countries // Knowledge Base Social Science Eastern Europe. 2002. [Mannheim]: Leibniz-Institute for the So-

экономической теории и форм организации обучения на российскую почву сопровождался их реинтерпретацией и модификацией в соответствии с «локальными» схемами восприятия. Об относительной устойчивости интерпретативных схем свидетельствует сосуществование, или гибридизация, новых и традиционных элементов на уровне понятий, теории, исследовательских и образовательных программ. Как показала Т. Суспицына в своем исследовании адаптации западной *economics* в трех российских университетах, последние продолжают воспринимать западные теории и методы преподавания сквозь призму советской традиции, принимающей форму математической экономики в одних случаях, институционализма — в других⁵⁸. Ярким примером подобной гибридизации может служить новая программа по курсу «Политическая экономия», который был исключен из образовательного стандарта в 1994 г. и возвращен уже в 2000-е годы: вместо ссылок на марксизм-ленинизм в ней фигурирует западная проблематика «общественного выбора» и реформирования экономики, делается акцент на политических ограничениях рынка и важности национальных институтов. Наконец, в профессиональной литературе нередко обсуждается вопрос о правомерности выделения «русской экономической школы»⁵⁹ или даже о создании «национальной экономической теории»⁶⁰.

Формальные критерии интернационализации еще более красноречиво свидетельствуют о слабой интеграции российской экономической науки в глобализованное поле *economics*. Среди наиболее значимых показателей — удельный вес студентов, обучающихся за рубежом, а также иностранных

cial Sciences, GESIS, cop. 2014. <<http://www.gesis.org/knowledgebase/archive/economics/review1.html>> (дата обращения: 21.01.2014).

⁵⁸ *Suspitsyna T. Adaptation of Western Economics...* P. 110–111.

⁵⁹ См., например, специальный выпуск журнала «Вопросы экономики» (№ 2 за 2001 г.), содержащий подборку статей на тему «Русская экономическая школа в контексте мировой экономической мысли». Выпуск открывается статьей именитого советского экономиста, Леонида Абалкина, который пытается обосновать правомерность выделения российской экономической школы особенностями «русской цивилизации» (*Абалкин Л.И. Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения // Вопросы экономики. 2001. № 2. С. 5*).

⁶⁰ См., например: *Дзарасов С.С., Меньшиков С.М., Попов Г.Х. Судьба политической экономии и ее советские классики. М.: Альпина бизнес, 2004; публикации 2003–2004 гг. в «Российском экономическом журнале» и «Вопросах экономики» В. Кулькова, А. Бузгалина, А. Колганова и других авторов, посвященные «школе Цаголова» и советской традиции политической экономии в целом. Пафос этих публикаций направлен против неоклассической парадигмы, следование предписаниям которой, согласно этим авторам, привело к кризису и другим негативным результатам экономических реформ. Так, они призывают к созданию «новой национальной теории», опирающейся в большей степени на классиков российской и советской экономической мысли, чем на западную стандартную теорию.*

студентов, обучающихся в вузах данной страны; присутствие преподавателей и исследователей с зарубежной степенью; язык и аффилиация авторов, публикующихся в национальных журналах, а также публикации «местных» экономистов в ведущих изданиях на английском языке⁶¹.

Так, статистические данные по международной студенческой мобильности, собираемые в европейских и североамериканских странах, свидетельствуют о довольно низком уровне студенческой мобильности из Российской Федерации⁶². В отличие от некоторых других стран (в первую очередь Китая и других стран Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки) в России практически отсутствует система поддержки академической мобильности. Точно так же Россия не входит в число стран, привлекательных для зарубежных студентов в том, что касается экономических наук.

Подобно системе образования, российская система научной коммуникации по экономическим наукам также остается в большой степени национально ориентированной: подавляющее большинство научных журналов выходит на русском языке и публикует статьи авторов, аффилированных с российскими академическими институтами. Двухязычные или полностью англоязычные журналы по экономике и другим социальным наукам все еще остаются редкостью, как и публикации российских экономистов в зарубежных журналах.

Зарубежные публикации российских ученых в последние годы неоднократно становились предметом анализа, имевшего целью определить список «ведущих экономистов»⁶³ или же продемонстрировать неадекватность использования индексов цитирования для оценки российских обществоведов и гуманитариев⁶⁴. Но все они сходятся в том, что вклад российских

⁶¹ The Development of Economics in Western Europe Since 1945. P. 8.

⁶² Для обучения за рубежом выезжают лишь 0,3% от общего числа студентов, что намного ниже уровня других европейских стран (Статистические данные в области образования по странам ОЭСР, доступные на сайте организации: OECD.Stat Extracts [Paris]: OECD, cop. 2014. <<http://stats.oecd.org>> (дата обращения: 21.01.2014)).

⁶³ *Дежина И.Г., Дашкеев В.В.* Есть ли в России ведущие экономисты и кто они? // Научные труды Института экономики переходного периода. М.: ИЭПП, 2008. <<http://www.iet.ru/files/text/other/Econom.pdf>> (дата обращения: 21.01.2014); *Муравьев А.А.* О российской экономической науке сквозь призму публикаций российских ученых в отечественных и зарубежных журналах. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011. <http://mpr.ub.unimuenchen.de/30230/1/MPRA_paper_30230.pdf> (дата обращения: 21.01.2014).

⁶⁴ *Полетаев А.В.* Присутствие и отсутствие России в мировой экономической науке // Гуманитарные исследования (ИГИТИ ГУ ВШЭ). 2008. Вып. 5 (35); *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Публикации российских авторов в зарубежных журналах по общественным и гуманитарным дисциплинам в 1993–2008 гг.: количественные показатели и качественные характеристики // Там же. 2009. Вып. 2 (39).

экономистов в международную научную продукцию по экономическим наукам остается незаметным. Кроме того, массив зарубежных статей российских экономистов имеет специфическую структуру: существенная часть печатается либо в непрестижных журналах с низким импакт-фактором, либо в журналах, имеющих выраженную «региональную» тематику. Особенно бросается в глаза почти полное отсутствие статей российских авторов в ведущих журналах дисциплины. Это связано с тем, что публикация в престижных международных журналах сопряжена с преодолением специфических (а не только языковых) барьеров, которые оказываются непреодолимыми для большинства российских экономистов в силу их образования и профессиональной социализации. В содержательном плане большинство таких публикаций посвящено вопросам теории и методологии, отвечающим интересам мейнстримных (прежде всего американских) экономистов⁶⁵. Как было показано выше, в сравнении с другими социальными науками глобализованное поле *economics* отличается наличием формализованной ортодоксии с жестко определенными стандартами.

Наконец если принять в качестве формального показателя интернационализации академической профессии наличие преподавателей, имеющих зарубежную ученую степень⁶⁶, то интернационализированный сегмент российской экономической науки ограничивается всего несколькими институтами, лишь в двух из которых наем обладателей зарубежной степени по экономике носит систематический характер⁶⁷. Прежде всего, речь идет о Российской экономической школе (РЭШ), созданной в 1992 г. благодаря финансовой поддержке Фонда Джорджа Сороса, и о Московском институте экономики и финансов (МИЭФ), основанном в 1997 г. совместными усилиями Лондонской школы экономики и НИУ ВШЭ. РЭШ и МИЭФ делают ставку на привлечение преподавателей, имеющих зарубежную степень

⁶⁵ Kirtchik O. Limits and Strategies for the Internationalization of Russian Economic Science: Sociological Interpretation of Bibliometric Data // *Laboratorium: Russian Review of Social Research*. 2012. Vol. 4. No. 1. P. 19–44.

⁶⁶ Welch A.R. The Peripatetic Professor: The Internationalisation of the Academic Profession // *Higher Education*. Vol. 34. No. 3. P. 323–345.

⁶⁷ Практика найма преподавателей и сотрудников с зарубежной степенью вообще (а не только по экономике) остается крайне редкой среди российских научно-образовательных и академических организаций. Помимо РЭШ и НИУ ВШЭ следует упомянуть также ряд других новых институций: например, ЕУ СПб, Смольный институт свободных искусств и наук, РГГУ. При этом экономисты являются наиболее «видимой» группой среди сотрудников с зарубежной ученой степенью. (Этот анализ опирается на исследование академического рынка труда обладателей зарубежной ученой степени в России, проведенное автором осенью 2010 г. в рамках коллективного проекта, выполненного при финансовой поддержке ЦФИ НИУ ВШЭ.)

(в обоих институтах штат преподавателей почти полностью укомплектован обладателями зарубежной степени доктора наук). Среди институций, занимающихся подготовкой по направлению «экономика», именно их интеллектуальный профиль и профессиональные практики в максимальной степени ориентированы на транснациональное дисциплинарное пространство *economics*.

Типичная образовательно-профессиональная траектория экономистов РЭШ, основные этапы которой будут рассмотрены ниже, является разительный контраст в сравнении с наиболее распространенными карьерами преподавателей экономики в России, чаще всего работающими в тех же вузах, в которых они получили образование⁶⁸. В случае профессора РЭШ обучению по программе PhD в западном университете обычно предшествует получение диплома магистра или специалиста в престижном московском вузе, дающем сильную математическую подготовку (МГУ, МФТИ и др.), за которым следует обучение в магистратуре РЭШ или западного университета. Следующим шагом является получение степени PhD в престижном, чаще всего американском, университете (среди которых Гарвард, Массачусетский технологический институт, Пенсильванский университет и др.), реже — в британской или другой престижной европейской аспирантуре (например, в Тулузской школе экономики во Франции и др.). В нескольких случаях найму в РЭШ предшествовала работа в американском университете. Данная траектория представляет собой наиболее «чистый» тип университетской карьеры, ориентированной на исследовательскую деятельность по западной модели. В отличие от других вузов, основным критерием оценки качества работы сотрудников является наличие публикаций в зарубежных профессиональных журналах⁶⁹.

Таким образом, на сегодняшний день в России дисциплинарное пространство экономической науки характеризуется присутствием небольшого интернационализованного и значительно численно перевешивающего «национально ориентированного» сегментов, характеризующихся несхожими теоретическими установками и профессиональными стандартами, а в крайних случаях — различными определениями экономической науки. В наибольшей степени профессиональным и академическим стан-

⁶⁸ Сивак Е.В., Юдкевич М.М. Академический инбридинг: за и против // Вопросы образования. 2009. № 1. С. 170–188.

⁶⁹ Гурьев С.М. Преподавание экономики в России и на Западе, состояние и перспективы // Материалы форума «Преподаватель высшей школы: профессиональный потенциал, особенности занятости и трудовой мотивации» Опубликовано 15.03.04. [М.]: НИУ ВШЭ, ФПО Экономика. Социология. Менеджмент, сор. 2004–2014. <<http://ecsocman.edu.ru/db/msg/152235>> (дата обращения: 21.01.2014).

дартам глобализованной еsonomics соответствуют обладатели зарубежной (предпочтительно, американской) ученой степени, импортирующие в Россию интернациональный/«западный» концептуальный и методологический аппарат, а также модели образования, карьеры и научного признания. Однако эффект от их присутствия оказывается объективно ограниченным в силу наличия обширного внутреннего рынка образовательных услуг и научных публикаций, обладающего определенной автономией по отношению к глобализованной экономической науке.

* * *

Глобализованное поле еsonomics распространяется поверх границ государств, вбирая в себя почти без остатка национальные поля англоязычных держав (США, Великобритании, Канады, Австралии) и некоторых других стран (например, Израиля, североевропейских стран), а также интернационализированные сегменты прочих национальных академических сообществ. Последние включают в себя институты, эксплицитно ориентированные на «международные стандарты» в экономическом образовании и на интернациональную систему академического признания (международные публикации, рейтинги и другие формы оценки). При этом процесс академической глобализации не столько выравнивает позиции разных стран, сколько усиливает доминирование английского языка и ведущих американских институций. Глобализованное поле еsonomics имеет жесткую иерархическую структуру, и его распространение в национальных полях меняет локальные иерархии и критерии успешности.

На сегодняшний день можно говорить о сложившихся международных рынках высшего образования и научных публикаций в сфере экономики и бизнеса, оказывающих все более сильное давление на национальные системы производства знания. Главным путем экспансии экономического мейнстрима в периферийные дисциплинарные пространства и, соответственно, наиболее эффективной стратегией интернационализации стали PhD-программы американских университетов, привлекающие большое число иностранных студентов. Обладатели американской степени доктора экономики, часть которых рекрутируется университетами США, насыщают внутренний рынок экономической экспертизы в разных странах и являются наиболее эффективными проводниками транснационального мейнстрима в национальных академических пространствах.

Между тем различные национальные поля вовлекаются в процесс глобализации экономической науки неодновременно и с разной степенью интенсивности. Так, Россия являет пример страны, где «национально ориентированный» сегмент все еще составляет подавляющую часть дисциплинарного сообщества в силу более позднего в сравнении с другими странами и более

резкого слома предшествующего дисциплинарного порядка, из-за наличия развитого внутреннего рынка экономического образования и научной коммуникации, и наконец, из-за ограниченного эффекта политики, поощряющей мобильность и другие формы интернационализации.

Несмотря на это российская экономическая наука не может игнорировать существование глобализованного мейнстрима. Во всех странах, где были проанализированы процессы интернационализации экономической дисциплины, указанная трансформация совпадала с «неолиберальным моментом» в политике этих государств. В силу того что процесс глобализации экономической науки не является политически нейтральным, а сопровождает распространение определенных идей в сфере экономической политики, обладающие «международным» научным капиталом экономисты приобретают способность привлекать финансовые и политические ресурсы, усиливающие их позиции в академическом поле. Позиции этих экономистов усиливают также новейшие тренды в научной политике, ассоциирующей высокое качество исследований (*excellence*) с уровнем интернационализации.

При этом «остальные» экономисты во всех странах, в той или иной мере вовлеченные в процесс глобализации экономической науки, постепенно перестают восприниматься в качестве представителей «серьезной» науки. Данная ситуация порождает структурный конфликт, несводимый к идеологическим или поколенческим факторам, между разными институциональными группами экономистов (то же, с разными существенными оговорками, можно отнести и к процессам в других общественных науках). Затрагивая разные регионы мира в неравной степени, глобализация тем не менее порождает очень похожие конфликты в неанглоговорящих странах Европы, Восточной Европы, Латинской Америки и в других регионах. Но особенно сильно указанные напряжения ощущаются в развивающихся и переходных странах, в большей степени подверженных внешнему интеллектуальному и экономическому влиянию и сравнительно поздно подключившихся к процессу интернационализации.

Таким образом, глобализация экономического знания становится значимым структурным фактором, который чаще всего оказывается вне поля зрения традиционной истории этой дисциплины или принимается как экзогенный фактор, не требующий всестороннего осмысления. Острая конфликтность, гетерогенность, эклектичность используемых экономической наукой в России понятий и концепций, кажущаяся аномальной в сравнении с высоко унифицированным корпусом американской экономики, является следствием интервенции глобализованной науки в локальное дисциплинарное пространство. В этой перспективе вопрос о «сопротивлении *economics*» в России может быть переформулирован в терминах влияния нового гло-

бализованного контекста производства знания на переопределение границ дисциплин на постсоветском пространстве. Иначе говоря, учет автономной логики интернационализации как принципа трансформации дисциплин может помочь преодолеть идеологические определения внутренних конфликтов «архаистов»/«новаторов», «туземцев»/«колонизаторов» и т.д. и продвинуться в понимании дисциплинарной динамики в условиях глобализации академических полей.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРИНЦИП И АНАЛИТИКА «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ»*

Социология знания (и социология науки, как прямо с ней связанная область исследований) за прошедший век претерпела ряд радикальных перемен, где главным вектором стал переход от конструирования обобщенных схем социокультурной динамики и структурного описания академических организаций и сообществ к более нюансированной и одновременно теоретически насыщенной историко-социологической рефлексии научных знаний и практик¹.

В этом тексте мы рассмотрим, как эволюционировали социологические трактовки дисциплинарного устройства науки, начиная с 1960-х годов (включая предысторию 1930–1940-х годов) и вплоть до настоящего времени². При этом нужно с самого начала оговорить, что эта тема не «покрывается» целиком социологией науки, хотя именно она традиционно задает главные модусы социального описания академической деятельности и ее дисциплинарного устройства. Как будет показано ниже, эти вопросы наиболее полно могут быть освещены в комплексном взаимодействии социологии образования, социальной истории науки, антропологии науки, а также науковедения (*science studies*) как особой исследовательской области.

Уже ранние исследования феномена дисциплинарности обозначили базовые особенности социологического подхода к его изучению. Мыслить дисциплинарность социологически означало понимать ее как социальный механизм, формируемый группами и сообществами в определенных социальных, культурных и политических условиях. Изначально анализ дисциплинарного деления не мыслился социологами науки как нечто самосто-

* Авторы выражают признательность И.М. Савельевой и О.И. Кирчик за содержательные и конструктивные замечания, высказанные при подготовке текста.

¹ См. детальное и критическое описание: *Zammito J.H. What's "New" in the Sociology of Knowledge? // Handbook of the Philosophy of Science: Philosophy of Anthropology and Sociology / S. Turner, M. Risjord (eds). Amsterdam: Elsevier, 2007. P. 791–857.*

² См. в качестве образца краткий, но содержательный очерк исторической рефлексии дисциплинарности в изучении эволюции наук о человеке, начиная с 1960-х годов, в недавней публикации Сьюзан Маршан: *Marchand S. Has the History of the Disciplines Had Its Day? // Rethinking Modern Intellectual History / D. McMahon, S. Moyn (eds). Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 131–152.*

ятельное и самоценное. Исследования дисциплинарности в большинстве случаев рассматривались их авторами как ключ к пониманию более общих вопросов — логики и практики конституирования, организации и функционирования науки в целом. При этом сама наука осмыслялась аналитиками как социальный феномен (что разделяли, например, далеко не все историки науки). На уровне концепций и конкретных исследований подобная социальная ориентированность означала приоритетное внимание к институциональной и административной организации науки — значимым контекстам, структурам, сообществам, регулирующим механизмам.

Приоритетной для Роберта Мёртона, который справедливо рассматривается как один из «отцов-основателей» социологии науки³, и для многих его коллег, позднее безоговорочно признавших значимость его работ, стала проблематика мотивации и этоса академического труда в прошлом и настоящем, а не истоки его разделения и специализации⁴. В историографии науки первой половины XX столетия обычно выделяют два важнейших подхода — интерналистский (сосредоточенный на имманентном анализе и влиянии философских концепций на формулировку научных положений) и экстерналистский (для которого главным было социальное, «внешнее» видение научной эволюции). Однако декларации об общественной детерминированности науки в рамках экстерналистского подхода так и не стали основой глубокого и детального анализа социального устройства академического поля применительно к прошлому. Появление статей по социологии механистического мировоззрения раннего Нового времени у авторов из Франкфуртского института социальных исследований, Франца Боркенау или Генрика Гроссмана (середины 1930-х годов), а также публикации философа-эмигранта Эдгара Цильзеля⁵ тоже не сделали науку и ее историю приоритетной для «мейнстримных» социологических исследований в 1930–

³ Речь идет о докторской диссертации Мёртона «Наука, технология и общество в Англии XVII века» (1938). О контекстах его раннего творчества см.: *Nichols L. Merton as Harvard Sociologist: Engagement, Thematic Continuities and Institutional Linkages // Journal of the Behavioral Sciences*. 2010. Winter. Vol. 46. No. 1. P. 72–95.

⁴ См. его итоговый труд, куда вошли работы разных лет: *Merton R.K. The Sociology of Science*. Chicago: The University of Chicago Press, 1973. О Мёртоне как социологе науки существует большая литература; укажем лишь недавнюю книгу: *Robert K. Merton: Sociological Theory and the Sociology of Science / C. Calhoun (ed.)*. N.Y.: Columbia University Press, 2010, и специальный выпуск петербургского журнала «Социология науки и технологий» (2011. № 2).

⁵ *Дмитриев А.Н.* Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа в 1920–1930-х гг. М.; СПб.: Летний сад; ЕУСПБ, 2004. С. 374–376; *Zilsel E. The Sociological Roots of Science // American Journal of Sociology*. Vol. XLVII. 1942. P. 544–562 (недавно перепечатано в кн.: *Zilsel E. The Social Origins of Modern Science / D. Raven, W. Krohn, R.S. Cohen (eds)*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000).

1950-е годы⁶. Постоянный и массовый интерес к исследованию разных научных дисциплин возник в социологии скорее уже в 1960-х и представлял собой реакцию на «внешний вызов»⁷ — работы Томаса Куна «Структура научных революций» (1962) и Дерека де Солла Прайса «Малая наука, большая наука» (1963). Важной чертой предложенного Куном подхода, помимо известной парадигмальной модели эволюции научного знания, был акцент на сообществах как важнейших факторах развития науки⁸. Именно этот акцент был понятен и близок социологам, не только рассматривавшим сообщества как один из ключевых элементов социальной организации, но и накопившим значительный опыт их эмпирического исследования.

Именно эмпирическая ориентированность исследований, их направленность на верификацию гипотез о принципах специализации научного знания образует выраженную специфику социологического подхода 1960-х. Это отличие декларируется самими исследователями, стремившимися перейти от абстрактных теоретизаций в стиле Томаса Куна к описанию сложившейся ситуации. Проявившийся интерес к дисциплинарному делению неслучаен. Большинство аналитиков того времени рассматривает дисциплины как относительно самостоятельные образования, структурирующие академическую жизнь⁹. Подобный подход закрепляет «натурализованное», не-конструктивистское представление о дисциплинах как о стабильных механизмах регуляции научной жизни и структурах, задающих коллективные и индивидуальные траектории. Периодические напоминания о «производности» дисциплинарности от состояния академических сообществ и структур оказываются скорее декларациями, чем устойчивыми аналитическими установками.

1. Наука как система знаний и способ организации академических сообществ

Норман Сторер — один из первых исследователей, попытавшихся во второй половине 1960-х годов эмпирически зафиксировать связь между

⁶ Причиной могла быть и явная марксистская ангажированность экстерналистского мировоззрения: *Shapin S. Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen through the Externalism-Internalism Debate // History of Science. Vol. 30. 1992. P. 333–369.*

⁷ *Crane D. How Scientists Communicate — a Citation Classic Commentary on Invisible-Colleges — Diffusion of Knowledge in Scientific Communities. 1989. P. 18. <<http://garfield.library.upenn.edu/classics1989/A1989AU43700001.pdf>>.*

⁸ См.: *Jacobs S., Mooney B. Sociology as a Source of Serious Anomaly in Thomas Kuhn's System of Science // Philosophy of the Social Sciences. 1997. Vol. 27. No. 4. P. 466–485.*

⁹ См., например: *The Sociology of Science / B. Barber, W. Hirsch (eds). N.Y.: The Free Press, 1962; Cole S., Cole J.R. Social Stratification in Science. Chicago: University of Chicago Press, 1973.*

дисциплинарным делением и особенностями академического взаимодействия. Анализировать науку социологически, в версии Сторера, означало задействовать двойную перспективу — рассматривать ее и как систему знаний, и как способ организации жизни и взаимодействия академических сообществ. Предполагалось, что обе составляющие подхода не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены: особенности производимого знания оказывают влияние на характер отношений в академических сообществах, а способ организации сообществ производит атмосферу или настроение, влияющие на производство знаний. Однако в реальности Сторера интересовал лишь первый сюжет — влияние дисциплинарности на жизнь академических сообществ.

Для характеристики систем знаний в текстах, опубликованных в 1967 и 1972 гг., Сторер использовал дихотомию «мягкие — жесткие»¹⁰. Основным критерием деления научных областей (или дисциплин) для него выступала степень их внутренней согласованности — наличие четких конвенций производства знания. Предполагалось, что в жестких дисциплинах такие конвенции эксплицированы и в значительной мере разделяются сообществами, а в мягких — намечены абрисно, по их поводу не существует устойчивого согласия. Внятность и согласованность конвенций не является для Сторера декларацией или метафорой. Эти характеристики могут быть операционализованы, а значит и измерены. Индикаторами внятности и согласованности становятся: во-первых, использование стандартного максимально объективированного (в основном математического) языка представления результатов исследования и соответственно академической коммуникации, во-вторых, обезличенность академических текстов¹¹. Введение унифицированных стандартов производства знаний и способов их оценки виделось как крайне важный механизм консолидации, позволяющий удерживать вместе «слишком человеческие» академические сообщества, нередко действующие в логике дара. Это задавало явный приоритет жестких («настоящих», естественно-научных) дисциплин относительно мягких (социальных или гуманитарных).

Сторер поддерживал идею Уоррена Хагстрема¹² об особой рациональности академической работы, согласно которой она выступала не только

¹⁰ Storer N.W. The Hard Sciences and the Soft: Some Sociological Observations // Bulletin of the Medical Library Association. 1967. Vol. 55. P. 75–84; *Idem*. Relations among Scientific Disciplines // Social Contexts of Research / S.Z. Nagi, R.G. Corwin (eds). N.Y.: Wiley, 1972. P. 229–268.

¹¹ Интересно, что степень обезличенности академических текстов, с точки зрения Сторера, проявляется в способах цитирования: так, упоминание имени автора наряду с фамилией рассматривается им как более лично вовлеченный стиль академического письма, отражающий и одновременно формирующий более плотные отношения в академическом сообществе.

¹² См.: Hagstrom W.O. The Scientific Community. N.Y.: Basic Books, 1965.

и не столько способом достижения экономических выгод или получения другого рода бонусов (карьерного продвижения и т.п.), сколько крайне персонифицированным обменом дарами — результатами исследований. Согласно этой логике, академическое сообщество само признает и оценивает представляемые результаты работы. Именно признание сообщества становится основной единицей академического обмена. В ситуации столь сильной зависимости научной жизни от реакции сообществ и отношений объективированные дисциплинарные конвенции виделись эффективным способом интеграции, поддержания хоть и зыбкой, но целостности.

Появившись в конце 1960-х годов, работы Сторера какое-то время оставались практически незамеченными за пределами довольно узкого поля социологии науки¹³, поэтому сложно говорить о прямой преемственности или об особом влиянии высказанных в них идей на направление научного поиска в исследованиях дисциплинарности в 1970-х.

Именно в это время ряд авторов ставит под сомнение достаточно очевидную для Сторера и других исследователей мысль о производстве дисциплинарного деления преимущественно/исключительно в рамках исследовательской работы. В своих текстах они демонстрируют множественность социальных арен и соответствующих им механизмов производства дисциплинарности, хотя и не вполне четко артикулируют важность совершаемого ими аналитического поворота. Сначала Хэрриет Заккерман и Роберт Мёртон¹⁴ обращают внимание на научные журналы как механизмы поддержания и артикуляции дисциплинарных конвенций и консенсуса относительно «теорий, методологии, техник и проблематики исследования» (Кун). Они же отмечают связь «жесткости» и «мягкости» дисциплины (или степени дисциплинарного консенсуса) и практик отказов в принятии рукописей к публикации. Почти одновременно с ними Джэнис Лодал и Джералд Гордон¹⁵ расширяют пространство производства дисциплинарности, включая в него наряду с исследовательской деятельностью и преподавание — вид деятельности и социальную арену, которая со временем будет идентифицирована как безусловное основание и главная движущая

¹³ См.: *Braxton J.M., Hargens L.L. Variations among Academic Disciplines: Analytical Frameworks and Research // Higher Education: Handbook of Theory and Research. Vol. 11. N.Y.: Agathon Press, 1996. P. 3.*

¹⁴ *Zuckerman H., Merton R.K. Patterns of Evaluation in Science: Institutionalization, Structure and Functions of the Referee System // Minerva. 1971. Vol. 9. No. 1. P. 66–100; Idem. Age, Aging, and Age Structure in Science // A Theory of Age Stratification / M.W. Riley, M. Johnson, A. Foner (eds). Vol. 3. Of Aging and Society. N.Y.: Russell Sage Foundation, 1972. P. 292–356.*

¹⁵ *Lodahl J.B., Gordon G. The Structure of the Scientific Fields and the Functioning of University Graduate Departments // American Sociological Review. 1972. Vol. 37. P. 57–72.*

сила дисциплинарного деления (во всяком случае, для американского академического сообщества). Особый интерес в 1970-е годы вызывали сюжеты распределения статусов и соотношения неформальных и формальных иерархий в разных дисциплинах — в том числе через формальные показатели (от объемов цитирования до наград, премий специализированных ассоциаций и т.д.).

Связь дисциплинарного деления с преподаванием — отправная точка рассуждений Энтони Биглана в двух известных публикациях начала 1970-х годов. Однако для него важна не констатация связи высшего образования и дисциплинарности, закрепившаяся в административном делении американских университетов по принципу «один факультет — одна дисциплина»¹⁶, и не рассмотрение университетов как социальных оснований дисциплинарности. Его интересует более детальный вопрос — в чем именно заключается дисциплинарное деление и каким образом оно определяет (если определяет вообще) различия организационной структуры и академические практики ученых. Логика и специфика дисциплинарного деления не являются априорными категориями, они устанавливаются Бигланом в ходе эмпирического исследования. С помощью опроса и последующего многомерного шкалирования он определяет основания дисциплинарного деления, существующие в представлениях университетских сотрудников. Всего обнаруживаются три устойчивых смысловых вектора, позволяющих классифицировать дисциплины: «мягкие — жесткие», «прикладные — фундаментальные», «науки о живой и неживой природе». Основанием деления в первом случае выступает уже упоминавшийся дисциплинарный консенсус — наличие разделяемой парадигмы, определяющей теоретические рамки, методы и направления исследования, во втором — возможность практического применения результатов исследования, в третьем — его тематический фокус¹⁷.

Дисциплинарное деление, согласно результатам Биглана, — структура, объективирующаяся в способах организации академической и социальной жизни ученых, вызывающая к жизни особые практики и взаимодействия. В частности, дисциплинарная принадлежность определяет типы взаимодействия, соотношение исследовательской и преподавательской деятельности, типы и частоту публикаций. Так, постоянное сотрудничество, командная работа, соавторство гораздо чаще и в больших масштабах встречаются в «жестких» дисциплинах. Представители последних, в отличие от своих коллег в «мягких» дисциплинах, гораздо больше заинтересованы в иссле-

¹⁶ Biglan A. The Characteristics of Subject Matter in Different Academic Areas // Journal of Applied Psychology. 1973. Vol. 57. No. 3. P. 195.

¹⁷ Ibid. P. 195–203.

довательской работе и гораздо меньше в преподавании, они реже издают монографии и чаще публикуют статьи в академических журналах¹⁸. Эти идеи Биглана неоднократно вызывали споры в специальной социологической литературе по проблематике высшего образования¹⁹.

В 1960–1970-е годы именно социология как гуманитарная дисциплина чаще всего привлекалась исследователями (например, Н. Маллинзом или С. Коулом) для сравнительного анализа устройства «субполей» и микрогрупп, цитатного поведения, взаимоотношения ядра и фронта в «мягких» дисциплинах и естественных науках. При этом последние выступали не равноправным с другими науками объектом анализа, а эталоном научной организации²⁰. Прошлое развитие исторической науки, классических дисциплин или филологии в их динамике не рассматривались как заслуживающий внимания социолога предмет описания рядом с современной и динамичной жизнью департаментов физики, генетики или хотя бы политологии. Социологические исследования на сравнительно-историческом материале (как у израильского социолога Джозефа Бен-Дэвида²¹, например) оставались заметными исключениями, но никак не правилом.

Известная исследовательница антропологии научного производства («manufacturing»), Карин Кнорр-Цетина, достаточно беспелляционно утверждает, что вскоре после своего появления социология науки превратилась в социологию академических сообществ²². Данная траектория во многом обозначилась благодаря работам последователей Роберта Мёртона, сосредоточенных на анализе социальной организации академической жизни. Хотя и здесь можно говорить о тематических предпочтениях, в частности, — об исследовании академических иерархий, их социальных основа-

¹⁸ См.: *Biglan A. Relationships between Subject Matter Characteristics and the Structure and Output of University Departments // Journal of Applied Psychology. 1973. Vol. 57. No. 3. P. 204–213.*

¹⁹ См., например: *Schommer-Akins M., Duell O.K., Barker S. Epistemological Beliefs across Domains Using Biglan's Classification of Academic Disciplines // Research in Higher Education. 2003. Vol. 44. No. 3. P. 347–366.*

²⁰ *Cole S. The Hierarchy of the Sciences? // American Journal of Sociology. 1983. Vol. 89. No. 1. P. 111–139.*

²¹ *Ben-David J., Zloczower A. Universities and Academic Systems in Modern Societies // European Journal of Sociology. 1962. Vol. 3. P. 45–84; Бен-Дэвид Д. Роль ученого в обществе [1971] / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014; Бен-Дэвид Д., Коллинз Р. Социальные факторы при возникновении новой науки: случай психологии [1966] // Логос. 2002. № 5–6. С. 79–103.*

²² *Knorr-Cetina K. Scientific Communities or Transepistemic Arenas of Research. A Critique of Quasi-Economic Models of Science // Social Studies of Science. 1982. Vol. 12. No. 1. P. 102.*

ний и эффектов. У большинства исследователей анализ сосредоточивался на современных проблемах и эмпирическом изучении частных сюжетов, отдельных кейсов и исследовательских областей. Глубокий и масштабный, обогащенный антропологическими подходами, анализ иерархий в науке и соотношений истеблишмента и аутсайдеров, как у позднего Норберта Элиаса²³, оставался редкостью.

Ричард Уитли в своей работе 1976 г. «Зонтичные и политеистские дисциплины и их элиты» проблематизирует роль дисциплинарных элит в обозначении и поддержании границ научного поля²⁴. Дисциплинарное деление важно для Уитли не только как механизм, обеспечивающий внутреннюю организацию и консолидацию научного знания, но и как связка науки с более широким социальным окружением. Поддерживаемые университетскими департаментами и другими структурами, дисциплины осуществляют важные социальные функции — создают рынок труда и обеспечивают аккумуляцию и распределение ресурсов. Особую роль в этой связке дисциплин с внешним миром играют дисциплинарные элиты, выступающие в роли институциональных посредников. Они модернируют взаимодействие академического сообщества и социального окружения, «транслируют научным сообществам институциональные требования, сообщают об изменениях условий исследовательской деятельности и одновременно облачают изменения в исследовательской работе в некоторую институциональную форму»²⁵.

Увлеченность социологов науки исследованиями научных сообществ неоднократно подвергалась критике. В частности, Карин Кнорр-Цетина отмечала, что рассмотрение сообществ в качестве ключевого элемента научной организации необоснованно. Точнее, оно вполне допустимо как результат исследования, но не как исходная аналитическая посылка. Кнорр-Цетина вводит понятие трансэпистемических арен (*transepistemic arenas*) — социальных сетей, возникающих в ходе научной деятельности и находящихся как в рамках дисциплины, так и за ее пределами²⁶. Эта сеть образована различными агентами (коллегами, издателями, поставщиками необходимых материалов, заказчиками и многими другими), благодаря взаимодействию с которыми осуществляется научная работа. Именно это

²³ *Elias N. Scientific Establishments // Scientific Establishments and Hierarchies / N. Elias, H. Martins, R. Whitley (eds). Dordrecht: Reidel, 1982. P. 3–69.*

²⁴ *Whitley R. Umbrella and Polytheistic Scientific Disciplines and Their Elites // Social Studies of Science. 1976. Vol. 6. No. 3/4. P. 471–497.*

²⁵ *Ibid. P. 494.*

²⁶ *Knorr-Cetina K. Scientific Communities or Transepistemic... P. 101–130.*

разнообразии взаимодействующих агентов, а не искусственно выделенные исследователями академические сообщества является, по мнению Кнорр-Цетины, генераторами научной деятельности. При всем различии подходов и Уитли, и Кнорр-Цетина указывают на необходимость преодоления аналитического изоляционизма дисциплинарных исследований, включения дисциплин в более широкие социальные контексты. Важным достижением социологии науки конца 1960-х годов стало широкое распространение тезиса Дерека де Солла Прайса и Дайаны Крейн о функционировании «невидимых колледжей»²⁷ в институциональных структурах организованной науки. Одним из важнейших показателей существования и важности плюралистичных и неформальных исследовательских групп внутри «больших» дисциплинарных модулей стали наукометрические показатели (которые стали изучаться вслед за пионерскими исследованиями Юджина Гарфилда)²⁸.

2. От дисциплинарной «автономии» к социальным контекстам производства и поддержания дисциплинарности

Уже в 1970-е годы происходит значимый поворот в изучении дисциплинарности. Сохраняя социологический вектор изучения науки, исследователи предпринимают попытку выйти за пределы отчетливо обозначившейся аналитической колеи — превращения социологии науки в исследования *только* научных сообществ и логик их организации. Побочным эффектом подобных аналитических приоритетов становится аналитически сконструированная автономия научного знания: интересы исследователей нередко ограничивались изучением внутренних структур, позволяющих производить и поддерживать дисциплинарные поля, а более широкие социальные контексты оставались вне сферы рассмотрения.

Понятия и требования «междисциплинарности» начинали все более активно проникать в дискурс науковедов с середины 1960-х годов. К этим дебатам подключались и сами практикующие ученые, недовольные слишком жесткими рамками исследовательской работы²⁹. Среди участников

²⁷ Crane D. *Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities*. Chicago: University of Chicago Press, 1972.

²⁸ См. оперативно опубликованные в СССР еще в середине 1970-х годов переводы: Крейн Д. Социальная структура группы ученых: проверка гипотезы о «невидимом колледже» // Коммуникация в современной науке. М.: Наука, 1976. С. 183–218; [Сола] Прайс Д.Дж., Бивер Д. Сотрудничество в «невидимом колледже» // Там же. С. 335–350.

²⁹ См. известный очерк психолога и основоположника «эволюционной эпистемологии», Дональда Кэмпбелла: *Campbell D.T. Ethnocentrism of Disciplines and the Fish-Scale Model of Omniscience // Interdisciplinary Relationships in the Social Sciences / M. Sherif, C.W. Sherif (eds)*. Chicago: Aldine Press, 1969. P. 328–348.

представительной конференции по этой проблематике, собравшихся под патронажем Организации по экономическому сотрудничеству и развитию в 1970 г. в Ницце, и авторов вскоре вышедшего сборника были британский историк Аза Бриггс и швейцарский психолог Жан Пиаже. Именно там и были впервые введены в оборот ставшие затем стандартными определения меж-, поли- и трансдисциплинарности³⁰. Как ретроспективно отмечал уже в XXI в. видный американский социолог и историк науки Саймон Шеффер, на распространение идей междисциплинарности в академической сфере в очень большой степени повлияли импульсы обновления, связанные с протестными студенческими движениями 1968 г.³¹

Авторы сборника «Перспективы рассмотрения возникновения научных дисциплин» под редакцией социологов и историков Жерара Лемана, Роя Маклеода, Майкла Малкея и Питера Вейнгарта (1976)³² предлагали компромисс традиционных и новых тематических фокусов. В центре внимания авторов — влияние социальной организации науки и значимых внешних контекстов на дисциплинарные изменения. Особый интерес для исследователей представляет появление новых предметных полей или заметные мутации уже существующих (генетики, радиоастрономии, физической химии). Внимание к дисциплинам, находящимся в процессе становления, меняет ряд базовых представлений об устройстве дисциплинарных полей. Во-первых, подчеркивается особая значимость и активность самих ученых в процессе формирования оснований дисциплинарности. Во-вторых, дисциплинарные границы рассматриваются как гибкие, формируемые агентами в процессе их перемещений, связанных с открытием новых тематических приоритетов. «Исследователи обычно перемещаются в сферы, определяемые ими как наиболее интересные или перспективные, лишь немногие сохраняют верность полю, после того как тематические приоритеты давно поменялись»³³. В-третьих, подчеркивается важность внешних структур — государства, крупного бизнеса — для развития дисциплинарности. Такое влияние может быть опосредованным и осуществляться через ближайшее институциональное окружение, например университет. Так, при сокращении государственного финансирования решения о внутреннем

³⁰ См.: *Jantsch E. Toward Interdisciplinary and Transdisciplinarity in Education and Innovation // Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities / L. Apostel et al. (eds). P.: Center for Educational Research and Innovation, OECD, 1972. P. 97–121.*

³¹ *Schaffer S. How Disciplines Look // Interdisciplinarity. Reconfigurations of the Social and Natural Sciences / A. Barry, G. Born (eds). L.: Routledge, 2013. P. 60–61.*

³² *Perspectives on the Emergence of Scientific Disciplines / G. Lemaine et al. (eds). Illinois: Aldine Publishing Company, 1976.*

³³ *Ibid.* P. 7.

распределении финансов, а значит и о поддержке департаментов (дисциплин), принимаются университетом самостоятельно. Но влияние бизнеса или государства может быть прямым и осуществляться посредством заказов на исследования, ведущих к созданию явных дисциплинарных приоритетов. Типичным примером последнего во многих социологических текстах выступают военные заказы времен Холодной войны, обусловившие стремительный рост ряда научных областей, например ядерной физики. Исследования конца 1970-х продолжали изучение дисциплинарности скорее в модусе «завершенного времени», через призму нарастающего взаимодействия различных областей знания³⁴. Структурные особенности прошлого дисциплинарного развития были тогда приоритетом изучения, скорее, для историков образования, чем для социологов науки (особенно выделим цикл статей Р.С. Тёрнера³⁵).

Еще одна попытка рассмотреть дисциплинарность в более широком социальном контексте предпринимается Пьером Бурдьё в книге «Homo Academicus»³⁶, опубликованной в 1984 г. Бурдьё продолжает аналитическую линию, намеченную им еще в «Наследниках...»³⁷, и рассматривает академическую сферу как частный случай действия универсальных социальных механизмов: конкуренции, социальной дифференциации и др. Результаты эмпирического исследования, на которые ссылается Бурдьё, свидетельствуют, что современные французские университеты — вовсе не социальные лифты, позволяющие «способному индивиду» изменить свое положение, а арены демонстрации социального неравенства. Принадлежность к академии увеличивает культурный капитал у выходцев из среднего класса (уже предуготовленных происхождением для подобной карьеры), усиливая социальную дистанцию ученых и внося существенную лепту в укрепление существующего социального неравенства.

Но Бурдьё обращался не только к анализу носителей знания, но и к его содержанию, а также к культурному контексту становления тех или иных дисциплин. Так, выделение филологии как самостоятельной инстанции,

³⁴ См. часто цитируемую статью: *Swoboda W. Disciplines and Interdisciplinarity: A Historical Perspective // Interdisciplinarity and Higher Education / J.J. Kockelmans (ed.). University Park: Pennsylvania State University Press, 1979. P. 49–92.*

³⁵ *Turner S.R. The Growth of Professorial Research in Prussia, 1818–1848 // Historical Studies in the Physical Sciences. 1971. Vol. 3. P. 137–182; Idem. The Prussian Universities and the Concept of Research // Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Deutschen Literatur. Bd. 5. 1980. S. 68–93.*

³⁶ *Bourdieu P. Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press, 1988.*

³⁷ *Bourdieu P., Passeron J.C. The Inheritors: French Students and Their Relation to Culture. Chicago: Chicago University Press, 1979.*

обеспечивающей *внутренний* характер механизма легитимации/иллеги-тимации литературных произведений, является фрагментом и необходи-мой составной частью «автономизации поля литературы». В общем виде у Бурдьё теоретическое «самообеспечение» автономизирующихся полей представлено следующим образом: «Процесс дифференциации сфер че-ловеческой деятельности, который сопутствует развитию капитализма, и, в частности, конструирование универсумов, обретших относительную независимость и управляемых по собственным законам, создает условия, благоприятные для построения “чистых” теорий (в экономике, политике, праве, искусстве и т.д.)»³⁸. Озабоченность такой очищенностью — на-пример, от исторических случайностей или прямых силовых воздействий — на уровне сложных познавательных конструкций воспроизводит исходную абстракцию, в производстве которой уже задействованы специфические социальные факторы и источники разделений «высших» и «подчиненных» порядков. Предлагая построить «социологию чистой теории», в качестве объектов приложения в примечании к данному тезису Бурдьё указывает лингвистику Соссюра, правоведение Кельзена, политэкономия Вальраса и формалистскую теорию искусства Вельфлина. Ученики и соратники Бурдьё в 1970–1990-е годы выпустили ряд содержательных социологических исследований, посвященных эволюции тех или иных гуманитарных дисциплин, в основном философии, а также социальной истории университетов (Ж.-Л. Фабиани, Л. Пэнто, К. Шарль).

Вместе с тем, согласно Бурдьё, автономия отдельных дисциплинарных полей не является абсолютной, она всегда более или менее относительна. Значимость и место той или иной отрасли знания в общей системе современных наук диктуется сложной совокупностью факторов, в основе кото-рых лежат культурные традиции, административно-научные притязания, соотношение соответствующих капиталов и особая роль государства как спонсора и заказчика многих социально-научных исследований.

Но мейнстрим стандартной социологии научных организаций в 1990-е го-ды составили, скорее, работы Ричарда Уитли³⁹, а также Майкла Гиббонса и его группы исследователей, в состав которой входили Хельга Новотны, Пи-тер Скотт и др.⁴⁰ Уитли и «группа Гиббонса» едины в своем стремлении рас-ширить понимание дисциплинарности. Дисциплинарное деление для них

³⁸ Бурдьё П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1–2. С. 50.

³⁹ Whitley R. The Intellectual and Social Organization of the Sciences. 2nd ed. Oxford, N.Y.: Univer- sity of Oxford Press, 2000.

⁴⁰ Gibbons M. et al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. L.: Sage, 1994.

не что иное, как производная от постоянно меняющейся общей системы отношений науки с наиболее влиятельными общественными институтами и группами. По мнению Гиббонса и его соавторов, во второй половине XX в. окончательно меняется система научного производства: происходит переход от знания, основанного на дисциплинарном делении (способ 1), к знанию, основанному на применении результатов (способ 2). До второй половины XX в. прагматическая ориентированность научного знания не считается строго обязательной. Знание производится постоянными научными коллективами в рамках устойчивых структур, в основном университетов. Именно университеты долгое время являются социальной основой дисциплинарного деления. Они обеспечивают устойчивость и управляемость конкретных областей знания стабильными и долговременными единицами административного управления (факультетами, кафедрами, лабораториями), заодно производя и дисциплинарные границы. Высокая автономия научного поля, таким образом, поддерживается внутренними административными структурами. Автономия научного поля выступает благодатной почвой появления и расцвета дисциплинарных элит. В их руках сосредотачиваются механизмы дисциплинарного управления — принятие решений о приоритетных исследовательских направлениях, а также их финансовой поддержке.

Однако как отмечают авторы тезиса о новом способе производства знания, во второй половине XX в. происходит реконфигурация производства научного знания, меняющая — или, точнее, отменяющая, — по мнению аналитиков, основания дисциплинарного деления. Причина изменений — повышение ценности проблемно-ориентированного знания. Резко возрастает заинтересованность государства и крупного бизнеса, а также более мелких агентов в научном знании и главное — в прикладных результатах научных исследований. Именно эти агенты осуществляют финансирование исследований, а значит — приобретают право формулировать собственные критерии оценки произведенного знания, не сводимые к научным. Таким образом, дисциплинарное деление утрачивает один из значимых механизмов поддержания дисциплинарных границ — механизм внутренней экспертизы. Теперь критерии оценки устанавливаются не только и не столько научным сообществом, сколько широким кругом агентов: заказчиков, потребителей, публичных экспертов. Помимо этого проблемно-ориентированное знание действует в трансдисциплинарной логике: его основными производителями становятся проектные команды, объединяющие специалистов в различных областях. Эти команды существуют непродолжительное время, достаточное для решения определенной задачи. В них минимизирована профессиональная иерархия: будучи представителями разных дисциплин, их участники не могут наследовать дисциплинарную стратификацию. Все

эти обстоятельства, плюс принципиальное изменение значения университетов в современном мире — уменьшение их автономии, ослабление их возможностей самостоятельно поддерживать научные исследования — также приводят к размыванию дисциплинарности, как и ослабление ее социальных оснований (университетов и дисциплинарных элит⁴¹). Длительно существующие структуры, а значит и их производные в виде дисциплинарности, объявляются не соответствующими современному социальному запросу и постоянно усиливающейся профессионализации знания.

Далеко не все исследователи приняли тезис Гиббонса и его единомышленников о революции в «производстве науки» без оговорок; особенно слабой и схематичной представлялась критикам историческая экспозиция смены способов производства знания⁴². Этот тезис был явно зависимым от более масштабной (и в целом более гибкой) концепции «общества знания», предложенной Нико Штером еще в середине 1980-х годов⁴³. Ответом на идею нового способа производства знания стала более детальная разработка проблемы взаимодействия публичной, предпринимательской и академической деятельности. Генри Ицковиц (Стэнфордский университет) и Лойет Лейерсдорф (Амстердамский университет) в середины 1990-х годов предложили анализ взаимодействия трех этих сфер — науки, общества и индустрии — по модели «тройной спирали»⁴⁴. Как и в модели ДНК, речь шла об устойчивом воспроизводстве *разных* типов связей, в том числе дисциплинарных (в духе теорий дифференциации Никласа Лумана), но не об их диффузии и «растворении» в качественно иных типах организаций. При этом акцент был сделан на приспособление к меняющимся реалиям традиционных институций, вроде университета, а не новые модели как таковые,

⁴¹ Whitley R. The Intellectual and Social Organization... P. XVII.

⁴² См., например: *Pestre D. The Production of Knowledge between Academies and Markets: A Historical Reading of the Book 'The New Production of Knowledge' // Science, Technology & Society. 2000. Vol. 5. No. 2. P. 169–181* (и ответ Хельги Новотны в том же выпуске журнала); *Hansen J. Mode 2, Systems Differentiation and the Significance of Politico-Cultural Variety // Science, Technology & Innovation Studies. 2009. Vol. 5. No. 1. P. 67–85.*

⁴³ Пионерской была конференция в 1984 г. в Дармштадтском техническом университете, материалы которой вошли в международный ежегодник по социологии науки: *The Knowledge Society: The Growing Impact of Scientific Knowledge on Social Relations / G. Boehme, N. Stehr (eds). Dordrecht: Reidel, 1986.* Более детально этот подход изложен в авторской книге: *Stehr N. Knowledge Societies. The Transformation of Labour, Property and Knowledge in Contemporary Society. L.: Sage, 1994.*

⁴⁴ *Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты — предприятия — государство. Инновации в действии / пер. с англ. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2010.*

и реалии дисциплинарного деления там рассматривались как устойчивые и достаточно перспективные. И если в 2000-е годы тезисы «группы Гиббонса» были несколько скорректированы самими авторами (в частности, менее оптимистичной и односторонней стала картина актуальных тенденций организации научных исследований)⁴⁵, то бывшие ранее в тени работы сторонников «тройной спирали» сохранили популярность за счет интереса к ним университетских администраторов и практиков академической сферы, особенно на периферии «первого мира»⁴⁶.

3. «Академические племена и территории»: базовые послы и изменение аналитических траекторий

Тексты 1980-х и начала 1990-х годов фактически определяют приоритетные направления дискуссии на следующие полтора десятилетия. Их важнейший итог — проблематизация дисциплинарности: превращение ее из данности в предмет исследования. По сравнению со «стандартными» социологическими подходами к аналитическим инструментам исследователей добавились концептуальные новации из области философии или антропологии, а также риторики научного знания (особенно отметим работы Стива Фуллера в духе «социальной эпистемологии» или идеи культурных разграничений в функционировании науки⁴⁷). Идеи Бруно Латура о технауке или его понимание «агенсу» также использовались для переопределения прежних сюжетов, связанных с экологией дисциплин, — например, в известной статье о взаимодействии профессионалов и любителей в американской зоологии первой половины XX столетия⁴⁸.

⁴⁵ Nowotny H., Scott P., Gibbons, M. *Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty*. Cambridge: Polity Press, 2001; *Idem*. “Mode 2” Revisited: The New Production of Knowledge // *Minerva*. 2003. Vol. 41. No. 3. P. 179–194.

⁴⁶ См. развернутый сопоставительный анализ двух этих концептуальных схем у Терри Шинна: *Shinn T.* The Triple Helix and New Production of Knowledge: Prepackaged Thinking on Science and Technology // *Social Studies of Science*. 2002. Vol. 32. No. 4. P. 599–614 и общий обзор: *Hessels L.K., van Lente H.* Re-Thinking New Knowledge Production: A Literature Review and a Research Agenda // *Research Policy*. 2008. Vol. 37. P. 740–760.

⁴⁷ *Fuller S.* Disciplinary Boundaries and the Rhetoric of the Social Sciences // *Poetics Today*. 1991. Vol. 12. No. 2. P. 301–325; *Gieryn T.F.* *Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

⁴⁸ *Star S.L., Griesemer J.R.* Institutional Ecology, “Translations” and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–1939 // *Social Studies of Science*. 1989. Vol. 19. No. 4. P. 387–420.

Вышедшая в свет в 1989 г. книга Тони Бичера «Академические племена и территории. Интеллектуальный поиск и дисциплинарные культуры»⁴⁹, предложившая основной категориальный аппарат и определившая почти на два десятилетия направление дискуссии, была посвящена рассмотрению центров и механизмов структурирования научного поля. Книга выдержала три переиздания (1989, 2001 и 2012), и каждое из них можно рассматривать как своеобразное подведение итогов предыдущего десятилетия. Основываясь на предположении, что академическая культура определяется наиболее сильными игроками — главными университетами (членами «Лиги Плюща» в США или «Оксбриджем» в Великобритании) и ведущими профессионалами (чей статус формально выражается в занятии высоких университетских позиций), Тони Бичер описывал формирование академической культуры в наиболее престижных университетских центрах и последующее повторение стратегий успешных и признанных игроков другими участниками академического пространства. Территории (преимущественно дисциплинарные и университетские) рассматривались как факторы, которые оказывают решающее влияние на конфигурации и иерархии «академических племен» — исследовательских сообществ, связанных общими практиками, ценностями и установками⁵⁰, и в значительной мере определяют жизненные траектории входящих в них ученых.

В основе второго издания книги (написанного в соавторстве с Полом Траулером) лежит определенное сомнение в действенности академических иерархий. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, с пониманием непостоянства «превосходства» отдельных исследователей. Ссылаясь на известное высказывание Клиффорда Гирца: «Большинство людей в своей карьере лишь несколько лет находятся “в центре событий”. Все остальное время — в различной степени и с различной скоростью они “идут по наклонной”»⁵¹, — авторы признают, что процесс занятия учеными ведущих академических позиций — явление кратковременное и изменчивое. Во-вторых, в ситуации радикальных изменений системы высшего образования, происшедших в 1990-е годы, иерархизация утрачивает прежнее значение — академическое пространство становится более диверсифицированным, обладающим множеством центров влияния. Авторы обращают внимание на то, что «изменение сил, действующих на современное высшее

⁴⁹ *Becher T. Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. Bristol, PA: Open University Press, 1989.*

⁵⁰ См.: *Becher T., Trowler P. Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. 2nd ed. Philadelphia: Open University Press. 2001. P. 23.*

⁵¹ Цит. по: *Ibid. P. 27.*

образование по всему миру, привели к увеличению и усилению факторов, действующих на современное высшее образование»⁵². К числу наиболее действенных факторов, по их мнению, относятся: массовизация — радикальное увеличение количества студентов, маркетинговая — экономизация академического пространства, влияние спроса (запросов абитуриентов и студентов) на предложение (содержание учебных программ, прагматическую ориентированность программ и курсов), глобализация высшего образования — формирование согласованных образовательных стандартов. В ситуации массовизации образования элитный университет не может в полной мере задавать стандарты университету «массовому», что ведет к диверсификации стандартов обучения, а значит и дисциплинарных конфигураций. Кроме того, сама структура университета становится более разнородной — одни факультеты приобретают влияние, другие его утрачивают. Все это затрудняет разговор об универсальных иерархиях, бывший возможным еще в конце 1980-х. Напомним, что для многих исследователей академической жизни начала 1990-х был характерен постмодернистский подход и сугубо позитивное восприятие «креативной маргинальности», в том числе и в социальных науках, даже в академической социологии с ее довольно жесткими дисциплинарными стандартами⁵³.

Сборник «Племена и территории в XXI веке. Переосмысляя значение дисциплин в высшем образовании», вышедший в свет в 2012 г. под редакцией Пола Траулера, уже не исходит из априорного признания важности дисциплинарности, но ставит задачу определить ее значение, релевантность и влияние в современной системе высшего образования. Вступительная статья Пола Траулера, задающая тон дальнейшей дискуссии, посвящена проблематизации самого понятия «дисциплина» и выявлению основных подходов к пониманию феномена. При этом уточнение значения термина очевидным образом не является схоластической задачей — «уточнением ради уточнения». Напротив, четкость интерпретации термина определяет основные фокусы рассмотрения и акценты концептуализации феномена, задавая направленность исследований. Траулер констатирует отказ большинства современных аналитиков от эссенциалистских трактовок дисциплинарности. Новым вектором, определяющим направленность современных дебатов о дисциплинарности, становится размежевание ре-

⁵² Ibid. P. XIII.

⁵³ Характерный образец этого течения — довольно популярная книга: *Dogan M., Pahre R. Creative Marginality: Innovation at the Intersections of Social Science*. Boulder, CO.: Westview Press, 1990. Ср. намного более взвешенный анализ этих увлечений у известного американского историка идей Д. Холлинджера: *Hollinger D. The Disciplines and the Identity Debates, 1970–1995 // Daedalus*. 1997. Winter. P. 333–351.

релятивистского и практического подходов. Релятивистские интерпретации определяют дисциплины как социальные конструкты, выступающие инструментами реализации определенных социальных задач⁵⁴. В качестве типичных примеров релятивистских трактовок Траулер приводит интерпретации Питера Вейнгарта — Нико Штера и Стивена Тёрнера:

- Дисциплины — это интеллектуальные структуры, в которых происходит трансляция знания от одного поколения к другому. Они оказывают значительное влияние на структуру занятости — мир практик. <...> Дисциплины — не только интеллектуальные, но и социальные структуры, организованные людьми, с интересами, основанными на временных инвестициях, репутациях и социальных сетях, создающие и определяющие представления о значимости производимого ими знания⁵⁵.
- Дисциплины — это картели, организующие рынки по «производству» и «сбыту» (трудоустройству) студентов, и вытесняющие за пределы рынка труда всех тех, кто не произведен картелем⁵⁶.

При определенной близости релятивистского и практического подходов, разделяющих идею дисциплин как социального конструкта, они отличаются признанием степени «дисциплинарного» реализма и уровнем анализа. Практический подход соединяет микро- и макроуровни анализа, при этом акцент делается на процесс *создания и трансформации дисциплинарных структур* действиями ученых. Кроме того, он признает значимыми некоторые «реальные» характеристики дисциплинарности — определенный уровень дисциплинарной согласованности практик, дискурсов, процедур, что является результатом механизмов унификации, действующих в пределах дисциплин. Практический подход предлагается Полом Траулером в новой версии «Академических племен и территорий»:

Дисциплины — это резервуары познавательных ресурсов, формирующие поведение, особые дискурсы, стили мышления, процедуры, эмоциональные ответы и мотивации. Все это образует систему диспозиций представителей определенных дисциплин, в свою очередь преобразующих их в ходе практической деятельности в совокупность локальных способов действия. В то время как отдельные практики могут конкурировать внутри дисциплины, существует

⁵⁴ См.: Trowler P. Disciplines and Interdisciplinarity. Conceptual Groundwork // Tribes and Territories in 21st Century. Rethinking the Significance of Disciplines in Higher Education / P. Trowler, M. Saunders, V. Bamber (eds). L.: Routledge, 2012. P. 7.

⁵⁵ Practicing Interdisciplinarity / P. Weingart, N. Stehr (eds). Toronto: University of Toronto Press, 2000. P. XI–XII.

⁵⁶ Turner S. What Are Disciplines and How Is Interdisciplinarity Different? // Practicing Interdisciplinarity. P. 51.

разделенный контекст о ключевых фигурах, конфликтах и успешности. Дисциплины по-разному самоорганизуются, формируют внутренние иерархии и разделяют влияние, реагируя на достижения и неудачи⁵⁷.

По мнению Траулера, несмотря на радикальные изменения дисциплинарного ландшафта, основными центрами производства дисциплинарности по-прежнему остаются университеты. Однако Траулер, как и ряд аналитиков, предлагает усложнить картину, поставив под сомнение способность категории «дисциплинарность» передавать смысловые нюансы сложившейся ситуации. В качестве альтернативной категории, более созвучной изменениям, происходящим в системе высшего образования, они предлагают задействовать категорию «предмета» (subject). Различие между дисциплинарностью и предметностью предлагается осмыслять как различие между исследовательской деятельностью и преподаванием. Дисциплинарное деление — более общее и абстрактное — считается применимым преимущественно к сфере исследовательского опыта — производству знаний, в то время как предметное — более четкое и фиксированное — к сфере преподавания (трансляции и потребления знаний): «Предмет — что-то очень конкретное и определимое, основанное на знании; то, что легко преобразуется в учебную программу и что самое важное — основано на количественных оценках»⁵⁸. Замена дисциплинарности предметностью, по мнению Пола Траулера и Дуны Сабри, обнаруживает общую тенденцию депрофессионализации «академиков» — их превращение из производителей в потребителей и трансляторов знаний, в «преподавателей» или «практиков», — а также общую ситуацию изменения высшего образования — усиление его прагматической ориентированности.

Эту прагматическую тенденцию последних десятилетий — примат технологической эффективности прикладного знания над теоретической когерентностью фундаментальной науки — особо подчеркнул в недавней обширной статье на страницах ежегодника «Osiris» авторитетный американский историк науки, Пол Форман, автор классической работы о влиянии культурного «релятивизма» веймарского периода на формулировку квантовой теории (1971). На основе детального анализа огромного массива исследовательской литературы он делает вывод о неуклонно продолжающемся с рубежа 1960–1970-х годов упадке интереса к дисциплинарному принципу развития знания эпохи модерна и фиксирует рост постмодернистской критики понятия

⁵⁷ Trowler P. Disciplines and Interdisciplinarity... P. 9.

⁵⁸ Sabri D. Absence of the Academic from Higher Education Policy // Journal of Education Policy. 2010. Vol. 2. No. 2. P. 49.

дисциплинарности⁵⁹. Нетривиальность и глубина подхода Формана важна для социологических оценок еще и потому, что Форман тщательно и последовательно дифференцирует понятия «дисциплины» и «профессии», которые часто отождествляются. Кроме того, он указывает, что представления о «дисциплине» как характеристике отдельной научной области сами являются достаточно новыми и формируются, по его мнению, лишь к 1930–1940-м годам (если судить по заголовкам книг и статей на основных европейских языках). Несмотря на критическое отношение к технологизации знания⁶⁰, его тезис совершенно не сводится к консервативному призыву вернуться к былым «золотым временам» расцвета дисциплинарности⁶¹.

4. Университет, рынок труда и дисциплинарная стабильность

Тезис Тони Бичера и Пола Траулера о влиянии системы высшего образования на дисциплинарное деление в полной мере поддерживается чикагским социологом Эндрю Эбботом. По его мнению, дисциплинарное деление формируется и воспроизводится жестким организационным устройством не научного, но образовательного поля. Эббот развивает социологический подход к пониманию дисциплинарности, определяя дисциплину как «группу ученых со взаимозаменяемыми профессиональными компетенциями (“exchangeable credentials”), собранных в устойчивые профессиональные объединения»⁶².

Конечно, Эббот был далеко не первым, кто обратился к анализу дисциплинарности, совмещая аналитические перспективы социологии профессии и социологии университетской жизни. Вообще, интерес к дисципли-

⁵⁹ *Forman P.* On the Historical Forms of Knowledge Production and Curation: Modernity Entailed Disciplinarity, Postmodernity Entails Antidisciplinarity // *Osiris*. 2012. Vol. 27. P. 56–97.

⁶⁰ Более подробно этот тезис, опираясь, в частности, на наследие Т. Веблена, Форман развил в специальной статье, представляющей собой, по сути, монографию о тенденциях самопонимания науки второй половины XX столетия: *Idem.* The Primacy of Science in Modernity, of Technology in Postmodernity, and of Ideology in the History of Technology // *History and Technology*. 2007. Vol. 23. No. 1. P. 1–152.

⁶¹ *Idem.* Recent Science: Late-Modern and Post-Modern // *Science Bought and Sold: Rethinking the Economics of Science* / P. Mirowski, E.-M. Sent (eds). Chicago: University of Chicago Press, 2002. P. 109–148.

⁶² *Abbott A.* The Disciplines and the Future // *The Future of the City of Intellect. The Changing American University* / S. Brint (ed.). Stanford: Stanford University Press, 2002. P. 207. Главным трудом Эббота по этой проблеме является книга: *Abbott A.* Chaos of Disciplines. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

лиарности уже с 1980-х сосредоточивается на проблематике высшего образования и различий факультетов (а не только разделения исследовательского труда):

Учебное заведение — это специализированная форма, которая первой привлекает к себе внимание. Дисциплина — это специализированная форма организации, которая объединяет химиков с химиками, психологов с психологами, историков с историками. Она определяется предметом, т.е. областью знания. Профессия следует схожему принципу, объединяя схожих специалистов. <...> Именно дисциплинарная форма организации делала высшее образование во времени и пространстве по своей сути метанациональным и международным куда в большей степени, чем начальное или среднее образование⁶³.

Эббот указывает на необходимость анализа локальной специфики организации высшего образования, определяющей конфигурацию дисциплинарного деления. В частности, он отмечает, что своего рода флагманами дисциплинаризации как процесса, связанного с формированием профессиональных групп, являются американские университеты. Европейские же университеты в начале XX столетия развиваются по иным сценариям. Так, для немецких университетов дисциплинарное деление не представляется сколько-нибудь значимым до середины XX в.⁶⁴, поскольку в них центральными фигурами долгое время остаются отдельные профессора: в значительной мере траектории развития и исследований, и преподавания определяют именно они, а не «сообщества равных» (и взаимозаменяемых) специалистов, что характерно для Америки. Кроме того, основные направления научной и учебной деятельности в немецких университетах обозначаются слишком широко по сравнению с американскими аналогами. Как отмечает Эббот, немецкая научная степень долгое время была степенью «во всем и ни в чем конкретном» и, следовательно, допускала различные сценарии занятости, а также давала право занимать самые разные должности, в отличие от более фокусированной и определенной американской, нацеливающей на конкретные карьерные траектории⁶⁵. Однако с середины XX в. европейские университеты в определенной степени начинают следовать американскому сценарию — профессиональному разделению труда и четкой специализации⁶⁶.

⁶³ Кларк Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в кросс-национальной перспективе [1986] / пер. с англ. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011. С. 42.

⁶⁴ См.: Abbott A. *The Disciplines and the Future*. P. 207.

⁶⁵ См. начальные очерки Н. Рейнгольда и Р. Коулера в книге: Наука по-американски: Очерки истории / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

⁶⁶ Подробнее см.: Эш М. «Гумбольдтовский миф» и исторические трансформации высшего образования в немецкоязычной Европе и США // Новое литературное обозрение. 2013. № 122. С. 13–28.

Эббот констатирует, что структура дисциплин, сформировавшись в американских университетах в ее нынешнем виде в конце XIX в., остается более или менее стабильной на протяжении столетия и не демонстрирует признаков резкой трансформации. Что обеспечивает подобную дисциплинарную последовательность? Прежде всего, устойчивость университета, имеющая несколько оснований. Во-первых, университет — крупнейший агент на рынке научного труда, гарантирующий стабильную занятость работников. Именно поэтому структуры, в которые работники оказываются вписанными в рамках университетов (кафедры и департаменты, основанные на дисциплинарном делении), приобретают ключевое значение для структурирования их профессиональных траекторий, определения логики научного поля. Во-вторых, кафедры, организованные по дисциплинарному признаку, являются основными работодателями в рамках университета, проводят определенную политику найма, а значит, неминуемо воспроизводят дисциплинарное разделение на микроуровне. Именно эти институциональные условия, обеспечивающие воспроизводство дисциплины на макро- и микроуровне Эббот называет «двойной институционализацией» американского университета. «Дисциплинарность» кафедр не является «унаследованной историей», проявлением инерционности академической жизни. Во многом это реакция на запрос наиболее массового рынка образовательных услуг — бакалавриата (*undergraduate*). Именно на уровне базового высшего образования сохраняются предметные специализации (являющиеся ориентиром выбора для абитуриентов), предопределяющие необходимость дисциплинарного деления кафедр и факультетов.

Дисциплинарность американского университета является крайне устойчивой, «благодаря ее способности организовывать в единую структуру исследования, индивидуальные карьеры, наем сотрудников и базовое образование (бакалавриат)»⁶⁷. Организационной основой дисциплинарной устойчивости в американских университетах является факультет и существующее в его рамках кафедральное разделение. Организационная поддержка — основное, но не единственное условие дисциплинарной стабильности. Еще одним важным условием, обеспечивающим «сохранность» дисциплинарности, является выполнение дисциплинами важных культурных функций и в академическом сообществе, и в жизни отдельных ученых. Во-первых, дисциплины создают общее представление об интеллектуальной стезе, снабжают академических работников представлениями о «должном знании»: «Они создают идеалы, модели как обучения, так и практической деятельности»⁶⁸. Будучи

⁶⁷ Abbott A. *The Disciplines and the Future*. P. 210. В данном случае Эббот ссылается на более ранние идеи Клиффорда Гирца (см. его очерк о перспективах наук о человеке: *Geertz C. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. N.Y.: Basic Books, 1983. P. 19–35).

⁶⁸ Abbott A. *The Disciplines and the Future*. P. 210.

своеобразной картой ориентации, дисциплины оказывают решающее влияние на формирование профессиональной идентичности. Во-вторых, дисциплинарное разделение ограждает знание от излишней абстрактности или информационной избыточности. Создавая дисциплинарный канон должного знания, дисциплины одновременно указывают, что именно можно не знать, какие книги не обязательны для чтения и т.п. При этом значим не сам канон, образуемый конкретными текстами или авторами, а, скорее, связанные с ним процедуры легитимации — аргументы, объясняющие, почему те или иные тексты или авторы считаются каноническими.

Помимо этого дисциплины обеспечивают связанность академических сообществ — как синхронную, так и диахронную. Роль связующего звена выполняют разделяемые идеи или исследовательские процедуры, образующие отношения преемственности или объединения «здесь и теперь».

Каково будущее дисциплинарности? По мнению Эббота, оно достаточно предсказуемо: сохранение системы высшего образования является своеобразным гарантом сохранения дисциплинарности. Однако массовость и коммерциализованность высшего образования все же окажут свое влияние на размывание дисциплинарных полей и будут способствовать дальнейшему укреплению практически ориентированных проблемноцентрированных полей (например, сестринского дела, гражданского строительства и проч.). Эббот полагает, что дисциплинарность сохранится преимущественно в элитных вузах, по-прежнему в значительной степени определяющих стандарты академической деятельности.

Одним из факторов устойчивости социальных и гуманитарных дисциплин, помимо институционально-организационных условий, становится их многоступенчатое интеллектуальное строение. Так, несмотря на рост популярности и диверсификацию прикладных социальных исследований (*social surveys*), академической социологии в Великобритании в XXI в. помогает успешно выжить в условиях неолиберального «академического рынка» и справляться с конкуренцией и угрозой диссоциации именно то, что в ее составе имеется как «верхняя» концептуальная надстройка (*social theory*), так и широкий «цоколь» относительно интегрированных социальных исследований (*social research*)⁶⁹.

5. Дисциплинарность и исследовательская деятельность

Рассмотрение высшего образования как основного механизма поддержания дисциплинарности — достаточно традиционный сюжет для социологии знания. Притом, что все авторы признают радикальность изменений

⁶⁹ См.: *Holmwood J. Sociology's Misfortune: Disciplines, Interdisciplinarity and the Impact of Audit Culture // British Journal of Sociology. 2010. Vol. 61. No. 4. P. 639–658.*

системы высшего образования, происшедших за последние полвека, они не подвергают сомнению ее способность служить социальным основанием дисциплинарности. Иные основания дисциплинарности — гораздо более редкий предмет анализа. Именно это переключение оптики столь выгодно отличает книгу преподавателя Чикагского университета Мишель Ламонт «Как мыслят профессора. Внутри любопытного мира принятия академических решений», переводящую внимание на «грантовую экономику» — новую социальную структуру, чье влияние на функционирование академического пространства, личные и групповые траектории ученых в последние десятилетия заметно усилилось. Мишель Ламонт снискала себе признание еще в конце 1980-х годов тонким социологическим анализом институциональной и интеллектуальной карьеры Жака Деррида; позднее она примкнула к группе сравнительного анализа американской и французской культурных систем (в духе социологии «градов» Болтански и Тевено)⁷⁰.

Согласно Ламонт, в отличие от университетов с их традиционными иерархиями и структурными делениями на факультеты, грантовая экономика создает особые структуры — оценочные комиссии. Они построены, с одной стороны, на экспертной иерархии авторитетных в сообществе исследователей, с другой стороны — представляют собой объединение равных, «peers». Грантовые комиссии многофункциональны. Это и центры принятия решений, чья интеллектуальная и финансовая поддержка (наряду или в противовес другим механизмам) формирует приоритетные направления развития научного поля (в том числе и дисциплинарное разделение). Это и площадки обсуждения, проявляющие и в определенной степени формирующие логику устройства научных полей, поскольку принятие решений членами комиссий строится на артикулированной системе аргументации, которая делает очевидными приоритетные принципы поля, а также поддерживает и определяет эти принципы по мере вынесения соответствующих вердиктов.

Еще один важный шаг, предпринятый Ламонт, — антропологизация изучения дисциплинарности. Изначально Ламонт заявляет о своем исследовании как в значительной степени этнографическом — основанном на полевом исследовании работы конкретных грантовых комиссий. Автору интересно: как и почему принимаются те или иные решения в конкретной ситуации, какие стратегии аргументации используются, и как согласовываются решения представителей различных традиций и дисциплин? За этим важным признанием стоит рассмотрение дисциплинарности как дискурсивной структуры, создающейся в том числе и в ситуации «здесь и теперь»,

⁷⁰ Ламонт М. Как стать самым важным французским философом: случай Деррида [1987] // *Логос*. 2009. № 4–5 (72). С. 3–42; *Rethinking Comparative Cultural Sociology. Politics and Repertoires of Evaluation in France and the United States* / М. Lamont, L. Thévenot (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

зависящей не только от общих структурных условий и макроконтекстов, но и от характеристик участников грантовых комиссий — их умения убеждать и слушать, способности к переходу дисциплинарных границ, от общей атмосферы коллективной работы.

Мишель Ламонт, как и Эндрю Эббот, рассматривает дисциплинарное деление как крайне значимое для принятия решений — именно оно задает рамки референции деятельности оценочных комиссий, определяет систему оценивания при принятии решений, создает ролевые предписания для членов комиссий⁷¹. Дисциплинарность может быть помыслена как дискурсивное пространство, предполагающее определенный способ производства дисциплинарного нарратива, существующего в рамках дисциплинарной логики аргументации. Понимание дисциплинарности как системы особых правил производства нарратива — достаточно распространенный аналитический ход для исследователей академического пространства. Одними из первых к нему прибегают Бичер и Траулер во втором издании «Академических племен» (2001). Книга Ламонт развивает идею нарративности дисциплины, в определенной степени основываясь на идее «режимов оправдания» Лорана Тевено и Люка Болтански⁷². Не случайно на идеи Тевено и Болтански опирается в разработке современной политической философии и Петер Вагнер, один из зачинателей историко-дисциплинарного анализа социального знания еще конца 1980-х годов.

«Режимы оправдания» — это «коллективные конвенции эквивалентности» или системы аргументации действий, признаваемые возможными в определенных символических системах (мирах)⁷³. Отдельные дисциплины, по мнению Ламонт, образуют собственные способы выстраивания нарратива, особенно ярко проявляющиеся в определенных ситуациях. К их числу очевидным образом принадлежит процедура подачи на гранты и принятия решений по финансовой поддержке исследований, требующая артикуляции и рационального использования легитимных аргументов. «Культура оценивания» (“evaluative culture”), проявляющая логику дисциплинарного нарратива, включает в себя множество компонентов, среди которых: культурные сценарии, используемые членами оценочных комиссий во время обсуждения заявок, критерии оценивания и их значение, понимание высших стандартов академической деятельности — профессионального совершенства.

⁷¹ Lamont M. *How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment*. Cambridge: Harvard University Press, 2009. P. 56.

⁷² Тевено Л., Болтански Л. Социология критической способности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. III. № 3. С. 66–82.

⁷³ См.: Там же. С. 69.

В сферу изучения Ламонт попадают шесть дисциплин: философия, история, антропология, английская литература, политология и экономика⁷⁴, обладающие собственными представлениями о «хороших исследованиях» и критериями аргументации.

Однако концепция дисциплинарного деления, используемая М. Ламонт в качестве стартовой точки анализа, не столь проста и очевидна. По мнению автора, логика дисциплинарной аргументации и дисциплинарного деления в определенной степени размывается «эпистемическими стилями» — «определенными способами понимания, как именно строится знание, равно как и верой в саму возможность доказательства теорий». Всего Ламонт выделяет четыре эпистемических стиля, перешагивающих дисциплинарные границы: конструктивистский, понимающий, позитивистский и утилитарный⁷⁵. Ее исследование показывает, что наиболее распространенным стилем оценивания заявок в шести изучаемых дисциплинах является понимающий (*comprehensive*) стиль, воплощающийся во внимании к интерпретациям, деталям и контекстам. Именно он взят на вооружение подавляющим большинством принимающих решение о присуждении грантов: 86% гуманитариев, 78% историков, 71% представителей социальных наук. Конструктивистский стиль (*constructivist style*) оценивания отдает предпочтение заявкам, «дающим голос» различным группам. Он подчеркивает значимость рефлексии по поводу влияния, оказываемого на результаты анализа идентичностью исследователя, его интеллектуальными и политическими предпочтениями. Отчасти этот стиль представляет собой вызов предыдущему интерпретативному течению, нередко по умолчанию политически или социально ангажированному. Этого стиля придерживаются 28% гуманитариев, 29% историков и 14% социальных исследователей. Позитивистский стиль уделяет особое внимание генерализации и проверке гипотез. Он популярен среди социальных исследователей (57%) и историков (23%) и практически не встречается у гуманитариев. Утилитарный стиль отчасти напоминает позитивистский стиль, но отдает предпочтение производству востребованного знания, позволяющего решать социальные проблемы. Этой системой аргументации пользуется 19% социальных исследователей и 4% историков⁷⁶.

⁷⁴ Lamont M. *How Professors Think...* P. 4.

⁷⁵ Ibid. P. 57. Упоминание эпистемических стилей явно отсылает к известным работам А. Кромби и Я. Хакинга, при этом их дефиниции экспериментальных или теоретических метаподходов перетолковываются в социологическом духе. См. общий анализ: Kush M. *Hacking's Historical Epistemology: A Critique of Styles of Reasoning* // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2010. Vol. 41. No. 2. P. 158–173.

⁷⁶ Ibid. P. 58.

Эпистемические стили — одна из значимых интеллектуальных связей дисциплин, способы синхронизации различных дисциплинарных логик. Таким образом, картина дисциплинарного деления существенно усложняется, делая видимой не только логику размежеваний, но и основания связей.

К идеям Ламонт примыкает и группа исследователей структуры современного социального знания, которая в начале 2010-х годов по-своему продолжила исторические штудии Петера Вагнера и его соратников 1980-х (описанных во введении к монографии)⁷⁷. Из них можно выделить сторонников новой социологии идей и социологии интеллектуальных движений (включая академические инновации) — Нила Гросса и Скотта Фрикеля⁷⁸. Классическая социология интеллектуалов переосмысливается к началу 2010-х годов с учетом внимания к организации экспертного знания, взаимообразных отношений академических профессионалов и публики в современных западных обществах⁷⁹. Д. Крейн уже в работах начала 1990-х годов — как раз в связи с изучением публичной аудитории современной социологии — показывала размывание прежнего концептуального корпуса социологии (по растущей плюрализации цитатной деятельности и диверсификации дисциплинарной принадлежности упоминаемых авторов)⁸⁰. Но вопреки прежним, 1970-х годов, представлениям Маллинза или Коула такое очевидное размывание предметного ядра все же не подрывало дисциплинарный статус социологии⁸¹; такое нарушение прежних образов «успешно интегрированной» науки свидетельствовало о необходимости более многомерного подхода к анализу дисциплин⁸² и о явной недостаточности

⁷⁷ См. важный коллективный труд (с участием Э. Эббота): *Social Knowledge in the Making* / C. Camic, N. Gross, M. Lamont (eds). Chicago: University of Chicago Press, 2011.

⁷⁸ *Frikel S., Gross N. A General Theory of Scientific/Intellectual Movements // American Sociological Review*. 2005. Vol. 70. P. 204–232; см. также: *Фурсов К.С. Интеллектуальные движения как объект социологического анализа // Социологические исследования*. 2009. № 10. С. 90–100.

⁷⁹ См.: *Eyal G., Buchholz L. From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions // Annual Review of Sociology*. Vol. 36. 2010. P. 117–137.

⁸⁰ *Crane D., Small H. American Sociology since the Seventies: The Emerging Identity Crisis in the Discipline // Sociology and its Publics* / T. Halliday, M. Janowitz (eds). Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 197–234 (см. в этом же сборнике важную статью К. Кэлхуна о дисциплинарном статусе социологии: *Calhoun G. Sociology, Other Disciplines, and the Project of a General Understanding of Social Life // Ibid.* P. 137–195).

⁸¹ *Lynch M., Bogen D. Sociology's Asociological "Core": An Examination of Textbook Sociology in Light of the Sociology of Scientific Knowledge // American Sociological Review*. 1997. Vol. 62. No. 3. P. 481–493.

⁸² См. соображения признанного исследователя социологии дисциплинарности Р. Коллинза: *Collins R. Why the Social Sciences Won't Become High-Consensus, Rapid-Discovery Science // Sociological Forum*. 1994. Vol. 9. P. 155–177.

прежних методов анализа цитирования⁸³, устройства внутриакадемических групп и т.д.

Дисциплинарные структуры и отношения разных наук рассматриваются через призму современной социологии организаций Пола ДиМаджио⁸⁴ и социальных исследований высшего образования. Так, Дж. Брэкстон и Л. Харгенс в 1990-е годы особенное внимание обращали на специфику устройства современного исследовательского университета, которое и дает, по их мнению, ключ к постижению запутанной карты актуальных дисциплинарных различий⁸⁵. Для изучения «дисциплинарных вариаций» они пытались соединить анализ в духе Биглана, парадигмальный подход и характеристики исследовательского фронта в разных областях знания. Главной причиной ограниченности такого подхода, на наш взгляд, следует считать исключение из рассмотрения когнитивной специфики и достижений историографии академических дисциплин. Схожие рассуждения Рудольфа Штихве об историческом фоне становления разных областей знания, опирающиеся на идеи Лумана, кажутся несколько схематичными и даже старомодными: в итоге выстроенный им слишком общий алгоритм «признания» той или иной науки оказывается для сопоставительного анализа конкретных исторических форм ее бытования, по сути, излишним⁸⁶. Этнографическое же описание исследовательских и педагогических *техник* в разных образовательных кластерах в исследованиях 1990–2000-х годов (часто на основе идей Фуко генеалогического периода о связи дисциплин и надзора) или новейшие *curriculum studies*, принципиально игнорирующие внутренние, специфические проблемы развития тех или иных дисциплин и достижения истории знания, дает, на наш взгляд, пока только локальные результаты⁸⁷. Гораздо богаче по многоплановому охвату проблематики вос-

⁸³ См.: *Gmür M.* Co-Citation Analysis and the Search for Invisible Colleges: A Methodological Evaluation // *Scientometrics*. 2003. Vol. 57. No. 1. P. 27–57 (на примере организационных исследований); *Moody J.* The Structure of a Social Science Collaboration Network: Disciplinary Cohesion from 1963 to 1999 // *American Sociological Review*. 2004. Vol. 69. No. 2. P. 213–238.

⁸⁴ *DiMaggio P.J., Powell W.* The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // *American Sociological Review*. 1983. Vol. 48. No. 2. P. 147–160.

⁸⁵ *Braxton J., Hargens L.* Variation among Academic Disciplines: Analytical Frameworks and Research // *Higher Education: Handbook of Research and Theory*. Vol. 11. N.Y.: Agathon Press. 1996. P. 1–46.

⁸⁶ *Stichweh R.* The Sociology of Scientific Disciplines: On the Genesis and Stability of the Disciplinary Structure of Modern Science // *Science in Context*. 1992. No. 1. P. 3–15. Ср. обобщающий взгляд историка Тимоти Ленуара о естествознании XIX в.: *Lenoir T.* The Discipline of Nature and the Nature of Disciplines // *Knowledges: Historical and Critical Studies in Disciplinarity* / E. Messer-Davidow, D.R. Shumway, D. Sylvan (eds). Charlottesville: University Press of Virginia, 1993. P. 70–102.

⁸⁷ *Arnold M.* Disziplin und Initiation. Die kulturellen Praktiken der Wissenschaft // *Disziplinierungen. Kulturen der Wissenschaft im Vergleich* / M. Arnold, R. Fischer (Hrsg.). Wien: Turia +

производства дисциплины становится анализ *практик* научения, стилей преподавательской работы, характера учебных книг в разных науках — на основе синтеза идей раннего Фуко («археологического» периода), Куна и Майкла Полани⁸⁸. Обобщающий подход историков образования к описанию университетских семинариев или специфики академического письма как важного условия дисциплиностроительства в XIX в. кажется более продуктивным, чем схематика этнографии знания⁸⁹.

Весьма перспективным остается широкий теоретический анализ деятельности различных социальных групп внутри академического производства знания. Джерри Джейкобс, автор недавней книги о социологии дисциплинарности, подчеркивает (как и Терри Шинн и Анн Маркович⁹⁰) весьма высокую приспособляемость дисциплинарных структур и практик к новейшим вызовам современного общества⁹¹. Он подчеркивает, что в XXI в. (в отличие от ситуации 1970–1980-х годов) междисциплинарность уже не выступает как безусловный генератор обновления и полезный противовес прежним ригидным рамкам: она сама становится фактором и источником новых размежеваний и дифференциаций. Часто опорой новых политик знания в современных университетах выступают не департаменты и факультеты, а многочисленные исследовательские центры. Эти кластеры

Kant, 2004. S. 18–52; *Lee J.* The Shaping of the Departmental Culture: Measuring the Relative Influences of the Institution and Discipline // *Journal of Higher Education Policy and Management*, 2007. Vol. 29. No. 1. P. 41–55; *Moore R., Maton K.* Founding the Sociology of Knowledge: Basil Bernstein, Intellectual Fields and the Epistemic Device // *Towards a Sociology of Pedagogy* / A. Morais, I. Neves, B. Davies et al. (eds). N.Y.: Peter Lang, 2001. P. 153–182.

⁸⁸ См. недавние работы историков науки Дэвида Кайзера или Катрин Олешко: *Warwick A.C., Kaiser D.* Conclusion: Kuhn, Foucault and the Power of Pedagogy // *Pedagogy and the Practice of Science: Historical and Contemporary Perspectives* / D. Kaiser (ed.). Harvard: The MIT Press, 2005. P. 393–410; *Olesko K.M.* Science Pedagogy as a Category of Historical Analysis: Past, Present, & Future // *Science and Education*. 2006. Vol. 15. P. 863–880.

⁸⁹ *Clarke W.* On the Dialectical Origins of the Research Seminar // *History of Science*. 1989. Vol. 27. P. 111–154; *Kruse O.* The Origins of Writing in the Disciplines. Traditions of Seminar Writing and the Humboldtian Ideal of the Research University // *Written Communication*. 2006. Vol. 23. No. 3. P. 331–352.

⁹⁰ *Marcovich A., Shinn T.* Where Is Disciplinarity Going? Meeting on the Borderland. *Studies of Science and Technology* // *Social Science Information*. 2011. No. 50 (3–4). P. 582–606.

⁹¹ *Jacobs J.A.* In Defense of Disciplines: Interdisciplinarity and Specialization in the Research University. Chicago: University of Chicago Press, 2013. Еще ранее, в соавторстве с С. Фрикелем, автором теории интеллектуальных движений, Джейкобс опубликовал содержательную статью в авторитетном социологическом ежегоднике: *Jacobs J.A., Frickel S.* Interdisciplinarity: A Critical Assessment // *Annual Review of Sociology*. 2009. Vol. 35. P. 43–65.

порождаются практическими новациями или технологическими переменами, проблемно ориентированными запросами, а не фундаментальными теоретическими потребностями дисциплинарного самоопределения. Таким образом, в современном социогуманитарном знании «теория» является фактором поддержания идентичности новых и старых дисциплин — прежде всего на рынке академической подготовки⁹² (а не только научных разработок, особенно важных для классической социологии науки 1960–1970-х годов)⁹³. Кроме того, социальные и особенно традиционные гуманитарные науки теснее связаны с практиками обучения (и факультетского, а значит, и дисциплинарного деления знания), чем с новейшими внедренческими или технологическими отраслями. Судя по всему, комплексный анализ общества знания, социология интеллектуалов и новая социология знания в первые десятилетия нового века идут путем рефлексивного и критического возвращения к истокам⁹⁴: от структурных разработок Мёртона и Уитли, через их историческую контекстуализацию, к проблематике Манхейма или всеохватным компаративным анализам в духе Макса Шелера или Макса Вебера, с учетом американской прагматической традиции от Мида до Рорти⁹⁵.

Описывая интеллектуальный ландшафт изучения дисциплинарности 2000-х в целом, можно констатировать смещение исследовательских приоритетов. К их числу можно отнести окончательный отказ от эссенциалистских трактовок дисциплинарности, внимание к социальным и практическим условиям ее устойчивости, понимание дисциплинарности как производимой макроконтекстами (новыми центрами академического влияния), так и определяемой микроконтекстами и ситуациями — действиями конкретных сообществ и их членов в новых центрах производства и его

⁹² См. рассуждения американского социолога Габриеля Абенда: *Abend G. Styles of Sociological Thought: Sociologies, Epistemologies, and the Mexican and U.S. Quests for Truth // Sociological Theory. 2006. Vol. 24. No. 1. P. 1–41; Idem. The Meaning of 'Theory' // Ibid. Vol. 26. No. 2. P. 173–199.*

⁹³ К такому выводу приходит Стивен Тёрнер: *Turner S. What Are Disciplines... P. 46–65.*

⁹⁴ О видении Карлом Манхеймом дилеммы «наук о духе» — «наук о природе» и о реинтерпретации его наследия в рамках «сильной программы» социологии знания у Д. Блора в 1970-е годы см. критические соображения Д. Кайзера: *Kaiser D. A Mannheim for All Seasons: Bloor, Merton, and the Roots of the Sociology of Scientific Knowledge // Science in Context. 1998. Vol. 11. No. 1. P. 51–87.*

⁹⁵ *States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order / S. Jasanoff (ed.). L.: Routledge, 2004; Powell W.W., Snellman K. The Knowledge Economy // Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30. P. 199–220.* Ср. попытку перенести на исторический материал новейшие идеи экономики знания: *Mokyr J. The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. Princeton: Princeton University Press, 2002.*

оценки знания⁹⁶. В этом смысле подчеркивание важности академических культур или дисциплинарных «культур знания» (подобно парадигмам, идеям «невидимых колледжей» или рассуждениям о ядре и фронтире науки в 1960–1980-е годы) из методологических трудов в последние десятилетия переходят в работы практиков и историков гуманитарного знания⁹⁷.

Подводя итог весьма недолгой, но крайне разнородной традиции социологического исследования дисциплинарности, можно утверждать, что несмотря на все рассогласования, а порой и прямую конкуренцию концепций, социологический подход к дисциплинарности в целом ориентирован на выявление ее гетерогенных оснований и логик организации. Социология дисциплинарности, как и социология науки несколько десятилетий назад, продолжает во многом оставаться знанием об агентах и структурах, формирующих и изменяющих дисциплины. И наконец, еще одной отличительной чертой социологического изучения дисциплинарности является достаточно принципиальная эмпирическая ориентированность подхода — и признанные исследования Сторера и Бен-Дэвида, и недавние изыскания Ламонт не только выдвигают теоретические предположения, но и стремятся к их подтверждению. Именно возможность опытной проверки предположений, оперативное реагирование на изменение научного ландшафта рассматриваются аналитиками как значимые достоинства актуальных подходов, в отличие от абстрактных, отчасти вневременных тезисов и общих идей классической социологии науки и традиции изучения академических сообществ в 1960–1970-х годах.

⁹⁶ См. описание эволюции ведущих университетских дисциплин в XX в.: *Frank D.J., Gabler J. Reconstructing the University: Worldwide Shifts in Academia in the 20th Century*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006 (особенно гл. 4 о естественных науках).

⁹⁷ *American Academic Culture in Transformation: Fifty Years, Four Disciplines* / T. Bender, C.E. Schorske (eds). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998; *Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert* / K.H. Jarausch, M. Middell u. a. (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале XXI столетия и в традиционных, и в новых науках о человеке происходят процессы обновления и смешения прежних дисциплинарных языков. Обращаясь к истории, мы стремились в своей книге показать, что эти перемены означают не исчезновение феномена дисциплинарности, но существенную смену его формата, во многом схожую с кризисными и продуктивными периодами начала XIX или XX вв. Эти масштабные сдвиги, безусловно, повлияли и на ретроспективные занятия историей дисциплин, и на формирование основных идей предлагаемой вниманию читателя книги. В последние десятилетия мы наблюдаем скоординированные попытки реконструкции институциональной динамики поля наук о человеке (что уже начато на примере атласа эволюции исторических наук в Европе¹, включая регистрацию рождения соответствующих кафедр, появления разных исследовательских центров и институтов начиная с XVII в. и т.д.²). Накопленные на отдельных участках дисциплинарного поля наблюдения и описания развития частных наук на тех или иных этапах эволюции стали обобщаться в итоговых трудах. Эта работа, разумеется, еще далека до завершения, и главным полем дальнейшего приложения исследовательских усилий должна стать концептуальная рефлексия, а не только историко-институциональный анализ.

Наша монография является вкладом в эту глобальную по охвату работу — восстановление картины развития социогуманитарных дисциплин в тех или иных странах (особенно в транснациональном аспекте³). Значительная часть книги посвящена анализу отечественных наук о человеке, которые анализируются не сами по себе, а в компаративном ключе, на фоне схожих процессов развития дисциплин в иных национальных сообществах. Российская, или советская, особость пути развития знаний о человеке рассматривалась нами и как отражение макросоциальных процессов, и как разновидность общих для современных обществ тенденций «онаучивания социального»⁴.

¹ Writing the Nation. The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories / S. Berger, C. Lorenz (eds). N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009.

² См: Porciani I. Mapping Institutions — Comparing Historiographies: The Making of a European Atlas // Storia Della Storiografia. 2006. Vol. 50. P. 27–58.

³ Heilbron J., Guilhot N., Jeanpierre L. Toward a Transnational History of the Social Sciences // Journal of the History of the Behavioral Sciences. 2008. Vol. 44. No. 2. P. 146–160.

⁴ Raphael L. Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts // Geschichte und Gesellschaft. 1996. Jg. 22. S. 165–193.

Авторы книги показали, что дисциплины — не уходящий жанр классификации знания, не застывшая форма организации академической работы или учебного процесса, а динамичная система автономных и взаимосвязанных исследовательских кластеров, значительно меняющаяся в зависимости от времени и контекста. Решающую роль в этой динамике играет совокупное действие двух групп факторов: с одной стороны — теоретической и историографической саморефлексии, концептуальной работы, с другой — практической и социальной реконфигурации исследовательских фреймов, процедур и инноваций, часто на микроуровне обработки материала или взаимодействия ученых друг с другом и внешней средой.

На сегодняшний день накоплен достаточный исследовательский потенциал в изучении общих параметров сциентизации истории, филологии и специальных источниковедческих дисциплин, а также утверждения экономики, новых поведенческих или социальных наук о человеке (в связи с укреплением и развитием позитивистских доктрин). Как показано в книге, этот путь анализа отнюдь не был беспроблемным. История дисциплин довольно плохо «уживалась» с их социологией. В исследованиях конца XX в. — при всем богатстве фактического и исторического материала — недостаточно обобщенными оставались сами факторы и потенциальные сценарии (условный «алгоритм») выделения одних (новых) дисциплин в поле других (традиционных или даже «устаревших»), разграничения их предметов на понятийном уровне и в плане конкретных учебных или социально-организационных процессов дифференциации. «Старые» социологические схемы 1970-х пока еще не наполнились накопленным за 30 лет исследований историографическим материалом в области наук о человеке — и практически не пересмотрены ввиду современных достижений истории образования и социальной истории знания.

Разумеется, никакая отдельная, даже коллективная работа не может эту лакуну закрыть. Но наши исследовательские усилия опирались на опыт предшественников и коллег (из которых нужно особенно отметить Ричарда Йео и Лорен Дастон). Мы стремились представить, пусть в самых общих чертах, максимально широкую панораму дисциплинарного развития наук о человеке — включая экономику и юриспруденцию (которые чаще рассматривают даже в лучших историографических трудах отдельно от общего движения наук о человеке).

В нашем изложении мы выделили три главные эпохи эволюции дисциплинарности, которые несколько отличаются от «больших периодов», описанных во введении в связи с хронологией, предложенной в концептуальном исследовании Йохана Хейлброна⁵. В частности, в нашей коллективной

⁵ Heilbron J. A Regime of Disciplines: Towards a Historical Sociology of Disciplinary Knowledge // The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in a Postdisciplinary Age / C. Camic, H. Joas (eds). Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. P. 23–42.

монографии более детально, по сравнению с недавними попытками общего описания эволюции наук о человеке (у Роджера Смита или в «Кембриджской истории науки»⁶), рассмотрен период «преддисциплинарного» развития, поскольку выработанные тогда классические модели, как было показано, сохраняют аналитическую значимость и в последующей эволюции социогуманитарного знания.

Специфика предложенного в книге анализа дисциплинарности может быть суммарно представлена в нескольких главных пунктах:

- акцентирование исторического аспекта, изменчивости и релятивности дисциплинарного и протодисциплинарного деления наук о человеке, начиная со Средневековья (главы Ю. Ивановой, П. Соколова, Н. Осминской);

- рассмотрение историографических традиций отдельных наук как механизмов поддержания их дисциплинарного статуса (главы Л. Дастон, А. Ясницкого, В. Файера);

- осознание границ той или иной науки как ключевой темы ее развития; при этом решающими в ряде ключевых кейсов оказались не институциональные или эпистемологические, а именно практические факторы выделения предметной области той или иной дисциплины (главы М. Тисье, П. Резвых, М. Могильнер, И. Герасимова, А. Семёнова, И. Савельевой);

- акцент на проблематике профессиональных сообществ, их организации, эволюции, соотношения с институциональными механизмами научного развития (главы Р. Тоштендаля, Г. Юдина);

- экспликация интернациональных факторов развития поля дисциплин о человеке (главы Б. Степанова, О. Кирчик).

Конец 2000-х годов не случайно стал временем суммирования тех концептуальных нововведений в истории и социологии гуманитарного и социального знания, которыми были весьма богаты работы последней четверти XX в. и рубежа столетий. И все же преобладающими до сих пор являются изолированные описания эволюции отдельных дисциплин, а интерес к «соседним» наукам обычно остается в этих работах минимальным или не выходит за рамки самых общих отсылок. Весьма редкими и скорее внешне-описательными остаются попытки параллельного рассмотрения процессов, происходящих в разных дисциплинах. На этом фоне особенным дефицитом остаются методологические работы, где восстанавливалась бы картина эволюции всего поля наук о человеке — от философских концептов до способов сбора и обработки полевого материала.

⁶ *Smith R. The Fontana History of the Human Sciences. L.: Fontana, 1997; The Cambridge History of Science. Vol. 7. The Modern Social Sciences / Th. Porter, D. Ross (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2003.*

Именно поэтому в монографии о развитии дисциплин весьма детально рассматривается суть методологических дискуссий и споров в *гуманитарных* науках и в философии, которые также прямо влияли на представления и знания о социальном (особенно применительно к первой трети XX столетия). В нашей книге пристальное внимание уделено также проблемным пунктам и практикам когнитивного упорядочивания разных дисциплин в области наук о человеке. Именно эту концептуальную лакуну (наряду с совмещением историографии гуманитарного знания и историографии социальных наук) и стремились заполнить авторы книги в первую очередь. Насколько это получилось — судить читателю.

ПРИЛОЖЕНИЕ*

А. МОМИЛЬЯНО

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

И ЛЮБИТЕЛИ ДРЕВНОСТЕЙ (1950)**

К 80-летию моего учителя
Гаэтано Де Санктиса

1. Введение

В XVIII в. с традиционным гуманизмом стал конкурировать новый. Его организационной формой были не университеты, а ученые общества; занимались им не преподаватели, а аристократы. Выправлению ошибок в древних текстах они предпочитали путешествия и вообще считали, что монеты, статуи, вазы и надписи важнее литературных произведений. Аддисон обсуждал релевантность монет для литературоведческих исследований¹, а Гиббон, бравший отпуск в Оксфорде, возобновил свое образование, потратив 20 фунтов на 20 томов «Записок Академии надписей». Италия все еще была центром притяжения — как для ученых, так и для любопытствующих. Но это была теперь уже более сложная Италия, в которой этрусские древности были не менее важны, чем римские руины, и откуда теперь стали приходиться сообщения об из ряда вон выходящих открытиях, первыми из которых стали Геркуланум в 1736 и Помпеи в 1748 г. Кроме того, древности Греции начали приобретать все большее значение, причем не только для тех немногих счастливицков — в основном англичан и французов, — которые могли съездить и увидеть их, но и для бóльшего, хотя все еще ограниченного числа тех, кто мог позволить себе купить великолепные книги, в которых они были отображены, — прежде всего «Древности Афин» Стюарта и Реветта (1762).

* Перевод выполнен К. Левинсоном по изданию: *Momigliano A. Ancient History and the Antiquarian // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1950. Vol. 13. No. 3/4. P. 285–315.*

** Первая версия этой статьи была прочитана в Институте Варбурга в январе 1949 г. Я благодарен за полезную дискуссию членам Института — профессору Ч. Дионизотти, д-ру Ф. Якоби, д-ру Н. Рубинштейну, миссис М. Хендерсон, д-ру Р. Пфайфферу, д-ру Б. Смолли и ректору колледжа Брейсноуз в Оксфорде, г-ну Хью Ласту.

¹ *Addison J. Dialogues upon the Usefulness of Ancient Medals // Miscellaneous Works. L., 1730. Vol. III. P. 59–199.*

Но еще важнее было то, что люди постепенно стали осознавать, что можно найти нового рода красоту и чувство, просто взглянув на свою приходскую церковь или на соседний замок, и можно найти поэзию, слушая песни и рассказы крестьян с отдаленных ферм. Греческое Возрождение, Кельтское Возрождение, Готическое Возрождение, распространявшиеся из Англии в Европу, стали проявлением триумфа праздного класса, который был равнодушен к религиозным спорам, не интересовался грамматическими тонкостями, а жаждал сильных чувств в искусстве — в качестве противовеса тому спокойствию и непоколебимости, которыми отличалось его собственное существование².

Таково, если я не ошибаюсь, традиционное представление о Веке антикваров* — представление, которое, хотя оно и неполно, у меня нет причины оспаривать. Но Век антикваров принес не только революцию во вкусе: он принес еще и революцию в историческом методе. Здесь, пожалуй, есть чем заняться специалисту по историографии. Век антикваров задал стандарты и поставил проблемы в области методологии истории, которые мы и по сей день едва ли можем назвать устаревшими.

Весь современный метод исторического исследования основан на различии между первичными и вторичными источниками. Под первичными мы понимаем заявления свидетелей, документы, а также иные сохранившиеся материалы, современные тем событиям, о которых они свидетельствуют. Под вторичными источниками мы имеем в виду произведения историков или летописцев, рассказывающие и рассуждающие о событиях, которым они не были свидетелями, но о которых они узнали или умозаключили, прямо или косвенно, из первоисточников. Мы славим первичные источники — и называем именно их просто «источниками» — за то, что они надежны, но мы славим и вторичные свидетельства позднейших исто-

² См., например: *Justi C. Winckelmann und seine Zeitgenossen*. 3. Aufl. Leipzig, 1923 (1. Aufl. 1866); *Hautecoeur L. Rome et la Renaissance de l'Antiquité à la fin du XVIII siècle*. P., 1912 (Bibl. Écoles Athènes et Rome, 105); *Cust L., Colvin S. History of the Society of Dilettanti*. 2 iss. L.: Macmillan, 1914 (1898). P. i–xli; *Snyder E.D. The Celtic Revival in English Literature*. Cambridge; Mass., 1923; *Yvon P. Le Gothique et la Renaissance Gothique en Angleterre*. Caen, 1931; *Clark K. The Gothic Revival, An Essay in the History of Taste*. 2nd ed. L., 1950; *Steeves H.R. Learned Societies and English Scholarship*. N.Y., 1913. Важные документы: *Comte de Caylus A.C.Ph. Recueil d'Antiquités*. P., 1752–1767; *Piranesi G.B. Antichità Romane*. Roma, 1756; *Wood R. Ruins of Palmyra*. L., 1753; *Idem. Ruins of Baalbec*. L., 1757; *Chandler R. Marmora Oxoniensia*. Oxonii, 1763; *Gori A. Symbolae litterariae*. Firenze; Roma, 1748–1751. *Baudelot de Dairval C.C. De l'utilité des voyages et ole l'avantage que la recherche antiquitez procure aux sçavans*. T. I. P., 1686. P. 1–70 — представляет собой бесценный документ по «этике» антикваров.

* В отличие от общепринятого в современном русском языке словоупотребления, словом «антиквар» в данном контексте обозначается не торговец предметами старины, а любитель древностей, занимающийся прежде всего их описанием. — *Примеч. пер.*

риков за то, что они обнаруживали здравость суждения при истолковании и оценке первоисточников. Это различие между источниками и позднейшими историческими сочинениями стало общей традицией исследователей истории только в конце XVII в. До того их тоже различали, конечно, но это различие не было сформулировано сколь бы то ни было точно и не рассматривалось большинством как необходимая предпосылка исторического исследования. В формировании нового исторического метода — и, следовательно, в создании современной историографии Древнего мира — так называемые антиквары сыграли заметную роль и обозначили важнейшие проблемы. Они показали, как надо использовать нелитературные свидетельства, но кроме того они заставили людей размышлять над различием между собиранием фактов и их истолкованием. Цель данной главы заключается в том, чтобы осветить, во-первых, происхождение антикварской исследовательской деятельности, во-вторых, — объяснить, почему антиквары сыграли такую роль в реформе исторического метода в XVIII в.; и наконец, объяснить, почему в XIX в. стало все более и более очевидно, что не осталось никаких причин разделять антикварские штудии и исторические исследования.

2. Истоки антикварских исследований

Прежде всего, мы должны задаться вопросом: кто такие были антиквары? Хорошо, если за ответом на него можно было бы просто обратиться к какой-нибудь «Истории антикварских исследований». Но таких не существует³. Все, что я могу здесь сделать, — это перечислить несколько основных фактов.

Полагаю, многие из нас слово «антиквар» считают обозначением человека, который изучает прошлое, но при этом не совсем историк, ибо: 1) историки пишут в хронологическом порядке, а антиквары — в систематическом; 2) историки представляют те факты, которые позволяют проиллюстрировать или объяснить некое положение дел; антиквары же собирают все предметы, связанные с определенной темой, независимо от того, помогают они решить проблему или нет. Тема имеет значение для различия

³ Лучшее из того, что есть, см.: *Stark B.C. Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst.* Leipzig, 1880. Много сведений можно также почерпнуть из: *Thompson J.W., Holm B.J. A History of Historical Writing.* Vol. II. N.Y., 1942. А также из: *Sandys J. A History of Classical Scholarship.* Vol. I–III. Cambridge, 1906–1908; *Langlois Ch.-V. Manuel de Bibliographie Historique.* P., 1901. По Англии ср.: *Walters H.B. The English Antiquaries of the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries.* L., 1934. По Франции: *Reinach S. Esquisse d'une histoire de l'archéologie gauloise // Revue Celtique.* T. XIX. 1898. P. 101–117, 292–307.

между историками и антикварами только в том смысле, что определенные предметы (такие как политические учреждения, религия, частная жизнь) традиционно считаются более подходящими для систематического описания, нежели для хронологического рассказа. Когда человек пишет в хронологическом порядке, но не объясняя факты, мы называем его хронистом; когда человек собирает все доступные ему факты, но не упорядочивает их систематически, мы говорим, что у него каша в голове, и отмахиваемся от него.

Если это правильное отражение того, как большинство людей воспринимают антикваров, то мнение, будто предшественников современных антикваров можно обнаружить в Греции во второй половине V в. до н.э., требует небольшой корректировки.

Из известного пассажа в «Гиппии большем» Платона (*Hippias maior* 285 d) мы узнаем, что родословные героев и людей, предания об основаниях городов и списки архонтов, давших свои имена городам, были частью науки, называемой «археологией». Говорящий эти слова — софист Гиппий, который, как мы знаем, составил список победителей Олимпийских игр. «Слово “археология”, — уже давно заметил Норден, — такое, что софисту не составило бы труда его придумать»⁴. Вряд ли приходится сомневаться в том, что Платон донес до нас понятие, которое было прекрасно знакомо софистам второй половины V в. до н.э.: понятие о науке, называемой археологией и занимавшейся предметами, которые по нашим сегодняшним меркам представляют антикварный интерес. Но то, как она ими занималась, в определенных случаях, возможно, больше общего имело с хроникой, а не с систематическим справочником. Мы не можем утверждать, что «археологические» книги, созданные Гиппием и его коллегами, неизменно являются прямыми предшественниками наших *Lehrbücher der Altertümer* [учебников древностей]. Но поскольку некоторые их исследования были представлены в форме систематических трактатов, нельзя отрицать связи между ними и современными антикварными штудиями.

Это, вероятно, касается трудов: «О народах» («Περὶ ἔθνῶν»), «Названия народов» («Ἐθνῶν ὀνομασίαι»), «Происхождение народов и основание городов» («Κτίσεις ἔθνῶν καὶ πόλεων»), «Варварские имена» («Νόμιμα βαρβαρικά») Гелланика, «Названия народов» («Ἐθνῶν ὀνομασίαι») Гиппия, «О родителях и прародителях сражавшихся у Илиона» («Περὶ γονέων καὶ προγόνων τῶν εἰς Ἴλιον στρατευσαμένων»), приписываемых Дамасту или Полу.

На мой взгляд, больше значения имеет тот факт, что уже к концу V в. до н.э. политическая история и исследование прошлого учеными обычно чис-

⁴ Norden E. *Agnostos Theos*. Berlin, 1913. S. 367. Ср. также: *Themist.* 26, 316 (*Kesters H.* *Antisthène de la dialectique*. Louvain, 1935. P. 164); *Körte A.* *Die Entstehung der Olympionikenliste* // *Hermes*. Bd. XXXIX. 1904. S. 221.

лились по двум отдельным ведомствам⁵. Фукидид написал такую историю, которая больше касалась событий самого недавнего прошлого, чем преданий далекой старины или дальних стран; его больше интересовало индивидуальное или коллективное поведение в определенных обстоятельствах, нежели в религиозных или политических учреждениях, и пригодиться его труд мог бы скорее политику, а не ученому. Гиппий, Гелланик, Дамаст, Харон собирали предания прошлого и получали удовольствие от эрудиции как таковой. Это — пусть и с большими оговорками — можно считать началом того различия, которое сохранялось до XIX в. н.э. и даже сейчас еще не полностью исчезло. История была в основном политической историей. То, что оставалось вне ее, было областью ученого любопытства, которую антиквары без труда могли занять и систематически исследовать. Эта антикварская исследовательская деятельность стала бурно развиваться после Александра.

В эллинистическом греческом языке слово «археология» не сохранило то широкое значение, которое оно имело у Платона⁶. Оно стало означать просто любую историю от начала чего-либо или древнюю историю. «Иудейские древности» («Ἰουδαϊκῆ Ἀρχαιολογία») Иосифа Флавия — это история евреев от начала до времен самого Иосифа; «Римские древности» («Ῥωμαϊκῆ Ἀρχαιολογία») Дионисия Галикарнасского — это история Древнего Рима. Не существовало

⁵ Здесь важнейшее значение имеет работа: *Jacoby F. Charon von Lampsakos // Studi Italiani Filologici Classici*. Т. XV. 1938. P. 218. Очевидна разница между «разговорами о давних временах» у Гиппия и понятием истории у Фукидида. Не так очевидны отличия между гиппиевыми «разговорами о давних временах» и ἱστορία Геродота, хотя, на мой взгляд, они весьма ощутимы. Гиппий собирал и делал доступной информацию, которая 1) была труднодоступной, 2) уходила своим происхождением в далекое прошлое и 3) имела каталогизированную форму. Геродотовская история состоит из одного главного сюжета, в основном охватывает события недавнего прошлого и (по крайней мере в целом) выводит на первый план более правдоподобную версию событий, не отгесняя при этом менее правдоподобные сведения (*Pauly-Wissowa. Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*. Stuttgart, 1894–1912. Suppl. II. s.v. Herodotus. Col. 467 ff.). Ср. с тем, что говорит Дионисий Галикарнасский в *De Thucyd.* 5.

⁶ Ср.: *Dionys. Hal.* I. 4, 1; *Strabo* IX. 14, 12. P. 530; *Diod. Sic.* ii. 46, 6; *Flavius Josephus. Ant. Iud.* I. 1, 5.; I. 3, 94 (об Иерониме Египетском ср.: *Jacoby F. Jeronymus von Ägypten // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*. Stuttgart: J.B. Metzler. 1890–1980. Bd. VIII. Col. 1560). Нам неизвестно, что представляла собой «Археология», упоминаемая в числе трудов философа Клеанфа. Это название было присвоено одному из сочинений Семонида (VII в. до н. э.), см.: *Suidas. s.v. Σιμωνίας* и *Maas P. Σιμωνίας // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*. Bd. IIIA, 185. Также Фанодем (IV в. до н.э.) называл им «Аттиду». Ср. также: *Philostr. Vita Apoll.* Tyan. ii. 9 и *Proclus. Comm. ad Timaeum*. P. 31 C–E (I. P. 101–102 Diehl). Ῥωμαϊκῆ ἱστορία (*Steph. Byz. s.v. Ἀβοριγίνες*) и Ῥωμαϊκῆ ἀρχαιολογία (*Steph. Byz. s.v. Νομαντία*) царя Юбы, видимо, являются одним и тем же сочинением (*Jacoby F. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*. Bd. IX. Col. 2392).

собирающего названия, которое охватывало бы все систематические труды о прошлом. Но такие трактаты писались, разумеется, в большом количестве, особенно в качестве побочных продуктов локальной историографии. Их заголовки отсылают либо к месту, либо к институту, являвшимся объектом исследования: «История Аргоса» («Ἀργολικά»), «О жертвоприношениях у Лакедемонян» («περὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι θυσίων»), «О неизвестных именах» («περὶ ἀδόξων ὀνομάτων») и т.д. Религиозные обычаи и политические учреждения были самым обычным объектом исследований, в которых были задействованы филология, география и хронология. В перипатетической школе объединили свои силы философия и систематическое знание о прошлом⁷.

Римляне последовали этому примеру. Рим уже породил ученых, интересовавшихся либо происхождением италийских городов, либо особенностями римских учреждений, либо — что по сути то же самое — интерпретацией древних текстов, как например Варрон, который предпринял попытку дать систематическое описание римской жизни, рассматривая ее с точки зрения ее основ в прошлом. Ни один из эллинистических ученых, как представляется, не ставил своей целью описать *все* аспекты жизни страны так систематически, как это сделал Варрон. Изданные им «Божественные и человеческие древности» («Antiquitates divinae et humanae») были встречены его современником Цицероном⁸ как откровение. Они задавали новый стандарт и, возможно, дали новое имя науке: «древности» (antiquitates). У Варрона систематический характер этого типа эрудиции достиг совершенства. Хотя мы не уверены, что он был первым, кто ввел в употребление название «antiquitates», есть некоторые исторические основания для того, чтобы считать его отцом современных антикварских исследований. Под древностями он имел в виду систематическое описание римской жизни по свидетельствам, которые представлялись языком, литературой и обычаями. Варрон в «Книгах о человеческих делах» («Rerum humanarum libri») задавался вопросом: «Какие люди что, где и когда делают» (Qui (homines) agant, ubi agant, quando agant, quid agant); при этом под «людьми» (homines) он, как справедливо заметил св. Августин⁹, имел в виду римлян¹⁰. Его исследование, конеч-

⁷ Jacoby F. Klio. T. IX. 1909. P. 121. Ср.: Atthis. 1949. P. 117 (о Филокоре как историке, отделившем историю от древностей). См.: Tresp A. Die Fragmente der griechischen Kultschriftsteller. Gießen, 1914. (Religionsg. Versuche und Vorarbeiten. XV, I); а также его статью в: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. Suppl. IV. Col. 1119.

⁸ Ac. Post., I. 8.

⁹ De. civ. dei. VI. 4.

¹⁰ Место Варрона в истории антикваров требует изучения. См. библиографию в: Dahlmann H. Terentius Varro // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. Suppl. VI.; Della Corte F. Enciclopedisti latini. Genoa, 1946. P. 33–42 (а также La filologia latina dalle origini

но, имело более непосредственное касательство к политической жизни, чем какой бы то ни было эллинистический трактат о древностях какого-нибудь греческого города. Письмо Гая Атея Капитона к коллеге и конкуренту — антиквару Марку Антистию Лабеоу дает нам представление о том, какие политические последствия могло иметь изучение древностей для современников Августа: «Sed agitabat hominem libertas quaedam nimia atque vecors, tamquam eorum, divo Augusto iam principe et rempublicam obtinente, ratum tamen pensumque nihil haberet, nisi quod iussum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset» [Однако, — писал [Капитон], — излишняя и неразумная свобода настолько его беспокоила, что, когда божественный Август был уже принцем и руководил государством, он все же ни в чем не видел основательности и весомости, кроме тех положений, о которых прочел, будто они были одобрены и узаконены в римскую старину]¹¹. Но несмотря на усилия Варрона и его последователей «древности» так и не стали политической историей¹².

Средневековье сохранило классический интерес к надписям и археологическим артефактам прошлого. Надписи иногда собирали. На памятники обращали внимание. Утрачена — несмотря на напоминание, содержащееся в «Граде Божьем» Августина, — была варроновская идея «древностей» — идея, что можно восстановить цивилизацию путем систематического собирания всех реликвий прошлого¹³. Задерживаться на том, какие этапы, от Петrarки до Бьондо, прошло повторное открытие этой идеи, у нас нет

a Varrone. Torino, 1937. P. 149). Фрагменты из сочинения «Antiquitates» можно найти в: *Fasti* / R. Merkel (ed.). Beroloni, 1841. CVI; *Mirsch P. De M. Terenti Varronis Antiquitatum Rerum Humanarum libris XXV // Leipziger Studien*. 1885. Bd. V. S. 1. О различиях между римскими и греческими антикварами см. комментарий к 273 в: *Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker*. Berlin, 1926. Bd. IIIa. S. 248 ff.

¹¹ Aul. Gell. XIII. 12, 2 (рус. пер. А.Г. Грушева. — *Примеч. ред.*).

¹² См. упоминания об антикварах в: *Plinius*. N.H. Praef. 24; *Tac.* Dial. 37. Полную историю римских антиквариев от Фенестеллы до Иоанна Лида еще предстоит написать. Библиографию о Плутархе см. выдержку из К. Циглера: P.W. s.v. *Plutarchos*. Col. 222.

¹³ Сведения о средневековых антикварских исследованиях содержатся в: *Adhémar J. Influences Antiques dans l'Art du Moyen Age Français*. L., 1939. P. 43–131; *Peabody Magoun F. The Rome of two Northern Pilgrims // Harvard Theological Review*. 1940. Vol. XXXIII. P. 267–290; *Valentini R., Zucchetti G. Codice Topografico della Città di Roma*. T. III. Roma, 1946. (Fonti Storia d'Italia); а также: *Degrassi A. Epigraphica*. T. III. Roma, 1946. P. 91–93; и в многочисленных сочинениях А. Сильвани по исследованию эпиграфических сборников в Средние века (*Diss. Pont. Accad. Archeol.* T. XV. 1938. P. 107, 249; *Ibid.* T. XX. 1943. P. 49; *Scritti in onore di B. Nogara. Città del Vaticano*, 1937. P. 445 etc.). Ср. также: *Lasch B. Das Erwachen und die Entwicklung der historischen Kritik im Mittelalter*. Breslau, 1887; *Schulz M. Die Lehre von der historischen Methode bei den Geschichtsschreibern des Mittelalters*. Berlin, 1909.

возможности. У Бьондо в «Риме торжествующем» уже присутствует то четырехчастное деление материала, которое сохранилось и во многих позднейших справочных изданиях: «древности» он делит на «публичные, приватные, священные, военные» (*antiquitates publicae, privatae, sacrae, militares*)¹⁴. Надо сказать, что слово *antiquitates* в книжных заглавиях XV в. означало либо просто историю («Древности рода Висконти» («*Antiquitates Vicescomitum*») Г. Мерулы, 1486), либо руины памятников («Римские древности» («*Antiquitates urbis*») Помпония Лета): изначальное, варроновское значение, подразумевавшее описание всей жизни страны, вернулось в качестве названия книги, пожалуй, только у Дж. Россфилда, по прозвищу Розинус, в его «Всеобъемлющий свод римских древностей» («*Antiquitatum Romanarum Corpus Absolutissimum*») (1583). Однако представление, что *antiquarius* — это человек, любящий, собирающий и изучающий старинные предания и предметы, но при этом не историк, — является одним из наиболее типичных представлений для гуманизма XV и XVI вв.¹⁵ Волнение, кото-

¹⁴ Применение метода Бьондо к антикварному знанию Античности пока не изучено. См.: *Gutkind C.S. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft. Bd. X. 1932. S. 548.* Ср. также: *Joachimsen P. Geschichtsauffassung und Geschichtsschreibung in Deutschland unter dem Einfluß des Humanismus. Bd. I. Leipzig, 1910. S. 15 ff.* Огромную важность представляет связь между филологией и работами антикваров, по крайней мере со времени «*Liber Miscellaneorum*» Полициано (значимость этой работы по достоинству оценена в: *Funaioli G. Lineamenti di una storia della filologia attraverso i secoli // Studi di Letteratura Latina. 1946. T. I. P. 284*) и «*Antiquae Lectiones*» Коэлиуса Родигинуса (*Ricchieri L. Sicviti Antiquarivm Lectionvm Commentarios... Venetiis, 1516*). Оба этих труда нужно обстоятельно изучить. О начальном этапе развития египтологии см. классическую работу: *Giehlow K. Die Hieroglyphenkunde des Humanismus // Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. 1915. Bd. XXXII. S. 1–222.* Ср. также: *Gombrich E.H. Icones symbolicae // Journal of Warburg Institute. 1948. Vol. XI. P. 163–192.*

¹⁵ Свидетельства источников об употреблении слов «*antiquarius*», «*antiquario*», «*antiquary*» и т.д. в европейских литературах еще не собраны. «*Vocabolario della Crusca*» дает: «*e poichè io mi avveggo al vostro scrivere che siete in ciò piuttosto storico che antiquario*» («и посему замечу, что вы пишете скорее как историк, чем как антиквар») (*Caro A. Lettere Familiari. T. III. Milano, 1807. P. 190*). А также: «*Antiquari <...> cioè amatori ed ammiratori di cose antiche*» («Антиквары <...> сиречь любители и почитатели древностей») (*Speroni S. Dialogo della Istoria // Opere. Venezia, 1740. T. II. P. 300*). Однако Сабадино дельи Ариенти в 3-й новелле сборника «*Le Porretane*», написанной в 1487 г., отмечает: «*(Feliciano da Verona) cognominato Antiquario per aver lui quasi consumato gli anni soi in cercare le generose antiquità de Roma, de Ravena et de tutta l'Italia*» («(Феличиано Веронский), прозванный Антикварием за то, что он посвятил годы изысканиям изобильных древностей Рима, Равенны и всей Италии»). Ср. также письмо Антонио Леонарди к Феличиано Феличе о Чириако д'Анкона в: *Colucci G. Antichità Picene. T. XV. Fermo, 1792. P. CLIV.* Об упоминании Лиланда и полученного им от Генриха VIII титула антиквара в *Oxford English Dictionary s.v. Antiquary* см. приложение в конце данной статьи. В Камден называл себя «*antiquarius*», см. «*Epistula*» в: *Camden W. Britannia, sive florentissimorum regnorum, Angliae, Scotiae, Hiberniae, chorographica descriptio. L., 1586.* О значении слова «*antiquitates*» до Розина писал А. Фульвио: *Fulvio A. Antiquitates urbis. Romae, 1527; Ligorio P. Libro Di M. Pyrrho*

рое во время первых исследований охватывало антикваров эпохи Бьондо, изображено в «Ликовании» («Iubilatio»), написанном другом Мантеньи Феличе Феличиано¹⁶. Рассудительная и скрупулезная научная работа великих антикваров XVI в. (Сигонио, Фульвио Орсини, Августина, Юста Липсия) нашла отражение в их переписке. Они сделали больше, чем Варрон, потому что соединили литературные, археологические и эпиграфические свидетельства, отдавая предпочтение литературе и надписям. Они постепенно соби-

Ligori Napolitano, *Delle Antichità Di Roma*. Venetia, 1553; *Panvinio O. Antiquitates Veronenses*. S. l., 1648 (издано посмертно). Работа Г. Болоньи (1454–1517), которая, вероятно, называется «Antiquarium», была частично опубликована в: *Supplemento II al Giornale dei Letterati d'Italia*. Venezia, 1722. P. 115. Об этом см.: *Mazzucchelli G. Gli scrittori d'Italia: cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani*. T. II. Brescia, 1758. 3. P. 1490. Поэма А. Фульвио называется: *Fulvio A. Antiquaria urbis. Romae*, 1513. Работа Анния из Витербо: *Nani G. Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium. Romae*, 1498 — является знаменитым сборником сочинений псевдоисториков Античности. Ср.: *Danielson O.A. Annii von Viterbo über die Gründungsgeschichte Roms // Corolla Archaeologica Principi Hereditario Regni Sueciae Gustavo Adolpho dedicata*. Leipzig, 1932. P. 1. По XVII в. см. также: *Baldinucci F. Notizie de' Professori del Disegno*. T. VI. Firenze, 1728. P. 76: «[Il granduca Cosimo III] lo costituì soprintendente di esse [avanzi della dotta e venerabile antichità] e come oggi si dice suo antiquario» («Великий герцог Козимо назначил его суперинтендантом над останками ученой и почтенной древности, — как мы бы сказали сегодня, своим антикваром»). Имеется в виду Бастиано Биливерт.

¹⁶ Текст «Iubilatio» в: *Kristeller P. Andrea Mantegna*. Berlin, 1902. S. 523–524. Важные сведения об антикварах конца XV в. содержатся на первых страницах в: *Rucellai B. De urbe Roma // Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerae christianae milesimo ad millesimum sexcentisimum*. T. II. Florentiae, 1770. P. 783–784. О нем см.: *Gilbert F. Journal of Warburg Institute*. 1949. Vol. XII. P. 122. Имя Якопо Антиквари (о нем см.: *Vermiglioli G.B. Memoire di I.A. Perugia*, 1813) давало повод для каламбуров, которые сами по себе информативны. Марсилио Фичино в своем послании к нему (*Ficinus M. Epistolae*. T. CXXXIX. Venetiis, 1495) писал: «Ceteri te Iacobe tantum cognominant antiquarium; academia vero et antiquarium pariter et novarium tamquam antiquitatis innovatorem atque cultorem. Quid autem esse aliud opinamur renovare antiqua quam aurea illa saecula revocare regnante quondam Saturno felicia» («Большинство людей знают тебя лишь как антиквария; в академии же ты зовешься и антикварием, и новатором, будучи обновителем и ревнителем древности. Ведь что же следует нам считать обновлением древности, как не возрождение тех золотых и блаженных веков, когда на земле царствовал Сатурн»). Ср. также: *Mantuanus I.B. Opera*. T. III. Antverpiae, 1576. P. 316–317:

Tanta humanarum facta est mutatio rerum

Ut videar mundo vivere nunc alio.

At quoniam noster manet Antiquarius aevi

Maxima pars, mundus qui fuit ante manet.

Optima pars et res et rerum nomina servat.

Este alacres, mundus qui fuit ante manet.

(Как пременился вещей человеческих призрачный облик!

Кажется, будто в другом мире живу я теперь.

Все ж до тех пор, пока наш жив Антикварий, избранник

Века, что прежде царил, — мир, прежде бывший, пребудет.

Первенец века блюдет вещей и имен постоянство.

Возвеселитесь, друзья, — мир, прежде бывший, пребудет).

рали по кусочкам римскую хронологию, топографию, право и религию: они обнаружили «Подземный Рим» («Roma sotterranea»). Последовательно завоеывая новые области, антиквары распространили свои исследования на Грецию, на местные древности Франции, Германии и Англии, а также на восточные царства. Они комментировали труды историков и дополняли их, но обычно не утверждали, что сами являются историками. За образец они взяли себе «Рим торжествующий» Бьондо — произведение, которое представляло собой не историю, а систематическое описание. Римская история была написана Титом Ливием, Тацитом, Флором, Светонием, авторами жизнеописаний Августов. Не было причин писать ее заново, потому что в основном она могла быть написана только так же, как у Тита Ливия, Тацита, Флора и Светония. Древнюю историю все еще писали как часть всемирной (эту традицию особенно ревностно соблюдали протестантские университеты), но раздел всемирной истории, посвященный Греции и Риму, практически состоял из краткого пересказа древних источников в правильном хронологическом порядке — едва ли это было делом серьезных исследователей «antiquitas»¹⁷.

Когда древнюю историю изучали ради нее самой, независимо от антикварских исследований и всемирной истории, это делалось либо ради того, чтобы обеспечить материал для моральных и политических размышлений, либо ради того, чтобы облегчить понимание текстов, которые читали преж-

¹⁷ Главные работы по антикварам XVI–XVII вв. собраны в: *Graevius J.G., Gronovius J. Thesauri / Suppl. J. Polenus. Venetiis, 1737*. Результаты были обобщены в: *Pitiscus S. Lexicon Antiquitatum Romanarum (Sacrae et Profanae, Publicae et Privatae, Civiles et Militares). Venetiis, 1719. Fabricius J.A. Bibliotheca Antiquaria sive introductio in notitiam scriptorum, qui antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas Et Christianas scriptis illustraverunt. Hamburgi et al., 1713* (2-е изд., 1760) остается неоценимым руководством к этой литературе. Но ср. также: *Polyhistor. Lübeck, 1708. Lib. V. Cap. ii “De scriptoribus antiquariis”*. Конечно, словари Дюканжа (*Du Cange Ch. d. F. Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis... Lutetiae Parisiorum, 1678* и *Idem. Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. Lugduni, 1688*) тоже должны, в определенной мере, рассматриваться в рамках антикварского знания. Ср. определение антикварских штудий XVII в.: *Naudé G. De Studio liberali // Variorum Auctorum Consilia et Studiorum Methodi / Th. Crenius (col.). Rotterdam, 1692. P. 602–603*. Историю изучения христианского Рима можно найти в: *De Rossi G.B. La Roma Sotterranea Cristiana. T. I. Frankfurt a. M., 1864. P. 1–82*. Главная работа А. Бозио — *Bosio A. Roma sotterranea. In Roma, 1632* — опубликована посмертно. Изучение деятельности антикваров в XVII в. должно включать исследование кабинетных каталогов. Классификацию антикварских штудий в XVII в. см.: *Schmeizel M. Versuch zu einer Historie der Gelehrtheit. Jena, 1728. S. 758*. Но ср. определение Й.А. Фабрициуса (*Fabricius J.A. Bibliotheca Antiquaria... P. 228*): антиквара интересуют «quicquid enim agunt homines, quoscumque ritus et mores observant, vel publice susceptos obeunt, vel privatim et domi» («все действия, которые совершают люди, все исполняемые ими обряды и обычаи, которых они придерживаются, — как в общественной жизни, так и в частной»). Об эволюции от чистой нумизматики к историческому исследованию см: *Tristan J. Commentaires historiques contenant l’histoire generale des Empereurs, imperatrices, Caesars et tyrans de l’empire romain illustrée, enrichie et augmentée par les inscriptions et enigmes de treize à quatorze cens Medailles. P., 1635*. Это очевидный шаг к истории Римской империи.

де всего по стилистическим причинам. Правдивость и полноту традиционных источников практически не подвергали сомнению. Насколько я знаю, идея, что можно написать историю Рима, которая пришла бы на смену Титу Ливию и Тациту, в начале XVII в. еще не родилась. В Оксфордском университете по уставу обязанность первого кемденовского прелектора по истории (1622) заключалась в комментировании Флора и других древних историков¹⁸. Как объяснял Кемден, этот преподаватель «должен читать гражданскую историю и в ней делать такие наблюдения, которые были бы наиболее полезны и выгодны для младших студентов Университета, чтобы направлять и наставлять их в знании и использовании истории, древности и прошлого». В Кембриджском университете первый профессор истории был уволен, потому что его комментарии к Тациту сочли политически опасными (1627)¹⁹. И в Оксфорде, и в Кембридже древняя история преподавалась в форме комментариев к античным историкам. Современные люди писали «antiquitates», а не римскую (или греческую) историю.

С другой стороны, в большинстве произведений жанра *Artes Historicae* XVI–XVII вв. труд антикваров не рассматривался как историческая работа²⁰. Те авторы, которые принимали его во внимание, подчеркивали, что антиквары — несовершенные историки, которые помогают спасти реликвии прошлого, слишком фрагментарные, чтобы быть предметом настоя-

¹⁸ См.: *Stuart Jones H.* Oxoniensia. Т. VIII–IX. Oxford, 1943–1944. P. 175. Частично источник-овый материал был уже опубликован В.Х. Аллисоном в: *Allison W.H.* The First Endowed Professorship of History and Its First Incumbent // *American Historical Review*. 1922. Vol. XXVII. P. 733. Метод первого кемденовского прелектора Д. Уира ясно изложен в его: *Whear D.* Relectiones Nyemales, De Ratione et Methodo legendi utrasque Historias civiles et ecclesiasticas. Oxonii, 1637. Замысел его учения можно узнать из вступительной речи. В английском переводе 1685 г. читаем: «История есть реестр и изъяснение конкретных дел, созданные для той цели, чтобы сохранилась память об этих делах и таким образом были тем более очевидно подтверждены универсалии, которые могут научить нас, как жить хорошо и счастливо». Уир, конечно, не скрывал, что его вдохновляло определение истории, данное Цицероном. Второе издание английского перевода в 1694 г. включает также работу Додвелла: *Dodwell H.* Invitation to Gentlemen to Acquaint Themselves with Ancient History // *Wheare D.* The Method and Order of Reading Both Civil and Ecclesiastical Histories. L., 1694, написанную в том же духе, в которой автор пытается (не очень удачно) опровергнуть классическое возражение против утилитарного оправдания древней истории: «Почему не могут наши современные истории быть достаточными для воспитания джентльменов? Ведь они обычно пишутся на языках, которые джентльменам более понятны» (VIII). Крайне ценные свидетельства об учебном процессе в Оксфорде находим также в лекциях Уира, которые сохранились в рукописном виде (MS Auct. F. 5.10–11) в Бодлианской библиотеке. В будущем я надеюсь опубликовать их образчик.

¹⁹ *Mullinger J.B.* The University of Cambridge. Vol. III. Cambridge, 1911. P. 87–89.

²⁰ Например: *Beni P.* De Historia. Т. I. Venetiis, 1622. P. 26–27 признает ценность монет, надписей и т.п. в качестве исторических источников, однако «veraе et germanae historiae laus literarum monumentis ac narrationi sit reservanda» («слава исторической истинности и подлинности принадлежит литературным трудам и повествованиям»).

щей истории. Бэкон в своем «Прогрессе учености» (1605) различал «древности», «записки» и «историю в подлинном смысле этого слова». Древности он определял как «стертую историю или некие остатки истории, которые случайно избежали кораблекрушения времени» (II, 2, I). Герхард Иоганн Фоссиус в «Книге о филологии» (1650) повторил это определение: «*Historia civilis comprehendit antiquitates, memorias et historiam iustam. Antiquitates sunt reliquiae antiqui temporis, tabellis alicuius naufragii non absimiles*» («Гражданская история включает в себя древности, записки и историю в подлинном смысле слова. Древности суть уцелевшие фрагменты древних времен, подобные обломкам потерпевшего крушение корабля»). Стоит заметить, что Фоссиус не рассматривал древности в «*Ars Historica*»: здесь его интересовала только *historia iusta*. Казалось бы, *historia iusta*, или совершенная история, применительно к классическому миру, — это прежде всего история, написанная древними. То, что не удостоилось внимания древних историков, могло быть спасено современными антикварами.

Сколь бы ясным ни казалось это различие, приложимо оно было только к истории древних Греции и Рима. Авторитет древних историков был настолько велик, что никто всерьез еще не задумывался о том, чтобы заменить их. По-иному обстояло дело в изучении других европейских национальных и локальных историй, которые, если не считать их начальных этапов, совпадали с исследованием Средневековья²¹. Еще не сформировался культ Средних веков, который конкурировал бы с идеализацией Античности. Ни одна средневековая хроника не могла претендовать на такой авторитет, который препятствовал бы переписыванию истории Средних веков. Если каноническая история Греции и Рима существовала, то никакой канонической истории Великобритании, Франции, Германии или Испании не было. Даже история Италии в целом находилась в ином положении, нежели история Древнего Рима. Более того, политические и религиозные соображения, особенно после Реформации, побуждали к радикальному переписыванию различных национальных и локальных историй помимо древнегреческой и древнеримской, с использованием всех вспомогательных исследовательских средств, которые могли обеспечить библиотеки и архивы. Сигонио, который делал просто антикварскую работу, когда занимался историей Античности, написал в своих «Истории Западной Империи в двадцати книгах» («*Historiarum de Occidentali Imperio Libri XX*») (1577) и «Истории Итальянского Королевства в двадцати книгах» («*Historiarum de Regno Italiae Libri XX*») (1580) обычную средневековую историю. В большинстве случа-

²¹ Ср., например: *Flower R. Laurence Nowell and the Discovery of England in Tudor Times // Proceedings of British Academy. 1935. Vol. XXI. P. 47–73*; *Douglas D. English Scholars. L., 1939*; *McKisack M. Samuel Daniel as Historian // Review of English Studies. 1947. Vol. XXIII. P. 226–243*. Также см.: *Adams E.N. Old English Scholarship in England from 1556 to 1800. Yale, 1917*.

ев можно усомниться в том, что те, кто, называя себя антикварами, исследовали прошлое Великобритании, Франции и проч., имели в виду что-то иное, нежели написание обычной истории, основанной на свидетельствах из первоисточников. Лиланд любил называть себя *antiquarius*, и даже утверждалось, что король формально назначил его на должность антиквара; однако никаких доказательств этому, кажется, нет. Но он заявлял, что намеревался использовать собранные материалы для работы, которая должна была называться «О древности Британии» («*De Antiquitate Britanniae*») или же «Гражданская история» («*Historia civilis*»). В то время как исследователь латинских и греческих древностей не чувствовал себя вправе называться историком, исследователь *древностей* Великобритании, Франции, и проч. был отличим от исследователя *истории* данных стран лишь формально — и потому был склонен забывать об этом различии. В XVI — начале XVII в. существовали и антиквары, и историки (зачастую неотличимые друг от друга), занимавшиеся неклассическим и постклассическим миром, но только антиквары, когда речь шла об Античности.

Ситуация изменилась во второй половине XVII в.²² Разница между исследователями классического мира и неклассического стала исчезать. Стали появляться книги по истории древних Рима и Греции, не подчиненные схеме всеобщей истории. Целью их было либо представить рассказ о событиях, свидетельства о которых обнаруживались главным образом в монетах, надписях и археологических находках, либо отобрать и упорядочить то, что было самым надежным в древних литературных свидетельствах, либо предложить реинтерпретацию древних свидетельств с некоторой моральной и политической точки зрения. Более того, не погрешив против истины, можно сказать, что в общем каждый исторический труд конца XVII — начала XVIII в. прежде всего, нацелен на достижение одной из этих и только этих трех целей. Вальян написал историю Птолемеев и Селевкидов с помощью монет (1701, 1681); Тильмон написал историю Римской империи, чтобы передать то, что было самого надежного в античных литературных источниках (1693–1707); Ичард (ок. 1697) и Верто (1719) ввели в римскую историю популярную идею о движении истории посредством революций. Освященную веками форму беседы уже не считали достаточной для достижения третьей цели. Даже незначительные авторы того века знали о

²² Ср. в основном: *Scherer E.C. Geschichte und Kirchengeschichte an den Deutschen Universitäten. Freiburg i. Br., 1927; Scheele M. Wissen und Glaube in der Geschichtswissenschaft. Studien zum historischen Pyrrhonismus in Frankreich und Deutschland. Heidelberg, 1930; Gentile G. Contributo alla storia del metodo storico. 2 ed. // Studi sul Rinascimento. Firenze, 1936. P. 272–302; Müller H. J. M. Chladenius, 1710–1759. Ein Beitrag zur Geschichte der Geisteswissenschaften, besonders der historischen Objektivität // Aufsätze zur Prinzipienlehre der Literaturgeschichte / R. Unger (Hrsg.). Berlin, 1929. Bd. I. S. 87.*

новизне, заложенной в производстве книг по греческой и римской истории. Л. Ичард пишет в предисловии к своей «Римской истории от основания Города до совершенного устроения Империи Августом» (3-е изд., 1697):

Никогда прежде не бывало ничего подобного на нашем языке, как не бывало и ничего, касающегося римских дел, но либо то, что было, было смешано с намного большим количеством другой истории, либо охватывало всего несколько лет из этой части. Среди таких работ я не нахожу ни одной, достойной внимания, помимо Рейли, Росса, Хауэла, автора «Истории двух триумvirатов», и Педро Мехии, автора «Истории Империи», из каковых оба последние — переводы.

Иезуиты Катру и Руйе снабдили свою «Римскую историю» (публикованную начиная с 1725 г.) предисловием, содержащим такие еще более красноречивые слова:

Jusqu'à nos tems, la République des Lettres se trouvoit destituée d'un secours si nécessaire qu'on s'obstinoit pourtant à lui refuser. A la vérité les sçavants de profession s'étoient épuisés en recherches sur les Coûtumes, sur les Moeurs, sur la Milice, sur le genre de Gouvernement, sur les Loix, et sur l'habillement des Romains <...>. Les noms de Tite-Live, de Denis d'Halicarnasse, de Polybe, de Plutarque, et de tant d'autres, les avoient fait respecter, jusqu'à n'oser les incorporer ensemble²³.

Как объясняют эти два иезуита, антиквары предшествовали историкам, потому что в течение долгого времени никто не смел заменить Тита Ливия и ему подобных.

Антиквары, собирая бóльшую часть своих свидетельств не из литературных источников, способствовали тому, что потребность в новых историях стала очевидной. Но подъем новой историографии о Греции и Риме неизбежно в конечном счете должен был поднять вопрос, имели ли статичные описания Древнего мира право существовать далее бок о бок с историческими описаниями. Оба вопроса заслуживают тщательного анализа. Важность, придаваемая теперь нелитературным свидетельствам, понятна только на фоне великой реформы исторического метода, которая состоялась во второй половине XVII в. С другой стороны, ценность антикварского подхода к Греции и Риму подвергалась сомнению и в XVIII, и в XIX в., — по разным причинам в каждом столетии.

²³ «Вплоть до наших дней Республика Ученых оставалась лишена той помощи, которая ей была совершенно необходима, но в которой ей тем не менее неизменно отказывали. В самом деле: профессиональные ученые все свои усилия направляли на исследование Обычаев, Нравов, Военной службы, форм Правления, Законов, одежды древних Римлян. <...> Имена Тита Ливия, Дионисия Галикарнасского, Полибия, Плутарха внушали такое к себе уважение, что никто не осмеливался поставить рядом с ними свое собственное». — *Примеч. пер.*

3. Спор о ценности исторических свидетельств в XVII–XVIII вв.

а) Условия спора

В XVII в. религиозные и политические споры пронизали историю и дискредитировали историка. Предвзятость легко усматривали везде, и естественный вывод из этого состоял в том, чтобы не доверять всему племени историков. В то же время предпринимались попытки поставить историческое знание на более прочную основу, тщательно анализируя источники и, по возможности, опираясь на иные свидетельства, нежели те, которые приводили историки прошлого. Скептическая позиция преобладала, однако этот скептицизм не всегда подразумевал полный пессимизм относительно возможности надежного исторического знания²⁴.

Критические умы подчеркивали, как мало было известно. Ла Мот Ле Вайе в своем эссе 1668 г. сформулировал принцип, получивший известность под названием исторического пирронизма: «О том, как мало достоверного можно найти в истории» («Du peu de certitude qu'il y dans l'histoire»). Р. Саймон и Бентли показали, до чего могла доходить скрупулезная критика как в священной, так и в светской истории. В 1682 г. Бейль начал раскрывать свои намерения в «Общей критике истории кальвинизма», где он заявил: «Il est bien mal aisé de parvenir jusqu'à l'évidence» («нелегко добраться до очевидности»); и далее: «En un mot, il n'y point de Filouterie plus grande que celle qui se peut exercer sur les monumens historiques» («одним словом, нет большего Мошенничества, чем то, которое практикуют авторы исторических сочинений»). В последующие десятилетия интеллектуальная Европа была подавлена мощной эрудицией и глубоким критическим анализом, которые были представлены в «Историческом и критическом словаре», ставшем бестселлером несмотря на свои размеры. Эрнст Кассирер однажды принял Бейля за прототип современного «эрудита», у которого нет других забот, кроме приращения знания²⁵. Для современников он был Бейль-скептик, «l'illustre Bayle qui apprend si bien à douter» («блистательный Бейль, превосходный учитель сомнения»), как сочувственно писал о нем

²⁴ Помимо знаменитых трудов П. Хэзарда и книги: *Willey B. The Seventeenth Century Background. Studies in the Thought of the Age in Relation to Poetry and Religion*. N.Y., 1934; ср., например: *Pintard R. Le libertinage érudit dans la première moitié du XVII Siècle*. T. I. P., 1943. P. 45; *Rossi M. Alle fonti del deismo e del materialismo moderno*. Firenze, 1942; *Rice J.V. Gabriel Naudé, 1600–1653 (John Hopkins Studies in Romance Literatures, XXXV)*. Baltimore, 1939. *Wickelgren F.L. La Mothe Le Vayer*. P., 1934; *Robinson H. Bayle the Sceptic*. N.Y., 1931.

²⁵ *Cassirer E. Die Philosophie der Aufklärung*. Tübingen, 1932. S. 269.

барон Гольбах²⁶. Его исторический пирронизм был наиболее очевидным образом связан с его недоверием к догмам и благочестивым верованиям. У другого пиррониста, Даниэля Юэ — епископа и наставника дофина, — который в 1722 г. уже после своей смерти, вызвал скандал своим трактатом о слабости человеческого понимания, абсолютный скептицизм определенно преобладает над скептицизмом по поводу исторических источников. Тут важны два обстоятельства. Во-первых, Юэ пришел к скептицизму в результате многолетней первопроходческой работы по сравнительному исследованию религии, наиболее важным продуктом которой является «Доказательство истинности Евангелия» («*Demonstratio evangelica*») (1672)²⁷. Во-вторых, опровержение его пирронизма, второе по важности после классического, данного Ж.-П. де Круза (1733), было дано антикваром — а именно Л.А. Муратори, в «О могуществе человеческого разума, или Опровержение пирронизма» («*Delle forze dell'intendimento umano ossia il pirronismo confutato*»). Муратори (который, кстати, предпочитал думать, что посмертная работа Юэ была подделкой, написанной каким-нибудь адептом опасной секты Ла Мота Ле Вайе и Бейля) понимал, что историческое знание в опасности, если не признано, что есть «*cose sensibili delle quali si ha e si può avere una chiara e indubitata idea*» («чувственно воспринимаемые вещи, относительно которых мы имеем и можем иметь ясную и не подлежащую сомнению идею»).

Исторический пирронизм совершал нападки и на традиционное преподавание истории, и на традиционные религиозные верования²⁸. Поэтому неудивительно, что члены религиозных конгрегаций (болландисты, мавристы) внесли такой важный вклад в дело различения разумных и неразумных сомнений в истории. Но не только они вели поиск надежных исторических правил. Дискуссия о пирронизме бушевала в немецких протестантских университетах, которые как раз в то время начали вносить заметный вклад в исторический метод. Вместо историков и философов спор теперь вели

²⁶ *Holbach B. de. Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral.* Т. II. Ch. 12. P., 1821 (1770). P. 354. N. 1. Эта работа уже цитировалась в: *Hazard P. La pensée européenne au XVIIIe siècle.* Т. III. P., 1946. P. 33.

²⁷ *Dupront A. P. D. Huet et l'exégèse comparatiste au XVII Siècle.* P., 1930. Я не могу углубляться в теологические дискуссии о соотношении исторической истины и религиозных верований, но см., например: *Le Clerc J. La vérité de la religion chrétienne // De l'incredulité.* Amsterdam, 1696, где содержатся ссылки на исторический метод (P. 327).

²⁸ *Traube L. Vorlesungen und Abhandlungen.* München, 1909. Bd. I. S. 13 ff. Эта работа до сих пор остается основной по данной теме. Очень ценную информацию см. также: *Wachler L. Geschichte der historischen Wissenschaften.* Bd. II. Göttingen, 1820; *Dunin Borkowski S. v. Spinoza.* Bd. III. Münster, 1936. S. 136–308, 529–550. См. также: *Edelman N. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages.* N.Y., 1946.

юристы, которых всегда заботила надежность свидетелей и потому они располагали богатым опытом в данной области. Все эти люди пытались определить характеристики того, что они могли бы назвать надежными свидетельствами. При этом, разумеется, по-прежнему писались книги, содержавшие риторические правила для искусства историописания, — так, несколько классических пособий этого типа написали иезуиты (П. Рапен, П. Ле Муан). Но появился и новый тип трактатов об историописании, который покончил с ренессансным риторическим *Ars Historica* и практически ограничивался методом интерпретации и критики источников. Некоторые учебники в основном трактовали о критике текстов (т.е. об их подлинности и исправлении): важным из них был «*Ars Critica*» Ж. Ле Клерка (1697). Другие, такие как «Трактат о различных видах доказательств, служащих для обоснования истинности истории» («*Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité de l'histoire*») Г. Гриффе (1769), были посвящены, главным образом, вопросам исторической ценности первоисточников.

Один из способов ответить на этот вопрос состоял в том, чтобы провести различие между литературными свидетельствами и другими, такими как грамоты, надписи, монеты и статуи. Предполагалось, что грамоты и другие публичные документы, монеты, надписи и статуи — лучшие свидетельства, чем литературные источники. Так, один из юристов, интересовавшихся этим вопросом, писал:

Sunt vero fundamenta et causae quibus dicta veritas innuitur praecipue monumenta et documenta publica quae in archivis imperantium singulari cura adservantur. <...> Enim vero, cum non omnibus archiva publica pateant, aut temporum iniuria sint deperdita, alia eorum loco testimonia rei gestae quaerere opus est. Qualia sunt publica monumenta, columnae et statuae apud veteres hinc et inde erectae²⁹.

²⁹ «Основаниями, на которых покоится вышереченная истина, и причинами доверия к ней являются, прежде всего, государственные документы и бумаги, хранящиеся в архивах государей с величайшим тщанием. <...> Однако коль скоро не всем открыт доступ в государственные архивы, а многие документы с течением времени оказались утрачены, надлежит искать взамен этих документов другие свидетельства совершенных деяний. Таковы суть общественные памятники, колонны и статуи, которые древние возводили повсеместно». — *Примеч. пер.* (Rechenberg C.O. De autoritate [sic!] historiae in probandis quaestionibus iuris et facti. Lipsiae, 1709. P. 8.) Ср., например: «Historici authentici praefereendi sunt non authenticis: illi sunt qui ex Archivis, Actis et instrumentis publicis scripserunt, isti qui ex libris vulgaribus sua hausserunt» («Аутентичным историкам следует оказывать предпочтение перед неаутентичными: если первые создавали свои сочинения, основываясь на Архивах, Актах и государственных документах, то вторые почерпывали сведения из популярных книжек») (Schmeizelius M. Praecognita historiae ecclesiasticae. Jena, 1721. P. 85); «Quid enim contra genuina documenta publica auctoritate firmata <...> ulla cum specie dici potest?» («Что же можно возразить <...> против свидетельства подлинных и официально удостоверенных документов?») (Griesbachius I.I. Dissertatio de fide historica ex ipsa rerum quae narrantur natura iudicanda // Opuscula Academica / I.Ph. Gabler (ed.). T. I. Jena, 1824. P. 206). См. также: Eisenhart J.F. De auctoritate et usu inscriptionum in iure. Helmstedt, 1750; Crusius Ch.A. Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis. Leipzig, 1747. S. 1041 ff. «Von der historischen Wahrscheinlichkeit».

Отсюда следовало, что ценность исторического сочинения в значительной степени зависит от количества публично-правовых документов, надписей и монет, исследованных историком. В томе VI «Литературные записки Королевской Академии надписей» («Mémoires de Littérature de l'Académie Royale des Inscriptions») (1729) четыре автора (Ансельм, Де Пуильи, Салье, Фрере) обсуждали предания об основании Рима, и то, как они это делали, подразумевало общий пересмотр принципов исторической критики. Тема дискуссии была сформулирована аббатом Ансельмом так:

J'ay donc avancé que l'antiquité n'est pas esté si depourvûë qu'on l'a voulu dire des secours nécessaires à l'histoire, et qu'outre les Mémoires qui en ont esté conservez, ce qu'il y d'obscur et de confus a esté suppléé par des monuments authentiques, qui en ont fait foy...³⁰

Аргументы ученых членов Академии были позже развиты Л. де Бофором в «О недостоверности пяти первых веков римской истории» («Sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine») (1738).

С другой стороны, историк мог зависеть от того, что было всего лишь преданием, т.е. в конечном счете от рассказов людей, которые, как утверждали они сами или кто-то другой, были свидетелями описываемых событий. Таким образом, делом наивысшей важности стало определение критериев, в соответствии с которыми можно было бы доказать, что предание верно, даже если оно не подкрепляется независимыми свидетельствами, такими как монеты, надписи или грамоты. Чтобы определить, какое предание является надежным, необходимо было, конечно, ответить на ряд вопросов касательно честности (*bona fides*) свидетелей и средств ее оценки, об интерпретации свидетельств, о намеренном или ненамеренном искажении, к которому может привести интерпретация свидетельств. Школа Христиана Томазия специализировалась на обсуждении понятия *fides historica* («доверие к истории»). М. Люпен («О доверии к юриспруденции» («*De fide iuridica*»), 1699) определил его следующим образом:

³⁰ «Итак, я высказал предположение, что древность не была в такой степени, как это обычно полагают, лишена вспомогательных источников, необходимых для историка: я имею в виду не только дошедшие до нас от этого времени Записки, но и то, что все смутные и неопределенные сведения были восполнены аутентичными и достоверными свидетельствами». — *Примеч. пер.* Особо стоит упомянуть в этом томе: *De Pouilly M. Nouveaux essais de critique sur la fidelité de l'histoire // Mémoires de l'Académie des inscriptions. T. VI. 1725. P. 71–114* (а также ответ Салиера на с. 115–146). Другой трактат об историческом методе, который никогда как следует не анализировался, упоминается в Prefaces и Propylaea в: *Acta Sanctorum. Antwerpen, 1643–1940*, особенно в томах после 1675 г. издания. Ср. также: *Honoré de Sainte Marie R.P. Réflexions sur les règles et sur l'usage de la critique. Lyon, 1713–1720*. Данная работа известна мне по латинскому переводу: *Animadversiones in regulam et usum critices. Venezia, 1751*.

Fides historica est praesumptio veritatis de eo quod hominibus accidisse vel ab iis gestum esse dicitur, orta ex coniecturis circumstantiarum quae non saepe fallere solent, nullis tamen ab hominibus inventis aut praescriptis regulis adstricta, sed liberae cuiusvis ratiocinationi, a praeiudiciis tamen vacuae, relicta³¹.

Изучение Священного Писания было лишь крайним случаем анализа предания, почти не поддерживающегося независимыми свидетельствами. В отсутствие независимых документальных источников или сколько-нибудь значительного количества эпиграфического и археологического материала единственным способом ответить скептику было формулирование внутренних критериев, достаточных для того, чтобы установить bona fides источников³². Вся дискуссия о сотворенных Иисусом чудесах, шедшая между Чарльзом Блаунтом (1680) и Чарльзом Лесли (1698) и между Т. Вулстоном (1727) и епископом Шерлоком (1729) вращалась вокруг надежности авторов евангелий как свидетелей. Блаунт предполагал, что о чудесах Иисуса нет свидетельств более надежных, чем свидетельства о чудесах Аполлония Тианского; Лесли в ответ на это сформулировал «краткий и легкий метод» отбора хороших свидетелей. Был ли его метод в самом деле так короток и легок, как он думал, — другой вопрос. Даже когда под влиянием Иоганна

³¹ «Доверие к истории — презумпция истинности сообщений о том, что произошло с людьми, или о совершенных ими деяниях, основанная на гадательном заключении от обстоятельство, часто вводящих в заблуждение. Презумпция эта не подчиняется никаким правилам, изобретенным людьми; она предоставлена свободному суждению каждого, чей ум свободен от предрассудков». — *Примеч. пер.* См. в этом же ключе: *Hübener C.A. Historicus Falso Suspectus. Diss. Halle, 1706.* Диссертация, о которой можно сказать, что с нее началась вся эта дискуссия в Германии: *Eisenhart J. De fide historica commentarius, accessit Oratio de coniungendis iurisprudentiae et historiarum studiis. Helmstedt, 1679.* Айзенхардт обсуждает значение терминов «fides» («доверие»), «auctoritas» («авторитетность»), «notorium facti» («общезвестность факта»), и «notorium iuris» («судебный notorium»), а также дает правила, по которым можно установить достоверность свидетельства. Его влияние особенно заметно в двух диссертациях Ф.В. Бирлингиуса: *Bierlingius F.W. De iudicio historico (1703)* и *Idem. De pyrrhonismo historico (1707)*, которые были воспроизведены с изменениями в: *Bierlingius F.W. Commentatio de pyrrhonismo historico. Leipzig, 1726.* Дискуссию «De fide monumentorum ex quibus historia depromitur» см., начиная со с. 225. Его слова на с. 96 могут рассматриваться как типичные для нового критического взгляда: «Historicum genus scripturae tantum abest ut a citationibus abhorreat, ut potius lector suo quodam iure illas postulare queat. Prima statim quaestio, quae historias legenti in mentem venit, haec est: unde auctor haec sua desumsit? Num testibus usus est idoneis atque fide dignis?» («В исторических сочинениях следует остерегаться того, чтобы опускать цитаты: ведь читатель неизбежно потребует эти цитаты привести. Первый вопрос, возникающий в уме читателя исторических трудов, таков: откуда автор взял все это? Пользовался ли он надежными и заслуживающими доверия свидетельствами?»)

³² *Michaelis J.D. Compendium antiquitatum Hebraeorum. S. I., 1753; Idem. Mosaisches Recht. Frankfurt a. M., 1770.* Обе работы были первыми в исследованиях по еврейским древностям. Примечательно, что Монфоко с большой неохотой собирал свидетельства о еврейской «археологии». О предшественниках Михаэлиса см.: *Dunin Borkowski S.von. Spinoza. S. 149–152.*

Давида Михаэлиса больше внимания стали уделять еврейским древностям, дискуссия о *bona fides* источников осталась главным методом оценки правдивости Библии.

В области римской истории «Исторические наблюдения» («*Animadversiones Historicae*») Перизония (1685) представляли собой мощную попытку методичного анализа литературных свидетельств почти без обращения к документам. Когда волна исторического пирронизма достигла опасных масштабов, Перизоний написал в защиту своей умеренно критичной позиции «Речь о доверии к историческим сочинениям против исторического пирронизма» («*Oratio de fide historiarum contra Pyrrhonismum Historicum*») (1702). Его главный аргумент заключался в том, что в некоторых случаях историкам можно доверять, потому что они говорят вещи, противоречащие интересам того дела, которое они отстаивают.

Сложная филологическая критика — такую, какую пытался осуществлять Перизоний, — не получила признания до начала XIX в., когда более тонкая техника позволила ученым обнаруживать (если таковые имелись) литературные источники литературных источников. В XVIII в. ни у кого еще не было точного представления об источниках Диодора или Тацита. Личность самого историка тоже пока еще не была объектом заметного интереса (кроме нескольких случаев). Не пользовалась широким вниманием и идея, что предание имеет право на уважительное отношение к себе, поскольку оно есть рупор массовых представлений. Пока эти аспекты не получали тщательного рассмотрения, официальные документы, надписи и монеты неизбежно казались более надежными, чем литературные свидетельства, основанные всего лишь на предании. Это был в первую очередь вопрос количества. Здравый смысл оказывал непреодолимое сопротивление той идее, что тысячи документов, монет и надписей могли быть подделаны так же легко, как отдельные литературные тексты.

б) Акцент на нелитературные свидетельства

В 1671 г. Иезекииль Шпангейм — основатель современной нумизматики — напомнил своим читателям замечание Квинтилиана: «*Alii ab aliis historicis dissentiunt*» («историки не согласны между собой») (II, 4, 19). Он знал средство против этого:

*Non aliunde nobis certius quam in nummis aut marmoribus antiquis praesidium occurrit. Nec certe ratio hic aut eventus fallit. Subsidia quippe reliqua, dubiam semper scriptorum exemplarium fidem, haec autem sola primigeniam Autographorum dignitatem prae se ferunt*³³.

³³ «Нам не найти более надежной опоры, чем древние монеты и мраморные изваяния. По крайней мере здесь нам не грозят ни заблуждения разума, ни капризы случая. Что же каса-

В другом пассаже содержится еще более прозрачный намек на то, что историки во времена Шпангейма доверием не пользовались:

Multa iisdem aut Historiarum Annalium conditoribus, vel odio vel amore, vel incuria sunt perperam tradita, quae emendari hoc tempore aut revinci, nisi publicis quibusdam tabulis, non possunt³⁴.

В 1679 г. Жак Спон в своем «Ответе на критические замечания, опубликованные г-ном Гийе» («Réponse à la critique publiée par M. Guillet») с жаром апостола нового метода заявил о превосходстве археологических свидетельств над прочими. Он бросил вызов своему противнику:

Il nous fera voir dans ses premières dissertations comment par un miracle inoui les Auteurs anciens, tout hommes qu'ils estoient, avoient moins de passion que le marbre et que le bronze d'apresent, et comment au contraire le bronze et le marbre d'alors estoient plus susceptibles de passion que les hommes de ce siècle³⁵.

В 1697 г. Франческо Бьянкини издал «Универсальную Историю, основанную на памятниках и снабженную изображениями древних символов» «La Istoria Universale provata con monumenti e figurata con simboli degli antichi». Эта книга в высшей степени примечательная, потому что в основе ее лежит убеждение, что археологические свидетельства (или, как выражается Бьянкини, «storia per simboli» («история в символах»)) обеспечивают более прочную основу для истории, чем литературные свидетельства. Обычные летописцы, утверждал автор, не осознают, что они делают ошибку, цитируя только литературные источники. Археологические свидетельства являются в одно и то же время «символом и доказательством того, что произошло» («le figure dei fatti, ricavate da monumenti d'antichità oggidì conservate, mi sono sembrate simboli insieme e pruove dell'istoria» («изображения деяний, сделанные на основе сохранившихся до наших дней памятников древности, представляются мне одновременно символами и доказательствами истории»)). Бьянкини знал, что превосходство археологических свидетельств широко признавалось его современниками. Изучение древних памятников было «accommodato al genio della età nostra» («приноровлено к духу нашего време-

ется прочих вспомогательных средств, им трудно доверять из-за сомнений в добросовестности переписчиков; лишь монеты и статуи обладают первородным достоинством Автографа».

³⁴ «Многое из того, что авторы Исторических Анналов передали превратно из-за пристрастности или небрежности, в настоящее время невозможно ни исправить, ни опровергнуть, разве что мы развесим на всех углах соответствующие объявления». — *Примеч. пер.*

³⁵ «Он продемонстрирует нам в начале своих рассуждений, как неслыханное чудо сделало древних Авторов, остававшихся при этом обыкновенными людьми, более бесстрастными, чем в наше время мрамор и бронза, а бронзу и мрамор древних веков, напротив, сделало более подверженными страстям, чем люди той эпохи». — *Примеч. пер.*

ни»). Другие говорили с таким же пылом о XVII в. как о «веке нумизматики». Позже Франческо Бьянкини применял свой метод к исследованию истории церкви в первые века ее существования. Он умер, не успев закончить этот труд, который был завершён и издан его племянником Джузеппе Бьянкини в 1752 г. под названием «Доказательство достоверности Церковной Истории, разделенное на четыре части и основанное на памятниках, подтверждающих подлинность хронологии и исторических событий» («*Demonstratio Historiae Ecclesiasticae quadripartitae comprobatae monumentis pertinentibus ad fidem temporum et gestorum*»). Поэтому Аддисон лишь повторил широко распространенное мнение, когда заметил: «Намного безопаснее ссылаться на медаль, чем на автора, так как в этом случае Вы апеллируете не к Светонию или к Лампридию, а к самому императору или ко всему составу римского Сената».

Бьянкини был астрономом. Жак Спон был врачом, равно как и его друзья Шарль Патен, Шарль Вальян и другие нумизматы и антиквары. Один из них, Х. Мейбомийус, в 1684 г. писал: «*Et nescio quidem peculiari aliquo fato Medici nos veteris nummariae rei studio teneamur*» («Не знаю уж, по какой прихоти судьбы мы, Медики, с таким жаром предались изучению древних монет»). Эти люди привнесли в изучение истории элементы научного метода непосредственного наблюдения³⁶.

³⁶ *Meibomius H.* Nummorum Veterum in illustranda imperatorum romanorum historia Usus. Helmstedt, 1684. Ср.: *Arnoldus Ch.* Epistola de rei medicae simul ac nummariae scriptoribus praecipuis // *Parisius P.* Rariora Magnae Graeciae Numismata / J.G. Volckamer (ed.). [Nürnberg?], 1683. Христиан Арнольдус упоминает среди прочих следующих докторов: В. Лациуса, Ф. Лицетуса, А. Окко, К. Патена, Ж. Спона, Ж. Вальяна, Л. Савоциуса. Последний известен как автор: *Savotius L.* Discours sur les medailles antiques. P., 1627. О репутации нумизматики в конце XVII в. см.: *Reichartus Ph.J.* De Re Monetali Veterum Romanorum. Altdorf, 1691. На с. 84–89 приводится гимн нумизматам: «*nullum libero homine dignius, nullum iucundius, nullum ad res victoris terrarum orbis populi probe cognoscendas est utilius*» («ничего нет достойнее свободного человека, ничего более приятного, ничего более полезного для познания деяний, совершенных народом, покорившим весь круг земной») и т.д.; *Superus G.* Utilitas quam ex numismatis principes capere possunt // *Apotheosis vel consecratio Homeri sive Lapis Antiquissimus.* Amsterdam, 1683; *Suaresius I.M.* De numismatis et nummis antiquis. Roma, 1668. Лучшую библиографию, см.: *Banduri A.* Bibliotheca Numismatica // *Numismata Imperatorum Romanorum a Traiano Decio. T. I.* Lutetiae Parisiorum, 1718. Список работ нумизматов XVII в. см.: *Tilger M.P.* Dissertatio historico-politica de nummis. Ulm, 1710. S. 40–45. На с. 40 Тильгер называет XVII в. «нумизматическим». См. также: *Struvius B.G.* Bibliotheca Numismatum antiquorum. Jena, 1613. Прежде всего см.: «*Et mesme l'on peut dire que sans les Medailles l'Histoire dénuée de preuves passeroit dans beaucoup d'esprits, ou pour l'effet de la passion des Historiens, qui auroyent escrit ce qui seroit arrivé de leur temps, ou pour une pure description de memoires, qui pouvoient estre ou faux ou passionnez*» («Можно даже сказать, что без Медалей История, лишенная доказательств, показалась бы многим или плодом страстей Историков, описавших события своего времени, или простой записью воспоминаний, которые могут быть ложными или пристрастными») (Introduction à la Connoissance des Médailles / Ch. Patin (ed.). 2 nd ed. Padova, 1691. P. 8). Интересную реакцию на этот энтузиазм см.: *Abbé Geinoz.* Observations sur médailles antiques //

Пирронисты не упускали случая подчеркнуть, что даже грамоты, надписи, монеты и памятники не стоят вне сомнения или подозрения: они могут быть подделаны, их можно по-разному интерпретировать. Ф.В. Бирлингиус, автор двух замечательных диссертаций «Об историческом суждении» («*De iudicio historico*») (1703) и «Об историческом пирронизме» («*De pyrrhonismo historico*») (1707), писал:

*Ars inscriptiones interpretandi adeo fallax est, adeo incerta. <...> Numismata iisdem dubiis obnoxia sunt. <...> Vides ergo, quicumque demum proferantur historiarum fontes, et antiquitatis monumenta, omnia laborare sua incertitudine*³⁷.

Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres depuis son établissement avec les éloges des académiciens morts depuis son renouvellement. T. XII. P., 1740. P. 263 ff.: «Avec les livres sans les médailles on peut sçavoir beaucoup et sçavoir bien, et avec les médailles sans les livres on sçaura peu et l'on sçaura mal» («С книгами, но без медалей можно знать много и знать достоверно, с медалями, но без книг будешь знать мало и недостоверно») (Ibid. P. 280). Но с другой стороны, см.: *Froelich H.E. Utilitas rei numariae veteris. Vindobonae, 1733*. А также см. письмо П.М. Пачауди «Его Превосходительству господину Балъи Эльзаса д'Эннену», опубликованное в качестве приложения в: *Zaccaria F.A. Instituzione antiquaria-numismatica. Venezia, 1733*. P. 354–364. В нем он нападает на *obiter dictum* («мимоходом сделанное замечание») Бэйля по монетам: «monumens que les modernes emploient impunément pour satisfaire leurs caprices sans se fonder sur un fait réel» («памятники, которые современные авторы безнаказанно используют в угоду своим прихотям, не основываясь на реальных фактах») (*Dictionnaire [naive de l'Académie Française]*. T. IV. P., 1730. P. 584. s.v. Sur les libelles diffamatoires). Заявления очень важного методического значения содержатся во введении к: *Spon J. Recherche des antiquités et curiosités de la Ville de Lyon, ancienne colonie des Romians & capitale de la Gaule celtique avec un mémoire des principaux antiquaires & curieux de l'Europe. Lyon, 1673*. В книге есть перечень «des principaux antiquaires et curieux de l'Europe» («известнейших антиков и кунштюков Европы»). Необходимо компетентное изучение Ж. Спона. Ср. очень поверхностное: *Moillière A. Une famille médicale Lyonnaise au XVIIe siècle — Charles et Jacob Spon. Lyon, 1905*. О Бьянкини как историке см.: *Croce B. Conversazioni critiche. T. II. Bari, 1924*. P. 101–109. Более подробная библиография есть в статье Ф. Никколини в «*Enciclopedia Italiana*». О Бьянкини и Монфоконе см.: *De Broglie E. Bernard de Montfaucon. T. I. P., 1891*. P. 336. Что касается метода Бьянкини — см. то, что он говорит в «*Demonstratio*» на с. xiv: «Sunt igitur claustra quaedam et sepimenta, imo et vestigia veritatis historicae, saxa, laminae, tabellae, corpora denique omnia signata literis, aut insculpta symbolis, sive etiam ornata figuris et imaginibus pertinentibus ad notas chronologicas, nomina, ritus, consuetudines illorum temporum, quibus ab Historia assignantur... Neque enim Scriptorum suorum tanta cuique fiducia seu potius arrogantia insedit ut auctoritate antiquorum marmorum et signorum emendari detrectet» («Ведь существуют некие хранилища и сокровищницы, или, говоря иначе, следы исторической истины — камни, железные пластины, дощечки, наконец, самые различные предметы, испещренные письменами, или украшенные символами, или же расписанные фигурами и изображениями, которые представляют собой хронологические расчеты, имена, описания обрядов и обыкновений тех времен, которым они были вверены Историей... Ни один Историк не был настолько самонадеян или, точнее сказать, столь дерзок, чтобы отказаться внести в свои сочинения исправления, необходимость коих обосновывается авторитетом древних скульптур и письмен»).

³⁷ «Искусство толкования надписей так ненадежно, так недостоверно. <...> Предмет нумизматики представляется столь же сомнительным. <...> Вот видишь: все так называемые исторические источники и памятники древности недостоверны, хотя и по-разному». — *Примеч. nep. (Bierlinguis F.W. De pyrrhonismo historico. P. 50.)*

Другой умеренный скептик, Жильбер Шарль Ле Жендр, в своем «Трактате о мнении, или Записках об истории человеческого разума» («*Traité de l'opinion ou Mémoires pour servir à l'histoire de l'esprit humain*»), который выдержал между 1735 и 1758 гг. четыре издания, настаивал на том, что ценность археологических свидетельств сомнительна: «*Le marbre et l'airain mentent quelquefois*» («Мрамор и медь порой лгут»). Стоит заметить, что после первого издания он усилил раздел о памятниках, вводящих в заблуждение. Очевидно, что эта тема становилась все более и более важной³⁸.

Судя по современным свидетельствам, пирронисты, впрочем, не произвели впечатления на большинство ученых. В одной из множества диссертаций, написанных с целью установить ценность надписей для правоуказания, автор славил Жака Спона и других антикваров:

*Bene sit, praecatur, piis manibus Gruteri, Reinesii, Sponi, Fabretti, ceterorumque qui ad describendas e lapidibus, saxis, marmoribusque inscriptiones antiquas, romanas imprimis, studium suum laudabiliter contulerunt. Neque enim, si recte componantur singula illa monumenta, ad veteris solum Historiae corroborandam fidem et ad pleraque capita mythologiae et omnis generis antiquitatum explicanda egregie conducunt sed etc...*³⁹

В 1746 г. систематическое сравнение литературных свидетельств с нелитературными было принято в качестве ортодоксального критерия против исторического пирронизма Иоганном Августом Эрнести в трактате «О том, как следует оценивать достоверность исторического знания» («*De fide historica recte aestimanda*»)⁴⁰. То же самое мнение выразил в 1747 г. Х.А. Крузиус в ра-

³⁸ Из умеренных скептиков см.: *Menckenius J.B.* Quod iustum est circa testimonia historicorum. Halle, 1701; *Idem.* De Historicorum in rebus narrandis inter se dissidiis horumque causis // *Dissert. Literariae.* Leipzig, 1734; *Gladov F., Fuirbringer G.* De erroribus historicorum vulgaribus. Halle, 1714; *Lackmannus A.H.* De testimoniis historicorum non probantibus. Hamburg, 1735. Анонимная диссертация «*De incertitudine historica*», содержащаяся в: *Additamentum ad Observationum Selectarum Halensium ad rem litterariam spectantium tomos decem.* P. 148 ff., без даты (1705?). Возможно, лучшая диссертация такого рода — *Arpe P.F.* Pyrrho, sive de dubia et incerta historiae et historicorum veterum fide argumentum. Kiel, 1716 (доступна в парижской Национальной библиотеке): в 12 главах систематизированы все возможные источники отклонения от истины.

³⁹ «Благословенны руки благочестивых мужей — Грутера, Рейнезия, Спона, Фабретта и других, — мужей, что достохвалны свои изыскания посвятили копированию надписей с древних, прежде всего римских, камней, скал и мраморных изваяний. Если надлежащим образом собрать вместе сии отдельные памятники, то они послужат не только укрепленнию доверия к древней Истории, а также уяснению смысла многих мифологических сказаний и истолкованию всякого рода древностей, но <...> и т.д. — *Примеч. nep.* (*Wunderlich I.* De usu inscriptionum romanarum veterum maxime sepulchralium in iure. Quedlinburg, 1750; ср.: *Greve M.A.* Περί ἀπλᾶς εἰρημῆων sive de auctoritate unius testis. Wittenberg, 1722.)

⁴⁰ *Ernesti J.A.* Opuscula Philologica. 2nd ed. Leyden, 1776. P. 68. Ср. также: *Priestley J.* Lectures on History and General Policy: To Which Is Prefixed an Essay on a Course of Liberal Education for

боте под названием «Путь к определенности и надежности человеческого познания» («Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis»), и оно было кодифицировано в одном из самых важных трактатов XVIII в. об историческом методе — «Всеобщей исторической науке» («Allgemeine Geschichtswissenschaft») И.М. Хладениуса (1752). В Геттингене готовность историков приняться за исследование нелитературных свидетельств была официально оформлена в 1766 г.: был основан Исторический институт. Он являлся созданием Гаттерера, и в основном его работа была посвящена тем вспомогательным наукам (дипломатика, нумизматика и т.д.), которые, как объяснил в инаугурационной речи Х.Г. Гейне, — «*historicis argumentis fidem faciunt*» («доверяют историческим доказательствам»)⁴¹. Недостатка в людях, которые предпочитали литературным свидетельствам нелитературные, в минувших веках не было. Это можно с уверенностью сказать, например, о Чириако д'Анкона⁴². В конце XVI в. Антоний Августин выразил ту же самую позицию в сказанной по другому поводу фразе: «*Yo mas fe doi a las medallas y tablas y piedras, que a todo lo que escriven los escritores*» («Я больше доверяю медалям, табличкам и камням, чем всем сочинениям историков вместе взятым»)⁴³. Его современник

Civil and Active Life. Dublin, 1788 и *Fréret N. Observations générales sur l'histoire ancienne* // *Fréret N. Oeuvres completes*. Т. I. P., 1796. P. 55–156.

⁴¹ *Heyne C.G. Opuscula Academica collecta et animadversionibus locupletata*. Т. I. Gottingae, 1785. P. 280. *Hederich B. Anleitung zu den führnemsten historischen Wissenschaften*. 3. Ausg. Wittenberg, 1717 считается первым учебником вспомогательных исторических дисциплин. Поскольку за пределами Германии эта работа, судя по всему, большого хождения не имела (я нашел ее только в Парижской национальной библиотеке), пожалуй, стоит предупредить читателя, что в ней представлено элементарное изложение всемирной истории, римских древностей, мифологии, географии, хронологии, генеалогии и т.д.

⁴² «*Maiorem longe quam ipsi libri fidem et notitiam praebere videbantur*» («Представляется, что свидетельства эти в куда большей степени заслуживают веры и сообщают нам больше сведений, чем даже книги») (*Scalamontius F. Vita Kyriaci Anconitani* // *Colucci G. Delle Antichità Picene. Delle Antichità Del Medio, E Dell' Infimo Evo*. Т. XV. Fermo, 1792. P. lxxii). О Чириако см.: *Ziebarth E. Neue Jahrbücher für das classische Alterthum*. Bd. IX. 1902. S. 214; Bd. XI. 1903. S. 480; также: *Voigt G. Die Wiederbelebung des classischen Alterthums*. Bd. I. B., 1880. 2. Ausg. S. 271.

⁴³ *Dialogos de medallas, inscripciones y otras antiguedades*. Tarragona, 1587. P. 377. Ср. итал. пер.: *Dialoghi di Don Antonio Agostini tradotti in italiano*. Roma, 1592. P. 261: «Io dò più fede alle medaglie, alle tavole e alle pietre che a tutto quello che dicono gli scrittori». Требуется монография об этом великом ученом, который оказал серьезное влияние на антикваров конца XVII в. (Шпангейм — лучший пример). Последние исследования, которые я знаю: *Leicht P.S. Rapporti dell'umanista e giurista Antonio Agostino con l'Italia* // *Rend. Accad. Italia*. Т. VII. 2. 1941. P. 375; *Toldrá Rodón J. El gran renacentista español Don Antonio Agustín, uno de los principales filólogos del s. XV* // *Boletín Arqueológico*. 1945. Т. XLV. P. 3; *Rivero C.M. del. Don Antonio Agustín príncipe de los numismaticos españoles* // *Archivo Español de Arqueología*, Т. XVIII. 1945. P. 97; *Zulue-ta F. de. Don Antonio Agustín* // *Boletín Arqueológico*. 1946. Т. XLVI. P. 47 (перевод английской статьи, которая уже появилась в: *David Murray Lecture*. Glasgow, 1939). Пассажем об Антонио Августине я обязан Ч. Митчеллу из Института Варбурга. Более умеренные взгляды в том же смысле высказал: *Erizzo S. Discorso sopra le medaglie antiche*. Venezia, 1559. P. 2.

Клод Шиффле отмечал: «*Veteres historiae controversias nummorum antiquorum cognitio componit*» («изучение древних монет полагает конец старым спорам историков»)⁴⁴. Число таких цитат может, вероятно, быть умножено. Они не изменяют того факта, что нелитературные свидетельства стали особенно авторитетными в конце XVII — начале XVIII в.

Необычайную историю отца Ардуэна можно понять только в этом контексте. Он, как известно, случай патологический. Начав с изучения нумизматики, Ардуэн обнаружил противоречия между монетами и литературными текстами и постепенно пришел к выводу, что все античные тексты (кроме Цицерона, «Георгик» Вергилия, «Сатир» и «Писем» Горация и его любимого Плиния Старшего) были подделаны шайкой итальянцев в конце XIV в. Он даже идентифицировал главаря этой шайки: это был Север Архонтий, который по рассеянности оставил свой след в одном пассаже «История Августов» («*Historia Augusta*») (Фирмий Сат., 2, 1), выдав себя как нумизмата. Ардуэн довел характерные для той эпохи предпочтения в пользу нелитературных свидетельств и подозрительность по отношению к литературным до безумия. Но его современники не смеялись. Они обстоятельно ему отвечали. Ла Кроз написал целый том против Ардуэна (1708). Дом Тассен и дом Тустен оправдывали свой большой «Новый трактат о дипломатике» (1750–1765), утверждая среди прочего, что он лишит новых ардуэнов возможности повторять его деяния. Как известно, в числе прочих своих открытий Ардуэн установил, что подложными являются все произведения св. Августина и «Божественная комедия»⁴⁵.

⁴⁴ De numismate antiquo liber posthumus. Louvain, 1628. P. 12 (об авторе см.: *Ruysschaert J. Juste Lipse et les Annales de Tacite*. Louvain, 1949. P. 48).

⁴⁵ Теория подлога была впервые сформулирована в: *Hardouin J. Chronologiae ex nummis antiquis restitutae prolesio de nummis Herodiadum*. P., 1693. P. 60. Типичное утверждение Ардуэна см.: *Idem. Ad Censuram scriptorum veterum prolegomena*. L., 1766. P. 15: «Nos mense Augusto anni 1690 coepimus in Augustino et aequalibus fraudem subodorari, in omnibus mense Novembri suspicati sumus: totam deteximus mense maio anni 1692» («В августе 1690 г. мы почуяли подделку в текстах Августина и подобных ему писателей; в ноябре мы усомнились в подлинности их всех; наконец, полностью разоблачить ложь в древних сочинениях нам удалось в мае 1692 г.»). Об этом методе см. P. 172: «De his quae leguntur in historia scripta nihil omnino nummi veteres habent; sed prorsus contrarium exhibent: et quod maius esse in historiis fabulositatis indicium potest? Nihil fere eorum quae sunt in nummis sculpta historia scripta repraesentat; et non est istud alterum certum *νοθείας* argumentum? Et quid mirum mentitos esse in historia profana qui sacram perverterunt aut adulterarunt?» («Древние монеты не подтверждают решительно ничего из того, что мы читаем у историков, — свидетельства монет во всем противоречат историческим трудам; может ли быть более красноречивое доказательство баснословности исторических преданий? Лишь ничтожное число событий, изображенных на монетах, нашли отражение в исторических сочинениях; разве это не новое доказательство *νοθείας* [подложности] таковых сочинений? И что же удивительного, если те, кто наполнил ложью светскую историю, исказили и подделали также и историю священную?»). См. также: *Idem*.

Анализируя достижения антикваров в выработке правил для надлежащей интерпретации нелитературных свидетельств, мы должны четко различать разные виды достижений. Так, в установлении надежных правил для использования грамот, надписей и монет — как в отношении подлинности, так и в отношении интерпретации, — они добились полного успеха. Сопротивление, с которым столкнулся трактат Мабильона «О дипломатике» («*De Re Diplomatica*») (1681), было не больше, чем можно было ожидать для работы, которая была заведомо полемической. Нападки на нее, такие как «О древних грамотах франкских королей и об искусстве отличать подлинные грамоты от подложных; Рассуждение против преп. о. Мабильона» («*De veteribus regum francorum diplomatibus et arte discernendi antiqua diploma vera a falsis, Ad R. P. Mabillonium disceptatio*») иезуита П. Жермона (1703), отражали, прежде всего, конфликт между двумя религиозными орденами. Скоро труд Мабильона сделался весьма авторитетным. Его палеографические изыскания были расширены и применены к греческим документам Монфоконом, который, назвав свою работу «Греческая палеография» («*Palaeographia graeca*») (1708), дал новой дисциплине ее нынешнее имя⁴⁶. С другой стороны, Шипионе Маффеи усовершенствовал классификацию западных почерков в «Истории в свете дипломатики» («*Istoria Diplomatica*») (1727) и сформулировал правила эпиграфической критики в неопубликованном «Искусстве критики надписей на камнях» («*Ars Critica Lapidaria*») (1765). Что касается монет, несколько великих ученых от Шпангейма до Эххеля (1792) не оставили сомнений относительно того, как надлежит с ними работать.

Вазы, статуи, рельефы и камеи изъяснялись на гораздо более трудном языке. Огромная литература по *emblemata*, накопившаяся со времен Альчи-

Observationes in Aeneidem // *Opera Varia*. Amsterdam, 1723. P. 280. Там все начинается со слов: «Virgilio numquam venit in mentem Aeneidem scribere» («Вергилию никогда и в голову не приходило писать Энеиду»). В качестве примера критики см. комментарий к *Aen.* Т. VIII. 505: «Corona non fuit aevo Augusti. In nummis antiquis non vidi ante saeculum XII iam senescens» («Короны в век Августа не существовало. Дожив до старости, я ни разу не видел изображения короны на монетах до XII в.»). Статья о Данте была переиздана в Париже в 1847 г. под заголовком: *Doutes proposés sur l'age de Dante par P.H.J.* // *Journal de Trivoux*. 1727.

Лучшая статья об Ардуэне — *Martini G.* *Le stravaganze critiche di padre J.H.* // *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*. Firenze, 1944. P. 351–364. Ср.: *Veyssière de la Croze M.* *Vindiciae veterum scriptorum contza J. Harduinum...* Roterodami, 1708. О Севере Архонтии см. также: *Missiacus C.* *De J. Harduini...* Prolegominis... epistola... L., 1766. P. 15.

⁴⁶ Ср.: [Lallemant P. J.-Ph.?] *Histoire des contestations sur la Diplomatique*. P., 1708; *Thuillier V.* *Histoire de la contestation sur les études monastiques // Ouvrages posthumes / J. Mabillon, Th. Ruinart* (eds). Т. I. 1724. P. 365. Ср.: *Martene D.* *Histoire de la congrégation de Saint-Maur, особенно Т. IV*. P., 1930.; *Gall Heer P.* *Johannes Mabillon und die Schweizer Benediktiner*. St. Gallen, 1938. Неоценимое издание — *Mabillon J.* *Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie*. P., 1846.

ато, едва ли могла сделать этот язык более внятным. Если перед нами памятник с изображениями, то как мы можем понять, что имел в виду художник? Как мы можем отличить просто декор от того, что призвано выразить какое-то религиозное или философское представление? История попыток создать научную иконографию от, скажем, «Собрания материалов к Ученой истории Древности» («Miscellanea Erudite Antiquitatis») Жака Спона (1679) через «Древность Изъясненную» («L'Antiquité expliquée») Монфокона (1718) до «Полимета» («Polymetis») Дж. Спенса (1747), еще не написана. В этом контексте следует понимать тот интерес, который всю жизнь проявлял Винкельман к иконографии и кульминацией которого стал «Опыт аллегории, особенно в искусстве» (1766). Но каких бы важных результатов ни достигли Винкельман и его предшественники, согласия среди антикваров в этой области было несравнимо меньше, чем в областях нумизматики, эпиграфики и дипломатики⁴⁷. Всякий, кто читал «Погребальную символику римлян» («Le Symbolisme Funéraire des Romains») Франца Кюмона (1942) и критику этой книги, опубликованную профессором А.Д. Ноком в «American Journal of Archaeology» в 1946 г., может заподозрить, что и два века спустя мы все еще далеки от некоей общепринятой интерпретации определенных типов изображений.

Хотя мы все еще страдаем от того, что антиквары XVIII в. так и не создали убедительного словаря изобразительных искусств, на процессы, происходившие непосредственно в то время, это не повлияло. Вооруженный своими более или менее не устаревающими трактатами по нумизматике, дипломатике, эпиграфике и иконографии, антиквар XVIII в. мог осваивать старые и новые области с уверенностью, которой у его предшественников не было. Он мог превратиться в историка или мог помочь историкам писать истории нового типа. Достаточно вспомнить то, что стало, пожалуй, самым большим вкладом исследователей нелитературных свидетельств XVIII в. в историческое знание: открытие доримской Италии.

в) Пример широкого применения нелитературных свидетельств

Сварливый великан Томас Демпстер — колоритная фигура шотландской католической эмиграции в Италии в начале XVII в. Он умер профессором латинского языка и литературы в Болонье в 1625 г., имея репутацию человека больших познаний и невеликой способности к суждению, однако это не было бы вполне справедливо по отношению к тому главному труду, который он опубликовал при жизни, — новому изданию «Древностей» И. Розини.

⁴⁷ Лучшее исследование о Винкельмане на данный момент: *Antoni C. La lotta contro la ragione. Roma, 1942. P. 37.*

на. Я пока не смог установить, как получилось, что его рукопись «*De Etruria Regali*» оставалась неопубликованной, до того как, приблизительно век спустя, не попала в руки Томаса Коука, будущего графа Лестерского. Коук справедливо писал в предисловии к ней: «*Nos quidem mirum videri potest ita disposuisse Fortunam ut de rebus Etruscorum antiquis scribere et Britanno homini contingeret unice, et quod idem liber in Britanni pariter hominis manus incideret*» («Удивительно распорядилась Судьба: на долю одного человека, Британца, выпало создать труд по истории древних Этрусков, и другой Британец по случайному стечению обстоятельств этот труд обнаружил»). Демпстер собрал только литературные и некоторые эпиграфические свидетельства об Этрурии. Показательно для XVIII в., когда больший акцент стали делать на археологических данных, что издатель счел невозможным опубликовать эту рукопись как есть: он попросил, чтобы антиквар с великой фамилией, Филиппо Буонарроти, добавил к ней данные памятников. Книга — странная смесь антикварской учености двух столетий — вышла во Флоренции в 1723 г. Она имела необычайный успех. В XVII в. об этрусках после Ингирами и Рейнезиуса (1637) мало что публиковалось, а теперь начался поток книг и диссертаций. Этруская академия в Кортоне с ее «*Lusumoni*» и важными диссертациями была основана Онофрио Бальделли в 1726 г.; *Società Colombaria* (Общество Голубятни) во Флоренции возникло в 1735 г. Все признавали, что Демпстер стал источником вдохновения для нового интереса к Этрурии. Но этот интерес не был в первую очередь литературным: он был в основном обращен на исследование археологических свидетельств. В те годы этрусские музеи возникли в Вольтерре, основанный Гварначчи; в Кортоне, основанный Бальделли; и в Монтепульчано, основанный П. Бучелли. К 1744 г. так называемые этрусские вазы уже приобрели право на собственную комнату в Ватикане. Возродившийся интерес к археологии распространился из Тосканы по другим частям Италии: в Риме в 1740 г. была основана *Accademia di Antichità Profane* (Академия языческих древностей); в 1755 — *Accademia degli Ercolanesi* (Академия исследователей Геркуланума). Открытие Геркуланума и Помпей стало самым заметным результатом этого движения. Книга Томаса Демпстера имела успех потому, что итальянские ученые искали новую точку кристаллизации для своих патриотических чувств и культурных интересов. Глубоко укорененные в своих региональных традициях и по различным причинам подозрительно относившиеся к Риму, они нашли то, чего хотели, в этрусках, пеласагах и прочих доримских племенах. Местное патриотическое чувство было удовлетворено тем, что доримские цивилизации были столь древними. Новая тенденция интереса к нелитературным свидетельствам указывала на возможность исследовательской работы в этом направлении и обеспечила ее методику. Антикварский метод в сочетании с па-

триотическим возрождением породил таких превосходных ученых, каких в Италии не знали больше 100 лет⁴⁸.

Юношеская работа, изданная Вико в 1710 году, — «О наидревнейшей мудрости италийцев» («De antiquissima Italorum sapientia») — была посвящена метафизике и, кроме названия, имела мало отношения к древним временам. Но есть одна вещь, касающаяся Вико, которую стоит иметь в виду. Будучи весьма сведущим в лингвистической, теологической и юридической учености своего времени, он был практически чужд методов Шпангейма, Мабильона и Монфокона. Он восхищался Мабильоном и как минимум один раз сослался на Монфокона, однако их точную науку он не воспринял. Вико был одинок в свою эпоху отчасти потому, что превосходил современников как мыслитель, но отчасти и потому, что он был хуже их как ученый. Антикварское движение XVIII в. прошло мимо него⁴⁹.

Было создано множество фантастических теорий вроде той, что излагал Гварначчи в «Италийские начала» («Origini italiane»), где у него этруски грозили слиться с самаритянами. Даже проникательный и космополитичный Денина предался идиллическому описанию Италии в период до римского господства — страны с мирным обществом небольших городков и государств. Более того, даже Тирабоки начал свою «Историю итальянской литературы» с этрусков. Прославление доримской Италии, которое так часто встречается в эпоху раннего Рисорджименто⁵⁰, не менее характерно для

⁴⁸ Fiesel E. Etruskisch // Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft. Berlin: W. de Gruyter, 1931; Gasperoni G. Primato, onore e amore d'Italia negli storici ed eruditi del Settecento // Convivium. 1939. T. XI. P. 264; Mascioli F. Anti-Roman and Pro-Italic Feeling in Italian Historiography // Romanic Review. 1942. Vol. XXXIII. P. 366–384. Но анонимная Storia degli studi sulle origini italiane // Rivista Europea. 1846. T. I. P. 721–742; 1847. T. II. P. 102–138 бесценна до сих пор. О Н. Фрепе см.: Collection Latomus / M. Renard (dir.). T. III. Bruxelles, 1939. P. 84–94; о Геркулануме см., например: Ruggiero M. Storia degli scavi di Ercolano. Napoli, 1885; Castellano G. Mons. Ottavio Antonio Bayardi e l'illustrazione delle antichità d'Ercolano // Samnium. 1943–1945. T. XVI–XVIII. P. 65–86, 184–194. О М. Гварначчи: Gasperetti L. Le Origini Italiane di Mario Guarnacci e l'utopia della Sapientia Antiquissima // La Rassegna. 1926. T. XXXIV. P. 81–91. Интересное исследование современных ему антикварных наук проделал: Gori A.F. Admiranda Antiquitatum Herculaneus Descripta et Illustrata // Symbolae Litterariae. Florentiae, 1748. T. I. P. 31–38. Несколько работ Дж. Гасперони (о которых пишет Калькатерра в: Giornale storico della letteratura italiana. T. CXXXVI. 1949. P. 383) исследуют итальянскую эрудицию XVIII в. См., например: Gasperoni G. La Storia e le lettere nella seconda metà del sec. XVIII. Jesi, 1904; Idem. La scuola storico-critica nel sec. XVIII. Jesi, 1907; Maylender M. Storia delle Accademie d'Italia. Bologna, 1926 дает информацию об академиях.

⁴⁹ Vico G.B. La scienza nuova seconda / F. Nicolini (ed.). T. I. Bari, 1942. P. 206; T. II. P. 225. Недавняя Bibliografia Vichiana / V. Croce, F. Nicolini (eds). Napoli, 1947 представляет собой бесценный клад информации о филологических науках XVIII в. См. также: Nicolini F. Commento storico alla Seconda Scienza Nuova. T. I. Roma, 1949.

⁵⁰ Croce B. Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono. 3rd ed. Bari, 1947. T. I. P. 52.

итальянских историков XVIII в. Здесь корни многих идей «О превосходстве» («Primato») Джоберти. Однако серьезная исследовательская работа сочеталась с мифическим мышлением. Подозревать этрусков каждый раз, когда бывали обнаружены так называемые этрусские вазы, значило ставить проблему на археологический фундамент, а это было необычно. Открытия, сделанные в Южной Италии, скоро заставили признать, что многие из этих vaz были определенно продуктами греческого ремесла (это представление было знакомо уже Винкельману). Идея, что Tabulae Eugubinae были этрусскими, была опровергнута со всей определенностью⁵¹. Коллекция памятников Гори, как оказалось, имела непреходящую важность, а в конце века Ланци опубликовал «Исследование об этрусском языке» («Saggio di lingua etrusca») — превосходный образец методического исследования.

Когда Виламовиц прибыл в Италию в 1925 г., он произнес во Флоренции речь, в которой рекомендовал историю доримской Италии как хороший предмет изучения для будущих итальянских ученых. Кроче было легко заметить на это, что подобная идея в Италии не нова, ей уже по крайней мере 100 лет. Он, впрочем, мог бы дать ей и 200⁵².

Итальянцы в XVIII в. вернулись в Грецию через Этрурию и Magna Graecia. Сицилийские монеты, которые принц Торремунца собирал, а Гете ездил смотреть, папирусы Геркуланума и, наконец, те вазы, которые в итоге были признаны греческими, — все эти находки говорили на греческом языке. Дискуссия между теми учеными, которые, как Пассери, признавали первенство Греции, и теми, которые, как Гварначчи, настаивали на приоритете Этрурии, заставили людей осознать, как тесны были связи между Этрурией и Грецией. Новое чувство близости с греческим миром заметно в Италии XVIII в. после длинного перерыва, вызванного Контрреформацией. «Аттические фасты» («Fasti Attici») О. Корсини (1744) и «Пелопоннесские памятники» П.М. Пачауди (1761) распространили интерес с заморских греческих колоний на саму Грецию. Происхождение нескольких элементов комплекса, позволявшего Фосколо быть итальянцем, а Леопарди писать свои стихи, можно проследить до музеев, кладбищ и ученых обществ⁵³.

⁵¹ Историю этой проблемы затрагивает Дж. Девото во введении к изданию: *Tabulae Iguvinae* / G. Devoto (ed.). 2nd ed. Romae, 1940.

⁵² *Croce B. Conversazioni critiche*. T. IV. Bari, 1932. P. 150–152.

⁵³ К. Сигонио был последним великим итальянским антикваром Ренессанса, изучавшим греческие сюжеты. Следующая важная работа, пожалуй: *Noris F.E. Annus et Epochae Syromacedonum in vetustis urbium Syriae nummis*. Florentiae, 1691. Все другие значимые исследования греческих древностей XVII в. — не итальянские (*Selden J. Marmora Arundelliana; siue Saxa Graecè incisa...* etc. Londini, 1628; *Rous F. Archaeologiae Atticae libri septem*. Oxford, 1637;

4. Конфликты между антикварами и историками в XVIII и XIX вв.

а) Конфликт в XVIII в.

Историографическая ситуация конца XVII — начала XVIII в. характеризовалась большим количеством историков, главной заботой которых было установить истинность каждого события с помощью самых лучших исследовательских методов. Тем же самым были озабочены и антиквары того времени, чьими методами они часто пользовались. Таким образом, хотя различие между книгой по истории и книгой о древностях оставалось формально ясным, цели историков зачастую совпадали с целями антикваров. И те и другие ставили своей целью фактическую правду, а не интерпретацию причин или разбор последствий. Как сказал Марк Пэттисон в возражении Де Куинси, — размышление не было их профессией⁵⁴. Когда представители «философской» истории начали свои нападки на эрудицию, оказался затронут престиж и антикваров, и «ученых» историков. В своих поисках надежных свидетельств ученые историки и антиквары были склонны забывать, что история представляет собой реинтерпретацию прошлого, которая приводит к выводам, относящимся к современности. Философские историки (Монтескье, Вольтер) задавались вопросами о настоящем. Более того, они ставили вопросы об общем развитии человечества, столь широкие, что точность в деталях легко могла показаться не важной. И на эти вопросы, кстати, литературные источники, как легко могло показаться, давали более удовлетворительный ответ, нежели «тезаурусы» антикваров. Вольтер одобрял сомнения своих более ученых коллег по поводу многих деталей исторического предания, но он не ощущал потребности заменить их другими, более надежно выясненными деталями. Он отметал их в сторону как неважные и призывал к иному подходу к истории. Идея цивилизации стала главной темой истории, и политическая история была подчинена ей. Такие темы, как искусство, религия, обычаи и торговля, прежде относившиеся к области интересов антикваров, стали типичными темами для философско-

Feith E. Antiquitatum Homericarum Libri IV. Lugduni Batavorum, 1677; *Spon J.* Miscellanea Eruditaе Antiquitatis, sive supplementi Gruteriani liber primus. Francofurti, 1679; *Potter J.* Archaeologia Graeca, sive veterum Graecorum... etc. Lugduni Batavorum, 1702 и, главным образом, различные монографии Й. Меурзия, собранные Г. Лами и изданные во Флоренции в 1741–1763 гг.). Ср.: *Curione A.* Sullo studio del greco in Italia nei secoli XVII–XVIII. Roma, 1941. Всю проблематику изучения греческого языка в Италии необходимо рассмотреть заново.

⁵⁴ *Pattison M.* Isaac Casaubon, 1559–1614. 2nd ed. Oxford, 1892. P. 449. Релевантна вся страница. Ср.: *Croce B.* La letteratura italiana del Settecento. Bari, 1949. P. 241.

го историка, но работал он над ними обычно не так, как антиквары. Многие разделяли отвращение Хораса Уолпола к людям, которые думали, что все древнее стоит сохранять просто потому, что оно древнее. В «Предварительном рассуждении» к Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера (1751) это было высказано как нельзя более четко:

Le pays de l'erudition et des faits est inépuisable; on croit, pour ainsi dire, voir tous les jours augmenter sa substance par les acquisitions que l'on y fait sans peine. Au contraire le pays de la raison et des découvertes est d'une assez petite étendue et souvent au lieu d'y apprendre ce que l'on ignoroit, on ne parvient à force d'étude qu'à désapprendre ce qu'on croyoit savoir⁵⁵.

Как заметил Гиббон:

Во Франции <...> философский век пренебрегал ученостью и языком Греции и Рима. Хранительница тех штудий, Академия Надписей, была разжалована в самый низший разряд среди трех королевских обществ Парижа: новое название эрудитов было высокомерно применено к преемникам Липсия и Казобона.

Верто, Миддлтон, Фергюсон и Гиллис, реинтерпретировавшие политическую историю Греции и Рима, почти не интересовались источниковедческими дискуссиями.

В области древней религии давнее сотрудничество антиквара с философом было нарушено. В XVII в. становилось все более и более очевидно, что восточные языки и история были необходимы для понимания христианства. В 1617 г. Джон Селден опубликовал свою эпохального значения книгу «О сирийских божествах» («De Diis Syris»). В 1627 г. Д. Хейнзиус в «Священном Аристархе» («Aristarchus Sacer») выдвинул тезис, что даже язык евангелий невозможно понять без некоторых познаний в восточных языках. Ислам стал лучше известен и впоследствии привлекал к себе симпатии. Знакомство со средневековой еврейской философией подняло проблему происхождения идолопоклонства, оформив ее в понятия, которые уже были сформулированы несколькими веками ранее. К трактату Герхарда Иоганна Фоссиуса «О богословии язычников и христианской физиологии, или О происхождении и развитии идолопоклонства» («De theologia gentili et physiologia christiana sive de origine et progressu idololatriae») (1641) прилагались текст и перевод «Мишне Тора» Моисея Маймонида. Контакт с

⁵⁵ «Вотчина эрудиции и фактов таит в себе неисчислимы сокровища; кажется, что богатства ее, если так можно выразиться, возрастают каждый день благодаря новым вкладам, делаемым неустанно. Напротив, вотчина разума и открытий невелика; порой вместо того, чтобы научиться от нее тому, что мы прежде не знали, мы забываем даже то, что нам казалось известным». — *Примеч. пер.*

языческими народами в Азии и в Америке позволил людям лучше разглядеть характерные особенности язычества. Ученые задавались вопросами: как политеизм пришел на смену первобытному монотеизму? каковы были отношения между Моисеевым законом и установлениями окружающих стран? можно ли найти подтверждение правоты евреев и христиан в языческих текстах и если да, то какое? Метод ответа на эти вопросы обычно представлял собой сочетание этимологии со сравнением догм и ритуалов. Жертвоприношение Фрикса могли сравнивать с жертвоприношением Исаака; Сарапис и Иосиф, сын Иакова, могли оказаться одним человеком. Имя бога Вулкана легко могли объявить идентичным имени Тубал-Каина. Даже разрушение Трои сочли пророческим описанием разрушения Иерусалима Навуходоносором. Древнееврейские и финикийские этимологии были введены в моду Этьеном Гишаром и Самюэлем Бошаром. В 1700 г. Томас Хайд сделал доступными для европейцев тексты древних персов — не всегда со счастливыми последствиями.

Ответ на вопрос о происхождении бывал различным — от эвгемеризма до вмешательства бесов или трюков философов и священников. Но более или менее общепринятым стало мнение, что некоторая страна — предпочтительно Египет — была центром распространения философского монотеизма. Иезуит А. Кирхер убедился, что в «Столе Исиды» («Mensa Isiaca») содержалось доказательство веры египтян в Троицу (1652). Херман Витсиус (1683) смог отстоять оригинальность иудейского монотеизма от нападок Джона Мэршема и Джона Спенсера только утверждая, что египтяне заимствовали свои монотеистические верования от евреев. Хотя не было ничего необычного или неортодоксального в представлении, что некоторым язычникам истина была ведома независимо от иудейского и христианского откровения, то количество язычников, которое теперь допускали к истинному знанию Бога, могло таить в себе опасность. Понятно, почему английские деисты от Герберта до Толанда так рьяно занимались сравнительным изучением религий и почему их оппоненты от Кедворта до Уорбертона были вынуждены делать то же самое. Деистические битвы велись оружием, которое поставляли антиквары, занимавшиеся «священными древностями» (*antiquitates sacrae*)⁵⁶.

⁵⁶ О науках XVII в. см.: *Gruppe O. Geschichte der klassischen Mythologie und Religionsgeschichte*. Leipzig, 1921. S. 45; *Capéran L. Le problème du salut des infidèles*. Toulouse, 1934. P. 257; *Rossi M.M. La vita, le opere e i tempi di Edoardo Herbert di Cherbury*. Firenze, 1947 (особенно Т. III); *Idem. Alle fonti del deismo e del materialismo moderno*. Firenze, 1942. Ср. также: *Mensching G. Geschichte der Religionswissenschaft*. Bonn, 1948. S. 39. Несколькo характерных работ: *Kircher A. Oedipus Aegyptiacus*. Romae, 1652; *Dickinson E. Delphi Phoenicizantes*. Oxford, 1655; *Bogan Z. Homerus Ἑβραϊζων*. Oxford, 1658; *Hugo J. Vera historia romana*. Romae, 1655; *Bochart S. Geographia Sacra (Phaleg et Canaan)*. Caen, 1646; *Witsius H. Aegyptiaca et δικάφουλον*. Amsterdam,

К концу XVII в. также стало ясно, что исследователи религии во все большей степени будут вынуждены принимать во внимание нелитературные свидетельства, собранные антикварами. Шпангейм обещал написать работу о религии на нумизматическом материале, которая так никогда и не состоялась, но все признали, что монеты являются великими носителями религиозных идей. В 1700 г. Де Ла Шосс провозгласил, что другим золотым дном для исследователя религии являются камеи:

Evvi da tanti artefici espresso in picciol spazio tutto ciò e ancor più di quello che l'istoria ci palesa di considerabile, la religione degli antichi, il culto de'lor dei [...] gli arcani più occulti dei gentili; e sotto misteriose immagini e portentose figure scopresi la superstiziosa dottrina di molte nazioni⁵⁷.

Коллекции изображений богов, конечно, были распространены на протяжении всей эпохи Возрождения. Все еще переиздавались каталоги Дю Шуля и Картари, составленные в XVI в. Но теперь иконография была поставлена на службу новой сравнительной науке о религии. Популярный писатель А. Банье в своей книге «Мифология и басни, изъясненные посредством истории» («La Mythologie et les Fables expliquées par l'Histoire») (1738) настаивал на необходимости привлечь для объяснения древней религии «медали, надписи, исторические памятники». Характерно, что в первом издании «Основательного мифологического энциклопедического словаря» Б. Гедериха, вышедшем в 1724 г., упоминались только литературные источники, но во второе (1770) уже были добавлены разделы по иконографии. Так называемые этрусские вазы стимулировали дискуссии по религиозным темам. Однако невозможно отделаться от ощущения, что чем дальше мы

1683; *Spencer J. De Legibus Hebraeorum Ritualibus*. Cambridge, 1685; *Hyde T. Historia religionum Veterum Persarum eorumque Magorum*. Oxford, 1700 (не упоминая эксплицитно, его атаковал: *de Montfaucon B. L'Antiquité expliquée*. Т. II. P., 1724. Part 2. P. 395). Об истории «Mensa Isiaca» которая сыграла такую роль после венецианского издания Пиньорио 1605 г., см.: *Scamuzzi E. La Mensa Isiaca del Regio Museo di Antichità di Torino*. Roma, 1939. Интересная аллюзия на «Mensa Isiaca» содержится в: *Cudworth R. The True Intellectual System of the Universe, in Works*. Т. II. Oxford, 1829. P. 119.

Rossi M.M. Alle fonti del deismo..., мне кажется, объяснил (P. 26 ff.), почему сравнительное изучение религии стало оружием в руках деистических мыслителей, хотя их противники никогда и не отрицали наличие естественного откровения у язычников.

⁵⁷ «Часто крошечные изображения на этих произведениях человеческого искусства сообщают нам больше заслуживающих внимания сведений, чем вся история; они рассказывают нам о религии древних, о культах язычников <...> и об их самых сокровенных тайнах; под покровом загадочных образов и необычных фигур скрывается суеверное учение множества наций». — *Примеч. пер. (De La Chaussée M. Le Gemme antiche figurate*. Roma, 1700. Proemio.)

продвигаемся в XVIII в., тем менее важное место эти исследования занимают в изучении религии. Более философски настроенные умы того времени считали ненужным тратить дальше силы на сбор и интерпретацию литературных и нелитературных свидетельств о религии Древнего мира. Фактические познания президента Де Броса, Ш.Ф. Дюпюи, Н.А. Буланже, барона де Сент-Круа, Ж.Б.Г. де Виллуазона и даже чрезвычайно разбрасывавшегося А. Кур де Жеблена не были обширны. Они постоянно размышляли над принципами. Они были заняты формулированием общих теорий о происхождении религии или, более конкретно, религиозных таинств и не давали себе труда составить ясное представление о том, чем занимались антиквары. Более вдумчивые исследователи религии, казалось, позабыли о собранных антикварами свидетельствах и о поставленных ими проблемах. Большая часть проделанной ранее работы пропала для них напрасно. С другой стороны, слишком многие из тех людей, которые знали источники, явно не осознавали всех трудностей, которые таил в себе предмет их занятий. Сами антиквары забыли урок мудрости, преподнесенный Монфоконом в «Древности изъясненной» («Antiquité expliquée»), благодаря которому оказалось разрушено столько сложных интерпретаций религиозных символов. Будучи неспособны размышлять над принципами, они умствовали по поводу деталей. Уильям Стьюкли перенес тринитаристский вздор Кирхера с Египта на Стоунхендж. Д'Анкарвиль зачаровывал многих людей, более квалифицированных чем он, своим неправильным толкованием ваз. Р. Пэйн Найт попытался, следуя данным монет, «изучить обширные и запутанные лабиринты политической и аллегорической басни и сколь возможно точно отделить богословие от мифологии древних», — и показал себя не меньшим безумцем, чем Д'Анкарвиль. Характерно, что такой серьезный автор, как П.Э. Яблонски, в своей работе «Египетский Пантеон» («Pantheon Aegyptiorum») (1750) по мере возможности избегал нелитературных свидетельств⁵⁸.

⁵⁸ Лучший каталог работ содержится в: *Gruppe O. Geschichte der Klassischen Mythologie...* S. 58 ff. Среди последних работ стоит отметить: *Evans A.W. Warburton and the Warburtonians.* Oxford, 1932; *Venturi F. L'Antichità Svelata e l'idea del progresso in N. A. Boulanger.* Bari, 1947; *Piggott S. W. Stukeley.* Oxford, 1950. Заглавия упомянутых в тексте книг: *Brosses Ch. de. Du culte des dieux fétiches.* [P.], 1760; *Court de Gébelin A. Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne...* etc. P., 1773; *Dupuis Ch.F. Origine de tous les cultes ou religion universelle.* P., 1794; *Boulanger N.A. Antiquité dévoilée par ses Usages.* Amsterdam, 1766; *Guilhem de Clermont-Lodève, Baron de Sainte-Croix G.-E.-J. Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secreete des anciens peuples ou recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme / J.-B.G. d'Ansse de Villoison.* P.; Nyon, 1784 (ср. также издание 1817 г.: *Idem. Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme.* P., 1817); *Hugues d'Hancarville P.F. [alias Ancarville] Recherches sur l'origine, l'esprit et le progrès des arts de la Grèce.* L., 1785; *Knight R.P. An Inquiry into the Symboli-*

б) Конфликт в XIX в.

До конца XVII в. антикварам никто не мешал заниматься двумя вещами. Во-первых, они интересовались таким типом свидетельств, который обычный политический историк склонен был не принимать во внимание; во-вторых, они изучали такие темы — обычаи, установления, искусство, религию, — которые лежали за пределами области интересов политического историка и которые лучше всего можно было анализировать на нелитературном материале. Но в начале XVIII в. антиквары утратили свою монополию на использование нелитературных источников: чем больше «ученые» историки перенимали антикварский метод проверки литературных свидетельств нелитературными, тем меньше антиквары могли сохранять исключительную власть над нумизматикой, дипломатикой и эпиграфикой. Но они оставались учителями четырех видов «древностей» — *antiquitates publicae, privatae, sacrae, militares*. Право антикваров на существование никто в XVIII в. не оспаривал. «Философствующие» историки не нуждались в их эрудиции и не пытались направить ее по новым каналам. Вопрос стал формулироваться по-другому и начал представлять собой более определенный вызов антикварам ближе к концу века, когда стало очевидно (благодаря в основном Винкельману и Гиббону), что эрудиция и философия были совместимы друг с другом. Многие лучшие историки XIX в. поставили себе целью сочетание философской истории с антикварской методикой исследования. Эту же цель многие из нас ставят себе и по сей день. С ней связаны две трудных вещи: во-первых, надо постоянно бороться с собственной априористской позицией, внутренне присущей обобщающему подходу тех, кто занимается «философской» историей, а во-вторых, надо избегать антикварского мышления с его любовью к классификации и не имеющим значения деталям. Антиквар был знатоком и энтузиастом, его мир был статичен, его идеалом было коллекционирование. Не зависимо от того, было ли он дилетантом или мэтром, он жил ради того, чтобы классифицировать. В определенных случаях его привычки ума подкреплялись и методами, господствовавшими в тех областях, с которыми он был тесно связан: *antiquitates sacrae* граничили с областью теологии; *antiquitates publicae*, когда речь шла о Риме, были едва отделимы от римского публичного права. В обеих областях традиционным было систе-

cal Language of Ancient Art and Mythology. L., 1818 [N.Y., 1876]; [Blackwell T.] Letters Concerning Mythology. L., 1748; Bergier N.S. L'origine des dieux du paganisme et le sens des fables découvert par une explication... P., 1767 и Bryant J. A New System, or, an Analysis of Ancient Mythology. L., 1774 — одинаково типичны. Хорошее введение ко всей этой литературе содержится в критической библиографии, приложенной к анонимному: Essai sur la religion des anciens grecs. Genève, 1787. P. 183–223 (автором считается N. Leclerc de Sept Chenes).

матическое и догматическое обучение. Но история теперь начинала завоевывать территории богословия и юриспруденции. Новое — более строгое и всестороннее — представление о развитии человечества оставляло мало места для простых описаний прошлого.

Вопрос, которым следует задаться применительно к антикварским студиям XIX в., состоит не в том, почему они были дискредитированы, а в том, почему они продолжали существовать так долго. Ответ таков: антикварское мышление — и это вполне естественно — было адекватно природе тех институтов, с которыми оно преимущественно имело дело. Легче описывать право, религию, обычаи и способы ведения боя, чем объяснять их генетически. Часто природа свидетельств такова, что приходится сочетать предметы, относящиеся к различным историческим периодам, чтобы получить представление об изучаемом институте. Там, куда историк отказывается идти, дабы не нарушить надлежащую хронологическую последовательность, антиквар готов предложить свои услуги. Классификация может обойтись без хронологии.

Этим объясняется, почему в возможности сочетать антикварские и исторические исследования так долго сомневались даже весьма сведущие умы и о ней шли бурные споры. Ф.А. Вольф в своем «Изложении науки о древности» (1807) старался проводить различие между историком, которого интересует «становящееся» (*das Werdende*), и антикваром, которого интересует «ставшее» (*das Gewordene*)⁵⁹. Ф. Аст считал, что есть разница между «наукой о древностях» (*Altertumswissenschaft*) и политической историей Древнего Мира (1808)⁶⁰. Э. Платнер отличал историю, которая описывает страну «в ее движении», от древностей, которые описывают ее «в ее замкнутости и покое»⁶¹. Ф. Ричль в своей работе «О новейшем развитии филологии» (1833)⁶², наверное, одним из первых полностью отрицал существование такой области, как «древности» (*Altertümer*), и сделал много

⁵⁹ Это определение воспроизводил еще Э. Мейер — насколько мне известно, последний великий историк, который считал легитимным различие между историей и древностями: *Meyer E. Zur Theorie und Methodik der Geschichte // Meyer E. Kleine Schriften. 2. Aufl. Bd. I. Halle a.d.S., 1924. S. 66.*

⁶⁰ *Ast F. Grundriss der Philologie. Landshut, 1808. S. 12.*

⁶¹ *Platner E. Ueber wissenschaftliche Begründung und Behandlung der Antiquitäten. Marburg, 1812. S. 14.*

⁶² *Ritschl F. Opuscula Philologica. T. V. Lipsiae, 1879. P. I.* Ричль высказал такое мнение: «Так почему бы не отказаться вовсе от этой докучной старой привычки и не распределить материал так называемых древностей указанным образом на естественные области, выведенные из различий самой духовной деятельности человека?» Линия от Ричля к Дройзену ясна.

других полемических замечаний, но Бёк в «Энциклопедии», хотя и отрицал *Altertümer* в целом, по-прежнему говорил о различии между политической историей и «государственными древностями» (*Staatsaltertümer*): первая занимается событиями, вторые — установлениями. Бёк явно находился под влиянием давней традиции догматического преподавания права и политических установлений на юридических факультетах⁶³.

Г.Г. Гервинус (1837) и И.Г. Дройзен (1868) в своих учебниках по истории не разбирали эту проблему и поэтому, вероятно, считали ее утраченной актуальность. Но это не должно скрывать от нас того факта, что преподавание и писание «древностей», как чего-то отличного от истории, продолжалось — оно прекратилось всего несколько десятилетий назад. «Древности искусства» (*Kunstaltertümer*) были организованы Х.Г. Гейне, когда Винкельман уже изобрел историю искусства. «Древности культа» (*Kultaltertümer*) были написаны после того, как К.О. Мюллер показал, какой могла быть история греческой религии. Существовали «военные древности» (*Kriegsaltertümer*) даже после «Истории военного искусства» Г. Дельбрюка (1900), а Л. Фридлиндер не сразу преобразовал «древности частной жизни» (*Privataltertümer*) в «историю нравов» (*Sittengeschichte*). Еще более живучими оказались «древности государства» (*Staatsaltertümer*), поскольку они опирались на пример систематического «государственного права» (*Staatsrecht*) Моммзена: только в этом веке немецких ученых убедили переделать «древности государства» в «историю права» (*Rechtsgeschichte*) или «конституционную историю» (*Verfassungsgeschichte*)⁶⁴. Длительное сохранение антикварского подхода к истории — не чисто немецкая особенность, хотя нужно признать, что за пределами Германии меньше было людей, которых заботила эта проблема. Франция традиционно оставалась лучшей обителью для антикваров до самых последних лет.

Случайных скатываний назад в антикварское мышление приходится ожидать и в будущем. Но идея «древностей» уже умерла, потому что умерла соответствующая ей идея политической истории, основанная на литературных свидетельствах. Историки признали, что традиционные темы антикварских исследований можно превратить в главы истории цивилизации со всем необходимым эрудитским аппаратом.

⁶³ См. также другое определение (и апологию) античности в: *Ulrichs L. von. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Bd. I. Nördlingen, 1886. S. 22.* Обо всей литературе по поводу *Enzyklopädie und Methodologie der Altertumswissenschaft*, которую я не предполагаю рассматривать в деталях, см.: *Bernardini A., Righi G. Il Concetto di Filologia e di Cultura Classica nel Pensiero Moderno. Bari, 1947.*

⁶⁴ По поводу дискуссии о *Staatsrecht* и *Staatsaltertümer* в предварительном порядке см. мою заметку в: *Journal of Roman Studies. T. XXXIX. 1949. P. 155* — позже я надеюсь написать о влиянии антикварских штудий на развитие социологии.

Антиквар спас историю от скептиков, хотя он и не писал ее. Он внес вклад в формирование «этики» историка — этот вклад включает в себя предпочтение в пользу подлинных документов, изобретательность в обнаружении подделок, умение собирать и классифицировать свидетельства и, прежде всего, — безграничную любовь к учебе. Мы чтим память Жана Мабильона не только как автора «De Re Diplomatica», но и как автора «Трактата о монашеских штудиях» («Traité des Etudes Monastiques»), в котором он рекомендовал «avoir le coeur dégagé des passions, et sur tout de celle de critiquer» («иметь сердце, свободное от страстей и, прежде всего, от страсти все критиковать»).

APPENDIX I*

Джон Лиланд, королевский антиквар

В статье о Джоне Лиланде в «Словаре национальной биографии» («Dictionary of National Biography») говорится: «В 1533 г. Лиланд был назначен королевским антикваром, в этой должности у него не было ни предшественника, ни преемника».

Для этого утверждения не приводится свидетельства, и, очевидно, его не так просто найти. Идея о том, что Лиланд был назначен королевским антикваром, восходит, насколько я могу предположить, к «Жизни Кэмдена» («Life of Camden») Т. Смита (1961), в которой можно найти такой характерный отрывок (с. XXVIII):

(Lelandi) industriam perquam laudabilem annua pensione e fisco Regio soluta favore suo fovit Rex Henricus VIII illumque Antiquarii quo merito glorius est Lelandus titulo insignivit. Munus istud, quod dolendum est, ab isto tempore omnino desiit: licet unus et alter (vix enim plures numerantur) superbum illud Historiographi Regii, nescio an satis pro dignitate, nomen sustinuerint¹.

Т. Смит не ссылается ни на какое свидетельство, а А. Холл в «Жизнеописании Автора» («Vita Auctoris»), которое предваряет его издание «Заметок о британских писателях» («Commentarii de scriptoribus britannicis») (1709) Лиланда, ссылается на Т. Смита, когда утверждает то же самое:

Ut illum non modo bibliothecae suae praefecit, verum etiam magnifico Antiquarii titulo liberalissime donavit. Unus est inter Angliae scholae Proceres, virorum eruditorum semper feracissimae, qui ad tanti nominis fastigium conscenderit.
– Habeat secum, servetque sepulchro².

* Я благодарен мисс М. Мак-Кайзек за обсуждение со мной того предмета, которому посвящено данное приложение.

¹ «Достохвальное усердие Лиланда Король Генрих VIII по милости своей вознаграждал ежегодной пенсией, освобождением от налогов и титулом Антиквара, коим Лиланда и прежде с полным правом величали. Наше время, к несчастью, не может похвалиться подобными дарованиями, хотя один или два человека (едва ли можно насчитать больше) и носят это горделивое имя *Королевского Историографа* — впрочем, не знаю, по заслугам ли». — *Примеч. пер.*

² Король не только назначил Лиланда префектом своей библиотеки, но и щедрой десницей даровал ему блистательный титул Антиквара. Он стал единственным из Знатнейших представителей Английской школы, неизменно изобильной учеными мужами, который взшел к славе толикого имени. — Пусть он ее сохранил и владеет ею за гробом» (Virg., Aen. IV, 29). — *Примеч. пер.*

Еще более точно сказано в «Жизни Лиланда» («Life of Leland») У. Хаддсфорда (1772), на с. 9.: «Согласно указу за Королевской Печатью от 1533 г. от Р.Х., на 25 году его [короля] правления, он [Лиланд] был назначен королевским антикваром; он был первым и, на самом деле, последним на этой почетной должности». Но в качестве свидетельства он приводит «Оксфордские Афины» («Athenae Oxoniens») Вуда, а Вуд (под ред. Блисса, I, p. 198) говорит нечто другое: «[Лиланду] был его указ за королевской печатью на 25 году его правления в 1533 г. от Р.Х., согласно которому ему было поручено заниматься разысканием английских древностей и т.д.».

В своем «новогоднем приношении королю Генриху VIII», называемом «Тернистый путь исследований английских древностей» («The Laboriouse Journey and Searche for Englandes Antiquitees») (под ред. Хаддсфорда, без пагинации) Лиланд заявил, что на 35-м году «Вашего процветающего правления» он получил «всемилодивейший указ внимательно и усердно изучать все монастырские и университетские библиотеки Вашего величественного королевства». Свою брошюру он подписал «Joannes Leylandus Antiquarius». Эта, составленная в лучшем гуманистическом стиле, подпись не обязательно означает, что он был назначен королевским антикваром. Вопрос, на который я хотел бы получить ответ от компетентных исследователей, состоит в том, были ли у Т. Смита другие свидетельства кроме этой подписи³.

³ Adams E.N. Old English Scholarship in England from 1556–1880. New Haven, 1917. P. 12, повторяя общее мнение, обращается, кажется, к «Предисловию» Джона Бейла к изданию: *Leland J. Laboriouse Journey and Serche of Johan Leylande for Englandes Antiquitees*. Oxford, 1549. Эта ссылка будет вводить в заблуждение, поскольку Бейл называет Лиланда всего лишь «наиболее старательным искателем древностей нашей английской или британской нации». Я с удовольствием замечая, что Кендрик (*Kendrick T.D. British Antiquity*. L., 1950. P. 47. Note 1) приходит к такому же выводу. Мистер Кендрик не рассматривает тексты, упомянутые выше.

APPENDIX II¹

Избранные исследования по доримской Италии (ок. 1740–1840)

Amaduzzi G.C. Delle origini italiane di Monsignore Mario Guarnacci. Esame critico con una apologetica risposta, etc. Venezia, 1773.

Amati G. Sui vasi etruschi o italogreci recentemente scoperti. Roma, 1830.

Balbo C. Delle origini degli antichi popoli italiani // *Antologia Italiana*. 1846. P. 213–233, 247–262.

Bardetti S. Dei primi abitatori dell'Italia. Modena, 1772.

Idem. Della lingua dei primi abitatori dell'Italia. Modena, 1769; 1772.

Bianchi Giovini A. Sulle origini italiane di A. Mazzoldi, Osservazioni. Milano, 1841.

Idem. Ultime osservazioni sopra le opinioni del Signor A. Mazzoldi intorno alle origine italiane. Milano, 1842.

Bonaparte L. Catalogo di scelte Antichità Etrusche trovate negli scavi del Principe di Canino. Viterbo, 1829.

Bourguet L. Spiegazione di alcuni monumenti degli Antichi Pelasgi trasportati dal Francese con alcune osservazioni sopra i medesimi. Pesaro, 1735.

Campanari S. Dei primi abitatori d'Italia // *Giornale Arcadico*. 1840. T. LXXXIV. P. 241–272.

Carlo Rubbi G.R. Delle antichità italiane. Milano, 1788–1791.

Cattaneo C. Introduzione // *Notizie naturali e civili su la Lombardia*. T. I. Milano, 1844.

Del Bava G.M. Riccobaldi. Dissertazione storico-etrusca sopra l'origine, l'antico stato, lingua e caratteri della Etrusca nazione. Firenze, 1758.

Delfico M. Discorso preliminare su le origini italiane // *Dell'antica numismatica della città d'Atri nel Piceno*. Teramo, 1824.

¹ Этот список не претендует на полноту. См. также: *Gamurrini G.F.* Bibliografia dell'Italia Antica. T. I. Arezzo, 1905. О Сицилии см.: *Pace B.* Arte e civiltà della Sicilia antica. Roma, 1935.

- Dempster T.* De Etruria Regali // Maffei Sc. Osservazioni Letterarie. 1738. Vol. III. P. 233.
- Denina C.G.M.* Delle Rivoluzioni d'Italia. Torino, 1769–1770.
- Durandi J.* Saggio sulla storia degli antichi popoli d'Italia. Torino, 1769.
- Idem.* Dell'antico stato d'Italia. Ragionamento in cui si escamina l'opera del p. S. Bardetti sui primi abitatori d'Italia. Torino, 1772.
- Fabroni G.* Degli antichi abitatori d'Italia. Firenze, 1803.
- Ferrari G.* Dissertationes pertinentes ad Insubriae antiquitates. Mediolani, 1765.
- Fourmont E.* Réflexions sur l'origine, l'histoire et la succession des anciens peuples: 2me ed. P., 1747.
- Fréret N.* Recherches sur l'origine et l'histoire ancienne des différents peuples de l'Italie // Histoire de l'Académie des Inscriptions. 1753. T. XVIII. P. 72–114.
- Gori A.F.* Museum Etruscum. 3 tt. Firenze, 1737–1743.
- Idem.* Difesa dell'Alfabeto degli antichi Toscani pubblicato nel 1737 dall'autore del Museo Etrusco, disapprovato dall'illustrissimo Marchese S. Maffei. Firenze, 1742.
- Idem.* Storia Antiquaria Etrusca del principio e de'progressi fatti finora nello studio sopra l'antichità etrusche. Firenze, 1749.
- Guarnacci M.* Origini italiane o siano memorie storico-Etrusche sopra l'antichissimo regno d'Italia e sopra i di lei abitatori. 3 tt. Lucca, 1767–1772. (2do ed., Roma, 1785–1787).
- Inghirami F.* Monumenti Etruschi o di Etrusco nome disegnati. 6 tt. Fiesole, 1821–1826.
- Idem.* Lettere d'Etrusca Erudizione. Fiesole, 1828.
- Idem.* Etrusco Museo Chiusino [...] con aggiunta di alcuni ragionamenti del Prof. D. Valeriani, etc. Firenze, 1832–1834.
- Idem.* Storia della Toscana. 16 tt. Fiesole, 1841–1843.
- Idem.* Pitture di Vasi Etruschi. 4 tt. Firenze, 1852–1856.
- Lami G.* Lettere Gualfondiane sopra qualche parte dell'antichità etrusca. Firenze, 1744.
- Idem.* Lezioni di antichità toscane. Firenze, 1766.
- Lanzi L.A.* Saggio di Lingua Etrusca. Roma, 1789.

Appendix II

Idem. De' vasi antichi dipinti volgarmente chiamati etruschi. Firenze, 1806.

Maffei Sc. Ragionamento sopra gli Itali primitivi in cui si scuopre l'origine degli Etruschi e dei Latini // *Maffei Sc.* Istoria Diplomatica. Mantua, 1727. P. 201–260.

Idem. Trattato della nazione etrusca e degli Itali primitivi // *Maffei Sc.* Osservazioni Letterarie. 1739–1740. T. IV–VI.

Mazzocchi A.S. Sopra l'origine dei Tirreni // *Saggi di dissertazioni [...] lette nella nobile Accademia Etrusca di Cortona.* 1741. T. III. P. 1–67.

Mazzoldi A. Delle origini italiche e della diffusione dell'incivilimento italiano all'Egitto, alla Fenicia, alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche. Milano, 1840 (2do ed., Milano, 1846).

Idem. Risposta alle asservazioni di A. Bianchi Giorini. Milano, 1842.

Micali G. L'Italia avanti il dominio dei Romani. 4 tt. Firenze, 1810 (2do ed., Firenze, 1821).

Idem. Storia degli antichi popoli italiani. Firenze, 1832.

Idem. Monumenti inediti a illustrazione della storia degli antichi popoli Italiani. Firenze, 1844.

Passeri G.B. Lettere ronciagliesi // *Calogierà A.* Raccolta di Opuscoli. Venezia, 1740–1742. T. XXII–XXIII.

Idem. Dell'Etruria omerica // *Calogierà A.* Nuova Raccolta di Opuscoli. 1768. T. XVIII.

Idem. In Thomas Dempsteri libros de Etruria regali Paralipomena. Lucca, 1767.

Idem. Picturae Etruscorum in vasculis. 3 tt. Romae, 1767–1775.

Quadrio F.S. Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia. Milano, 1755.

Romagnosi D. Esame della storia degli antichi popoli italiani di G. Micali in relazione ai primordii dell'italico incivilimento // *Biblioteca Italiana.* 1833. T. LXIX–LXIX.

Rosa G. Genti stabilite tra l'Adda e il Mincio prima dell'Impero Romano. Milano, 1844.

Tonso A. Dell'origine dei Liguri. Pavia, 1784.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Берелович Владимир — профессор Высшей школы социальных наук в Париже (École Des Hautes Études En Sciences Sociales), почетный профессор Женевского университета (Université de Genève).

Боярченков Владислав Викторович — доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного радиотехнического университета.

Герасимов Илья Владимирович — кандидат исторических наук, PhD по истории, ответственный редактор журнала «Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in Post Soviet Space».

Дастон Лорен (Daston Lorraine) — исполнительный директор Института истории науки им. М. Планка в Берлине (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin-Dahlem).

Дёмин Максим Ростиславович — кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук / Департамента социологии НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.

Дмитриев Александр Николаевич — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, доцент Факультета гуманитарных наук / Школы исторических наук НИУ «Высшая школа экономики».

Запорожец Оксана Николаевна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, доцент Факультета социальных наук / Департамента социологии / Кафедры анализа социальных институтов НИУ «Высшая школа экономики».

Иванова Юлия Владимировна — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, доцент Факультета гуманитарных наук / Школы исторических наук НИУ «Высшая школа экономики».

Капелюшников Ростислав Исаакович — доктор экономических наук, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ «Высшая школа экономики».

Кирчик Олеся Игоревна — PhD по социологии, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, старший преподаватель Факультета социальных наук /

Департамента социологии / Кафедры экономической социологии НИУ «Высшая школа экономики», редактор журнала «Laboratorium. Журнал социальных исследований».

Могильнер Марина Борисовна — кандидат исторических наук, профессор Иллинойского университета в Чикаго (The University of Illinois at Chicago), редактор журнала «Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in Post Soviet Space».

Момильяно Арнальдо (Momigliano Arnaldo Dante) (1908–1987) — итальянский историк, с 1938 г. до середины 1970-х годов — профессор в Оксфорде и Лондонском университете (University College London).

Осминская Наталия Александровна — кандидат философских наук, преподаватель Факультета гуманитарных наук / Школы философии НИУ «Высшая школа экономики».

Резвых Петр Владиславович — кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, доцент Факультета гуманитарных наук / Школы философии НИУ «Высшая школа экономики».

Савельева Ирина Максимовна — доктор исторических наук, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, ординарный профессор Факультета гуманитарных наук / Школы исторических наук НИУ «Высшая школа экономики».

Семёнов Александр Михайлович — PhD по истории, профессор Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук / Департамента истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, заместитель директора НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, старший научный сотрудник Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук / Центра исторических исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, старший преподаватель факультета свободных искусств, руководитель Центра изучения наследия империй Санкт-Петербургского государственного университета, редактор журнала «Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in Post Soviet Space».

Соколов Павел Валерьевич — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, младший научный сотрудник Лаборатории исследования философии, преподаватель Факультета гуманитарных наук / Школы философии НИУ «Высшая школа экономики».

Степанов Борис Евгеньевич — кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических иссле-

дований им. А.В. Полетаева, доцент Факультета гуманитарных наук / Школы философии НИУ «Высшая школа экономики».

Тисье Мишель (Tissier Michel) — преподаватель Университета Ренн II Верхней Бретани (Université de Haute Bretagne — Rennes 2), Франция.

Торстендаль Рольф (Torstendahl Rolf) — почетный профессор Уппсальского университета (Uppsala University).

Файер Владимир Владимирович — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, доцент Факультета гуманитарных наук / Школы лингвистики НИУ «Высшая школа экономики».

Юдин Григорий Борисович — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, старший преподаватель Факультета социальных наук / Департамента социологии / Кафедры экономической социологии.

Ясницкий Антон — PhD по истории, научный сотрудник Торонтского университета (University of Toronto).

Научное издание

**Науки о человеке:
история дисциплин**

Зав. книжной редакцией *Е.А. Бережнова*
Редактор *К.А. Левинсон*
Художник *В.П. Коршунов*
Компьютерная верстка: *О.А. Иванова*
Корректор *В.И. Каменева*

Подписано в печать 24.08.2015. Формат 70×100 1/16
Печать офсетная. Гарнитура Minion Pro.
Усл. печ. л. 53,3. Уч.-изд. л. 45,2. Тираж 300 экз. Изд. № 1800

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел./факс: (499) 611-15-52

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
www.chpd.ru, e-mail: sales@chpd.ru,
тел.: 8 (495) 988-63-76, тел./факс: 8 (496) 726-54-10